Александр
Солженицын

Александр

СОЛЖЕНИЦЫН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Александр

Солженицын

собрание сочинений

том четырнадцатый

Красное колесо

повествованье

в отмеренных сроках

Узел III

Март Семнадцатого

книга 4

Время

Москва 2008

ББК 84Р7-4
С60

редактор-составитель
Наталия Солженицына

***д**изайн, макет*
Валерий Калныньш

ISBN 978-5-9691-0341-2
ISBN 978-5-9691-0032-9 (общий)

© А. И. Солженицын, 2008
© Н. Д. Солженицына, составление,
краткие пояснения, 2008
© А. С. Немзер, сопроводительная статья, 2008
© «Время», 2008

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ
В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

УЗЕЛ III

Март Семнадцатого

23 февраля – 18 марта ст. ст.

Книга 4

ДЕСЯТОЕ МАРТА

ПЯТНИЦА

532

Сегодня приснилось, что Епифановна подаёт ему телеграмму. И он сразу почему-то понял, что телеграмма та — не простая, но — *астральная*. Павел Иванович взял её, она была не от руки написана телеграфисткой и не печатающим аппаратом, — а типографски. И сразу же он увидел: к ней есть и примечание, мельче, внизу. И по своей книжной привычке, большому вниманию к сноскам, он стал сразу читать не главный текст, а примечание. Однако буквы петита оказались чересчур мелки — или искажались, едва на них падал взгляд? — начинали плыть. Тогда он скорей поднял глаза на главный текст — но и тот был упущен, уже размывался. Ни слова не прочёл. И холодея понял, что это путает нечистая сила: не хочет, чтобы люди узнали важное глубинное известие.

Проснулся.

Сон показался таким значительным — сейчас же его записать, несколько слов на листок, при ночнике, потому что потом заспится — никогда не вспомнишь.

Что-то в этом было истое: какой-то посланный нам, но не доходящий до нас смысл.

Ещё только чуть брезжило, и Павел Иванович опять заснул. Но в это утро не суждено было ему покоя. Он оказался где-то в темноте, и кто-то невидимый, стоя сбоку, взял его кисть в свою руку и стал выразительно сжимать. И он — понял это предупреждающее сочувственное сжатие: сейчас он что-то увидит, что-то блеснёт и объяснится. Сжатье сильней — и нарастало в нём чувство: сейчас увижу! — сейчас увижу! — сейчас увижу! Отчасти страх, отчасти жажда увидеть, — и проснулся судорожно.

Отдышался.

Между обоими снами была несомненная связь.

Какие-то знаки посылались, но — неразгадаемые.

Уже взошло солнце. Были те короткие минуты, когда утренний луч пробирался справа мимо стенки трубы и переходил по свешенной вязовой ветке. Иногда вестник радостного утра, иногда безжалостен он был этой резкостью освещения, безпощадно вызывавшей к жизни.

От которой Варсонофьев всё больше отставал по скорости? отодвигался по высоте?

Но время ли так впадать в старость и в отдых? В эту тревожную неделю врывалось наружное и в его уединённость. Нет, начиналась такая пора, что и старые кости ещё нужны будут в дело. Его голос ещё послушает кое-кто.

Хотя вот Льву Тихомирову, с его отстоянной годами одинокой позицией, гордей бы посидеть дома. Зачем он нуждался унижаться, идти являться к новым властям, — увеличивать их значение?

За эти дни Павел Иванович сделал несколько выходов — в университет, в городскую думу, в так называемый «комиссариат», и посидел в Английском клубе в публике на расширенном заседании Комитета общественных организаций, а сегодня был зван в кинематограф «Арс» на заседание кадетской партии.

Не успели ещё миновать дни событий, как городская дума уже была занята их увековечением. Сильно хромой, но непоседливый, энергичный Челноков, со своим хорошим протяжным московским акающим говорком, просил и собирал ото всех «воспоминания об этих днях», как будто всё уже установилось и не было дела важней. А может из-за того, что ему приходилось уступать пост городского головы, он спешил теперь навёрстывать в истории. Да и все члены думы, — правомочны ли, демократичны ли, всё это теперь заколыхалось, — спешили укрепить себя постановлением о воздвижке грандиозного Дворца-памятника в честь безсмертного переворота, и уже посланы были чиновники узнавать цены строений на Воскресенской площади и во всём Охотном ряду: всё это предстояло снести и срыть для увековечения. (А — жалко было Павлу Ивановичу Охотного ряда.)

Пост городского головы уже предлагался Астрову, но лукавый самоуверенный Астров не хотел принимать, ожидая себе более важное назначение в Петрограде, очевидно в правительстве?

Варсонофьев с удивлением наблюдал эту их напряжённую заинтересованность в новых постах — как будто они совсем не понимали ничтожную шаткость их в ураганном размахе событий.

За восторгами от быстроты и безкровности они теряли ответственность за судьбу страны: ещё во что, ещё во что это перельётся дальше? Неужели такой сильный ток Истории, едва начавшись, может так мирно улечься?

Вообще москвичи считали себя обойденными: они столько вложили в раскачку Освободительного движения, так часто ступали впереди Петербурга — а вот их всех обошли, кроме князя Львова никого не взяли в правительство, ещё Кокошкина там допустили поблизости, — и тем жарче москвичи теперь хором требовали, чтоб Учредительное Собрание собиралось в Москве. Теперь громко заявляли, что революцию подготовил более всех Земгор — а он возник в Москве. А в Петрограде вечные туманы и сырость влияют на психику тамошних людей, и те забывают о насущных нуждах страны. Москва же — центр народного движения против царя, средоточие общественной мысли, колыбель России, — и пора навсегда покончить с петербургским периодом нашей истории.

Оно-то бы и правда, Учредительному — конечно место в Москве.

А комиссариат — то бишь теперь вместо градоначальства — занял генерал-губернаторский дом на Тверской. Там распоряжался, расхаживая под неснятыми портретами всей династии, придавая жестами себе энергии, — хлопотливый, суетливый, недалёкий врач Кишкин, до сих пор управлявший санитарной деятельностью, по которой и выдвинулся из Союза городов. Главная же задача комиссариата была теперь: борьба с возможной контрреволюцией. А выдвинулся Кишкин на том, что 3 марта, в день сумасшедшего революционного трезвона, — ни с кем не сговорясь и никем не уполномоченный, решился показать, что и сам он демократ и вся городская дума, — и, хотя ещё никто не знал тогда об отречении царя, — выступил, что царь «для нас» не нужен.

И сейчас на вопрос Варсонофьева, как он думает овладеть положением, Кишкин нервно отвечал:

— Да не бойтесь вы демократии! Не пугайтесь Совета рабочих депутатов! Вот я работаю с ними уже несколько дней — и не могу себе представить организации более сильной, лучшей и правильно смотрящей. Вы сходите туда сами!

Тут к Кишкину добился режиссёр Большого театра и просил назначить третейский суд ему с хором: хор теперь обвиняет его, что он в царское время был слишком требователен.

Павел Иванович побрёл в университет. Там в богословской аудитории он застал заседание профессоров на тему: моральное очищение университета; и — можем ли мы мириться в наших рядах с теми, кто нас прежде дискредитировал; и — как нам участвовать во всеобщем становлении революционных взглядов. Решили создавать из профессоров лекторат — для распространения в населении здоровых понятий о государственном устройстве. Так взятая, идея была очень хороша: здоровые понятия о государственном устройстве ой как были нужны — и не только тёмному нашему народу, но и светлой нашей интеллигенции. Однако дальше всё сразу разделилось: а какие же понятия — здоровые?

Тут Варсонофьев не выдержал и подзудил их: вот например, всеобщее избирательное право — это здоровое понятие или нет? А если это только механическая схема, у всех на виду, идея примитивных умов? Единственно ли возможная основа народного представительства? Руководить — всё равно должно государственно-опытное меньшинство, — но к более тонкому построению власти долго и трудно идти.

Очень зашумели. Заострилось: так с какой же платформы лекторы будут объяснять? Одни предлагали: со строго академической позиции. Другие настаивали: нельзя никого лишить права выражать свои партийные взгляды, но можно обязать всех к такой общей платформе: война до победы и всеобщее содействие Временному правительству.

От университета поднимался Варсонофьев медленно по Никитской, как и все прохожие уставая от размеса перемолотого ногами, зернистого, не убранного с тротуаров снега, — и ощущение у него было, что во все эти его выходы, во всех местах, с ним играли какую-то недостойную игру. Пока он сидел невылазно в своём дряхлом домике, глубоко размышлял, видел тайные сны, слушал через форточку обезумелый колокольный звон — он и сам был богаче и предполагал богаче мир вне себя. Но если всё это великое свершение только-то и сводилось к сносу Охотного ряда, послаблению оперному хору, политической очистке профессорских рядов и ежедневному заседанию нескольких собраний в разных залах, из которых правильней всего смотрит Совет рабочих депутатов, — то стоило ли Варсонофьеву выходить? Что ему в этом мире делать?

Верней: пришла ли пора делать?

Ход революции оказался и пошлей — но и таинственней, чем он думал.

Проходя мимо «Униона» у Никитских ворот — должен был сойти с тротуара, обойти у входа группу арестованных, окружённых конвоем. Это были с белыми узелками или с пустыми руками, в штатском или в остатках полицейской одежды люди, жавшиеся, жалкие, напуганные, — медленно, по перекличке, запускаемые внутрь.

Варсонофьев спросил, ему объяснили, что это — полицейские и жандармы, свозимые из уезда. Тут, в кинематографе, им место предварительного заключения.

И Варсонофьев — вдруг вспомнил. Вспомнил, как в самом начале войны он с двумя студентами сидел тут в пивной, под «Унионом», — и сказал им что-то вроде: кто знает, ни вы ни я не знаем, что ещё в этом «Унионе» будет.

Не мог он в который раз ещё и ещё не удивиться — всеобщей тайной связи вещей.

533

Веру Фигнер девушки видели теперь уже не раз, и совсем вплотную: она была высшей руководительницей всего их комитета по помощи освобождённым политическим и иногда приезжала в их центральное бюро при клубе адвокатов. А как раз сегодня вечером их бестужевское отделение (в которое и Фанечка с Веронькой входили) устраивало в Театре музыкальной драмы митинг с участием Фигнер. И уж на сегодняшний день никак бы нельзя отрываться — но именно в 11 часов утра должна была вернуться поездом из Сибири «бабушка русской революции», как все поголовно звали её, — знаменитая Брешко-Брешковская.

И как же было удержаться, не встречать?..

Сорок четыре года назад Екатерина Константиновна, уроженка аристократической семьи, отправилась для пропаганды в гущу простого народа. Через несколько лет она была осуждена по знаменитому процессу 193-х к пяти годам каторжных работ, после каторги бежала с поселения, но неудачно, снова арестована и отправлена на Карийскую каторгу. А дождавшись амнистии по восшествию Николая Второго — скрылась от полицейского надзора и 10 лет была на нелегальном положении. К эсерам она примкнула при самом их основании. 10 лет назад снова была арестована,

жила в Сибири на поселении, уже 73-летняя бежала в мужском платьи с Лены, поймана, — и вот теперь возвращалась из Южной Сибири триумфально в Петроград — как символ полувековой борьбы за свободу! Небывалый момент!

Брешко-Брешковская была не на одно, а на два революционных поколения старше тёти Адалии и тёти Агнессы. Тётя Адалия, природнённая ко всей народнической традиции, решила непременно сегодня идти встречать «бабушку». Напротив, тётя Агнесса, строго преданная своей анархистской партии, не хотела встречать никого другого первого, кроме Кропоткина, когда он приедет. Хотя отдавала дань и Бабушке: она стояла у колыбели максималистов, это она вселяла в них нетерпение, что революция делается слишком медленно. Теперь отвалились многие спорности между партиями, как: признанье-непризнанье подполья, террора, участие в парламенте. Но и — всем было жаль покидать свои старые испытанные знамёна.

И вот тётя Адалия пошагала вместе с Веронькой и Фанечкой. Пошагали — потому что именно с тётей Адалией сесть на трамвай было совершенно невозможно, так давились и висели с подножек. Да и цветы в руках чтобы не помять.

А идти было — до Николаевского вокзала. Первоначальный маршрут Брешко-Брешковской был назначен через Москву, чтобы и там могли торжественно встретить. Но уже в пути кто-то где-то перерешил, и теперь она приезжала с вологодской линии.

На Бестужевских курсах занятий всё не было, хотя была резолюция слушательниц: приступить к ним с удвоенной энергией, но и к общественной работе. (По поводу занятий ещё одну сходку собирались делать. Было много идей: требовать увольнения слишком строгих профессоров; и чтобы больше не было оценки «весьма удовлетворительно», а только «удовлетворительно», пусть все будут равны; и вообще — соединиться с Университетом.) Профессора в эти дни мало появлялись на курсах, обслуга не убирала, в аудиториях мусор и даже окурки. Да ходили-то на курсы только на сходки, да один раз на митинг о текущем моменте, устроенный партией эсеров. Не от особой склонности к эсерам, а чтобы своими глазами посмотреть знаменитых революционеров: выступали там и были захлёстнуты прибоем оваций — Герман Лопатин и Кулябко-Корецкий. Многих лиц на курсах Вероня уже не видела незапамятно, от самой революции, например Ликони. А с другими, как

с Фанечкой, не разлучалась. Из общественной работы настолько не вылезала, что вот и с тётей поговорить было всё некогда.

Главную работу девушки вели по помощи освобождённым политическим. С утра, едва вскакивали, они неслись либо в своё центральное бюро, где с утра же неизменно сидела Ольга Львовна Керенская, либо — по городу со вчерашним заданием: собирать по домам пожертвования, добывать и устраивать квартиры, кровати, бельё, или закупать питание, или помогать устраивать медицинскую и юридическую помощь, или расспрашивать приезжающих о сидевших с ними, и составлять списки тех, и разыскивать навстречу — ведь не все же явятся и попросят. Работа была бы иногда изнурительна, если б не так благодарна своей пользой и человечностью: ведь помогали самым избранным людям, столько страдавшим за счастье народа! (Правда, в бюро являлись за помощью и многие самоосвободившиеся уголовные. Неприятна была роль отказывать им и объяснять почему.)

Ещё в затее было: создать музей ссылки, с предметами обихода ссыльных и заключённых, — и уже теперь, имея в виду эту цель, приглядывались и иногда выпрашивали у освобождённых какие-либо вещи.

Потомки будут целовать эти потускневшие кружки и изношенные одежды.

До вокзала дошли в половине одиннадцатого, и уже оказалось поздно. О, что тут творилось во дворах вокзала и на перронах — сбитая толпа, возбуждение, сколько учащейся молодёжи, и гимназисты, и партийные деятели, и, конечно, просто обыватели, — не протолпиться! Худенькую, слабую тётю Адалию так сжали, чуть не раздавили, Вероня и Фаня устроили ей защитную коробочку своими спинами.

Но какая у всех упоённая радость! какое ликование, лёгкость! С какой нежностью выговариваются свято-революционные имена — до Александра Фёдоровича Керенского (наш!) и Николая Семёновича Чхеидзе (наш!). Какое счастливое время! спали оковы с тел и душ. Вчера по Петрограду был слух, что царь сбежал из-под ареста, — ничего подобного, никуда он не сбежал.

И у скольких цветы — гиацинты, тюльпаны, хризантемы! Какая весна! Как засыпят сейчас Бабушку! Что за символическая встреча! Для съёмки приготовился кинооператор, а саму Бабушку ждали убранные вокзальные царские комнаты.

На боковых путях, на стоящие там вагоны и паровозы всюду уже взобралась публика — смотреть.

Затем вскоре раздалась марсельеза мощного оркестра! Думали: это уже подходит поезд, и потому играют. Ах, как великолепно!

Но что-то звуки шли не с той стороны: нарастали, потом стали ослабевать. Объяснилось, что это — по Знаменской площади проходила колонна солдат с оркестром, только и всего.

Как? А своего оркестра — на встрече нет? Ну, это даже обидно, даже оскорбительно, не могли предусмотреть!

Так — и поезд не подошёл? Нет, и поезд не подходил, передавали. Передавали спереди, потому что пробиться было никак нельзя.

Однако позиция девушек и тёти оказалась внезапно выгодной — с их ступенек, подъёмно ведущих из дворика на перрон, они хорошо увидели, как позади них толпа расступалась, расступалась — и бурно аплодировала и кричала.

И Вероня и Фаня увидели — и тоже закричали приветственно. Повезло им увидеть! — это шёл в направлении бывших царских покоев от автомобиля сам Керенский! За все эти революционные дни они видели его впервые! — и теперь просто выхватывали глазами! (Люди зашептали: он признаёт себя учеником Бабушки!)

Стройный, тонкий, он шёл с такой лёгкостью — изящной лёгкостью, но и лёгкостью героя. И в минуемой толпе не глядя ни на кого отдельно, он скользящей скромной улыбкой как бы отвечал им всем.

И какая сосредоточенная умность лица!

О наконец-то, о наконец же Россия в руках умных людей!

И — Фигнер была уже на вокзале. И были депутации от Архангельска, от Дерпта, от Великих Лук и от Вышнего Волочка.

А поезд всё не шёл и не шёл. С вологодского направления — не шёл. А из Москвы пришёл — и пассажиры и носильщики с чертыханием пробивались через толпу.

Настроение стало охладевать, цветы — повядать, ноги мёрзнуть. Но тётя Адалия воодушевлённо держалась твёрже девушек: для неё Брешко-Брешковская была живая героиня её юности.

По толпе передавали, что к двенадцати часам подойдёт иркутский поезд — и Бабушка будет в нём.

Но не шёл иркутский.

Толпа стала киснуть и редеть. Стало возможным проходить вперёд. Наши пошли туда дальше, на перрон. Да тут был весь интеллигентски-демократический Петроград, знакомые раскланивались.

Потом передали: запрошена станция Званка, иркутский придёт только завтра в 5 утра, но Бабушка с ним почему-то не едет.

Кто-то высказывал, что она — недомогла, сошла с поезда, и теперь приедет только 15 марта.

Но что ж, об этом не могли раньше узнать?

Такая досада!..

А уже когда вернулись к себе на Васильевский, позвонил им знающий знакомый: что запросили телеграфно Омск, — Бабушка не прибыла ещё и в Омск.

534″

(по свободным газетам, 10 марта)

ГРОЗНЫЙ ЧАС...

К НАСЕЛЕНИЮ, АРМИИ И ФЛОТУ

Граждане! Воины! Перед лицом надвигающейся и уже близкой опасности… Недремлющий враг стягивает всё, что можно, к нашему фронту. И если мы не сплотимся… Народу предстоит великий подвиг… Судьбы родины в ваших руках.

Подписали: *Львов… Милюков… Гучков… Шингарёв… Керенский…*

ВОЗЗВАНИЕ. 9 марта 1917.

Воины и граждане свободной России! Германцы накапливают силы для удара на столицу… Захват Петрограда положит конец новому строю… Солдаты, проникнитесь… Только повинуясь офицерам… Временное Правительство признаёт глубоко прискорбными и всякие самоуправные и оскорбительные действия в отношении офицеров… И пусть тяжкая ответственность падёт на тех, кто…

Военный и морской министр *Гучков*
Начальник штаба Верховного Главнокомандующего *Алексеев*

…Германия готовит страшный удар на Востоке. Русская революция мешает кровавому кайзеру. Вильгельм хочет восстановить в России старую династию… Россия благословляет свою чудную рать на одоление врага…

СУДЬБА ЦАРЯ. …Князь Львов ответил нашему корреспонденту: да, вчера мы обсуждали… Большинство склоняется отправить царя с семьёю в Англию. Вопрос об удалении династии из пределов России во

всяком случае не вызывает сомнений. Сейчас царь под арестом, меры пресечения приняты.

…Заядлые изменники Романовы, постоянно говорившие о необходимости предать русскую армию только для того, чтобы сохранить престол безумцу-царю и полупомешанной царице из нищих гессенских принцесс…

(«Русская воля»)

…Какое-то гнилое болото у них в душах… Император всероссийский, этот помазанник Божий, ненавидел Россию, и чтобы спасти свой сгнивший престол…

НА СЛУЧАЙ ПОБЕГА. По всем пограничным пунктам России и Финляндии разосланы телеграммы: принять необходимые меры на случай могущего произойти побега Николая Романова из Царского Села.

…Уверенно говорят, что Временное Правительство имеет точные документы, что Романовы желали повторить попытку Людовика XVI… И всегда склонные к сепаратному миру, а на этот раз ради реставрации монархии… Документы настолько серьёзны… Оградить Россию от укуса змей.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕСПУБЛИКА!!!

Петроградское дворянство, приветствуя Временное Правительство, изъявляет полную готовность предоставить все свои силы… Разослали телеграммы дворянствам других губерний…

К Временному Правительству. Мудрые избранники народа! Вы отважно решились стать у власти. Бездну знаний, мужества, таланта приходится вам проявлять. Исполинские задачи возложены на ваши плечи. Мы радостно выразили присягой свою полную покорность вам.

13-й Уланский Владимирский полк

…Отсутствие хлеба помогло родиться свободе, но дальнейший рост её немыслим без хлеба. Спешите снять с отечества страшную тень голода!

По последним сведениям, крестьянство уже начинает усиливать привоз хлеба на рынок. Теперь затруднения могут быть только временные.

…Из всех гарнизонов Петроградского округа получаются вполне успокоительные сообщения. В большинстве гарнизонов воинские части энергично пресекают попытки грабежей и другие эксцессы.

…Исчезают становые, урядники, исправники, стражники — а в жизни не произошло ни малейшего замешательства.

…местами краткие временные проявления пугачёвщины, ещё не проникшейся радостным величием времени…

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ ОТМЕНЯЕТСЯ в России единым росчерком пера первого народного министра юстиции… Отмена смертной казни — благороднейший дар воссиявшей свободы! Величайшая в мире революция — безкровно и завершится.

АМНИСТИЯ ДЕЗЕРТИРАМ. …Уклонение от отбывания воинской службы при старом режиме явилось последствием чрезвычайно тяжёлых условий в рядах войск. Особенно остро это ощущалось людьми интеллигентных профессий. Между дезертирами масса людей интеллигентных, которые оставляли фронт не из трусости, а от режима старого правительства. Теперь они с радостью готовы отдать жизнь, но боятся ответственности. Военный министр Гучков на вопрос нашего корреспондента… Никакого преследования к прежде уклонившимся, если они теперь явятся.

…Жандармы и полиция сидят под замком, а студенты их охраняют. Тут улыбнётся и мёртвый…

НОВЫЕ ПРИСЯЖНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ. Вчера, 9 марта, в московской судебной палате приведено к присяге 110 евреев — помощников присяжных поверенных. Общественный раввин Мазе обратился к ним с речью: «Отныне все сильные и благородные душой могут и должны развить всю энергию и мощь духа… Канули в вечность те времена, когда требовалось стирание национальной личности, отречение от своей веры… Всего более я радуюсь за великую Русь…»

…9 марта на общем собрании петроградской судебной палаты было приведено к присяге 124 еврея, помощника присяжных поверенных, и приняты в присяжные поверенные.

…Русский народ — демократ, это уже не раз отмечали наши публицисты. Изумительна культурность народного восстания…

ТРАГИЗМ ЦЕРКВИ. Черносотенная деятельность церкви, от митрополитов до сельского духовенства, неизбежно наводит на подозрение, что церковь по самой своей природе была связана с рабством. Трудно отказаться от этих подозрений. Но история русского освобождения помянет немало семинаристов добрым словом — сильную бунтующую мысль детей духовенства. 1905 год показал, что духовенство не всё сплошь занято черносотенным идеалом.

Обращение Святейшего Синода к чадам православной церкви.

Свершилась воля Божья… Доверьтесь Временному правительству все вместе и каждый в отдельности… Чтобы подвигами, молитвою и

повиновением облегчить ему великое дело… Да благословит Господь труды и начинания Временного российского правительства.

…Отцы церкви впервые свободно вздохнули при Временном правительстве.

Илиодор из Нью-Йорка сообщает, что едет в Россию. Пишет, что «утопит монархию в грязи». Книга его о Распутине «Святой чёрт» будет безплатно раздаваться народу.

АМЕРИКА И ГЕРМАНИЯ. На днях президент Вильсон сделает заявление конгрессу, что Америка фактически уже находится в состоянии войны с Германией. Русская революция уничтожила последнюю оппозицию в Америке против вступления в войну. Война уже признаётся начавшейся.

Заявление английского правительства в палате общин. На вопрос о безопасности бывшего царя… Нет причин безпокоиться за судьбу его и членов семьи.

ГРОБ РАСПУТИНА ВСКРЫТ. Цинковую крышку разломали на куски, каждый хотел взять себе. Это, говорили, на счастье, как верёвка от повешенного.

ЧЁРНЫЕ АВТОМОБИЛИ. Несмотря на наступившее успокоение — чёрные автомобили продолжают терроризировать публику. Вчера вечером появилось два новых чёрных автомобиля: один мчался с бешеной быстротой мимо Зимнего дворца, другой расстреливал публику в Лесном. Для поимки чёрных автомобилей по городу выслано три бронированных. Нет сомнения, что в ближайшие дни они будут пойманы.

…Дабы получить билет на право входа в Таврический дворец, надлежит обратиться с письменным заявлением к дежурному адъютанту. На следующий день заявившим объявляется резолюция коменданта и кому пропуск разрешён — выдаются билеты.

Подписал: комендант полковник *Перетц*

…Совершенно уничтожить повсюду названия «Александровский» и «Николаевский»…

ДЕКЛАРАЦИЯ ПЕТРОГРАДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. …Проект Венгерова был принят с поправками Иорданского, Ляцкого, Амфитеатрова… Ликует и трепетно волнуется Россия на всём своём великом протяжении… И могут ли не быть переполнены энтузиазмом сердца писателей русских при созерцании чудеснейшего из всех известных всемирной истории переворотов?.. Не литература присоединяется ныне к революции, а революционная Россия осуществила

то, что проповедуется русской литературой уже больше 100 лет… Радищев развернул знамя свободы. Первую оду вольности сложил Пушкин… Злая сатира Грибоедова, горький смех Гоголя… Достоевский — певец бедных людей… Тургенев — апостол освобождения крестьян… Некрасов — Тиртей русской революции… Гениальная сатира Салтыкова… Ослепительный успех революционной мысли Белинского, Чернышевского, Писарева, Михайловского… Великие изгнанники Герцен и Лавров…

Веруем и исповедуем, что свободный народ… что небывалый расцвет…

…Вставайте, товарищи художники! Слейтесь в единый весенний поток и с кликом «да здравствует свободное русское искусство!» смойте из дворцов искусства всю императорскую плесень и мишурную мерзость!.. Под красным знаменем революции организовать ячейку революционного правления.

…Митинг в Московском Художественном театре… Чувства святого восторга…

Чествование Грузинова. …Командующий сказал: «Я не стремился к тому посту, который сейчас занимаю. Но судьба поставила меня на это высокое место…»

Ташкент. Великие события приняты русским и туземным населением восторженно.

Киев. В городскую думу включены представители от еврейских организаций. Ночью проведены обыски в поисках Маркова и Замысловского, но тщетно.

Одесса. Собрание чинов полиции, городовых и представителей рабочих… Как обезпечить возможность искреннего служения полиции новому строю. Комплект городовых сокращается наполовину. Над зданиями участков — красные флаги.

Ялта. Местные чины Союза русского народа заявляют в печати о преданности новому правительству.

Царицын. Второй день пожар в тюрьме.

Саратов. Общество потребителей решило построить дворец Свободы.

Орёл. Появилась мука и керосин.

…В то время как города уже примкнули к новому правительству, деревня продолжает оставаться в неведении. Это может создать брожение.

В **Макарьевском уезде** крестьяне грозят разгромить земство, которое не озаботилось подвозом хлеба.

…С новым режимом домовладельцы могут попробовать перестать топить свои дома…

Открыта подписка на роскошное художественное издание **Русская Революция.**

КТО ВЕРНЁТ в Управление ТРАМВАЙНЫЕ РУЧКИ…

Деревенская девушка желает поступить прислугой, только не к евреям.

НУЖНА барышня-еврейка в интеллигентную семью к мальчику.

КУРОРТ ГУРЗУФ открыт круглый год. Первоклассная французская кухня. Аппартаменты по 3-4 комнаты, телефоны. Морские ванны во всех отелях. Итальянский оркестр. Верховые лошади.

Писатель-француз приглашает в качестве секретаря молодую православную даму или девицу симпатичной наружности, любящую литературу и совершенно свободную.

КАБАРЕ ПОДВАЛ открыт, Леонтьевский пер.

535

И всю жизнь Шингарёв, кроме работы, не знал ничего — но ещё так ему не доставалось. Как неуклюже топчутся два борца, всё схватываясь, всё норовя лучше подцепить противника, — так и он топтался, пытаясь охватить эти плечи необъятные, эту тушу непомерную своего неизведанного противника — продовольственной проблемы. Он прерывался лишь на короткий сон и на длинные заседания правительства, правда ещё на дорогу домой тратил время, потому что не захотел вселяться в казённую квартиру при министерстве — стыдно казалось (а удобно бы очень — и министерство, и правительство в одном шаге, на Мариинской площади). Всё же остальное время он тонул в этом море, пытаясь измерить его.

Он не из рук докладчиков, но сам должен был прознать всю глубину. Он был нов на деле, а нужно было действовать как давнишнему тут,

прирождённому. Весь окоём застилала проблема, как накормить сейчас армию, города и потребительские губернии.

Но и давние, и долгодействующие течения должны были быстро стать ему известны: как не прервать и даже установить прочней земледельческую статистику, без чего не будет видно вперёд; как не прервать смет по развитию земледелия в Семиречьи (надо признать, плодотворное наследство Столыпина); или как не подорвать обработку хлопка в этом году в Туркестане; или как укрепить школу Народных Искусств по развитию ремёсел. А дни революции навалили — на кого ж, если не министра земледелия? — ещё преогромную задачу: осваивать земли императорского пользования — Удельные и Кабинетские, — и передавать — кому? как? Это требовало не дней, а нужда была почти дневная — хотя б для того, чтоб не начали громить помещиков.

Трудно, трудно — но и как плодоносно это всё являлось! Так больно оторванный от изученных финансов — вот уже, за неделю, Шингарёв, кажется, сжился и с министерством земледелия. Да может быть даже оно было ему куда и родней, чем министерство финансов. Да всё родно, что делается для родной России, только уж определиться бы к какому-нибудь делу одному.

Но ещё и сами организационные формы не помогали, а скорей мешали ему. По сравнению с министром царским у Шингарёва система получалась как бы не запутанней: ведь он был повязан ещё постоянной связью с Советом рабочих депутатов, с его продовольственной комиссией, и совещательным советом, навязанным ему. Когда Шингарёв оппонировал Риттиху в последние недели Государственной Думы, он упрекал его, что надо больше слушать общественность, а с *развёрсткой* не торопиться. А вот набиралось у Шингарёва этой общественности с избытком, но от кипенья её ему не просвечивало облегчения.

И только сейчас ощутил и осознал Шингарёв, какою тяжестью висело на министре земледелия громоздкое Особое Совещание по продовольствию, которое Прогрессивный же блок и придумал: многолюдное совещание при министре малоответственных советчиков из общества. Ещё недавно, пока Шингарёв и его друзья были в оппозиции, такое совещание казалось им единственным способом вселить разум в правительственные действия. Но вот Шингарёв стал министром — и увидел всю обременительность, неоперативность, неуклюжесть этой затеи: она способна только отягощать и задерживать его действия, а в идеях Совещания он не нуждался: они сами были из дела видны. Теперь он изобретал предлоги, как бы этого Совещания вовсе не собирать.

Шингарёву неизбежно было опереться на свою систему продовольственных комитетов, — но как сложно и долго было их составлять! И каким образом взять советников от питающей деревни, как услышать голос самих крестьян? Общегосударственному комитету не через кого было начать работать, пока не будут созданы продовольственные комитеты губернские, уездные, волостные, — созданы спешно, да чтоб достаточный перевес демократии над цензовыми земцами, и чтоб

работники были деловые. Как набрать их всех быстро, толково — и особенно в волостях! — из кого набирать в волостях? кто готов к этой работе? Вот когда под горло подступило пожалеть, что Государственная Дума столько лет тормозила столыпинское волостное земство!

Сейчас предстоял самый опасный тяжёлый месяц полного бездорожья в центральных губерниях. Уже начавшаяся на юге распутица теперь будет продвигаться на север, а после снежной зимы она будет долга, и русская деревня со всеми запасами закроется на полтора месяца. До распутицы надо успеть собрать столько хлеба, чтобы всей армией и всеми городами просуществовать апрель и май. По всей Средней России надо было успеть подвезти зерно к станциям в самые короткие дни. Чтобы вся деревня как один человек бросилась доставлять запасы! Воздействовать на население надо было так быстро, как не могли успеть никакие законы, распоряжения и организационные меры, — воздействовать надо было пламенным словом!

Да такой путь воздействия был и более всего открыт, понятен и близок сердцу Шингарёва! Он даже предпочёл бы только так и действовать с министерского поста. Патриотический порыв — наше счастье, исцелитель всех наших недугов! Все планы дрожали и таяли из-за надвига распутицы, и оставалось только — снова и опять воззвать! Воззвать — к порыву людей. Самое простое — прибегнуть к человеческому голосу, подать его — о помощи! — и соотечественники, и мужички не могут не отозваться! Везите хлеб! Соотечественники! Меньше всего думайте о ценах и выгодах, а — везите хлеб! Если война требует жертв жизнью — почему ж не пожертвовать достоянием?

По бездорожью, по инертности — воззвание не дойдёт? Так — проталкивать его в крестьянское сознание! Пусть оно будет по церквям прочтено и разъяснено духовенством! И телеграфировать во все земства! И пусть уездные земские управы мобилизуют самых популярных общественных деятелей — на разъезды и разъяснения! В хлебородные губернии посылать комиссаров, эмиссаров: разъяснять крестьянам всю важность обезпечения городов хлебом.

Так первые дни из деятельности Шингарёва рождались главным образом только воззвания — то от имени Родзянки, то от целого правительства, то — особо к кооператорам, этой деревенской интеллигентной силе. Нужна спешная закупка и доставка хлеба к станциям и пристаням!

Хлеб производят крестьяне, но лучшая надежда получить его — через интеллигенцию. Если не интеллигентные силы будут агитировать за сдачу хлеба — то кто же? Постановил Шингарёв собрать в конце марта кооперативный съезд.

Однако прошла уже полная неделя Временного правительства, телеграф разнёс все воззвания по всей России, — а сани с зерном что-то слабо показывались на станциях.

Министр земледелия ещё продолжал делиться с печатью: да, все надежды возлагает только на общественную самодеятельность… На местах уже осознали и приступили к ликвидации доставшегося нам тяжёлого наследия… Продолжал искренне так говорить — но сам уже начинал и разочаровываться: воззвания воззваниями, но только государственные меры могли по-настоящему решить дело.

Неделю назад его коробила разосланная Продовольственной комиссией телеграмма, дававшая *право* реквизировать хлеб у всех, чья запашка больше 50 десятин. А позавчера Шингарёв созрел — и телеграфировал по всей России циркулярно: всем уполномоченным по закупке хлеба для армии — эту реквизицию *привести в исполнение немедленно,* платя по твёрдым ценам. Он не только не отменил ту телеграмму — он усилил её!

О, если б на насильственную реквизицию хлеба решилось царское правительство — кадеты первые бы уничтожили его в Думе. Но сейчас, когда власть перешла в руки народа, а Думы как бы совсем не стало, — теперь революционная власть, не боясь нареканий парламента, могла декретировать хоть и эту меру, хоть и бóльшую: создать по всем губерниям и уездам энергичные хлебные комитеты — для добывания, вытягивания хлеба из русской глуби.

Теперь, вблизи, присматривался Шингарёв к деятельности своего предшественника Риттиха — и начинал сознавать, что тот делал на своём месте, пожалуй, наилучшее, что только мог. Разбираясь в кипах министерских бумаг, разглядывал теперь Шингарёв, что не в царском наследии было дело. В этом самом кабинете работавший Риттих (к счастью — ушедший от ареста, иначе это невыносимо мучило бы сейчас Шингарёва) — как бы оставил ему тут, в воздухе, и наилучшие советы. И Андрей Иванович начинал увлекаться тою системой, с которой так недавно боролся.

Как недавно, две недели назад, восклицал Шингарёв в Думе: политика мешает Риттиху делать священное дело продовольствия. «Неосторожно, господин министр!» Но сейчас именно политикой — революционной — была переплетена и перемешана вся хлебная работа Шингарёва. Как недавно высмеивал в Думе Шингарёв риттиховскую идею *развёрстки,* активного призыва населения к добровольным поставкам, — а идея-то была правильная. До Риттиха, с августа по декабрь, смогли купить только 90 миллионов пудов, а за декабрь-январь Риттих умудрился купить 160 миллионов, за что Милюков разносил его в Думе, а сейчас города и армия

только этим и переживали зиму. А сейчас — о если бы, если бы поступление хлеба было февральское риттиховское, которое кадеты в Думе назвали катастрофическим, — о если бы оно, мы пережили бы весну! Но доходили сейчас вагоны хлеба, заготовленные при Риттихе, — а новые никак не заготовлялись, несмотря на весь революционный подъём.

Кадеты и сам Шингарёв обвиняли Риттиха в его настойчивой громогласной хлебной развёрстке — как безчеловечной мере. А сейчас Шингарёв обдумывал те же самые проблемы как уже имеющий власть — и ясно видел, что развёрстка хлеба не только нужна и должна быть ещё форсирована (с некоторых губерний потребовано слишком мало), — но для спасения страны развёрстка уже слишком слаба. Если и предстояло исправить меры Риттиха, то, с удивлением видел Андрей Иваныч: не сдерживать их, не отменять, но резко усилять в том же направлении, вмешивать государство не меньше, чем было при Риттихе, но — больше, беря под государственный контроль и заготовку, и перевозку, и разгрузку, и распределение повсюду. (Да Андрей Иваныч и прежде так начинал подумывать — но перед единством кадетской партии не смел высказываться.)

То есть… то есть проступала страшная, отчаянная мысль: глядя на Германию (к ней давно уже приглядывался Шингарёв) …не пришлось бы вводить *государственную монополию* на хлеб? Реквизиции — это только начало, а за ними проглядывало множество насильственных мероприятий, вплоть до того, что: весь хлеб России объявить собственностью государства! (Как это и сделано в Германии.) Внезапно, по телеграфу, в глушь, отрезанную снегами и распутицей, объявить: за вычетом норм посевных, кормовых и продовольственных для самих крестьян — всё остальное зерно объявляется собственностью государства, и хозяева этого хлеба превращаются лишь в хранителей его, ответственных перед государством.

Идея была — страшная своей революционностью, своей необычностью для России: Шингарёв дерзал переступить черту, ещё никогда никем не переступленную за тысячу лет России, — отнять хлеб у сеятеля и кормильца!

Но для спасения самой же России ничего другого придумать нельзя.

Однако: по ценам, что есть сейчас, забирать хлеб насильственно и даже весь подчистую — безсовестно, невознаградно за труд.

Так неужели же? — ох, неужели? — надо поднять твёрдые цены на хлеб? Самим поднять, против чего так резко спорили? — это будет позор кадетского знамени! Этими зимними месяцами, вторым лидером кадетской фракции, никакого сомнения не имел Шингарёв, что твёрдые цены надо понижать. Но сев на министерское место — сам теперь увидел ясно, что их надо поднимать, как Риттих поднимал. Должны же оправдаться и затраты землевладельцев!

Нескольких разумных посетителей из деревни в эти дни успел принять Шингарёв, в том числе известного тамбовского помещика князя Бориса Вяземского, приехавшего на похороны брата, — с большим опытом в сельском хозяйстве и разнообразными способностями. (Шингарёв знал его по Усманскому уезду, уважал.) И между прочим, Вяземский предупреждал, что твёрдые цены не избежать повысить, если Временное правительство не хочет поставить всю деревню против себя.

Однако все эти свои новые догадки — осмелится ли Шингарёв высказать публично? Страшно перешагнуть через кадетскую совесть. Демократические деятели и сегодня бушуют, что нельзя поднимать твёрдых цен, но наказывать, наоборот, понижением цены всякого, кто задерживает хлеб. А что закричит Совет рабочих депутатов? Это поднимется такой свист и грохот…

Перед немым лицом бородатого серого мужика — страшно было Шингарёву сделать шаг в хлебную монополию, даже до холодного пота. Перед подвижными, быстрыми лицами демократических коллег — так робостно, стыдно было обмолвиться о повышении твёрдых цен.

****

А ТЫ ПРОВЕРЬ — ПРОЙДЁТ ЛИ В ДВЕРЬ?

****

536

За десять лет, предвоенных и военных, сэр Джордж Бьюкенен почувствовал себя в России чем-то большим, нежели посол: тесные, тёплые связи с русским обществом выдвигали его как бы в общественные деятели самой России. (Правда, по-русски он так и не научился.) Может быть, лучшим тут символом было, что в прошлом году Москва избрала его своим почётным гражданином, поднесла ему икону XV века и громадную серебряную чашу, изображающую шлем русского богатыря. В здании посольства у Троицкого моста Бьюкенен поселился не как временный посол, но как постоянный житель этой страны, перевёз сюда и всю свою личную обстановку из Англии, все свои вещи, всё, что имел, — ибо наша жизнь и есть наша повседневная, а не какая-то откладываемая будущая. (Когда начала бушевать по улицам революция, где-то кого-то грабили — можно и раскаяться, стоило ли всё сюда везти?)

В этом здании Бьюкенен часто принимал Родзянку, Гучкова, Милюкова, оппозиционных думских лидеров, здесь запросто очень свободные велись политические разговоры, и проклинался самодержавный строй, и императрица, и даже передавались слухи о заговорах, как и по всему Петрограду. Будучи человеком волевым и действенным, Бьюкенен не ограничивался этими благожелательными разговорами — но и сам выступал с влиянием. Министру Сазонову он просто стал близкий личный друг, и они пребывали в полном ладу, отчего так выигрывали англо-русские отношения. Узнав, что готовится смещение Сазонова, Бьюкенен совершил безпрецедентный для посла шаг: уже не имея времени даже для консультации с английским правительством — послал российскому императору личную от себя телеграмму: что посол так тесно работает с Сазоновым, что не может скрыть страха, какой вред его отставка причинит англо-русским отношениям, отчего и вынужден предостеречь царя от такой ошибки. А царь не ответил — и сместил Сазонова. (Министр сэр Эдуард Грей потом одобрил демарш Бьюкенена, и вообще его способ ведения дел в России, но, к сожалению, телеграмма стала известна немцам, и те окрестили посла некоронованным королём России.)

Так глубоко от сердца вошёл Бьюкенен в русские дела — не скрывал своих симпатий к стремлениям русских либералов и вместе с ними вёл следствие о несомненной государственной измене

Штюрмера (увы, несомненных улик не удалось собрать — а реакционность его была у всех на виду). Богатый опытом и практическим зрением, Бьюкенен не мог отказаться давать и самому русскому царю пояснения, объяснения и советы. Он пытался остановить его и от неразумного принятия Верховного Главнокомандования. Он указывал ему на аудиенциях, что для блага России — надо даровать ей парламентский строй и пойти на уступки общественности. Иногда предлагал ему кандидатов на то или иное министерство. В прошлом октябре очень рекомендовал царю подарить Японии Северный Сахалин — за то, чтоб она прислала свои войска на русский фронт. Вообще он усвоил разговаривать с Николаем II, как до него ни один посол не разговаривал с державным властителем. А после убийства Распутина запрашивал Лондон, можно ли энергично поговорить с царём от имени английского короля и правительства. Такого полномочия он не получил — и решил говорить от собственного имени. В эту последнюю аудиенцию, накануне Нового года, царь принял посла не в обычной непринуждённой обстановке, но в торжественном зале аудиенций, один, в парадной форме и стоя, сразу отгородясь холодом официальности. Но и это не остановило сэра Джорджа, и он энергично убеждал императора, что единственный способ спасти Россию — это отказаться от нынешней внутренней политики и уничтожить преграды, отделяющие царя от народа. У Государя — странный способ выбора министров, и отдаёт ли он себе отчёт в опасности положения? «Если Дума будет распущена — я потеряю веру в Россию! Вы, Государь, находитесь на распутьи и должны выбрать одну из дорог!» И предостерегал, что некоторые советники императора — в руках немецких агентов. И пока Протопопов у власти…

Всё тщетно! Николай держался оскорблённо, ничему не внял. И то была — последняя аудиенция. А революция, к счастью, назрела и прорвала, и вот уже была достигнута одна из целей, которые Англия преследовала: укрепить Россию для ведения этой войны.

И теперь, поворотом исторического колеса, вот, английский посол оказывался едва ли не распорядителем судьбы этого царя.

Два дня назад, выполняя пожелание Милюкова, Бьюкенен телеграфировал в Лондон, что Временное правительство просит предоставить в Англии приют бывшему царю и желает срочного ответа.

Такое приглашение не просквозило в телеграмме короля к царю (которую Временное правительство, видимо, не передало адресату, — пожалуй и к лучшему; да это — его дело). И такое пригла-

шение казалось невозможным, если знать всю обстановку в Англии и чувствительность либерального правительства Ллойд Джорджа к левым голосам. Но вопреки всем предвидениям и к полному изумлению сэра Джорджа, сегодня пришла из Лондона телеграмма, что король и правительство Его Величества счастливы присоединиться к предложению Временного правительства о предоставлении Государю и его семье убежища в Англии, — разумеется, если они будут обезпечены необходимым содержанием и, разумеется, лишь на время войны.

Это ново! Удивительный документ! Тут больше движения чувств, чем реальной политики. По дипломатической привычке сэр Бьюкенен перечитывал и перечитывал, выявляя невидимую часть… *Присоединиться к предложению* — вот где был ключ в телеграмме, вынужденной и вряд ли долговечной. Перед общественностью Великобритании правительство Ллойд Джорджа не могло представить этот переезд иначе как результат настойчивой просьбы Временного правительства.

Но была ли на деле такая настойчивая просьба? Из прошлых разговоров с Милюковым Бьюкенен не вынес впечатления о большой решимости правительства — и даже наоборот. Этим ключом и следовало отпирать.

По революционной обстановке Бьюкенен избегал пользоваться и своим автомобилем, и своим выездным фаэтоном с серыми в яблоках лошадьми с дрожащими ноздрями и роскошным кучером Иваном в синем наваченном толстом армяке, голубой четырёхуголке с посольскою кокардой, в белых замшевых перчатках, с голубыми возжами. Сейчас сэр Джордж предпочитал, чтоб не нарваться на оскорбления, скромно пройтись пешком по Миллионной до министерства.

В ту же минуту принятый Милюковым, он положил перед ним расшифровку телеграммы.

Милюков был облегчён — несомненно, он не ожидал столь быстрого и столь решительного ответа из Лондона. Облегчён — но и смущён:

— Но, сэр Джордж! Я уже говорил вам: мы никак не можем допустить, чтобы раскрылась инициатива Временного правительства в этом вопросе! Она должна остаться в тайне. Мы находимся под страшной угрозой и нареканиями Совета рабочих депутатов!

— Но, господин министр! — возражал посол. — Наше правительство также имеет своих крайних левых, с которыми должно

считаться. Мы тоже не можем взять инициативу на себя. Согласие, вы видите, пришло исключительно в ответ на вашу просьбу.

За очками Милюкова появилось совсем редкое для него умолительное выражение:

— Но в нынешней обстановке… Мы никак не можем выявить такой инициативы, сэр Джордж! О нас подумают…

— Но и мы, Павел Николаевич, не можем допустить, чтоб общественные круги не только Англии, но и России заподозрили бы английское правительство в намерении реставрировать русскую монархию.

Тупик.

— Примите во внимание, что переезд царя положит косвенную тень также и на французское правительство — как бы тоже в соучастии в попытках реставрации. Будут протесты и там.

Обсудили аспекты второстепенные. Чтоб император не покидал Англию, пока не будет окончена война? Да, это очень желательно и с русской стороны — чтоб он не стал где-либо игрушкою врагов. Содержание? — да, да. (Хотя: разрешат ли средства Государя вывезти из России?..) Снова осведомился посол, насколько сейчас прочно обезпечена безопасность бывшего императора? Один великий князь, не желающий оглашения своего имени, посетил дочь посла и предупреждал, что император будет убит, его надо вывезти поскорей.

Милюков с неожиданно живым движением очень попросил посла: не контактировать ни с какими членами сверженной династии! — это может бросить тень и на вас и на нас.

— Но ведь в России сейчас нет поводов ожидать какой-либо опасности царю? — настаивал посол.

— О, ни малейшей, — заверил Милюков.

Тогда Бьюкенен ещё, гипотетически:

— А отчего бы Государю не поехать в Ливадию? Там он будет и хорошо защищён, и его легко там изолировать.

— Увы, возможны неприятные задержки в пути со стороны революционных рабочих. И потом — семья ещё не выздоровела.

Посол ушёл, а Милюков остался со своим недоумением.

Несмотря на дружбу с Бьюкененом, он тоже не мог говорить откровенно.

Собственно, сэр Джордж сам его сбил позавчера, проявив слишком уж повышенное безпокойство о судьбе царя. Он сам подтолкнул Милюкова усилить, ускорить просьбу об отъезде царя в Англию.

Буквально такого поручения от правительства Милюков не имел. Это всё были — скользящие мнения, предположения, — а на самом деле правительство зажато Советом.

Да просто нельзя было ожидать от Англии столь поспешного — хотя по-английски и уклончивого — согласия.

Только ли оно! Русский посол в Мадриде князь Кудашев только что телеграфировал, что и испанское правительство приглашает Государя, и безо всяких условий.

Дело не в приглашении — дело в невозможности: что скажет Совет?

Да и сам Кудашев — слишком откровенный монархист, его следует уволить.

537

Так было тихо всквозную на фронте, что в солнечный день в лесу был слышен шорох: как подтаявший снег осыпается с сосен.

От череды дневных таяний и ночного морозца образовался наст. И на открытом поле он так и держится прочно, едино, поблескивая в солнце, а в местах осенённых вдруг со страшным шуршанием вдаются, опадают большие плиты корки.

В лесу (Саня забрёл в Голубовщину) там и сям по снегу темнеет какой-то сор. Это нашелушилась и облетела бронзовая прозрачная бумага — сосновая тонкая кора с верха стволов.

А где и потолще, это снизу ствола.

И немного игл, не досыпавшихся осенью.

А то — насорённая шелуха от десятка разгрызанных сосновых шишек. И мелкие следы, мельче заячьих. Живут!

У молодых сосен из концов веточек уже растут желтоватые свечи.

А небо — белесовато-голубое, нежное, ранневесеннее.

От солнца коже — прямое тепло. И где-то в воздухе — перемещение тёплых струек, между холодных.

И ото всего вместе — нежная тяга: когда же, наконец, начнёшь ту главную свою жизнь — чистую, светлую, необходимую? До каких же пор — окольные пути, война какая-то?..

Что-то в Сане отчуждалось от войны. Сам пошёл, два с половиной года долгом вгонял себя в военного человека, и даже втянулся,

даже почти безоглядно воевал, — а вот отказало что-то. Не стало совсем стрельбы, военных действий — и Саня сразу ощутил себя выключенным из войны.

Увы, его — не считали выключенным. И сегодня дали расписаться в приказе, что с понедельника он будет при фольварке Узмошье, при штабе бригады, через день обучать офицеров 1-го лейб-гренадерского Екатеринославского и 3-го гренадерского Перновского полков действиям с противоштурмовыми орудиями.

Странно это было сейчас.

За долгое стоянье здесь обучали кого чему, появились добавочные специальности. Устимович — газовый комендант, Чернега — по орудиям противоаэропланным, а Саня стал как бы специалист по выдвинутым вперёд одиночным орудиям против ожидаемой новинки — «танков», железных передвижных чудовищ, которые у англичан уже в деле, а у немцев вот-вот должны появиться. Танков ни разу ещё не было, но в январе Саня стрелял с передней линии по прожекторам, по нему отвечали — а он продолжал стрельбу и заставил прожекторы погаситься, — светили немцы потом ракетами, кострами, а прожекторов больше не зажгли. А потом еле укатили орудие, немцы дали по тому месту смертоносный огонь.

С того вечера подпоручика Лаженицына и признали окончательно — по противоштурмовым орудиям.

Но петроградские события — лишали это всё смысла.

Такое ощущение, будто кончилось санино дело здесь. Что-то надломилось и в войне, и ещё более в нём самом — и Саня разом потерял к ней вкус.

Немцы? — наверняка не будут больше действовать, появилась уверенность. Зачем это им? Они только рады нашей революции, руки развязались.

Даже энергичные честные слова приказа по армии Командующего Смирнова не собрали Саню к действию. Да и вряд ли кого многих. Они — искренно выражали, да не всё нынешнее состояние. В соседних гренадерских полках то одна, то другая рота отказались идти на работу — и оба раза ездили их уговаривать командиры полков. А потом и целый батальон — дошёл до работ и отказался. Так и возвратили его в резерв.

Если у войны была (вообще бывает?) душа — то она отлетела.

Ну и пусть. Ну и лучше.

Именно — к лучшему, может быть, это всё и происходит? Это общее тяготение к миру — разве оно не есть стремление к добру?

Бог посылает — расстаться с войной.

Но если душа отлетела от войны — то и не в революцию она вселилась. В три дня Саня насытился газетным революционным чтением — и стало ему скучно-прескучно. Всё писали о грандиозности событий — но не видел он в том никакой грандиозности, а обезумелую суету. Всё это огромное, непроворотливое, мутное — на сколько ещё времени?

Интересно, что Котя? Саня написал ему письмо, но встречного не было. Теперь он — чуть подальше, легко не съездишь.

Косо прислонясь к бронзовой сосне плечом, и головой к ней, а лицом жмурясь к солнцу, Саня стоял как подпорка ствола.

Такая подпорка зовётся *пасынок*.

А он хотел быть — сыном. Этого леса, этой весны, всего голубовато-солнечного огляда.

Он хотел вернуться в ту жизнь, какую знал раньше, когда совсем нет войны, и никакого ей оправдания.

Хотелось — этого мира! Размышлений. Уединения.

Чуть-чуть вот отъединись — и греет солнышко, попискивают клесты, и с дыхательным шорохом оседает отяжелевший снег.

Ясная тишина — и царствует над ней тайна Божья.

И хочется подняться к ней и влиться в неё как в самое своеродное.

Подняться к ней — как это сказано: от земного изгнания.

Что это? Предчувствие, что скоро убьют?

Нет, чувство такое светлое, не вяжется со смертью.

Голубизна неба — ещё несмелая, несплошная.

Вся глубина и яркость его — впереди.

*
* *

Ты воспой, воспой, жаворóночек,
Сидючи́ весной на проталинке.

538″

(по социалистическим газетам, 8—10 марта)

АРЕСТ НИКОЛАЯ II …считаясь с явно выраженной волей революционного народа, Исполнительный Комитет признал пагубным для дела русской революции как оставление Николая II на свободе, так и выезд его за границу…

Подробности ареста царя… В пути царского поезда к комиссарам Государственной Думы являлись с денежными пожертвованиями для жертв революции — всего 380 руб. 50 коп. — делегаты поездного состава, от кухонной прислуги и от дворцовой полиции. Делегат последней заявил: «Так же честно, как мы служили старому порядку, мы будем служить и новому правительству».

РАССТРЕЛЯТЬ? …телеграмма Н. Н. Романова, который, неизвестно по какому праву, продолжает именовать себя Николаем Николаевичем… Озабочен не осуществлением свободы, но поддержанием дисциплины… не отстаёт и начальник штаба Алексеев… Такие господа не свободу дадут, а военно-полевые суды, виселицы и расстрелы. Чего же смотрят Гучков и кн. Львов? Неужели они думают, что у Романова и Алексеева не найдётся верёвки и для них?

…Страна нуждается в мире, кто не понимает этого — тот враг народа. Мы желаем думать, что Временное правительство — не враги народа.

(«Рабочая газета»)

…Временное правительство — целиком из представителей буржуазии и землевладельцев. Таким образом, рабочие, разгромив монархию, добровольно сдали власть привилегированным классам. Это небывалая революционная скромность. Революция есть прежде всего захват политической власти. Это так легко было сделать, а рабочие упустили.

Резолюция на митинге солдат и рабочих 8 марта, 1000 человек. Это Временное правительство не является выразителем… Недопустимо давать ему власть над восставшей страной… Совет Рабочих Депутатов должен немедленно устранить это Временное правительство либеральной буржуазии.

…Московский СРД постановил: требовать от владельцев предприятий вознаграждения рабочим с 28 февраля по 6 марта…

…будем вырабатывать оружие для революционной армии, но оставляем за собой право в любой момент возобновить безпощадную забастовку…

…Решено к работам не приступать, объявить бойкот… Должны уплатить за прогульные дни революции!

Норма потребления хлеба уменьшена до одного фунта для лиц интеллигентных профессий и до одного с четвертью для занимающихся физическим трудом.

…Слой мелкой торговой буржуазии (лавочники, сфера обслуги) совершенно не нужен экономически и вреден политически…

Шлиссельбургская крепость горит четвёртый день.

Слушатели и слушательницы зубоврачебных школ! …Единственная форма свободной борьбы пролетариата за лучшее социалистическое будущее…

Общество студентов и курсисток мусульман… Глубокоуважаемый Александр Фёдорович! Вам, почётному члену наших организаций, шлём горячее слово привета…

…Товарищам марксистам-грузинам предлагают собраться для совещания о текущем моменте.

Товарищи часовщики! Мы переживаем величайший момент в нашей истории. Соберёмся в театре «Ренессанс» и обсудим..

Вниманию рабочих булочно-кондитерского, калачно-макаронного и хлебо-бараночного производства! Цепи, сковавшие наши руки, пали. С сознанием своего могущества приступим к созданию…

…высказаться по поводу всероссийского съезда **портных** в ближайшее время.

МИТИНГ ШВЕЙЦАРОВ. Говорили о политическом моменте и о тяжком положении швейцаров, дворовых и ресторанных..

Слуги реакции не сдаются… в Богородицке… в Рогачёве… Эти попытки должны быть подавлены на всём пространстве России с решительностью, достойной великой революции. Нельзя дать им опомниться от первого шквала революции! Ядовитую змею надо раздавить немедленно!

(«Рабочая газета»)

Временное правительство торопится закрепить армию приведением её к присяге — не свободе, а Временному правительству. А если

Временное правительство захочет оказать вооружённое давление на Учредительное Собрание? пожелает разогнать Совет Рабочих Депутатов? Опубликованный текст присяги — преступное покушение на права народа. **Свобода в опасности!**

Заём «свободы» — или заём порабощения? Новый министр финансов сообщил о новом грандиозном займе на нужды кровавой бойни… Одной России война в день обходится 50 миллионов рублей. Ни одной копейки не даст пролетариат, но сильней подымет голос!..

ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД «ПРАВДЫ». Недостаточно только записаться в партию и получить членский билет… Надо поставить себя на службу своей партии… Неутомимо вербовать… собирать пожертвования…

…206-я годовщина кнутобойства и злодейств дома Романовых: 5 марта 1711 г. Пётр I пристегнул эпитет «императорский»… Университет, Академии, учёные общества, театры — откажемся от этого позорного титула!

…Женщина-работница, спавшая непробудным сном столько долгих лет, в полном подчинении мужчине, проснулась! Вставай, русская работница! Подбирай ключи от счастья женского, отпирай замки!

ТОВАРИЩИ СОЛДАТЫ! …из главной кассы Управления Николаевской железной дороги… Прошу товарищей солдат сообщить, куда доставлены народные деньги, или вернуть их в главную бухгалтерию… Каждая народная копейка должна быть на учёте..

Товарищи писаря… приглашаются в столовую Главного Штаба для совещания об организации своего Центрального Комитета..

…Общее собрание лазаретных, связанное с переживаемым моментом. Отсутствующих из лазарета просят известить по телефону…

К товарищам трактирного промысла. Позорное самодержавие Николая Второго рухнуло. Переживаемый момент обязывает нас, «пролетариев зелёной вывески», приступить к организации наших распылённых сил… Соединиться с товарищами поварами… Обращаемся к Совету Рабочих депутатов, чтоб он зорко следил за Временным правительством, почти исключительно состоящим из консервативно-буржуазных слоев с явно монархическими тенденциями… И установить во всех трактирах, ресторанах, кафе и шантанах — 8-часовой рабочий день.

Потерявшийся мальчик **Николай Ионов** находится у солдата 4-й роты на Фонтанке… Просят родителей явиться за ним.

539

Изо дня в день перекладывали вопрос о печати: дозволить ли выходить всей печати без ограничения или правые газеты запретить? Но уже нельзя было оттягивать, просители не уходили из приёмной, надо было что-то постановить. Большинство ИК соглашалось, что разрешать все газеты без разбора — вредно. Но и разбор всё время производить — хлопотно. Да и действительно как-то неудобно стеснять свободу печати, упрекали свои же некоторые социалисты. И решили — все допустить, ладно. Но — зорко следить, что́ они там печатают.

Вопрос безпрепятственной печати сразу связывался с опасностями провинции. Революция не могла спокойно развиваться, не уверенная в провинции, — а провинция всё ещё клубилась тёмной невыясненной тучей: в любом углу можно было ожидать сгущения контрреволюционных сил и взрыва их. Появление правых газет могло бы этому способствовать. Петроградский Совет обязан немедля установить надо всей провинцией властный, жёсткий контроль. Но для этого и созданная иногородняя комиссия ИК оказалась неудачно составлена: один Александрович там был несомненного дела и готов был хоть сейчас ехать с револьвером и бомбами расширять революцию. А Рафес — столичный житель, привыкший к журналам, статьям, — никак никуда он ехать не собирался, да даже и мыслями вникнуть не мог в дела этих несчётных губернских и уездных городов. А уж тем более — Гиммер: он не желал опуститься с уровня интернационального до провинциального и быть, и дать себя считать кем-нибудь иным, кроме как теоретиком, направляющим всю революцию. Он уже несколько дней бродил с рассеянно-отсутствующим выражением, держа в руках стёртые в сгибах листы с проектом нового порученного ему Манифеста к Народам. И кто к нему на ходу обращался — он совал рецензировать свой документ. А на заседаниях, утонув в углу турецкого дивана, продолжал его править.

Другая же опасность росла в самом Петрограде — и это не было уступчивое Временное правительство, но — командующий Петроградским Военным округом Корнилов. За первые же три дня с его назначения тут начали на него поступать жалобы: он не выполнял всех требований Исполнительного Комитета, не снимал с должностей подозрительных офицеров, скрывал свои действия от

посланного к нему советского представителя, пытался в полках ломать солдатскую самодеятельность и насаждать прежнюю царскую дисциплину. А ещё и появилась в газетах заметка, что в корпусе его на фронте солдаты продолжают петь на поверках «Боже, царя храни».

И — пронзён был Исполком острым подозрением, что буржуазия его обманула: пока притворяясь сговорчивой, сама поставила на Петроград чёрного генерала, чтобы подготовить реакцию и переворот. Угроза была слишком близка и опасна, надо было разглядеть этого генерала получше и поговорить с ним начистоту. (Нахамкис и Александрович требовали: снять генерала безо всяких с ним разговоров.)

Кого же послать на разведку? Правильно было — из Военной комиссии, чтобы сколько-нибудь дело понимал, но и — нельзя было никакого офицера генерального штаба, потому что такая же дворянская кость и каста, такой же заговорщик. И сошлись — на кандидатуре Ободовского.

Странный был этот Ободовский: несомненно левый — но ни к какой партии не мог быть отнесен. Инженер — а толокся среди военных. И вот, послать на политическую разведку — так лучше его и не придумали. И вчера — послали, он имел переговоры с Корниловым. А сегодня, сейчас — на Исполнительном Комитете слушали посланца.

Ободовский говорил поспешно и так убеждённо, что не хотелось сразу ему и уступить. По его высокому нервному лицу гонялись морщины, он хлопал по лбу ладонью, как будто бил на себе мух, и подвижно оборачивался на возраженья, ещё более подвижными глазами успевая вперёд. Тридцать человек сидело в Исполнительном Комитете — он как будто каждого отдельно убеждал.

Вот в чём удостоверился Ободовский: кандидатура Корнилова выбрана исключительно удачно. Он настоящий воин, подлинный представитель фронта — карпатский герой, для солдат нельзя было выбрать более авторитетного, они его восторженно встретили в Совете, и офицерство сплошь за него. Корнилов совсем не противопоставляет себя Исполнительному Комитету — и хочет сохранить с ним контакт. Он даже сам предложил, что будет только тех лиц утверждать к занятию должностей, которых предварительно одобрит Военная комиссия. Он обещал не смещать командиров, избранных солдатами, и напротив — смещать тех, кто подозревается во враждебном отношении к революции. Все передвижения

войск готов согласовывать с Исполнительным Комитетом. Ободовский долго с ним говорил и просит членов Исполкома ему поверить: Корнилов вполне трезво усвоил истинное положение дел в Петрограде, реальное соотношение сил, — и может, и должен быть оставлен командующим Округа.

Вывод докладчика оказался неожидан, фигура Корнилова уже почти решена была к снятию, оставалось только передать требование Временному правительству. Но если так?.. А вызвать генерала сейчас сюда! вот прямо сегодня, на заседание к нам?! Посмотрим на него и сами убедимся. И факт, что он явится, тоже будет ему уроком подчинения.

Ободовский пошёл телефонировать.

Тем временем одни переходили к закусочному столу, не нарушая заседания, другие продолжали обсуждать текущие дела, которых был большой список.

Надо было послать приветствие товарищу Мерингу, в ответ на его приветствие. Одобрили. (Станкевич спросил у соседа шёпотом, кто такой Меринг, и очень уронил себя. Ну и набрали членов, — да вождь немецкой левой социал-демократии и биограф Маркса!)

Надо было… Да, вот… Стали клеветать на Исполнительный Комитет, что он неизвестно из кого составлен, что в нём заседают какие-то анонимы, неведомо кто такие, откуда взялись. А сами хватились — и правда: в журнале секретаря не было всех точных адресов, и даже не все истинные имена членов были известны другим товарищам.

И теперь Чхеидзе предложил, чтобы все немедленно сообщили Капелинскому свои подлинные имена и адреса.

Нахамкис рассердился: что же, мы подчиняемся самодержавной идеологии? Это при самодержавии нельзя было отлипнуть от своей фамилии — но и то, например, за ним установился и признавался его псевдоним Ю. Стеклов, — а теперь он должен отказаться от своего славного революционного прошлого?

Чхеидзе разводил руками: не отказаться, но общественность требует всё шире, ничего не поделаешь.

Станкевич, новичок здесь, заметил, как многие смутились. Но ведь не было теперь прямой опасности открывать свои имена. Так оттого, что, оглядясь, тут слишком много инородцев, — несоразмерно их численности и в Петрограде и в стране? Но это и следствие грехов старого режима, который насильственно отметал ино-

родческие элементы в левые партии. А не больше ли виноваты сами русские, что их тут нет, что они не нашли инициативы сюда пробиться?

Тут началось картинное, с актёрским изображением, сообщение Масловского, как он вчера устроил проверку царю. Смеялись. И сам Масловский понравился Исполкому: вот, при таком скромном виде, а какой великолепный революционный взмах оказался в товарище.

А Соколов будоражил дальше: итак, Исполнительному Комитету удалось вчера пресечь опаснейший заговор контрреволюции — похищение царя. Но об этом нигде не опубликовано, а — надо! Для авторитета Исполнительного Комитета очень выгодно показать, как мы реально контролируем правительство, в революционных массах возрастёт к нам доверие и уважение. И просил Соколов поручить ему сегодня вечером на пленуме Совета депутатов выступить с полным изложением вчерашней операции. (Уже не помещаясь в думском зале, сегодня первый раз собирали Совет в Михайловском театре.)

Соколов — как зуда: он когда чего-нибудь добивается, то никому уже покою не даст, даже всему Исполкому. Согласились: пусть — объявим; пусть — Соколов.

Но тут — с силой распахнулась дверь и решительно вошли, на ходу размахивая руками, — Гвоздев и Панков. Отчего они так, откуда? — не все сразу вспомнили: были на переговорах с фабрикантами. И вот…

Гвоздев — подошёл к общему столу, не садясь. Выпятил лоб с выражением недоуменно-радостным и потряхивал рукой, как в пожатии:

— Так что, товарищи, — договор заключён! Питерские фабриканты отступили по всей линии. Согласны на восьмичасовой!

Что поднялось! Вскакивали с мест, аплодировали, кричали «ура». Едва начали переговоры — и сразу 8-часовой! — и никаких хлопот Исполнительному Комитету! Да этого нельзя было представить! Десятилетиями боролся пролетариат, мечтать не смел — и вдруг, одним ударом!

А-а-а, напуганы буржуи, толстосумы!

Надо и дальше из них выжимать!

Но — наша, наша сила какова?! Кто мы есть, а?!

Так позвольте, товарищи, так если фабриканты уступили — теперь надо договориться с правительством о заводах казённых, и с

городом — о городских. Невозможно же одним восьмичасовой, другим прежний.

И пусть издают указ — по всей России! Не один Петроград! Победа должна быть всеобщая!

Вошёл Ободовский — и обнимал Кузьму.

Исполком не узнавал сам себя, многие так и стояли на ногах. Что ж мы за сила, а? Перед нами расступись!

— Корнилов — едет! — доложил Ободовский.

Ага-а! Ну, и судьба Корнилова тем более на волоске, если он сейчас только чуть-чуть…

Нахамкис крупно выступил вперёд и стал укладывать тяжеловесно:

— Товарищи, сейчас — не поддайтесь доверию. Помните, что перед нами — генерал старой закваски, царский пёс. Он конечно хочет революцию не только на этом закончить, но — повести вспять. Ни одного нашего требования — не уступайте! Вывод гарнизона — ни одной части! Все наши распоряжения по петроградскому гарнизону — безоговорочны! А какие реформы обещаны в Действующей армии — пусть делают, да поскорей.

После него резко выступил Эдуард Соколовский. Демократические реформы в армии только тогда станут возможны, когда будут назначены военачальники, подходящие для народа. Ни один сейчас главнокомандующий фронтом, ни один командуюший армией — не подходящий для народа, и Корнилов тоже неподходящий.

В защиту Корнилова никто не говорил, но стали всё же высказывать: а займём пока по отношению к нему выжидательную позицию? Подождём и посмотрим. Ведь он на посту — только несколько дней, посмотрим.

Скобелев говорил: нет и нет, слишком много против него подозрений.

Большевик Красиков предложил: вот мы его как проверим — требовать для всего петроградского гарнизона выборное начало. Хотя бы низшие офицерские должности чтобы были выборные. И посмотрим, как он отреагирует.

Этой глупости не мог Станкевич слушать. Эти большевики подступали уже комом к горлу. Ведь среди них ни одного военного, а громче всех рассуждают о войне и об армии. Как вожак их Шляпников с очумелыми крайними лозунгами, как этот Красиков

и эти два жёлчных злых адвоката — толстый Козловский с лицом как жирная задница, и длинный, сухой, угрюмый Стучка. Среди всех большевиков тут поражал один Залуцкий, питерский рабочий, — мягкий, печальный и так озабоченный, будто кто-то из близких его долго и безнадёжно болен. Однако же и он голосовал заодно с остальными. Станкевич ещё молчал, привыкал тут, а придётся с ними столкнуться.

Пока Корнилов не ехал — объявили перерыв.

И в этом разброде — он явился, в сопровождении нескольких офицеров.

Нет, вид у него был — никак не царского генерала и не петербургского. Не взнесенный, не отблещенный, не вскручеусый, никак не белокостный барин, — а скромный, тихий, — как фельдфебель, почему-то бы вдруг произведенный в генеральский чин. Да даже и не немецкий и не великоросский вид, так наполняющий офицерство, — а смуглый, калмыковатый.

И этим видом своим и тихим рокотом голоса Корнилов сразу обезоружил почти всех членов Исполкома.

Стал подряд со всеми здороваться за руку, поглядывая внимательно на каждого. А затем и сел на первый попавшийся стул, боком к столу, — и вокруг него рассаживались члены ИК где кому придётся, уже не в виде заседания.

Свита генерала стояла поодаль, а из других советских комнат и из Военной комиссии тоже стали собираться, любопытствуя. Сразу набилось, нажалось к стенам, целая толпа. А кто и курил, дым висел. Но разговаривали с Корниловым только те несколько, кто сели против него (ни Чхеидзе, ни Скобелев туда и не попали, не попал и Станкевич, единственный офицер в Исполкоме). Разговор получился запросто, беседный.

И совсем просто, ещё специально не допрошенный, Корнилов сам спокойно сказал, что он хотел бы работать в согласии с Исполнительным Комитетом. Что сам — очень нуждается в помощи Исполнительного Комитета, для того чтобы восстановить в войсках дисциплину, сплочённость и единую волю к победе.

Ну, не так сразу и просто.

— Но признаёте ли вы революцию? — допрашивал его Козловский.

Да, конечно.

Тут же Соколовский:

— Но готовы ли вы защищать её от всякого нападения?

Да, конечно.

А каким он нашёл гарнизон?

Не стал восхвалять революционность гарнизона, но и не бранил, а сказал, что надеется — всё может постепенно направиться, если терпеливо отнестись.

Очень выгодное впечатление он производил, члены Исполкома стали успокаиваться.

Однако Гиммер, тоже из любопытства поспешивший к Корнилову поближе, свои бумаги засунув в нагрудный карман пиджака, поверить не мог, чтобы царский генерал так простодушно относился к революции. Слушал он его простоватый голос — не верил, смотрел на его солдатское лицо — нет, это — лукавое было лицо, а глаза не внимательные, а — насмешливые, с огоньком насмешки! Он насмехался над ними всеми тут!

И как только вообразил, что это всё — сплошь насмешка, — страшная представилась ему картина, потопление революции в крови, снова Галифе! И решил Гиммер сейчас срезать Корнилова и разоблачить.

— А скажите, господин генерал, — прокричал он, нагибаясь вперёд через плечи сидящих. — (Станкевич заметил некоторое изумление генерала и подосадовал: как назло перед ним подобрались даже карикатурные лица, и как раз ни одного русского, — вот и будет судить об ИК.) — Уже несколько дней буржуазная пресса ведёт игру на немцах — что добытая свобода может погибнуть от Вильгельма. И даже что наступление начнётся прямо на Петроград, и даже уже собирается кулак. Что вы об этом думаете, господин генерал?

Корнилов прищурился-прищурился, и в этой мине нельзя было разобрать, то ли он сам этой буржуазной лжи стыдится, то ли не выдерживает пронзительных взглядов допросчиков.

— Конечно, — сказал он тихо, — если дисциплина пошатнётся — может ослабнуть и наше сопротивление.

Гиммер не удовлетворился, он хотел прямого отказа: — Но, генерал! Но где основания для паники? Распутица, бездорожье, от фронта до Петрограда — семьсот вёрст?

Он мог бы и ещё аргументировать, да это было бы неполезно: попробовать стать на точку зрения Гинденбурга: неужели немцам *нужно* наступать? неужели им не кажется самым удобным то, что сейчас у нас происходит?

ДОКУМЕНТЫ — 21

Берн, 10 марта

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ РОМБЕРГ —
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, Берлин

Шифровано. Совершенно секретно.

Выдающиеся здешние революционеры имеют желание возвратиться в Россию через Германию, так как боятся ехать через Францию — из-за подводных лодок.

Берлин, 10 марта

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ М.И.Д. ЦИММЕРМАН —
В СТАВКУ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

Так как в наших интересах, чтобы в России взяло верх влияние радикального крыла революционеров, мне кажется уместным разрешить им проезд.

540

Когда над Лавром Корниловым грянуло назначение на Петроградский военный округ, то в двое суток пути, помимо смущения, уже испытал он в себе разворот кругозора для нового поля. Хоть совсем неожиданно свергли царя — но непоправимого Корнилов в этом ещё не видел. Правда, и Гурко предупреждал, какие ждут его в Петербурге горланы и пустоболты. И в Ставке Алексеев предупреждал, что в Петрограде — зараза, и не слишком надо доверять новым властям. Но и вступая в должность, Корнилов в приказе ещё без сомнения подписал, как ему составили в штабе: теперь только сплочение, дисциплина, твёрдость — и победа решена!

Но дальше с первых же часов он увидел, что если и сохранялся тут оплот, то только военные училища, да ещё, пожалуй, артиллерия и казаки. Остальной же гарнизон обнаружился в омерзении. В запасных батальонах все учения прекращены, и необученные солдаты в возбуждённой праздности гудят о свободе. И унять их некому. Унтер-офицерский состав здесь слаб и тоже распущен революционными днями. А офицеры, и прежде недостаточные по штату и временные, без устойчивых связей с солдатами, теперь частью разогнаны, частью в растерянности, некоторые на положе-

нии выборных, во главе рот — прапорщики, и Корнилов не мог отменить выборных и вернуть назначенных. И вымести агитаторов из казарм невозможно из-за комитетов — как гнилое бревно, всаженное в каждый батальон. А очиститься от комитетов — тут в Петрограде нет сил ни у кого, это Корнилов понял быстро.

Корнилов был поставлен правительством — но само правительство и военный министр боялись каждого шороха и действовать не смели.

Ну что ж, попал к ним как заложник от честного фронта. Ушица вместе, а рыбка пополам.

Затем была какая-то Военная комиссия, существовавшая вне всяких штатов и уставов, ничего полезного она делать не могла, и единственно правильное было — её разогнать, но и этого Корнилов не мог, она связана была с Советом рабочих депутатов и опять же с военным министром.

Скрепить офицерство, поднять его дух? Офицеры и сами пытались, но жалкое то было зрелище. В Доме Армии и Флота они собирали свой тоже Совет — офицерских депутатов, уравновесить солдатских депутатов, — и вчера вечером Корнилов посещал их собрание и выступал там: что возврата к прошлому не будет, вот арестована царская фамилия. (Про себя — неприятно.) И оценил, что ничего весомого из Совета напуганных офицеров не выйдет.

Генерал Корнилов не мог действовать в Петрограде так, как хотел, пока не будет иметь здесь собственную военную силу, верные крепкие, не запасные, части. Но такие части можно привести только со стороны, — а это теперь не позволит Совет рабочих депутатов. И какие-то части взамен из Петрограда вывести — тем более мешает Совет депутатов.

Да что там! Совет депутатов на второй же день прислал командующему Округом указание, что он должен сменить своего помощника, генерала! Именно этот помощник ему и не нужен был, — но какова же наглость Совета? Как же в таких условиях командовать?

А вчера для переговоров от Совета пришёл к Корнилову горячий поляк, инженер, правда понятливый. Он так прямо и говорил: вся сила — у Совета. И этого не оспоришь. И был вынужден Корнилов обещать покорность, позорную для командующего: что все утверждения в должностях он будет проводить через Военную комиссию.

А сегодня эта самочинная лавочка Исполкома прямо вызвала командующего к себе на заседание! И хотел бы Корнилов вгоряче послать их к чёртовой матери, но понимал, что нельзя. Чтобы вытащить из грязи разваленную колымагу гарнизона — надо было ни разу не выйти из себя. И он, не откладывая, сразу же и поехал на это новое испытание и унижение.

Никаких там хмуроватых рабочих не увидел, а всё белоручки, все с выражениями значащими, а то и заносчивыми. И поражало — что почти вовсе не было русских. А когда сели — то прямо перед ним оказались какие-то резко наскочливые наглецы. И почему же именно они — управляют?

Метали — «конъюнктуру», «плутократию», «империализм». А патриотизм назвали — иезуитским понятием.

Эге-е, на вашу тонкость да не нашу простоту! Толковать им тут о всеобщем единении было бы безполезно. А о чём тогда другом?

И, скрывая своё недоверие, а ещё больше свою сердитость, Корнилов поглядывал из глазных щёлок на собеседников, обсевших его, и, притворяясь попроще, мурчал им о восстановлении внутриармейского единства.

Теперь-то он понял, что представитель Совета, два дня как прикомандированный к штабу Округа, не именно сам по себе был прощелыга, и присылаемые от Совета бумажки, кого снять и кого назначить, не случайно были сволочные. Просто весь спёртый дух в этой комнате ничего общего не имел с воюющей армией.

Да всё вчерашнее безобразие в Царском Селе, насилие над начальником гарнизона, разврат караула, проверка царя, — разве не этими типами, вот отсюда, было затеяно? Да не здесь ли и этот мерзавец, который вчера туда ездил проверять царя? Не теснится ли тут за плечами, высматривая теперь лицо генерала? По-настоящему, уважающий службу военный человек должен был бы сейчас потребовать от них наказания этого мерзавца — и только потом допустить себя к разговорам. Но не Корнилов, а Временное правительство так поставило, что опутаны были липким руки-ноги генерала. А оставалось сужать глаза терпеливыми щёлками и простодушно заявлять себя сторонником революции и что это честь для него — командовать революционным гарнизоном.

Распущенной бандой.

Но и правда, по вине же Временного правительства попадал генерал в глупое положение с немецкой угрозой: правительство, Гучков, как пугая детей, распечатали, что немцы готовят кулак на

Петроград, а Корнилов не мог же вслух признать, что правительство врёт, плетёт, теперь как-то надо было поддерживать, — и подвергнуться тут наскоку с завизгом, а справедливому. И бормотать в ответ непонятное.

На обратном пути из Таврического, просто по дороге, Корнилов заехал на Кирочной в казарму. Ещё не знал точно, чья это казарма, лучше б не заезжал: жандармского дивизиона.

Безоружные, перепуганные, измученные жандармы были выстроены перед ним — и жандармский оркестр играл уже разученную марсельезу.

Так и стало в ушах надолго.

А сам Корнилов не так же? — принял в штабе развязного корреспондента «Биржевых ведомостей». И, уже привыкая к сетям здешней петроградской безпомощности, он, боевой генерал, должен был опять нести чушь: что произошедший переворот — верный залог нашей победы, в тылу — и есть самая важная победа, теперь осталось победить только на фронте. И что только Свободная Россия может выйти победительницей из такой войны. И приветствовать гучковскую реформу армии, во время войны, — мол, действительно назрела и неблагоразумно излишне отягощать солдат дисциплиной.

Уж там — что он сказал, а корреспондент что ещё приписал? Корнилов всё это выговаривал, как бы морщась внутри черепа. Его ум по непривычке всё не справлялся: зачем этот вздор нужно повторять?

Но так сложилось в Петрограде, что, только повторяя вздор, можно было надеяться сделать какое-то и дело.

541

До чего же могут замотать политики простого честного генерала! Избирая военную карьеру и потом служа сорок лет, никогда Алексеев не готовился попасть так нечисто. Как бы холодная грязь и муть обволокли и тело и сердце за последние дни — и уже как о чудесном времени вспоминал он о тех месяцах, когда не нарушало ему службы ничто, кроме болезни. Уж как он бывал и был в службу воткнут — и болезнь не могла его отклонить от исполнения долга, полными часами дней и вечеров сидел и читал,

и вникал, и писал, и рассматривал, — а вот нашли такие дни, что и самая простая работа валится из рук, не разделяемая рассеянной душой.

Немало далось ему усилие скрывать от Государя подготовляемый арест и запретить его прощальный приказ. Но невозможно служить двум господам, и уже избрал Алексеев за себя и за всю российскую армию — служить Временному правительству. Однако ещё третий и сильный хозяин — Совет рабочих депутатов, ударил палкой по голове, а Временное правительство не спешило защитить Алексеева. И в этом-то ударенном состоянии — и ощущении, что обманули его самого, — досталось Алексееву вчера проводить в Ставке присягу Временному правительству, присягать самому и пригласить к присяге вместе со всеми ставочными офицерами также и двух-трёх великих князей, состоящих тут. А затем давать телеграмму правительству: сего числа все чины могилёвского гарнизона и штаба принесли присягу на верность… твёрдо верую, что новое правительство с помощью Божьей внесёт успокоение стране…

А из Петрограда навстречу — пьяные телеграммы Совета депутатов: арестовать уже арестованного царя!

И за всем тем как-то отступил ещё один подготовляемый обман: великого князя Николая Николаевича. Ведь он-то тем временем ехал, приближался к Ставке! Шли четвёртые сутки от решения Временного правительства отставить великого князя — и почему же никаким способом по дороге за все эти сутки не могли сами известить его, остановить? Будто бы посылали распоряжение в Ростов-на-Дону, а там упустили великокняжеский поезд, может ли это быть? Единственный путь через Ростов. Будто бы посылали потом офицера с письмом от правительства — но и этот офицер разминулся с великим князем.

Ещё знал Алексеев от английского генерала Хенбри Вильямса, представителя при Ставке, что уже и его привлёк посол Бьюкенен, и его тоже втайне подготовили убеждать великого князя подать в отставку, — так опасались министры упорства князя, что прибегли и к послу.

И вот — знали в Ставке теперь они двое с Вильямсом да Лукомский с Клембовским. Но — молчали…

Как просил Алексеев Гучкова и Львова приехать в Ставку самим объявить решение великому князю! или прислать сюда письмо! Нет, они хотели и эту неблагодарную работу выполнить

руками Алексеева, пусть показывает ленту телеграфного разговора.

Но кроме этой ленты десятки и десятки приветственных телеграмм от армий, корпусов, крупных городов лежали и ждали приезда князя, — и что-то же они весили! И пожалуй, не меньше той ленты. И до сегодняшнего мига Алексееву было видно, что отрешение великого князя — безумный акт, противоречит интересам армии и страны. И как же они в Пятнадцатом году все сплошь хором, эти же самые, негодовали на отставку Николая Николаевича, как буйно доказывали, что только он один и может быть Верховным, — и вот?.. И Армия же, правда, хотела великого князя. И всё переобъявить должен был почему-то Алексеев, вопреки своим убеждениям.

Ответил Львову: категорически нет! Пусть шлют письмо.

Был момент: обещали прислать с отрешением Поливанова. (В Пятнадцатом году с тем же самым присылал его и Царь.) Нет, отменили.

А между тем, вот, сегодня, в четыре часа пополудни, Николай Николаевич приезжал в Могилёв!

А письма из Петрограда, ни какого-либо объяснения так и не пришло.

Вот приезжал Николай Николаевич — и неотвратимо было сегодня встречать его, и разговаривать с ним, и делать полный вид вступления в Главнокомандование? — опять мучаясь обманом и в тоске ожидая, как бы это решилось помимо наштаверха.

Встречать? Но, зная, что великого князя через несколько часов отрешат от должности, — нельзя же было встречать его на вокзале полным составом штаба! Но и: пока он оставался у должности, нельзя было и не встретить его почётно.

Эту безвыходность Алексеев разрешил так: набрал для встречи несколько генералов не у дел, оказавшихся в Могилёве даже и случайно. Конечно и Лукомский с Клембовским. И так получилась вполне почётная встреча, и тёплая, и вместе с тем частная. Мог подумать Николай Николаевич, что Алексеев не хотел отрывать штабных от работы.

Так ли понял великий князь или просто был в сверхвеликолепном настроении, но укор не промелькнул на его красивом долгом лице. Великодушие было в его первом окрестном взгляде на этот вокзал, полтора года назад покинутый при таких уни-

женных обстоятельствах, и в рукопожатиях его длинной быстрой руки.

Он был в кавказской форме, при своём высоченном росте очень грозный в ней.

Да, он был в рост со своею армией и с долготою её линии фронта! Да, он был счастлив вернуться наконец на своё настоящее место, к своим настоящим обязанностям!

Не сам он, но князь Орлов, но адъютанты рассказывали встречавшим, что весь переезд от Тифлиса до Могилёва был сплошной овацией великому князю. На Дону казаки долго скакали вровень с поездом. В Харькове подносили хлеб-соль рабочие, даже совет депутатов.

Великий князь приехал командовать — с полномочиями, с надеждами и любовью всей России.

И как бы хорошо! И пусть бы!

В открытом автомобиле, рядом с Алексеевым, хозяйски поглядывал на Могилёв.

Приехали в здание генерал-квартирмейстерской части — сказал великий князь, что не желает даже отдохнуть с дороги. Не имеет необходимости осматривать и апартаменты свои в соседнем доме, после Государя, всё это устроится без него, — а он желает немедленно приступить к деятельности!

Надеялся Алексеев ещё несколько часов потянуть, а там приспеет отрешительное письмо, — нет, к деятельности!

Что ж, сказать самому? Невозможно, как через сердце собственное перевалиться. Будешь какой-то интриган, подсидчик. А великий князь так горячо, требовательно, проницательно смотрит.

Ну что ж, если к деятельности, то сразу в государеву комнату, где Государю делались ежедневные доклады. (И так удержать великого князя от обхода всех помещений Ставки, что, кажется, с удовольствием он сейчас бы предпринял.)

А пришли в государеву комнату, где Государь бывал и тих, и невелик, — Николай Николаевич сильно задвигался, не помещался в кресле, обхаживая стол, откидывал венские стулья, устремлялся то к одной картовой стойке, то к другой, — выпирал из этого малого пространства.

Так начать с того, что подписать самоприказ о вступлении в должность Верховного? (Приходилось совершать невозвратимый

шаг — но ведь и не слали же никого!) Бумага была уже заготовлена.

— Надо принести присягу Временному правительству, — нашёлся возразить Алексеев.

— О конечно! Завтра же утром!

Николай Николаевич сел в кресло, сильно кверху выдаваясь над столом, взял перо, длинноголовый, остроусый, энергичный, готовый к высоким тяготам.

Перепробовал несколько перьев.

Ещё что-нибудь изобрести в помеху? остановить? Ничего не придумаешь.

Сильными росчерками подписал.

Итак — Верховный.

Алексеев стоял рядом с ним — принять бумагу, и чувства его раздвоились. Досадовал он, что Временное правительство так мямлит, вот совершается лишнее действие, но ещё больше склонился: а — хорошо бы работать с великим князем. В себе не находил Алексеев грозной силы повелевать двенадцатью миллионами. А в великом князе она сгущалась. И — какая! При такой всероссийской поддержке — да стукнуть бы ему сейчас кулаком по столу, да и не вздумать уходить!

Пожалуй, и не решилось бы правительство против него бороться.

Вот — эти поздравления, приветствия ото всей страны. Главные из них.

С открытым удовольствием стал Николай Николаевич читать, читать, предшествуя ими дело, — и ещё веселел и крепчал от них.

Мог Алексеев распорядиться ещё и другую пачку приветствий принести, обширней. Может быть, так и затянуть вечер? — тоже упустил, недогадливость сегодня какая-то. Ту пачку отдали уже адъютантам.

А Николай Николаевич встал, журавлиными шагами иссёк, иссёк комнату, — та-ак! Он — хотел бы немедленно работать! Может ли Михаил Васильич представить ему сейчас общим очерком положение дел в Европе и положение на всех фронтах?

К этому Алексеев был всегда готов: и все бумаги у него проработаны и подобраны, и в памяти полный след.

Да такой разговор и открывал пути искренности, освобождал от напряжённой двусмысленности: делать лишнее и каждую ми-

нуту ждать подноса петроградского письма — а что потом? А потом — великий князь не подумает ли, что Алексеев участвовал в обмане? Уж-жасно всё колется.

Итак, положение в Европе. Сперва — положение Центральных держав. Германия уже выкачала из своего народа все возрасты от 17 до 45, теперь Оберкоммандо требует ополчения до 60 лет, не исключая и женщин для работы в тылу. Тем не менее армии Антанты превосходят армии Центральных держав на 40%. Рацион немецкого населения доведен до голода. Химики изобретают суррогаты для замены хлеба и жиров, изобрели для лошадей суррогат из соломы и древесины, наши части захватывали. И в Германии, и в Австрии — упадок народного духа, жажда мира. Подводная война, начатая немцами в январе, хотя и подрывает флот союзников, но не видно, чтобы могла его уничтожить. Зато она надвигает вступление в войну Соединённых Штатов, — и может оно произойти буквально на этих днях. Это, по сути, решает войну, положение Центральных становится безперспективно. Несколько дней назад, вот уже в первых числах марта, немцы, не вынужденные союзниками, внезапно отступили между Аррасом и Суассоном, на фронте в 100 вёрст и в глубину до 30, — это в местах, где так кроваво давалось им продвижение. Такое сокращение фронта — верное доказательство недостатка сил. Альтернативно можно было бы предположить переброску войск к нам на Восточный фронт — но ни по времени года, ни, особенно, по нашим революционным сотрясениям, не предполагает генерал Алексеев наступления немцев сейчас против нас.

Великий князь слушал не формально, остро смотрел карты, смотрел цифры, видно, очень соскучился по большому размаху. Эта манера отличалась от того доверчивого покоя, с которым всегда выслушивал доклады Государь. Происходила как бы действительно передача дел? Смешанная горечь: привык Алексеев все дела иметь в одних своих руках — но и заслониться великим князем от революции как бы хорошо?

Сейчас Россия удерживает 157 пехотных дивизий противника и 30 кавалерийских, что составляет 49% его сил. Правда, германских дивизий из этого только половина. Ещё, как ты знаешь (они — на «ты»), одна наша дивизия послана к союзникам в Салоникскую армию, почти корпус — во Францию. Но и без Кавказского фронта у нас сейчас перевес и штыков, и батальонов, и сабель, — назвал крупные цифры. Артиллерийское снабжение к этой

весне — выше всяких похвал. К марту уже изготовлено и на складах — 72 миллиона выстрелов, — вдвое больше, чем мы израсходовали за всю войну, до сих пор.

Да, никогда ещё за всю эту войну соотношение сил и перспективы не были столь обнадёжливы и даже уверенно победоносны. Труд невидимых миллионов суммировался в конце концов, и мускулатура огромной России проявляла своё превосходство над германской. Если бы — не революция…

— Сколько всего мобилизовано?

— За всю войну — четырнадцать миллионов триста.

— А сколько сейчас в Действующей, со всеми тылами?

— Шесть миллионов восемьсот.

— А в Петрограде сколько запасных?

— Сто шестьдесят тысяч.

Князь перестучал по столу крепкими длинными пальцами.

Но наш Северный фронт уже развращён близостью Петрограда и анархического Балтийского флота, который вообще потерял всякую боеспособность. Конечно, твой Кавказский хорошо удалён, но там свои беды, ты знаешь, нехватка железных дорог и даже полное бездорожье, безфуражье, — и что может дать продвижение там? Только тешить англичан в Месопотамии. На Румынском — вроде того же, и румыны не годны никуда. А вот Западный и Юго-Западный… Не видно путей и приёмов, как удержать от этой волны заразы…

— Я пытался издавать удерживающие приказы. Но не получил поддержки правительства. А газета Совета депутатов…

Даже больно говорить.

В Алексееве двоилось: то ли он правда передавал дела? — и тогда имело смысл жаловаться новому Верховному на правительство и на Совет. То ли ничего этого не будет, всё спектакль, — и тогда зачем же?..

А великий князь смотрел так светлоглазо, обещающе.

— Хорошо будем работать, Михаил Васильич. Ты конечно останешься на своём месте.

Передача дел — шла, и правила её требовали говорить обо всём. Перешли к Западному. К перспективности наступательного направления на Вильно и уязвимости направления Минск — Барановичи. Да и к Эверту же. Эверт, со всем его грозным воинственным видом, совсем размяк в новой обстановке, сел в галошу. Что исключительно удаётся ловкому Брусилову — льстить и обращать-

ся с общественными комитетами, то Эверт не способен, и сам уже просится в отставку, и Гучков его как бы снял, хотя это не его прерогатива. Рузский ладит с Петроградом, а Эверт…

Непосильно было Николаю Николаевичу слишком долго слушать — и не вмешаться. Слишком не распрямлено было его остроуглое тело без движения, и уже тянуло его взмахнуть дланью:

— Эверта — снимаю немедленно! — И даже почти не думая: — На Западный фронт назначаю Гурко!

Ого! Далеко же зашла передача. Это верно, из командующих армиями теперь, после опыта в Ставке, Гурко — старший и первый. Но… ?

— Заготовь приказ сейчас же, подпишу! — сказал великий князь, вставая из-за стола, на полную голову выше Алексеева.

И — что ж теперь? заготовлять приказ?..

Приходилось.

542

И опять пришли часы томительного ежедневного отсиживания на заседании правительства. Уже некоторые министры приловчились присылать вместо себя заместителей (уехавший Гучков был сегодня заменён двумя — сухопутным и морским), а Шингарёв не решался: и неудобно, и боялся что-то важное своё упустить провести. А свои горячие вопросы, которые ставишь на заседаниях, — они за одно заседание и не решаются обычно.

Сегодня он нёс — свой грандиозный, спорный и безжалостный замысел. Очень хотел бы с этого и заседание начать, потому что ничего важнее сейчас в России не видел. Но ему не дали.

Сперва сам князь Львов благодушно рассказывал о дальнейших мерах своих по сокращению министерства внутренних дел: департамент полиции, политический розыск, охранка, жандармский корпус — упраздняются в России навсегда! Это освобождает для государства значительные кредиты. Учреждается лишь временное управление по обезпечению безопасности граждан.

Затем, блистая как начищенный, именинником выступил Коновалов. Самое крупное событие произошло по ведомству его: сегодня петроградские заводчики согласились на 8-часовой рабочий день, хотя московские продолжают сильно возражать. Теперь че-

стью Временного правительства будет — как можно скорей и самому подравняться по 8-часовому дню: ввести его на всех оборонных заводах Петроградского района.

А здесь и состояло 70% всей военной промышленности России. Но заместители Гучкова не возражали.

Подумал Шингарёв: не слишком ли смело во время войны? Ведь не станут давать достаточно оружия. Но что-то было видно тем заместителям Гучкова, чего другие не знали: согласны.

И Коновалов, своим пенсне сверкая во все стороны, так же именинно просил теперь уполномочить его министерство подготовить введение 8-часового дня и по всей России, и по всем группам предприятий.

Уполномочили.

Ну, а уж раз вклинился, он и тянул всё своё: отпустить кредиты на разработку бурых углей; отпустить кредиты на подвозку нефтяного топлива по Мариинской системе.

Уже многие министры поняли этот главный смысл правительственных заседаний: просить себе кредитов. А Шингарёв всё стеснялся.

И опять же Коновалов горячо произнёс небольшую речь, что и его министерство считает своим долгом помочь всеобщей тяге в нашей стране к снятию национальных и вероисповедных ограничений. Это сегодня невозможно сделать по отношению к германским и австрийским подданным, но несправедливо далее удерживать талантливую, предприимчивую и богатую еврейскую нацию от безпрепятственного образования акционерных обществ и занятия любых административных должностей в финансовых, торговых и промышленных предприятиях.

Насчёт немцев Шингарёв не был согласен: он сам внёс проект, и правительство клонилось к принятию, — об отмене ограничений в германском землепользовании: их имения и участки процветали, зачем подрывать? Но тогда — и почему же не допустить в промышленность столько талантливых техников — немцев по происхождению, но верных русских по подданству? Эта шумливая чистка от немецкого засилия все военные годы была картой правых кругов.

Керенский, всё время сидевший непоседливо, даже боком к столу, нервными движениями показывая, как ему некогда, и ни к чему здесь быть, и не этим ему заниматься, — тут вслушался, встрепенулся и, всех перебивая, воскликнул воодушевлённо, от

глубокой души, от мечты: национальные и религиозные ограничения мы всё отменяем по крохам, в частных областях, — а что бы нам поспешить сформулировать универсальный закон об отмене всех этих ограничений сразу во всех областях жизни? Одним взмахом! Не поручит ли правительство министерству юстиции внести такой обобщающий проект?

И задумался, красиво держа голову, давая задуматься и всем.

Встретили одобрительно. Сразу и поручили.

Шингарёв порадовался. Он и всегда считал, что несправедливо сдерживать евреев какими бы то ни было ограничениями, в чём бы то ни было. Мы сами своею внутренней политикой толкаем их в непримиримость. Если мы хотим первенствовать, то просто мы сами должны проявиться талантливей, энергичней, настойчивей, последовательней, — а вот этой последовательности у нас всегда и не хватает.

И сразу тут же князь Львов дал слово Шингарёву.

Андрей Иваныч уже забылся, забаюкался, не ожидал, вздрогнул. А ведь он — решался! А ведь он решился! — высказать сейчас коллегам свои отчаянные, еретические и жестокие выводы.

Сейчас он произнесёт слова, которые невозможны среди демократов. Он представлял, какое возмущение загорится, как накинутся на него однопартийцы (никого из них он не предупредил!), а тем более Керенский.

Своим влажно-взволнованным голосом Шингарёв стал говорить — не кратко, сбиваясь, возвращаясь, то глядя в свои заметки с колонкою аргументов, то на коллег, взвешивая всю неслыханность, необычайность выговариваемого. Он искал, как же это подпереть: неизбежно нам предстоит перенять у Германии идею… нешуточная война требует и нешуточных мер… И министр земледелия не видит иного выхода, как…

Он воздвиг перед ними глыбы, под которыми они все тут сразу могли похорониться…

Безчеловечная хлебная развёрстка!

Насильственная реквизиция хлеба!

Весь хлеб России — собственность государства.

И — позорное поднятие цен на зерно.

Но он готов был выдержать любой натиск, потому что чувствовал за спиной — Россию.

Однако что это? Никто не выкрикивал возмущённо. Никто даже не пытался перебить или воскликнуть. А когда Шингарёв стал

помётывать взглядом на своих кадетов — на твёрдые очки Милюкова, ироничные губы Набокова, угрюмо-подозрительного Некрасова, затем и на других, — он ни на одном лице не увидел ни сильного движения, ни удивления, ни пробуждения. Сидели так же ровно, скучно, полуусыплённо, как ничего не заметя.

Ещё не веря успеху, Шингарёв спешил оговориться, сбалансировать. Разумеется, на ту же Германию глядя, можно понять, что продовольственное снабжение не решается изолированно от всех других видов снабжения: железным инвентарём, кожами, тканями, керосином, всеми предметами широкого потребления. И всё это надо — одновременно. Но от этого только трудней. Значит, надо наложить жёсткий государственный контроль и на промышленность?..

Да он сам для себя ещё ничего не решил! Он и предлагал на их суждение. Он готов был и настаивать, и слушать, и исправляться.

Однако Милюков, уже не первое заседание: и присутствуя — как бы радужно отсутствовал, был так переполнен своими успехами во внешней политике, что не считал важным ещё вникать, что́ тут происходит кроме. Чего он чутко не спустил бы, не простил бы с думской скамьи, — то равнодушно пропускал сейчас.

А Набоков не был министром, и не спрашивали его мнения тут же.

А Мануйлов был по просвещению, и то едва не тонул.

Некрасов волчисто смотрел, но молчал, — то ли для себя выжидая, кто будет за что.

Очень грозно-значительно выглядел чёрный Владимир Львов, но не пошевельнулся.

И только Коновалов успел возразить, что для промышленности такой жестокий принцип принять — значит подорвать производство.

А кто друг с другом переписывался записочками.

И неожиданно для себя Шингарёв безо всякого боя получил санкцию на переворот всех хлебных отношений в России. С ласковой улыбкой резюмировал князь Львов, что, оставляя пока в стороне промышленность, министру земледелия поручается разработать главные основания реформы о хлебной монополии.

Керенский — слышал ли о монополии? понял ли? — но рвался со своими срочными вопросами, звонко стал излагать их. Во-первых, необходимо оплачивать командировочные для петроградско-

го окружного суда. Во-вторых, надо огласить в печати обнаруженные в департаменте полиции денежные расписки депутата Маркова-второго в получении денег из секретного правительственного фонда. В-третьих, как отнесётся Временное правительство к тому, что прежним судебным следствием некоторые финляндские граждане привлечены по обвинению в государственной измене. Хотя среди части финского населения и действительно распространены симпатии к немцам, но в этом виноваты мы сами. А было бы очень нетактично таким обвинением сейчас будоражить финляндское население. В-четвёртых, сообщается Временному правительству об уставе Чрезвычайной Следственной Комиссии и правах её производить осмотр и выемку корреспонденции.

Приняли к сведению. Согласились.

Какие-то подобные нужды были и у Некрасова, и он стал их уже выкладывать, когда министр юстиции вспомнил в-пятых: теперь, когда приносят присягу войска, неизбежно принести присягу и членам Временного правительства.

— Вот, — голос Керенского стал насмешлив до резкости, — Юридическое совещание предлагает форму присяги… Но тут много уступок традиционным формулам, не слишком ли это старомодно?.. Обещаю и клянусь перед всемогущим Богом?.. В исполнении сей моей клятвы да поможет мне Бог?.. Да стоит ли нам-то… ?

Помялись. Так-то так, но надо не оскорбить и слух народа.

— И потом, господа, наш спор ещё со дня отречения Михаила: как определять нам самих себя: правительство, возникшее волею народа — или по почину Государственной Думы?

Тут вступил Набоков и особенно просил, чтобы никто не оговаривался и не употреблял прежнего опозоренного названия «совет министров», но все бы употребляли только «Временное правительство».

Да, ещё же, самый важный вопрос! Исполнительный Комитет желает иметь постоянные контактные встречи с правительством. И значит, — оглядывал министров доброжелательный премьер, — надо нам выделить из своей среды кого-то, трёх-четырёх, постоянных делегатов на эти контакты.

Очень испугался Шингарёв, чтоб его не выбрали: тогда — безконечная говорильня, торговля, и всей работе гинуть.

Но его и не предлагали. Возглавил комиссию сам князь Львов. А следующий так же естественно предполагался Керенский, — но

он стал резко отказываться, мотать головой, что как раз именно ему совершенно неудобно — противостоять товарищам по левым партиям.

Признали, уважили его нежелание.

Думали — Милюкова, но он ледяно отказался. Ему такая роль виделась унизительной.

А Некрасов и Терещенко, напротив, сами выдвинулись, очень хотели. Их и выбрали.

У Милюкова вот какая забота: Палеолог задумал дать банкет в честь полного состава Временного правительства. Это, конечно, мило и приятно — но какие это вызовет кривотолкования в Совете рабочих депутатов.

Увы, увы. Надо, Павел Николаевич, тактично отговорить французского посла. Просить его отказаться от этого замысла, понять наше положение.

Теперь ещё такой вопрос: что делать с бывшими царскими поездами? Их — пять, и они великолепно оборудованы для поездок. Если кому понадобится из правительства. И неужели теперь их разорить?.. Жалко.

Но и оставить одиозно: что́ о нас подумают?

Милюков решительно заметил, что эти поезда могут понадобиться для иностранных гостей, например.

Склонились так: оставить три лучших — собственный императорский, заграничный и императрицы Марии Фёдоровны. А свитский и пригородный — упразднить. И будет пополам.

Дальше потекли назначения, назначения… Отставного полковника Грузинова назначить постоянным командующим Московского военного округа. …Казённую продажу питей поручить профессору Политехнического института Фридману. …Разрешить бывшему государственному секретарю Крыжановскому свободное проживание в Петрограде (опасается ареста).

Что-то сегодня всё заседание промолчал обер-прокурор Синода Львов, но с самым значительным дегенеративным выражением, зловеще прокатывая глаза и черня бородой.

Он — ещё не открывал им своей ярости, не пришёл час. Он был оскорблён, заножён, разъярён вчерашним внезапным непослушанием Синода, даже если не забастовкой архиереев! И он готовил удар: расчистить эту святую братию!

Но ещё не всё про себя решил.

543

В плане своей поездки только одно Гучков упустил: ведь в Ригу надо ехать черезо Псков. Снова по той же бездарной дороге его сомнительной поездки — и снова через тот вокзал, не принесший ему настоящей победы. И снова видеться с Рузским, участником и свидетелем той ночи? Почему-то очень было неприятно.

А вот что: если проезжать Псков ночью — можно и не видеть ничего, и не видеться. И не обязан министр начинать поездку с Главнокомандующего фронтом, может сразу проехать и к командующему армией. Так и решил. Но поезд задержался и вышел из Петрограда вчера вечером довольно поздно, так что во Псков попадал всё-таки на раннее утро.

И прицепленный к нему вагон военного министра тоже оказался не слишком подготовлен: в салоне по-прежнему ввинчены в стену портреты царя и царицы. Но подхватчивый Половцов энергично и охотно взялся сейчас же их и вывинтить. Тут же сам это и сделал, с помощью писаря.

Высокий ростом, лихо-воинственный видом, в папахе Дикой дивизии, постоянно подвижен, остроумен, проницателен, Половцов очень импонировал Гучкову, такого коренного военного и вместе с тем столь находчиво-насмешливого очень не хватало поблизости, да у него оказался и письменный слог так же отличен и отточен. А Половцов сразу упросил взять в поездку и своего приятеля, корреспондента «Таймс» (пусть союзники знают о поездке министра!). Ну пусть.

Ещё ехали в вагоне с министром два адъютанта (теперь не было Мити Вяземского…), фельдъегерь и писарь с машинкой.

И караул из юнкеров-павловцев. (Юнкера остались в Петрограде одной настоящей военной силой.)

Ночью Маша продолжала подлечивать мужа, следила за лекарствами.

Во Пскове рано утром Гучков просил не раздёргивать занавесок, он даже видеть не хотел этого перрона, вокзала и башни водонапорной. Постояли — тронули, Гучков подумал, что всё обошлось, миновали.

Но спустя час в дверь купе раздался тонкий отчётливый стук Половцова. Оказалось: во Пскове ожидал их и вошёл в вагон гене-

рал-квартирмейстер Северного фронта генерал-майор Болдырев: комендант вокзала предупредил штаб фронта о проезде военного министра. Рузский, видимо, обиделся, не явился, а Болдырева Половцов уже час поил чаем и находил, что — умница. Может быть, Александр Иваныч его примет, неудобно?

Да ничего другого и не оставалось, вот и вставать, а думал ещё полный день отлежаться в вагоне.

Болдырев был по типу «младотурок», с подвижным умом и зубоскальством над порядками. Но через его насмешечки видно было, что и он ошеломлён: творился какой-то зловещий цирк, неуправляемые солдатские толпы врывались в канцелярии, штабы, арестовывали генералов или полковников и даже убивали.

Оттого ли, что в устной передаче, но всё это вдруг проступило Гучкову с живостью, — слушал он, слушал — представил: да ведь и его, военного министра, вот так же может арестовать толпа солдат? Чем он так уж недоступнее этих генералов?

А на станциях, узнав о проезде министра, выстраивались почётные караулы, ждали толпы железнодорожников и жителей, а то и местный гарнизон, и надо было выходить к ним с речами. Гучков призывал к единению против коварного врага — ему кричали: «Да здравствует первый народный министр!» — и несли к вагону на руках.

От голоса утомлялась грудь, и на перегонах он ложился, а Маша опять прикладывала холодные компрессы.

Унижало это безсилие в важнейшие дни жизни.

Впрочем, если б он был сейчас и совсем здоров, — он не представлял, что бы сейчас такое должен был первое спасительное делать. Понятно, что уходят часы и минуты, а что делать — непонятно.

Генерал Болдырев так и остался с ними в вагоне. Естественно было ему теперь доехать до армейского штаба.

В Ригу дотащился поезд — уже было темно. На вокзале ждала огромная толпа, выстроился почётный караул Финляндского драгунского полка, на его штандарте — большой красный бант. Трубачи играли марсельезу.

Сколько ни причислял себя Гучков к военным людям, и в поездках надевал полувоенные мундиры, — но первый раз его встречали как генерала, он ощутил гордость и прилив сил. Принял почётный караул от драгун и моряков, поздоровался с войсками, поздравил с новым государственным строем и просил поддерживать его. А навстречу выступил с рапортом Радко — тяжелоголовый, круглолицый, с раздавшимся подбородком.

После рапорта тепло обнялись и поцеловались. Ещё дошумливала музыка и общий гул, а Радко сказал Гучкову близко: поступили сведения, что террористическая партия намерена в Риге убить прибывшего Гучкова.

Гучков — поразился. Нет, он не испугался, как пугаются трусливые люди, но его обожгло. Обожгло не столько страхом, сколько обидой: неужели безумный террор способен обернуться и против *них*, против нового правительства, против самой революции? Это уже было чудовищное извращение мозгов.

А толпилась на площади — масса, и покушение ничего не составляло произвести.

О, нелёгок будет путь революции!

Надо было ехать к Радко в штаб. Подавали автомобили. В один приглашали Гучкова с женой, но он решил разъединиться с Машей и позвал сесть с собою Болдырева:

— Ваше превосходительство, едемте со мной: не хочу, чтоб дети лишились одновременно отца и матери. Вот, собираются меня убить. Что делать, доля риска необходима.

— Да, — ответил Болдырев, — это маленькое неудобство вашей профессии.

(А про себя подумал: не спросил Гучков — а у него, у Болдырева, есть ли дети? — зачем ему садиться с министром? Неудобство выявлялось не только для министра.)

Да, Рига всегда бывала полна революционерами — а такой и связи в голове не возникло, когда наметили ехать сюда.

Всюду с домов торчали красные флаги.

Слишком медленно тянулась кавалькада автомобилей, слишком медленно. Ехал первый народный министр — и густые конные наряды охраняли его от народа.

Но всё обошлось благополучно — и Гучков невольно повеселел и поздоровел.

Предварительно, в тесном кругу высших офицеров, посовещались с Радко. Даже начальник штаба у Радко — и тот ведь был смещён Гучковым под угрозами солдатского гнева, — Радко этого не одобрял: такая уступка может повести к капитуляции. Впрочем, он был уверен, что к началу военных действий дух армии восстановится.

Безупречно был охранён их штаб — но в темноте колыхалась Рига, переполненная совсем неизвестными людьми и агитаторами из Петрограда, — и волны их уже бились в тыловые линии Север-

ного фронта. Немец не шевелился от самого дня революции, и даже может быть плохо, что не шевелился: оттого резвей вели себя агитаторы, и разъедающая опасность налегала сзади.

Назначили на завтра благодарственное молебствие в кафедральном соборе, затем парад войскам, совещание в штабе армии, затем посещение миноносца, нескольких местных революционных комитетов, приём депутаций.

Потом — ужинали, вместе с двумя членами Думы, уже объезжавшими фронт, — Ефремовым, видным членом Прогрессивного блока, и комиком Макогоном. На обоих висели Георгиевские медали, которые дал им Радко за посещение Пулемётной горки. Было и дело: депутаты рассказывали о солдатских пожеланиях, и Половцов записывал для поливановской комиссии. А потом депутаты смешили всех рассказами о своих похождениях на фронте в эти дни.

И в безунывной бодрости Ефремова и в хохлацком юморе трезвого Макогона вдруг представилась вся эта революционная армейская катавасия — весёлым недоразумением, которое наш рассудительный народ оборет, очувствуется, не вступит в бездну, — и даже весело будут вспоминаться эти дни всеобщей растерянности и головокружения.

И Гучкова — самого потянуло рассказывать смешное, а он тоже умел. Нашло ему рассказывать о Протопопове, о его несомненном полном сумасшествии, как он ходил по лестнице задом, разные анекдотические случаи, очень смеялись. Сейчас уже странно было, что этот ненормальный мог руководить и Государственной Думой, и нашей парламентской делегацией в Европу, и министерством внутренних дел. Всё отошло как сон и вспоминалось смешно.

Нет, одолели мы то, одолели неодолимое — и нынешнее тоже одолеем!

Но остались с Радко вдвоём — и тот мрачно говорил о своих тылах, неподвозе, разболтанности железных дорог в несколько дней, без жандармов, и повсюдном непослушании офицерам.

Он придумал, что раз уж комитеты неизбежны, то выбирать смешанные солдатско-офицерские — до дивизии, до корпуса, до армии, и может быть только так мы ими управим. Вчера уже и начали такие выбирать: они будут поддерживать внутренний порядок, разрешать все недоразумения между офицерами и солдатами — ну и, само собой, бороться против контрреволюции. (По Риге развесил Радко приказ: ни в коем случае никогда не петь «Боже, царя храни».)

Идея таких комитетов Гучкову очень понравилась.

544

Императорский Михайловский театр оперы и французской драмы — никогда, никогда не грезил увидеть сегодняшнее зрелище! Сегодняшнюю публику!

Первая тысяча и вторая тысяча — в грубых сапогах, шинелях, бушлатах, папахах, фуражках, не снимая их, ещё не отбросив недокуренной махорочной цыгарки (где-нибудь на пол там), — пёрла и пёрла во входы, без всякого контроля, прихватывая и любопытных с площади, глазела на невиданные залы, на люстры, на лепку, путалась в системе перекрестных лестниц, через один этаж, и, чертыхаясь, перелезали к дружкам через перила, и пробивались наконец в главный зал, столбенели от пышного тёмно-жёлтого занавеса с государственным орлом и вылепленных девок по бокам его, а сверху — как на солдатскую безчасную надобность — выставлены и часы, да как бы не серебряные, а задери голову — весь круглый потолок ещё разрисован-разрисован. А в обвод зала — пузатые налеплены гнёзда рядами, за жёлтыми занавесками, и там тоже уже свой брат, кто с какой лестницы попал, и светильниками утыканы все эти пуза, свету — залейся.

И ужайшими проходами между ложами и краями партера, где, бывало, в нежнейших нарядах, придерживая трен, проходили дамы по одной впереди своих кавалеров, — теперь протискивались сразу два-три здоровых дядьки, солдат или рабочих, спеша захватить себе место в ряду — жёлтое кресло с тёмно-жёлтым бархатом сиденья, и в редкое кресло садился один, а то всё вплотнялись по два и по два.

И когда уже все места по всем ярусам были захвачены, и ложи внабитку — всё равно депутаты не помещались. Чудо-занавес поплыл вверх — а там на помосте ещё сколько места! И попёр народ туда, усаживаясь на полу. И только попереду за столом держался президиум, а уж прочие члены Исполнительного Комитета садились на штабель декораций сзади.

Питерские рабочие, кто и видел прежде, как к этому театру подъезжают на фаэтонах, — вот не думали и сами когда попасть в серёдку. И насыщенно, но и злорадно оглядывались теперь на всю эту красоту.

Сегодня здесь заседал и застоял полный пленум Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов — объединение тех и других.

А ещё сколько-то же осталось и в вестибюлях, и снаружи, — не влезли.

И вожди Исполнительного Комитета щурились на это невместимое, необъятное чудище Совета, от которого не знаешь, какой неожиданности ждать. Они почти и не встречались с этим чудищем. Неповоротливая, обременительная ноша, насколько удобней было бы Исполнительному Комитету поворачиваться без неё. Однако не были вожди уверены, что уже могут без неё. Они ещё не могли оценить соотношения сил, и в глубине ещё не забыли, что и сами-то не имеют полномочий. И вот сегодня выносили на повестку дня деликатный вопрос о Контактной комиссии, как узнавать действия правительства и передавать ему требования революционного народа, — утвердить на Совете созданную комиссию и её состав. (А глубже посмотреть: зачем это обсуждать здесь? Ненужный и опасный прецедент.)

Но раньше того — выдвинули эффектное событие ареста царя, и докладывать о нём взялся неуёмный Соколов: не успел сам арестовать, ни даже проверить в Царском, так хоть поговорить. Выскочил на авансцену живчик с бородкой и пятном белой лысины среди чёрной поросли — и захлёбчиво, многословно сообщал — о судьбе Романовых! И кого ж это могло не втянуть! А чем больше замечал Соколов, как захвачено дикое застывшее толпище, — тем драматичнее он добавлял и размазывал. И — как Гучков с Шульгиным без разрешения Совета поехали сговариваться во Псков. И как изо Пскова царь снова кинулся захватить Ставку, чтобы оттуда повести армию на столицу. И как буржуазные круги хотели навязать царём Михаила, но Исполнительный Комитет настоял на отречении, и так уладили этот вредный эпизод. И как затем царь Николай задумал сбежать со всей семьёй в Англию, — (зал напрягся!), — а Временное правительство ему потакало, вело переговоры без ведома Исполнительного Комитета, но Комитет узнал и решил действовать самостоятельно, и послал множество воинских частей и даже бронированных автомобилей, они плотным кольцом окружили царскосельский дворец и так не дали Николаю Романову сбежать!

Царь и народ! — и народ в креслах императорского придворного театра, судящий о царе, — непредставимая ситуация! Эманация Великой Французской Революции! И на её подымающих волнах Соколов упивался безсмертной ролью.

— Но один арест Николая II ещё не исчерпывает вопроса! Пока что мы лишили его только политических прав — но ещё не успели коснуться имущественных. А сколько у него имущества во всех пределах России! Какие имения! И какие огромные миллионы во всех иностранных банках! И он там за свои деньги купит себе монархистов! Теперь надо выяснить, какое имущество Николая Романова может быть признано личным, а какое — произвольно захваченным из государственного казначейства, — и всё это надо отнять!

Набитый жёлто-серо-чёрный зал волновался. Раздавались крики одобрения. И Соколов кричал, подхваченный одобрением:

— А раньше — нельзя его выпускать за границу! И думаем, что вы одобрите наше решение.

И уже на прорыве аплодисментов, верхним криком:

— И вы должны верить своему Исполнительному Комитету!

И зал хлынул густым хлопаньем. И — вскликами. И — воем. И — трёхпалым пронзительным свистом. И топотом сотен ног.

Соколов отошёл, вытирая пот с лысины, торжествующий.

Кричали:

— Все его проделки выяснятся!

— Вы нам докладайте, чего ещё узнаете!

— Та-а-ак!

Вожди Исполкома переглядывались: неплохо. Чудовище задобрено. Теперь:

— Слово имеет товарищ Стеклов.

И вышел на авансцену — такой крупный, уверенный, бородатый, как купец знатный, для народа располагающая фигура. И когда поутихли, стал густым голосом объяснять.

С этим правительством не обойтись иначе, как на него давить. Оно само такого натворит, что много может нам повредить. Мы сами не пошли в министры, но зато должны контролировать их. А без нас они слабы. Со временем они, может быть, соберут около себя консерваторов, но я надеюсь — мы им не дадим. Тут и вопрос о 8-часовом дне. И о демократизации казармы. Надо на них давить организованно. Вы — сила решающая, и они вам вынуждены подчиняться. Сила — на стороне революции, а не буржуазии. Мы им будем заявлять наши желания, а они чтоб не отговаривались незнанием. Они и сами к нам обращаются. Вот почему Исполнительный Комитет избрал комиссию из пяти человек — контролировать

правительство непрерывно. И вы, я надеюсь, это одобрите. Уже теперь ваше мнение может сделать всё. А может нам придётся опять совершать революцию.

Так забрал зал — даже перемахнул. Разожжённые во вкусе своей тысячеголовой власти, из зала густо кричали:

— Не доверять Временному правительству!

— Обманщики!

— Царские лакеи!

— Устроить самим новое революционное правительство!

— И во главе — товарища Керенского!

(Не было его тут, но все знали.)

И — полезли ораторы, по коленкам соседей, через плечи сидящих на полу в проходах, и по ступенькам на сцену, — как их не выпустишь?

— …Там, в правительстве, — капиталисты, которым нужен Константинополь. Надо бороться с Временным правительством, а не присягать им! Оно ещё не заикнулось, что́ нужно крестьянину и народу!

— …Не надо связывать себя никаким контролем их! Правительство — крупнобуржуазное, одна клика заменила другую!

Вылез и за контроль:

— Мы переживаем момент организации.

И такой вылез:

— Тут говорят только вольные, а вот я, серый герой, Георгиевский кавалер… Серый русский крестьянин высказывает голос русской воли…

Не дали ему договорить, оттянули.

Опять рабочий:

— Не мы для правительства, а оно для нас. Так что должно безпрекословно исполнять наши требования. Если правительство с чем нашим не согласится — мы опять возьмёмся за оружие! Временное правительство должно быть просто секретарём Совета рабочих и солдатских депутатов, не больше.

Но и предупреждали:

— Товарищи, Петроград не похож на всю Россию! Оттуда многие приветствуют правительство. Ещё есть кроме нас Россия — и она не наша.

Но и успокаивали:

— Да мы всегда можем правительство арестовать! Если оно не уйдёт — так мы их и арестуем.

— Вопрос неясный! Продолжить прения.

И Стеклов — при всех своих физических данных — растерялся от этой разноголосицы и нескончаемого шума, которого не было сил остановить. И тут — волчком вывертелся на авансцену снова Соколов — всё же есть люди, незаменимые в революции. И предупреждающе поднял, держал руку. А зал — уже полюбил его за сообщение о проделках царя. Поверил в него. И смолк. И Соколов — быстро, но спокойно:

— Товарищи! Обсуждаемый вопрос — простой и ясный. Пока это правительство выполняет все требования Исполнительного Комитета, а мы можем его сколько угодно контролировать и внутри каждого министерства наблюдать хоть за всей перепиской, — мы призываем вас оставить его на месте. В настоящих условиях Исполнительный Комитет берёт на себя ответственность за деятельность Временного правительства.

Сразу вдруг и поостыли.

Полегчало.

Тогда, для новой замазки и доверия, — выпустить Гвоздева? — читать вслух пункты соглашения с заводчиками. Сейчас заревут в одобрение, верный успех.

Там — полезут с приветствиями, приветствиями.

Но никуда не уйти, опять этот проклятый режущий вопрос: можно ли перенести похороны жертв на Марсово поле? Не было уверенности, согласится ли Тысячеголовый? С похоронами что-то сильно упёрся.

545

Такой прекрасной весны, как нынешняя, ещё никогда не бывало!

Никогда сила таянья не была такой пышущей. Никогда так тонко не замерзало к вечерам. Никогда не бывало таких нежных подснежников, покорных губам. Никогда столько не гулялось.

Да свободного времени никогда столько не было… Никакой весной не веселились так сразу все люди.

Ксенья с уверенностью угадала свою лучшую и заречённую весну! Все вёсны, которые она прожила до сих пор, — были только приготовлением. Всё, что она жила и мечтала до сих пор, — было

приготовлением. И вот наконец счастье неизбежно должно было явиться Ксенье — именно этой весною, да просто вот в этих днях! Пришла пора радости! Всё нутро её это чувствовало!

И нутро же — жадным толчком завидовало каждой беременной, встреченной на улице. Каждой беременной. Уж кажется, в эти революционные дни чего только удивительного не было на улицах, лишь озирайся. Но и в эти дни ничто так не удивляло Ксенью, так не толкало в сердце — как вид беременных женщин.

Всё-таки это — чудо из чудес!

А гулянья было в эту неделю — не исшагать: занятия на курсах по-настоящему до сих пор так и не возобновлялись. (И балетная группа в революционные дни что-то не собиралась.) Ещё неясно было всему студенчеству: как же теперь их возобновлять? — в прежней ли форме или чего-то же добившись от революции! Первая победа была уже известна: в этом году институты, курсы и гимназии распустят раньше обычного! Профессора поздравляли студентов с обновлением России. Студенты-медики требовали: удалить нежелательных профессоров, минимум экзаменов и практических занятий для перевода на следующий курс. В Университете собирали то летучий митинг всех учебных заведений — на поддержку Временного правительства и войны, то уже и Совет Студенческих Депутатов. Каким-то общим собранным способом должно было решиться их общее студенческое будущее.

А тут призвал студентов и курсисток почтамт: что за революцию накопилось неразнесенных 60 тысяч писем, идите добровольно письмоносцами! И — хлынули, и Ксенья с подругами тоже. Да у неё все жилы тянуло от десяти минут смирной посидки — ноги требовали если не танцевать, то ходить и бегать. Нагружали их тяжёлыми сумками по утрам, но была большая поэзия: по незнакомым лестницам ходить, как будто ты везде свой, и разносить людям их задержанные жданные вести.

А по вечерам бы — в театры, так из-за четвёртой, Крестопоклонной, недели поста не было ни спектаклей, ни даже киносеансов. (Вчера — со́роки, хозяйки жаворонков пекли.)

Зато сегодня вдруг приехал из Ростова Ярик, который, правда, и ожидался по письмам. Прекрасный подарок, и ко времени! Очень соскучилась: ведь не видела его ещё с до войны!

Вообще не видела его такого военного. Свой Ярик, братишка, однолеток, у носа по-прежнему веснушчато, детская доверчивая

чистота безусого лица (над губой стал брить), глаза нескрытые, брови отзывчивые, — а на всё это наштампована война, мужское сжатие губ, но главное — насажен туго мундир, тугие ремни, венчающая голову папаха, даже и странная на детском лице, — а уже и самый настоящий офицер, владетель двух сотен жизней.

Он пришёл — у Ксеньи сидела Берта. Ксенья порхнула к нему, естественно обнялись поцеловаться — но губы сошлись, едва наискосок — и поцелуй вдруг полыхнул — Ксенья в испуге оторвалась. И щёки загорелись.

Поздоровался с Бертой.

Обе они, в два голоса, стали его поздравлять со свободой и с революцией.

И тут выразился на нём изумлённый или печальный сдвиг бровей. И только что весело вошедший, он ответил им с закрытой усмешкой:

— Милые девицы, умойтесь холодной водицей и успокойтесь. Как бы эта свобода ещё не вылезла всем нам боком.

Сказал это настолько старше их, первый раз Ксенья не ощутила права над ним зубоскалить.

— Да отчего же?

Ярик сидел на топком диване, а подбоченясь на колени, как-то по-походному.

— Да что ж, — протянул. — Даже донские казаки — и те атамана прогнали. Сколько я ехал сейчас — ни на одной станции охраны не видел, и мосты — не охраняются. Приходи немец — и взрывай. Иной солдат мимо офицера проходит — только что плечом не толкает.

— В Москве этого нет.

— Ну как же нет, да много так. И в трамвае.

Он уже пробыл несколько часов в Москве, остановился при казармах у приятеля.

— И в Москве на вокзале — охрана распущенная. А приказы вашего нового командующего висят — что это за подполковник во главе Округа? — что запрещает побеги и самовольные отлучки? Чтоб такой приказ издать — знаете сколько нужно этих побегов?

Не приходило в голову. Они этих приказов не замечали, не читали.

— Пишет: «бежать с фронта — преступление перед родиной». Так это что ж — и с фронта уже бегут?

Опять сдвинулись губы, брови. На девиц посмотрел — и вниз наискось.

Берта вскоре ушла. А хозяек обеих не было — редкий случай, и ещё больше часа могло быть до возврата. И Ксенья — решилась рискнуть. Предложила с порывом, так хорошо ей стало:

— А хочешь, пока хозяек нет — я тебе потанцую? А кормить — уже потом буду. А пока вот — жаворонок съешь.

— Да что ты! — просиял Ярик. Она раньше так его не баловала, чтоб специально для него танцевать. — Конечно!

— Только я уже теперь не босоножка! — предупредила.

Заволновалась. Не только потому, что нагрянут хозяйки и будет очень неудобно. Но: никогда в жизни она не танцевала наедине с мужчиной, для него. (Хотя — какой же Ярик и мужчина?)

Но уже было — кинуто, поймано, не вернуть. И в запретной, чинной столовой, где Ксенье позволялось отнюдь не всё, — а столто как раз стоял в стороне, удобно, широкая полоса вдоль окон свободна — быстро отодвинула кресла под чехлами к окнам, а стулья задвинув под скатерть поглубже, открыла прямой пропляс по начищенному паркету, — и убежала в свою комнату. Молниеносно сменила платье, туфельки, надела красное плоское ожерелье — и в узком чёрном выскользнула к нему.

И как раз проступили в окна, через тюлевые гардины — предзакатные жёлтые лучи.

Сама себе напевая музыку — проходила, пролетала туда и назад, с поворотами, выступкой, с перебежкой, прокрутами, то руки косо вперёд, как будто летя, — и правда чувствуя себя летящей, способной к полёту! Давно так счастливо не танцевала — но и всё время чувствуя, и почему-то тревожно, присутствие своего зрителя.

А он сидел, утонувши в диване, перебегающе следил — но ни слова, и не хвалил, так поражён.

А ведь — лучший способ разговора! Как можно много выразить в танце — гораздо больше слов. Какая в танце есть несвязанность! (Хотя ещё и не полная откровенность.)

Он — не похвалил, и она убежала молча, ощущая так, что произошло в этом танце нечто.

И опять, очень торопясь и волнуясь, переодевалась — теперь в украинское вышитое, с широкими рукавами, с монистами.

И — выскочила, проплясала ему яростного гопака!

Вскрикивала громко! — тут и он стал вскрикивать, и даже кричал от восторга, подхлопывал ей ритм — встал — пошёл к ней, поймал за руки — и так доплясались до хохота. И он её обнял. Крепко-крепко.

Крепче, чем.

Полмига казалось — сейчас будет её целовать, и совсем по-новому.

Испугалась, оторвалась. И опять убежала.

И хотелось ей ещё чардаш сплясать — но долго шнуроваться. Да благоразумие требовало лучше убрать все следы. Так и правильно. Едва переоделась, уже шум от дверей, — быстренько подвигали мебель на места. Вернулись хозяйки.

И хорошо, что вернулись: после объятия создался между ними ожог — не прикоснуться, и говорить наедине невозможно. А за общим столом потёк разговор о революции — и Ярик малоодобрительно о ней говорил, и так угодил хозяйкам.

Да, что же в Ростове?! (Ксенья и о Ростове не успела его расспросить, уж самое главное.)

После ужина пошли с Яриком погулять.

На их глазах молодой зеркальный месяц зашёл за Храмом Христа. Вечер был крупнозвёздный, но почти как будто без заморозка, тёплый, — или так казалось?

Бродили по набережным — сперва по Софийской, потом перешли к Водоотводному и по Кадашевской. Может и нигде в городе, но здесь-то особенно в эти тёмные часы никак не выдвигалась в глаза революция, не сказывалась ничем, и красный цвет если ещё где был, то уже не заметен. Такой же вечный тёмный Кремль, устойчивые чугунные решётки — и белеющая ледяная москворецкая цельность, впрочем уже с подмоинами, подбухшая, вот-вот готовая п о й т и.

И Ксенья вот так же была вся готова — пойти.

Он вёл её крепко под руку, подпустя пальцы ей на кисть под перчатку — и иногда водил ими там, гладя.

Нежно.

В полутьме не так было видно его детское лицо, едва угадываемое, легко придумываемое. Чётко — шинель, ремни, шашка, фуражка, сапоги, — она шла с боевым фронтовым офицером и иногда совсем забывала, что это — сводный брат её.

С фронтовым офицером — гордей всего и было гулять.

Вообразить бы его совсем незнакомым, как будто вот только что познакомились, — и, странно, тогда легче, открытей.

О Ростове — вдруг не захотелось говорить. И он догадался, почти не рассказывал. Да ведь у них был один общий и московский год — она курсисткой, он юнкером, — но и его не вспоминали.

И перестал называть «сестрёнкой» и не говорил «печенежка». Просто, часто, — «ты».

А рассказывал фронтовое разное, и всё такое важное, свежее, — даже старая лесопилка на обратном склоне, не растащенная на блиндажи, но приспособленная под штаб полка.

И как Рождество встречают на фронте.

Лишь бы звучали голоса.

Да какой он брат? Лишь товарищ отроческих лет — чему это мешает? Брат — это скучный лысоватый Роман, считающий деньги, не пошедший на войну. А этот — воин, мужчина!

И всё время — крепко под руку, всем локтем до конца и плечами тесно.

Нежно.

Совсем новое установилось между ними. После сегодняшнего танца.

Хорошо танцевала. Как легко в танце! — а так путано в жизни.

Зачарованно так пробродили — ничего больше не было, но уже много. Уже — достаточно пока.

Так в темноте и привыкла видеть — лицо совсем новое, мужественное, незнакомое.

Расставались, уговорились: и завтра встретиться днём, гулять, и послезавтра.

Какие это особенные вечера! — уже неотвратимо подступающей весны.

Возвратилась домой возбуждённая, счастливая, наполненная, долго не могла заснуть.

Как это так вдруг переменилось?

Всё хорошо: и что он такой изученный, близкий — и что такой вдруг незнакомый.

ОДИННАДЦАТОЕ МАРТА

СУББОТА

546″

(Февральская мифология)

НИКОЛАЙ БЫВШИЙ. Да будет проклята лже-романовская династия ныне и присно, и во веки веков! Первое преступление «немкиного мужа» — это измена и предательство. Коварный лицемер, предатель в душе, вероломный, неискренний и лживый…

(«Русская воля»)

…В начале войны надеялись, что царь не захочет безчестья себе и своему войску. Но, видно, у царя было нерусское сердце. А министры ни о чём, кроме своей выгоды, не думали…

…Сношения августейших пораженцев с Германией не вызывают никаких сомнений. Арестом их — нанесён смертельный удар по шпионажу.

…Теперь мы узнали, что в России была крупная немецкая партия. Она опиралась на государыню, которая не могла забыть, что в Германии её братья и родственники. Немецкая партия хотела поражения России. Она находилась в сношении с германским штабом и выдавала военные тайны. Предателей будут судить, и на суде выяснятся все подробности.

…Мы узнали кошмарную правду о том, какой удар готовили высокопоставленные иуды стране и героической армии, измышляли вернейшие способы предательства… Мы начинаем это узнавать из английской печати…

…Россией фактически управлял не Николай II, а Вильгельм…

В КОЛЬЦЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА. Как мы могли воевать? Неужели мы до сих пор ещё не разбиты? Наши поражения были естественны и логичны, наши победы — вопреки здравому смыслу. Сегодня открытие за открытием: измены не только были, но они превосходили всякое воображение. На измену возникла мода: кто чище предаст свою

родину? Николай давал тон. Шли безпроволочные телеграммы Вильгельму.

...Россия, распинаемая безмерным предательством, уже казалась умирающей... Никогда со времён Иуды Искариота над народом не совершалось такого предательства.

Ф. Сологуб

…Русский народ защищал Россию вопреки своему недостойному правительству. Но в народе всё больше вкоренялось убеждение, что правительство боится победы.

Д. В. Философов

…Безтолковая несуразная русская жизнь, в которой всего было в изобилии, кроме счастья…

…Жалеть ли прошлого? — расслабленного, психически-гнилого, заражавшего свежую народную жизнь только смрадом и ядом..

…Все члены государственного тела России были поражены болезнью, которая не могла пройти сама, ни быть излеченной обычными средствами.

Александр Блок

...Мы жили в крепостническом режиме до последних дней.

...Как накануне 1 марта 1881, так и накануне 1 марта 1917 царизм пускал в ход только нагайку, пулю и виселицу.

...Гнусный режим грубого произвола, в котором задыхалась вся Россия, кроме хищной шайки диких помещиков...

…Режим продажности годами торговал народной кровью.

Чхеидзе

…Народ, который оскорбляли годами, до сих пор считался удобрением и подстилкой. Людям надоело быть вьючными животными, надоело терпеть вечное унижение, опротивело постоянно кого-то подкупать, перед кем-то вымаливать.

(«Новое время»)

…От старого режима больше всего страдала свободная печать.

…Все еврейские погромы были делом рук правительственной власти. Да и правительство не особенно тщательно скрывало это.

(Кузьмин-Караваев, «Биржевые ведомости»)

…Погромы удавались только тогда, когда в них принимала участие переодетая или даже непереодетая полиция.

…Россия была превращена в огромную тюрьму. Кладбищенский покой царил в России, и только псы мракобесия и слова ненависти были безусловно свободны…

ДИНАСТИЯ ГРЕХА И КРОВИ. …Триста с лишком лет как кошмар тяготел над Россией. …История русских царей — это история временщиков, шептунов и предателей.

…Александр II вполне заслужил свою казнь от рук смелых революционеров. Казнь 1 марта 1881 года показала, что борьба с царизмом возможна только путём крайних мер, не знающих пощады.

…Но всех Романовых превзошёл по жестокости Николай II. Человечество не знает более кровавого царствования, чем царствование последнего Романова. Войны и казни, расстрел безоружных, предательство и измена Родине — вот что глубоко запало в народные души.

…Николай II был одним из самых преступных насильников, какие только были известны миру.

…Реки крови, которые пролил романовский последыш, затмевают Ивана Четвёртого.

…Царь вышел глупый-преглупый. Рождённый быть безголовым, инстинктивно был недоволен: зачем ему голова… Полная нечувствительность к эмоциям нравственного восприятия. Маленькие страстишки, поверхностная сентиментальность. Опасный неврастеник, может быть даже параноик… Дегенеративные начала несомненно переданы Александрой Фёдоровной всем своим детям… Россия может считаться счастливой, что отделалась от Александры Фёдоровны так дёшево.

Александр Амфитеатров

…О благе народа царь совершенно не думал, через пять минут всё забывал.

…Вокруг царя было гомерическое пьянство…

…У него были деспотические замашки и безконечная рыхлость характера…

…Ханжа и делано религиозная Александра Фёдоровна была полна всех пороков. В ней не было настоящего сознания поститься, но по каким-то тайным соображениям она строго преследовала скоромное. Она имела немало фаворитов.

…По духовному завещанию Николая II в случае его смерти регентшей объявлялась Александра. Будущая «Екатерина III» спешила приблизиться к заветной цели. Главное, ей нужно было укоротить жизнь Николая. Зная наследственную слабость его к алкоголю, А.Ф. пустила стрелы в этом направлении. Но Николай пил и не сдавался. Тогда организовали покушение на его жизнь. Подробности заговора вскроются во всей своей неприглядной наготе, когда над супругами будет назначен гласный суд.

…Диктатура безумия поставила страну на край пропасти…

…Государственная Дума объясняла, как помочь беде с питанием, но царь никого не хотел слушать…

…Анархия, которую сознательно сеяло правительство изменников и врагов народа, вынудила страну вступить на путь самозащиты.

…Одна сила, перед которой народ преклонялся и безгранично верил, — Государственная Дума. К ней обратились теперь взоры восставших, под её охрану отдали молодую русскую свободу.

…Никакие частичные мероприятия не помогли бы. Надо было разрушить до основания всё старое здание.

…Царское правительство с сознательным расчётом вело явную политику довести народ до края отчаяния, до исступления, вызвать на восстание — и залить его дымящейся народной кровью. И момент был чрезвычайно подходящий для правительства: жестокая война удерживала всех нас от выступления.

А. Серафимович

…Революция произошла тогда, когда страна сказала себе, что со старой властью она победить не может.

…Революционный пролетариат и революционная армия спасли страну от окончательной гибели и краха, который приготовило царское правительство… Революционер-рабочий и солдат мощной рукой удержали народное хозяйство от падения в пропасть…

…проклятая поганка на теле России…

…Уничтожен внутренний гнойник, заражавший всё национальное тело. Мы не только освободились — мы вымылись от грязи, прилипшей к России. Когда стало очевидно, что именно терпение ведёт нас к неизбежной гибели, ему должен был наступить конец, иначе Россия не была бы Россией. Везде задавались мучительным вопросом: достойна ли Россия существовать на свете?

(Евг. Трубецкой, «Речь»)

…Весь народ признал: то, что случилось, — хорошо. Велик Бог земли русской, что уберёг её от дворцового переворота в февральские дни, но дал вызреть народному гневу. Рок России, такой несчастный, на этот раз оказался счастливым.

…Русская революция уже названа чудом — и это верно. Режим, под гнётом которого жила Россия, был режимом лжи. Ложь была возведена в культ. И вдруг страна с ничтожным напряжением её с себя стряхнула.

…Это историческое чудо очистило и просветило нас самих.

П. Струве

…«Столыпинским галстуком» нас хотели задушить навсегда. Все ждали революционного вихря, но все и боялись его: улицы, обагрённые кровью, казни без конца. Но наша революция — особенная, мы сияем миру ровным светом. Закалившись в страданиях, подвергаясь невероятным пыткам, ужасам средневековья, мы сохранили незлобивость и великодушие.

…Великая русская революция не оказалась ни мстительной, ни жестокой…

…Бывали революции буржуазные, бывали пролетарские, но революции национальной доселе не было на свете. Эта революция — народно-русская, всенародная в высшем значении слова.

…Всё было против нас — и мы воевали. Можно ли сомневаться, что мы теперь победим?..

…Германия ещё не получала более решительного удара, чем наша революция…

…В новом строе измена по отношению к союзникам не зреет, как зрела она в старом строе.

…Теперь в России не может быть пораженчества, психологически объяснимого прежде. Оно может существовать только в чёрном подпольи черносотенства.

…В минуту, когда Германия запоёт марсельезу, — наши руки соединятся. И скоро не будет никаких армий — и зачем заботиться теперь о глубокой армейской реформе? По всему фронту, обращённому к немцам, разверните красные победные знамёна!

Леонид Андреев

…Переворот в России — не только русское, но и мировое счастливое событие. Россия своей колоссальной массой задерживала общий прогресс человечества. Именно её грозная сила помешала совершить в Европе политическую реформацию, начатую Соединёнными Штатами в 1776 и Францией в 1789. Россия казалась мёртвым грузом на ногах новой цивилизации.

(Меньшиков, «Новое время»)

…Русское государство вновь, как встарь, стало единым владыкой своих судеб. Истекшие дни показали, как неслыханно созрел русский народ. Опираясь на таких граждан, Временное правительство будет в состоянии довести наш народ до окончания блестящей победы и до Учредительного Собрания.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ. Россия свободна! Идёт таинственный процесс коллективного творчества.

…гнилые и ядовитые ростки самодержавия… Мы вырвали их и вспахиваем землю новой России, чтобы на ней насадить прекрасный сад свободы и демократии… Какое великое счастье жить в эти дни!

…Во дни святого счастия
Возникнет над землёй
Блаженного безвластия
Желанный строй.

В пыли не зашевелится
Вопрос жестокий: чьё?
И в сердце не прицелится
Безумное ружьё.

(Ф. Сологуб, «Биржевые ведомости»)

****

СУПРОТИВ ПЕЧАТНОГО НЕ СОВРЁШЬ

****

547

Радостную, упоённую ночь провёл Николай Николаевич! Среди ночи просыпался и ощущал — как он счастлив! и как наконец он поведёт славную русскую Армию! Кажется, до утра не дождаться, скорее к действию.

После полутора лет несправедливого изгнания от злобной императрицы — возвратился он на своё законное место. И покоящееся тело его и удовлетворённый разум наполняло это радостное сознание: до чего же он наконец на месте. И как вся Армия теперь воспрянет: обожаемый Верховный Главнокомандующий! И как вся Россия теперь вздохнёт свободнее, зная, что войска поведёт её любимец.

А ночевал Николай Николаевич в вагоне: в губернаторском доме ещё складывалось Никино имущество, ещё пока там всё перечистится, переставится, прежде чем въезжать, а потом и Стану позвать из Киева. В большой бодрости великий князь поднялся, умылся, помолился, выпил утренний кофе и уже намеревался ехать в штаб, принимать одно энергичное решение за другим, чтобы перетряхнуть Армию к победе, — как доложили, что просит приёма полковник из Петрограда с поручением от князя Львова. Вот как? — наконец-то, давно пора им отозваться. Но вестей от князя он очень ждал на Кавказе, тогда — удивляло молчание правительства, в такие решающие дни. А теперь, для Верховного, сообщения с правительством становились рутиной. Принял полковника в салоне уже на ходу, стоя: что там?

Полковник виновато докладывал, что он уже четвёртый день с этим письмом едет за князем, но везде разминулся в дороге.

Однако Верховный Главнокомандующий, не осердясь на задержку, оставил объяснения без внимания, рассеянно поспешно вскрыл письмо тут же, при полковнике, развернул — и…

— проколотый! —

…ещё по-военному развернулся и сумел уйти в своё купе.

И диагонально припав к столику, ещё читал, не веря, не умея понять:

«…обсудив вопрос о назначении Вашем на пост Верховного Главнокомандующего, пришли к заключению, что создавшееся в настоящее время положение делает неизбежным оставление Вами этого поста. Народное мнение резко и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых какой-либо государственной должности. Временное Правительство не считает себя вправе остаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым может привести к самым серьёзным последствиям… Временное Правительство убеждено, что и Вы во имя блага Родины сложите с себя ещё до приезда Вашего в Ставку звание Верховного Главнокомандующего…»

Нет! Нет!! Нет, он этого не ожидал! Нет!! В революционные дни он готовил себя к неожиданности — но не такой!! Э т о г о — нельзя было предвидеть!

Это будет… Это будет… Это будет — Третье Отречение?!

Отречение Ники? — имело смысл: засыпка пропасти между властью и обществом.

Отречение Миши? — имело смысл: Мише был не по силе трон.

Но какой будет смысл *этого* отречения — оторвать от Армии её Вождя?!!

И — что же решать? И — что можно решить? И — с кем же посоветоваться?

И — *кто* его отрешает? Назначенный в один час вместе с ним какой-то Львов?..

Ах, как роково получилось, что Стана не поехала с ним сюда! Ах, как же нужна сейчас умница Стана с её твёрдым взглядом на события! Как роково получилось, что в такой день, при таком решении! — и они разлучены…

Сегодня Стана, Милица и Петя должны быть в Киеве.

С Алексеевым? Но Алексеев — не великокняжеской крови, не ровня. И что-то вчера он не понравился: прятал глаза, был хмур. Великий князь даже подумал вчера, не разочарован ли Алексеев, не хочет ли он стать Верховным сам?

Да и — о чём же с кем советоваться, если написано так ясно и в правительстве уже всё решено?..

А пружинилось в великом князе великое нетерпение, которое и было двигателем его полководческих действий, нетерпение, которое никогда не давало ему выжидать, прятаться, — но вытягивало проявиться раньше всех и решительней всех.

Унижаться? Цепляться за пост? Просить? Ни за что!!!

Но — быстрей! но — больше! — швырнуть им!!

Конечно, можно не спешить сдавать — ведь он уже принял командование! Можно ехать в штаб, работать, обдумывать, обсудить и с Алексеевым.

Но — нет! Но — быстрей! Швырнуть им!!

От груди и в спину проколола насквозь обида — уже не на какое-то там правительство, а на саму Россию! Если Россия не оценила великого князя, если Россия не хочет его — неужели он будет навязываться?! Нет! — и горло его задрожало. Он даст и России почувствовать своё достоинство! Он — именно хочет теперь в благородстве опередить и саму Россию! Он даже и не может ждать ни одной минуты!

И — метнулся саженными шагами мимо забытого полковника — к адъютанту! бланк телеграммы!

Плюхнулся на скамью, подогнув остроуглые ноги, — и размашистыми крупными буквами писал:

«Рад вновь доказать мою любовь к родине, в чём Россия до сих пор не сомневалась».

И хотя горло всё так же дрожало, но уже и удовлетворённо.

Пусть Россия прочтёт — и пожалеет.

И уже равнодушно — отдал адъютанту на отсылку.

Огненный порыв вырвался из тела как душа — и даже голова ослабла на шее, требовала ручного подпора.

И посидел так тихо. И пришла мысль: но если он не Верховный — то кто же теперь?..

Ах, зачем его вытребовали с Кавказа! Уж как хорош он был на месте там.

Но — Наместником он и остаётся? Ведь он предупредил правительство, что оставляет за собой этот пост!

А никакого другого поста, ниже, он теперь в армии занять не может. Не согласен.

Но и вернуться на Кавказ как бы разжалованным, и после таких проводов — разве возможно?

А тогда что ж — отставка?

Уехать просто — в поместье, в Беззаботное?.. (А там сейчас волнения…)

Кончена жизнь? Как внезапно.

Генерал Алексеев прислал предупредить, что сейчас на вокзал приедет протопресвитер и в вагоне примет присягу Временному правительству от великого князя и сопровождающих офицеров.

Ах да! Присягу!..

Осветилось: а почему — в вагоне? А почему — не в штабе? Так Алексеев — *знает*?? и знал вчера?? Предатель!!

А может — это его интрига и есть??

Присяга Временному правительству?..

Неудобно отказаться.

Отказаться — невозможно.

ДОКУМЕНТЫ — 22

(Опубликовано 11 марта)

ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Решительно отбросив приёмы управления прежней власти, угнетавшей народ… Проникаясь всецело духом правового государства… заявляет, что приняло к непременному исполнению все возложенные на государственную казну при прежнем правительстве денежные обязательства… по-

гашения по государственным займам, платежи по договорам, содержание служащим, пенсии…

Вместе с тем и все платежи, следующие в казну, налоги, пошлины должны вноситься по-прежнему… При громадности текущих военных расходов и увеличении государственного долга — повышение некоторых налогов окажется неизбежным…

Временное Правительство твёрдо уверено… что все граждане отныне свободной России с готовностью будут нести возложенные на них законом обязанности перед Родиною.

(подписи 12 министров)

ДОКУМЕНТЫ — 23

(Опубликовано 11 марта)

ВОЗЗВАНИЕ ВОЕННОГО МИНИСТРА

Граждане и воины!

Враг угрожает столице. Петроград и его окрестности наводнены германскими шпионами. Нет звания, каким шпион не назвался бы. Он переодевается во всякую форму.

Нужна контрразведка. Генеральный штаб это дело наладит. Граждане и воины, не спутайте этих верных людей с агентами сыска былого режима. Новой власти сыска не нужно, она управляет в согласии с волей народа.

Следите за собой. Не выдавайте плана обороны.

Военный и морской министр *А. Гучков*

548

Котя Гулай не усматривал такой каузальной связи, чтоб от царского отречения Россия погибла. (Интересно, что Санька думает?) Котя так понимал, день ото дня всё увереннее да и газет начитавшись: что это встряхивание может сказочно оживить Россию. Пусть, пусть революция идёт! А генералов с немецкими фамилиями лучше и сместить, чтобы подозрений не навлекали. Именно и надо, чтоб началась солдатская самоуправа.

Идя на присягу, Котя не без злорадства надел изрядный красный бант.

А капитан Клементьев, старший офицер батареи, не надел.

День был погожий, снова солнечный, хотя и прохладный. Снег липкий, мокроватый, но не таял. Долго стояли — ногам через сапоги стало холодно, а лицо уже приятно теплило солнце.

Их командир дивизиона, только что вернувшийся из отпуска из Петрограда, вчера собрал всех офицеров и под впечатлением виденного обратился не с приказом, но с горячим советом: на предстоящую церемонию присяги Временному правительству всем офицерам надеть красные банты. Что если Временное правительство признало красный цвет своим — теперь нам нечего пугаться его как жупела! Он убеждал, что впредь вся боеспособность их части зависит от того, удастся ли офицерам завоевать доверие солдат, чтоб их не считали противниками переворота. Он ужасался поступку бригадного священника, который после оглашения Манифестов отказался беседовать с нижними чинами об отречении, пока не получит подтверждения от Священного Синода. Вот так, — говорил командир дивизиона, — мы разрушим, погубим армию и не доведём войны до конца. (А не менее ужасно, говорил, попали некоторые части, которые успели присягнуть Михаилу, — и теперь, через неделю, им переприсягать.) Никто из офицеров не знал — что ж это за банты, как их делать, какой формы и размера? — и командир дивизиона показывал им. Он уже распорядился раздавать красную материю солдатам.

Сегодня командир дивизиона приехал на батарею сам, сам же звучно, уверенно читал перед строем присягу — сперва всю вместе, потом по словам, и батарея повторяла: «Клянусь перед Богом и своею совестью… повиноваться Временному Правительству… всем поставленным начальникам полное послушание… Не щадя жизни ради Отечества…»

А офицеры, как это принято, держали правую руку поднятой, с пальцами, сложенными для крестного знаменья.

А потом все, все по одному подходили к первому орудию, папаху под мышку, руку без рукавицы клали на ствол, а другой рукой крестились, кто православный. Потом целовали крест, лежащий на столике.

Обошлось гладко. (А в соседнем пехотном полку принесли к присяге знамя — но разглядели там инициалы царя — и не решились присягать, пришлось унести.)

Потом читали перед строем обращение военного министра.

Расходились после построения, и Клементьев, тоже присягнувший, и глубоко печальный, — пригласил Гулая зайти к нему в землянку, есть маленькое дело.

Он и вчера всё объяснение просидел с печальным безучастием, смотрел на командира дивизиона глазами больными или как

на больного. Он-то сам (начальство не знало, а Гулай знал) на солдатские вопросы, как понять отречение, всем отвечал, что стряслось страшное несчастье, что без царя Россия пропадёт, — то есть ещё похуже того священника. Совсем не умел Клементьев притворяться. Но из солдат никто ему в ответ не удивился, слушали, как соглашались.

Клементьев был старше Гулая всего-то на два года, а перегородка между ними была непереходимая. Даже странно, где это поместилось: всего на два года, а уже капитан, кадровый, и три года успел послужить до войны и всю войну. А просто: не только университета, но и гимназии не кончал, а сразу военное училище. Перегородка в том, что Клементьев был вовсе слит с военным делом, исключительно хорошо стрелял (Гулай у него много набрался). А с другой стороны — никаких философских интересов, ни начитанности, так что нельзя было бы ему сейчас предложить такой, например, аспект: что нынешняя русская революция есть ещё один шаг в саморазвитии Мирового Духа. А ещё — был Клементьев как-то слишком серьёзен, да даже и всегда печален. Ровесники, называли они друг друга на «вы», по чинам или по имени-отчеству.

Сейчас спустились к нему в землянку. Присели, в шинелях. Через оконко падало немного солнца, было светлей обычного землянночного. И снова Котя видел эту печальную серьёзность, делавшую Клементьева старше лет, и удивлялся его сокрушению, не пропорциональному событию. Всего-то росли у Клементьева юнкерские лёгкие усики, а лицо — уж так изведавшее горя.

За войну и у Коти было теперь своё изведанное, но за месяцы тихого оборонного стояния горечь сгонялась, а ликовала на лице молодость и сила.

Что-то яркое подсвечивало Косте под лицо. А, падал солнечный луч на его нагрудный красный бант.

Клементьев снял фуражку (у него иконка висела в углу), принагнул голову с чернявыми, молодо-густыми, но короткими волосами и сказал замыслительно:

— Да… Вот вам и блеск царского трона. Имени. И могущество власти. Было — и как не было.

Всё так, но мысль банальная, Гулаю нечем было отозваться.

— Царь был — Помазанник Божий, — очень серьёзно говорил Клементьев. — И прадед его царствовал, и пращуры, 300 лет. И царь — один. А во временном правительстве может быть два-

дцать человек? — как же мы им присягаем? А если они разругаются и станут в разные стороны тянуть, — как же им соблюдать присягу?

Это верно.

— Ну, не им лично, России, — сказал Котя легко.

— И как же это новое правительство допустило арестовать царя? Неужели там не нашлось людей, кто бы помешал?

Гулай смолчал.

— Как вот мне вернуться к старику-отцу, старому служивому, — и без Государя императора?..

Вот ещё вопрос.

— Читаю вот, — кивнул Клементьев, на кровати лежала у него кипа газет. — Что только не пишут о царской семье, жутко читать. И за такие подробности берутся. Развязались перья. А и подумаешь: что-то за этим есть? Неужели столько неправды было вокруг трона?

Хотел ли он просто пожаловаться, поскулить, для того и позвал. Удивительна была такая его деревянность при его молодости. Он медленно выпускал фразы, а между ними продолжал думать. После контузии у него чуть заметно подрагивали руки и были зрачки неодинаковые.

— Несомненно, — сказал Гулай басом. — Были силы, которые царём играли.

Если вам так легче.

— А всё-таки, — уставленно в стенку, не в Костю, — как же так? Петроград, тыловые могли произвести революцию, не спрося армию? Штатские люди — и с нами не посчитались?

— Да-а, — в тон, но без сожаления отозвался Гулай, — штафирки, конечно. Но им подручней было.

Клементьев как обдумывал, почти не двигался.

— Но Государь был патриот. И самоотвержен.

Немножко бы меньше серьёзности, нельзя уж так серьёзно с глазу на глаз.

— Может, немецкая партия его сбивала. Он давал собою играть. Во главе великой страны так нельзя.

Клементьев прямо не возразил. Но желая ли оправдаться, поделиться по-равному:

— Успокаиваю себя тем, что с высоты престола освободили нас от присяги. Если Государь император сам соизволил отречься — тогда что ж? тогда и мы должны присягнуть? А то — не знаю…

А то — я бы не мог… «Не щадя жизни ради отечества», — что ж, это верно… Государь отрёкся, но остались Вера и Отечество, да…

Чего совсем не было у Клементьева — юмора. «С высоты престола» — так можно в манифестах писать, но не говорить же в простой речи. И вообще — можно услышать такое от закоснелого старого офицера, какого-нибудь князя, — но от 27-летнего офицерика из простого народа?

Скучновато уже получалось. За этим он и звал? Или зачем?

— Василь Фёдорыч, вы хотели что-то мне… ?

Клементьев посмотрел на него удивлённо. И уже полная растерянность вступила в его печальные глаза.

— Да. Да. Позвольте… — вспоминал. — Позвольте, вот странность, насколько же память отшибло? Что со мной? А были у меня нервы — жена говорила: «дубиной не перешибёшь».

Смотрел с досадным мучением забытой мысли. Смотрел — как от Гулая ждал напоминания.

— Вот, говорю, надо нам теперь, после беды, батарею сколачивать, крепче держать

Нет, не то. Не вспоминал.

— Ну, в другой раз, Василь Фёдорыч, когда вспомните. — Встал.

И Клементьев встал. Уныло.

— Вот странность… А как вам нравится, — ещё задержал, — в приказе министра: «солдаты и офицеры, верьте друг другу»? То есть, солдаты, не избивайте офицеров? Ведь это же нетактично. У нас и тени неповиновения нет, это у них в Петрограде, — а зачем же нам читать такой приказ? Нетактично.

— Правда, — согласился Гулай. — Это глупость.

И уж на самом уходе его — вспомнил Клементьев.

— Да, вот что! Ерунда совсем. Командир дивизиона в Москве нанёс визит институту, который нам всё подарки шлёт. И директриса, между прочим, пожаловалась, что один наш солдат пишет слишком развязные письма её институтке. Командир, даже неловко, просил повлиять. Это — ваш Евграфов. Вот, возьмите.

Нашёл, дал. Армейский полуконвертик, в трубочку склеиваемое письмо.

Гулай взял. У себя в землянке прочёл, залихватское приказчичье ухаживание, галантерейным языком.

При подарках были всегда имена и адреса жертвователей, почти всегда девиц. Такие подарки получал и сам Гулай, офицерские

мало чем отличались от солдатских, и внутри мешочков такие же трогательные письма упаковщиц, нередко гимназисток, восторженно предлагавших заочную дружбу и переписку. Некоторые вкладывали и фотографии, подруги разоблачали, что она чужую положила, а сама урода. Все воедино эти письма представляли неразведанный, таинственный и манящий букет — то самое, что и есть жизнь. И Гулай сам иногда отвечал довольно ухажёрскими письмами, но не с такой откровенностью, как размахнулся Евграфов.

Вызвал его.

Вошёл — не только всегдашним зубоскалом, но ещё и именинником от огромного красного банта на груди. Такой именинник и такой свободный — какой же ему теперь выговор? Он и раньше бы не послушал.

Но чего уж решительно не мог Гулай — это говорить ему «вы», пропади и всё Временное правительство!

— Садись, сукин сын! — показал ему на табуретку. — Ты что же невинных девочек соблазняешь?

Улыбнулся Евграфов польщённо, выказал ровные белые быстрые зубы. Даже не спросил, о ком речь, видно не один такой случай был, а победно:

— А виноватых — чего ж и соблазнять, ваше благородие? Наше дело холостое!

— Это верно, — согласился Гулай, смеясь. — А карточка-то хоть есть у тебя, или ты как с рогожным кулём?..

Евграфов и всегда был в разговорах смел, а тут, видя такое расположение, опять омыл зубы:

— А что, господин поручик, дозвольте спросить, правду ли говорят, что царская дочь Татьяна отравилась? Говорят, от Распутина забеременела, а сама — невеста румынского наследника. Так не могла позора пережить?

549

После завтрака пришёл Ярик — и отправились они снова гулять, занятий ведь нет.

Но — но… вчерашнее очарование сразу не возобновилось. Как будто вчера — это вчера, и отделено чертой, — а сегодня и

днём невозможно было отвлечься, будто это какой-то незнакомый воин, а всё время виделось, что это — Ярик, восстанавливались все мальчишеские черты, столько раз виденные в домашней обстановке, и та же припухловатая верхняя губа, и те же веснушки у носа. Конечно, уже не восторженные, задорные глаза — но если б сейчас отпустили его с фронта, то могли б они помальчишечеть.

(Ещё она всматривалась — нет ли, не дай Бог, в нём выражения предсмертной обречённости, как, говорят, бывает. Но ничего такого не виделось, нет.)

И очень Ксенья смутилась: да где же *тот?* Ведь *тот* — был вчера, был.

Кажется, и он был смущён. Шли с неловкостью. Неясностью.

А во все глаза лезла внешняя жизнь, и революция. Там и сям — остывшие, с жестяными трубами кипятильники, из которых на днях поили на улицах горяченьким бродячий народ и бродячие войска. И — трамваи с красными флагами и надписями по красному: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «Да здравствует республика!».

Кто-то, говорят, захватывал типографию «Русского слова», кто-то — кафе «Пикадилли». Зачем?

И — в одном, другом и третьем месте, на Страстной и на Тверской, — необычные кучки домашней прислуги, горничных и кухарок — в платках, суконных чёрных пальто, по пятьдесят и по сто вместе, горячо гудящих: требовать себе хороших комнат, а не закоулков, требовать свободных дней и чтоб не будили, когда из театров приходят. (У них какой-то большой митинг сегодня был, вот и доспаривали.)

А Ярика больше поражали подростки с обнажённым иногда оружием и тяжёлыми револьверами на боках — может быть заряженными? Белыми повязками на их рукавах удостоверялось, что это — милиционеры: не хватало студентов, и вооружили подростков. Ярик ужасался, что они пустят оружие там, где не надо, а против пьяного громилы и всё равно не справятся. Да у таких оружие — худший из безпорядков, отнять легко. Ещё и студенты как справятся — тоже неизвестно.

И тем более не пропускал его глаз развешанных повсюду военных приказов. На стенах, на заборах, на театральных тумбах всё висели, висели приказы подполковника Грузинова — и те, которые уже читаны, и новые, не по два ли раза в день он их выпускал?

Такой новый: не разглашать сведений военного характера. И такой новый: приказываю всем отлучившимся солдатам добровольно вернуться в части! Не ставьте меня в необходимость прибегать к принудительным мерам воздействия! И ещё такой: дезертиры освобождаются от ответственности, если вернутся в части до 20 марта.

— Фью-ю-ю! Да ты понимаешь, печенежка, что это всё значит? Во время войны! И — до 20 марта, а сегодня 11-е. Не очень-то надеется.

От приказа к приказу, от квартала к кварталу он темнел.

И правда, теперь и Ксенья поняла необычность толпы: слишком много свободно гуляющих по улице солдат, слишком много, такого не бывало.

Но честь поручику — отдавали, и он всем отвечал, отвечал без конца, для того вёл Ксенью левой рукой.

И уже совсем не так слитно, не так нежно, как вчера. Всё отвлекало их от них самих.

А вот ему приятель рассказал, тут на днях было шествие по Тверской — солдаты под руку с офицерами и под марсельезу?

— Знаешь, я всегда был за то, чтоб устав мягче, — ведь умираем вместе. Но идти в обнимку?.. В первые дни в Ростове мне эти солдатские восторги нравились, но что-то, знаешь, слишком раскачало.

Сообразил:

— А ты-то — что домой пишешь? Ты домой не написала случайно: поздравляю вас со свободой?

Нет, — смеялась Ксенья, — домой — понимаю, что так нельзя. А Женечке с Аглаидой Федосеевной — так именно так.

Разминулось письмо, он его в Ростове не видел.

— Они-то — да, они так и понимают. Но это всё, печенежка, гораздо сложней. Вот как бы мы войну не стали проигрывать.

Опять уже запросто обсуждался харитоновский дом как их общий, свой, запросто звучала «печенежка».

А напряженье меж ними от вчера — ослабло… исчезло…

Да ведь они и никогда не скрывали своей нежной расположенности: они всегда были как брат и сестра.

Снова заблистала между ними весёлая и непроходимая стеклянная грань.

От яркого света уйти бы в дневной сеанс в кинематограф? — так все зрелища закрыты.

И правда, что это ей надумалось? Почему ей вчера так определённо показалось? Ведь если это войдёт в их жизнь — что ж тогда будет со всеми их отношениями в харитоновской семье? Это — никому и в голову не вберётся.

Что-то скучнела и внутренне пустела их прогулка.

Около кинотеатра «Арс», запруживая Тверскую, собиралась новая толпа: ожидался там кадетский митинг.

По тумбам, по афишным доскам ещё много было развешано анонсов — что будет на пятой неделе поста, лишь бы только выбраться из четвёртой: снова все театры, кинематографы, а крупнее всех развесила фирма Либкин: сенсационную фильму «Тёмные силы» — о Распутине, завлекательность, ведь это хлынут смотреть. Да когда так быстро изготовили?

Но сегодня — никуда они пойти не могли. И когда перед закатом Ярик провожал её домой, через Большой Каменный мост, Ксенья звала:

— Пойдём, у нас посидим.

Но он стал при перилах, вытянулся в своих натянутых ремнях, смотрел на ледяную реку в тёмных пятнах — помрачённо. И вот сейчас, в закатной жёлтости, почудился ей на его юном простодушном лице — свет жертвы.

Губы сжались твёрдым пожатием:

— Нет, сестрёнка, прости, не пойду. — Ещё хмурился туда, мимо. — Почему-то тяжело. И я не уверен, что останусь дольше. Я, может быть, знаешь… уеду завтра.

— Раньше отпуска? — изумилась Ксенья.

— У-гм.

Так почувствовала:

— А я тебя — ничем не обидела?

Он помягчел, повернулся, руку на руку положил:

— Да нет, сестрёнка, что ты.

Обнялись — как всегда раньше.

Она перекрестила его.

И пошла со склонённой головой, как будто виноватой себя чувствуя.

Если что и могло быть — то упущено вчера вечером.

Вчера казалось: этого уже много до переполнения. А на самом деле, значит, вчера случилось мало.

Да Боже, — где же т о т ? *Когда* это вступит наконец?

550

Утром позвонил взволнованный Ардов и просил принять его — послушать громовую статью. Если Сусанна Иосифовна одобрит — то завтра же она раскатится на всю Россию.

Сусанна привыкла, ей часто приходилось быть в положении вдохновительницы. Адвокаты, журналисты, даже и писатели нуждались в её слове поддержки, улыбке, — часто звали её послушать свои лучшие речи, приносили черновики статей — оценить и покритиковать, у неё был редакторский слух. Их дом был не только дом Давида Корзнера, но и Сусанны Корзнер, она-то своим сиянием и собирала постоянную публику. И эту роль свою она любила (не без того чтобы гордиться, но скрывала). Это выслушивание мужских вдохновений никак не была измена мужу, но — напряжённый спектр жизни. Ей приносили своё лучшее — и она по силам старалась ещё улучшить это лучшее.

Отказать было невозможно, так он рвался, — а между тем дня уже не хватало, позже предстоял Сусанне торжественный и необычайный вечер: всемосковский еврейский митинг. Сегодня — суббота, и он назначен был позже вечером, после святой неподвижности, а перед тем у неё соберутся знакомые, сговорились ехать гурьбой. (В этой связи и сама Сусанна вспомнила субботу и успела попрекнуть в шутку Ардова: не лучше ли завтра? «Ах, какие пустяки! — донеслось в ответ. — Этот замысел распирает меня уже всю ночь, я не могу его носить дальше».)

Перед приходом Ардова переменила блузку.

Он ворвался с весело-блуждающими глазами. Сели в столовой под верхней лампой, там всегда не хватало дневного света, взяли кофе, Ардов разложил свои безпорядочные листы с безпорядочным почерком. И радостно-нервно:

— Сусанна Иосифовна, я не буду предварять, текст говорит сам за себя… Нет, всё же немного предварю… Вы — читаете, вы — слышите, вы — отдаёте себе отчёт: ведь готовится предательство святой свободы!! Всё чаще — и откуда? совсем не от черносотенцев. Эти голоса, зовущие к предательству, раздаются в революционных газетах, печатаются открытые призывы — сбросить войну, как будто это… старое надоевшее пальто, нам стало жарко, тесно, и мы сбрасываем. Но войну — не сбросишь! О нет! Вот, вы читали:

немцы готовят сокрушительный удар на Петроград. А мы — беспечны! И я решил: я не могу молчать дальше, я и наша газета не имеем права молчать! На это надо — ответить, но ответить не серо, ответить громово! надо хлестнуть по нервам! Надо — всех пробудить! Мы дадим огромные заголовки. Вы — согласны? вы — понимаете?

Сусанна — да, понимала, читала, знала.

— Я — с вами согласна, я — патриотка, это кроме всяких шуток.

Только она не уверена, что дело столь угрожаемо, и даже столь загублено? Но, однако, сильно написать — это всегда полезно, и если… Почитаем.

— Да! Изо всей силы! Да, так написать, чтобы рыдали простые солдаты! Вот так, — начинал уже читать. — В три дня из царства самого свирепого деспотизма мы перенеслись в безбрежный океан безграничной свободы! Да! На нас свалился дар радостный — но и трагический! Мы оказались в вихре героической эпохи — но это и обязывает нас стать героями! О граждане, поймём единодушно: лучше умереть в такую эпоху, чем жить в эпоху прозябания! Долг каждого гражданина — чтоб освобождённая Россия была Россией победоносной! Ныне создалась опасность не только отечеству, но — свободе! Немцы надеются, что наш переворот приведёт к ослаблению русского воинского духа — о, как жестоко они ошибутся! Мы верим, что армия нас не выдаст! Конечно, Вильгельм хочет отомстить нам за сверженного царя, он всегда его поддерживал.

Ардов сам себя перебивал в большом волнении, то ли усиляя воздействие на Сусанну своими объяснениями, то ли одновременно готовя вариантные фразы:

— Да, конечно, тут место сказать и о старой камарилье. По сути, союз трёх императоров продолжал тайно существовать, их объединяла круговая порука. Мы и границу как следует не укрепляли, чтобы дать прусским войскам возможность давить «революционную сволочь».

Он вписывал между строк или сносками, на полях и на обороте, а кофе стыл, забытый.

Сусанна мялась.

— Я… не уверена, что эти доводы найдут уж такой отзыв в солдатской простой душе. И что он будет рыдать.

Но это, кажется, и не была ещё сама статья или даже главная часть её, а только — примерка.

Ардов метнул взглядом:

— Да не солдата! — солдат и так стоит на посту. Нам надо пронять — гражданина! обывателя! даже интеллигентного обывателя, кому революция досталась так слишком просто! Я — буду насмехаться, вот будет мой тон! Свергли Николая II — и радуетесь? А он — величина малая. Вас называют гениальными за ваш переворот. А подходят — усмирители с плётками. Где же, где же — рёв прорвавшегося революционного потока? Сколько дней революции уже прошло — а что мы сделали? Усилилось ли производство снарядов? Обезпечены ли города продовольствием? Где же наше вдохновение? Где же наш порыв? Где гнев? Где оскорблённые сердца? Где поруганная честь?

Да, в этом тоне что-то острое было найдено, Ардов сразу уловил бодрящее одобрение Сусанны — и ещё горячее взялся:

— Позвольте! А безопасность ваших близких? А униженная Россия?.. Да, русский народ отходчив. Он навяжет красный галстук на памятник Александра III и удовлетворится этим — и опять примется за своё богоискательство.

Да, какое-то дикое веселье было в этих строках, они не могли не затронуть, хотя бы оскорбив.

— Но Гинденбург идёт казнить нашу свободу — а мы спокойно слушаем, как какие-то нетерпеливые мечтатели рядом с нами кричат: «Долой войну!» Или вы не чувствуете железной поступи этих мгновений?.. Потомки или назовут наши имена святыми, или проклянут как разрушителей России. Раньше у нас было оправдание: во всём виноват режим. Но теперь — нет отговорок, которые оправдали бы нас перед историей. Мы *сами подписали свою судьбу: мы обречены на войну!*

— Несколько дней назад вы писали: мы обречены победить! — помнила Сусанна.

Польщённый Ардов с раскраснелыми ушами кивнул:

— Ещё несколько дней назад и можно было так сказать. Но сегодня приходится сказать вот как… В Европе остался только один деспот. Пусть же ведёт вас против него ваша любимая марсельеза!

Глотнул кадыком. Глотнул кофе.

— А то все только распевают её. Понравилось… Теперь не время для празднеств! Что это открылся за новый вопрос: работать

или не работать на заводах? Теперь — пусть ваши станки вертятся с удесятерённой скоростью! Вложите всю вашу любовь к свободе — в этот бег колёс! Введите систему Тейлора! У нас мало отравляющих газов — создайте нам газы! Пусть работают и женщины! Пусть вся Россия напряжётся как огромная космическая пружина!

И уши пылали его, и щёки, он — весь сгорал, он и сам уже без Сусанны видел, что статья удалась отлично.

— Всё — для свободы! Такой минуты ещё не было в нашей истории! Только свободный народ и может вести освободительну… а, это уже было… Неужели мы упустим то счастье, которое далось в наши руки, трепещущие от волнения?.. Неотразимо написать! Написать так, чтобы стало стыдно всей стране!.. Может быть, и всем нам придётся идти под знамёна без отсрочек и белых билетов!

Его голос переломился.

Успокоясь, он снова проверяюще смотрел на Сусанну.

Сусанна ли не умела слушать и смотреть! ушами и глазами выслеживать, ещё иногда поддерживая и изгибом кисти. Она — ничего не пропустила. И теперь сказала вдумчиво:

— Да, это сильно. Неожиданно, остро, дерзко. Можно поправить несколько выражений. — Ардов не скрывал, как доволен. — Но если говорить по сути, меня безпокоит вот какой оттенок. Повторяю, я патриотка. Войну — надо вести. И она именно должна стать войной за свободу. «Немедленное прекращение» — это какое-то безумное ребячество или извращённое толстовство. Но всё же, — она пристально смотрела на Ардова, а искала в самой себе, — всё-таки, что-то должно измениться в нашем отношении к войне. Ну, скажем, с таким добавлением: долой побединство! Победы — нам тоже не надо, а только отстоять свободу. А?

551

Наконец-то Керенский стал высыпаться — и уже больше не падал в обморок. Да и сбросилось это безумное революционное напряжение, или, верней, так хорошо он втянулся в него, что уже вращался как в обычной жизни. Чтобы полнее сгорать на министерском посту — совершенно правдоподобно не возвращался он

на свою семейную квартиру. Но чтобы не переезжать и семьёю сюда, да и по доброте, — не изгонял из казённой министерской семью арестованного бывшего министра Добровольского (и разрешил мадам ежедневные свидания с мужем, и держал речь к домовой прислуге: служить по-прежнему), а себе взял только частный рабочий кабинет, который стал ему также и столовой, и рядом комнату для сна. Но быт устроился отлично: метался ли Керенский по Петрограду или вёл приём в министерстве, а тем временем графский повар распоряжался на кухне большими запасами графской провизии. И пока в деловой части здания бурлила напряжённая работа министра — здесь приспевали любимые блюда Александра Фёдоровича, или, за недостатком его знания и опыта, блюда по рекомендации Орлова-Давыдова, или по усмотрению самого повара. А к вечеру в прихожей непременно стал появляться ещё и великий князь Николай Михайлович. И как только последние дела кружевитого дня спадали — министр с графом и с великим князем принимались приватно ужинать, со вниманием, разнообразием и пояснениями о блюдах.

Николай Михайлович, лысый, с короткой шеей и художественно обстриженными усами-бородой, появился в приёмной министра юстиции едва ли не в первый же день и сразу пришёлся Керенскому: с одной стороны, это был несомненный, неподдельный великий князь, Его Императорское Высочество, — и вот тянулся в свиту Керенского; с другой стороны — вполне оппозиционный великий князь, в опале у отрекшегося царя, ведший агитацию в великокняжеских кругах, готовый поддерживать и заговоры, считавший убийство Распутина недостаточной мерой, а теперь, после двухмесячной ссылки в деревню, уже и горячейший сторонник Великой революции. А с третьей стороны — он ведь был историк! И может быть, в самое ближайшее время будет способен отразить государственные шаги самого Керенского! А наконец, и просто обворожительный человек.

А ещё, кроме общей приватности, приятности и дружелюбия, Николай Михайлович охотно дал себя приспособить и для обработки всех великих князей: чтоб они присылали министру юстиции письменные заявления о своей лояльности Временному правительству, об отказе от права престолонаследия и — об отказе от удельных земель, приносивших большой доход. Этот последний пункт был тонок: законодательно — этого отнятия можно было добиться только Учредительным Собранием, а вот если бы добро-

вольно, то и быстро. Хотел Керенский поднести такой готовый подарок своему нерасторопному правительству.

И Николаю Михайловичу неплохо удалось. После ареста Николая II великие князья быстро стронулись и стали такие заявления присылать и даже телеграфировать, а Николай Михайлович ещё и комментировал министру, кто сдался легко, а кто туго. Легко согласились все Константиновичи: что не может быть и речи о престолонаследии, а Уделы есть собственность народа. Георгий Михайлович более осмотрительно отказывался лишь от престолонаследия, а по Уделам лишь обещал подчиниться решению, когда оно состоится. Александр Михайлович и Сергей Михайлович ограничились поддержкой Временного правительства, как будто бы остальных вопросов не поняли. А Владимировичи — упирались. Андрей был — далеко в Кисловодске. Кирилл — от престола отказался, а об удельных землях умолчал: хотя с красным бантом и приветствовал революцию, но расставаться с богатством жаль. А Борис, казачий походный атаман, и вовсе молчал, и вообще в его окружении в Ставке настроение было тёмное: поступил донос от проводника штабного поезда, что в штабе Бориса группа офицеров-заговорщиков решила открыть немцам проход на Петроград, а сами заговорщики тем временем бомбами и револьверами уничтожат всех министров. (Послал Керенский генерала-юриста в Ставку арестовать заговорщиков.)

А тут подоспела и присяга Николая Николаевича Временному правительству. Керенский выложил и своих верноподданных великих князей — и велел всё это скорей обнародовать во всеобщее сведение.

От первой минуты своего министерства, даже ещё от предминистерских тайно-сговорных часов, обжигающе чувствовал Александр Фёдорович и горячо говорил своему верному партийному оруженосцу Зензинову, и коллегам по правительству, и чинам своего министерства, и всем, кто припадал послушать, — на какой недосягаемый пьедестал он поставит в России юстицию. (Пьедестал пьедесталом, но кой-кого надо бы ещё быстро и похватать.) Величайшие, вековые юридически революционные деяния выпали счастливчику. Освобождение всех революционеров из Сибири! (И чтоб унизить старых прокуроров, предписывал им лично освобождать своих вчерашних обвинённых и поздравлять их.) Амнистия! — мечта интеллигентских поколений! И широтой своей за-

хватывающая дух: не только всех политических — но и тех уголовных, кто совершил убийства, ограбления по политическим и религиозным мотивам, и промотание оружия, и всех штрафных военнослужащих перевести в разряд безпорочно служивших. А уголовные, кому не будет прощён полный срок, — те могут идти в Действующую армию, укрепляя её ряды, а при свидетельстве о добром поведении будут затем прощены.

Правда, жестоко было бы: освобождая политических, ничего не сделать для уголовных. Керенского мучило, что он пока мало сделал для них: неужели по-человечески они заслужили такую кару, как тюрьма, крепость, каторжные работы? Ведь виноваты не они, а среда. По-революционному, кто воистину не подлежит никакой амнистии — это повышающие цены на квартиры и продукты, вот они удушают революцию!

Да вообще! Да вообще: пора наконец тюремную практику превратить в гуманность! пора вообще отказываться от наказаний, ибо они не исправляют! Самое правильное было бы: для оздоровления духа преступников отправлять их на побывку в семью. Начальником Тюремного управления Керенский назначил теперь — профессора Жижиленко, очень передового.

Досталось теперь Тюремному управлению и брать в своё ведение многочисленные арестные помещения, нововозникшие по всему городу и подгородью. За первые революционные дни хватали все кому не лень, набралось арестованных тысяч более пяти, несравненно с тем, что сидело при царе, и не хватало тюремного фонда, брали под арестантов манежи, кинематографы, гимназии, ресторан Палкина, караульное помещение для кавалергардов, царскосельский лицей. Где успели устроить нары, а то на полу, без матрасов, без белья, лишь кому из дому принесут, и уборных не хватало. И не следовало держать лишних, и нельзя выпустить опасных сторонников старого режима. Уже заселили военную тюрьму. Спешно восстанавливали повреждённые в революцию «Кресты». И Керенский поручил присяжному поверенному Гольдштейну возглавить особую комиссию, нет — даже 20 следственных комиссий под его руководством: чтоб они обходили все места заключения, выясняли, за кем не числится никаких дел, и освобождали бы их. Все содержались без всякой санкции прокурора, даже без регистрации, без классификации, арестованные и упрятанные кем попало, — и к этим пленникам революции жест

великодушия предстояло сделать опять-таки революционному министру.

И ещё надо было разработать единый подход к добровольно сдавшимся полицейским чинам: с ними-то как? продолжать держать? освобождать?

А чтобы вся череда амнистий и других славных дел становилась бы тотчас широко публично известна — учредил Керенский при своём министерстве бюро печати. Должна существовать форма прямого обращения министра юстиции к народу. Сообщать не только о действиях, но и о замыслах министра.

Да что! Да в самых недрах министерства нужны были срочные реформы! Чтобы лучше шла работа, Керенский отменил все чины, титулы, ордена и призвал младших служащих самих сорганизоваться для защиты своих политических интересов. Впредь — никто не будет назначен на какую-либо должность в министерстве без общего согласия младших служащих! К сожалению, сейчас ещё нельзя повысить всем содержание, но можно ограничить норму работы. (Кричали «ура» и благодарили.)

Да что! Да едва выходил Керенский из министерства на Екатерининскую улицу, чтобы сесть в автомобиль, — собирались вокруг дворники, прислуга из соседних домов, — и как было не встать в автомобиле, не произнести им речь: что теперь все будут равны! и князья — и дворники!

Великие дни, когда Александр Фёдорыч формовал русскую историю! Яркость, плотность, напряжённость, все фибры души трепещут! То — ещё раз слетать в Сенат. Предупреждённые сенаторы уже все не в мундирах и лентах, а в пиджаках, конечно все взволнованы его приездом. Однако в гражданском департаменте Александр Фёдорович был очень ласков: просил их спокойно возобновить занятия, никаких перемен не ожидается, министр сам себя отдаёт в распоряжение Сената. Гражданский департамент всегда стоял на страже закона, и министр это ценит. Вот в уголовно-кассационном департаменте у меня разговоры будут совсем другие. И перешёл в уголовно-кассационный, который утвердил столько политических приговоров. Там он разговаривал с сенаторами всего лишь минут десять, но так строго и грозно, что оставил их возбуждённо-красными, близ сердечных припадков.

Всех их надо менять! И Керенский спешил предложить сенаторские посты адвокатам — Винаверу, Грузенбергу, Карабчевскому.

Да проще: надо вообще отменить верховный уголовный суд, не должно быть такого центрального судилища, достаточно, что судят на местах. Это всё — от имперского величия.

А ещё слетал — в Петропавловскую крепость. Это тем более важно и нужно, грозное явление министра юстиции должны там запомнить все. Во дворе, замкнутом безсмертными стенами и корпусами, был выстроен гарнизон — и министр произнёс к ним пламенную речь, призывая к строжайшей дисциплине и революционной ответственности. И пусть верят своим офицерам, что они — такие же революционеры, и над всеми над ними славная тень декабристов, повешенных вот тут же где-то, на стене.

Здесь у Керенского теперь сидело 35 министров и сановников. Обошёл бастион, где содержались преступные вельможи. Кроме общей стражи у нескольких важных камер стояла дополнительная революционная. Смотрел в глазки, лишь к Макарову и Штюрмеру велел распахнуть и на мгновение появлялся в их дверях изваянием Дантона. (Он поражался сходству своему с Дантоном: от размаха революции — так же первый министр юстиции, и так же в его руках король, и так же он шагает к премьерству, — но — о, не будет же обезглавлен!) Распорядился: свидания давать им раз в неделю при прокуроре, а Протопопову вовсе не давать. (Все эти дни к нему цеплялась жена Штюрмера — то выпрашивала свидание, то вернуть ей чемодан с отобранными драгоценностями, отказал.) Утвердил им 40 копеек кормёжных в сутки.

Весь Петроград хотел видеть своего министра юстиции! — и как было отказать городу? То и дело приходилось мчаться куда-то, чтобы перед какой-то, ещё и не разгляженной, публикой выбрасывать отрывистые фразы, опьяняя себя и слушателей.

А сегодня замчались почему-то в управление Межевой частью, все служащие радостно приветствовали министра обновлённой России — и Керенский благодарил их, призывал к деятельной и спокойной работе по предстоящему всеобщему перемежеванию земель. А потом в автомобиле со своим заместителем очнулись: почему они, собственно, туда поехали? ведь это же — министерство не то земледелия, не то внутренних дел?

А тем временем натекали со всех сторон телеграммы, и кто-то же должен был воспринимать их и откликаться. Из одних мест — приветствия, приветствия! Из Одессы — подтвердить амнистию дезертирам. И поляки, прося автономии, слали телеграммы Керенскому же. И французские министры-социалисты слали горячие по-

здравления (и призыв продолжать войну) — кому же, как не единственному тут социалистическому министру?

А тут — хватало забот по своему министерству, и надо было расторопно распоряжаться. Из Московского окружного суда затребовать на пересмотр дело Йоллоса, убитого черносотенцами 12 лет назад, — в надежде расширить теперь круг виновных. Из Таврического дворца — отпустить арестованную престарелую графиню Нарышкину: оказалась она оговорена Милюковым в его ноябрьской речи, спутана с другой Нарышкиной, не виновата ни в какой государственной измене. То — возбуждённые переговоры с Москвой, где Керенский в свой визит великодушно дозволил деятельность адвокатесс, и теперь там в юридическом мире происходил бум. То возникло расследование о загадочной шифрованной телеграмме, в дни переворота присланной некой Ивановой, Невский 71, от некоего Иванова: «Выезжаю Вырицу, оставляю корзину, булки, хлеб». Это — несомненно было от генерала Иванова и связано с его карательным движением на Петроград, — а сам он скрылся в Киев, и надо было достать его оттуда и потребовать объяснений. То бумаги, конфискованные в Союзе русского народа и в Союзе Михаила Архангела, свозили в министерство юстиции для скорейшего следствия. То — утверждал министр к публикованию найденный список сотрудников петроградского Охранного отделения. То — подкладывали ему заявленье одного из них, студента Зенона Лущика, с просьбой расстрелять его как не заслуживающего снисхождения, — а Керенский ставил милостивую визу. То — промелькнул где-то в Таврическом какой-то кавалерийский офицер, якобы покуситель на жизнь министра юстиции, — а потом являлась депутация офицеров с чувством глубокого возмущения и безконечно ценя дорогую всему русскому офицерству жизнь гражданина-министра. (А потом вскоре оказывалось, что никакого покушения не готовилось.) Но на всякий случай перед каждой ночью проверяли, не проник ли в здание министерства кто чужой, особенно офицер. На ночь поперёк министровой двери укладывались на пол курьеры. И ландыше-валерьяновые капли, поданные министру, Александр Фёдорович велел выпить сперва самому лакею. То — являлась к социалистическому министру депутация рабочих со своим рабочим кандидатом в министры финансов: имел уже опыт заведывания больничной кассой на Выборгской стороне, — и Керенский должен был экзаменом при них доказать рабочим, что кандидат всё же не годен в министры. То подходи-

ло время мчаться на вокзал — встречать из Сибири почётную старую эсерку Брешко-Брешковскую (Керенский должен был всей России теперь доказать свою принадлежность не к трудовикам, а к эсерам, в которых он, увы, никогда не участвовал действенно). И ехал на вокзал, а она не приезжала.

Но все эти разрывающие обязанности не только не смущали Александра Фёдоровича — а воспламеняли его к ещё более круговертной деятельности. Он чувствовал себя — в своей стихии, он чувствовал себя гением революционного действия!

Более того: он чувствовал себя — карающей дланью революции, калиткою Немезиды. Грозно-траурным маршем прошагивала Она через грудь Александра Фёдоровича — и в Россию.

Вот наконец, хлопотами целой недели, он собрал Чрезвычайную Следственную Комиссию по делам высокопоставленных лиц, и отвёл ей пять комнат в Сенате, и в члены ввёл своего Зензинова и добровольца прапорщика Знаменского, — а во главе, для леденения крови подследственных одною фамилией Муравьёва-Вешателя, — так и возвысил присяжного поверенного Муравьёва. Сегодня, 11 марта, Комиссия уже начинала допрашивать (окружение Протопопова), — и скоро отчётливый ход Немезиды услышит вся Россия и омертвеют виновные вельможи. (А дальше развернутся — и злодеяния самого царя. И — нельзя ему уезжать в Англию, нет.)

Распахнуть через себя путь желанной Справедливости в Россию, полную несправедливостей, — как от этого не задрожит грудная клетка?

Уже напечатали все газеты, что по распоряжению министра юстиции разрабатывается проект отмены смертной казни — навсегда. И каждый следующий день, разворачивая газеты, читатели ждали этого исторического закона.

Не так долго было и разработать его, там всего несколько пунктов. Но…

Одна-две смертных казни ещё очень могли бы понадобиться, чтобы грандиозно довершить картину российкой революции.

Александр Фёдорович искренно ненавидел пролитие крови. Но — для того, чтоб она никогда больше не проливалась в России… ?

Совсем не по кровожадности, не по мести грезил Керенский о такой казни — но из эстетико-революционного ощущения совершенства всей картины! Чтобы не отстать от Великой Французской.

И он — медлил с опубликованием декрета.

552

Мучительные колебания Государственной Думы, а тем более её Председателя, — разъезжаться ли всем по местам своего избрания для деятельной работы или, напротив, удерживаться в Петрограде и заседать, — как бы толчком решились от случая с депутатом крестьянином Саратовской губернии. В революционные дни он улизнул, не сказавшись и Председателю, и поехал в свою Саратовскую. Но в своей же родной деревне на сходе получил от стариков выговор: как же он мог в такое время оставить Государственную Думу? И вот — воротился.

Урок! Урок народной мудрости, к которой Родзянко всегда бывал прислушлив. И урок, вдохновляющий к новой деятельности! Ну конечно же, ну в самом деле! — разве это нормально для парламента: разъезжаться, когда драгоценные силы каждого из нас нужны именно в соединении?

И сегодня в библиотеке Таврического Родзянко снова собрал частное совещание членов Государственной Думы, чтобы обсудить этот эпизод и сплотиться.

Уже и библиотека становилась слишком просторна для собравшихся, уже и тут сидели они редковато. Сердце Михаила Владимировича сжималось — но он крупнодушно расширял его и тем заполнял пустоту мест.

Итак, он обсудил поучительный случай с саратовским депутатом и очень просил более не разъезжаться и передавать другим депутатам, чтобы собирались.

Далее он обрадовал их сообщением, что с фронта получаются самые успокоительные известия, порядок в Действующей армии не нарушается.

Тут очень кстати выступил возвратившийся с Северного фронта депутат Дзюбинский. Этот народоволец, в юности сосланный в Сибирь, а оттуда потом делегированный в Думу, известный острый и безпощадный критик всего правительственного, от кого привыкли слушать только недовольство, теперь поднялся со своей уверенной широкой головой, столпообразно продолженной в шею, и тоже радостно стал рассказывать депутатам, как прекрасно настроены войска и как они рады переменам: теперь они знают, за что будут сражаться и жертвовать жизнью. Также нашёл Дзюбин-

ский, что и генерал Рузский во всём хорошо разбирается, прекрасно осведомлён и смотрит на будущее с верою.

От имени Государственной Думы и её Временного Комитета Родзянко благодарил Дзюбинского за полезную поездку.

И на местах, докладывали депутаты, тоже всё спокойно.

На этом сегодняшнее заседание закрылось.

Ну да у Председателя оставался же ещё Временный Комитет. Если кто возглавил и направил всю революцию в самые рискованные дни, то именно его Думский Комитет. И он же стоял твёрдым оплотом против опасности восстановления старого строя. И он же послал своих депутатов везти арестованного царя из Ставки. И с дороги именно в Думский Комитет слали депутаты телеграммы о том, как следует Николай. И являясь законным держателем Верховной власти, имея право сместить любого министра и даже всё правительство — Комитет не делал этого.

А Временное правительство, напротив, не оценило всей незаменимой службы Комитета и даже стало в несколько дней как бы вовсе его игнорировать, не держало в курсе предпринимаемого. Князь Львов ни разу не позвонил Родзянке за советом.

А вот сейчас Николай Николаевич получил заслуженную отставку с Верховного — значит, надо было обсуждать новую кандидатуру, и с кем бы лучше всего это решить, как не с Думским Комитетом? Однако правительство и движения такого не делало.

Правительство давало иногда поручения Комитету, но если разобраться, то — унизительные: из-под августейшего покровительства Марии Фёдоровны перенять в своё ведение Красный Крест. Напротив, правительство чутко, болезненно прислушивалось к прениям и мнениям какого-то Совета рабочих депутатов, и с *ними* оно создало Контактную комиссию, совещаться периодически. А Родзянко, а Комитет, а Дума знали о действиях правительства не больше чем любой обыватель.

Так и, с другой стороны, якобы член Временного Комитета Думы злополучный Чхеидзе — знать не хотел Комитета и забыл своё думское происхождение, — но из другого крыла Таврического пересылал по коридору грозные протесты против выпуска Думским Комитетом каких-либо публичных актов.

И конечно, вся солдатня подчинялась *тому* крылу. Конечно, Думский Комитет не озаботился иметь штыковую силу, ни захватить население в струю пропаганды, не мог раздавать недобросо-

вестные посулы, — и в результате только платонически мог быть недоволен Советом и Временным правительством, а действовать против них не мог.

Но как же, как же все они не понимали — трагичности, символичности и безповоротности того, что они делали?! Ведь Временное правительство, созданное Государственной Думой и обязанное отвечать перед Думой, не только не отвечало на простые вопросы её, но перехватило себе даже и коренную думскую законодательную работу, чего не бывало и при царе! Раньше Дума негодовала, что в её перерывах издавались законы по 87-й статье, — а теперь потекла сплошная 87-я, правительство само издавало закон за законом, мол, при нынешнем положении страны оно не может дожидаться санкций Думы. Да посмотрите же в зеркало, господа!

Парламент победил — и что ж, он стал ненужен? Народ победил — и что же, народное представительство стало ненужным?

А для кого же все эти годы добивалась Дума власти — если не для Думы?

Страшная поздняя догадка теперь впустила когти в сердце Михаила Владимировича: да не с самого ли начала, все десять думских лет, революционное крыло да и все кадеты использовали Думу лишь как прикрытие своих целей?

Ведь вот и Николай завещал Михаилу: править в *единении* с Государственной Думой (а не с Временным же правительством).

Да, в глазах народа Дума была взнесена необычайно высоко, сегодня во всех дальних углах России всё совершалось именем Думы, все знали и верили только в Думу, — и ни в провинции, ни в армии поверить бы не могли, что и Дума, и её Председатель совсем не облечены никакою властью.

И публично объявить это — Родзянко не решился бы, больно.

Могло бы правительство князя Львова понять, какой драгоценный символ для них хотя бы идейное существование Думы? Ведь наступит час и правительство само будет искать поддержки Думы против левых эксцессов.

Но они этого не понимали.

Сглублялась горечь в горле Председателя. И рассасывал он её только неустанной работой.

Всё ещё приходили сотни приветственных телеграмм, надо было во множестве их читать и на какие-то отвечать. Телеграм-

мою чтил Председателя и генерал Рузский: о том, что штаб его Северного фронта принял новую присягу, и с полной преданностью и горячими пожеланиями успеха… И Родзянке же слал телеграмму Союз русского народа: что он предлагает свои услуги Временному правительству. И инспекция фабричного труда отдавала себя в распоряжение Думского Комитета. И начальник боевой дивизии выразительно телеграфировал Председателю: в вашем лице приветствуем обновлённую Россию. Достойнейшему представителю, столь мощно и твёрдо ставшему в решительную минуту против тёмных сил…

Да с фронта катили не только телеграммы, но делегации, — и кто же мог выходить к ним в Таврическом дворце, если не Родзянко? Приехали делегаты Острожского полка, привезли резолюцию: великое солдатское спасибо за обновление нашей родины! Если мы чего и боимся, то — что происками тёмных сил нам не дадут закончить победой… И делегаты Малоярославецкого полка: с восторгом встретили переход власти в честные руки и будут защищать Государственную Думу до последней капли крови! …И манифестация украинцев в малороссийских костюмах: как можно энергичнее продолжать войну с Германией!

А в промежутке между делегациями Председатель писал какое-нибудь воззвание. То он призывал деревню вывозить хлеб, а теперь не упустить призвать её сеять новый.

Всем, кто трудится над землёй. Без хлеба — ничего не будет. Государственная Дума просит вас, чтобы не остались поля незасеянными. Исполните свой святой долг — сейте каждый на своём поле. Весь излишний хлеб будет куплен правительством по необидной цене…

Сколько ж, сколько было в России дела! Уже и снявши с себя управление, Родзянко едва прогребался через дела.

А сегодня к Председателю явилась и вовсе необычная делегация: митрополит Владимир с полным составом Святейшего Синода! Родзянко с почётом принял их и рассадил, и угощал, готовый служить святым отцам.

А они пришли — с жалобой на конфликт с правительством. Сперва, неделю назад, обер-прокурор Львов объявил им, что Церкви будет полная свобода в самоуправлении, а правительство остановит, только если что несогласно с законом. Синод поверил и издал успокоительное послание к православному народу. Но всего

через три дня Львов энергично заявил Синоду, что Временное правительство считает себя в прерогативах прежней власти, отказал в созыве церковного Собора и отдал распоряжение о подготовке церковной реформы по воле правительства. Тогда Синод пожелал обсудить новый закон об управлении Церковью. Львов ответил, что выработает без Синода, и даже ревизию церковного хозяйства будет вести сам, и назначать епархиальных иерархов он тоже будет сам, чего не делал и Самодержец, глава Церкви! После этого шестеро иерархов подписали заявление, что не считают возможным оставаться присутствующими в Синоде. Позавчера присоединился и весь Синод: считать поведение обер-прокурора неканоническим и довести до сведения Временного правительства.

Итак, это был шаг Синода, не виданный во всей русской истории! Синод заявляет, что и он хочет воспользоваться свободами, объявленными всем гражданам, а если нет, то полным составом подаёт в отставку!!

Эти дни, руководя государством, Родзянко совсем упустил думать ещё и о Церкви, — а тут вот что! Он был ошеломлён явлением этих клобуков в свой кабинет, как будто преображённый и лучистый от блеска крестов с алмазами. Этих высоких духовных лиц он привык почитать издали, во время торжественных служб, — а тут вот все запросто они пришли к нему — и чего же хотели?

И сердце его было на стороне Синода и трепыхало от возмущения этим чёрным разбойником Львовым. И пришли они сюда — как ко Главе государства. И проблема была огромна и почётна, чтобы Председателю её и поднять, а кому же?! Поднять — и трясхнуть — и громыхнуть — и проучить этих зазнавшихся министров! И сердце его — бурлило от гнева!

Но… Но… Конфликт с правительством сегодня был бы грозен. Невозможен.

И — некем его проводить.

И нельзя раскалывать силы порядка перед анархистами из Совета.

И… И… Со всей своей вальяжностью и многоданной властностью Председатель стал уговаривать членов Синода — как-нибудь с отставкою погодить. А там как-нибудь уладится.

А церковным иерархам и всегда доступна идея смирения. Они и сами понимают, что невозможно оставить Церковь без кормила. Что всё равно неизбежно им вести дела до созыва нового Синода.

И благоразумный Сергий Финляндский высказал, что не следует своим слишком большим упорством подрывать молодое Временное правительство. Нужен с властью компромисс.

553

С такой быстротой Николай Николаевич отказался от главнокомандования, — Алексеев узнал уже с опозданием, что тягостная обязанность объявлять — свалилась с него. Хоть это!

Но кроме облегчения — испытал он и огорчение, что этот порывистый, властный человек не останется тут. От петроградских посяганий на Ставку — всё больше чувство незащищённости и неуверенности охватывало Алексеева, — неуверенности, какой он не знавал во всей своей военной службе и даже в отступлении Пятнадцатого года.

Обещался великий князь в этот день с утра кипеть над бумагами, а вот всё миновало, опустело. И единственные бумаги, которые надо было теперь составить и подписать, — это передача временного исполнения должности начальнику штаба, впредь до назначения преемника. И — рапорт великого князя военному министру с просьбой уволить в отставку.

Всё это и подписано было. На породистом лице великого князя с трудом сохранялось выражение гордости, так свойственное ему. Никакой деланой усмешки на губах. А долго прорезанные глаза не могли скрыть печаль. Слишком силён был удар после трёхдневной дороги в овациях, возбуждённого приступа к делу — и…

И влага подёрнула глаза, и надломился голос, когда, с жалостью к себе, поручил Алексееву великий князь просить ему от Временного правительства безпрепятственного проезда в Крым и свободного там проживания в Чаире, а брату в Дюльбере. Ехать в большое тульское имение ему казалось опасным.

Мог себе позволить теперь великий князь уйти в личные планы. Но Алексееву было уже невмочь и недосуг — вслушаться, посочувствовать, посидеть. На его плечах всё увеличивалась тяжесть — и с отречённым великим князем он уже не имел права делить её.

Сегодня два офицера привезли тайное, откровенное и оглушительное письмо от Гучкова. Он прямо признавался, о чём Алексеев не хотел, не смел догадываться: что Временное правительство не располагает никакой реальной властью, а лишь сколько дозволяет ему Совет рабочих депутатов. (Разгневанный на Алексеева!..) И что разложение запасных частей прогрессирует.

Боже мой, так чем держаться Действующей армии? За спиной, вместо обширной отечественной земли, — обвал, бездна… А впереди всё тот же сильный зоркий враг.

И таково было грозное свойство гучковского письма, что даже Лукомскому не хотелось его показать. Никому вообще. Переварить в одиночку.

Ни с кем он не мог делиться своим разрушительным знанием, а между тем лез к нему приехавший корреспондент «Русского слова»: какие меры надо принять, чтобы армия восприняла переворот без ущерба?

И — нельзя ничего не ответить, такая теперь общественная температура.

Скрываясь за очками, за сожмуром, за кислым выражением, отвечал Алексеев, что армия не может сразу охватить таких событий. Разъяснять солдатам не могут посторонние люди, а только прямые начальники. Наша задача — сроднить и сблизить солдат и офицеров.

А возможно ли выборное начало?

Абсолютно невозможно. В мире такой армии не бывало и не будет.

Среди дня вдруг вызвали к аппарату. И потекла лента от князя Львова, взволнованная. С первых слов стало понятно, что он до сих пор не получил отправленную утром телеграмму великого князя об отречении, но только что получил вчерашнюю: что великий князь прибыл в Ставку и вступил в отправление должности Верховного.

И видимо, перепугался. Но и не прервёшь течение его ленты.

…А теперь телеграмма великого князя о вступлении в должность стала известна Петрограду и вызвала большое смущение. Достигнутое великими трудами успокоение умов грозит быть нарушенным…

И который уже раз это у них! — то полное успокоение, то всё нарушено.

…Временное правительство поставлено в затруднение: оно обязано немедленно объявить населению, что великий князь

не состоит Верховным Главнокомандующим. Князь Львов просит генерала Алексеева и самого великого князя — помочь нашему общему делу.

Это поразительно, насколько они не чувствовали в себе силы! — они не решались утвердить великого князя, но и снять его тоже не решались. Гучков не примрачнил…

Наконец лента остановилась, и Алексеев мог отвечать.

Он сразу успокоил: вопрос благополучно исчерпан. Уже послано две телеграммы: о сложении звания и потом об отставке. Если даже эти телеграммы ещё не пришли, генерал Алексеев не видит препятствий немедленно объявить это во всеобщее сведение и положить предел смущению умов. Кроме того, великий князь просил гарантировать ему и его семейству безпрепятственный проезд в Крым и свободное там проживание на своей даче. И он просит на время проезда командировать вашего комиссара. И чем скорее будет решён этот вопрос и чем скорее состоится отъезд великого князя из Могилёва… Об этом и генерал Алексеев убедительно просит князя Львова.

Там, на той стороне, задышали свободно.

— Слава Богу. Вопрос относительно дальнейшего следования великого князя будет решён через несколько часов, и решение будет немедленно сообщено вам.

Теперь и:

— Сообщите, пожалуйста, общее положение. И настроение войск в данную минуту.

Общее положение? — не Алексееву в Петроград было объяснять. Оно было наилучшим образом объяснено в письме военного министра, — и ещё хорошо, что Алексеев не успел его показать новому Верховному. А ещё бы два-три часа он не отрёкся — и надо было бы показать. И не счесть всех последствий, какие это могло бы вызвать в необузданном князе. Конфликт с Петроградом мог бы разразиться гибельным.

А настроение?

— В боевых линиях, в громадном большинстве частей, совершенно спокойное. Исключение составляет Гренадерский корпус, где все события нарушили равновесие и замечается некоторое брожение и недоверие к офицерскому составу. Меры к разъяснению событий приняты.

Меры — только что к разъяснению. Других мер не стал видеть Алексеев.

— Далеко не в таком положении находятся части и запасные полки войскового тыла. Бедность в офицерском составе, энергичная агитация делают своё дело — и то тут то там вспыхивают местные безпорядки… Просил бы и — назначить комиссара Временного правительства для постоянного пребывания в Ставке, для установления нравственной и деловой связи.

Никогда в другое время не попросил бы подобной глупости. Но наступила такая эпоха — эпоха комиссаров, посылаемых всеми, во все дырки, — а само правительство не всегда получишь к телеграфному аппарату.

И наконец, — наконец, что же? Как это всё понимать?

— Я закончу просьбою скорее закончить переходное время в смысле Верховного Главнокомандования. Назначить определённое лицо, которое полновластно вступит в трудную должность управления войсками.

Алексеев, правда, видел, что всё клонится к назначению его самого, и сам, честно, не видел никого другого на эту должность при нынешних обстоятельствах. Но и так же честно он не гнался за этой должностью, которая сегодня совсем и не выглядела как успех военной карьеры. А тактичность требовала кого-то предложить. Очевидно — Рузского, они сами не могли не думать о нём, он был и близок им во всех отношениях.

— Так как ныне главкосев, по-видимому, пользуется наибольшими симпатиями известных кругов Петрограда, то, может быть, вы сочтёте соответственным вручить эти обязанности — ему?

Но Львов ответил в изящной форме:

— Когда будет объявлен приказ о принятии вами Верховного Главнокомандования?

Принятие Главнокомандования — есть временное исполнение должности. Что ж, —

— Приказ будет объявлен сегодня и сообщён телеграммой на фронты.

— Приложим все усилия помогать вам и надеемся на дальнейшее несение вами должности Верховного.

Но тогда уж позвольте:

— Великий князь вчера назначил генерала Гурко вместо Эверта. Но сегодня мы читаем агентские телеграммы, из которых видно, что на эту должность будто бы назначен генерал Лечицкий?

Удобно командовать, если о назначении своих подчинённых узнаёшь из газет! Но знает ли о том хоть само правительство?

— Если вам известно что-либо по этому вопросу, не откажите ответить, так как надо положить конец недоразумениям сразу на трёх фронтах — Западном, Юго-Западном и Румынском.

С прелестной безпечностью Львов отвечал:

— По поводу Гурко ничего не знаю. Ждём Гучкова, тогда скажу, чтобы он тотчас вам сообщил.

И, уже окончательно облегчённый, Львов:

— Могу добавить, что в последние дни во всей России, не исключая Петрограда, заметно сильное стремление браться за работу и большой подъём духа. Идут вести о подвозе хлеба в усиленном порядке. Наша опора — здравый рассудок и великая душа русского народа. До свиданья!

— Будьте здоровы. Помоги вам Бог, — только и мог отозваться новый Верховный, отходя от аппарата.

С кем это он сейчас разговаривал, с каким призраком? *От кого* получил назначение? Разговаривал — и забылся, и как будто — с серьёзным правительством.

Но снова перед глазами встало безжалостное тайное гучковское письмо, ещё даже не освоенное вполне.

ДОКУМЕНТЫ — 24

Лондон, 11 марта

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ — кн. ЛЬВОВУ

...Как бы мы ни ценили лояльность и верное сотрудничество бывшего императора и русских армий в течение последних двух с половиной лет, мы полагаем, что революция, с помощью которой русский народ связал свою судьбу с твёрдой основой свободы, является лучшей лептой, которую Россия принесла на алтарь союзников... Русская революция ещё раз подтверждает ту истину, что великая война является борьбой за народоправство...

554

Ни нашей стрельбы, ни немецкой уже не было который день, и не ждалось. Уже и обвыкли жить потиху.

А солнышко светило ровно, что ни день, — и даже утоптанный на батарее снег под каждою стопой ещё чуть подавался. Сильно он

везде поёжился. А округ каждого стволика вытаивала воронка, на большем пригреве аж и до земли.

И по этой тиши, и по этому солнышку, и по разомлённости нутряной — хотелось чего-то делать весеннее. Плуг ладить не приходится, семян готовить не приходится, — а хоть что-то бы по хозяйству.

Но какое ж у солдата хозяйство? Орудие хоть и славно выручает, а не своё, да и карабин обрыдл — никогда в нём той души не будет, что хоть в цепу.

А вот дело, один догадался и все тянутся: из земляночной сыри вынести под солнце своё барахлишко — разобрать, подсушить, сложить понову, может что и выкинуть, только нечего солдату выкидывать, всё жаль.

Какое у солдата хозяйство? Всё в одном заспинном мешке и всё тряпичное; потвёрже, углом давит — только если консервы в походе. Но тряпичное — оно и самое дорогое: промочил ноги, если портянки нет запасной, а к ночи морозец прихватит на позиции, вот и пальцы отморозил. И холщовые портянки дороги, а уж байковые! — как женина ласка. А ежели подштанники тёплые, а ежели фуфайка, — ну!

Но и без этого самого нуждяного — откуда-то набирается у солдата чуть не полный мешок добра. Уж не говоря, у кого балалайка — ту в руках неси или на двуколку пристраивай. У иного — шашки. У счастливца — и нож перочинный складной (бывает с двумя лезами, бывает и с шилом и со штопором), его на самом дне мешка берегут, да гляди, чтобы в дыру не ускочил. А у кого — бритва со принадлежностями (у фейерверкеров больше). Зеркальце малое. Иголка с нитками. Мыло. И у каждого ж — чайная кружка жестяная, редко у кого малярованная. Ложка! — первый друг солдата. А потом же ещё, время от времени, к Рождеству, к Пасхе, или так середи года, без причины, присылают подарки из тыла. Пряники, орехи — эти тут же и съедаются, в два присеста. Махорка или даже папиросы — это покуриваешь, неделю-другую-третью. А курительная бумага тонкая, нежная, как городские курят, — она от махорки и прорывается, газетке не соперница, на неё и смотреть чудно — а и выкинуть жаль. И в землянке сыреет — вот её теперь сушить. А то присылают ещё по книжечке совсем махонькой — записывать, а чего записывать? А листики малые — и на письмо не выдерешь. Ну, ин всё равно сохранить, может до детишек. А хими-

ческий карандаш — этот у каждого в деле, слюнявить, чтобы поярче, да письмо писать.

И незадачливое добро, а всё солдату пригоживается, уж будто и природнено, жаль потерять.

А ещё чего более всего насылают — это крестиков да иконок, уж на себя их вешать некуда и поставить негде, так в мешке и лежат. Теперь — тоже им сушиться. От них, выставленных, вся солдатская разборка на поляне уже больше не на базар похожа, а как будто, в облог церкви, ко крестному ходу приуготовляются.

Повылезали, каждый каку ни то рядинку по снегу иль по лапнику простелил, и разложил сушиться, а сам рядом, чтоб не застить — да от времени переворачивать.

Ещё не столько в солнце силы, сколь света, — глаза зажмуривает и душу располагает — не переругиваться, не перешучиваться. Кто о ствол ослонясь, кто на корточках — неподвижны, сами будто просушиваются, от сырости зимней. Уже троезимной.

А в душе только и клубится: да сколь же можно? Неуж столько прожить, перетерпеть — и до конца не дожить? Да уж вдосталь, кончать бы скорей! Замирялись бы. На что ж она тогда — и леворуция?

Вот, говорят, и в Венгрии — тож она. И Вильгельма со дня на день скинут. Да вот и кончится всё.

Терпели — и дальше б терпели, ничего такого не ждали. Но коли уже так приключилось, что царя не стало, — так теперь-то чего ж не кончать?

В Перновском полку, уже все знают, давеча не пошли две роты на ночную работу, передовку укреплять, на что, мол, нам теперь это? Мы дальше не пойдём — дослужит и та укрепления, что есть.

И — ничего им. Приезжало начальство уговаривать, кой-как склонило идти работать, — а никого не арестовали.

В пехоте — больше нашего теперь отмах: хватит, теперя домой пойдём! На Пасху будем дома.

А другие говорят: никуда не распустят, так и будем довоёвывать, но питанию сильно улучшат.

А иные булгачат: еще всё назад пове́рнется, и царь воротится, и всё будет, как было.

А кто: там, без нас, — землю не почнут ли делить?..

Только темью души застлут: может, и правда там уже делят? Письма — когда обернутся, когда узнаешь?

Но и солдату из строя никуда не податься, хоть и под пули прямые погонят: в армии всё на сраме держится. И кандалов на тебе нет — и не денешься никуда, а пойдёшь, как направят.

Принесли ребята с наблюдательного листовку, с эроплана немцы разбрасывали, но по-русски. Прочли (офицерам не говоря). Там написано: всё англичане затеяли, они царя обманули, на войну подтолкнули, они ж его и скинули. Только англичанам эта война и нужна, а русский молодец-мужик за Англию умирает. А ваши матери, жёны и дети живут в нужде, оттого что Англия вместе с богатыми торговцами задерживает съестные припасы.

Може и так, кто это разберёт. Съестное-то, впрочем, у нас без Англии.

А перед строем читали приказ по армии. Начинает снег сходить с полей. Солдаты! не езди без дорог, не сокращай хождением напрямки по вспаханным полям. Вспомни, что ты и сам хлебопашец, сколько труда и забот стоила тебе каждая полоска.

Это — поверней за сердце забрало. И правда, смотрим на эту землю как на бабу пьяную, поруганную, ничью, как только в ней ни копаемся, как только её ни полосуем. А она ведь — чья-то же родная, да вот Улезьки и Гормотуна. Им-то каково смотреть? С нашей бы вот так, под Каменкой?! — вот так бы лес валили, да так бы окопами изрывали, да так бы ездили наискосок — да разве это стерпно перенесть?

Эх, вся земля — чья-то, везде своё родное, — да приведи Бог к нашему вернуться. И — куда мы запёрлись? И чего третий год сидим, из пушек рыгаем?

Перешёл к Арсению Шутяков, на корточки присел.

— Слушь, Сеня, а не больно мы разомлели? А не рано? И ежели так мы — то гляди бабы же наши сполохнутся, как эта свобода до них дохлынет? Ведь бабам-то свободу нельзя давать, баб от неё разорвёт.

Прищурился Арсений. Не ли́чит мужику на такое возражать.

— Разорвёт, — согласился. — Нельзя.

А про себя подумал: Катёне-то можно. Катёне свобода не пошкодит. Уж до того разумница. До того прилежница.

И так это сердце занялось: что там сейчас Катёна? Как там Савоська? Как там Проська?

Ох, разняло-разняло, потянуло.

Так вот, зажмурясь в тишине, и не знаешь: где ты, кто ты? Одно и то же солнце всем светит — и немцам тоже.

А може — вся война — приснилась? А може, ты в Каменке и сидишь, сожмурясь? Вот сейчас глаза раскроешь — увидишь родной двор, сарай, избу, Доманю на крылечке?

ДОКУМЕНТЫ — 25

Лондон, 11 марта

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕЛАМ БАЛЬФУР — ПОСЛУ БЬЮКЕНЕНУ, Петроград

Выясните, можно ли предполагать, что нынешнее русское правительство не будет придерживаться политики своих предшественников в отношении вывоза пшеницы из России в Великобританию и Францию? Может быть, было бы хорошо указать, что всякое изменение этой политики, неблагоприятное для союзников, неминуемо отразилось бы на экспорте военного снаряжения в Россию.

555

(Вторая неделя петроградской революции, фрагменты)

* * *

На улицах Петрограда уже не встретишь с перекрещенными на груди пулемётными лентами, с большими револьверами открыто за поясом, как становилось даже привычно ещё несколько дней назад. А сейчас — уже смешно бы. И банты красные стали редеть и уменьшаться в размерах. На некоторых появились, кто-то выпускал, жетоны в честь победы Февральской революции. И ленточки к ним — как георгиевские, но со вставленной красной полоской.

Во многих местах — всё ещё митинги на ветру, небольшие, дюжины по две, — а слушают благоговейно. И всегда есть оратор — со скамьи, с кучи снега.

Не вернулись на улицы те наглые, шикарные автомобили с вензелями и гербами, так носившиеся прежде. И богатые — не так щеголяют нарядами, исчезли вызывающие дамские шубы, Невский и Каменноостровский перестали выглядеть парижскими бульварами, кричащими о счастьи. Но сутолока и многолюдье не уменьшились, народ всё куда-то валит, даже больше прежнего, потому что трамваев меньше, не сядешь. Только стала толпа сплошь проще и солдатистей.

Отдираются защитные доски витрин, начинают снова заполняться опустевшие витрины, даже и ювелирные. На одном стекле, где выгравирован орёл, добавили наклейку: «Это — орёл итальянский», чтоб не били.

Снова зажглись кинематографы и появились вереницы у театральных касс.

В кофейных — много солдат. Сидят и с офицерами за одним столиком.

* * *

На дворце великого князя Кирилла Владимировича на улице Глинки постоянно развевается красное знамя.

На Театральной площади с пьедестала памятника Глинке рабочие скалывали зубилами слова «Жизни за царя». Стоял рядом артист, уговаривал не сбивать.

* * *

На Николаевском вокзале — пробки неразгруженных товарных вагонов: то некому разгружать, то ломовики бастуют.

Там же, на вокзале, толпа пробила череп человеку, на которого кто-то указал, что он был надзирателем в тюрьме. Не проверяли.

* * *

Вдова Столыпина встретила на набережной старого лакея Илью из Зимнего дворца, — когда жили там, то хорошо его знали, он много рассказывал об Александре II, Александре III, показывал вещи из их быта. Сегодня он так же утопал в своих белых бакенбардах, а шёпотом с ужасом рассказал, как на днях при нём из тронной залы вынесли царский трон, ещё екатерининский.

А на самом был красный бант.

Вдова упрекнула:

— Что же вы, Илья? Зачем эту гадость?

Оплывал Илья бакенбардами:

— Из предосторожности, Ольга Борисовна, из предосторожности только!

* * *

Мальчишки играют: ведут под палками одного или бьют его все сразу: «Офицеров бьём!» Поют: «Отречёмся от старого мира». Продают красные флажки на палочках. А кто бегает, зазывает: «Открытки! Гришка Распутин с листократками!» (Продаются и грязные книжонки об императрице с Распутиным, кто-то успел всё изобразить и напечатать.)

Кучка революционных подростков покушалась свалить Медного Всадника. Сорванцы взобрались на памятник, били металлическими прутьями, ломиком — но безуспешно.

* * *

Из проповеди священника в те дни: «Мальчики и девочки с пальмами и цветами встречали Христа Спасителя — вот как сейчас гимназисты и гимназисточки встречают Великую Русскую Революцию…»

* * *

На Пушкинской улице жгли большой книжный магазин Монархического союза. Костёр из книг и брошюр горел во дворе, и ещё тлел два дня.

«Сатирикон» острит: изобразил Петропавловскую крепость, а под ней подпись: «Дворянское гнездо».

* * *

В дни хмурой оттепели превращаются улицы и площади Петрограда в непроходимую, где и непроезжую топь: водяная набухлость грязного снега много выше краёв дамских бот. Автомобили, экипажи и ещё не ушедшие сани, ломовики и грузовики — все зашлёпаны грязью, как и брюха лошадей. Всё, что не чистилось в революционные недели, теперь отдалось публике, — а дворники и сегодня не подхватываются ретиво, не видя себе ни понукания, ни награды. Уж тем более завалены и запущены дворы.

А очереди у хлебных магазинов стоят как и раньше, только с домов свисают красные флаги.

* * *

На рынках солдаты продают дорогие предметы. Солдаты броневого дивизиона — вещи из дома Кшесинской.

На Сытном рынке двое-трое солдат идут мимо хвоста баб, стоящих за провизией, подходят к прилавку и безо всякого спроса об оптовых ценах объявляют лавочнику:

— Та-ак… Будешь продавать масло — руб двадцать, мясо — 35 копеек, бутылку молока — 12.

И — дальше. Бабы в хвосте — в восторге. А лавочник — растерян и не хочет подчиниться, особенно если лавочница. И доходит до драк с выдиранием волос, их разбирают в комиссариате.

Пошёл слух, что старые деньги с изображением династии не будут больше принимать, всё уничтожится. Паника. Бегают в газетные редакции, в банки, спрашивают.

* * *

В мелочной лавке орудует за прилавком поручик с двумя орденами на груди.

— Что вам угодно?

Вошедший офицер:

— Мне угодно, чтобы, стоя за прилавком, вы сняли бы офицерский мундир.

— Не понимаю, теперь свобода! А стоять за прилавком — ничего недостойного нет.

* * *

Вводя гостей в столовую к роскошно уставленному столу, дама объявила с торжеством:

— Господа, у меня сегодня — революционный стол!

Действительно, все кушанья были — красного или розового цвета.

Среди гостей был известный экономист. Он вздохнул:

— Ото всего этого надо отказываться. Скоро будем рады и фунту чёрного хлеба.

— Да почему же? почему? — возмутились в ответ. — Во главе революции стали умные люди, преданные народу!

* * *

По поздним вечерам патрули кричат: «Мотор! Стой!» — и, грозно преградив штыками, проверяют документы у шофёров. Может показаться, что наступил строгий порядок. Но нет, многие автомобили так и не возвращены владельцам, а те не смеют громко жаловаться.

Ночные обыски какими-то солдатскими командами не прекращаются, и ни одна квартира на всём раскиде богатых кварталов не может быть спокойна, что не постучат. Грабят — и нельзя сопротивляться, а уйдут — не на кого жаловаться.

В Литейном районе — много аристократических особняков, и владельцы их то и дело просят районный комиссариат о запоздалой защите — не от солдат, но от «грабителей, переодетых в солдатскую форму».

В Ораниенбаум приехали на автомобилях от имени петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — и стали громить и грабить дворец.

А в Шувалове среди бела дня неизвестные высадили из своего автомобиля троих штатских, застрелили их и поехали дальше.

* * *

Поздно вечером в аптеку на Везенбергской у Балтийского вокзала пришли трое, спросили спирту. Но не было у них документа, установленного городской думой, и дежурный фармацевт отказался. Трое вышли на улицу, положили под аптеку соломы и подожгли. Весь дом сгорел.

* * *

В первые дни революции думали, и говорили, и печатали в газетах, что освобождённая от царизма столица, как и вся страна, не нуждается

в полиции. Но нет, к удивлению, оказалось слишком много городских подонков. И теперь милиционеров щедро оплачивали, в три раза больше прежних полицейских. (Именно от этого туда тянулись поступить профессиональные воры и беглые арестанты.) Для новых комиссариатов поспешно ремонтировали повреждённые полицейские участки (разгромленные на 2 миллиона рублей).

* * *

Так повысились цены на извозчиков — седоки удивлялись, многие платить не хотели. Звали милиционеров-студентов разбирать спор.

Помощник присяжного поверенного Шлосберг и журналист Фрейденберг после работы в районном комиссариате, уже вечером, взяли извозчика, чтоб он развёз их по домам. Подъехали к дому на Казначейской, где жил Шлосберг, — и тут с извозчиком возникли разногласия по расчёту. В это время из подворотни вышли трое матросов, и извозчик пожаловался им, что господин не хочет платить. Те с криками: «Деньги! бумажник!» набросились на седоков. Фрейденберг отдал бумажник со 160 рублями и поспешил уехать на этом же извозчике. А Шлосберга матросы затащили в подворотню, кинжалом в грудь убили и ещё уродовали труп.

Дворник поднял тревогу, из комиссариата прибыли милиционеры и арестовали грабителей. Они оказались нетрезвы, были в гостях у проституток. Объяснили, что приняли убитого за переодетого охранника.

* * *

Революционный комитет шлиссельбургского завода направил петроградскому Совету рабочих депутатов резолюцию: гарантировать полную амнистию не только политическим, освобождённым из шлиссельбургской тюрьмы, но и всем одновременно освобождённым уголовным каторжанам, потому как они, в единении со своими политическими товарищами, организовали ответственную службу по охране имущества. Например, один уголовный, имевший три безсрочных каторги за грабежи и убийства, охраняет сейчас большие суммы общественных денег.

* * *

Гнев народа ещё не утолился, и самочинные аресты продолжаются. Иногда вместо ареста берут залог, но когда потом арестовывают — залога не возвращают. Таскают в следственную комиссию, та освобождает. Одного после четырёх таких освобождений привели пятый раз.

Графиня Клейнмихель распоряжением Керенского переведена из заключения под домашний арест. Приставленный к её дому караул из Гвардейского экипажа, 15 человек, потребовал с арестованной, чтоб она платила за свою охрану каждому по 2 рубля в день.

* * *

В новое общественное градоначальство на Гороховой пришёл молодой человек и у врача, ведущего полицейский приём, стал повышенным голосом требовать защиты от обысков. «А кто обыскивает?» — «Мой двоюродный брат! Когда-тось за моей женой ухаживал, теперь в отместку наладил с обысками».

Пришёл старый адмирал и просил дать охрану похоронной процессии для его убитого родственника. «Да кто ж похороны тронет?» — «Те же, кто и убили».

Жандармский полковник Левисон застрелился на Смоленском кладбище, на могиле своей матери.

* * *

Стали заседать учреждённые Керенским новые временные суды — из мирового судьи, одного рабочего, одного солдата. Судья заседает без прежней цепи (как и низшие судейские служащие сняли форму с блестящими пуговицами). Документация не ведётся, лишь короткая запись в регистрационном журнале. Разбирают дела от мелких до посягательства против нового порядка. В прежнем мировом суде предельный штраф был 300 рублей, тут — 10 000 или арест до полутора лет. И осуждённого к заключению отправляют туда немедленно.

Привели рабочего-милиционера, поставленного охранять винный погреб после разгрома, но сам украл бутылку вина. При рассмотрении выяснилось, что раньше — ссылался за политическую неблагонадёжность. Судья предложил дать неделю ареста, рабочий — удвоить, а солдат: «Простить! Никто б не удержался!»

Привели во временный суд женщину, которая энергично срывала со стены наклеенный номер «Правды». Признал суд, что женщина действовала по недомыслию, и ограничился выговором.

* * *

В трамвае старуха громко вздохнула: «Ох, времена!» Сидевшая рядом интеллигентная женщина отозвалась: «Времена — языческие, а не христианские. Помазанника Божьего свергли с престола и посадили под арест». Услышав такое, трамвайная публика переполошилась, и эту женщину, госпожу Фогель, препроводили добровольцы в следственную комиссию. Там её продержали несколько часов и отпустили с той лишь формулировкой, что она — психически неуравновешенная.

* * *

Из квартиры депутата Государственной Думы Родичева полотёры унесли всё столовое серебро, из комнаты дочери — золотые вещи. Та по свежим следам бросилась в милицию, точно назвала воров. Ей пригрозили карой за клевету.

А к брату Родичева, в его отсутствие, забрались воры. Он, возвращаясь, застал их. Они побежали чёрным ходом, он — успел сбежать по парадной и вместе с дворником задержал их. Свели в новый суд. Там их подержали и скоро выпустили. Мировой судья объяснял философски: «Сегодня Иван в милиции, а Пётр в ворах, Иван выпускает Петра. Завтра Пётр в милиции, а в ворах Иван…»

* * *

Молодой офицер, из студентов, был в Петрограде проездом и шёл переулком, в кармане шинели — браунинг. Навстречу — солдат, по виду из писарей: «О, офицер!» — и револьвер наставил.

А в переулке безлюдно. По той руке, что револьвер держала, офицер ударил левой, а правой выхватил из кармана свой: «А ну, подай сюда револьвер! Кру-гом! Ша-гом марш!»

* * *

В набитом трамвае солдат-санитар читает кадетскую «Речь»: почему это некоторым газетам, например «Новому времени», разрешено выходить только с предварительного согласия Совета рабочих депутатов? Санитар вслух солидарен с газетой, и многие пассажиры согласны.

Но оспаривает вольноопределяющийся, показывает удостоверение, что он — член временного суда, и предлагает санитару отправиться с ним туда. На остановке вызывает милиционера и ведёт задержанного.

* * *

В министерском павильоне, в Таврическом, и после отправки главных арестантов в Петропавловскую всё так же было густо, и всё приводили новых арестованных. Всё так же лют был преображенский унтер Круглов, окающий по-нижегородски. Керенский и новый прокурор Переверзев почтительно пожимали ему руку. Комендант Перетц заискивал перед ним и перед солдатами и был груб к арестантам. Правда, после царского отречения Керенский произнёс тут, в павильоне, речь о новой законности и разрешил арестантам разговаривать между собой. А вскоре повалили в павильон и общественные депутации — «для проверки», — а просто поглазеть на «бывших». И старались заговаривать — чтобы потом передать узнанное публике и в газеты. И корреспонденты — пытались интервьюировать арестованных. И фотографы — снимать их в нынешнем положении, но фотография была медленная, а арестанты не давались.

* * *

Горький стал Председателем Особого Совещания по делам искусства. И обратился к петроградскому городскому голове с письмом: на во-

ротах московской заставы содержится надпись: «Победоносным российским войскам в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши». Она оскорбляет чувства поляков и должна быть заменена другой, с указанием заслуг солдат и рабочих в деле революции.

Бунин, Горький, Вересаев, Короленко, Кареев, Винавер, Гинцбург подписали воззвание: немедленно приняться за создание дома-музея в память борцов за нашу свободу, где учёные грядущей демократии, пользуясь опытом прошлого, находили бы руководящие идеи для будущего.

* * *

В Царском Селе из здания Александровского лицея украдена единственная существовавшая коллекция личных вещей Пушкина.

* * *

На Марсовом поле всё готовилось к массовым похоронам жертв революции: то разводили костры для оттаяния земли, то рвали пироксилиновыми шашками. Похороны всё переназначались, откладывались. Ещё причина — не хватало трупов. В моргах переодевали в штатское и трупы замученных городовых. Говорили в городе, что некоторые гробы и просто хламом набивают.

А труп адмирала Непенина в Гельсингфорсе жена разыскала только через сутки, в мертвецкой, в обезображенном виде.

* * *

Вечером 29 марта гроб Распутина был вынесен из склепа в Царском Селе, скрыто перевезен в Парголовский лес по другую сторону Петрограда и там под командой сапёрного офицера труп облит керосином и сожжён на большом костре. При холодном ветре, рвавшем дым, собралась толпа окрестных мужиков, немо наблюдая, как сжигают святого старца, друга царя и царицы.

* * *

Сперва послали в Кронштадт на разведку — горничную Дуню с подругой, им проще. Долго они там добивались, даже водили их солдаты с шашками наголо, наконец узнали точно, что штабс-капитан Таубе — жив, сидит под арестом, о чём анонимную телеграмму давал — его денщик. Тогда поехала в Кронштадт леночкина мама — и виделась с папой. Рассказал: матросы врывались всюду, убивали даже офицерских жён и грабили везде. И сейчас одни часовые говорят между собой: «А чего мы время теряем, их сторожим? Убьём да и разойдёмся?» А другие, которые как раз стояли: «Барыня, ваш муж — сухопутный, нам не нужен. Вы приведите каких-нибудь его подчинённых — мы им отпустим».

Леночка записала в дневнике: «Всё это принесло мне пользу, я не так уже дорожу жизнью, как раньше».

* * *

Племянница-курсистка, восторженно:

— Дядя! Ведь это же — Революция! Вы говорили — она неизбежна и необходима!

Дядя (М. В. Бернацкий, финансовый советник при Временном правительстве) :

— Да, говорил. А теперь вкушаю плоды своих теорий. Тебе это трудно понять, девочка, а я всё больше убеждаюсь, что России был бы нужен просвещённый абсолютизм. Рушим, рушим — а что из этого будет?

* * *

В больнице Николая Чудотворца, доме для сумасшедших, — 150 человек, заболевших в дни революции. Жена городового вопит от страха за мужа, то воет, то мяукает, кричит: «Стреляйте! Стреляйте!», пока не впадает в изнеможение. Старший дворник помешался, когда лежал больной, а солдаты пришли с обыском и требовали оружия. Вагоновожатый кричит: «Можно ехать дальше! Мы не работаем, можно ехать, рельсы свободны!» Много солдат, есть рабочие. Состояние возбуждённое, бурное. Одни поют революционные песни и наступают на врагов свободы. Другие трясут, воображая что оружием, и зовут толпу вперёд.

И много таких же обезумевших — в Новознаменской больнице, на Удельной и в Николаевском военном госпитале.

556

У них установился как бы такой обряд: именно за последние суматошные дни он уже который раз приходил (каждый раз позвонив — можно ли?) — в конце служебного дня. И Вера проводила его глубоко за полки, за свой столик, у окна на Екатерининский сквер. Ни по телефону, ни придя, он ничего не объяснял — и никакого внешнего библиотечного повода не было в его руках, хотя это было нетрудно придумать.

Свою кожаную куртку вешал тут на гвоздь — и в суконной грубой рубахе садился на указанный стул — через столик против Веры. И — выдыхал, выдыхал, сперва выдыхал долго, как бы дух испускал. Но, и выдохнув, покойной симметричной формы не принимала его грудь, плечи, голова, а так — косовато, неудобно сидел. Ещё выдыхал, меньше.

Прошлый раз показалось Вере, что эти выдохи — перед каким-то тяжёлым разговором, перед объяснением, — и сердце её часто забилось, и она чувствовала, что покраснела. Не потому что ждала (да и ждала!), не потому что хотела (да и хотела!), — но потому, что очень боялась этого объяснения — и даже предвидела, что от него может быть только всё хуже.

Объяснения полного — так чтобы всеми словами с обеих сторон было сказано всё — между ними никогда не было. Но и — в несколько приёмов, всякий раз неудачно начатое, фразами, полуфразами, недосказами, — уже и было. Он — почти был готов. И почти это сказал. Она — почти отклонила. Однако и не вовсе.

Оттого объясниться наполноту — и страшно, и жутко. И хотелось. И могло совсем иначе выясниться.

В те разы собирался ли он, или даже не собирался, или духу не хватило, уклонялся в последний момент, — но не произнёс никакой даже подводящей фразы. И сегодня Вера почти уже не ждала её, она так начала понимать и уважать их правило.

И не услышав его жалобы — Вера уже всю её чувствовала, только что не в мелких подробностях. Из его прежних, ещё прошлогодних, обмолвок, да ещё из каких-то сторонних случайных сведений — она знала и довоображала ту ежедневную плиту, которая всякий день придавливала его на домашнем пороге — и как бы вот перекашивала плечи.

А ведь ему было только тридцать шесть.

Если бы, не приведи Бог (и сразу сердце неразумное бьётся с радостью), он начал бы говорить — эта плита стала бы вдруг через бок переваливаться, катиться, даже подскакивать — и могла пришлёпнуть их всех — двоих, троих, четверых? И даже до трупа?

А так, молча, — как будто удерживали плиту от падения и были вроде все целы.

Совершенно неуравновешенная, истеричная женщина, и эфироманство… Она только губит его.

Но и какое-то же неодолимое, не изъяснённое Вере притяжение было там — если сам он не мог освободиться, как прикованный подземно.

Михаил Дмитриевич всегда приходил к Вере только сюда, в библиотеку. Ни разу никогда не попросился прийти к ней домой. (А почему бы она его не приняла?)

Он смотрел — то в окно, то — на корешки, корешки книг.

И — на неё же, прямо.

Она — в окно. На свои листики, карточки.

И — на него же, прямо.

И когда вот так, напрямую, они встречались — здесь, в безвидном и беззвучном уголке, — на секунды было рассказано, выражено и отвечено дальше всех мыслимых слов, дальше всех допустимых границ: дочиста рассказано, до всех болей обжаловано, и прощено, и отвечено «да».

И от открытости, явности этого понимания — нельзя было выдержать взгляда больше нескольких мгновений: всё тогда сгорало!

И первая Вера утягивала глаза, спасалась.

А то и он — круто отворачивался в окно.

И продолжал сидеть.

Даже от таких вот встреч-молчанок, может быть, следовало бы уклоняться. Ибо не знаешь, когда что наступит.

А согревало: что Вера ему нужна!

А утешало: что во всякую минуту она может всё вызвать и изменить. И самой быть счастливой. И сделать его.

Но сидя сорок минут — не всё же время молчать. И даже не слишком протяжно молчать, не слишком часто замолкать.

И Михаил Дмитрич рассказывал, и те разы, и сегодня, — о другом совсем, но тоже давящем его.

Сегодня, к счастью, опубликован восьмичасовой день, хоть это решилось. Да если б хоть восемь часов-то работали, а то ведь не будут.

Переложил голову с одной руки-подпорки на другую.

И удивительно и страшно было Вере, что не находила она в себе жалости к той женщине. Как будто — и нет её, как будто не она между ними. Что это?..

Кому? как? через какие уши? с какой трибуны объяснить: мы и так уже несколько недель не работаем как следует, мы и так уже не выполняем военных поставок. Да нельзя же и примитивно сравнивать нас с Европой — у нас же сколько церковных праздников в году! — это и семичасового не получится. Неужели мы оставим наших братьев беззащитными перед огнём свинца?

Так — порциями он что-нибудь говорил, она — кивала, удивлялась, сочувствовала. Иногда протирал по лбу наискось большой ладонью.

Сам он — не в силах разорвать своего узла, но отдавал это ей и обещал подчиниться.

Нет, не та женщина была препятствие Вере. А — та девочка. Восемь лет, ещё ломкий стебелёк. Неповинная девочка.

И даже тем беззащитнее, что не его родная.

А он, если скажет о ней, — всегда с нежностью. И как же — отнять его у девочки?

И так — ноет. И так — ноет.

Не было томика в русской литературе, ни книжки журнальной, которых бы Вера не заглотнула трижды, дважды, единожды, — и навсегда они, живыми спутниками: Антон-Горемыка или немой Герасим, пронзительно обречённые Варвара и Настя из «Жития одной бабы» — «беда у нас смирному да сиротливому», — и всё ниже, ниже, и в «Тупейном художнике» разбитой спившейся крепостной артистки любовь к её растимым теляткам — и боль, когда ведут их резать.

Теляток!..

И что ж — всех их не было?..

Заводская администрация вся напугана, оставлена без защиты, перегоняют друг друга в уступках. Уже многие инженеры смещены рабочими. И два директора, на Невском судостроительном вот.

Да не всего ли об этом он и пришёл рассказать?.. Может быть, другого и не было?..

— Да за что же, Михаил Дмитрич, такая ненависть к инженерам?

Это имеет историю. По поспешности нашего промышленного развития инженеры очень быстро продвинулись в заработках, богатая обстановка, роскошные квартиры, — вот уже и в кровопийцах. Конечно, ещё бы немного свободного развития, и стали бы доравниваться в заработках и умелые рабочие, не было бы этой трещины. Но — война, а теперь вот…

Однако если и заполнение времени — рассказ этот коробился теми чёрными загадочными фигурами, какие мы и встречаем на улицах, да не слишком много думаем о них.

На одних заводах требуют: сократившие рабочий день — ещё теперь увеличить и заработную плату! На других рабочие сами стали устанавливать расценки, с большими, конечно, завышениями.

Ужасны ошибки, уже сделанные нами. Но ещё ужаснее — которые мы, может быть, сделаем. Как не ошибиться вперёд? Отклонить сейчас — это вообще уже отказаться от жизни. Двадцать семь лет. Это уже — похоронить себя.

И как же эта агитация за неделю всех поглупила: рабочие вообразили, что могут сами избирать мастеров и инженеров! Как будто они могут оценить их технические способности. Да ведь и листовки такие свежие ходят: все ценности создаются трудом рабочих, а инженеры и фабриканты — ничего не делают.

А однажды показал фотографию девочки. Какие испуганные глаза!..

Зачем показывал?

Он такой современный, индустриальный. А совесть — нежная. И не оцепенеет в нём.

Недотёсанное, сильное лицо Михаила Дмитриевича стыло в недоумении:

— Вообще такая природа человека? — сила, власть — и опьянились? Ведь что делают! На некоторых заводах материалы портят, раз не уступают по-ихнему, и грозят станки бить! И инструменты воруют, домой тащат.

Но и взять на себя весь этот перелом? — ведь во всю жизнь не изгладишь с души.

Косая гримаса по его большим губам, крупному носу.

— Да и правильного же сколько. Запретить женщинам подносить тяжести. Где поставить вентиляторы. Конечно, заводчикам надо многое давно уступить. А они отступают только в страхе.

Любимая Ирина Годунова, ступая чистою меж мерзостей, неблагодарностей, и хлопоча за своих неприятелей…

Пусть будет только жизнь
Запятнана твоя — но дух безсмертный
Пусть будет чист, не провинись пред ним!

Если б рабочие могли понять — хоть солдат, всего-то! Как же можно тут начать устраиваться — а солдатам не слать снарядов?

Спохватился, что много говорит, ей неинтересно.

Так в перемолчках и переговорах прошли его прошлые визиты, проходил и сегодняшний. Но с потемнелого лица его — снимался и снимался вдавленный отпечаток тяжести.

И Вера — молчала. Она не находилась — что. Она хотела бы найтись — только помочь ему в тяжести. Но вот уж она была самый последний человек, который мог бы что-то посоветовать об этом чёрном, трудовом, почти подземном мире.

Молчание затянулось. И взгляды опять встречались — так близко, так страшно. И секундами казалось, что сейчас нашат-

нётся на них обвальный разговор. Одного неосторожного слова достаточно.

И в торопливом испуге Вера сама искала, чем заполнить затянувшуюся тишину.

О воззыве их библиотеки ко всем типографиям России. Чтоб великий переворот сохранился в памяти потомства в виде полного собрания печати… Все бы, по гражданскому долгу, присылали в отечественное книгохранилище по два экземпляра даже каждого листка…

И к чему это она? — из одной только неловкости. Он как и не слышал. Но уже за эти полчаса голова его как-то выше стояла.

И он первый раз — улыбнулся ей, крупногубой своей улыбкой.

И — она ему, из тихой незаметности.

И — что-то он должен был тут сразу сказать? Вот сейчас?!

И сказал:

— Так мы перезванивались, встречались… И решили: все теперь образуют союзы, соберём и мы, Союз Инженеров. Тогда мы сможем с Советом Депутатов как-то разговаривать.

Сегодня вечером, вот через час, на Николаевской улице и будет у них первое заседание. Он туда и шёл.

Но — не зря тут посидел. Лицо, глаза становились выносливей, терпеливей.

И это была — награда Вере.

Разве было бы светлей, если б они воспользовались своей — взаимной — в общем, свободой?

557

Шляпников поставил, наверно, рекорд: от последнего октябрьского приезда в Россию пять месяцев безсменного подпольного состояния, безо всякого своего угла, всё в скитаниях по Питеру, по чужим квартирам, под слежкой, по полнóчи заметая следы. Но уже втянулся и, может быть, такой-то жизни перенёс бы и год. А вот две недели революции домотали его, после подпольной усталости их-то он и не выдержал: совсем другого вида гнёт, и на разрыв. В зеркало глянул — просто старик, с лицом осунутым, усами обвисшими. (Сашенька не разлюбит?)

А заботы — заваливали. Буржуазная печать подхватила всей бешеной, улюлюкающей сворой — и обставили большевиков травлей. Рассчитывая на народное легковерие и темноту, в одну кучу валили царских контрреволюционеров, агентов Вильгельма и большевиков. Создалось такое погромное настроение, что опасались за присвоенную типографию «Сельского вестника» и стали держать там вооружённый караул. А тут и неприятности с разоблачением провокаторов — выставляли в окнах «Русской воли» на Невском, будто осведомитель Охранки Черномазов был главный редактор «Правды» (а совсем недолго) — и вот потому «Правда» учит нас: «Долой войну!»

Шляпников потребовал от Исполнительного Комитета Совета защиты большевиков от клеветы. Но эта вся меньшевицкая рухлядь показала себя: «Теперь свобода прессы, защищайтесь сами». Ни «Известия», ни «Рабочая газета» не выступили в защиту большевиков: делали всю ту же молчаливую мину, а на самом деле злорадствовали.

Ну что ж, чем больше бешенела буржуазия, тем самым, значит, верней мы и действуем? — попали в самую больную точку. Трудно, опасно разворачивать интернациональное знамя, но стоит того! Зло и весело!

Однако — внушалась масса. И были случаи на улицах: вырывали у газетчиков «Правду», рвали, а то и сжигали. И это делала — толпа, не подставные какие лица. И никто не смел вступиться.

И даже в революционном Кронштадте — и там засомневались в большевиках.

Гоняя от филёров по питерским огородам и пустырям, ворочая забастовкой на 100 тысяч человек, Шляпников привык считать себя слитно с народом. А вот — он повис как на обрывках. И ничего не мог делать задуманного. И потерял уверенность в правоте.

Но ещё и эту травлю круговую можно было бы выдержать, — а достиг питерских большевиков удар от собственных ссыльных думских депутатов из Сибири. Глупый Петровский запросил телеграфно Чхеидзе, какой придерживаться программы. А Муранов выступил в Ачинске с поддержкой Временного правительства! Вот так да! Это сразу сюда донеслось, и тут тем гуще засвистели против Шляпникова, что он действует безответственно и среди самих большевиков единства нет, не знают, что делают.

Как тут не потеряться? Может и правда ополоумел?..

Вот так со всех сторон вместе доточило его подпольную усталость — и дальше не мог он без поддержки и смены.

А прийти поддержке оставалось — только из-за границы.

Но из революционеров, скрывавшихся там, никто до сих пор не ехал. И от Ленина не прорвалось — ни даже нескольких слов телеграфных! В Швейцарии как затаились, ни звука оттуда: что они думают? что предпринимают?

А как нужно было Шляпникову сейчас рядом — светлую, ясную голову! Хоть не Ленина, Сашеньку бы!

Но она — не ехала, хотя ей из Норвегии было близко, поездом. Только в первые дни проскочила от неё одна восторженная открытка, поздравляла с революцией.

А — ни слова любви. Не поместилось просто?..

И не ехала.

И не писала, когда приедет. Задерживалась почтовая переписка? Так приезжал за это время один товарищ из Стокгольма, привёз письма от левых шведов. А от Сашеньки ничего не было, хотя могла она передать.

Думать и горевать было некогда, и тем более впустую измысливать: а может быть?.. Нет ли тут простого бабьего отвороту?.. Да когда бы так быстро? Да отчего бы?..

А он уже не представлял себя без Сашеньки когда-нибудь. Она помогала ему верить, что — прав, и стоять на своём. Вдвоём с ней он был сильней и полней не вдвое, а больше.

Но — не ехала. И не писала.

Пытался связаться телеграммами — ничего не вышло.

После опозоренья от сибирских ссыльных — только и ждать было теперь помощи из-за границы. Ленин — все разногласия всегда решал одним ударом. И не может быть, чтоб он сейчас поддержал Временное правительство или войну!

Но как его дождаться?!.

Оставалось — посылать гонца в Стокгольм: узнать, в чём дело, и понудить их ехать быстрей. Нашли такую, Марью Ивановну, знала и конспирацию и языки.

Подозревая Временное правительство, да даже и Совет, что будут препятствовать возврату заграничных большевиков, формальный повод придумал: вызволить застрявшую литературу. Надо было получить паспорт на выезд. Придумал Шляпников сходить в Военную комиссию, тут рядом, на втором этаже Таврического. Вежливый подполковник выслушал, пошёл составил бумажку и принёс

её, за подписью Ободовского: «Со стороны Военной Комиссии не встречается никаких препятствий к выезду имярек такой-то».

Дали Марье Ивановне комплект вышедшей «Правды», большевицких воззваний и листовок, пусть это всё посылает Ленину на проверку. Но ещё раньше телеграфирует ему из Стокгольма: скорей, скорей бы возвращался в Россию!

И — Сашеньке прямое письмо: что ж ты не едешь, Милунечка! Что с тобой? Так тебя жду!

558

Легла на Гиммера ещё одна творческая работа. Стало известно, что Временное правительство коварно разослало войскам новую присягу, даже не известив Исполнительный Комитет. (И узнали-то — от приходящих солдат!) И теперь поручили Гиммеру и Эрлиху проанализировать текст этой присяги и выдвинуть поправки, чтоб её опротестовать. И в новой комнате ИК, где сперва не хватало столов, Гиммер с Эрлихом на широком подоконнике, грудями на него же, читали и поправляли присягу.

Одиозность и неприемлемость присяги бросалась с первого же чтения: она должна была завершаться крестным знамением для православных и целованием преславного корана для магометан — дикий анахронизм для революционных дней, чего не мог допустить социалистический Совет. Что за отжившая форма? И где же тогда свобода вероисповедания?! Да даже если стать на точку зрения христиан — клятва есть насилие над душой!

Да вообще, присяга как таковая, обломок рухнувшего царизма, не должна позорить новый строй! Что присяга? — в день революции она была превосходно нарушена солдатами, и все шли дружными рядами, — и зачем же присяга??

Но если вникнуть, то главная одиозность новой присяги была даже и не в этом, а в словах: «полное послушание начальникам, когда этого требует мой долг солдата и гражданина перед отечеством». Что это? Послушание, полное и безоговорочное? Как это может иметь место? Всякая истина конкретна, и тем более в революционное время. Послушание — даже если против завоёванной свободы? Послушание, — а если против народа? против республики? А если — против Совета рабочих депутатов?

О-о-о, тут была тонкая штучка, хитрый замысел! Пауки из Временного правительства не дремали! Они хотели оплести армию дисциплиной покорности и так вырвать её из-под Совета.

Посовещались с Нахамкисом, тот вспылил и шумел: не уступать! не допустить! Не могут выполняться распоряжения никаких воинских начальников, если они идут вразрез с волей Совета!

И вот, природно невоенному человеку и врагу этой войны, Гиммеру надо было теперь исправить присягу для всех военнослужащих России!

Но и что присяга! — мелочь, когда надо продвигать Манифест ко всем народам мира. Министры все обманщики, и Милюков из них первый. Жгло Гиммера, как Милюков обошёл и обманул его на своём радио «всем, всем, всем»: что революцию якобы произвела Государственная Дума. Простить не мог он Милюкову, и хотел отплатить ему Манифестом как бы в личную месть.

Эти дни Гиммер бродил, весь углублённый в свой Манифест. Надавали на Исполкоме поправок, и поручено было их все учесть. Но поскольку поправки пришли и слева, и справа, то понимал Гиммер, что работа — безперспективная и к исправленному тексту будет столько же недовольств и поправок. И он напрягал тонкость ума, как ему извилисто проползти между всеми возражениями и опасениями — и развернуть на весь мир своё интернационалистическое знамя.

В таком рассеянии он мало замечал заседания ИК, панику вокруг побега царя. Он то и дело вытаскивал свою затёртую бумагу и нечиненным карандашом вписывал четвёртые и пятые строчки поправок, где уже и прочесть их было невозможно.

Но ещё и сам он не выбрал оптимальный вариант, — как объявили ему вчера, что придётся прочесть проект Манифеста на общем пленуме Совета. Гиммер ужасно взволновался: и потому, что текст был ещё не доработан, и — кто там на Совете мог оценить все его изощрённые тонкости и находки? И — как он голос найдёт для большого зала, не получится ли опять немая рыба?

Но собрание Совета оказалось полным базаром. Много кричали, много волновались, и опять о похоронах жертв, и о городской милиции, и могут ли в ней участвовать дворники, и как производить в ней выборы, и опять же не дошло. И хорошо, Гиммер был даже рад.

Зато сегодня на ИК решили ещё раз слушать и критиковать его проект, нападали на проект и слева, и справа! Но уже все устали

вникать, и споры шли вокруг частностей. Замотал их Гиммер! Свою главную циммервальдскую идею он за это время обставил такими несомненными бастионами, что их уже не так легко было подорвать. «Российская демократия будет противодействовать империалистической политике своих господствующих классов и призывает народы (не правительства!) Европы к совместным выступлениям в пользу мира». Это был тезис всеобщей классовой борьбы, даже во время войны, — и это был настоящий циммервальдизм! А оборону отечества — Гиммер не мог вовсе отвергнуть из-за правых меньшевиков, но ловко назвал её: «защищать нашу свободу от реакционных посягательств как изнутри, так и извне», — то есть на первом месте опять-таки классовая борьба!

Это вовсе не было обязательство продолжать войну до победы! Это — острым ухом было проведено! Но — и затушёвано, но и зарисовано сложными кривыми фразами, чтобы собрать на ИК большинство.

А гвоздевское крыло всё добивалось: а как же защита страны от опасности германского ига? А левые считали «штыки Вильгельма» недопустимым шовинизмом. Эсеры прицепились к «пролетарии всех стран, соединяйтесь», почему не «в борьбе обретёшь ты право своё», они не хотели социал-демократического лозунга.

О, тут ещё много подводных скал! И многие из самых знаменитых социалистов ещё обнаружат себя врагами пролетариата!

Уже Гиммер начинал в этих спорах терять сознание, шли чёрно-зелёные круги в глазах. И вдруг — проголосовали «в основном — за», только вместе с Эрлихом и Стекловым доработать поправки. (Стеклов, избежавший всего труда, мучительного составления, теперь лез накрыть и возглавить и этот проект. Он был тот, из сказки, «я вас всех давишь!»)

****

ДОИТ ШИБКО, ДА МОЛОКО ЖИДКО

****

559

Владимир Станкевич не был Гамлетом (отчасти может даже и был), но всегда приводили его в трепет эти слова:

Распалась связь времён.
Зачем же я связать её рождён!

А вот точнее даже не времён, а — слоёв, он оказался присущим во всех этих слоях сразу — и невольно должен был пытаться связывать их. Большая часть его дня проходила теперь на заседаниях Исполнительного Комитета пяти-семичасовой длительности, и это был, конечно, не только орган власти, но и слой общества, полуобразованные и смежные с революцией. А ещё несколько часов — в Сапёрном батальоне, и это был ещё один слой, да почти сам народ. А ещё между всей беготнёй и заботами втискивались то встречи на улицах, хоть пятиминутные, то забеги к кому-то из знакомых, и это был уже самый сродный ему слой образованного класса, где он особенно быстро, легко понимал с полуслова.

И в этом образованном слое вот что обозначилось: все украшали себя красным, все произносили «наша революция», все торжествовали официально, — но с глазу на глаз с близкими, в разговорах наедине, а в душе тем более — начинали чувствовать себя пленёнными враждебной стихией, катящей совсем неожиданным, неведомым путём, даже ужасались, даже содрогались. Люди как будто перестали быть сами собой, только внешне играли взятую прежде роль, из побуждений тактических, партийных, карьерных, от личной осторожности до общего психоза. Но даже великий сотрясатель Василий Маклаков через четыре-пять дней после переворота уже сказал в узкой компании, что — всё погибло и уже никто не удержит власти. А об одном думце, члене Прогрессивного блока, сказали Станкевичу, что он дома в истерике, плачет от безсильного отчаяния. Но выходя на свет — люди всё это скрывают, и даже спешат улыбаться и торжествовать, так стало принято. И Маклаков тоже ведь вслух ничего подобного не заявлял, хотя его бы — услышали все.

Но если настроение интеллигенции на самом деле стало переклоняться в мрачность, то настроение солдатни — всё более в радость: шли дни, и отпадала всякая угроза наказания за мятеж, а, напротив, свободы только прибавлялось, делать ничего не за-

ставляли и на войну обещали не посылать, а наступил какой-то сплошной праздник.

В Исполкоме же было ещё третье состояние — направляющего действия, когда не остаётся много времени для чувств. И по характеру Станкевича эта динамичность должна была бы его увлечь — но, странно, именно тут он чувствовал себя наиболее чуже. Он не видел здесь ни одного славного имени, не говоря уже — ни одного легендарного революционера, те, естественно, в эмиграции. Но даже, сам революционный публицист, он тут больше половины вообще не знал, кто они такие, откуда взялись. Извне, для публики, Исполнительный Комитет казался могучим вершителем революционных судеб, а внутри — сборищем серых и раздражительных людей. К ним — Станкевич наименее принадлежал, соединяясь с ними лишь общесоциалистическим направлением.

Но именно только с ними он мог решать неотложно вставшие задачи России.

И всеми этими разноречиями слоёв Станкевич оказался оглушён. Каждое он воспринимал ярко, но не мог на всё быстро и наилучше реагировать, а — немел от этой распавшейся связи. По своей энергии и систематичности, и как офицер с техническими знаниями, он мог бы куда больше действовать на Исполкоме и влиять — а немел.

Да и налетающая череда вопросов совсем не была легка и, действительно, кому же посильна? Всё нахлынуло в изобилии, в небывалом виде, и только тот мог не теряться и перед обстоятельствами не терять своих мнений, кто руководился заранее затверженной упёртой догмой, — а другие меняли свои мнения в течении нескольких буквально часов.

В самом деле, что же делать с бывшим царём? И держать ли в тюрьме арестованных министров? По какой системе организовать выборы в Учредительное Собрание? Как решить аграрный вопрос и когда начать его решать — сейчас или после войны? И не решат ли его крестьяне сами раньше? И как заставить распустившихся солдат снова подчиниться офицерам, ведь без этого нет армии! (Может быть, в свою довоенную горячую юность Станкевич и мог бы увлечься красотой этой идеи — выборного офицерства, но сапёрному поручику с опытом понятно было, какая это дичь.) И — всё покрывающий главный вопрос: как же быть с войной? Этот вопрос с удивительным изобретаньем уже расщепился и вился на десяток ладов — многолезый, многожалый вопрос, кого он не разде-

лил в революционной среде и в России! А война была — захвативший капкан, она не очень-то шла на переговоры. Немыслимо было её прервать — и невообразимо в ней оставаться.

На этом вопросе, как ни на каком, Станкевича разрывало. Вот обсуждался на Исполкоме Манифест к народам мира — и в груди его разливалась горячая волна всеинтеллигентской русской широты, всегда так доступной космополитизму: ах, как прекрасно! через ощетиненные фронты понести эту весть всем народам мира! какое всечеловеческое примиряющее чувство, когда все мы друг друга любим!

И тут же понимал: до народов ещё там когда как дойдёт, ещё какое впечатление произведёт — неизвестно, но до нашего фронта дойдёт немедленно, и все штыки опустятся окончательно.

Понимал! И по-офицерски отвергал! Но и сочувственно поражался неуспокоенному ввинчиванию этого Гиммера, нечеловеческого человечка, как будто сделанного в пробирке, — как он неутомимо просверливает этот Манифест через Исполнительный Комитет.

И затянутый великой мечтой человечества о мире — Станкевич голосовал за Манифест.

Сегодня тянулось длительное, нескончаемое заседание, на котором даже споры о Манифесте миновали как эпизод. Сегодня очень много было сообщений с мест: из Киева, из Луги, из Гельсингфорса, большей частью бодро-поверхностных, но и под ними тоже что-то клубилось грозно, как суметь различить.

Докладывал и посылавшийся от Исполкома в Витебск (там опасались антисемитских погромов) вольноопределяющийся Линде, — и этот юноша-фантазёр, воспитанный в немецкой романтике, философ и математик, теперь захлёбывался от восторга, до чего же воодушевлённо витебские войска стоят за свободу и республику, — и Станкевич хотел бы верить как либерал-социалист и не должен был верить как трезвый офицер, и косился на этого Линде, в котором отчасти видел карикатуру на самого себя прежнего.

Потом пригласили с докладом Пепеляева, кронштадтского комиссара Государственной Думы. Он уже делал свой доклад Временному правительству, теперь позвали его и сюда. Кронштадт был — как острый кол, воткнутый в бок Исполкому: какая-то ещё одна мощная сила или даже отдельная республика, ещё более левая и ещё более грозная, чем Исполнительный Комитет мог сам

себя вообразить. Вся русская провинция им здесь представлялась как тёмное пятно потенциальной реакции — а Кронштадт вот проявился неукротимо красным кинжалом, всех дразнящим, никому не подчинённым, ещё новой яростью революции, не испытанной нигде. (Оттого ли, что три зимы просидели без войны, во льдах?)

Пепеляев, кажется, столького там насмотрелся, что уже научился говорить об этом без истерики. Да был он от природы круглолицый устойчивый здоровяк. Рассказы его не вызывали никаких сомнений в правдивости, то же самое три дня назад слышал Исполком и от своего посланца туда. Убито офицеров около ста, а из живых почти нет не избитых, все морские и сейчас под арестом, сухопутные — частью. Путаница Советов: сперва — Совет революционного действия, потом три отдельных — морской, солдатский и рабочий. Был момент — начало как будто успокаиваться, но приехали большевицкие агитаторы с Выборгской, опять всё взбуровили. Тревожные слухи трясут Кронштадт: то один полк ожидает нападения от другого, то — что будут всех разоружать, то — что где-то в Кронштадте есть электрическая кнопка и если её нажать — взлетят на воздух и город, и крепость, и корабли. Несколько раз склонялось к порядку — и несколько раз опрокидывалось опять в анархию. Очень возбуждающе действуют в Кронштадте слухи о разногласиях между петроградским Советом и Временным правительством.

Красный остров — всех жёг, будоражил. Но придумать ничего не могли другого, как послать туда ещё депутацию, Скобелева конечно.

Заседание сегодня было воистину безконечное, сорок вопросов.

То лихорадило срочным сообщением, что не пропускают в революцию наших товарищей: какие-то Лурье и Штейнберг телеграфируют из Стокгольма дать указание консулам — всех пропускать, кто просит виз. И постановляли: указать правительству.

То капризничал Соколов: он привык во всём везде участвовать (лишь не успевал повсюду бегать) — как же мог ИК не включить его в Контактную Комиссию с Временным правительством! — а он так защищал её вчера перед Советом! Он так и просил теперь откровенно: кооптировать его в КК!

Разгорелись большие прения о тяжёлом артиллерийском дивизионе. Фронтовое командование требовало его на фронт, аргумен-

тируя, что тяжёлая артиллерия нужна именно там. А тут, в Петрограде, было же своё постановление: все, кто участвовал в революции, не должны выводиться из Петрограда. Но и от фронтовых частей уже стали приходить нарекания: что за привилегии петроградцам, а нам и отдохнуть нельзя?

Затем увидели другую опасность: что делается с солдатскими депутатами? Они избрали свой тоже как бы исполком — Исполнительную комиссию, и та действует всё более самостоятельно, не подчиняясь главному ИК, а настроение её, доносят, совсем не то, что у нас здесь: даже и монархические настроения возможны, по несознательности тёмных солдат. И так это грозит расколом наших сил и большой опасностью для революции — созданием второго революционного центра. Нужно эту новую ИК обуздать, поставить на место, срочными мерами повлиять и на настроение её, и на состав.

И тут всё сошлось на Станкевиче: ему и возглавить эту работу — убрать (переизбрать) из Исполкома неподходящих тут солдат, а выбрать подходящих. И возглавить саму солдатскую Исполнительную комиссию.

Да Станкевич ведь и пришёл — опережать революцию?

560

Кто-то из пришедших сказал, что в сегодняшнем митинге для него главное — возможность быть самим собой.

И Сусанна согласилась, как верно выражено. Действительно, вся их привычная, обычная жизнь — адвокатская, московская, культурная, вся она носила какой-то вид — не притворства, нет, но как бы лицедейства, какой-то условной игры. Они годами, да всё своё существование, выступали будто добровольными, а если вдуматься, то невольными участниками, по сути, чужой жизни. Они и сами уже забывались, забылись, они и на самом деле видели в той жизни интерес, и даже горячо прилагались к ней, и могли бы так вовсе забыться, если бы постоянно не угнетало их притеснение их народа — или вот миг великой очищающей революции не привёл бы их к опоминанию.

Опоминание — как самоосознание, большое внутреннее очищение: кто они воистину, в эту дальнюю страну занесенные, как

песок ветром. И сама Сусанна — кто? вот, забывшая и синагогу, и субботу, — а сейчас, в миг сердечного соединения со своими, с волнением радости ощущая это возвращение к родному, — вот сейчас они пойдут туда, где открыто и гордо соберутся все свои, тысячи своих, только свои. И первый оратор будет — не лучший из адвокатов, не общественный или партийный деятель, не депутат Думы, — но главный раввин Москвы Мазе. Тот, кто только и мог объединённо выразить, просветлённо соединить их всех.

Давно, давно не была Сусанна в синагоге — тем возбуждённо-радостней теснилось в груди: идти и слушать раввина. Счастливый возврат.

Только Давид ранил цельностное настроение: позубоскалил, что это опять начинаются патриотические концерты. Но, видя, как жена огорчилась, попросил прощенья. Сам он ушёл в свой Комитет Общественных Организаций.

Не понимал он и даже сердился, а Сусанне эти дни принесли ещё и такую радость освобождения: от никогда не называемой вины перед менее удачливыми, перед теми, кто застрял *за чертой* или даже не пытался оттуда выбиться.

С особой нежностью она встречала тех своих спутников, которые дожидались дома субботней зари, не имея права двинуться раньше, и вот только теперь подъезжали.

Первая из них приехала Ханна Гринфельд, вдова, троюродная тётка Сусанны по матери, — высокая, худая, под шубой — ещё в белом шерстяном платке на плечах, она зябла. Сусанна встретила её весело, но осеклась, — Ханна была очень торжественна, а без улыбки. Сказала:

— Это ведь будет сегодня, как если бы нам встретиться и с нашими умершими.

Сусанна — не поняла сразу. Но не успела переспросить — тут же вслед вложилась в неё эта мысль и показалась замечательно верной: да, такая массовая наша сходка и во главе с раввинами — да, это будет как бы соединение всех-всех, и с покойными мамой и папой тоже. Да.

Торжественность сообщалась и тем, что не все сели к столу перекусить, Ханна и ещё пожилой родственник Давида не сняли верхнего, а сидели в креслах, как бы ожидая, что с минуты на минуту поедут.

А разговор, естественно, вращался о главном: о том, как падают цепи с евреев — одна за другой, почти ежедневно: снимаются

ограничения в одной области, другой, третьей, — почти ежедневно, а кажется — всё ещё не быстро.

Но это — и не внешний дар судьбы евреям: это дар — взятый собственными руками.

Молоденькая, хорошенькая Руфь, которую Сусанна с любовью направляла и воспитывала как повторение бы самой себя, воскликнула, блестя глазами:

— Вся смелость и прямота этой революции и определились нашим духом!

Да, динамичный дух наш участвовал, конечно, не мог не участвовать при обвисающем русском, — но и голов мы сложили за то достаточно.

Но если так ярко проявился еврейский дух, то следует ждать и яростной реакции против него?

Да! Тысячи погромщиков притаились! — встречала Руфь. Они не могут примириться с тем, что произошло. Они спустились в то святое подполье, где раньше выносились революционные приговоры, — и теперь оттуда помышляют, как вырваться со своими озверелыми дубинами.

Перебрасывались тревогой: ведь там и сям мелькало в газетах — то о подготовляемом погроме, то, кажется, уже о начавшемся, то о массовой перевозке поездами антисемитской литературы. Правда, всё вослед и опровергалось.

Да, все успехи евреев на чужой почве всегда кажутся такими хрупкими! — один грубый посторонний удар — и всё терпеливо построенное рухнет.

— Вот такие, из чёрного автомобиля…

Они прячутся в толпе и со всеми приветствуют — а сами скрытые, прежние! Они, конечно, будут действовать. Разве они так легко отступятся от прежних привилегий? Конечно, теперь нельзя открыто хвалить старый порядок — но можно дискредитировать новый. Они станут вливать свои ядовитые капли против новой власти. Например, будут подстрекать: скорей к идеальному обществу, долой постепеновщину и реальную политику! Удобная форма! Уже ловили охранников, произносящих левые речи. На самом деле никаких крайних левых даже не существует. Это — правые провокаторы раздувают крайних слева, чтобы Россия свалилась.

Да вот и пример: эти необузданные митинги домашней прислуги и кем-то брошенный лозунг «ещё одной революции», те-

перь — прислужной. Какой вздорный лозунг. Прислуга, даже лучшая, начинает не повиноваться, оспаривать, — но так развалится сама обыденная жизнь… Обывательскими низами революция понята как что-то вроде масленицы: прислуга пропадает на целые дни, с красными бантиками катается на автомобилях, возвращается домой к утру, чтобы только помыться, поесть, — а там опять на гулянье. А другие — принимают на ночь солдатскую компанию и кутят, спать не дают.

— А чью-то прислугу, Агриппину Проторкину, выбрали депутаткой! Вот возрадуются её хозяева: и работать не будет, и уволить нельзя.

Женщины очень живо откликнулись: революция домашней прислуги грозила анархией всей жизни. У Сусанны с её образцовой, приласканной и одарённой горничной тоже появилась двусмысленность, правда от её монархизма, но как это разовьётся? Их всех зовут на митинги.

— Революция прислуги — это и есть из первых актов черносотенства.

Долголицый бритый доктор Розенцвейг, отоларинголог, высмеивал:

— Да просто тёмный бред невежественных людей. Никаких погромов сейчас бояться нам нечего: погромов не может быть, если им не помогает полиция и не поддерживают войска. Все эти черносотенцы, мы видим, с такой же лёгкостью отрекаются от своего прошлого, с каким рвением они раньше служили ему, и, как говорится, «переходят на сторону народа». Вон, посмотрите, как даже Воейков подло предал своего хозяина — «эти слова сказал не я, а царь, он был в состоянии сильного опьянения».

Речь шла о сенсационном сообщении из «Утра России», что Воейков предлагал Николаю II открыть минский фронт для подавления революции — но теперь, арестованный и допрошенный Керенским, Воейков, спасая свою шкуру, всё перевалил на царя.

— Кошмар! Ужаснёшься: в чьих же руках находились судьбы России!

— Эту предательскую затею открыть фронт Новая Россия никогда не забудет, кто бы ни произнёс те слова!

Доктор Розенцвейг, сложив руки на набалдашнике своей трости, он тоже не отложил её, оттого что «вот поедем», сказал примирительно:

— Что же с царя взять. Малообразованный человек, он не имел понятия о жизни своего государства. Придворные льстецы поддерживали в нём представление о царстве длиннобородых мужиков, только и думающих, как угодить царю-батюшке. Александра Фёдоровна добавляла к тому свой истерический, мистический бред. Кому теперь не ясно, что династия могла отсрочить своё падение, если бы в 1906 честно и лояльно договорилась с Первой Думой?

Но Николай оправился от страха и снова погрузился в свой фантастический сон о России. Получал миллионы поддельных телеграмм от «союзников» и жил в чаду их преданности.

А в 1914 он снова получил возможность сблизиться с народом. В тот год и всё русское еврейство решительно поддержало государственный патриотизм. И если бы тогда он сам прогнал всю окружающую челядь и призвал общественное министерство — очень возможно, что общество простило бы ему и никакой бы революции теперь не было.

Но он пропустил все сроки и пренебрег всеми предостережениями. На всякую живую мысль самодержавие единообразно всегда отвечало: «Нет!» У Николая II никогда не было ни великодушных порывов, ни государственного ума.

— А у кого из них — был? — сострила Руфь. — Один Сергей Романов единственный раз «пораскинул мозгами», и то уже по мостовой.

И сусаннина выученица она была — и частенько вот так стала резать резкостью какого-то безоглядного поколения. Сусанна исправила ближе к духу сегодняшнего вечера:

— Кажется, для царской власти мы сократили скрижали Моисея, мы требовали от них всего две заповеди: «не убий» и «не укради». Но даже эти две были им не под силу. Работа народной совести всегда была за тысячи вёрст от дворцов.

Вообще разговор пошёл злободневно, политически плоско, отворачивая от того глубокого настроения, какого сегодня хотелось.

Вошёл последний, кого ждали: старый адвокат Шрейдер, широкий в плечах и крупноголовый. Потрясённый смертью жены, два года назад, он сильно состарился, стал медленен, всё меньше занимался адвокатурой.

— Но как возмутительно, — горячо говорила Руфь, — сейчас пишут газеты, пытаются пробудить противоестественное сожале-

ние: «император осунулся, превратился в старика с глубокими морщинами», — да просто напугался в тюрьму попасть! Суздальские богомазы и тут рисуют свои картинки. Просто неловко и стыдно читать об «их личной трагедии». Его трагедия — не короля Лира, а — тюремщика, от которого убежали арестанты. — Красивые тонкие губы Руфи выделялись в непреклонном изломе. — Или: у царицы дети больны, подумаешь трагедия, как нас хотят разжалобить. А от скольких детей отрывала политических отцов грубая рука жандарма! Конечно, революция не игрушка. — Кончики тонких, прозрачных её ушей запылали. Добавила ходкую фразу: — Революция — не балет.

Но тут горбоносая, со впалыми щеками, всё молчавшая Ханна осадила:

— Так нельзя, Руфь. Трагедия всяких людей есть их трагедия, и больных детей особенно. Вот приезжают из Петербурга, рассказывают, что городовых топили в прорубях Фонтанки и через два, через три дня после переворота. Кто они? — простые стражи уличного порядка, — хлебай ледяную и грязную воду, иди на дно. Не говорите мне: всё это прошло не при слишком хороших знаках.

Руфь смутилась:

— Каких знаках?

— Небесных, — отрешённо ответила Ханна, не опасаясь, что кто-то тут улыбнётся.

А Шрейдер вздохнул:

— Мы в России — не в гостинице. Надо уметь её понимать, и с её стороны тоже.

Ханна вернула всех к тому очищающему возвышенному, как и хотелось настроиться.

Давид уже прислал второй автомобиль, пора выходить.

Ехать надо было в цирк Никитина.

561

И правда, Ксаночка была Ярику ближе родной сестры Жени: та училась далеко, а с этой отрочество общее. И с годами всё большая почему-то сладость была называть её сестрёнкой, и в постоянном заботливом тоне между ними, а то в случайной приобнимке — такая славная принялась игра (а ведь — нисколько не сестра, но от

этого особенная и присладь). Эта игра ещё обновилась в предвоенный год, когда они оба учились в Москве, и естественно было при встрече поцеловаться и товарищам-юнкерам ревниво представить её как сестрёнку.

С годами в душе двоится, и сам уже начинаешь путать игру и действительность. Отношения, не сравнимые ни с чем.

Любил в карие глазки её смотреть с открытой нежностью и встречая открытую нежность.

Но в этот раз в Москве — отдавалось ему гулкими ударами по телу. Игра дошла до грани, что уже игрой оставаться не могла. Целовал ли её при встрече, глядел с дивана, как она для него танцует, поглаживал ли руку под перчаткой, — если это и была игра, то уже совсем другая, по новым правилам, и глубока, — но чтоб доиграть её, надо было отказаться от прежней «сестрёнки», а та — пролепила все извивы их отношений.

Две игры перепутались, и одна мешала другой. «Сестрёнство» так остро сближало! — но и загораживало. Как-то было безсовестно, греховно вдруг проломить это доверие. И вот когда он пожалел, зачем это всё игралось? Сейчас эту смугловатую, скуловатую, круглоплечую степнячку он видел прозревающими глазами, как если бы первый раз: уже лопалась зрелость из её губ, зубов, пальцев, смех жизнелюбный по делу и без дела, глаза побегивают, горят, — да зачем же они так застряли в их детской игре!

Но оскорбительно и грубо было бы разломить грань. Как будто своя семья, кровосмешение.

И несколько раз уже набегала горячая тень такая, что вот сейчас прорвётся — и всё назовётся откровенно. И отбегала опять.

Опять он ошибся, как и с Ростовом! Вся встреча с печенежкой была такая же ошибка, как и гощенье в семье, — близкие только загораживали. А в нём уже так заострилось, он, наконец, просто как зверь хотел женщину — и без этого не мог уехать на фронт, может быть под последнюю гибель.

Морока какая-то! Ярик выдержал первый вечер (думалось ещё и так, и так), выдержал ещё сегодняшнюю дневную прогулку, но на Каменном мосту перед закатом дошла его тоска до краю: что погубится вся его поездка, столько уже потерянных дней, — а он не может вернуться на фронт иначе.

И спасенье его было — оторваться от Ксаны сейчас же, сию минуту! И сегодня же всё осуществить, пусть с проституткой!

И он, не допроводив Ксенью, круто распростился и ушёл от неё.

А распростясь — пошёл наугад, не думая возвращаться и в казармы к товарищу, побрёл — как под пули идёт потерянный, не смеряясь с опасностью, хоть и погибнуть, — пошёл хоть изрешетиться, взять сейчас любую на любом бульваре, с опасностью заболеть, — но только провести с ней ночь, это билось из него с такой силой, он не мог больше откладывать!

А где *их* берут, где надо было их брать? Всем известно, что — на Тверском бульваре, прославленное место. А другого Ярик и не знал, но догадаться можно было, что — на всяком бульваре, удобней всего, можно ожидать на скамейках. (Да не только же, правда, по букве называли трамвай по бульварному кольцу «Аннушкой бульварной».)

Ближе всего был Пречистенский — и Ярослав свернул туда, в своём невладении. Садилось солнце — и время могло быть уже подходящим.

Прошёл половину длинного изломистого бульвара, миновал десяток скамеек, все подсохшие, и, по нехолоду, кой на каких присели — там парочка, здесь с газетой, но и долго не посидишь, и подумал уже Ярослав, что это — промах насчёт скамеек, что *ходить* должны, как и рассказывали всегда юнкера, и не по одной, и наверно только на Тверском.

Как вдруг увидел на отдельной скамейке — одинокую молодую, копна чёрных волос из-под вязаной шапки видна ещё издали.

А ближе — именно это черноволосье, по плечи и густо обрамляющее голову, диковато и даже вульгарно, — именно оно почему-то наводило на мысль.

И поза была не такая, чтоб вот — присела на краешек, сейчас убежит. Нет, сидела она вполне углубисто, ожидаючи.

Кого-то? Она просто, может быть, ждала близкого, знакомого. По неумению различать — не хитро и оскорбить. Да никогда б Ярослав и не решился, если б не такой уж край у него был, обрыв отпуска.

А между тем, хоть и замедлив, он уже приближался, приближался к ней, и надо было решаться: так? или этак?..

Вид её был довольно бедненький, пальтишко с плохим меховым воротником.

А лицо показалось на подходе — даже отчаянно красивым, зловеще красивым, даже — таких не бывает, или это — от окружения непомерных её волос?

Обратиться? не обратиться? Фронтовая простота и семейная воспитанность боролись в нём. Как можно неловко попасть, стыдно!

Но красота её — решила. Такую красоту — сейчас! — он пропустить не мог.

А девушка смотрела не на прохожих, но косо вниз, немного презрительно.

И он бы — наверно сробел, миновал бы.

Но вдруг от сапог его — медленно она подняла глаза. И посмотрела — выразительными чёрными (может, не чёрными, но — вся такая, но от волос) — прямо ему в глаза и не торопясь отвести.

И — всё было решено! — он уже уйти бы не мог, он как схвачен был.

— Разрешите — рядом с вами? — первое трудное, без соображения, спросилось само из него, как из груди выбилось.

— Пожалуйста, — ответила она, но не подвигаясь и без единого движения, всё так же обняв себя руками, может для теплоты, руки без перчаток под рукава.

Что-то в ней цыганское не цыганское было, но вульгарно-загадочное.

Он сел, в пол-аршине от неё. И следующий вопрос ещё знал, какой задать (а уже потом не знал):

— Как вас зовут, могу я спросить?

Из своего презрительного взгляда на обтаявший лёд у себя под ботами, она ещё раз подняла глаза, теперь близко вровень, так и пробрало его.

— Вильма.

— Вильма? — Вот и сам родился следующий: — Что за имя? Никогда не слышал.

Она на это время не отвела от него глаз, рассматривала.

— Латышское.

Да, и акцент у неё был.

— Вы — латышка? Беженка? — ухватился, как будто это важно было.

— Да. — Голоса много не тратила, а густой был, настоенный.

— Из какого же места?

— С Двины.

— Вот как? — обрадовался Ярик. Почему-то хотелось заверить её дружественно, какую-то негрубую нить протянуть между ними. — И я от Двины недалеко воюю. Близко.

Но она не отозвалась. Взор увела.

— Близко фронт подошёл? — с сочувствием спрашивал он.

— Да. По тому берегу. Прямо против нас.

И… и… и всё?

И что ж ещё было спрашивать? Что другое — как будто невежливо. Он не мог спросить ни о семье, ни об образе жизни. Было бы глупо рассказывать ей, какие случаи беженства он знает ещё. Хотя: чем может жить латышка в Москве, каково ей здесь? Наверно, неважно. Ему правда хотелось узнать о ней больше.

Но вопросы его пресеклись.

А красива была — ужасно.

И красота её — помогала Ярику. Потому что хотелось красивого, неслучайного, чтоб она действительно ему понравилась.

И она — нравилась.

Но ничего не доказывал ни её задержанный взгляд, теперь уже отведенный, ни сидение их в полуаршине.

А из-под самого её подбородка — вот одно некрасивое у неё, широкого твёрдого подбородка, — чуть выдавалась пунцовая ткань с цветками, косынка.

Ничто не было доказано и никак дальше не разъяснялось. Может быть, она сидела здесь совсем не за этим. (А может быть — за этим, но вышла первый раз и сама не умеет?) Свободное — что-то было в обмёте её волос, стеснительности её или прямого запрета он не чувствовал. Но развязности не мог себе нагнать.

И так посидел ещё, молча.

Но и она продолжала сидеть, не переменяя позы, не уходя. Глаза — косо вниз.

Так это и был ответ?

Он вот как сказал:

— Я бы… пошёл с вами?

И почти сразу услышал, сквозь зубы, без поворота её головы:

— Пятнадцать.

И его — осадисто резануло. Всё оказалось — именно так, но зачем так грубо, как сбросило со скамейки на лёд. Да! Ему хотелось всего лишь одного, именно этого, — но хотелось так, чтоб отзывалось и в душе.

Но уже выбора не было. Дорвался.

— Пойдёмте, — сказал.

И тут же подумал: а *как* же они пойдут? Её вид — идти с ней под руку ему невозможно…

Но оказалось просто: совсем рядом, в Антипьевском переулке. Вильма шла на плечо вперёд, а поручик — чуть сбоку и сзади, весь — за её буйными волосами.

Антипьевский! — надо же! — как раз вдоль задней стены его родного училища. По ту сторону сколько маршировал — думал ли, что всё разрешится рядом, вот так?

До войны и без фронта он бы так не мог.

Маленький двор, двухэтажный дом в глубине. Тёмная лестница, ещё без света. На третий, мансарда.

В первой убогой комнате, которую надо было им пройти, сидела за столом с неубранной едою — другая девушка, не такая красивая, но пожалуй похожая, — сестра?

Странно так проходить — Вильма не познакомила, не сказала ни слова, шла в следующую комнату. И Ярослав, кивнув той девушке (та не ответила, как не заметила), — за Вильмой.

И Вильма накинула крючок на дверь.

Вторая комната, скошенная крышей, была тоже мала, скорей не чистая. Одна полуторная кровать, одна одинарная, обе под простыми одеялами. Комод под кружевной дорожкой, на комоде стоячее зеркало. Вешалка, стул, табуретка.

Через единственное подкровельное малое окно ещё падал сумеречный свет, и не было надобности зажигать.

Вильма ловко сбросила пальто, шапку, — волосы ещё больше рассыпались, а пунцовая — оказалась на ней шаль, в обхват плеч её, сильных облокотий, — и концами сведена под пояс впереди. И в нищей сумеречной комнате эта пунцовая шаль загорелась как жар-птица. И сильные глаза Вильмы против окна смотрели на Ярослава в упор. И гордо.

И так это вспыхнуло разом — Ярику теперь опять показалось, что — лучше он и найти не мог! Это было чуже, странно — и восхитительно!

Он подошёл к ней распутаться в шали — а воротник оказался вырезной косяком, открывая шею и душку.

Оставалась одна опасность — но спросить её прямо было невозможно, да ведь и не скажет. Оставалось только — доверять ей. Да если б не эти «пятнадцать» — а может, процеженные так с не-

привычки? — он поручился бы, что она вышла на бульвар в первый раз.

Но какие опасности он не переходил в жизни, не страшней же. Спросить — было невозможно.

А ещё: отстёгивал шашку с револьвером — почему-то мелькнуло, что и это опасно, в чужом неосвещённом месте.

В комнате быстро темнело — и только привыкшими глазами он продолжал досматриваться до неё. А пунцовый платок на стуле — гас, гас, потом погас, не различался.

Сперва по́мнилось, что за дверью сестра. Потом забылось.

Но ему действительно хотелось — войти в её грудь! Заглянуть в её жизнь. Ему хотелось — в чём-то и полюбить, нешуточно.

Он нуждался — ещё и кусочек своей души оставить у неё.

Чуть шелестили шёпотом.

И, обнимая, он спрашивал:

— А можно — я до утра останусь?

— Нельзя. Придёт мама и все, ночевать негде.

Но ещё лежали в полной темноте.

Чего не было в её теле — нежности. Но — сила.

Лежал — и уже сейчас подумал: ведь будет её вспоминать, и может — долго.

— А я тебя — запомню, Вильма!

Кажется, искренне ответила:

— И я тебя.

562

Сегодня среди революционеров уже пожилой, 43 года, Нахамкис, однако, сохранял все преимущества никогда не болевшего человека, кровь с молоком. Хотя он всю жизнь отдал революции, начал уже с пятнадцати лет (ещё жив был Чернышевский!) пропаганду среди одесских рабочих, — однако не измытарился по каторгам и сумел не подорвать здоровья. В единственную свою ссылку он попал под свой 21 год, из-за чего не погнали его ни в Верхоянск, ни в Колымск, а в самом Якутске призвали по воинской повинности, он был зачислен рядовым в местную команду и от службы только ещё укрепился. Запрещено было дать ему чин даже ефрей-

тора, но он исполнял все должности унтера, дежурил по роте, даже заведовал ротной школой — и ещё укрепился в себе, по-командирски. А политическая уверенность у него уже тогда была такая, что потом, живя в одном доме с якутским вице-губернатором, не раскланивался с ним (наслаждение презирать!), а мирового судью принимал у себя в гостях. Да после военной службы он в Якутске задержался недолго: хоть оттуда трудно было бежать, на пароход при полиции не сядешь, но и пойманных особенно не наказывали, так что рискнуть. Его полуротный офицер, с характером Ноздрёва, пивал запоем и в белой горячке бредил революцией, что он с полуротой сразу перейдёт на сторону народа. Этот поручик и помог ему бежать по зимней Лене на почтовых, спрятавши в своём возке. (И когда позже открылось — поручик не пострадал, а только письмоводитель — за подделку документа.) Затем вослед своему беглецу уже безпрепятственно выехала и жена с ребёнком.

За границей Нахамкис не бедствовал, ибо всегда была помощь от отца из России, — не должен был выколачиваться ради грошей, а мог отдаться свободной революционной деятельности, — да уже и тогда влёкся к литературной, намечая стать писателем, как и кумиры его — Чернышевский, Добролюбов, затем и учитель Плеханов. Однако поклонение Плеханову не было стойким, после II съезда РСДРП заколебался, не примкнуть ли к Ленину (а какой-то он неполноценный, будто со срезанной частью головы), — но по независимости и яркости своего характера не примкнул ни к кому, а остался — вот и до сих пор — социал-демократом внефракционным, это давало и большую свободу движения всякий раз. Очень сблизился за границей со своим земляком-одесситом Парвусом, вслед ему покатил в Россию на революцию Пятого года, но поучаствовать не успел: пришёл посидеть на заседание Совета рабочих депутатов, как раз последнее, в его гамузе арестован, да как непричастный скоро освобождён.

В последующие годы, хотя тактически принято было грозно проклинать *годы реакции,* — однако было довольно-таки выносимо. Нахамкис стал негласным направителем («секретарём») с-д депутатов 3-й Думы, — там серенькие были, а он вёл их со всей широтой своего революционного кругозора. Но и более того: в эти годы он мог отдаться и своей литературной страсти, и своей верности идеалам шестидесятников, от которых отчётливо ощущал своё происхождение, — и написал, и прямо в России напечатал, под

псевдонимом Стеклов, научно-полемический труд о жизни и деятельности Чернышевского.

Наш великий предтеча! Один из величайших людей русской истории! Великий мыслитель с гордостью Прометея. Русский Сен-Жюст. Наш первый якобинец (не случайно, что и «Молодую Россию» и многие анонимные прокламации — все, и враги, и сторонники, приписывали ему). И подошёл вплотную к научному социализму! — всеми своими корнями Стеклов чувствовал себя *от него* и, окажись на его месте, вот так же бы и поступал: с умной личной осторожностью (их общая черта!), но энергично поддерживал бы студенческие волнения; с ликующей замкнутой радостью следил бы за грандиозными петербургскими поджогами, спалившими десяток густых кварталов так, что пламя перебрасывалось аж через Фонтанку, толкотня телег, карет, судов на реке, погорельцы с узлами на площадях, и вдали от пожара уже вяжут имущество, огонь охватил и министерство внутренних дел, Петербург представлял вид города, подвергшегося бомбардировке неприятеля, и после того ещё несколько дней сряду вспыхивали новые пожары в разных местах города (кто те безымянные юные смельчаки, клавшие паклевые факелы в дровяные сараи? — остались нам не открыты); и так же не сдерживал бы кровавой ярости в воззвании «К барским крестьянам»; и так же бы негодовал на пошлость поглупевшего Герцена, низко открывшего из-за границы кампанию против радикалов, развязавшего рты всем либеральным иудам в России да ещё неуклюжим промахом подавшего нечаянный документ к аресту Чернышевского; и так же вызывающе-уверенно вёл бы себя под долгим следствием, зная, что у палачей не может быть доказательств. (А смог ли бы в неустанных литературных занятиях выдержать 20 лет заключения, мученичество?.. Писать, писать — только для того, чтобы тут же и сжигать?)

Последовательно отражая философские воззрения Чернышевского, систему его этики, эстетики, историософии и политэкономии (да даже изобретал он и машину вечного движения — ради уничтожения пролетариатства), — то и дело находил (перенимал) Стеклов не только глубокое сходство убеждений (например, в интересах трудящихся масс полностью разрушить как всю систему старого самодержавия, так и всё лживое здание александровских реформ — прежде чем они утвердятся; и — никогда не допустить крестьян до индивидуального владения землёй, только общиной! — актуальнейший вопрос сегодня); не только общую

кипучую ненависть к реакции, общее презрение к бледно-розовым либералам и предчувствие оказаться после переворота вождём крайне левой стороны; не только общую страсть к писательству («Что делать» и «Пролог» написаны прямо сразу набело, без единой поправки, — именно так же и писал Стеклов! А ведь у Чернышевского погиб и ещё один роман, о котором односсыльцы свидетельствуют, что он был бы евангелием и библией современного человечества!); но и совпадение многих даже личных черт, как: рассудочность берёт верх над воображением, мыслящий человек может отстраниться и от любви, владение собой, когда нужно отступить — то и вовремя отступить; в год написания этой книги — столько же ему было лет, как Чернышевскому в год гражданской казни, и у обоих — якутская ссылка. Но! — легко прийти в революцию из революционной среды, а каково было Чернышевскому из гущи реакционного православия, от того отца-священника, который даже на своего архиерея доносил о неправоверии! Этот мир так цепко въелся в Николая Гавриловича, что, уже будучи вождём петербургских радикалов, он, проходя мимо церкви, всё не мог удержаться, не перекреститься… (Это дураченье народа православным духовенством всегда отвратно поражало Нахамкиса: сел в поезд с несколькими пролетариями, дёрнул в путь паровоз — и они все перекрестились, как самые тёмные крестьяне. Да что, если некоторые члены Совета рабочих депутатов Пятого года, посаженные в Кресты, когда возвращались с прогулки, — крестились на икону в тюремном коридоре…)

Издавая труд о Чернышевском с отодвижкой на сорок лет от событий — мог Стеклов неистовым революционным духом обнажать всю казённую ложь. Уже не было в России такой цензуры, которая мешала бы ему хлёстко спорить с теми как будто остывшими реакционными зубрами и Третьим отделением, а он-то сам, как и его читатели девятисотых годов, отчётливо прозревал за *теми* — нынешних псов царизма, всех матёрых палачей по ту сторону баррикады. Только не мог он всласть исхлестать коронованного жандарма, лицемерного иезуита, верховного сыщика, кровожадного жёлчного тирана Александра II (теперь-то — наступило это время, будем делать второе издание книги), но зато уж — продажных тварей царских сенаторов, заскорузлых душонок византийского чиновничества, — *ab uno disce omnes!* — по одному суди обо всех, а особенно — всех либеральных шавок и брехунов из подворотен, не обойдя и патентованного либерала Тургенева, ни-

когда не отстававшего от охранников, и реакционного изувера Гоголя, и полоумного мистического мракобеса Достоевского, политически павшего человека. Да после ареста Чернышевского русская литература впала в маразм, в прозябание на долгие годы.

Тем временем за революционные связи и вокруг думской фракции в 1910 подпёрло Нахамкису садиться и ехать в новую ссылку, но, к счастью, предложили на выбор уехать за границу, он и сделал так. В эмиграции снова сближался с большевиками, преподавал в их школе Лонжюмо, но снова отказывался вместиться в узкую ленинскую дисциплину. С 1913, после амнистии, мог возвращаться в Россию, но ещё задержался, июль 1914 застал в Берлине — и был избит немецкой озлобленной уличной толпой, принявшей за русского обывателя — его-то, с его взглядами! — тем особенно обидно, что он ещё до войны желал военного поражения России. (А ведь тоже мысль Чернышевского: предсказывал столкновение России с Западной Европой, и что будет она разбита, и поражение царизма приведёт к революции.) Хорошо, что немецкие власти быстро разобрались, социалистов сочувственно отпустили ехать на родину; Лурье, Коллонтай, другие товарищи остались в Скандинавии, а Нахамкис имел причины вернуться в Россию. Тут удалось стать чиновником Союза городов и прожить военные годы не только спокойно, но и весьма содержательно. С той же Скандинавией вели коммерческие операции, по поручению Согора Нахамкис уже в войну дважды проехался в Стокгольм за товарами, заказывать лекарства, а у кого? — у фирмы Парвуса-Ганецкого. С Парвусом не угасла революционная связь, создали каналы для денег — на поддержание революционных точек, но притекало и самому, с Фаберкевичем, с Подвойским — столы их в Согоре стояли рядом. В войну появились специфически изумительные товары, такие как презервативы: в России своих не было, иностранные вздорожали сразу в десять раз, а именно при военном отсутствии мужей они стали особенно необходимы, и ещё к тому же ничтожны в объёме, без труда вкладывались в ящики согорских товаров, а потом продавались негласно в институтах красоты (такой вела и жена Нахамкиса) и по другим гигиеническим точкам.

Даже никогда так хорошо не жилось, как в эти два военных года, не сравнить с довольно жалкими эмигрантскими, — с этой ступени благосостояния можно было бы вообще начать очень приличную жизнь. Но — и война не безконечна, и революция вот же прикатила, да не для обывательского прозябания и создан был ду-

ховный потомок Чернышевского, в полном расцвете здоровья, сил, умственных способностей, — и тотчас приложился к едва грянувшей революции, в первый же вечер вшагнул в Исполнительный Комитет, да не простым членом. Не только по своей физической выдержке он высиживал и выстаивал все сплошь часы заседаний Исполкома и над разморенным столом заседаний выкладывал своё тяжеловесное слово, — но и по политическому таланту кто с ним тут мог равняться? Изношенный Чхеидзе плыл по течению прений, не влияя на них заметно, Скобелев болтался без дела и значения, его посылали затычкой во все места. Слюнявые народники — ничего тут не весили. Только внефракционный Гиммер был голова комбинаторная, с острым соображением, вытаскивал идеи быстро, но, по поспешности, перескокам и лишённый фигуры и силы, никак не козырял в вожди, шёл к Нахамкису в хорошие подручные, как обезьянка на плече, для проверки теоретического курса. И всё направляюще открывалось Нахамкису: и посадить Временное правительство на его шаткое седалище, и вести голос Совета «Известия». (Не успевая сам, ввёл туда друга своей одесской юности Циперовича.)

Даже сам удивлялся, как легко ему всё подаётся, нет отпора, бери власть. Ещё один-два шага, он станет председателем Всероссийского Исполнительного Комитета Советов — и это высшая реальная власть, сильней, чем буржуазный президент.

И тут — эта проклятая история со сменой фамилии. Нахамкис всю жизнь силился отделаться от этой позорной фамилии своего богатого, но недальновидного отца, и даже подал, в военные годы, прошение о том на высочайшее имя, что для революционера считается последним позором, ибо там обязательная форма — «припадаю к стопам», — но не успело обернуться, а вот революция, и теперь больше всего боялся, как бы не открылось это «припадаю к стопам». И вот подлые буржуазные газетки подняли патриотический визг об «анонимах в Совете» — и как раз может всё разоблачиться. Буржуазная печать — духовная жандармерия.

И теперь — нашёл бы то гнусное прошение и своими руками бы уничтожил, — но в каких канцеляриях его искать? И ещё хуже станет заметно.

А обидно ужасно: при всех его талантах и представительности — налеплена как бы в насмешку унизительная фамилия, уродливей невозможно сочинить, — как будто связывает руки и ноги, заклеивает рот.

В пятёрку Контактной Комиссии Нахамкис вошёл тоже не рядовым членом, а — центральным, самым видным и настойчивым (Гиммер привычно рядом, Филипповский в стороне от главных политических вопросов, а ещё только — Чхеидзе да Скобелев).

С этой компанией и поехали сегодня в Мариинский дворец, в автомобиле не успели сговориться ни о тактике, ни о конкретных вопросах, а в общем виде: давить и произвести впечатление. Тем более инициатива переходила к Нахамкису, он-то всегда найдётся и что сказать, и как сказать.

В вестибюле Мариинского было, как и в Таврическом: солдатский караул кто курил, кто спал на скамейках, винтовки лежали. Но дальше было интересно посмотреть. Длинная с поворотом парадная лестница с ажурными бронзовыми перилами, стены белого мрамора, а колонны розового, в нишах — статуи античных воинов. Потом один двухъярусный круглый зал, другой двухъярусный квадратный — с верхней галереей, лепным орнаментом на стенах, там и маски, а над дверьми ландшафты, — нет, не туда зашли, — назад через круглый, тут золочёные фигуры вроде грифонов, а паркет какой, ничего правительство устроилось, да всё ещё не пачкано, окурки нигде не валяются, да разодетые чванные лакеи — как им самим не смешно своих манер? — теперь ещё один зал — Приёмная, с двумя каминами, высокими окнами на площадь, а по стенам опять барельефы, барельефы, — наконец ещё в новую комнату, где за бархатной синей скатертью их ждали четыре любезных и даже угодливых министра. И, усевшись за этим столом, — Нахамкис опять-таки возвышался крупной, крепко посаженной головой, оглядывал что своих незадачливых коллег, что этих припугнутых министров (почему-то не было главных — ни Милюкова, ни Гучкова), и, без лишней скромности, не мог не ощутить, что он тут — фигура центральная, поскольку Исполнительный Комитет доминирует над правительством. (Дождались! Вот когда мы, красные радикалы, добрались и ущемим розовую либеральную блудливую слякоть.) Ещё никем так специально не названный и не выделенный, а становился в России чернышевец Стеклов — первым и главным человеком.

И это явное превосходство он посчитал необходимым выразить министрам на первой же этой встрече. И ждать долго повода не пришлось. Думал Нахамкис — сейчас они будут укорять ИК за резкие действия в Царском Селе, тогда бы им и всыпал. Нет, возражали очень деликатно, почти ласково. Думал — будет следующее

столкновение о Верховном Главнокомандующем. Нет, ещё опережая советских гостей, Некрасов объявил им с улыбкой, что эта операция уже произведена, Николай Николаевич окончательно смещён. Хорошо, но кто взамен? Алексеев? — реакционный генерал, Исполнительный Комитет не может и его допустить, даже временно! Князь Львов, благостно улыбаясь, спрашивал: а кого же? Вот тут Нахамкис не приготовил, не знал — кого. Тогда, успокаивал Львов, надо только чуть пообождать: Алексеев сам хочет уйти, и уйдёт.

А спор возник — об армейской присяге. Гиммер, который этой присягой много занимался, теперь выпрыснулся с упрёками, что Временное правительство действует самочинно, не оповещая Исполнительный Комитет: такой присяги они не имели права объявлять и даже в действие приводить, и всё без согласия ИК, и мы решительно ставим вето.

Застигнуты были министры врасплох: они искренно, кажется, не ожидали, они не подумали даже. Львов растерянно улыбался, расфранчённый Терещенко принял вид размышления, Некрасов сочувственно и готовно развёл руками: но как же теперь быть? Уже во многих частях присягали, не отменять же?

Но Нахамкис, единственный, кажется, тут среди них, кто оттянул действительную службу, знал и цену этой подлой воинской присяге, когтями забирающей душу рабочего и крестьянина. И невозмутимо продиктовал:

— Значит, отменить.

И вскинулся вдруг маленький смирный Мануйлов, которому по своим делам просвещения тут бы и сидеть нечего. Он вскочил, хотя вообще говорили сидя, — и возбуждённо, даже вскрикивая, тоном личной оскорблённости стал выбрасывать, что создаётся совершенно невозможная обстановка, никакое правительство в мире не может функционировать под таким давлением. Он понимает — сотрудничество, он понимает — добрые советы, но признать над правительством открытый посторонний контроль он отказывается! И если говорить о произвольных действиях, то произвольно действует именно Исполнительный Комитет, ни с чем не считаясь и не спрашивая правительства. Так был произведен и этот безобразный влом в Царское Село, так был издан «приказ №1» и «приказ №2», и ещё неизвестно сколько приказов… И ещё, и ещё… — Мануйлов уже безсвязно, но всё горячей выпаливал, выпалился

весь — и сел, уже смирно, как бывает со взволнованными коротышками.

И — лучшего повода он дать не мог! Да и сам-то был — типичный выродок дегенеративного российского либерализма, нижняя ступенька лестницы от Герцена, вот по таким и бить! Кончилось ваше время! Нахамкис скрестил большие руки на большой груди, не только что не встал или не переклонился к министрам вперёд, но покойно откинулся в комфортную кресельную спинку, специально рассчитанную на отдых сановной спины и задницы, и стал тяжёлым басом поламывать:

— Господа. Вы же знаете: в любой момент, стоило бы нам только захотеть, мы безпрепятственно могли бы взять власть в свои руки. И это была бы для России самая крепкая и авторитетная власть. И если мы этого не сделали и пока не делаем, то только потому, из теоретических социалистических убеждений, что считаем вас в настоящее время более соответствующими историческому моменту. Мы — согласились допустить вас к власти, да. На определённых условиях. Но именно поэтому вы не должны забываться. И не смеете предпринимать никаких важных и ответственных шагов, не посоветовавшись с нами и не получив нашего одобрения.

Так, даже рук спокойных не расцепив из скрестья, он уже усмирил их всех четверых, вместе с выдохшимся Мануйловым. Он высказал им уничтожающую вещь — а они держали на губах подобия вежливых улыбок. И всего только таких либеральчиков и смогла выставить русская буржуазия! Что за ничтожества! И как бы они хотели эскамотировать революцию, да силёнок нет.

Но надо было додавливать, надо приучить их раз и навсегда. Сам ещё не уверенный на все 100 процентов, но чтоб увериться до стенки — тем победоноснее внушал:

— Так что, господа, вы всё время должны помнить: сто́ит нам захотеть — и вы сейчас же исчезнете с русского политического горизонта. Никакого самостоятельного веса и самостоятельного значения вы не имеете. Вся ваша мнимая сила — только в нашем признании, и пока оно есть.

Сказал — и испытал торжество сильного мужчины над женственной тварью. Наслаждение презирать.

Голубые глаза князя Львова опечалились, подёрнулись чуть не слезой. Терещенко покраснел и откинулся, будто по обеим щекам

принял заслуженные пощёчины. Мануйлов тихо сидел, надувшись. А Некрасов приспустил голову, как наказанный пёс.

И обстановка — сразу очистилась. И уже легко пошло обсуждение, в чём именно будет состоять контроль деятельности правительства. Оно обязано заранее информировать Исполнительный Комитет о каждом своём важном шаге.

Подумайте, правительство согласно! Да правительство даже с самого начала предлагало ввести в свой состав на правах членов — какое-то число членов Исполнительного Комитета. Но Николай Семёнович отказался. А Александр Фёдорович любезно вошёл. Правительство уже приглашало от Исполнительного Комитета и контролёров над расходованием своих средств. Но и правительство тоже хотело бы, для ясности, как-то знать иногда заранее намерения Исполнительного Комитета?

Хорошо, вам будет передаваться сводка бумаг, поступающих в Исполнительный Комитет со всей страны, чтобы вы знали мнение народа.

А что это там, в Москве, началось какое-то сепаратное движение цензовых кругов — устроить Учредительное Собрание в Москве? Петроградский Совет не может допустить создания какого-то второго центра в России.

Нет-нет, это произвольные несогласованные попытки, правительство не давало им никакого одобрения. Учредительное Собрание будет готовиться в Петрограде, не сомневайтесь, пожалуйста, господа!

Не очень Нахамкис им поверил. Но за эти дни он привык к сильным решениям, и сейчас в нём зрело ещё такое одно: через московский Совет рабочих депутатов заставить Москву саму отказаться от своей кандидатуры.

563

И как трудно каждый раз расстаться, невозможно уйти!

Потом кажется: не три часа пробыла у него, а одну минуту. При нём время ускоряется безумно, всё пролетает.

Пришла домой — и тут же хочется опять к нему. Воротясь — завидует сама себе: это — она была?

Так хорошо, как не бывает. Почему, отчего с ним так хорошо — не хочется анализировать.

И страшно: а вдруг всё гинет?..

Сказал: непридуманные влечения — всегда взаимны.

Да, каким-то странным образом и она — ведь создана для него, человека совсем-совсем другой жизни.

Его каждое слово так решающе падает на неё. И — рада, что так. И с каждым его суждением её прежний мир изменяется, поворачивается. И — рада, что так.

Но даже уже и опасно: можно ли так сильно поддаваться?

*
* *

Познала девка хмелинку,
Полюбил барский детинка,
С низу низовой купец.

ДВЕНАДЦАТОЕ МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

564

Ещё в прошлый понедельник взгомилась Каменка, как прикатил этот слух, что царь нас покинул. Мол, в Питере пе-ре-во-рот.

Да бодай тебя с переворотом, только бы батюшка царь на месте остался.

Однако шёл день за днём, а слух тот не подпёрся. Или там, в Питере, обернулось назад? Никакое новое сотрясение жизни не докатило до Каменки.

И уверялись старики: не могёт такое в наши ворота вломиться. Никак не могёт Расея обезглавиться от царя.

Може так — чегоза какая намутила.

Но и Плужников, мужик умозорный, — чтой-то же знал, как портреты срывал. И подтверживал: «Так! Так. Без царя теперь». (Уметнулся в Тамбов усейко.)

А в пятницу батюшке привезли пакет из Тамбова.

Открыл отец Михаил Молчанов, а внутри: ещё раз, уже из газет ему известные, Манифесты отречения Государя и великого князя Михаила. И послание Святейшего Синода к чадам православной Церкви: что переворот произошёл по воле Божьей, так как Господь в своих руках держит судьбы царств и народов, а православные христиане призываются ради миллионов жизней, сложенных на поле брани, и ради многих жертв, принесенных для завоевания гражданских свобод (то есть ради революционеров?..), — к повиновению новому правительству, облегчить его великое дело. И затем распоряжение Синода: объявить громогласно сии Манифесты во всех православных храмах, в сельских — по получении их в первый воскресный день, после Божественной Литургии и с соверше-

нием молебствия об утишении страстей, с возглашением многолетия Богохранимой державе Российской и благоверному Временному правительству ея, каковое возглашение и должно отныне войти в ектеньи вместо прежнего императорского.

Отец Михаил у себя в домике читал эти бумаги — и плакал вслух. Совершаемое было — выше его разума и вне пределов его воли. Недосягаемо был вознесен над рядовыми священниками Синод, и сидели же там просвещённые и глубокомысленные иерархи, вот подписалось их два митрополита и шесть архиепископов, и не с лёту же, но по обдуманью и молитве приняли они решение.

Да, как будто так: раз Господь в своих руках держит судьбы царств и народов, надо и этот переворот принять как произошедший по воле Божьей. Хотя изрядно и начитан был отец Михаил, не мог он изыскать в священной литературе довода против этого довода. А сердцем чувствовал — неправоту его в применении к сегодняшнему. Да, вообще — так, а в этот раз — не так! Но — не мог доказать. И — не осмелился бы не подчиниться.

А от тамбовского архиепископа Кирилла, известного твёрдостью взглядов и крутостью нрава, сопровождение было такое: «Спешите делать, пока день есть. Уясните себе и пастве ответственность за целость родины».

И — всё. Но в этом можно было понять, что и Кирилл не согласен с решением Синода. И тоже не вправе бунтовать, однако что-то указывал.

Этот день весь и следующий отец Михаил много молился, ища вразумления от Господа, и не получал его. И ещё плакал. И бумаг никому не показал, кроме матушки.

И в субботу на всенощной возглашал по-прежнему: «о благочестивейшем, самодержавнейшем великом Государе нашем».

И в ночь на воскресенье решил, что так же прочтёт ектеньи и на литургии. Ведь это будет до объявления всех этих гибельных бумаг.

За столько лет службы как хорошо он знал свою простодушную паству. Лишь несколько было, всё мужчины, знатоков службы, ведавших полный смысл её и каждой входящей молитвы. А самые даже верные прихожанки не задавались знать службу, из чего именно она состоит, как что называется и почему оно в службу вставлено. Сотни раз простояв на обеднях — не всегда помнили они заранее, какие будут слова. Но едва эти слова произносились или пелись — они тотчас узнавали их сердечно, и были согласны с каж-

дым, как сами бы их высказали, — все повторенья о Христе, о его страданиях, воскресении и о Богородице. В том и знали они воскресенье, чтоб с утра оттопиться пораньше, обрядиться к церкви, и выстоять службу, иногда отвлекаясь мыслями на хозяйственные и семейные заботы, потом снова возвращаясь к молитве, какая поётся. И этим общим молебным стоянием по воскресным утрам въедино связывалась вся жизнь человека, семьи и села — и давала перейти от одной недели к следующей. И в этом устоявшемся порядке была такая цельность, и так нерушимо было всё, что возглашалось веками, — язык священника не поворачивался теперь вдруг сменить возглашение. И прорезать церковную службу клином политического известия.

Но вот, после всей службы, вышел отец Михаил на амвон — не с крестом, не с молитвенником в руках, а с бумагами. Не чуя пола под ногами, как бы не упасть. И с горлом пересохшим.

И читал прекрасные и безповоротные слова царёва Манифеста.

Вот как это врезáлось в груди, обрушивалось на сердце: никаким бы газетам, никаким приехавшим городским не могли бы поверить и подчиниться так, как возгласию с амвона Христовой церкви. Отец Михаил читал миротворные слова синодского послания — и сам ужасался. Начиналось оно обещанием из послания Петра: «Благодать и мир вам да умножатся!» Обещало воззвание — но голосом отца Михаила: «Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит её Господь счастьем и славой на новом пути! И да благословит Он труды и начинания Временного Российского правительства, даст ему силы, крепость, мудрость…»

И всё это обещал теперь своей пастве отец Михаил. И это же самое обещалось ныне всеми священниками по всему российскому лику.

(А — зачем это мы делаем? — содрогался. — Зачем это нашими устами, священства? Наше ли это усердие?)

И вот если бы где в крестьянской массе могло бы вздыбиться противление — оно тотчас же и угашалось церковно. Вослед тому — молебном об угашении страстей.

Спешите делать, пока день есть… Но — что же мог измыслить, как иначе изъяснить прихожанам отец Михаил? Священно царское отречение… Священно Временное правительство… Да умножатся вам мир и благодать…

В уморасступьи, в придавленном молчании выходил народ из храма.

Пал царь! и Богом освящённый престол его!

Выходили, в праздничной одёжке, — но не растекались по домам. Лишь чуть разошлись по косогору кучками.

За эти последние дни накатила оттепель. Со стрех нарастали и обрывались сосульки. Повсюду рыхлел снег, легко уплотняясь под ногами и полозьями. Пожелтели дороги, и на них запрыгали первые грачи.

День стоял облачный, мягкий.

В кучках толковали.

Многие бабы плакали, и даже навзрыд.

— Ой-оиньки! — завапливали, бунили. — Да как же будет без царя? Да это ж горя будет?

— Без царя нам не прожить…

Домаха была крепкая баба, а тут — в слезах, Елисею:

— Да что ж он так сразу? Да что ж он на помочь не позвал?

Елисей от самого амвонного воззыва глядел с дикой мрачностью. И усудил теперь:

— Рыба с головы тухнет. Царя — господа предали.

Подошёл дед Баюня, с палочкой:

— Когда и рой пчёл без матки не живёт — как же вся Расея будет без царя? Да разве мысленно, чтоб хозяйство шло без хозяина?

Подошёл Яким Рожок, скрюченный в спине. Он — верное слышал:

— Прознали господа, что царь обещал после войны по 7 десятин каждому солдату. А это — 70 миллионов. Им — жаль расстаться. И выехали к нему навстречу — Жучков, Разянка и ещё кей-то — и силком отвергли от трона.

— Обдурели городские, — прогудел Елисей. — Государя императора не хотят! А — кого ж им другого надо? Да ведь конь станет на дыбки и узду выпустишь — так убьёт.

Плакала близко старушка:

— Ужо, Бог даст, он пожалеет нас и возвéрнется.

На всё Божья воля. Поживём — увидим.

— А кто это новое начальство поставил? Ох, не нажить бы с ним беды.

Но и такие пошли толки по кучкам:

— А ведь теперь война должна осотановиться…

— Да неужто солдатушки наши домой воротятся?..

И такое:

— Слышали? Вчера в Волохонщине… Приехал молодой барин, да такой добрый, такой услужливый. И всю землю дочиста мужикам в аренду отдаёт. И за неполную цену. Такого не бывало. Ведь это — к чему-то. Ведь он — там знает…

Потекло, потекло и такое:

— Теперь нам грамоту вышлют насчёт всей помещицкой земли. Разделить по душам, и баста.

— Да! Желаем такое управление, чтобы помещицкую землю раздали.

— А как по части по́датев теперь будя?

Услыхала Домаха и закорила их сильным воздыхом:

— Э-э-эх, мужики! Не в том одном, буде ли лучше-хуже, не было бы перед Богом неправды. О том судите.

Гуторили. Не расходились.

Как при покойнике.

За это время, от выхода из церкви, церковный регент Васька Егграш прошёл мимо толпы безпечально, в сапожках хромовых. Хоть и правил он церковный хор, а с клиром не сроднялся.

За это время седой представительный барин Владимир Мефодьевич, благодетель села, поставивший тут школу и больницу, — вчера он приехал из города, сегодня был у обедни, теперь, потолковав с отцом Михаилом, медленно перешёл на ту сторону холма, в больницу, там у него и спаленка.

И на школьное крыльцо вышел учитель Скобенников, он же Судроглаз, да по какой-то новой моде — с большой красной увязью на драном пальтишке. И как начали мужики уразумевать — та увязь была теперь как знак новой власти. Кто-то, стало быть, поставил Судроглаза в новую власть.

Теперь он стоял на крыльце, на возвыси, особняком, не сходя сюда к толпе, ни с кем не переговариваясь. И чтой-то подёргивался, потаптывался, как-то ему неймалось.

И тут услышался с верху села, с сампурской дороги — колокольчик. Резво ехали.

Показались. Обшевни, в паре. И сидели в ней тоже двое, под тип мещан. И тоже с красным на грудях.

Спустились сани на мостик — и опять поднимались сюда, по косогору. И пред больницей остановились.

И сошли двое — и хотя в одёжке городской, а перепоясаны они были саблями.

Что это? — ахнули в толпе. Невиданность. Что это, зачем?

Что-то не к добру.

Их-то и ждал учитель — к ним напересек пошёл бодренько. И — махнул им, повёл в больницу.

Что это? что это? Небывалое. Стали перетягиваться мужики да бабы туда, к больнице ближе.

Доглядеть, узнать.

Полтолпы туда перешло. А другие тут — домой расходились.

Стали перед крыльцом больничным и ждали.

Постояли — и вышел Судроглаз на крыльцо.

Да раньше он обиходлив был с мужиками. Да ведь голощап.

А тут взъерехонился как новый барин и шумнул резко:

— Что собрались? Интересуетесь?.. Распоряжением моим, волостного комиссара, попечитель арестован как за непризнание нового режима!

Арестован? Владимир Мефодьевич? — переахнула, перевздохнула толпа.

И замерла в молчании.

Во-он что!..

Не шу-утят…

Да ведь и каждого могут…

Теперь, знать, подастся наверх всякая шабарша.

А близу, по косогору, громко, весело заливались криками ребятишки, играя в снежки. Больно хорошо снег лепился.

565″

(по свободным газетам, 11—12 марта)

ГРОЗНЫЙ ЧАС…

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ. Движение на Петроград. Манёвры Гинденбурга.

ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ! Германские полчища решили двинуться к Петрограду. Ещё есть возможность отразить удар, грозящий смертью нашим вольностям. Но если мы упустим последние минуты… за германскими полчищами вернутся свергнутые властители. Они уже

втихомолку потирают руки… Объединимся вокруг Временного правительства — это люди энергии, таланта, безупречной честности. Они — представляют всю нацию. **БЬЁМ В НАБАТ!**

Граждане! Вы боитесь реставрации. Вы с тревогой всматриваетесь в лица: а нет ли тут мечты о возвращении Николая II? Вы осуждаете каждого, чей образ мысли кажется вам недостаточно радикальным. Но смотрите: немецкие реставраторы уже шагают… Змея монархии таится под руинами династии, пока Россия не отбросит немцев.

ВОЕННЫЙ МИНИСТР ГУЧКОВ НА ФРОНТЕ. …Встречен нескончаемым «ура». Благодарил войска за службу и блестящий порядок. Указал на опасность со стороны врага. «Вы обещаете доверять новому правительству?» Солдаты подняли министра на руки и внесли в вагон.

Как нам сообщают из совершенно авторитетного источника, поездка военного министра на фронт тесно связана с подготовкой противником наступления на столицу. Прежние министры, кажется, ни разу не удосужились побывать на фронте. Гучков, народный руководитель военного ведомства, человек громадной энергии, подробно ознакомится с обстановкой на месте.

О налогах. Несмотря на революционные обстоятельства или именно благодаря им, правительство призывает нас к аккуратной уплате податей и налогов… Русский подоходный налог — самый справедливый и демократический изо всех налогов. Долг граждан — возможно скорей подать заявления о своих доходах.

ВЕЗУТ ХЛЕБ. Крестьяне, охваченные общим восторгом и проникнутые сознанием…

…Невероятные слухи об изменении состояния нашего фронта совершенно не подтверждаются. Армия — в полной готовности дать отпор врагу.

…Достаточно ли понимают большевики ответственность демократии? «Правда», вооружившись марксистским учебником, с апломбом гимназистов младших классов палит по Временному Правительству. Впрочем, милые гимназисты от демократии не так страшны: их передовая призывает обучать солдат хоровому пению «Интернационала». Но эти безответственные призывы «долой войну»? Интересно знать, как смотрит Совет Рабочих Депутатов?..

«Правда» выступает со статьями, вызывающими негодование… Европа достаточно видела этих эмиссаров кайзеровского пролетариата, Зюдекумов, Парвусов, Раковских, слышала их коварные уговоры оставить свои отечества без защиты, когда Германия куёт новые мечи.

(«Русская воля»)

…Диким кажется стремление каких-то анонимных старателей посеять рознь между солдатом и офицером. Это — работа на Вильгельма.

…Смертная казнь отменяется безусловно и навсегда! Наверное, ни в одной стране так, как в России, нравственный протест против этого худшего вида убийства не достигал…

Волнение уголовных в Таганской тюрьме… Их волнует весть об освобождении политических. Потребовали представителей министерства юстиции, иначе будут убивать надзирателей. Служащие тюрьмы жили этот день как на вулкане.

СПИСОК ПРОВОКАТОРОВ. В документах петроградского Охранного отделения найден полный список секретных сотрудников. Приводим его…

ПОСЛЕ АРЕСТА БЫВШЕГО ЦАРЯ. ОХРАНА НИКОЛАЯ И АЛЕКСАНДРЫ. БнДЕк ħЂ вЂАГħАе ГкйжАВħЕв В АвГħЂу? **Гарантии Англии…** Будет содержаться в условиях, которые исключат возможность сношения с нашими врагами.

…Интендантское управление уведомило администрацию царскосельского дворца, что в дальнейшем продукты для царского дома будут отпускаться исключительно по карточкам.

Дворянство. Чрезвычайное собрание объединённого дворянства вынесло резолюцию: «сплотиться вокруг Временного Правительства как единственной в России законной власти, поставившей себе целью защиту государственного порядка и доведение войны до победного конца».

…Иностранные кредиторы воспряли духом, и доверие их к России в дни революции даже возросло. Курс русского рубля на главных рынках поднялся. Иностранные кредиторы сознают, что русский народ исправно будет платить все долги, сделанные ненавистным правительством. Весть об отмене национальных ограничений в акционерном законодательстве встречена в деловом мире с радостью.

Еврейская группа демократического объединения приглашает лиц, сочувствующих объединению еврейских безпартийных элементов…

…Общее собрание евреев-учащихся средних учебных заведений Москвы…

Обер-прокурор Львов заявил представителям печати: Да, я за свободную церковь, но не за нынешних членов Синода… Ещё до Учредительного собрания я решительно освежу Синод. Нельзя оставить старых порядков в православном ведомстве.

У Львова — высшая власть, он может их всех отправить на покой.

…Собрание псаломщиков избрало трёх депутатов в исполнительный комитет духовенства.

…Ускорение бракоразводного процесса.

АМЕРИКА С НАМИ.

УСПЕХИ ФРАНЦУЗОВ. Наступление продолжается.

НЕУДАЧИ АВСТРИЙЦЕВ.

Революционное брожение в Германии. Германская печать замалчивает…

От комиссара г. Петрограда. До сего времени нередко производятся незаконные аресты и обыски лицами, преследующими корыстные и низкие цели.

Грузинов — командующий войсками. Подполковник Грузинов утверждён Командующим войсками Московского Военного Округа. Его помощником назначен генерал-от-инфантерии… В окружном военном совете чины штаба приветствовали вождя войск. Командующий сказал: «Я кладу в военное дело новый элемент: начала общественности и взаимного доверия».

МИТИНГ ПРИСЛУГИ. В 7 ч. утра в кинематографе «Европейский» на Тверской-Ямской собралась многотысячная толпа кухарок и горничных. Давка была ужасная, шум, крик. Ораторши забирались на столы, стулья, говорили о злых и добрых хозяевах. Призывали провести ещё одну революцию, чтобы свергнуть хозяйское иго. Проходившие мимо кинематографа две элегантно одетых дамы оскорбительно выразились. Поднялся скандал, дам чуть не избили. Их препроводили в участок. Комиссар вместо составления протокола предложил им пожертвовать 50 рублей в пользу детей, дамы с радостью согласились.

Тем временем мимо «Европейского» прошёл полк солдат с музыкой. Густой толпой вся прислуга бросилась за ним, театр опустел. На Триумфальной площади опять был устроен митинг прислуги… Требовать увеличения окладов жалованья не меньше чем втрое… Форма правления в России должна быть республиканской!..

…Суфлёр Большого театра привлекает к судебной ответственности Шаляпина за оскорбление словами на представлении 10 февраля.

Киев. На губернском земском собрании… заявил Франкфурт: в моём лице впервые здесь присутствуют евреи. Смею заверить, что еврейский народ отдаст все силы для завоевания лучшей жизни.

Одесса. Общественный Комитет выразил недоверие выборной городской думе и решил её распустить. Арестован ряд черносотенцев.

Владикавказ. Временный Комитет арестовал всё отделение Союза русского народа.

Рыбинск. У собора манифестация опустилась на колени и трижды пропела «вечную память» павшим борцам.

Ярославль. Мимо Ярославля проехал неизвестный священник, открыто выражавший порицание совершившемуся перевороту. По телеграмме он задержан в Костроме.

…На сельском митинге протоиерей сказал: «Лютого зверя, угнетавшего нас, наконец посадили в клетку». И текстами из Св. Писания доказывал, что республика — именно тот строй, который завещан Богом.

ИЩУТ КРОВАТЬ желательно стиля Людовика XV или рококо.

Полную стоимость плачу за бриллианты, жемчуга, золото, квитанции всех ломбардов и искусственные зубы. *Ювелир Фистуль.*

ВСЁ ДЛЯ ВОЙНЫ! ВСЁ ДЛЯ СВОБОДЫ!

Князь Львов опровергает слухи о прорыве нашего Рижского участка.

СОЮЗНИКИ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛИ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ ПОСЛОВ В МАРИИНСКОМ ДВОРЦЕ.

Великобританский посол… Испытываю особую радость… оказать полное содействие Временному Правительству во всём, что касается успешного ведения войны… Необходимо более, чем когда-либо, сосредоточить внимание на войне… Великобритания убеждена, что Временное Правительство сделает всё возможное, чтоб довести войну до победного конца.

Французский… Желание довести войну до конца воодушевляет вас в вашем благородном подвиге…

Милюков… о твёрдом решении неуклонно соблюдать союзные договоры. Но я скажу больше: великие идеи ныне получают твёрдую опору в идеалах русской демократии… Вся страна убедилась, что при прежнем порядке победа не могла быть достигнута. Это убеждение сделалось даже первым источником совершённого народом переворота. Могу вас уверить, сэр Джордж, что исход этого переворота не может противоречить его причине. Взгляните кругом — рабочие уже стоят у станков, дисциплина восстанавливается в войсках. Наша сила удвоена переворотом.

..Надо разъяснить крестьянам, что они не должны допускать захватов чужой собственности. Крестьяне землю получат, но в законодательном порядке… Надо убеждать крестьян везти свой хлеб для продажи.

СУДЬБА РОМАНОВЫХ. …Самый снисходительный суд не найдёт для Николая II меры наказания, достойной его преступлений против народа. Его надо изгнать из России и этим запечатлеть конец царизма! Ибо низложенный узник опасен для русской революции, к нему будут тянуться монархические чувства, вокруг дворца-тюрьмы сгустятся легенды. Удалите Николая II из России — и о нём забудут как о ночном кошмаре.

(«День»)

Ходатайство Николая Романова. Бывший царь обратился с просьбой разрешить ему чтение газет. Временное правительство не нашло препятствий.

МИТИНГ ЕВРЕЕВ. 11 марта в помещении московского цирка Никитина… огромное помещение набито битком… Собрание открыл Фукс, указавший на огромное значение совершившегося политического переворота для судеб еврейского народа.

Решено созвать чрезвычайный съезд российского еврейства.

Генерал Лечицкий назначен Главнокомандующим Западным фронтом.

Английские офицеры о дисциплине. …Дисциплина у нас строже, чем у вас… Отдание чести характеризует полк. Солдат не может обратиться к офицеру без унтер-офицера… Во французской ещё строже, и за побег со службы солдата расстреливают… Наши рабочие на время войны отказались от 8-часового рабочего дня.

Положение в Кронштадте. Получены весьма успокоительные сведения. Солдаты и матросы поняли ту опасность, которая грозит Петрограду, если не водворится немедленно порядок и спокойствие… Матросы отказались отпустить в Петроград арестованных 300 офицеров, мотивируя тем, что моряки-офицеры вскоре понадобятся на кораблях.

…Прошло 2 недели, как существует Совет Рабочих и Солдатских депутатов, а между тем не только в остальной России, но даже в Петрограде мы, граждане, не знаем точно состава ни Президиума, ни Исполнительного Комитета… Со всех сторон раздаются вопросы и недоумения.

Члены Синода подняли знамя восстания против прокурора. Захотели ни много ни мало как всей полноты власти по церковному управлению! Какой фарс! Обер-прокурору остаётся только устранить всех этих бунтующих епископов… Нельзя не предвидеть, что и для православия теперь наступает эпоха реформации, и внутреннее содержание вероучения должно испытать существенные изменения.

(«Русская воля»)

Обыск в Александро-Невской лавре. Подозревалось укрытие полиции. Выяснилось, что этот стук — от работы могильщиков.

…Да будут благословенны вечнопамятные дни 27-28 февраля! Где же гильотины? где же окровавленные головы? где обезумевшие мегеры? Напротив, новое правительство отменяет смертную казнь. Ах! Революция — вовсе не разрушение. Наша армия — с одушевлением… Рабочие на заводах торопятся наверстать…

(«Новое время»)

…Создан гимн, посвящённый министру-президенту князю Львову. Но почему-то первоклассные композиторы уклоняются от создания гимна революции…

…На ст. Торнео немецкие шпионы легко проникают через границу, так как пограничники и жандармы покинули свои посты, лишь только началась революция.

…Упразднённый жандармский корпус вёл наблюдение за агентами немцев. Поэтому теперь, в его отсутствие, все граждане призываются быть осторожными и молчаливыми, сохраняя тайны воинских передвижений от безжалостного врага.

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ ПЕРЕД ВОЙНОЙ. По всей стране раздаются голоса, чтобы не отсрочивать вступления в войну, но чтобы Германия почувствовала всю силу американской демократии. Сенатор Рут сказал: «Каждый американец должен испытывать огромную радость, что наконец Америка вступает в войну…»

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА. Македонский фронт… Итальянский…

..После расстрела толпы на улицах Гамбурга женщины подожгли город.

…Счастливый государственный переворот в России, блестящее наступление союзников на Западном фронте, ожидаемое выступление Соединённых Штатов против Германии, — наше будущее с каждым днём принимает всё более светлые очертания.

(«Новое время»)

…Над могилами жертв революции будет воздвигнута колонна, превышающая все существующие доныне в Петрограде.

…На митинге прислуги на Кирочной одного солдата так сжали, что его ружьё дало три выстрела. Ранена одна женщина и солдат в ногу.

…Весело прошли в субботу митинги парикмахеров и сапожников… Многолюдное собрание швейцаров… машинисток-переписчиц… служащих бань…

Зубные врачи, собравшись на митинг, горячо приветствуют и поддерживают Временное правительство… и возбуждают ходатайство, чтобы все зубные врачи, призванные на военную службу, были немедленно возвращены обратно.

Собрание чинов министерства внутренних дел. В опровержение упрёков всей массе чиновников в неискренности и быстром приспособлении к новому строю, заявляем: чиновничества, приверженного старому строю, нет и никогда не было. Чиновничество более всех терпело гнёт и несправедливость и ныне искренно приветствует новый строй.

Астрахань. Неделя торжеств и ликований неожиданно закончилась побегом уголовных арестантов. Собравшаяся близ тюрьмы толпа приняла их за политических и встретила криками «ура». Затем оказалось, что все они вооружены револьверами. Исполнительным комитетом постановлено: арестовать всех чинов полиции без исключения и оставшихся на свободе черносотенцев.

Екатеринослав. Продолжаются аресты полицейских чинов, все помещены в кинотеатре.

Баку. Начальник тюрьмы телеграфно заявил Керенскому, что восторженно признаёт новое правительство. Но уволен ввиду отвратительного состояния тюрьмы.

Готовится к печати **роскошная художественно-иллюстрированная**

ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ

под редакцией кн. Пав. Долгорукова, в 9 выпусках. Участвуют виднейшие…

500 руб. тому, кто укажет квартиру 8-10 комнат с двумя людскими. Зубной врач *Фенхель*.

Благочестивые христолюбцы! К вам обращается с мольбою… Наш деревянный храм существует 200 лет, тесный, убогий, всё разрушается… Прихожане у нас бедны, земля песчаная…

Дедушкин квас. Доставка на дом от одного ведра, в бочатах — до 20 вёдер.

566

В Риге вчерашний день прошёл замечательно. Не только обошлось без всякого покушения (и сразу забылось), не только не болело сердце (и сразу забывалось), но черезо все свои официальные присутствия Гучков убеждался, что тут, в 12-й армии, ищется верный путь отношений с солдатами. На молебствии в соборе толпи-

лись тысячи депутатов от солдат. На параде Радко-Дмитриев произнёс речь о непобедимости русской армии — и последован был восторженным «ура» войск и народа. И члены Думы призывали народ сомкнуться вокруг Временного правительства — и тоже победоносное «ура». Потом войска стройно шли с музыкой по городу. Явно верна была линия Радко на сотрудничество с комитетами! (И это оправдывало линию гучковских приказов по министерству.) Из двух возможностей — давить комитеты (но нет сил!) или поддерживать их — в 12-й выбрали поддерживать. И Гучков в своих речах перед частями, и когда с «Храброго» его выносили в автомобиль на руках (вот вам и флот! на миноносцах он нашёл единение офицеров и матросов), и в приёме военных депутаций — всё уверенней видел правоту этой линии и, обобщая, заявлял уже (и начал верить сам), что ложны слухи о двоевластии в Петрограде, но Временное правительство работает в полном согласии с Советом депутатов.

Так ощутил Гучков этот рижский день как физическое и душевное выздоровление. Да, и в новых условиях — армию можно вести, вот так! И что-то подобное начал делать уже Колчак. И теперь надо бы распространить этот опыт хотя бы на весь Северный фронт, самый угрожаемый от революции. И вчера Гучков телеграммами из Риги назначил на сегодня совещание в штабе фронта и вызвал туда Командующих 5-й и 1-й армиями Драгомирова и Литвинова.

Вероятно, нехорошо, что так холодно проехал давеча Псков, не повстречавшись с Рузским. Вообще Гучков не симпатизировал Рузскому и раньше: никакой он не генерал — ни дерзости, ни личной смелости, ни порыва в поход и бой. Да всякая мелочь, даже продолжительное лечение Рузского в Кисловодске во время войны, да и с Японской войны заболел — и на фронт не вернулся. И то, что десять дней назад они вместе тут были равными участниками царского отречения, — их не сблизило, но было Гучкову даже неприятно при возникшей теперь субординации.

А сегодня, ответно на вчерашнее пренебрежение, Рузский демонстративно не встречал военного министра, а только Данилов-чёрный, с лицом всегда обиженным.

Были и депутации от войск и населения, пришлось произнести речь. На том самом вокзале, где стояли недавно императорские синие поезда. Но тогда всё обошлось тут же, в вагонах, а сейчас ехали в штаб. (Машу оставил в вагоне. Умница Половцов, всё более

необходимый, был при Гучкове неотлучно, записывая мысли и распоряжения.)

Драгомиров и Литвинов были уже в штабе. Сразу начали совещание.

Но всё пошло иначе, чем в Риге. Никаких ни у кого приятных достижений, а настроение ссадилось, скосилось, почти на опрокиде. Оба Командующих армиями, по той же ли революционной свободе не выказывая никакого уважения к военному министру, почти яростно накинулись на него, непочтительно когтя и браня в его лице как бы всё безудачливое Временное правительство и весь мятежный Петроград. Они жаловались на мерзость тыла, разъедающего их тылы, диффузию из Петрограда, требовали от Гучкова суровых мер против комитетов и против развала! И что вопрос отдания чести — так и повис в двусмысленности, слово министра не сказано, все понимают по-разному и каждый день оттяжки запутывает ещё больше. А денщики? — будут существовать, не будут? Надо же это ясно решить, офицерско-солдатские отношения и без того напряжены.

Ещё литвиновская 1-я стояла дальше от Петрограда и в глухом краю за Полоцком, а у драгомировской 5-й в центре был Двинск, уже взроенный, как чуть ли не сам Петроград, — и не было жизни самому штабу армии. И Драгомиров…

— Да вы не видели Петрограда! — возражал Гучков. — До вас, господа, настоящая революция ещё не докатилась. Идти против общего течения невозможно, а приходится канализировать, балансировать.

А Драгомиров настаивал, что — докатилась. В Двинске и вокруг — аресты, задержания, смещения, выборы офицеров, преследование немецких фамилий, — что же остаётся от армии? В офицерах и генералах упала уверенность.

Он тем напористей это говорил, что сам был генерал довольно отменный, и носил известную боевую фамилию, сын знаменитого военного теоретика Михаила Драгомирова. И этот, Абрам, и брат его, Владимир, — оба генералы на высоких постах, резкие и решительные.

— И как можно терпеть такое вмешательство этих советов рабочих депутатов! И как мы можем мириться с особым положением петроградского гарнизона — не тронь, они воевать не пойдут?

Гучков ещё оправдывался:

— Да поймите, физическая сила — у Совета рабочих депутатов. Запрещать комитеты — это только вызвать огонь. Крутых мер принимать категорически нельзя, от них будет только хуже. Если со временем удастся удержаться и укрепиться — вот тогда и наведём постепенно порядок.

Он высказал это всё открыто, чтобы верней убедить их, но тут же и пожалел, что соткровенничал. Он почувствовал, что и без того он был для Драгомирова и Литвинова — не военный министр, а бунтовщик, захвативший место.

А вот Драгомиров приказом по своей армии вообще запретил солдатским депутатам ездить в Петроград. И именно отказался признать ротные и полковые комитеты!

То есть как раз противно правильному пути!

А сухой, сдержанный Рузский со своей мордочкой зверька в очках, хотя не поддерживал натиска генералов, но тоже щетинился и принял сторону противную: что политические события отозвались чрезвычайно болезненно именно на Северном фронте. Расстроены продовольственные, вещевые и артиллерийские запасы, а укомплектования перестали прибывать. И — цифры.

— Но что предпринял штаб фронта? — горячился Гучков, всё больше нарастало в нём раздражение к пассивности Рузского.

Рузский — «телеграфировал и писал в Ставку».

Хороший выход! Вообразил Гучков этого капризного, скользкого и вечно недовольного генерала — в Ставке, на должности начальника штаба Верховного, или даже самим Верховным, как прочили его левые в правительстве и Керенский, во всё сующийся: а куда он будет писать оттуда? Всё правительству?

И всегда Рузский давал своему фронту самую пессимистическую оценку, что он наступать не может (Гурко выражал удивление, отчего ж противник не сообразил и этого фронта не прорвал), — тем более сегодня костенел. А Гучкову бы хотелось именно Северный фронт и отодвинуть от Петрограда.

И для себя он выводы сделал. Последнее время он ни одного разговора ни с одним военным не вёл просто, но с постоянным внутренним примериванием: соответствует ли тот своему посту? Относительно этих трёх ему стало сегодня вполне ясно, что их надо всех снимать. Но не сразу всех трёх, у этих — имя, а Литвинова, к тому же зубра консервативного, снять завтра же.

А пока — он холодно отрезал им: чтобы в борьбе за дисциплину они не рассчитывали на военно-полевые суды и тем более

смертную казнь: её не может быть в свободной стране, её отменит правительство со дня на день.

Прервались на обед — натянутый, с нелёгким поиском дружелюбных тем разговора, а тут ещё Болдырева тревожно вызвали от стола и сообщили, что сошёл с ума адъютант Рузского граф Гендриков и хотел застрелить Главнокомандующего. Его обезвредили, но надо было меры принимать и докладывать, и так получилось, что за обедом же.

Всё расстроилось, ну времячко.

Сбили Гучкова с мажорного рижского дня, с уверенности, что открыли выход спасения.

Придумал послать на Северный фронт передового епископа Андрея Ухтомского, пусть он тут поагитирует.

Можно уверенно сказать, что ни один военный министр России ещё не работал в такой обстановке.

Но и ни один военный министр не всходил на пост, окружённый таким революционным ореолом. Ни один не всходил с такой смелой, широкой программой реформ. Да, Совет давит, стихия разливается, — но в том и искусство, чтобы в этой обстановке успеть совершить реформу. Все высшие чины армии сейчас разделились для Гучкова на тех, кто сочувствует его реформе и поливановской комиссии — и кто не сочувствует и брюзжит.

Его главную подготовляемую реформу ещё никто не знал, кроме самых доверенных, она зрела как скрытый удар огромной силы. Старых, неспособных, сто или двести, снять одним махом! — к ним милосердия быть не может, выбрасывать безжалостно. «Дорогу талантам», не считаясь с иерархией, — на это может решиться только министр от революции. Конечно, могут быть ошибки, но общим ходом омолодительной реформы всё оправдается.

А готовить это Гучков придумал так. Заказал представить ему список всех командиров корпусов и начальников дивизий. Теперь — опросить человек пять-семь из доверенных и хорошо осведомлённых генералов или полковников, — и так против каждой фамилии записано будет пять-семь мнений. А затем в последней графе из этих частных мнений составится среднее арифметическое о каждом: может ли остаться на своём посту? или достоин повышения? или подлежит изгнанию?

На зыбком болоте между Исполнительным Комитетом и Временным правительством если это успеть сделать — вот и решена задача, спасена армия и выиграна война!

567

Остался генерал Алексеев не только без Верховного Главнокомандующего над собой, но теперь выясняется, что — и без правительства.

На его столе всё лежало и жгло тайное письмо Гучкова в конверте, взрезанном по кромке и с невзломанной посредине алокрасной накладистой сургучной печатью.

Время от времени Алексеев вынимал письмо из конверта и снова с изумлением вчитывался. Жестокая действительность — ладно, отбросить всякие иллюзии — хорошо… Но если правительство само признаёт, через неделю после своего создания, что оно *не располагает какой-либо реальной властью,* — то зачем же они носят название правительства? По военному ведомству, пишет Гучков, ныне представляется возможным отдавать лишь такие распоряжения, которые не идут вразрез с Советом! И только *может быть* удастся, совместно со Ставкой, принять какие-либо осуществимые меры для спасения армии и государства. Но при этом не ждите: ни пополнений, ни новых формирований, а с техническим снабжением и продовольствием — неизвестно как.

А в оперативных планах, намечаемых с союзниками, советовал Гучков «исходить только из реальных условий современной обстановки».

То есть прямо: от весеннего наступления — отказаться!

Так если б хоть на два дня раньше он это написал! — Алексеев бы не позорился, не врал бы в письме к французам, что задерживают вьюги и распутица.

А это — нечестно. Союзники идут на большое наступление, Нивель пишет, что введёт в бой все силы французской армии, будет добиваться решительных результатов. Подводить их — нечестно. Надо сказать им правду.

А как стыдно и тяжело её выговорить!

И достаётся, конечно, — Алексееву…

А в его положении — ничто не изменилось от поста Верховного, и никому не мог он передоверить работу начальника штаба — но все бумаги пропускать только через свои руки. И писать письма, письма нанизанным мелким почерком.

Надо же Гучкову отвечать. Что ж, ваше письмо от 9 марта я принял к сведению…

А — как ещё?.. Это — невыразимо словами…

Навалить на него все армейские трудности? — может, это призовёт их к ответственности. …Хорошо осведомленный противник захочет использовать наше ослабление в результате нынешней пропаганды — и в том поражении неизвестно кого обвинит мнение армии. Вся задача теперь: как отсрочить наши обязательства перед союзниками или совсем уклониться от их исполнения — но с наименьшей потерей нашего достоинства. А выполнять их мы не можем. Я пока ответил союзникам, что мы будем готовы наступать не раньше первых чисел мая, но теперь, читая ваше письмо, вижу, что и раньше июля они не могут на нас рассчитывать, — только как им это объяснить благовидно, не роняя лица России? Да ведь мы находимся от союзников в материальной и денежной зависимости — и что если в ответ откажут нам?.. Да, нам бы сейчас месяца четыре посидеть спокойно, — ну а если неприятель нас атакует? — мы обязаны драться, и тогда правительство пусть выручает нас из «реальных условий современной обстановки». Если запасные тыловые части развалились нравственно — то, может быть, отбирать из них лучшие элементы и слать пока на фронт, а мы их здесь доучим при полках? Наконец, и продовольствие. В дни таких потрясений питание особенно важно. Хорошо накормленный солдат более склонен слушать голос благоразумия.

Всё — в одну сторону, растянуто, ответ ещё будет ли? — где-то надо остановиться, а то можно писать безконечно. Гучков съездил в Ригу — а не лучше ли бы ему в Ставку?

Выдохнул тяжело, сник над столом. Утомлёнными очками смотрел на конверт министра, на эту крупную ало-красную печать против своего лица, заползающую закрыть всё поле зрения. В центре сургуча можно прочесть буквы: «военный министр», — видно, печать не пострадала в перевороте, так и досталась от Беляева Гучкову. Сургучный нашлёпок был почти кругл, лишь по одной длинной дуге выдавалась узкая отдавлина, а в другом месте застыл рельефный острый выбрызг.

Хорошо, ответ Гучкову отдал перепечатывать Тихобразову. А тот подал ему отпечаток секретного письма, отправленного всем Главнокомандующим. Это — то письмо, к которому он прикладывал свою переписку с Жаненом о сроках наступления. Предлагал им высказаться, какой же самый ранний срок реален? насколько революционное движение уже отразилось на нравственной упругости войск боевой линии? И если степень расстройства уже чув-

ствительна, то не надо обманывать себя — и сократить наши задачи.

Сутки назад написано — а как уже всё недостаточно выражено! Тайное письмо Гучкова — опрокидывало всё дальше.

И порядочность, да простой деловой смысл, да военная общность — требовали также и это гучковское письмо не скрыть от Главнокомандующих.

Итак, что ж, в дополнение надо им опять писать. Стал тут же нанизывать привычные строчки.

…С тяжёлым чувством передавая вам письмо военного министра… Можно понять, что до июня-июля нам предстоит перейти к строго оборонительным действиям. Значит, должно быть изменено и расположение наших сил… Сосредотачиваться на опаснейших направлениях возможных атак противника…

И — ещё долго, подробно.

А — никуда не уйти от нового прямого ответа союзникам, и даже нельзя его задерживать позже завтрашнего дня. И как стыдно! — с разницей в четыре дня — то писал только о распутице, и вдруг… ?

Набрасывал черновик.

…Это всё заставляет внести перемены в соображения о действиях ближайшего времени и повлиять на решения французского Верховного командования… По мнению моему, не истощать до решительного момента французскую армию и сохранить её резервы до того времени, когда мы будем способны совокупными усилиями атаковать врага на всех фронтах…

Внутренне весь изошёл. Неважно чувствовал. Голова покруживалась.

Покруживалась…

…покруживалась колесом красная сургучная печать, почти круглая, так что могла вращаться и катиться.

Вращалась. И — отдавлина резала как лемех, а выбрызг захватывал как лопасть.

568

У революции — невыработанная колея. Разбегается сто колей, и не знаешь, в какую ж именно уставить своё колесо, чтобы по-

катило. Ещё три дня назад Саше Ленартовичу казалось, что он попал в самую огненную — а вот она вяло разляпливалась в ничто.

Саша, разумеется, и показываться забыл в кавалерийское управление, теперь такие управления летели к чёрту. Он весь был в движении «офицеров-республиканцев», но верхушка их Союза (а весь Союз и ограничивался верхушкой) почти целыми днями заседала — в Таврическом. Тут они сочиняли и статьи в свой первый номер газеты «Народная армия», отсюда и раздавали отпечатанный номер. Но газета плохо пошла по Петрограду.

Правда, в четверг Масловский взял с собой Сашу в Царское Село. Предстояла какая-то загадочная и мощная операция над арестованным царём! Саша занял царскосельский вокзал, арестовал начальника станции, — приблизился к пламенеющей оси событий! — но на оси не завертелось дальше. Несколько часов он напряжённо ждал на станции — но событий никаких не совершилось, а был телефонный звонок от Масловского: отправляться ему со своей командой в Петроград, всё окончено. Только поманило большим, а ограничилось ерундой.

С мукой несовершённости Саша возвращался в Петроград. Разогнанный порыв прошёл впустую, расслабляющее чувство. Вспомнил, отправился в Дом Армии и Флота, там происходило первое собрание Совета офицерских депутатов. Интересно посмотреть на них, как их цеплять и тянуть.

В этот офицерский дворец Саша в свои петербургские месяцы ни разу не приходил — из гордости, да неинтересен ему был офицерский досуг. А сейчас — впервые, и не мог не поразиться этой прямой мраморной лестнице в несколько маршей, подъём как в безконечность, а боковые лестницы ведут на галереи с изобилием бронзы, золочёностей, зеркал и дуба, а на третьем этаже разноцветные гостиные, — но сегодня в этой роскоши являлась не пышность, а слабость.

В ненаполненном концертном зале жалось офицерское приблекшее потерянное сверкание. Из их Союза республиканцев один сидел и в президиуме. Уже долго заседал Совет — и не предвиделось конца. Выступали, выступали. Но не было дерзких речей, которые могут обжечь, подвигнуть,— какие-то всё слащавые: о единении с Временным правительством — и доверии ему, с Советом рабочих депутатов — и доверии ему, с Советом солдатских де-

путатов — и доверии ему. Всем вместе твёрдо идти к светлому будущему. И — всем совместно бороться с контрреволюцией, откуда б она ни шла. И — война до победного конца.

Саша испытал откровенное презрение. Это был — не Совет депутатов-офицеров, но — потерянное офицерское стадо, тем более удивительное в своей потерянности, чем самоуверенней раньше держались все эти подтянутые усатые молодцы во главе своих частей и строёв. До чего ж они размякли и безпомощны оказались в революции, но — до чего ж и напуганы, где их храбрость? Верное у Саши всегда было предчувствие, что вся их офицерская сила — деланая, а его революционная — настоящая.

Но и сам он был осажен безсмыслицей: если офицеры никуда не годятся, так тогда и Союз офицеров-республиканцев — на что мог надеяться? кого и куда тянуть? И само слово «республиканцы» быстро гасло. Ещё несколько дней назад оно обжигало, но сейчас, когда монархии не предвиделось, — как будто и вся публика становилась невольно республиканской?

Встречали овацией и «ура» взошедшего на сцену сдержанного сухого генерала Корнилова. Саша ждал — что особенного скажет генерал? Но Корнилов всего лишь сообщил об аресте царской семьи — и эти недавние все монархисты выслушивали с делано одобрительным видом. И повторял, что́ и все повторяют: что возврата к прошлому нет. (Под мундирами, под портупеями ещё у некоторых тут билось надеждой на прошлое?) А когда выступил Чхеидзе — восторгу офицеров не было конца, вынесли лысого из зала на руках. Но Ленартович, потеревшись несколько дней в Таврическом, знал, что ничего Чхеидзе не решает и ничего не ведёт.

Нет, Совет офицерских депутатов был пустота без опоры.

Что-то затормошился Саша. Да чёрт побери, не военная же карьера была ему нужна! И не потому он хотел выдвинуться, чтобы отличиться и все бы знали его (ну, немножко и это), а подошёл момент его жизни — наивысше проявиться! Надо было быстрее и точно найти себе и правильное место, и правильное направление усилий.

Все офицерские заседания в общем были: за победоносную войну. Если ты офицер-республиканец, то получается: уже не только за республику, но и за войну? И многие резолюции целых воинских частей — уже революционных, уже с выборными комитета-

ми, печатались всё так же: за победу. Но Саша Ленартович как был от начала против этой грабительской войны, так не мог перемениться и от революции: непонятно, почему революция так меняла соотношение, что надо было стать за войну? *Победа* — нужна! — но тут, внутри, над реакцией, над контрреволюцией. А чем уж так мешал Вильгельм? Расписывали в газетах про него басни, что он хочет посадить на престол Николая, — да никогда! Его враг в такой войне — зачем бы ему Николай?

Честно, откровенно говорили о войне только большевики и межрайонцы.

Может быть, и правильней было — выбирать себе *партию,* это и есть опора. (И тётя Агнесса не уставала твердить ему в короткие домашние часы, что только партия делает человека завершённым. Да она имела в виду затянуть его не в ту партию.)

Эти дни дом превратился в сон — буквально в пересып и короткие получасы до сна и после сна, чтобы умыться, поесть и сонно послушать тётушек или Веронику. Он слышал их — но не вникал, сжигаемый своим. А с субботы на воскресенье пришёл разбитый, разочарованный и как в первый раз слушал домашних, перестав ощущать перед ними превосходство.

Тётушки горячо несли своё, сбивчиво спорили. Модная тема у них была: идёт или не идёт наша революция по нотам Великой Французской, какие черты уже похожи, какие ещё нет. Так же грозило иноземное нашествие в защиту павшего короля. Так же был поначалу доверчив и добродушен народ. Но — что у нас может сравниться со славным, грозным Конвентом? Но — главная непохожесть, по тёте Агнессе: Французская революция потом разрубила гордиев узел старой власти и старых классов — святою гильотиной. А наша — не решается, и не решится, Временное правительство, видно, хочет ограничиться малым ремонтом. Но революции с их великими общими идеями всегда разбивались об ограниченный рассудок обывателя. Великая Французская победила потому, что отбросила в сторону практический рассудок. Якобинцы лучше угадали, что́ должно осуществиться, — а не жирондисты с их государственной мудростью. И не наши кадеты.

Да-да… Это походило на истину. Не кадеты, Саша согласен, они слишком неповоротливы. Но — кто?

А он — хотел бы быть поворотливым. И — среди таких.

Тут Вероника, неделю избегавшись по благотворительным делам, шла на Петербургскую сторону на какой-то крупный митинг, где будет и Матвей Рысс. Тянула Сашу.

Митинг был дневной. Пошли. Взял Веронечку под руку правой рукой (теперь чести на улицах не отдавать, добро), пошли по Большому проспекту, на Тучков мост, и по другому Большому проспекту. Обсуждали и тёти-агнессино внушение. Очевидно, дело сводилось к выбору партии. Вероника, вслед за Матвеем, теперь ратовала за межрайонцев.

Может быть, хотя обидно, что Матвей так опередил, а Саша путался по задворкам.

Да, правильная партия — это самая прочная основа. Партия усотеряет силу своего члена.

Вероника излагала, что слышала от Мотьки: проект объединения всех социал-демократических направлений. Ведь это стыд: 20 лет партия общая, а единой организации нет. Программа у всех почти общая, а политика разная. Вон в германской социал-демократии, при самых резких расхождениях, — а единство не потеряно. Никакая группировка не виновата, а это всё — проклятые русские условия, разъединяющая конспирация, никто не может подсчитать истинного большинства, на чьей оно стороне.

Так гладко говорила сестра, будто в себе это всё открыла и вы́носила, сочные тёмные глаза её смотрели назидательно, — Саше стало даже смешно, что это она его учит.

А вот хотелось ему, чтоб сестра спросила его о Ликоне, с ней поговорить о Ликоне.

Но так уже раздалились они, и так увлечённо Вероню несло, — не спросила…

Саша мог сегодня и штатское надеть, но пошёл в офицерском, и тем с большим удивлением и одобрением на него смотрели в толпе митинга, в зале. Тут публика была — черно-одёжная и бабы в платках. Но какая же сила всех их свела и набила битком, тысяч десять, сколько в зале могло стоять или не могло, — и за головами только видно было на помосте несколько красных знамён и оркестр, после каждого оратора играющий марсельезу, — а зал подкидывал фуражки и шапки, не боясь спутать с соседями. Говорили с помоста самую простоту: представитель одного, другого комитета приветствует свободных граждан свободной земли. Мо-

нархия — символ безправия и угнетения слабых. Это социал-демократия первая, которая бросила искру, которая…

Что понимали, не понимали из сказанного, но в нужных местах кричали или рычали одобрительно. Хлопали. А оттого что стиснуты все так — ощущение действительно силы, не то что в расслабленных креслах офицерского люстренного зала. Нет, сравнивая тех и этих, надо было признать, что эти — сметут. И среди *тех* — не стоит болтаться даже передовым республиканцем.

А потом заговорил — большевик? или межрайонец? никто больше так не мог: что мало сбросить прежний гнёт, ещё нужно выяснить физиономию нового правительства:

— …Разве в эти руки может быть вложена железная метла революции? Нас хотят уверить, что в государстве, где есть классы с разными интересами, — и может быть единая власть? Они хотят, чтоб Россией правили съезды промышленников и каста попов? Не-ет, им не хочется принимать нас в компанию власти. Но и мы им не уступим свою власть! И мы отметём ихнюю войну, война народу не нужна.

И никто не возражал. Из десяти тысяч.

Потом выступил солдат, простецкий: прекратить братоубийство.

И «ура» кричали, и марсельеза опять.

Уж Сашу ли в этом убеждать! — он это всё так и думал, ещё при первых выстрелах этой войны. Но постоявши тут среди митинга — был обратно убеждён ими больше своего: да! кончать войну! — и никак иначе.

Матвея не видели они на трибуне, но после выхода разыскали на улице — в кепи и клетчатом красно-буром шейном шарфе. Едва сошлись — Вероника открыто переступила на его сторону, взяла за локоть, и вид у неё стал счастливый.

Молодые люди строжились, чуть колко поглядывали: прошлый раз, в ночную встречу у комиссариата, не очень они дружелюбно разговаривали. У Саши было чувство как к сопернику, хотя не видно, в чём соперник, где они пересеклись. За сашиной спиной был Мариинский дворец, Царское Село, у Матвея ничего подобного быть не могло. А сила за ним ощущалась — бóльшая.

Спросил Саша: вот этот выступал, про железную метлу, — кто?

Большевик.

Матвей вытер углы рта носовым платком, он перед тем спорил с кем-то, и сказал Саше примирительно:

— Приходи завтра вечером к нам в Свечной переулок. Межрайонный комитет приглашает всех, кто признаёт объединение большевизма и меньшевизма.

Как будто спуск в старое подполье? А может быть и самое дело? Ответил:

— Подумаю.

А сам решил: надо пойти! Да вырос он в социал-демократии — и надо в неё вернуться!

Смотрел, как Вероня, послушна, стояла, к Матвею прилепясь, — и освежило его полосой радости — и ревности.

Радости — что женщина может быть так послушна.

Ревности: а Ликоня когда? И — что с ней за эти две недели? Забросил, не ходил к ней, обиделся, — а ведь и её же швыряли эти волны, как щепочку.

569

Наконец приехали наши из Сибири — Каменев, Муранов и Джугашвили-Сталин. В воскресенье днём Шляпников провёл в Палас-театре первое заседание профсоюза металлистов (к металлистам он продолжал себя кровно относить), оттуда, недалеко, по пути ещё разговаривая с рабочими, пришёл пешком в особняк Кшесинской. А приехавшие трое — уже здесь.

Вот и встреча!

С Мурановым и Джугашвили обнялись. А Каменев осторожно отклонился, подал мягкую руку.

Уселись в белом мраморном залике с пальмами, с окнами на Петропавловку и на Троицкий мост.

Ну что? Как? Как доехали?

Вдруг сразу не получилось простоты, сердечности, не как встречаются старые соратники, взахлёб. Как будто не так уж интересно им друг о друге и узнать. А верней — они не час назад приехали, и уже успели тут проведать помимо Шляпникова. Да и Шляпников уже был предварён, что́ они там в Сибири нагородили в поддержку Временного правительства.

Вместе не вместе они там в ссылке жили — но вместе долгой дорогой ехали, сговаривались, тут вместе что-то узнавали — и теперь расселись если не как трое судей над Шляпниковым, то как три ответственных старших товарища, проверить отчёт.

Да Каменев-то был ему почти ровесник, тоже тридцать с небольшим, молодой человек. А густоволосый, чуть кучерявый Джугашвили — кажется, на несколько лет и постарше. А Муранов-то точно на 11 лет старше Шляпникова и держался с большой важностью, сразу.

А кажется, должны были бы их соединить общее горе и общий стыд от последней газетной публикации, о ней только и разговору было по всему Питеру: по бумагам Охранки печатался один сохранившийся (а сколько ещё погибло в пожаре!) список платных агентов её в рядах революционных партий. И вдруг так подобралось, что по значительности постов и имён — Черномазов из «Правды» и ПК, Шурканов, бывший депутат Думы, и Лущик, — виднее всех в этом списке оказались большевики. Получались большевики — как бы самая опороченная партия, — как же зубоскалят меньшевики всех оттенков! Подрывалась большевицкая позиция в Совете.

А приезжие так держались, будто они этого пятна не разделяли: они ведь были не здесь, это, мол, не мы, мы бы не допустили. Самой своей ссылкой они становились как бы чище неарестованного подпольщика Шляпникова. А Шляпников, ещё в ноябре настоявший на запрете всем партийным организациям вступать в сношения с Черномазом, — Шляпников теперь оказывался как бы виноватым, — и именно он теперь должен был перепечатывать в «Правде» позорный охранный список.

«Правда»! — лучшего детища, лучшей своей гордости не знал Шляпников. А тут — как-то поморщились, чуть не брезгливо: «Правда»?

А — что? Что — плохо?

Мол, слишком грубо ведётся. Мол, слишком резко. Отталкивает.

Да *кого* отталкивает? Кого и надо! Не пролетариат же!

Да дело, кажется, и не в одной «Правде»? Дальше — больше. Каменев с вежливой учёностью, как он весь марксизм вдоль и поперёк изучил за столом, а Муранов надутый — стали поправлять и даже отвергать чуть не каждую меру БЦК, даже самую позицию

его и даже, удивительно, — позицию Петербургского комитета, которую Шляпников сам считал соглашательской. Если уж ПК для них — анархически-необузданный, то — каковы ж они сами, и как они могли в сибирской крепкой ссылке набраться такого? И, мол, не надо подрывать Временное правительство. И не надо в газете так резко бранить Гучкова, как во вчерашнем номере.

Лучшую затею Шляпникова — вооружить и держать свою рабочую гвардию — тоже не одобрили: против кого вооружать? против кого держать?

Как? — Шляпникова горячий пот пробрал: так что ж, у пролетариата не должно быть своей отдельной армии? Всю силу отдать буржуазии?

По их — выходило так. Известная побасенка: буржуазно-демократическая революция, надо выполнить сперва буржуазные задачи. Но ведь позвольте! но ведь…

Ленин иначе писал-говорил! А эти сидели тут уверенные (да сговорившиеся?). Правда, Джугашвили помалкивал, покуривал папиросу под тёмными усами, — но всё же третий к ним. А Муранов и приехал, и держался с выражением страдальца и вождя: членство в Думе он понимал как вырост на лишнюю голову.

Шляпникову пришлось замяться на вопрос: а чем его выборгская милиция сегодня занята? Пока — ничем, охраны улиц почти не требуется, оружия захватили много, а большинство владеть им не умеет.

Так что, зря заняты люди и кому-то надо платить?

Чутьём пролетарским старого металлиста ухватывал Шляпников, что — оружие своё должно быть непременно, решение спора оружием — нормальное пролетарское дело, обучать рабочих — надо, бои — будут!

Но сегодня отспорить было трудно: с кем бои? когда? ведь контрреволюция поджала хвост.

Кроме большевиков, действительно, ни одна партия не вооружалась.

Да что! — если и резолюцию ПК создать *военку* — комиссию по работе в войсках, постепенно отвоёвывать себе петроградский гарнизон — приезжие тоже осудили! — мол, не надо вносить раздоры в петроградский гарнизон.

Ну, это уж ни в какие ворота! Это Шляпников усвоил крепко: так что ж, отдать вооружённый гарнизон буржуазии? Не-е-ет!!

Но приезжие как будто даже не очень интересовались его мнением. Они не столько выспрашивали, сколько назначали своё: Муранов — думец, Каменев — направляющий член Центрального Органа, никогда оттуда не выводился, а Джугашвили — такой же член ЦК, как и Шляпников.

У Шляпникова уши разгорелись от их обвинений. Вот так приехала поддержка! — а как он ждал новых партийных сил! Замотавшийся тут с революцией, что он вынес тут почти на одних своих плечах, — и всё не так? Вместо поддержки сбивали с ног?

Теперь уже ясно было, что они расходятся и в самом главном вопросе — о войне. А как раз сейчас дело стало особенно неотложно: в Исполкоме суетливо готовили Манифест о войне, чтобы послезавтра утверждать его на пленуме Совета, — и с приехавшими надо было спешно дотолковаться до единой позиции. У БЦК был план: выступить на пленуме со своим контрпроектом. Хоть и нет надежды собрать голоса — но прозвучать, дать себя услышать.

И Шляпников, уже теряя уверенность, рассказал им, каков план. Но бровастый крупнолицый Муранов, но тихоусый Сталин не поддались навстречу. А в улыбке Каменева выразилось снисходительное сожаление.

Да, в оценке войны как империалистической они, конечно, сходятся. Что войне надо положить конец — да. Ни аннексий, ни контрибуций, да.

— Но, — пояснял Каменев Шляпникову, немного скучая, — у вас не хватает вот какого оттенка: пусть не рассчитывают Гогенцоллерны и Габсбурги поживиться за счёт русской революции. Наша революционная армия даст им такой отпор, о каком не могло быть и речи при господстве предательской шайки Николая Последнего. Тут вот что разъяснить необходимо: война до полной победы, конечно, не наш лозунг. Но «война до полной победы демократии» — наш.

Мурашки забегали у Шляпникова по голове, как от заполза какой-то твари: вот как лозунги подменяют на ходу, вот мастера! Вот это и есть те мастера: между двумя прямыми решениями — вести войну или не вести — находят ещё десять промежуточных и между ними, как меж забитыми кольями, юлят и путают.

Так ловко это оказалось состроено — не нашёлся Шляпников сразу ответить. Но он же знал свою верность! он точно её знал! Сколько раз, лишённый связи с Цюрихом, он воспалённой головой

пытался и пытался представить, как бы решал Ильич, — и всё знание повадок Ильича, и своё, какое было, понимание марксистской теории, и светлые подсказки Сашеньки — всё сходилось, он не мог ошибиться, он не разучился же совсем в дураки! Он делал так, как бы делал Ленин. В наступивших чрезвычайных революционных условиях он вёл и вёл общепризнанную большевицкую политику, как она была десять раз проложена Лениным в «Социал-демократе» и в письмах. А вот приехали и…

Да не свихнулись ли они в ссылке? Да — большевики ли они ещё сегодня или уже меньшевики?

Так разволновался Шляпников, что стал искать папиросу, никогда не куря.

Горько обидно было не за то, что они не понимают, не согласны, — но за подавляющую их манеру, что одних себя они признавали и приехали занять готовые места.

И Шляпников не решился бы им напомнить, как всю войну он тут на подпольи раздирался один, и пережил отпаденье скольких и извращение скольких, и две сумасшедших революционных недели, — а теперь Каменев вежливо отстранял его белой ручкой, Муранов грубо отпихивал плечом, а Сталин невыразительно покуривал. (И за что его, такого несамостоятельного, сделал Ленин членом ЦК?)

И — как должен был Шляпников выявить им не только свою правоту, но и полномочия, силу, власть? Таких приёмов он не знал. И некрасиво применять их к однопартийным товарищам. Все — уважаемые товарищи, страдали в ссылке.

570

Михайловский театр теперь пришлось возвратить под возобновляемые спектакли — и сегодня днём солдатская секция Совета собиралась опять в Таврическом, снова истаптывая, прокуривая, исплёвывая весь Екатерининский зал, а в Белом — опять где и по двое в депутатское кресло, кто влезет, и сплошь забивая все ступенчатые проходы, и вокруг лож, и ложи, и ещё круговыми толпами не помещаясь в распахнутых дверях.

Но от жары — снимали папахи, фуражки. И под сводами парламентского зала эта тысяча стриженных под машинку голов —

щурились, кто робче, кто смелей, на самих себя, на зал, на свою новую непривычную власть.

И можно ли было от этих стриженых голов дождаться государственной мудрости?

Предлагали Станкевичу взять сегодня председательство в зале — но он не решился: всё не находил в себе ухватки и смелости положить руки на руль. Вот у Богданова были для этого нужные качества: самоуверенность до нахальства, и категоричность вдалбливать, не стесняясь повторов. Чтобы вести толпу — видимо, и надо быть таким.

Всем уже была известна, никем не оспаривалась, державная воля петроградского гарнизона: ни одной петроградской части на фронт боле не отправлять! никуда содвигаться не желаем! Но уже зацепляли на днях, а теперь, когда военные заводы начинали работать, выпирало: а как с боеприпасами? Снаряды и патроны можно ли из Петрограда выпускать на фронт или тоже нельзя, чтоб не укрепить контрреволюцию?

Исполнительный Комитет уже знал, куда подталкивал, но размышляли и шершавые, неумелые головы. Оно спокойней бы, конечно, ничего оружейного из Питера не выпускать. Но и армию против немца как-то нельзя же оставить без оружий.

И какой-то серый, а осмотрительный, придумал, подал с места. И согласились постановить: все петроградские части пополнить до двойного боекомплекта — так, чтоб на случай какого столкновения сохранять перевес революционного гарнизона. А уж тогда, что свыше заводы наработают, — выпущать, ладно…

Неуверенного прапорщика Утгофа на председательской вышке сменил оборотливый Богданов, к нему солдатские депутаты уже и привыкли. И как о несомненном весело-бойко стал им объяснять: что вот в войсках начали присягать Временному правительству, а *о чём* присягать — с нами не согласовано. Временное правительство поспешило присягу разослать, а с представителями солдат, с Советом — не посоветовалось. И что надо было в присягу поставить — защита революции, защита свободы — то ничего не поставлено. А к чему это навязывают крестную клятву или коран целовать? Это не по-революционному! Это затрудняет принятие присяги верными сынами отечества и не способствует развитию революции на благо народа. И потому постановляет Совет солдатских депутатов (Богданов всегда вперёд знал, что Совет постановляет, уже и на бумажке выписано): опубликован-

ный текст присяги считать неприемлемым, к присяге пока больше никого не приводить, отставить, — и пускай Временное правительство переработает текст с представителями демократии. А какие части уже успели присягнуть — ту присягу считать недействительной.

Станкевич слушал со сжатым сердцем. Это катилось неудержимым, огромным, давящим колесом, перекатывалось по Петрограду и дальше на все фронты, — и маленькие фигурки под колесом ничего не могли остановить. Он сам — не мог остановить на Исполкоме, и не мог остановить здесь, и даже знал, что Богданов тоже был с этим не вполне согласен — а вот проводил. Это катилось обширным ободом как будто помимо воли людей. А что за суматоха поднимется на фронте? Присяга — тут же отмена присяги, — а дальше? Как быть армии? Как же можно, дав присягу, тут же отменять? Теперь срочно сочинять ещё новую? Так над ней уже будут смеяться.

От солдатских депутатов — криков не раздалось. Присяга — не задевала их за шкуру, отменить так отменить.

Ещё хуже.

И сам же Богданов, перепугавшись лёгкости, спешил объяснить, что отклонение присяги совсем не означает неповиновения Временному правительству! это только — поправка, а новый государственный порядок надо упрочивать!

Упрочивать — но неумолимое кружение передавалось и тысячному сборищу. И какой-то военный врач, повторяя знаменитую реплику Набокова из Первой Думы:

— Власть исполнительная да покорится власти законодательной!

Не поняли, но похлопали.

Закружилась и повестка дня. То и дело лезли с приветствиями представители — от каких-то полков, от каких-то захолустных запасных. А тутошние — лезли поговорить о правах солдата, за прошлые разы не наговорились.

Вот, скажем, ежели офицер допустит превышение власти — то что должен делать ротный комитет?

А — имеет разве право офицер наказать солдата без согласия ротного комитета? Даже и за провинку?

Ну, всколыхнулись, мёдом не корми! Тут — каждому сказать гораздо, у каждого свой, из части, пример. Запотянули руки, запотянули: я! я!

Только успевай им слово давать. А кто не получил — так и с места сам добавляет. Или соседям.

И до того своё наболелое, — хошь оставь нас тут до завтрева сидеть без обеда, без ужина — а только выслухайте, дайте душеньку ослобонить.

И говорили, и говорили. Пройтить туда к вышке не всякому доступно — так у себя тут на столик взлазили и крутились.

Матрос полез: о порядках во флоте.

Ему кричат:

— Нельзя разглашать военные тайны!

А фельдшер:

— Надо утилизировать наш опыт и реорганизовать полковое дело!

— Да ты в новых словах не путайся, как в бабьем платьи! Ты нашими старыми гони!

— Образованным вы не очень верьте, братцы! Им наша свобода не нужна!

— Не, от них тоже поучиться надо! Они книжки читают.

— В книжках небось и дерьма много!

И когда б тому конец пришёл — но Богданов окричал, оговорил: следующий вопрос повестки дня!

— Надо признать желательным возвращение из армии на заводы специалистов-мастеровых.

И кто в Исполкоме такую несчастную мысль подал — утверждать это на солдатской секции?

Сразу выперся семёновец неистовый — и давай поливать:

— А что ж рабочие, мать их у…? Значит, нам идти кровь проливать, а они себе 8-часовой рабочий день устраивают? Значит, мы в окопах гниём и дённо, и нощно, и недельно, и пó году — и времени нашего не считаем. А они себе — 8 часов рядом с домом отработали, и пошли помылись, и гуляй, и на бабу? Это что ж, братцы, называется равенство? Для чего ж леворюцию закручивали?

И-и-и-их, как подхватились! — забыли про те ротные комитеты, а уж и присягу вовсе, да как завыли со всех сторон:

— Рабочих, мать их перемать!

— Пускай, как мы, работают сутками, не переодёмшись!

— А нет — так заставим! Со штыками — да на завод. Штыком его к станку, да пусть снаряды точит, чёрт ленивый!..

571

Генерал Корнилов не имел привычки читать газеты, и теперешние революционные тоже, — но сегодня поднесли ему в штабе. И он похолодел как серый камень. Какой-то полковник Перетц, и даже не понять так, чтоб из этой Военной комиссии, а просто полковник из Таврического дворца, дал объявление — и не подумав согласовать с Корниловым, — что отныне все аресты в Петрограде будет производить штаб Военного Округа, — каково? А производить будет: по письменному или даже телефонному требованию Временного Комитета Государственной Думы (разве он ещё существует?), или министра юстиции (с каких пор штаб Округа служит министру юстиции?), или, уж конечно, Исполнительного Комитета Совета рабочих депутатов, а что эти такое — Корнилов уж посидел там, повидал.

Вот наглецы! У них не стало полиции, так не знают на ком повиснуть. Чёрта лысого вы от меня дождётесь! Пусть сами те умники и арестовывают, кем хотят.

Спросить бы — что же смотрит военный министр? почему у него распоряжаются какие-то полковники из Таврического? И почему он до сих пор не разогнал «военную комиссию» — что она болтается как шест в проруби! Но и военный министр, три дня назад уезжая на фронт, собрал совещание — и что ж опять внушал? Чтобы штаб Округа разрабатывал и дальше: как изолировать царя и царицу от свиты, кого из свиты взять в Петропавловскую крепость, каких служителей арестовать в царскосельскую тюрьму. Вот-вот создаётся какая-то особая следственная комиссия — разбирать дела свиты, царской охраны, прислуги.

Чёрт бы чем ты занимался! — а при чём тут штаб Округа? Ещё и так стоял в груди колом непроглоченным — арест царицы…

А — зачем Гучков поехал на фронт? Фронты — не в ведении военного министра, и нечего ему там делать. И чем такой объезд поможет при его штатской компетенции? А вот тыловые гарнизоны — как раз министру и подчинены. И он бы лучше задумался: каким способом вывести из Петрограда на фронт приблудные пулемётные полки, два пулемётных полка на всю русскую армию, вся огневая густота её, — и оба празднуют тут революцию!

Во всём этом бардаке, условно называемом петроградским гарнизоном, безукоризненно по-прежнему отдают честь одни юнкера.

Корнилов не был аристократом. Но от такой демократии тошно ему пришлось, вот влип так влип. Нахлобучили его сверху на этот подстрёканный гарнизон, как сажают матрёшку на чайник.

От такой демократии толпилось в штабе Округа множество офицеров: получали пропуска на отъезд в Действующую армию! Вот порядки, офицер не может уехать из Петрограда вольно, превратили город в тюрьму для офицеров!

Демократия захлестнула за пределы, где мрачился разум: в самом Главном штабе, в другом крыле того же подковного здания, где и штаб Округа, писари собрались между собой, создали комитет и постановили: отрешить от должности генерала Занкевича и ещё других генералов, гонителей писарей (кто гонял их в работе и урезывал наградные к праздникам). И кажется, генералов этих министр увольнял. А офицеры Главного штаба вынужденно создали свой комитет — и слали писарям мотивированные ответы на их запросы.

Вот только этого одного теперь не хватает Корнилову: чтоб и в *его* штабе писари создали комитет, а он? — а что ж? — придётся призывать писарей к дружеской товарищеской работе…

Но службу — не выбирают, а куда назначат. Старое — рухнуло безповоротно, и значит, надо поддерживать Временное правительство.

Но — как его поддерживать, если оно само себя не поддерживает? Как строить армию, захлёстнутую болтовнёй? В несколько батальонов — в Волынский, Сапёрный — Корнилов ездил сам, надеясь подтянуть своим явлением и присутствием. Был — строй, полковой марш, несколько горячих речей и обещаний приступить к занятиям. Но уезжал Командующий, и всё оставалось по-старому, и занятий никаких. В несколько батальонов вызвались съездить генерал Нокс и другие английские офицеры, не меньше Корнилова обезпокоенные тем, что творится в гарнизоне. Повсюду встречали их рьяно (лестно, англичане!), везде гости говорили комплименты (в Семёновском уверял Нокс, что просто мечтал бы командовать такой частью), — и повсюду же англичане толковали, что и в английской и во французской армии ограничения солдата гораздо строже, чем хотят устроить в русской. Эти нотации солдаты пропускали меж ушей и кричали «ура» гостям.

Посетил Корнилова знакомый его капитан Нелидов, теперь охромевший, просил приехать к ним в Московский батальон, — и Корнилов ездил вчера. Что он там увидел — было неописуемо. Батальон встретил его на плацу не строем, но толпой — ужасное зрелище, не приведи никакому генералу так попасть. И на приветствие Командующего отвечали из этой толпы лишь местами и вяло-нерешительно. Нельзя поверить, что две недели назад это была армия. Сейчас — стадо. И не представить, сколько же сил теперь нужно, чтобы вогнать это стадо снова в строй.

А между тем — толклись к Корнилову корреспонденты газет, получать новые интервью для публики: что именно думает и хочет сказать Командующий по поводу славного революционного петроградского гарнизона?

И что же? — врать, делать счастливую мину? Разозлясь, переступил оглядку на Совет депутатов и сказал «Речи»:

— Выборное начало в армии — нежизненно. Оно не может содействовать силе армии, а скорей породит рознь. На фронте надо не рассуждать, а делать.

А ещё же вливался в служебный день Командующего поток приветствий от многих частей со всей тыловой России, от гарнизонов далёких городов и городишек, и все они выражали восторг от революции, благополучие своего состояния (можно вообразить), — то от конного полка из Харбина, то от гарнизона Вологды, а и штатские не ленились слать почему-то Командующему — из Томска какой-то Нахалович, председатель правления печатников, из Липецка какой-то Трунцевский, ото всех городских организаций.

Сегодня, в воскресный день, только и подошёл Корнилов к этому столу, где навалены были приветствия, перебирал и удивлялся.

И вдруг ещё больше удивился, услышав отчётливо через окна — маршевую музыку.

Да кажется, волынский марш.

Подошёл к окну — да: на Дворцовую площадь, в бледном солнце, нехолодно, с Невского заворачивала колонна в безкозырках. И со многими красными знамёнами, плакатами на двух палках — и вытягивалась вдоль Зимнего.

Что это? Ещё одна особенность нынешнего гарнизонного положения: не Командующий назначал части явиться — а сама часть решала, когда б ей явиться к Командующему.

Прибежали адъютанты, объяснили: Волынский батальон, отстаивая своё право считаться в революции зачинателем, ходил в Государственную Думу, а оттуда пришёл представиться Командующему.

И что же оставалось Командующему? Надо идти и приветствовать.

Да, с этим первенством. У волынцев три дня назад ему говорили, что есть же *самые* первые, кто начали всю революцию, только спор идёт, кто именно: говорили — старший унтер Кирпичников, другие — будто прапорщик Астахов, третьи — ещё кто-то. А так как весь выход воспитания гарнизона оставался — льстить и хвалить, так может *первого-то* был смысл — отметить?

Когда Корнилов в сопровождении нескольких офицеров вышел на площадь и по косой пошёл к батальону — тот весь уже был выстроен, лицом к Главному Штабу, и так же повёрнуты все знамёна и плакаты, так что на ходу имел генерал удовольствие и прочесть некоторые: «Готовьте снаряды!», «Война до полной победы!», «Не забывайте своих братьев в окопах!». Что ж, надписи хороши, ни одной дерзкой, кроме «Да здравствует Совет рабочих депутатов», — но есть и в честь правительства.

И эти надписи подбодрили Корнилова. Да не могло измениться русское солдатское сердце! Они — не от зла так распустились, а — от растерянности: военный министр мямлит в приказах, одни офицеры разбежались, другие заискивают, — а солдаты, волынцы и всякие другие, безхитростно бы готовы отдать свой долг родине, — откуда бы в них другое?

И Корнилов всё чётче и бодрей подходил к батальонному строю.

Не слишком полным подтверждением заметил, что офицеров — мало. А к нему навстречу спешил с рапортом… прапорщик. И доложил, что он — командир батальона.

Позавчера ещё не он был. Где же их полковники? капитаны?

— Слу-ушай! На-краул!

Подхватили винтовки на караул.

Командующий пошёл вдоль фронта и повелительным хриплым голосом здоровался. Рявкали в ответ — дружно, совсем неплохо.

— Да, — вспомнил Корнилов. — Где тут у вас такой Кирпичников?

— Уже прошли, господин генерал. В учебной команде.

— Ну, покажете во время марша.

Стал Корнилов посередине против строя, достаточно отдалённо, чтобы видели все, и выкрикивал речь. Отчасти по обязанности, отчасти искренно.

— Спасибо, братцы, за то, что вы пришли сюда. — (Без вызова.) — Вашей кровью запечатлелся новый порядок. — (Впрочем, кажется, у них потерь и не было.) — Славные петроградские войска сыграли огромную роль в добывании свободы. У вас — молодецкий вид, образцовая дисциплина. — (Ой-ой.) — С такими солдатами, как вы, никакой враг нам не страшен. Помните, братцы, что дав России свободу, мы не должны забывать о наших братьях в далёких окопах. — (Кто-то же из них написал, значит — помнят.) — Наш долг — дать им помощь людьми. Снарядами. И продовольствием. Спасибо вам за вашу преданность новому правительству. Верьте своим офицерам, они — не враги свободы, но желают родине только счастья.

Корнилов — не был никакой оратор и уже не знал, что б ещё сказать, всё обсказано.

— Да здравствуют ваши начальники! Да здравствует славный Волынский полк!

Последнее — особенно пришлось по душе, — и прогремело «ура» мощное. Подхватила кричать и публика, тем временем набравшаяся на площадь вслед за батальоном.

И на правом фланге батальонный оркестр заиграл эту пакостную ихнюю марсельезу. И так почему-то замедленно играл — получалось вроде похоронного марша.

Корнилов сделал знак командиру батальона, тот — оркестру, оркестр выходил против строя.

Волынцы перестраивались поротно в походную колонну.

Тем временем командир батальона указал Корнилову унтера Кирпичникова в первой шеренге. Невысокий, поджарый, губастый, простой, выправка отличная, — в чём-то он показался Корнилову похожим на него самого.

А не награждать бы его, а — розгами высечь.

Отлично загремел церемониальный марш — и, заворачивая правым плечом, роты равнялись и затем печатали снег перед Командующим.

На снисходительный глаз — даже и ничего. Если б ещё подструнить их с недельку.

Но — радостно шли, с открытой душой.

Наши солдаты! Не может быть, чтоб уже ничему не помочь.

Командующий отрывисто благодарил, каждую роту отдельно.

Отвечали — весело.

И с каждой прошедшей, ушедшей, пропечатанной ротой веселье как будто ещё нарастало.

Оно передалось толпе, толпа — хлынула вослед за последней ротой и оркестром — подхватила Корнилова на руки — как две недели назад никто б не осмелился с генералом, и в голову бы не пришло. И — ввысоке понесли его в штаб.

Все кричали, ликовали, доигрывал оркестр.

Корнилов нёсся в неудобном возвышенном положении над толпой и думал: вот так бы и от пулемётных полков отделаться, парадом? Мол, низкий поклон вам от меня как от Командующего за великую услугу, что вы оказали делу освобождения, а теперь придётся вам пойти на фронт помочь своим. Готовы ли, братцы?..

Нет, не пойдут, мерзавцы.

572

Длинные, дальние локти свои кусал теперь Николай Николаевич: зачем уехал с Кавказа? Он был Наместником обширной благодарной страны, его любила армия, любило население, и даже социалисты почтительно разговаривали с ним, — попробовал бы кто-нибудь его оттуда сместить! Что за несчастная путаница произошла с его назначением в Верховные, зачем Временное правительство срывало его с Кавказа, почему не сообразило, не остановило раньше?

Горечь переполняла грудь великого князя — особенно потому, что больное это было место, смещение с Верховного, уже второй раз.

Вчера он не удержался и пожаловался английскому генералу при Ставке Хенбри Вильямсу, втайне рассчитывая не только на сочувствие, но, может быть, на обратное воздействие — через английских властей на русские, ведь эти самые иностранные генералы при Ставке привыкли видеть великого князя Верховным, Англия и Франция знали в нём извечного лютого ненавистника Германии — неужели они не хотели бы и не могли… ? Но охоложен был

великий князь ответом английского генерала: его преданный и безколебный совет был — отказаться от поста.

И вот, в начале же этой недели оброненная великим князем шутка, что он вернётся жить маленьким помещиком, — к воскресенью уже и сбылась: он только и мечтал теперь возвратиться в своё маленькое поместье, уже не на Кавказ, — уже не имея более никаких военных обязанностей, как если бы война окончилась. Славная дачка его, Чаир под Ливадией, в солнечном голубом Крыму, теперь манила его как видение другого мира, куда не достигают мерзкие революции.

Но унизительнее того: он даже и к себе в Чаир вернуться не мог ни как Главнокомандующий, ни как великий князь, ни как просто свободный взрослый человек, — он даже к жене своей в Киев (ещё гнев Станы предстояло ему пережить!) не мог поехать как независимый взрослый: он должен был ждать теперь каких-то двух неизвестных ему депутатов зачем-то Государственной Думы, и они будут его сопровождать — как арестованного? как сопровождали Ники?

А ведь ещё вчера, приняв присягу, Николай Николаевич проявил избыточную любезность: послал правительству вторую телеграмму: что, мол, принял присягу новому государственному строю, что выполнит свой долг до конца.

Теперь всем великим князьям из Ставки неминуемо предстояло увольняться: и Сергею, и Сандро, и Борису. И Пете — ничего тут не получить.

И куда же теперь Орлова? И своих адъютантов? И Сергея Лейхтенбергского, отобранного у Колчака, ну, этого — с собою в Крым же. И куда — донского атамана Граббе, по пути прихваченного с Дона по просьбе казачьих властей? — тут по Ставке ходил ещё один осиротевший Граббе, начальник конвоя.

И — где же ждать? Оставалось ждать — в вагоне. Случилось так в первый день — Николай Николаевич пренебрег переехать в губернаторский дом,— а теперь оставалось ему ждать в вагоне, без возможности проехаться, даже пройтись, — не по шпалам же шагать.

Томительный, замкнутый день, депутаты не успевали приехать раньше чем сегодня к вечеру.

Целых три дня пути в Могилёв, в этом самом вагоне, в этой самой компании, а до Минеральных ещё и с Андреем, — как они

оживлённо беседовали, как они возбуждённо рисовали себе славное будущее, целую новую эпоху, — а теперь запечатались уста, и даже с Орловым говорить не хотелось.

В защемлении протянулся день, а к концу его, к обеду, пришли два позванных старика-генерала, преображенец и лейб-гусар, которые и встречали его в этот раз в Могилёве. (Теперь-то понял великий князь, почему такая скудная встреча была, без караула, без штабных офицеров, — лукавый Алексеев уже всё знал и умыслил!)

Сели за грустный, полубезмолвный обед. Николай Николаевич сидел вытянутый, как закованный, — предстоящим ли видом ареста? такого же оберега и одиночества в Чаире?

Вдруг лакей вызвал от стола дежурного адъютанта князя Шаховского.

Тот вышел, вернулся и доложил, что у вагона собралась и непременно желает видеть великого князя — депутация фабричных и железнодорожных рабочих. Что они настроены крайне благожелательно, — да к иным депутациям великий князь и не привык за эти дни, — и не хотят верить, что великий князь не желает стать во главе Армии, что, есть какое-то письмо правительства? — они хотят знать.

Потеплело сердцу Николая Николаевича, он пободрел. Фабричные?

Он и сам готов был к ним выйти, но, может быть, это было несолидно, к малой группе.

Пошёл, достал из выдвижного ящичка письмо Львова — и просил князя Орлова выйти и прочесть его депутации. Ему — нечего было скрывать.

Ход обеда смешался, заволновались, чем это кончится. Один генерал побрёл вслед Орлову.

Депутация стояла на перроне круговой кучкой вокруг вагонной площадки, железнодорожники в своей рабочей одежде, как были кто на местах, фабричные — поаккуратнее, пришли особо, но у всех — хмурый, трудовой, простонародный вид. И почти только пожилые, усатые, были и старики, а молодых не было, ни — женщин. И с красными наколками — никого.

Перед сиятельными генералами двое-трое передних потянулись было снять шапки, но оглянулись — не сняли.

Толстый Орлов стал читать — громко, слышно всем, и от себя добавляя издевательские нотки в местах: «*народное мнение* рез-

ко и настойчиво высказывается против…», «Временное правительство не считает себя вправе остаться безучастным *к голосу народа*, пренебрежение которым может привести к серьёзным последствиям…»

И тут один фабричный закричал:

— Знаем мы этот народ! Это — евреи! Мы их в Могилёве только и слышим!

А другой, старик из переднего ряда, рассудительно добавил:

— Рази нас слушают? Петербург усем командует. Пусть великий князь не соглашается!

В депутации загудели — вперёд и друг со другом. Не стали уже и письма дослушивать.

— А пусть великий князь к нам пожалует!..

Орлов понял момент — ушёл, не дочитывая.

И быстро вослед на площадку вышел стройный, пружинный великий князь — в кителе при орденах, в фуражке. Стал на вагонной площадке вытянувшись, неправдоподобно высокий, почти доставая верха вагонной двери. Вид его был — орлиный, как принимал бы парад выдающегося полка.

Ветровым движением вскинуло руки, сняло шапки, обнажились головы густоволосые, и плешивые, и седые.

Молчали.

И великий князь молчал. Он только мог порадоваться их приходу. А — сказать? Теперь — что ж он смел сказать?

И вдруг железнодорожник, крупный, на полголовы возвышаясь, поднял руку с двумя свёрнутыми путейскими флажками и надунул через головы:

— Ваше Императорское Высочество! Да нас тут — сила, вся дорога в наших руках. Да вы только прикажите — мы чичас рельсы хоть до самой Орши снимем — и посмотрим, как этот *народ* к нам сунется!

И заволновались, ещё загудели, сдвинулись к вагону, — и один старик потянул руку великого князя целовать, а у него перенимали другие.

И даже слёзы увидел великий князь. И ощутил теплоту и колкость поцелуев на тыльной стороне кисти. И — взыграло в нём, взыграло боевое, ретивое! Вот таковы ж были с вагонной площадки — депутации, овации, депутации, овации трёхдневной поездки сквозь Россию.

Ах, как бы сейчас он правда им приказал! Ах, как бы сейчас правда разобрали рельсы на три версты в петербургскую сторону!..

Но с разобранными рельсами — что же дальше? Начинать войну внутри России? — нельзя было этого взять на себя, нельзя было на это осмелиться. Просто — не хватало и воображения.

Да ведь уже — и сдал он командование Алексееву. И — пылко ответил Львову. И — присягнул Временному правительству. И — вся Ставка присягнула.

И — разве можно теперь это всё повернуть?

А — горько, горько.

573

По последнему снегу, какой ещё оставался, — шёл дождь, всё бурно таяло, в болотных окопах, землянках, блиндажах Преображенского полка опять стояла вода. Потом ветер нанёс на три дня серых низких туч, серой мглы, — и вот висела эта гнетущая тёмная погода.

А неприятель не дремал. Была ночная атака на соседей-семёновцев — причём офицеры не ждали её, а солдаты что-то не верили безопасности, простояли всю ночь у бойниц, под утро пошли три немецкие цепи — и им хорошо наклеили.

Этот успешный бой имел в гвардии тот неприятный оборот, что подкрепил солдатские подозрения: настолько ли офицеры против нового строя, что даже будут склонны сдавать позиции немцам? У солдат появилось смутное настроение, что от них скрывают какие-то новые приказы. (Солдаты гвардии были и грамотны поголовно.)

У Свинюхи немцы высылали крупную разведку под прикрытием миномётного и бомбомётного огня. Но наши отбили их, не дали тронуть проволоки. За то они долго бросали потом химическими снарядами.

Ходили и ночные разведки, перекидывались гранатами. По всему Стоходу было неспокойно.

А взяли немца в плен — он говорил: их офицеры убеждены, что через две-три недели на русском фронте будет мир.

Значит, так рассчитывают на нашу смуту!..

Против австрийцев мы выставили большие плакаты, что Америка уже выступает в союзе с нами. Австрийцы не только не стали обстреливать плакат, но кричали «хурра». Гвардейцы даже не поняли. Узнали от следующего пленного: радуются, что, значит, скоро кончится война.

Но ещё когда фронт шевелился, стрелял, угрожал, под разрывы мин и потрескивания пуль о наши укрепления было даже легче: как будто всё по-старому, как будто не случилось Великой Беды.

А когда умолкало, то, напротив, все настороженные чувства обращались к тылу, к Петрограду: что — там?

После Кутепова из Петрограда долго никого не было. Потом примчался ещё один отпускник — юный подпоручик, но нёс одну безсвязицу, в состоянии вполне безумном, — и его тут же пришлось отправить в сумасшедший дом, в Киев.

Зато притекали новые тяжкие слухи, мрачнившие душу. Вроде того что: генерал Корнилов — немецкий агент, для того и выпустили его немцы из плена, чтоб он захватил в Петрограде власть.

Тем временем роте Его Величества приказано было снять вензеля и называться просто «первой».

Генерал-майор Дрентельн вчера сказал командирам батальонов:

— Сегодня я первый раз подписался без «флигель-адъютанта». Но снять вензели — нет сил, я ношу их с Девятьсот Третьего. Впрочем, про меня все знают, как я был близок к Государю, они меня долго не потерпят.

У него после ранения неправильно срослась нога, кровообращение стало ненормальным, за последние дни ухудшилось, теперь здоровая нога была в сапоге, а больная в валенке — и так он переступал по брёвнам над набравшейся водой.

— Кому мы теперь нужны? Вот, несём нашу службу нелёгкую, — а для кого теперь? Для блага тех мерзавцев, которым гвардия — только помеха. Мы приняли новый строй против своих убеждений — и мы же должны их защищать! Не удивлюсь, если захотят нас всех уложить поскорей на немецкой проволоке. Чем быстрей нас уничтожат — тем будет лучше для «свободного народа».

Посмотрел, посмотрел на своих испытанных полковников. Все выглядели мрачно. А на лице Кутепова была его отродная осклабленность недоумения, — будто он что-то горькое-горькое узнал, и хотел спросить? возразить? и на том застыл навсегда.

Бревенчатая крыша землянки была приподнята над землёй — и вот слышна была дружная капель с неё.

— А иногда думаю: может быть и хорошо, что не дошли мы с полком до Петрограда. Избави Бог, что б это было!..

Капель.

Кутепов промолчал, но живо помня всё, он думал как раз, что было бы хорошо: одного Преображенского на всё бы и хватило.

Дрентельн ещё в начале февраля такой свежий, помолодевший вернулся из отпуска, из Петрограда, — а сейчас совсем подался в старика, да ещё с этой ногой.

— А — как, скажите, господа, людям наших верований жить в этой новой России? Невозможно. Для меня погибло всё, чему мы молились с детства. Вон, читали: Государь — арестован! Государя везут из Ставки какие-то хамы. Государя хотят судить! Да как это всё преображенцы могут снести? Или в киевской газете грязно распубликована частная телеграмма Государя к августейшей матери: «приезжай к одинокому сыну, всеми оставленному». По отношению к кому, примерим к себе, можно допустить такую безтактность? Только тем спасаемся, что одеревянело сердце. Вот рассказывают отпускники: в Саратовской губернии начинаются поджоги, убивают стражников. Ясно как день, что будущий строй и наши земли отнимет.

Тут — Кутепов ещё глубже промолчал. За годы в гвардии он привык к этой странной черте сослуживцев: имея поместья, предполагать, что они есть у всех.

— Вот — подойдёт время, — говорил Дрентельн, — разорвём наше знамя по лоскуточку на память. А древко с вензелем и крестом сожжём. И разойдёмся.

На знамени преображенцев висел Георгиевский крест, повешенный собственноручно Александром Вторым. Нет, в такую последнюю минуту этот крест, будь командиром полка, Кутепов бы повесил себе на шею, под рубаху.

А пока что к этому знамени они и все их преображенцы должны будут подходить с присягой Временному правительству, — Дрентельн и собрал командиров батальонов предварить.

И что же правда делать гвардии, покинутой своим императором во власть сброда? Кто эти выборные хамы в «советах депутатов», — тыловые писари да разные шофёры, да кто укрывался в тылу. По протекции императорской власти эти нынешние «депутаты» и прятались от войны.

— А теперь этот Хам, не зная России и не понимая её исторических задач, будет её вести! Хам — наступает, господа, и самым настойчивым образом. И скоро будет, как это было: на пиках понесут головы дворян и будут бросать аристократов с моста в Рону.

— Не республика, а «режь публику», — сказал командир 2-го батальона ходившее *mot*.

Уже везде, и в Преображенском, начинались толки, что надо избирать полковой комитет. И даже предполагалось ещё какое-то худшее безобразие: чтобы делегаты всей гвардейской Особой Армии ехали в Петроград и заверяли свои же негодные запасные батальоны и петроградский Совет депутатов — что гвардия готова с оружием защищать их и Временное правительство.

Но мало того: теперь этому Временному правительству ещё и присягать?

А почему — правительству? Когда, где присягали правительству, сменным министрам? Всегда присягали Верховной власти.

Но — кто теперь Верховная власть? Её нет…

Пришёл и текст присяги. Правда, в этом тексте Временное правительство не очень себя выпячивало, загораживалось Отечеством, а само поминалось без пиетета как «ныне возглавляющее Российское государство впредь до установления образа правления волею народа при посредстве Учредительного Собрания».

Но если так ждут услышать волю народа — то отчего не спросили её при перевороте?

Присяга эта была — как бутафорная подпорка к надсадившемуся вековому зданию.

А ещё было в этой присяге то глумление, что присягающий клялся повиноваться всем поставленным над ним начальникам, чиня им полное послушание, — но именно это же и было в извечной императорской присяге! — а вот же её легко нарушили. А теперь, с новой отданностью, присягать уже — им? Они наверху изменно перешабашили, а теперь кто не подчинится им — уже изменник?

И ещё — осеняли себя крестным знамением, когда правительство всё из атеистов. Притворяются, чтоб завлечь народ.

Но что было делать Преображенскому полку, раз войну надо продолжать? Во имя победы остаётся показать пример долга — и скрепя сердце, и скрипя зубами, принести присягу этому правительству-выскочке.

В одной из соседних армейских батарей, рассказывали, было и хуже: пришло отречение Государя в пользу Михаила Александровича — и командир батареи поспешил в тот же час привести всех к присяге Михаилу Александровичу. А через несколько часов пришло и отречение великого князя. Что остаётся от такой присяги у солдат?

Да впрочем, что и у наших?

Так сегодня, под мглистым небом, в задышливой тёмной ро́звезени — Преображенский полк унизительно и неискренно присягал. Императорская гвардия, не позванная с оружием в грозный момент, — теперь, заподозренная, нелюбимая, присягала какой-то кучке штатских.

Одна только досвечивала им звезда, одна над ними была надежда: что Верховный Главнокомандующий, по какому-то ему одному известному смыслу, одобрил это действие. Он конечно видит лучше, он конечно знает, и помнит про свою гвардию — и в нужный момент ещё кликнет её.

Но всё же — духота и мгла позора весь этот день разнимала преображенцев, офицеров, унтеров: как дожить, дослоняться, пережить до конца этот позорный день?

Но — не пережили. Кутепов ещё не успел уйти в батальон — Дрентельн вызвал его снова к себе.

Он полулежал на постели и стуле, выставив больную ногу в просторном валенке, — и вид его был, как будто его опрокинуло, как будто с ним удар.

И — не сказал, а проблеял жалким голосом:

— Александр Павлович… Великий князь — больше не Верховный. Подал в отставку.

На столе лежала телеграмма.

Дрентельн лежал разбитый.

Кутепов стоял. Стоял. Потом сел.

При движеньи по брёвнам пола под ними чуть похлюпывала вода.

— А ведь мне, — сказал Дрентельн ещё жалобней, — прописаны горячие ванны, сухое помещение, держать ногу в тепле.

Молчали.

— Вы, Александр Павлович, готовьтесь принимать после меня полк. А я… Я — вензелей не сниму… Я… ещё раз вот, может быть, увижу царственный Петербург… Да если буду жив — поеду в Ита-

лию… Там, знаете: на самом морском берегу — цветут и благоухают померанцевые деревья…

Кутепов шёл в передовое расположение.

Отставка Николая Николаевича была последним безумием этой безумной революции. Проходимцы и подлецы, — если они хотели продолжать войну — как же могли они сшибать единственного вождя с именем?

Если думать о Петрограде, о Ставке, — всё казалось потерянным.

Но если думать о гвардии, о Преображенском полке, — это потеряно быть не могло. Это было — цельное, отдельное, мощное, сильное.

Если доведётся Кутепову принять полк — ну нет, рано ещё думать разрывать знамя на лоскутки!

Он тихо шёл по окопу — и, не услышав его, стоял к нему полуспиной, а лицом к немцам офицер, на уступе от окопной мокреди, открыто возвышаясь над бруствером. Он — не напевал, не цедил, а как-то упрямо наговаривал — сам себе, а в сторону немцев:

Твёрд ещё наш штык трёхгранный,
Голос чести не умолк.

Это был молодой подпоручик Юра Дистерло — из правоведов, ускоренными курсами при Пажеском — и в преображенцы, всего несколько месяцев на фронте.

После этой постыдной присяги — и он искал опомниться, оправдаться, и убеждал себя сам:

Так вперёд, вперёд, наш славный
Первый русский полк!..

574

В вагоне 2-го класса Ярослав имел лежачую плацкарту на верхней полке. Но когда на Александровском вокзале он с носильщиком (смешно молодому человеку нанимать старого носильщика, но офицерское положение не дозволяет нести чемодан самому) вступил в купе, то обнаружилась полная неразбериха: на его пол-

ке уже лежали чужие вещи, а полка внизу тоже была занята — пухлощёкой, полной сестрой милосердия в мятой фуражке Земгора с красным крестиком на околыше. Стали разбираться — у обоих претендентов вполне законные плацкарты на одно и то же место. Сказать бы, что случай невиданный, вызвать кондуктора, — но в этом же самом купе солидный, гордый господин в английском пальто при белом кашне ехал с дочерью, успел занять оба места, а к нему с претензией пришла дама, и с такой же верной плацкартой. А кондуктора долго было не дозваться, потому что он в другом купе разбирал такой же конфликт.

Просто никогда не случалось, никто такого безобразия не помнил. Но мрачный кондуктор в потёртой шапке-кубанке не удивлялся и не бранился в невидимую сторону, и не звал обер-кондуктора, можно было так понять, что он такие случаи знал. Возмущённую даму он куда-то увёл, а Ярославу ничего предложить не мог. Но круглолицая сестра, очень открытая в обращении и с весёлыми, даже дерзкими глазами, — предложила Ярославу сидеть на её нижней полке, а ночью и уснуть в ногах. Ничего другого и не оставалось.

Вечером поболтали и сдружились с сестрой — очень весёлой Наташей Аничковой, из разорившейся ветви большого дворянского рода, ещё дед её служил в гофмаршальской части Зимнего дворца, а отец-демократ хотел отдать её учиться с дочерьми дворников. Но мать настояла на гимназии Таганцевой, где с 6-го класса уже читались лекции, а не уроки, и учителя здоровались с ученицами за руку, как со взрослыми. Гимназию Наташа кончила уже в войну — совсем молоденькая, а фигура крупноватая, с дородностью, прошла курсы при Крестовоздвиженской общине, и уже поработала с тяжёлыми ранеными в Вильне, а сейчас состояла в банно-прачечном отряде, легко. Она сплошь и болтала одна, Ярослав только успевал слушать, но с большим удовольствием. И как курсы она кончала, обманывая родителей (шла будто в университет, а в портфеле белый халат). И как в виленском госпитале по коридору ездила на велосипеде, за что и отчислили. И хотя был у Наташи любимый жених, кавалергард, — вместе с сестрами чудили, посылали в «Брачную газету» объявление: «Интересная блондинка ищет знакомства». Строгий старый врач, насмотрясь на эту компанию, веселящуюся рядом со смертью и ранами, вручил каждой из четырёх по запечатанному конверту: «Здесь я написал, что будет с каждой из вас через семь лет, к 1923 году. Раньше — не

распечатывать». Но Наташа, конечно, распечатала и прочла: «Вы пропустите семь своих лучших женихов, семь своих счастий — и влюбитесь в чужого мужа до трагедии и стрельбы».

Ярослав возвращался из отпуска в растревоженном и завороженном состоянии. Он уже и соскучился по фронтовому воздуху — но ещё как будто и не исполнил отпуска своего. Он и вбирал охотно всё, что видел и слышал, всему находя место в себе, — и одновременно почти не нуждался в этом. Он даже как бы не ехал сам здесь — это тело его, перепоясанное ремнями, возвращалось на фронт, и правильно, — а душой он остался позади, в дрёме, ещё бродил по неизойденным тропинкам своей ростовской юности и Новочеркасска, и Москвы, и повторял домашние радости, и московские переброды с Ксаной-печенежкой, а глубже всего — был с Вильмой, ещё сейчас лицом чувствовал густоту её кудрей, и губы её, и полыхал ему пунцовый платок.

Вчера он пробыл у неё дольше, чем думали оба, — и когда уходил — в первой комнате кроме сестры сидела и пожилая латышка, видно мать, стыд такой — проходил краснел, проваливался. И в этих попыхах — не уговорился с Вильмой на сегодня, а то — зачем он уезжал? он бы перекомпостировал билет, остался бы. И днём сегодня так горевал: как не увидеть её ещё раз? Пошёл на бульвар — но её, конечно, не было. И пошёл в Антипьевский — прямо к ней. Но оказывается, вчера, следуя за Вильмой, он не пригляделся, которое из парадных, помнил только, что третий этаж налево. Теперь — не решился доискиваться, ведь он и фамилии её не знал, боялся бросить на неё тень. И вот — уехал. Но углубилось и дополнилось в нём: что какая-то связь повязала его с этой латышкой, и им не миновать ещё встретиться.

Он ехал — счастливо полный, но и растравленный, но и несытый, но и счастливо открытый ко всему. С удовольствием сидел рядом с пухленькой, разбитной, дерзоглазой Наташей — и ничего не пропускал из её рассказов и несходящей вкусной улыбки, сбившихся светлых волос, — но и всё время, пока ещё был достаточный свет, — видел и напротив дочь соседа — молчаливую, тонко-тонко вырезанную, бледную, лет семнадцати.

Уже и стемнело, и чаю попили, — а Наташа всё болтала, и чего только не несла: и как она девочкой, давши честное слово, что с веранды не ступит на землю, — двести саженей шла до озера, перекладывая под ноги книги; и как она в Москве обожает кафе Трамбле на Кузнецком, всегда бросается туда сразу; и как она на

ходулях танцевала краковяк. А потом — всё больше о своих предках за два века, которых нельзя было ни разобрать, ни запомнить. Был там какой-то Руф, основатель масонской ложи в Москве. И какой-то Верещагин, распорядившийся вы́купать землемера в холодном пруду за то, что тот недостаточно низко ему поклонился. И какие-то старшие братья выкрали в масках своего младшего, вымогая деньги у мамаши. Шутники тамбовские дворяне ночами пьянствовали и переворачивали вывески, а в Москве вступали в клуб золотой молодёжи «Червонный валет», орудовали в масках и оставляли карту с червонным валетом. Насаживали митру на голову продавца церковной утвари и грабили кассу. Обманув знакомого мажордома, показывали пустующий на вакациях московский губернаторский дом иностранцам — и в подставной нотариальной конторе оформляли его продажу, брали аванс. А ещё один Аничков, кончая Пажеский корпус при Николае I, умудрился направить зеркальный зайчик на императрицу и за то лишился гвардии. А какой-то Аничков, убежав от материнских побоев с братом, помогал прачкам полоскать бельё и ночевал в гробу на стружках у гробовщика. А позже стал товарищем министра просвещения. И убийца Каракозов тоже с какой-то стороны относился к их роду.

Уже было давно темно, и отец с дочерью спали, а вся эта болтливая вереница закруживалась в памяти Ярослава — и нельзя сказать, чтобы доброжелательно.

Хотя и полна, предложила Наташа, что поместятся они на одной лавке валетом, раз уж такие революционные обстоятельства.

Но Ярослав постеснялся и её, и дочки напротив — и остался сидеть спиною в угол, дремля в пото́лчках вагона при голубоватом слабом купейном свете — сидя спя, как в ожидании атаки, да впрочем, по фронтовой неприхотливости даже и спал по-настоящему. А когда и просыпался, то неудобство положения не мешало ему счастливо осознавать себя, так омытого этой поездкой, с напевным чувством своей подтверждённой значимости в жизни.

575

Прерванные революцией, да, кажется, ещё и каким-то постом, сегодня возобновлялись спектакли в петроградских театрах, также и в бывших Императорских, а ныне — Свободных. И управле-

ние этих театров — тоже обновлённые лица (там произошли выборы и тоже был свой комитет) — приглашало новую власть, министров и Исполнительный Комитет Совета, присутствовать на спектаклях, особенно в Мариинском театре, где собран был центр парадно-революционных артистических усилий.

Однако министры не пошли ни один, наверно избалованы были они этими театрами, — но Чхеидзе, но Скобелев, но Гиммер были очень почтены и польщены приглашением. И действительно, забавно посмотреть, и никогда они не бывали в Мариинском театре, приюте придворных шаркунов и бриллиантных дам.

Как раз-то жизнь Гиммера была связана с театром происхожденчески: толстовский «Живой труп» был сочинён по истинной истории судебного процесса его родителей. Отец, потеряв место чиновника из-за пьянства, спился затем до притонов и ночлежек. Мать уже с ним не жила, но консистория не давала развода. Гиммеру-сыну было 13 лет, когда отец, чтоб освободить мать от себя для нового брака, по её просьбе симулировал смерть: написал письмо, что кончает самоубийством, и у проруби на Москва-реке положил одежду со своим паспортом. Тогда мать покинула своего второго, гражданского, мужа, тоже разгульного (Толстой, которому она переписывала рукописи, отговаривал её), и уже законно вышла за третьего, владельца мыловаренного завода. Но через два года Гиммер-отец просил себе новый паспорт, был опознан, и бывших супругов Гиммер за обман обоих приговорили к ссылке в Енисейскую губернию. (Благодаря связям и подкупам прговор не был приведен в исполнение.)

Не всякий может похвастаться, что историей его семьи занялся Лев Толстой и она показывается на русской сцене. Но по социалистическому и революционному образу жизни Гиммер в тетрах практически не бывал. А сейчас вот почти завершён Манифест к народам, быть может высшее создание политической жизни Гиммера, послезавтра он обратится с этими сильными мыслями ко всем народам Европы! — так сегодня, пожалуй, чувствовал себя вправе и отдохнуть, посмотреть на дворянско-буржуазные прелести.

Именно сегодня, первый раз после революции, и в Исполкоме устроили совсем сокращённое заседание, только постановили об отмене присяги, о безпрепятственной посылке агитаторов на фронт и выслушали депутацию батальона Георгиевских кавалеров, как старому хрену генералу Иванову не удалась его каратель-

ная экспедиция — пол-Петрограда расстреливать, а другую сечь розгами. Но тоже не порадуешься, мрачные краски. Докладывали Георгиевские кавалеры, что в Ставке — засели сторонники старого режима, даже и их князь Пожарский, и готовят заговор вернуть царя. Постановил ИК: Иванова арестовать, где б он ни нашёлся, кажется в Киеве, а в Ставку послать депутатов.

Всё ж удалось сохранить праздничное настроение. Но перед вечером ещё надо было поехать в Мариинский дворец в качестве Контактной комиссии — и ещё там напряжённо последить, не попасться в какую-нибудь буржуазную ловушку. Там вся коварная была расслабляющая обстановка — ковры, бархатные драпировки, золочёная мебель, услуги величественных лакеев — и любезные улыбки министров, что-то слишком уступчивых.

Сегодня на Контактной комиссии был у Гиммера большой соблазн: с язвительным замечанием передать Милюкову проект своего Манифеста, ответ на все милюковские хитрости. Но осторожность воздержала: ещё двое суток до принятия Манифеста, как бы Милюков чего не испортил.

Заседание Контактной комиссии затянулось, больше из-за Нахамкиса, не ехавшего на спектакль. И когда втроём в одном автомобиле поехали в театр, хоть тот рядом — а уже опоздали к началу. Предупреждённые по телефону, управляющий императорскими театрами и с ним важные чиновники встретили их у входа, объясняя и показывая, — но в ложу шли уже опустевшими полутёмными коридорами. В прихожей великокняжеской ложи гости сняли свои обыденные пальто и обнажили Гиммер с Чхеидзе свои обыденные пиджаки, — а Скобелев был для театра разряжен в лучший костюм и при ярком галстуке, он оказался мастак в нарядах.

Из-за этого досадного опоздания они упустили предначальное торжество в фойе и в театральном зале. Оказалось, их и министров отсутствием воспользовался Бубликов. Публика жаждала кого-нибудь приветствовать и разочарована была, что не видела высоких лиц (средняя, царская, ложа — просто заперта). Искали, искали глазами, вниманием — вдруг распространился слух: «Здесь присутствует тот, кто арестовал царя! — Бубликов!» — «Где он? Где он? Покажите Бубликова!» И победоносный, хотя неудатный ростом Бубликов поднялся ногами на своё кресло в партере, овеянный оглушительными аплодисментами — и ведь всё той же буржуазной публики, она не сильно подемократела от обычного, и наряды дам ещё искрились. Бубликов очень важно раскланивался,

раскланивался кругло-воздушно-подстриженной головой во все стороны, и затем произнёс короткую речь, что просит не возвеличивать его заслуг, так как они были лишь долгом его службы русскому народу. И публика, ещё захлопав, не возвеличивала далее — и начался спектакль.

А что был за спектакль! Вообще-то, была назначена опера «Майская ночь», — но далеко ещё было до неё. Уже перед началом оркестр три раза, один за другим, играл марсельезу. А сцена тем временем была закрыта не мариинским тёмно-синим гербовым занавесом — а белым кружевным из «Орфея». А когда он поднялся — то не оперную сцену увидела публика, а сборный символический дивертисмент. (И вот тут, вскоре, опоздавшая тройка Исполнительного Комитета вошла в ложу, а уже трое своих сидело там.) Задняя декорация изображала лазурное небо, на нём сверкало солнце с отчётливыми отдельными лучами — и в лучах, сразу под солнцем, была высоко поставлена рослая женщина с разорванными кандалами на руках (иногда поднимала руки, чтобы показать): это была, очевидно, Освобождённая Россия. Затем, чуть пониже и полукругом, группировались наши излюбленные писатели: кудрявый уверенный Пушкин, черноусый Лермонтов в эполетах, скромный Грибоедов в очках, тихий, однако жёлчный Гоголь с распавшимися волосами, неуклонный Некрасов с раскрытой книжечкой, скульптурно-черепый Достоевский и в рубахе навыпуск простяга Толстой. А чуть пониже, другою группой, сгрудились Чернышевский, Белинский, Писарев, Добролюбов, сидел лохматый большеголовый Бакунин, скрестив руки стоял кто-то обречённый к виселице, ещё отдельно, опустив голову, глубокую думу думал Шевченко, в чёрном платьи гордо держалась Перовская, а там перемешивались декабристы в мундирах александровского времени, и несгибаемые декабристские жёны, и серые арестантские халаты, и студенты, и крестьяне в лаптях и онучах, и сегодняшние славные рабочие с винтовками, и солдаты и матросы, — и все вместе они то окаменело думали, то вслед за оркестром подхватывали марсельезу и поднимали приветственно руки.

И публика рукоплескала.

И в самом деле — как же это было хорошо задумано и построено! Даже иссушенная политическими страстями натура Гиммера увлажнилась от этой выставленной родословной, где ему особенно дороги были Чернышевский и Писарев. Да и они сами, Исполнительный Комитет в великокняжеской ложе, как будто неизвестно

откуда поднявшийся над революцией, — они-то и были прямыми продолжателями этих всех великих, даже и Гоголя, так безпощадно рубивших, и вот срубивших самодержавие под корень. И все великие писатели смотрели сюда в зал, на осуществленье своих надежд.

Теперь опустился ещё новый занавес — красно-золотой. Зажёгся свет в зале бело-золото-голубом, под хороводом амуров и античных девиц в туниках на потолочной росписи. А гербы и короны над царской и великокняжескими ложами были затянуты демократической красной бязью. А капельдинеры, уже не в ливреях с царскими гербами, несли на простых пиджаках белые повязки с новым сочетанием — ГМТ. И, заметив новых смущённых вождей революции, разряженная, украшенная публика, избалованная богатством, весёлым обычаем и бездельем, аплодировала, и наводились лорнеты, бинокли, — а вожди, затруженные заседаниями, сидели в ложе, а потом и вынуждены были привстать и поклониться, — наверно, таинственные для них и грозные хозяева их теперешней судьбы.

И какой бы вы ни были непреклонный революционер — но как избежать насладительного чувства гордости? Чхеидзе, Гиммер смутились, рядом Гвоздев — покраснел как рак. И только Скобелев, выкатив грудь колесом, стоял, будто к этому моменту и приехал.

Между тем — сцена опять открылась, при полном свете, — и на ней стоял весь многолюдный хор Мариинского театра — и запел кантату, ведомую басами:

Не плачьте над трупами павших борцов,
Слезой не скверните их прах.

Затем перед хор выступил драматический артист и прочёл собственного сочинения патетический стих «К свободе». И снова хор, поддержанный оркестром, грянул «Эй, ухнем!». И, не дав залу опомниться, — тут же вослед и «Вечную память».

Стало неудобно аплодировать, но публика, черносюртучными и обнажёнными руками — требовала марсельезу. А как только оркестр из ямы её исполнил — то с овацией и с новой энергией — снова марсельезу!

И — снова марсельезу, с начала до конца. И — снова овации. А хористки все стали махать платочками в сторону Исполнительного Комитета. И Скобелев рявкнул через барьер: «Да здравствуют товарищи артисты!» И — новый всеобщий восторг!

Наконец сцену закрыли, готовя декорации. И весь театр снова повернулся и изнеженными руками аплодировал революционной новой власти, а потом единовременно впадал в выжидательную тишину, не будет ли речей? И ясно стало, что придётся говорить речи.

А Чхеидзе не надо было долго и просить, он всегда готов был выступать. Поднялся у барьера — и прохрипел цензовой публике о торжестве свободы и пролетариата. Но всё же чувствовал себя неуместно, и получилось у него сердито.

А Скобелев, видя кое-где и исполнителей, вышедших перед занавес, произнёс короткую речь о том, как революция раскрепостила и освободила искусство. Это имело шумный успех, аплодировали с авансцены и из оркестра.

И Гиммер ужасно испугался: получалось так, что сейчас говорить речь — ему? Но он — никак не мог: и от испуга, от падения голоса, и от того, что не было у него контактов и общих тем с этой публикой, — о чём им говорить? Да и берёг он себя и свой голос для исторического выступления послезавтра, от чего будут зависеть судьбы войны и мира.

Он покосился на Гвоздева — но тот сидел распаренно-красный, и явно тоже боялся говорить. И Цейтлин, и Красиков — довольные сидели, а говорить не порывались.

Тут выручил их всех какой-то офицер: он поднялся в глубине партера, а когда его заметили и стихли — заговорил о помощи фронту и о войне до полной победы.

И ему аплодировали бурно.

А за тем — увертюра, и начался первый акт, милая малороссийская идиллия, малороссийские костюмы и венки, можно было отдохнуть от публичного внимания.

А в антракте тотчас появился опять управляющий театрами вместе с именитыми представителями и представительницами артистического мира, и жали руки, улыбались (и особенно Скобелев — представительницам, это даже Гиммер заметил и удивился: в такое сложное революционное время!). И в заднем салоне ложи им был подан чай в маленьких чашках, с печеньями. Буржуазная роскошь стремительно наступала и подкупала. И хотелось ослабить вечную свою настороженность, и хоть накоротко отдаться этой приятной жизни — да ведь, кажется, от них не требовали здесь никакой уступки в политической позиции?

А в зале оркестр ещё два раза сыграл марсельезу.

Ещё отдохнули второй акт, а в следующем антракте опять игралась марсельеза — и пришёл управляющий театрами и радушно пригласил депутатов пойти осмотреть закулисный мир. Почётно и интересно! — депутаты пошли.

Управляющий вёл их пыльными, полутёмными окольными пространствами, показывал лебёдки, шумовые устройства, где свалены куски домов, фонтанов, садов и моря, — а потом вышли на открытое светлое место, где артисты, в своих костюмах, венках и загримированные, хлынули с большим любопытством рассматривать депутатов вблизи, будто сами они имели натуральный вид, а вот депутаты были существа необычные, противоестественные.

Депутаты смущались, не находились. И только Скобелев один — громко, бодро поздравлял труппу с революцией и занёсся — о демократизации искусства и о стремлении демократии к красоте.

И тогда вышел певец, в малороссийском жупане, и тоже громко объяснял, как настрадались артисты при старом режиме, чувствуя себя почти крепостными у дирекции императорских театров, — и даже никогда не могли осмотреть изнутри царскую ложу, стоявшую под замком.

576

От тоски ли, от непонятности положения, от раздёрганности душ, — офицеры 1-го дивизиона в воскресенье вечером собрались в Узмошьи, при штабе бригады, на вечеринку. Просто — хотелось чего-то другого, как-то переменить, нельзя назад, нельзя вперёд, — но куда-то вбок выйти из этих тягостных дней. Там во флигеле были такие две комнаты общего пользования, не занятые канцеляриями, и кухонька при них. Натащены пара диванчиков, несколько кресел, гостиный столик из главного барского дома. (И до недавних дней висел царский портрет, а вот кто-то снял беззвучно.) Стоял тут и граммофон-модерн, без наставной большой трубы, а звук даже ещё лучше. А пластинки — свои в каждом дивизионе, у всех много: между офицерами был порядок, что каждый, возвращаясь из отпуска, должен три пластинки привезти. Прапорщику Фокину велели прийти со скрипкой, а вечеринка устраивалась с возлиянием и закусоном. Хотели и дам набрать, но достали

лишь одну сестру Валентину, однако прехорошенькую. Командир дивизиона не пришёл, он заменял сейчас командира бригады, заболевшего (не политической ли болезнью?), и исполнял его должность серо-седой подполковник Стерлигов, он пришёл и был тут старшим. Офицеры собрались не все, не было и подполковника Бойе (говорят, уехал в Петроград), но прибилось двое-трое из 2-го дивизиона и из бригадного штаба.

На сундучке в сенях складывались папахи, вешалка обвисла полушубками и шинелями — а сюда входили, посверкивая орденами, подчищенной сбруей, гренадерскими жёлтыми выпушками, жёлтыми просветами погонов, разрывно-гранатными гренадерскими пуговицами.

Всего лишь вечер один, и ничто не меняется к лучшему, — а просто вот эти несколько часов, под музыку, вообразить, что нет ничего *того*. Праздник! — лучший способ переменить жизнь и себя в ней! На столе — скатерть с цветною каймой, уже празднично, сновали с приготовлениями трое поспешливых смышлёных денщиков, и от первых собравшихся уже пел граммофон, кто-то замышлял на после ужина бридж (недавно появясь, он вытеснял винт и преферанс), кто-то постарше вздыхал, что нет биллиарда. Шутливо и повышенно громко приветствовали входящих:

— Разрешите пожать вашу разблагороженную руку! Думали ли дожить до таких камуфлетов?

— Не тронь его, оно разбито…

Все понимали, что надо держаться сегодня как можно веселей и только не вспоминать. Все были так настроены, и наверно бы это удалось, — если б уже на готовый сбор и перед самым ужином не ввалился — только что подъехавший к штабу бригады, воротившийся из поездки в Минск, высокий, худой, весёлый подпоручик Виноходов. Так и видно было, что разрывало его от впечатлений, и кажется, недурных, рвётся рассказывать. Не Петроград, не Москва, — но всё-таки Минск, всё-таки новости, как не послушать! Задержали и ужин.

Ездил Виноходов в служебную командировку, но подстроенную, выпрошенную, чтобы повидать ему свою зазнобушку. Видно, славно её повидал, такой свежий вернулся, задорный, моложе себя молодого, — и рад был рассказывать всё, что только где слышал, подхватил, и даже бы о своей крале охотно, если б его попросили.

Ну, одно — это смещение Эверта!

Да, прочли в несвижской газетёнке, — но что? но отчего?

Ну, влияние минского совета, не сжился. Потом этот слух, что Воейков хотел через Эверта открыть Западный фронт немцам.

Это — все в газетах читали, и никто не поверил конечно, и ещё сейчас барон Рокоссовский, стройный, облитой, и лицо облитое, лишь малые усики, в свежем негодовании:

— Какую грязь могут распустить! Неужели мы бы допустили!

Капитан фон Дервиз побагровел, будто его самого обвинили в чём позорном.

Рослый Виноходов с подвижно-разбросанными волосами был в таком порыве, ему уже жалко было б не рассказать:

— За что купил — за то продаю, господа! Только ради новости! Конечно, всякие мерзости говорят: будто Эверт получил телеграмму за подписью Государя — допустить немцев для подавления восстания, но запросил Родзянку, а тот прислал ему телеграмму противоположную.

— Не всем, что в руки наплыло, надо торговать, поручик! — отбрил Рокоссовский, хоть ростом чуть и ниже долговязого, но зато как стержень. — Нашли патриотов — в Думе!

— А почему бы и не в Думе? А почему вы не предполагаете в Думе патриотов? — забезпокоился штабной интендант полковник Белелюбский, с полненьким круглым лицом, в пенсне, попавший к ним тоже сюда, да он и помог устроить этот вечер.

— Повремените, господа! — успокоил их большой ладонью староватый Стерлигов. — А кто вместо Эверта?..

Виноходов теперь и остановиться не мог, как разнесшаяся лошадь. Всё с той же безпотерьной весёлостью и личной непричастностью он выговаривал новые потрясающие слухи.

Будут расследовать дела императора и императрицы и, возможно, даже будут их судить.

Н-невозможно?!!

Фон Дервиз побурел и шеей.

А впрочем — что теперь невозможно?

Эта Верховная Следственная комиссия как леденила, будто какая инквизиция.

Многие стояли, привстали, застигнутые.

Потом такие новости: Временное правительство посылало войска в Луганск на усмирение непокорных. Были расстрелы, но газетам запрещено что-либо писать.

Несмотря на расстрелы, это уже выглядело для офицеров отрадней: значит, всё-таки где-то кто-то?.. Значит, существует не одно мнение только?..

Потом: генерал Иванов после рейда на Петроград подал в отставку. Теперь идёт в монастырь. Оказывается, это его заветная мечта.

Отвлеклись на вечерок, рассеялись! Ужина не подавали, ждали от Виноходова дальше.

— А насколько верно, что в Петрограде солдаты сами выбирают себе начальников? — самый жгучий вопрос спокойно задал самый обстоятельный подполковник Стерлигов, сидевший на стуле боком, но устойчиво обвалясь о спинку.

Фронтовики, боевые воины, в согнутых локтях, откинутых головах, настороженных усах, наганы на боку, — к каким опасностям они не были готовы! Но перед *этой* недоумели…

Кроме Виноходова. Он всё легко подтверждал.

Рокоссовский, осью стоя точно посреди комнаты, оглядывался на всех как на виноватых и грозно спрашивал:

— Да как же это можно было допустить? К а к ?! Да что же остаётся от армии?!

И — никто не смел найтись ответить. Все ощущали себя действительно как виноватыми, пригвождёнными.

— И ведь найдутся, — резко презрительно отпустил Рокоссовский, как бы подозревая, что найдутся среди присутствующих, — из офицеров льстецы и угодники, которые так и полезут нравиться солдатам, выскакивать повыше, пока можно захватить. — Он ни на ком не задержался дольше и не имел в виду безвинного Виноходова, но смотрел на него, принять новые удары.

Стерлигов развёл пальцами крупной ладони, держал так:

— Этак — невозможно, господа. Должно быть возглашено воззвание к армии с разъяснением, что все ныне действующие уставы сохраняют полную силу до их законной замены. Иначе — развалится армия, и нас не будет.

Молчали оглушённо.

А фон Дервиз, хотя ему грозил апоплексический удар, ждал и напрашивался ещё на удар:

— А эта мерзость — не выдавать офицерам оружие? Это как? Одобряется правительством?

Чего не знал Виноходов — он и ответить не брался. Он белозубо улыбался. Он — уже выложил что знал, — а теперь пора б и ужинать? да танцевать? Он посматривал на Валентину.

Никого отдельно не упрекнул Рокоссовский, но полковник Белелюбский с большой вероятностью принял на себя, вся бригада знала его либералом. И ответил уговаривающе:

— Господа! Да ведь это же объяснено! Это — никак не относится к Действующей армии, только к петроградскому гарнизону, чтобы не дать образоваться контрреволюции. Должно же новое правительство как-то себя гарантировать? И надо пожелать только, чтоб у правительства было больше сил в этот грандиозный момент. Подчинимся все новому правительству и не будем ни о чём волноваться. Перевернулась страница истории, господа!

— Да если анархия перекинется в армию — это будет зверь, перед которым не устоит ничто! Уже в нашей Второй устраняют и арестовывают офицеров! Уже что делается в гренадерских полках. А завтра — в нашей бригаде?

— В нашей бригаде — этого не будет, — раздумчиво покачивал Стерлигов широкой головой в серо-седом обводе. — В артиллерии это невозможно.

— Как сказать. Как сказать… Уже и наши солдаты нам не доверяют.

Да, изменилось, это чувствовали. И даже вот над сегодняшним офицерским собранием повисла как будто солдатская укоризна или недоверие. В нынешней обстановке такая сходка может вызвать подозрения. С солдатами — не стало прежней простоты.

— Господа-а! — напевал Белелюбский. — В нынешней обстановке и в комитетах есть свои плюсы. Если они будут выбирать себе каптенармусов, кашеваров — так и лучше, меньше повода для недоверия и раздоров. И нам тоже хлопот меньше.

— Да! — вспомнил ещё и не присевший Виноходов. — Ещё вырабатывается проект уменьшения содержания офицерам!

Вот так!.. Блистательное офицерство было нищо все годы, во внешнем виде тянулось из последней ниточки, — и ещё уменьшить содержание?

Да неудобно, разговор-то доносился в кухоньку к денщикам.

— И ещё, — настаивал Виноходов. — Большая часть существующих орденов и отличий тоже будет отменена.

Висели и у него Станислав и Анна, но он выговаривал с радостью настигания, чтобы не забыть.

Набирали! дорожили! гордились! Добытое в пробивном и разрывном огне, чуть не главное в офицерской жизни, переблескивавшее, перезванивавшее на грудях, а у кого-то ещё не полученное, ожидаемое — и…?

— И нашивки ранений тоже, может быть, снимут? Отменят и раны, их не было?

Как пожар, охватывающий так быстро, что не успеваешь и жалеть.

Но, кажется, Виноходов — кончил уже теперь всё. Выдохся. Зарился на стол.

Но он — как перестрелял тут их всех, остальных.

Саня — тоже сильно пожалел награды, Георгиевский крест. Кажется — что? Условность. А… Но не это страшно, а: потеря солдат. Вдруг почувствовали себя не во главе своих, а чуть ли не в окружении чужих.

Не быстроумое, не быстроглазое, устойчивое лицо подполковника Стерлигова повело такой печалью и такой мукой. Как пытаясь бровями прорвать плёнку на глазах, он выговорил с трудом:

— Господа! Мы же ни к чему не готовы. Мы же никогда ничего не знали. Я очень был бы признателен, если бы мне кто-нибудь вот объяснил… Например, что вот именно точно значит, какие это такие эсеры? Что за крокодилы, я их не понимаю.

Их — и неприлично было различать офицерам до последних дней.

— Или — что такое со-ци-а-лизм? Если бы кто-нибудь мне объяснил… — потерянно-глухо доспросил Стерлигов.

— Да даже, — нервно вскрутил пальцами капитан Сохацкий, — кто бы дал такое объяснение: что такое революция? Такое определение — кто бы дал? Как же нам без этого ориентироваться?

Наступило вялое молчание.

— Да-а-а, — иронически протянул Рокоссовский, всё так же в центре группы и всё так же неослабленный в стане. — Это — вопрос для мудрецов. Или для Белелюбского.

Белелюбский, с прилегающе-прилизанными волосками на лысине, не казался ошеломлённым, он даже охотно взялся бы объяснить. Но чувствовал почти общую недоброжелательность.

— Да почему! — громко вызвался невысокий, поворотливый, тороватый штабс-капитан Мельников. — Вообще революция — не скажу, но революция во время такой войны — пожалуйста! Это —

всё равно как наделать в штаны, не дойдя до стульчака одного шага. Это — трагедия!

Расхохотались, вразлив.

Всё-таки, может быть, вечер ещё не был потерян? Пока они все вместе и пока этот вечер?

Стерлигов кивнул денщикам подавать ужин.

577

А вечеринка закружилась совсем и не плохо. Столько грозного распахнулось перед офицерской жизнью, но и молодое же сердце самое утешливое: такое ли мы уже переносили? Уж хуже смерти — что? А над кем она не разрывалась? Что бы ни ждало их, и никогда не бывалое, а ведь не хуже смерти? А они уже все переиспытаны, и друг на друга могут положиться, и связью их стоит дивизион.

Сперва — выпили в меру. А так как доставалось этого нечасто, то испытали потепление, примирение, при которых смягчаются неприятности и сдружливо перекрещиваются взгляды.

И во всяком случае, вот в этот единственный вечер — не должна была та шальная неразбериха сюда ворваться, можно было о ней не думать, а отпустить сердце, как оно само тянется.

Много было музыки. На скрипке играл им толстощёкий прапорщик Фокин, всё поёживаясь подбородком, а у глаз принимая осанку. Эту скрипку он возил с собой всю войну и, когда собирались офицеры, — всегда играл. Да и солдатам иногда поигрывал, они любили.

А всё, что не Фокин, — то играл граммофон. Мальчиковатый прапорщик Тоестов взял на себя смену пластинок и всё время рылся в запасе. Он ставил всё щемящие, с голосом ли, без голоса, вальсы, песни, романсы русские и цыганские. И хотя все разные, а все кружились вокруг единого, травя сердце и настраивая единственно.

Ещё гитара была, её по очереди перебирали. Саня тоже.

Старшие под эту музыку во второй комнате играли в карты на двух столах — да тоже прислушивались, и над ними эти звуки ещё имели власть. А здесь уже расчищена была середина, и на проступе безостановочно сестра милосердия Валя — все глаза на неё —

танцевала с кем-нибудь, а ещё иногда покруживалась и пара мужчин, чаще с маленьким шустрым Яковлевым за даму.

Но аромата цветущих акаций
Нам не забыть, не забыть никогда.

Печальный Краев — тонким сложеньем и долговязостью как Виноходов, однако глубоко серьёзный, медлительный, — пожалел, что нет пианино, а то бы он спел. (В главном барском доме Узмошья, в помещении самого штаба бригады, пианино было, но не идти же туда.) Это совсем было необычное предложение от Краева, он всегда предпочитал молчать, — но действительно веяло в сегодняшней вечеринке что-то разбереживающее.

Валентина была среди них — одна, но прекрасна за десять! Видав её изредка прежде днём и при службе, Саня и не замечал, или только сегодня: какой бронзовый огонь из неё высвечивался. Ещё и — при умеренном недосвете большой керосиновой лампы, подвешенной в середине потолка. Всякий раз, когда она только проскальзывала взглядом по Сане, — она как впыхивала в него, он так и чувствовал пролиз огонька по душе. Но, кажется, она смотрела так и на всех.

Пластинка пела:

Снова пою! песню свою!
Те-бя люблю! люб-лю! —

а казалось, это Валентина и пела, при неразомкнутых губах.

И каждый, кто хотел, за весь вечер хоть раз прокружился с ней, и Саня тоже, испытывая и от взгляда, и от дыхания, и от духов её, и от спины под своей пятернёй совершенную влюблённость, хотя и понимая, что эта влюблённость всего лишь одного вечера, — но как полна! И даже тем особенно полна, что не ждёшь взаимности! И как это он мог, вслед за Толстым, осуждать танцы! что может быть прекрасней танцев!

А Валентина совсем за вечер не отдыхала, себя не щадила, жила для них всех, и хотела всех насладить и всем остаться. И только Яковлев, для того и пошедший в армию, что «военных любят», суетился безуспешно вокруг, а его оттесняли.

— Да ну вас ко всем лешим! — кричал он. — Однако русалки пусть при мне останутся!

А больше всех танцевали с Валентиной ловкие, взлётные и ненасытные Мельников и Виноходов. Счастливо-дурацкая несходящая улыбка Виноходова выражала непрерывный успех — то у своей минской, а теперь вот у Вали.

Саня раньше долго не отдавал себе отчёта, но постепенно заметил, что некоторые мужчины как-то особенно приспособлены к ухаживанию за женщинами, сразу берут верный тон и тут же имеют успех, и женщины сразу отличают их и благоволят. А у Сани никогда не получалось лёгкого ухаживания с наскока, а всегда должно было сперва произойти медленное душевное сближение, узнавание.

Но сегодня все женщины, певшие из граммофона, вливались в одну Валентину, и самые простенькие слова вытягивали, выматывали что-то из груди:

С тобою — быть! с тобою —жить!
Те-бя любить! лю-бить!

Скудная жизнь, суровая служба, светло-прохладные рассуждения над книгами, — так месяцы живёшь, и как будто самодостаточно. А нужен толчок одного такого вечера — и вдруг видишь, как ты тёпел, слаб, уязвим, и совсем не войне предан. И книгами — тоже не насытить души.

От войны — произошло за эти дни внутреннее освобожденье. Какие ни происходят мировые события, а твоя судьба — одна единственная.

Как будто не повеселиться, а потосковать они сегодня собрались. Как будто в этой тоске и была главная сладость для каждого, старого и молодого. Как будто должны они были каждый потравить себя — и тогда легче им будет продолжать своё стояние.

А жизни нет конца,
И цели нет иной, —

ни на минуту не давали отдыхать граммофону.

У сдвинутого стола при стенке оказались Саня с Краевым. И всегда спокойно благородный, малословный Краев, сейчас, поигрывая пепельницей и зажигалкой, — и не пьяный же, а вот от этой разнимчивости общей, — вдруг, без расспроса, стал рассказывать Сане о своей невесте: какая нежная она, какая единственная, и никакой другой цели не видит он в выживании, как только вернуться к ней. Весь смысл жизни для него в том, чтобы вернуться к ней, — и выше того не бывает смысла.

И хотя в чистом виде и в общей формулировке никогда не мог бы Саня с этим согласиться, — сейчас он согласно кивал Краеву и был сражён, за душу схвачен простотой его довода: да! да, именно так! Воюющему мужчине естественно знать ту женщину, к кото-

рой он должен вернуться, и весь его военный путь должен быть — к ней.

Он смотрел на вертящуюся счастливую Валентину, на рдение щёк её, выгретое и движением, и внутренним огнём, и ловил те мгновения, когда она пересекала его глазами, — и любил её, любил её в этот вечер, как никого в жизни. Любил в этой отзывной сестре милосердия — ту свою ненайденную, прекрасную, невыразимо близкую женщину, которую давно должен был найти и для которой жить. А умереть — так чтобы знать, кого потерял.

Саня — не боялся умереть. Но почему-то всегда у него было предчувствие недолговечности. Что недолго ему жить.

Подсаживался Яковлев, что-то тарахтел, как жалеет, что их вечеринку нельзя сфотографировать, света мало, — оторвали бы в редакции. (Он одевал несколько солдат в противогазы и посылал фотографию — «газовая атака». Или в помещичьем залике разбрасывал до безпорядка и подписывал: «После ухода немцев».)

Не мог Саня, как Чернега, пойти к случайной тут крестьянке, лишь потому что хата её оказалась рядом.

Но и как же жизнь его, петелька за петелькой, всё вязалась так, что и на двадцать шестом году — он одинок, и вот ехать в отпуск — а не к кому?

Что ты — одна всю жизнь,
Что ты — одна любовь,
Что нет любви другой.

Полюбить — по-настоящему. Полюбить, пока не поздно. Ведь ещё велика война впереди, и немало сложится голов.

Если уж и судьба в эту войну умереть — то хоть оставить позади себя любимую женщину. С сыном бы.

А другого пути утвердить себя на земле и продолжить — нет.

Их беседа с Краевым распалась. А сидели рядом. Каждый, вполне согласный, думал о своём.

Отпуск выйдет Сане, наверно, в апреле. И теперь он поедет не в станицу, нет. Он поедет — в Москву. Ни к кому определённому, смутные, опавшие нити знакомств. Он поедет в Москву, как в лучшее место, где жил. Где провёл такие счастливые студенческие недоученные годы.

Никогда не жалел, что бросил университет, — а вот в эти дни стал жалеть.

Провести три недели в Москве, да весной, — сейчас перевешивало Сане всю предыдущую и будущую жизнь. Сами тёплые стены московских переулков — помогут. В чём-то. Встретить кого-то. Ведь каждому это обещано.

О нет! Нет! Что-то так расширилось сердце его сегодня, что, и обняв всю Москву, — не могло насытиться.

Даже представив себе любовь свою — единственную, найденную и уже осуществлённую, — уже и на том не могло остановиться.

Да и не может человек известись — на одной лишь только любви, самой и прекрасной. Как в лёгких есть ещё верхушки, так в нас остаётся ещё и ещё высота.

Что-то так расширилась грудь, потянуло куда-то, всё выше. Это уже была не тоска по неохваченному, по нежитому — а просто переполнительно хорошо.

Так растеснило грудь, что мало стало и этих раздражительных песенок, и даже сияющих глаз Валентины. Тесно — в себе самом.

О таком взмывающем чувстве знал Саня одно стихотворение. Как будто сам его написал — так это точно и единственно было схвачено. «Не жди» Полонского.

Тифлисская летняя ночь (как и везде на юге у нас). Изнуряющий, расплавляющий залив луны — но:

Я не приду к тебе… Не жди меня!

Вот это невыразимое переполнение:

Не ты ли там стоишь на кровле под чадрою,
В сияньи месячном?! — Не жди меня, не жди!
Ночь слишком хороша, чтоб я провел с тобою
Часы, когда простора нет в груди.

Ты, мы — созданы для чего-то лучшего, чем мы делаем. Намного лучшего и высшего.

Тесно в себе самом. И в этой комнате — тесно. Такая красота взмывала — потянуло вовне.

Саня тихо всех миновал, в передней насадил папаху, шинель просто накинул. И вышел.

Ах, как хорошо!

Не воздух один свежий после табачного дыма и керосинового нагара, но морозно, хрустально — и ясно. Поместье стояло на не-

большой высотке — и во все стороны простиралось мирное полусветное мрение — по порослям, до лесов.

Как раз между двумя высоченными, раскидистыми вязами и выше остроголовой еловой обсадки двора — высоко в чистом небе стоял месяц ровно в первой четверти, полукруг.

Но уже довольно было света от него, чтобы на ветках примороженные льдяшки сверкали, как драгоценности.

И не настолько ярок, чтобы загасить звёзды. Отступя — висели они там и здесь — в раскатившемся безпредельном, млековатом небе.

Нет! Даже женщиной не может насытиться сердце. Ещё дотянуться хочется вот в эту зовущую, невыразимую, загадочную красоту, — зачем-то же распахнута она над нами.

Когда сама душа — сама душа не знает,
Какой любви, каких ещё чудес
Просить или желать, — но просит — но желает,
Но молится пред образом небес.

И как нам докликнуться! И как нам дозваться!

Так, замерев, с головою вверх, Саня стоял.

Стоял.

Пока не стало и зябко.

Во дворе поместья никого не было.

Он медленно пошёл, сильно хрустя наледью под сапогами.

578

А на том же дворе Узмошья, в отдельном флигельке, проживал и сейчас сидел в одиночестве — отец Северьян.

Уже с месяц не было в бригаде ни одного убитого, ни одного раненого, и никто не звал священника — ни отпеть, ни исповедовать-причастить, ни посидеть у постели тяжёлого, написать письмо домой. Перевязочный пункт, где место священника во время боя, вовсе пустовал. Могилы прошлой осени ещё не поднялись из снега и не звали убрать их. Не было случая для панихид — но и молебна о новой власти отца Северьяна не попросили служить. Бывало, иные солдаты приходили сами в его крохотную пристройку к

главному дому Узмошья — посоветоваться о семейном, побеседовать о душевном, — но от дня революции ни единый человек не притянулся, ни от одной из девяти батарей. И на наблюдательные пункты под пули не к кому было идти, пусто и там. Все жили близ огневых позиций или близ лошадей — только с лошадьми вот и осталась одна ежедневная солдатская работа. Приходил туда — а все бродили без дела, — без дела, но в каком-то духовном заражении, томлении и надежде вместе, как будто опоены каким зельем, не в себе, не полностью слыша и видя, — бродили, и в землянках лежали, томились, читали листки и газеты, — а никто не тянулся к священнику, опалённые этими днями.

Сегодня в передвижном храмике отслужил при штабе обедню — пришли из вежливости два офицера, оба дежурные, ещё были несколько унтеров из штабной обслуги, да вот и всё. Прежде, в тяжёлые дни бригады, отец Северьян измогался, не хватало сил и сна, — сейчас рассвободилось от всяких занятий время, как будто и не стало обязанностей. Стал отец Северьян писать Асе в Рязань чаще и длиннее прежнего. Всегда отзывно она понимала его состояния, и суждения её были ясные, доброжелательные, — так в наступившем сумбуре он ждал больше узнать от неё, чем мог написать отсюда.

И тоже, как все, читал, читал эти отравные газеты.

Поступая в Московский университет в самые тогда революционные годы — ещё никак не прозревал он своей будущей дороги. Отначала и жарче всего он думал отдать себя русской истории. Он испытывал боль, что широкое обстоятельное историческое повествование у нас оборвалось на смерти Сергея Соловьёва — и в середине царствования Екатерины. И 120 лет с тех пор — может быть решающий век России — не исхожен с терпеливым светильником, а оставлен нам в наследство как полузапретный, полутёмный, лишь местами высвеченный писателями-художниками, да втёмную исколотый шпагами пристрастий и противострастий публицистами всех лагерей. Молодой рязанец нёс надежду на профессора Ключевского (и более всего хотел бы попасть к нему в ученики). В университете ещё застал с благоговением его лекции. В огромной «богословской» аудитории нового здания до самых высоких хор было отчётливо слышно каждое его негромкое, но внятное слово. Он был изумительно красноречив, и пользовался этим, и со смаком выговаривал самое удачное. Курс его был — ослепителен, но и он не был терпеливым, последовательным фактическим освещением, в котором же так нуждается Россия, это были всё прорезающие лучи, лучи взглядов, выводов, обобщений. И возраст Василия Осиповича уже не давал надеж-

ды, что он воспитает иную школу. А ещё постоянно оброняла он шуточки с политическими намёками на современность, всегда ехидно-остроумные — они вызывали восторг аудитории. Но, попав к нему на повторный курс, молодой почитатель с разочарованием обнаружил, что это вовсе не импровизации, как казалось, а отработанно и дословно они повторялись и на следующий год.

Да в те годы, в чудесном новом здании, столько света и простора под стеклянным куполом центрального холла, открытые галереи трёх этажей, широкие перила сидеть и спорить, — в те годы в этом здании, воздвигнутом для светлых знаний, любви к науке и равновесия справедливости, студентам приходилось начать с борьбы за права духа — против студентов революционных, а те — ещё поблажка, если только с оглушительными политическими трафаретами, а то *срыватели* врывались в аудитории в чёрных папахах и с дубинками — разгонять слушателей на принудительную забастовку, — и вот тут было испытание и рост характера: без дубинки и без встречной рукопашной устоять и остаться слушать профессора Челпанова.

Челпанов читал введение в философию — и так читал, что это оторвало искателя от истории — и кинуло в мир философии. Год за годом потекли курсы: у Виппера — философия истории, у Попова — история средневековой философии, у Лопатина — история новой философии, а затем — новый поворот — у Ивана Васильевича Попова — история патриотической философии и сильное в университете даже посмертное влияние Сергея Николаевича Трубецкого, его духовного огня, и кипение семинаров: есть ли Бог? есть ли нравственный закон? есть ли непреходящий смысл жизни и мира? — а затем можно было взять историю религий, раннее христианство, — и так пролёг путь не кончить на университете, но идти в Духовную академию к тому же Попову.

Второе уже столетие модный всесветный атеизм, потекши в Россию через умы екатерининских вельмож — и вниз, и вниз, до сынов сельских батюшек, залил все сосуды образованного общества и отмыл его от веры. Для *культурного круга* России решено давно и безповоротно, что всякая вера в небесное или полагание на безтелесное есть смехотворный вздор или безсовестный обман — для того, чтобы отвлечь народ от единственно верного пути демократического и материального переустройства, которое обезпечит всеобщее благоденствие, а значит, и все виды условий для всех видов добра.

Дивная особенность либеральной общественности! Кажется: равная полная свобода для всех — и высказываться, и узнавать чужие мысли. А на самом деле нет: свобода узнавать только то, что помогает *нашему* ветру. Мысли встречные, неприятные — не слышатся, не воспринимаются, с невидимой ловкостью исключаются, как будто и сказаны не были, хотя сказаны. А уж в церковь ходить — просто стыдно, говорят: «как в Союз русского народа». И кто не хочет порвать с храмом — ходит к ранней обедне, чтобы незаметно.

Сам себя увёл из попутного ветра, стал против — и не жалел.

Ася, тоже рязанка, кончала высшие курсы, и, женясь, отец Северьян после Академии принял сан, и не стал искать места в сгущённом духовном центре, ни возле Лавр, не ставить себя в искусственно поднятое положение — но разделить жребий общий, чтобы иметь же право и судить о нём. А центр? — духовные центры мы сами должны создавать, а Россия, право, не так уж, не так уж велика, чтоб не дать сорока и восьмидесяти таким центрам снизаться воедино, одним светом.

Перед войной и первый военный год отец Северьян служил в Рязани в старинном малом храмике Спаса-на-Юру. Юр, по которому назывался в народе этот храм, был дуговатым высоким обрывом над неоглядной роскидью окских лугов. Почти вплоть подступал сюда древний город, верхний Посад, внедалеке, отделённый рвом, уплотился рязанский Кремль с Олеговым дворцом, собором и многими церковными куполами, — но сразу за храмом Спаса всякое жильё обрывалось крутью, и всё было — воздух, да ветер, да вид на разливы, и лишь за многие вёрсты виднелись непоёмные сёла. Это был свой Венец, тут любили рязанцы гулять, особо сталпливались в солнечные разливные дни глядеть, как вода затопила, поднялась к домикам нижнего Посада, так что ставили дебаркадер под самым холмом Кремля, и подходили сюда катера в последние дни Поста и на Пасху.

И отец Северьян тоже любил тут гулять — по самому краю излучистого обрыва, мимо храмика своего в одну сторону и потом в другую, почти до златоглавой кремлёвской колокольни. Только гулял он здесь, один или с кем беседу вёл, — когда прежде утрени, когда за всенощную, уже и во тьме. Даже больше чем для прогулок — это место он любил как главное для себя место всей России и всей Земли, здесь думалось ясно, просторно, как нигде.

С первых своих шагов отец Северьян примкнул к тем в русском духовенстве, кто хотел бы вернуть Церкви место — возродительницы жизни. Чтобы она ответила на тупик современного мира, откуда ни наука, ни бюрократия, ни демократия, ни более всех надутый социализм не могут дать выхода человеческой душе. А прежде всего — вернуть каждому приходу живую жизнь изначальной Церкви.

В самом расположеньи этого тёмно-кирпичного, стройно сложенного, скромно достойного храма над необъятным окоёмом поймы, где с массивами незаливаемого леса, где с купой столпленных деревьев и домиков (там узкоколейка затапливалась, а станция — нет), и дальними крутыми взлобками окских берегов, — самим расположеньем напоминалось исконное тяготение православия к незыблемой и просторной красоте, как если бы никакой вечной высшей истины нельзя было понять иначе, как напоясь этой красотою и только через её струение.

Русь не просто приняла христианство — она полюбила его сердцем, она расположилась к нему душой, она излегла к нему всем лучшим своим. Она приняла его себе в названье жителей, в пословицы и приметы, в строй мышления, в обязательный угол избы, его символ, взяла себе во всеобщую охрану, его поимёнными святцами заменила всякий другой

счётный календарь, весь план своей трудовой жизни, его храмам отдала лучшие места своих окружий, его службам — свои предрассветья, его постам — свою выдержку, его праздникам — свой досуг, его странникам — свой кров и хлебушек.

Но православие, как и всякая вера, время от времени и должно разбредаться: несовершенные люди не могут хранить неземное без искажений, да ещё тысячелетиями. Наша способность истолковывать древние слова — и теряется, и обновляется, и так мы расщепляемся в новые разрознения. А ещё и костенеют ризы церковной организации — как всякое тканное руками не поспевая за тканью живой. Наша Церковь, измождясь в опустошительной и вредной битве против староверия — сама против себя, в ослепленьи рухнула под длань государства и в этом рухнувшем положении стала величественно каменеть.

Стоит всем видимая могучая православная держава, со стороны — поражает крепостью. И храмы наполнены по праздникам, и гремят дьяконские басы, и небесно возносятся хоры. А прежней крепости — не стало. Светильник всё клонится и пригасает, а жизнь верующих вялеет. И православные люди сами не заметили, как стали разъединяться. Большинство ходит по воскресеньям отстоять литургию, поставить свечку, положить мелочи на поднос, дважды в год принять елей на лоб, один раз поговеть, причаститься — и с Богом в расчёте. Иерархи существуют в недоступной отдельной замкнутости, а в ещё большей незримой отделённости — почти невещественный Синод. Каждый день во всех церквах России о нём молятся, и не по разу, — но для народной массы он — лишь какое-то смутное неизвестное начальство. Да и какой образованный человек узрел его вживе, Синод? В крайнем случае, только светских синодских чиновников. А высокие праведники одиночными порывами ищут вернуться к пустыням, скитам и старчеству, ожидая когда-нибудь поворота и общества за собой. Но — не их замечая, нетерпеливые и праздные экзальтированно ищут *углубить* свои ощущения, с ненасытностью знамений, чудес, откровений, пророчеств, а без этого им вера не в веру. И, как ещё никогда, роятся и множатся секты, уводя от православия уже не сотни, а тысячи. А учёные богословы замкнуты в своих отдельных школах. А грамотеи-энтузиасты разных сословий собираются отдельными тесными кружками в низких деревянных домиках слобод и провинциальных городков, неведомые далее пяти-семи людей и двух уличных кварталов. А в деревне? Среди сельского духовенства есть святые, а есть опустившиеся. И вековая его необезпеченность и зависимость от торговли таинствами — не помогает держаться его авторитету. А тем временем подросло молодое деревенское поколение — жестокие безбожные озорники, а особенно когда отдаются водке. Старый, даже простодушный мат приобрёл богохульные формы — это уже грозные языки из земли!

Но гармония, со столетьями уже как бы наследная, — выжила и сквозь Раскол, и сквозь распорядительные десятилетия Петра и Екатерины, — отхлынула от верхов, покинула верхние ветви на засыхание,

а сама молчаливо вобралась в ствол и корни, в крестьянское и мещанское несведущее простодушие, наполняющее храмы. Они ошибочны даже в словах молитв (но их пониманию помогает церковный напев), только знают верно, когда креститься, кланяться и прикладываться. И в избе на глухой мещёрской стороне за Окою дремучий старик, по воскресеньям читающий *Евандиль* своим внукам, искажая каждое четвёртое слово, не доникая и сам в тяжёлый славянский смысл, уверенный, однако, что само только это чтение праздничное унимает беса в каждом и насылает на души здравие, — по сути и прав.

Для того немого, безколышного, для тех глубинеющих корней отец Северьян и считал себя призванным поработать.

Только всего и нужно было: возродить этот прежний «святой дух» Руси, дать выйти ему из дрёмного замиранья.

«Только»!..

Малочисленные единомышленники отца Северьяна рассыпаны были розно по пространству России, не имея единого стяга, ни места выражения, — только встречами, да письмами, да редкими проникшими в печать статьями перекликаясь и знать давая друг другу, что каждый из них — не вовсе один. (Перед войной в столицах их стало больше, но не священники.)

В этом их малочислии, в этой их окружённости равнодушными и враждебными была, однако, не только слабость их, но, если гордыне не поддаться, — и надежда. Всякое движение истины всегда трудно, истина при своём рождении и укреплении окружена бывает насмешкой и отвратна для окружающих. Идти по лезвийному хребту почти сплошь среди чужих или врагов — необходимое условие рождения истины. Хотя — и не достаточное.

Да мысли о церковном преобразовании пробивались, тянулись ещё с середины прошлого века, когда начали строить новое общественное здание и сразу же загремели револьверы террористов, чтоб это развитие опрокинуть. Мысли были, что нездоровье общества — от нездоровья Церкви, и даже удивляться надо, что народ ещё так долго держался. И если мы, духовенство, допустили до этого упадка, то мы же должны и поправить. Преобразование ждало своих призванных деятелей. К 1905 году почти уже был разрешён Собор, первый после двух столетий! — и тут же остановлен уклончивым пером императора: «…в переживаемое нами тревожное время… А когда наступит благоприятное для сего…» А *когда* наступит благоприятное, если мы сами его не придвигнем? Приняли запрет за «радостную надежду» — и так удалось созвать Предсоборное Совещание. И выработали превосходные рекомендации, публиковали их, подавали *наверх*, — и всё завязло снова.

Нашлись у реформы и могущественные противники, и на высоких церковных оплотах. Трудней-то всего: как убедить благорасплывшихся водителей Церкви? Высоковластные мужи её и государственные чиновники, поставленные как бы содействовать ей, надменно уверены, что

никакого иного *добра* от нынешнего искать не следует, всё — лживость понятий, дерзость заносчивая, едва ли не революционерство. И при своей уставленной длани над маленьким приходским священником имеют право не противопоставлять ему и доводов, но во всяком заносе его мечтаний остановить безтрудным для них ударом, — и он осажен как жерновом на ногах, во взлёте — ударом, вытягивающим хребет, и возвращается к осмотрительным земным движениям. Была ли то косность, тупость, нехоть или лукавое низвращение слова Господня, — но за ними были власть и решение.

Да не только давили, но и возражали умело: что Церковь не есть учреждение человеческое, и потому не нужна в ней внешняя перемена и не должна к ней прикладываться человеческая энергия. Что писатель Достоевский оболгал её, будто она-де парализована, а она — организм вечной жизни, и вхождение в ту жизнь никому не закрыто. Что все эти преобразовательные проекты суть социальные утопии, а поборники их — некие *церковные эсеры*.

Всё это был древний вопрос: вмешиваться в мир или отрешаться от мира. Всё так, христианство — это не устроение социальной жизни. Но и не может оно свестись к отмётному отрицанию мира как зла. Нет! И всё земное есть Божье, пронизано Божьими дарами, и это наша добровольная, обёрнутая секуляризация, если мы сами удаляем Бога в особую область священного. Не может Церковь, готовя каждого к загробной судьбе, быть безучастна к общественному вызволению, отписать народные бедствия на Господни испытания и не силиться бороться с ними. Не уходить нам в затвор от земных событий. Замкнуться в самоспасение и отказаться от борьбы за этот мир — страшное искажение христианства.

Да не какая-то сотрясательная измышленная реформа требовалась, не излом, не поиск новейшего, — но вернуться в прежнее засоренное русло, восстановить, как оно было и с чего начиналось христианство вообще. Процветание Церкви — не в роскошном украшении храмов, не в дорогих окладах и не в сильных хорах с концертными номерами. Нет, восстановить и укрепить навык христиан самим угадывать себе духовных вождей: духовенство должно быть выборным. Только выборный священник и сгущает в себе дух общины. (А и — не так уже легко вернуться к выборным: сегодняшний мирянин не может, без духовного образования, сразу взять себе на плечи и усвоить двухтысячелетний опыт Церкви.) Разве случайно нет похвальных русских пословиц о попах? Но и кто на Руси униженней священника? Церковь должна перестать быть государственным ведомством. Восстановить весь воздух раннего христианства, — и где мешающая тому стена, кроме наших потерянных сердец? Под общей крышей отмолились, кивнули друг другу как знакомым и разошлись. Нет, оживить формальный приход в деятельную христианскую общину, где храмы открыты и светятся для встреч и бесед не только в часы служб; где дети воспитываются как равные христианские,

независимо от состояния и положения родителей; и где безошибочней всего и необидно передаётся помощь нуждающимся, что недоступно для гражданских комитетов, да ещё приезжих людей. Ведь истинная бедность только тут и откроется, когда знает, что к ней стучится не надменная рука. Дар принимается как бы от Бога, и принимающий не испытывает унижения, а приносящий дар — приносит во имя Бога и не испытывает гордыни.

А там разразилась война. А вот — и петербургская революция! Во взмёте общих опасений, сомнений и надежд зажглась у отца Северьяна и своя отдельная яркая надежда: не принесёт ли эта революция свободы и церковному развитию? — хотя помощь христианскому делу от физического переворота жизни угрожает быть коварной. В новых условиях — что будет с церковной реформой? Не мог он тем поделиться ни со священниками гренадерских полков, ни с дивизионным благочинным, ни с армейским проповедником. Но вот добывал газет, газет, сколько мог, и из груды недоговоренных, неясных революционных новостей выискивал, вытягивал каждый отщепок, по которому мог бы судить о церковной жизни в столицах.

Одного митрополита силой сместили тотчас, другого усиленно выталкивали. Из опалы возвратился в Москву страстный реформатор священник Востоков, отчасти единомышленник отца Северьяна, и вот метался по Москве, ежеденно что-то совершая. Профессор богословия Кузнецов возгласил, что теперь очищено место для церковной реформы и не будут больше архиереи духовными губернаторами. Думец-протоиерей Филоненко звал очищать белоснежные ризы Церкви. По всей Московской губернии происходили уездные собрания духовенства — да не докатилось ли и до Рязани? — вот когда жаль, что на фронте.

Невесть откуда взявшийся обер-прокурор Львов каждый день заявлял что-нибудь освободительное и вызвал из Уфы опального епископа Андрея Ухтомского, известного реформатора, проча его в петроградские митрополиты, — а тот уже по пути делал заявления, что свершился суд Божий, все обманы теперь обнаружены, открыты величайшие возможности в истории русской Церкви, в государственной жизни отныне будут соблюдаться только нравственные принципы и душа замирает от радости.

Так ли?.. О, так ли?.. Слишком хорошо и легко, чтобы так всё сразу.

Замелькало упоминание о кружке (ещё Пятого года) 32 священников вокруг о. Григория Петрова, — и они сразу же создавали «Союз демократического духовенства» — партия, что ли? — требовали упростить состав богослужения, чтобы приблизить его к народному пониманию, и — «привлечь духовенство к участию в политической жизни страны». А секретарь их, священник Введенский, требовал ещё и светского костюма вне богослужений, разрешения бриться, стричься, и спешил возгласить эстетику — родной сестрой религии.

Спеши-или. Так спешили, что самые лучшие замыслы в первых же движениях начинали искажаться. Уж в отце ли Северьяне не было долголетнего напора деятельности? Но когда в России всё, всё вихрилось — можно ли так вырывать в суматошьи церковную реформу? Завлекало их в вихрь как-то всё одним боком. Слишком много разговаривали с газетами. Востоков высказывался всё развязней, протоиерей Цветков склонялся в политическое буйство. Епископ Андрей легкомысленно объявлял о социалистах, что они в глубине души истинные христиане, честнейшие натуры, алчущие и жаждущие правды, но просто не знают церковной жизни, а всё по вине победоносцевского ведомства.

Да как можно сказать такое? Социализм? — он основан не на любви, а на борьбе.

Такой призвук улавливался, да даже уже не призвук, что реформа и сама будет ломать как ураган.

А прокурор Львов всё громче говорил о *хорошей метле,* которою он прометёт Церковь. Истинно ли свободу предлагали Церкви — или только право освятить революцию, новую присягу, воодушевлять солдат на продолжение войны — и услуживать во всём новому правительству?

Кажется, именно так, потому что вот уже Синод подавал в коллективную отставку: он хочет определять сам свой внутренний порядок, и даже при старой власти всегда имел свободу назначения архиереев — а теперь её отнимают.

А харьковский Антоний заявил, что под «реформой прихода» сейчас понимают: ограбить церковное достояние и выбирать себе распущенное духовенство.

Да вон уже, там и сям, местные исполнительные комитеты брали на себя лишить священников сана.

Мчаться бы отцу Северьяну туда, в действие! Но безмолвный ночной фольварк Узмошье замыкал его малую пристройку, с ма-

лым столиком, кивотом, походной раскладной койкой да двумя стульями, а на чёрной суконной постельной застилке при керосиновой лампе — газеты, газеты.

Как неясны и непрямы пути к истине. Может быть, и было что-то верное подмечено в той кличке «церковных эсеров»? Как это сегодня закружилось вокруг реформы… — перестраивать? или ломать??

Страшно.

Обречены мы всегда тосковать по дальней правде. А обращаться с ней — не умеем.

От нас требуют признать «новый строй» совершенным? Но Евангелие — не разрешает нам так. Но ни в какие временные общественные формы — глубины Церкви не вмещаются.

В этих быстрых решительных жестах — издали не угадываешь молитвы.

Если мы ещё усилим наши церковные болезни? — да в этом общем урагане по стране ещё увеличим наши заблуждения? — то к чему придём?

Какая ещё новая расплата будет нам за то?

ТРИНАДЦАТОЕ МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК

579

Таких сложных культурных хозяйств, как Лотарёво Вяземских, было немного, считая и по всей России. Такого имения не найти во всей Тамбовской губернии. Особенно развил его, вложил душу отец, князь Леонид, бывший глава Управления Уделов, после того как в Девятьсот Первом году получил выговор от царя за поддержку студенческой демонстрации и уехал жить в Лотарёве. После его смерти имение принял старший сын Борис, всего тогда 25 лет, но исключительно разумный, уравновешенный, практичный и настойчивый. Теперь у них был конский завод, рысистых (из самых знаменитых, выигрывали многие скачки) и рабочих лошадей, питомники, рассадники, каждое поле в пятирядной кайме деревьев против мятелей, луговое хозяйство, молочное (стадо швицких коров), птичье, крупный содержанный парк, сад, цветники. Князь Борис не упускал использовать в животноводстве даже и новейший менделизм. У него были и познания, и любовь к флоре и фауне, и он ещё мечтал выделить в тамбовской полосе несколько сот десятин целинной земли, чтобы сохранить на них естественные виды растений, птиц и отчасти животных. Лотарёво, и при управляющем, требовало круглогодичного присутствия внимательного хозяина, также и зимой, с быстрыми решениями при инфекции или сложных случаях на конском заводе, а этой зимой небывалые мятели нарушали и подвоз кормов.

Но именно этой зимой события всё держали князя Бориса вне дома. К Новому году поехали в Петербург с Лили (детей у них ещё не было), встречали его у тестя, во дворце Шереметьевых на Фонтанке. (Князь Борис успел расписаться и в Мраморном дворце по случаю высылки великого князя Николая Михайловича, похоже на высылку отца.) А через десять дней у Шереметьевых ещё торжество — серебряная свадьба родителей Лили. А через ещё пять дней

нельзя было не поехать на годовщину смерти графа Воронцова-Дашкова, тестя Адишки-брата, но и дедушки Лили по матери (три брата Вяземских были женаты на трёх двоюродных сёстрах), ездили большой семьёй, заказным вагоном. В двадцатых числах января вернулись в Лотарёво как раз на полосу мятелей, заносило дом выше перил бельэтажной веранды, прекращалась подача электричества и работа водокачки, откапывали в снегу траншеи в полтора человеческих роста. В конце февраля был первый солнечный пригрев, 1 марта опять мороз и небывалые уши и яркие радуги вокруг солнца. (Как заведено во многих помещичьих имениях, князь Борис вёл «книгу судеб» — такой дневник, где записи через год возвращаются на лист того же числа, и так можно потом проследить многолетнюю судьбу каждого дня.) А 3 марта пришла с задержкой телеграмма, что Дмитрий ранен, ещё через два часа — что скончался. Выехали на станцию Грязи, но опоздавшего московского поезда пришлось переждать полную ночь и ещё полдня, всё расписание нарушилось, — съездили к знакомым Бланкам в соседнее имение, и только от них узнали, что в Петрограде как будто революция. И действительно, ещё через день Москву застали всю в красных флагах — невообразимое зрелище. А поезд из Москвы в Петроград ещё снова сильно опоздал, так несчастно всё — приехали через два часа после отпевания Дмитрия в Лавре. А Адишка с фронта в этот раз вовсе не приехал.

Затем оставалось четыре дня подождать — и будет девятый день, обедня в Лавре. А тогда стал Борис задумываться: не остаться ли на кадетский съезд, вот в конце марта? (Лили тоже хотела посидеть на съезде, она была из верных жён, делящих все интересы.) А там — и на Пасху, сразу за тем? А там вскоре и митин сороковой день? Так застрял князь Борис в Петрограде, кажется, и ещё на один месяц. За это время и передал Академии Наук зверинец, устроенный Дмитрием в Осиновой Роще.

А хоронить Дмитрия, как он и сам просил, да как уже и требовала традиция рода, надо было в коробовской лотарёвской церкви. Для того поместили его в цинковый гроб, запаяли и пока держали в левашовском (материнском родовом) склепе в Лавре. А повезти гроб, так получалось, не раньше начала мая: чтоб и мамá было легче ехать, ещё при нынешних расстроенных путях, и у Дильки младенец будет постарше.

Незапланированное своё пребывание в Петрограде, да ещё в столь необычайное время, князь Борис, уездный усманский пред-

водитель, имел поводы использовать для посещения новых правительственных лиц: по сельскохозяйственным делам — Шингарёва, по делам местного суда — Керенского, по делам местного управления — князя Львова, а с Гучковым повидались почти как с родственником. Надо было ещё и хлопотать, как бы достать на этот сезон военнопленных в имение, или же китайцев, или сартов. А ещё, по партийным кадетским делам, посетить перед съездом и Винавера.

Вообще, за военные годы петроградская атмосфера стала ненавистна князю Вяземскому своим постоянным судорожным алармизмом, мрачностью всех выводов и предположений. Он говорил Лили: эта проклятая «общественность» нас доведёт, но мы обязаны с бодрым видом спасать что можно. А сейчас, после революции, он находил, что в Петрограде быстрей всего и разливается всё больное.

Керенский произвёл на него болезненное впечатление, какой-то прыгающий вздорный оптимизм. Князь Львов — отвратительное: при ясном взоре — на самом деле хитрит, вертится, никакой власти у него нет да и нет желания править, зачем он это место занял? Гучков, напротив, чрезвычайно и неоправданно мрачен. Шингарёв — куда пободрей.

Шингарёва Вяземский знал лучше других: его Грачёвка — в Усманском уезде, хоть и маленький, а свой землевладелец. Да и вообще он был открыт, в разговоре прост. Обсуждали с ним, во что же это может вылиться в деревне, и Вяземский уверенно ему говорил:

— Повторение Пятого-Шестого года в деревне сейчас невозможно. За 10-12 лет утекло много воды. Тогда — нас всё застало врасплох, внутренне мы были в потёмках, а теперь уже невозможны ни прежние погромы, ни целая катастрофа. Через успешную земскую деятельность, через местное самоуправление мы в лучших крестьянах развиваем чувство совместной ответственности за свою судьбу и за судьбу отечества — и тем революционная пропаганда становится безпочвенной. В России — много непочатых здоровых сил, и среди них дворянство — тоже ещё не рухлядь, поверьте. И я считаю жестокой ошибкой паническое настроение некоторых помещиков — скорее сдаваться и всё сдавать.

Как он за эту неделю наблюдал в Петрограде кой у кого из приезжих.

— Нет, мы, дворяне, ещё поборемся, выстоим и войдём в будущее.

580

Кажется, только немногое изменилось: не стало железнодорожных жандармов, этих саженных красавцев, как будто и безучастно встречавших-провожавших поезда, а ведь остались и дежурные по станциям в красных фуражках, и те же станционные колокола с часто-коротким вызваниванием «повесток» о вышедших смежных поездах, и те же звучные отправные в один, два и три удара, и те же стрелочники с вылинявшими до жёлтости зелёными фуражками, пропуская поезда, так же ставили ногу на гиревой противовес стрелки и дудили в медный рожок, — поезда шли, станции не рассыпались, а как будто лопнула удерживающая застёжка, о которой раньше и не догадывались, что она держит.

Утром в Смоленске Ярослав вышел на перрон — и революция напомнила о себе, как хлестнула. Что больше всего разило военный глаз — это вольно расхаживающие солдаты, без поясов, с расстёгнутыми шинелями, открыто куря на виду офицеров, и никто не отдавал чести. Ничего хуже они не делали, ну ещё семячки свободно лускали, ну ещё двое вели девку под локти, — но намётанному офицерскому глазу уже хуже и быть не могло: это и был развал, а не армия. И над всем этим опускалась благожелательная разрешённость, признанность: ни отсутствующие жандармы, ни прошмыгивающие смущённо армейские офицеры, ни поручик Харитонов среди них не были вправе повысить голос, одёрнуть, остановить, заставить. Расхаживали какие-то новые наблюдающие штатские, и даже гимназисты, одни с белыми, другие с красными повязками на рукавах, но они ни во что не вмешивались, и при чём тут гимназисты? — их никто и не замечал. И если шёл по перрону высокий почтенный старик в хорьковой длинной шубе, а за ним носильщики несли шесть мест и бонна вела двух девочек, — то нельзя было поручиться, что за поворотом вокзала расхристанные эти солдаты не прикажут старику шубу снять, а вещи поставить на просмотр — и всё так будет, и никто не вмешается в защиту. Да Ярослав бы конечно вмешался! — но эта всеобщая разрешённость, уже впитанная им из московских дней, обезсиливала его.

Странная жизнь.

В буфете 1-2-го класса обычный белоснежный повар в халате и колпаке хлопотал у стойки, возглавленной грандиозным самоваром. И, как обычно, в мельхиоровых блюдах на синеватом огне

спиртовок подогревались дежурные кушанья. И в обход искусственных пальм на белоснежные скатерти столов разносились пассажирам на подносах тарелки и чай. Однако и в этом зале наступила чужеродная настороженность: от набравшихся сюда солдат, никак не пассажиров 1-2-го класса, однако некому теперь было не впустить их или отсюда вывести, и только явно сторожились буфетские, как бы эти солдаты да не взяли со стойки не платя, — тоже помешать им некому.

Но: разве эти солдаты не умирают вместе с нами за Россию? Да они-то и умирают! За что же мы их держим каким-то неразрешённым сортом, не допускаемым в чистые места? Ярослав двоился.

За одним из столиков одиноко завтракал поручик. А против него присел, развалясь, с несомненным вызовом — «вот, сгони меня!» — солдат. Он ничего не ел, и сидел не как принято за столом, а разваленной позой, вытянутой ногою вбок, — нахально поглядывал на поручика и лускал семячки — на пол, но иногда попадая и на скатерть, на свой угол стола.

А поручик? Продолжал есть — и не показывая, чтобы поспешно. И так шёл между поручиком и солдатом беззвучный поединок.

Ярослав представил себя в положении этого поручика — и похолодел: а что, правда, делать? Встать и уйти — бегство. Продолжать есть, не замечая, — унижение. Строго крикнуть — вряд ли поможет, после всех возглашённых газетами солдатских вольностей. Да ввяжешься в унижение хуже.

Ничего и не придумаешь.

Ярослав ли не тянулся к этим нашим мужичкам! Ярослав ли не был сочувствен к младшему брату, слиянен с ним! Да у себя в роте, у себя в батальоне он никогда б такого не встретил: солдаты приёмисты были к нему, солдаты его любили! Но вот так сейчас, без своих, оказаться на отлёте?

Не без опаски он занял место за столом. И ел быстро.

Ярослав ли не любил народа! А чем же он ещё жил? Офицерская должность и за три года нисколько не вскружила ему голову. Но всё же сейчас он понял: это правильное было распоряжение не пускать солдат в буфет 1-го класса. И не разрешать им курить в общественных местах. И требовать с них отдания чести.

В чём сила армии — в том, вероятно, её и слабость. Она несравненно сильна безпрекословностью подчинения. Но если офицеров перестают слушаться, то разваливается хуже, чем у штатских.

По второму звонку Ярослав вскочил в свой жёлтый второклассный вагон, когда хмурый проводник — чёрная застёгнутая куртка, брюки в сапоги, даже более военный, чем эти развязные солдаты, — доругивался с двумя из них и не пускал, а всё-таки те впёрлись в неположенный вагон.

О, да тут уже и в коридоре стояли солдаты, куря, а двое сидели на полу, загораживая проход, — и как-то надо было протесниться через них, не обидя и не унизя.

О, да и в самом купе уже были они! Как раз на диван сестры, на пустое место, и сели двое, и один напротив,— расставили колени, руки опёрли, и задевали сестру, ухаживали. Как раз место Ярослава и заняли. И как было теперь их сгонять? И неловко, и не знаешь — уйдут ли.

Наташа быстрыми глазами увидела его — но не пригласила. Уже подтолкнутая к углу, к окну, — она, однако, уверенно справлялась с положением сама. Откуда у этой дворянской девушки была такая простота? — весело разговаривала с солдатами и угощала их конфетами.

Соседний господин, куда весь его англоманский гонор, засадил дочку за себя, вглубь к окну, собою загораживал её, но не мужской силой выглядел, а жалко, с осунувшимся по шее крахмальным воротничком, ошейником безсилия.

Не сильней оказывался и поручик Харитонов. Стоял в коридоре против открытой двери.

И — что же нужно было делать? Над их вагоном, над их поездом, надо всеми железными дорогами, надо всей Россией была как будто кем-то прочтена разрешительная противомолитва — не от грехов, но ко грехам, отпущенье делать худое и запрет защищаться.

Солдаты всё подталкивались к сестре, она всё тараторила и задабривала их, ещё достала угощение, — а Ярославу послала взглядом не только не призыв о помощи, но успокаивающий знак не вмешиваться.

Тогда сосед положил ей ногу на колено. Она так же запросто сняла его ногу, не рассердясь, не закричав.

Ярослав не мог на это смотреть, обожгло его! Но что делать? Это было безсилие, какое может опеленать во сне, когда хочешь защититься, ударить — и не можешь. Он — не мог применить оружие, и безполезно кричать команду, а что ж? — уговаривать тоже?

Он стал так же безпомощен, как тот поручик на лусканье семячек чуть ему не в тарелку.

И он обернулся к окну в коридоре, так же закуренном незваными солдатами.

Он понимал, что солдаты — не по задумке, но по инстинкту — вот так надвигаются, кладут ноги, — проверяют сейчас их: их, офицеров, и их, дворян, занимавшихся балами и играми «Червонного валета», — и всё будущее зависит, остановят ли их благоразумно в этой проверке. Но — как?

Но и — что же такое наша родина, если не наш народ? вот эти самые солдаты? И как же можно увидеть в них врагов?

За двойными запотелыми стёклами мелькало заснеженное чернолесье, сосняк да ельник, да проплешины болот. Недалеко уже до половодий.

Всё это, конечно, осядет, отстанет, всё это — временные изъяны народного сотрясения. Но жить среди этого — мучительно, даже каждые лишние пятнадцать минут. И хорошо, что отпуску конец, скорей в батальон, где такого не случится. Не опоздать бы на пересадку в Полоцк, тогда сегодня можно добраться и до штаба армии. Как он радовался, едучи в отпуск! — а теперь ещё порывней рвался в свою часть.

Промелькнул опущенный шлагбаум, у него стояла замотанная в платок баба-сторожиха, выставив зелёный флажок.

Поезд замедлялся к станции.

В начале перрона был высыпан на землю обычный базарчик: распростанные мешки, корзины, жбанчики с молоком.

А сестра в купе всё дальше угощала солдат: есть у неё и сахар, и печенье, и заварка — кто сбегает за кипятком? Один солдат побежал с чайником.

Ярослав теперь уже и из вагона не шёл: пожалуй, и без чемодана останешься.

А с перрона несли золотистых цыплят, хрустливую квашеную капусту, перелитое в кружки коричневое топлёное молоко.

И ещё новые солдаты набирались во 2-й класс через кондукторскую ругань, но тоже осмотрительную.

И не было никого выше кондуктора, не было гордого обера с серебряно-красными галунами, чтоб их задержать.

— А что тут такие за купы́? — спрашивали солдаты друг у друга с любопытством, проходя и пристукивая винтовками по полу. — А кто тут по купа́м?

А почему они ехали с оружием, но без команды?

Ярослав не понял вовремя знаков соседа, приглашавшего его сесть рядом с собой и так оберечь последнее свободное место. Теперь туда ввалились ещё двое солдат, плюхнулись на тот диван, через папашу совсем уже втискивая дочку в стенку.

И Ярослав остался стоять в проходе, отмахиваясь от чужого дыма, глядя на уходящую землю.

Миновал перегон, другой. Расчёт сестры оказался верен: солдаты подобрели, не хамили, размягчились чайком, рассказывали о своих семьях. Наконец, ласково звали и поручика идти с ними попить.

А тем временем, оказалось, два новых солдата потребовали с англомана 15 рублей, на станции сбегали, принесли полный окорок. И теперь резали его на коленях большим ножом, всех угощая.

581

Отходили дни революции — и всё больше оглядывались казаки на себя, и радовались себе. Ковынёв, ещё свободный от института, занятия не начинались, много тёрся среди донцов, захаживал и в казармы. Он был везде кстати, хоть в 1-м полку, хоть в 4-м, и довольно войти и заговорить с первым встречным, как по выговору, по донским словечкам, по взгляду на дело они опознавались и могли гутарить внятно обоим до души.

У 4-го Донского была своя история этих дней, ещё прежде революции, город её не знал, а полк теперь гордился. Ещё в январе, за месяц до всей заварухи, два казака 2-й сотни, Хурдин и Сиволобов, прижелили двух солдат, задержанных в трамвае без увольнительных, — напали на комендантский патруль, прапорщика ударили тупеём шашки, солдат выручили — и сами унеслись. С этого удара, теперь гутарили казаки, и началась революция. Тогда выстраивали весь полк, шёл прапорщик по рядам — и опознал обоих. Арестовали, судили военно-полевым, с лишением казачьего звания, прав и состояния, — но посидели Сиволобов с Хурдиным месяц в петроградской тюрьме — и сами ж казаки освободили их вот.

И в Колпине 5-я сотня не стала разгонять рабочих нагайками, — тоже ещё до заварухи, — съехала мирно. А в самом Питере, на Забалканском проспекте, все казаки перед лицом толпы пошвыряли свои нагайки на мостовую — и кричала им толпа «ура», и сотника качали. И столько радости, что толпа на них не плюётся, не проклинает! А на Знаменской казаки и в атаку пошли на полицию, сдунули её с площади! И до того радовались, что народ их хвалит, — ещё по вечерам, расседлавши коней из наряда, бегли в город — самим позиркать, уже как вольные.

Да, в этот раз казаки смыли пятно Пятого года, уже никто не может попрекнуть их подавительством. И с родного Дона передали: спасибо, станичники, благодарим за честь. И ходил казачий полк к Думе — «в крови германской искупаем своих лошадей», — и сам Чхеидзе признал, что в революционные дни казаки нанесли смертельный удар самодержавию. Правда, часть донцов, напротив, вечером 27 февраля ушла отсюда, из бунтованного города, вместе и с обозными двуколками — пересидеть в 12 верстах, в Ново-Саратовской колонии, пока подойдёт генерал Иванов «разгонять эту сволочь». Но он не подошёл. И те земляки вернулись сюда, к этим, которые в городе: донское сродство выше всего.

Среди своих охватывался Ковынёв этим отдельным донским чувством, никому здесь, в северной столице, непонятным, — взглядом как с казачьего кургана. Чем большей громадой продвинулась через Петроград эта революция — тем отдельней воздвигалась скала казачьей тоски и жажды. Здесь, среди дончаков, меньше всего было разговоров о Временном правительстве и Совете рабочих депутатов, Дону это всё ни к чему. И война с Вильгельмом тоже изрядно отсторонилась. А набухало своё: донская весна подступает — и когда же домой? И какие вольности от тутошней революции они довезут до своего Дона? Коли такая свобода т у т настала — то уж какая должна распахнуться на вольном Дону? А какой если тут зачался непорядок — так такого нам на Дон не нужно, ни к чему. Вместе с Питером порадовались казаки революции — однако ж на этом судьбы их и разделялись явно. И теперь, доживая тут, в тёмной столице, ещё сколько-то и довоёвывая на фронте, не уставали донцы промеж себя гундорить о своих хуторах, о своих куренях, левадах, оврагах, конском разгоне и рыбных сетях — это вечное было, стояло под резкими донскими ветрами, ждало весны и своих дончаков назад.

Прежде поговорка была: «Хоть жизнь собачья, да слава казачья». Теперь возникло всеобщее: «Казакам хуже не будет!» — чем было.

И под ногами Фёдора Дмитриевича уже мертвел петербургский тротуар. Он и раньше-то, все годы, если разобрать, — никогда не любил Петербурга. Что тут? — всегда суетная, чадная, торопливо жадная жизнь. Эти последние дни натура дончака в нём переимывала петербургскую литературную.

И — что же, что же там деется? в Новочеркасске? и по всему Дону?.. Не сразу сведенья доходили, сейчас прервётся и от донской распутицы. От сестры Маши сегодня получил первое послереволюционное письмо, от 8 марта. Писала она (но может быть, отчасти и подделываясь под дух брата?), что петроградские события встречены в Усть-Медведицкой повсеместным громовым ура, была манифестация учащихся и учащих, всё прошло тихо-мирно, но все возмущаются окружным атаманом, что он цензурированием искажал телеграммы, только от почтмейстера узнали подлинные тексты. (И сегодня же — письмо от брата Александра, с лесных заготовок из-под Брянска: никак не ожидал такого быстрого и счастливого разрешения революции, а его 7-летний Митька, вот будет революционер! — прямо горит над газетами. И с обычной пылкостью желал Саша Феде быть избранным в Учредительное Собрание, как и был в 1-й Думе, и возрождать нашу разорённую родину.)

Кто-то с Дона и приехал за эти дни, вот бурный доктор Брыкин, за ним ещё присяжный поверенный, — добиваться от Временного правительства легализации Донского исполнительного комитета. Но тот комитет — чудоватый, не казачий, никаких выборов от округов и станиц, а там у них профессора, адвокаты, судьи, врачи и торговцы, много из военно-промышленного комитета, на Дону земства нет, — а где ж коренные казаки? кто ж правит Доном? И атаман — не выборный, а поставленный от того ж комитета — никому не известный войсковой старшина Волошинов, воспитатель кадетского корпуса, — не нашлось боевого генерала на всё Донское войско? И не слышно от них о главной нужде: об облегчении казачьей службы.

Приезжали в Петроград и первые вестники от фронтовых казачьих частей. Тут были голоса тревожные. Среди разгулявшейся солдатни громко раздаются проклятья, что казаки поддерживают «чаянья буржуазии» и «контрреволюцию». Безопасно цельным ка-

зачьим дивизиям, но тяжелее полкам, разбросанным по нуждам пехоты малыми командами и конвоями для охраны, связи, разведки, ещё тяжелей раскинутым по фронту отдельным сотням, а теперь командование стало их привлекать на службу борьбы с дезертирством, — и окружены они злобой, угрозами солдат — «подождите, доберёмся и до вашей землицы! довольно поцарствовали!», — и вот шлют теперь свою тревогу в Питер и в Новочеркасск.

А в России — не одно донское, но двенадцать казачеств, и всего казаков до 4 миллионов. И при Главном Управлении казачьих войск, на Караванной у Симеоновского моста, теперь зародился Совет Союза всех казачьих войск — взяли туда и «перводумца Ковынёва», как его теперь называли в газетах, «перводумец» стал его главный чин. По этой несущейся с фронта тревоге решили ещё в конце марта, до Пасхи, собрать в Петрограде общий казачий съезд — и в подготовительную комиссию опять-таки выбрали Ковынёва, хоть и штатского, а всё равно природного казака. На съезде и будет обо всём галда, и каждое казачье войско усилится сплоченной силой остальных, и попробуй солдатня не посчитаться!

А Федю Маша звала приезжать в марте, и сам он рвался, конечно, на Дон, — но всероссийский казачий съезд стоил того, чтоб задержаться тут. А дальше — Горный институт (ректора переизбрали, и со студентов уже не требовали всех зачётов) этой весной кончит год раньше, хоть и не возвращайся с Дона.

И Зинаиду же звал весной в станицу.

На одни и те же недели приходило решаться всему: и семейному, и донскому.

Но чем потерянней становилась для Феди его петербургская покидаемая жизнь — тем и приятнее последние деньки больше потолкаться в литературных кругах, ещё надышаться, чего уж не будет скоро. И теперь, посиживая над матерьялами к съезду в Управлении казачьих войск, да гутаря с казачьими тут старшинами, — не упускал Федя, что близко тут, на Басковой, — редакция «Русских записок». Да и потянулся сегодня туда.

В Петрограде наступила оттепель, чуть ли не первая за всю зиму. Сразу небо стало жёлто-мутное, и под ногами жёлто-серое снежное месиво, даже снег тут не похож на снег. От извозчиков, от автомобилей летят в пешеходов брызги — никогда Петербург не бывает такой отвратный, как в зимнее слякотное вре-

мя. А трамваи — все облеплены гроздьями, на передних и на задних подножках. Гражданских зевак сильно поменело от первых дней революции, но солдат гуляющих полно! — не кончается праздник у них.

И месил Ковынёв по раскислым улицам, сразу превратясь из казака в безпомощного горожанина в тяжёлом ватном пальто и в галошах.

Близко-то близко, но за этот пяток кварталов надо было перемесить ногами совсем в другой мир, и самого себя перемесить — опять к интеллигентному, литературному.

В редакции — своя прелесть. Сидят за столами и скучают дружелюбные любопытные женщины, всегда рады своему автору, посидишь около них, пошутишь, они расскажут, ты расскажешь, ещё узнаешь что-нибудь, — та особая редакционная непринуждённость, какой не бывает в обычных учреждениях… Так Владимир Галактионыч всё в Полтаве? Болеет? А что Алексея Васильича не видно? Да он всё никак не разделается с комиссариатом, теперь сдаёт его. А ваш, Фёдор Дмитриевич, февральский очерк уже в наборе.

Покалякали, много новостей вот каких — театральных. Театры эмансипируются, везде автономные советы из ведущих артистов, предсказывают золотой век искусств, в Александринке начинают репетиции запрещённого Сухово-Кобылина и «Павла I» Мережковского. На всех афишах бывших Императорских театров везде орлов заменяют лирой. Сегодня и завтра идёт «Маскарад» по тем билетам, что пропали в дни революции. Вчера в Михайловском — учредительное собрание Союза Искусств, масса художественных проектов.

Да, художественный, артистический мир всегда кипит, и здесь особенно чувствовал Ковынёв своё неисправимое провинциальное отставание. Как ни теснился в писательскую среду, но сознавал, что остаётся вахлаком, казаком, не успевал за этой тонкостью угнаться ни ушами, ни глазами, ни вкусом.

Тут ещё один автор зашёл на минутку — Гусляницкий, торопился, увидел Ковынёва и стал зазывать его с собой:

— Тут всего два квартала… к Пухнаревич-Коногреевой. У неё сейчас публика занятная собралась и приехал доктор из Ярославля, рассказывает, как там революция прошла, очень интересно, это вам нужно всё знать, пойдёмте!

Ну, пошли.

Действительно рядом. (Федин глаз и по дороге не пропустил: тянулись сани с дровами — стали в город подвозить, цена упала, а то за революционные дни подскочили дрова.)

Дама эта, Пухнаревич-Коногреева, известная кадетская деятельница, оказалась толстенькая, сбитая. И с очень уверенным выражением круглого не слишком умного лица.

Доктор из Ярославля ещё не пришёл, вернее — уже вчера был, рассказывал, а сейчас опять придёт, вот ждали. Ждали, сидели, болтали, не стесняясь будним днём, — как, впрочем, и солдаты же гуляли по улицам. А пока, до доктора, во главе беседы сидел писатель Гнедич — уже изрядно пожилой, и лицо со складкой артистизма.

Из кресла, скрутив колено на колено, Гнедич говорил:

— Наконец нам дали возможность жить, дышать и мыслить! Мне позволено называть чёрное — чёрным. А раньше — нельзя было, сорок лет меня кто-то запрещал. О, неужели же прошло время шутов и прихвостней, евнухов правды?

Поразился Федя, как он закруглённо говорит, «евнухов правды», и как это язык легко складывается? — а это он статью подготовленную читал, статью для газеты, листок у него на коленке лежал, а коленка на коленке, сразу и не заметишь.

— О, неужели на месте рухнувших капищ заклубятся новые алтари? Предоставленные своей воле, о, мы будем теперь ещё строже к себе. Теперь наше сильнейшее оружие — свободное слово! Мы — накануне великого расцвета сил. Душа готова любить и верить. Подумайте: русская печать свободна! Пушкин, Белинский, Тургенев — сошли бы с ума от радости.

Богомольная русская дура,
Наша чопорная цензура! —

кончилась ты наконец!.. Господа! — Гнедич так проникся и разволновался, что, видно, выходил из своей статьи, вставлял от себя и обводил всех чуть не со слезами: — Да сознаёте ли вы полное счастье, что мы живём в такую эпоху? Люди были в цепях, но ведь и идеи были в цепях! Было стыдно называться русским — при этом царе. Впервые быть русским — не значит стыдиться своего государственного строя. Мы выросли в собственных глазах — и европейского общественного мнения. Есть зрелища святые, к таким принадлежит русская революция! В какой-то чудесной гармонии решатся её конфликты. Как нам не расплескать этого нектара!

Снова преломилась плоть и пролилась кровь! Это будет всенародная, вневероисповедная литургия! И теперь, на обломках самовластья, Россия напишет имена!

Федя даже съёжился весь: ведь вот умеют писать! вот умеют говорить!

Хоть и печатал Ковынёва столичный журнал — а Фёдор Дмитрич и посегодня робел перед каждым петербургским писателем, и особенно перед ними всеми вместе: что́ они знают и умеют — куда ему, донскому опорку.

582

И ничего такого ярославский доктор не рассказал, чего б они уже не прочли в газетах — о всяких вообще городах: как сперва несколько дней ничего не знали, а потом узнали, и сперва поверить не могли, а потом ликовали, создали общественный комитет и ходили с красными знамёнами — такие люди, которые никогда раньше под красным не ходили. И как губернатор и полицмейстер пытались скрыться, но их схватили. И как, и как…

Доктор был маленького роста, белесый, смешной, симпатичный и почему-то внушал доверие, что врач хороший. Он жмурился от собственных речей, как бы не вынося всего этого хлынувшего света. И не столько рассказывал о событиях — их, видать, в Ярославле и не было, сколько задыхался, выдыхивал из себя свой собственный и общественный ярославский восторг: что в душе — половодье, что несёт туда, где вечно весна, к вершинам человеческого счастья.

Гнедич ушёл прежде, а на доктора пришли ещё два-три человека, среди них в крупных тёмно-роговых очках очень обстоятельный молодой приват-доцент с тяжёлым портфелем.

Но скоро доктору стал возражать длиный, узколицый Гусляницкий с веретённою бородкой. Вытянув ноги как палки из своего углового кресла, а сам в полусумраке угла прищурясь, он взял на себя роль духа-искусителя:

— Да, господа, мы видим красивую сказку, и я хочу верить в эту сказку со всеми вами, — но в глубине души меня точит червь. Я так всё время и боюсь, что явится Некто в сером и объявит, как в «Ревизоре»: приехавшая История просит вас всех к себе!

— Каким же вы это представляете образом? — прибоченила круглые свои локотки Пухнаревич.

— Да каким? — Гусляницкий ещё подзакручивал и так завитую бородку. — В такие подвижные минуты демократия может легко превратиться в охлократию. Есть опасность даже опорочить дело свободы в России…

Ну уж! ну уж! — спохватились, всполошились все, как бывает захлопает крыльями домашняя птица на базу.

— А вот вообразите: у кого будет власть в том же Ярославле? Нашего доктора оттеснят или не позовут. А придут какие-нибудь сильные уверенные люди…

— Ах! — отмахнулись от него. — Вы только не волнуйтесь и не путайтесь под ногами у народа.

— Из вас ещё не вышли призраки прошлого! — присудила хозяйка с круглой, но и язвительной улыбочкой. — Большего ряда жертв, чем погубил царизм, — уже не будет. Теперь мы держим твёрдой рукой светильник свободы. И теперь мы приобщены к великим демократиям мира! — это делает нас ещё более твёрдыми.

— Так-так, — посмейчиво настораживал Гусляницкий. — Сейчас, конечно, прилив. Но такую фазу мы уже переживали и в Девятьсот Пятом. А потом — отлив, реакция, общество.

— Но какой теперь возможен отлив? — бурно не соглашалась хозяйка. Её толстенькие руки так и тянулись в боки, будто она и подраться была не прочь. — Самодержавия — уже нет. И все самодержавные лакеи шлют телеграммы «присоединяюсь». Нельзя ж и допускать примата опасностей, господа! Чрезмерная тревога создаёт нездоровую обстановку. Теперь все чего-то боятся: кто немецкого наступления, кто продовольственных трудностей, кто контрреволюции, анархии, грабежей...

— Да нет, — отмахнулся Гусляницкий. — Немцев я боюсь меньше всего. — Бояться надо самих себя. Меня безпокоят разногласия между общественными течениями.

А приват-доцент, несмотря на свою отменную молодость, отличной выдержкой обладал. Пока хлопали крыльями, и восхищались, и возмущались — он сидел за дубовым старым столом опёрто и совсем даже не шевельнулся. Но вот пришёл момент — и он вступил густым, приятным голосом:

— Тревога нашего коллеги — вполне понятна, господа. Сама по себе наличность тревоги не отрицательна, но положительна.

Но и не надо воображать в испуге уже занесенный нож Пугачёва. Его нет. В наших руках — не допустить разлада.

У него был, очевидно, свой план. Все головы обратились к приват-доценту. Он прочно опирался на стол, сам, видимо, наслаждаясь звучанием и строением своих фраз, и это чувство передавалось слушателям.

— Надо же стать в положение народных масс, этих пасынков культуры, — как же им успеть разобраться в хаосе понятий?

От этих «пасынков культуры» — тронулось, защипало сердце Фёдора Дмитриевича: представил себе своих земляков-станичников, — правда ведь пасынки! Как сказано!

— Народ предал и нашу мечтательную Первую Думу, и атакующую Вторую. Простим ему. Земля покорных хлеборобов спала угарным сном, полным кошмаров безправия. И вдруг толчком свобода! — каков переход! Нужно, по сути, немедленно организовать новое «хождение в народ». Надо привлечь студенчество, земское учительство.

— А город? — спрашивали его. — А образованное общество?

— Да, конечно. — В приват-доценте была такая основательность, большие локти он разложил на столе как два ухвата, ничего не собирался проминуть, всё загрести. — Даже и образованное общество растеряно. Всюду и всем нужны лекторы. Да, конечно, одной политической революции мало, нужна революция общественного правосознания. Не преграждать лаву, вытекающую из вулкана, — но приготовить ей ложе. Революция — это хаос, но хаос — творящий! — казалось, он пошевельнул отдельно от очков роговым надбровьем. — Для России наступает эпоха самодеятельности и великого законодательства.

Федя даже подивился: и что ж этот доцент тут сидел, на них слова тратил? Отчего такие люди — да не во правительстве?

— Теперь мы должны поддерживать Временное правительство — всеми силами. М-может быть, м-может быть, правительство и допустило какие-нибудь ошибки в суматохе первых дней.

— А если они повторятся?

— Н-ну, — смягчился приват-доцент, — тогда мы предъявим Временному правительству — запрос. У нас должна создаться республика хорошего французского типа.

Может быть и убедил, но не Гусляницкого:

— А Совет рабочих депутатов? — ехидно завивал он локонок своей бородки.

Тут и хозяйка вдруг, тряхнув локотками, поддержала:

— И меня тоже очень безпокоит Совет рабочих депутатов.

Приват-доцент изумлённо к ней повернулся и спросил густым, вкусным голосом, явно полушутливо:

— Да чем же это он вас, матушка, так безпокоит?

— Политической незрелостью, — поджала хозяйка круглые решительные губы, образуя две симметричных ямочки на щеках. — Недостаточным образованием. Случайностью членов. И известным влиянием пораженчества.

— Что поделать! — развёл и свёл рычаги локтей приват-доцент. — В конце концов, кто сверг царизм, если не солдаты и рабочие? Так они имеют право и контролировать власть.

— Но не сбивать же Временное правительство! — нахмурила хозяйка светленькие брови и говорила сердито. — Но не расстраивать же нашу народную армию! Сознают они, что творят?

— Но оставьте же Совету и право защиты пролетариата!

— А что может потребовать пролетариат? — поморгал глазками ярославский доктор, о нём и забыли, а он слушал очень внимательно.

— Да ничего особенного, — повёл доцент твёрдыми плечами. — Не надо населять призраками левое крыло Таврического дворца. Все искусственные причины разлада у нас от кошмарного прошлого. Конечно, не время бы сейчас рабочим думать о сокращении заводских часов. Мы все работаем, себя не щадя.

— Ну а большевики?

— О господи! — вздохнул приват-доцент, расслабляясь. — Достаточно одной статьи в «Правде», чтоб зашевелились волосы на головах пугливых людей и уже бы замерещилась борьба внутри нас. По-олноте, господа, — густо-успокоительно тянул он богатым своим голосом. — Большевики — составная часть революционных сил, и надо же относиться к ним с уважением. Демократическая «Правда» никак не может нарушить стройного хора свободы. Опасны — холопы Николая, когорты Вильгельма, а большевики — наши товарищи, пусть в заблуждении.

— Я боюсь, — ввивался Гусляницкий, — для них всё человечество делится на большевиков и подлецов.

Горничная внесла шумящий самовар.

— Ну, попьём чайку! — примирила хозяйка.

Всю эту беседу Федя не решался встревать, молчал. А очень бы он хотел местами записывать — и высокий ход аргументов, и это-

го приват-доцента по чёрточкам срисовать, — но невозможно, неприлично было бы тут записывать.

Между тем разговор тёк и тёк, потерявши остроту спора.

— А вы замечаете, господа, ведь март — это месяц революций? Убили Юлия Цезаря, Павла Первого, Александра Второго, и мартовская революция в Германии, и мартовская в Австрии, и Парижская Коммуна!

Они ещё долго, долго сидели и говорили так, и неудобно было Феде уйти. Как гурманы собираются тонко посмаковать еду и вино — так свела их непреодолимая потребность высказаться друг перед другом — обговорить, выговорить, проговорить, переговорить, изговорить все возможные оттенки текущего.

****

КРАСНО СОЛНЫШКО ВСХОДИТ — КАКОВО-ТО ВЗОЙДЁТ?

****

583

Стыдно досталось Пешехонову возвращать кинематограф «Элит» его владельцу-бельгийцу. За минувшие дни глаз комиссара присмотрелся зрением революционным, но сейчас, обходя пустеющее помещение вместе с хозяином, Пешехонов мучительно застыдился, как будто это он сам наделал: мебель зрительного зала была отвинчена от пола и вся свалена в кучу; пол — измызган, измазан чернее, бурее всякого вообразимого; стены исцарапаны надписями инициалов и лозунгов; шёлковые занавеси захватаны, испачканы и порваны. Но и этого мало: кто-то потрудился слямзить бронзовые части с чугунных статуй, там и сям стоящих по ки-

нематографу. И как же? и когда это всё произошло? — в круговороте этих дней не замечалось. И кто ж как не Пешехонов был во всём виновен? — ведь это он издумал забрать под комиссариат кинематограф.

Они — шли с осмотром, и Пешехонов то и дело извинялся, сам поражался, и оговаривался об обстоятельствах:

— В моём распоряжении, увы, нет сумм, из которых я мог бы возместить ваши убытки. Но, может быть, Временное правительство?.. Если я обращусь к нему с ходатайством? И особенно если ваша бельгийская миссия поддержит ходатайство? У нас очень считаются с союзниками.

Но хозяин кинематографа, пожилой полный еврей с выкаченными печальными глазами, озирался на всё, кажется, даже с бóльшим терпением и безстрастием, чем Пешехонов. Если удивление было в его зраке, то скорей, кажется, тому, что стены всё-таки стояли и лестница не обрушилась. И он ещё сам произнёс комиссару благодарственные слова — Пешехонов сперва думал, что в насмешку, нет! И только просил написать ему официально комиссарскую благодарность за то, что он добровольно предоставил кинематограф органу революционной власти, а уж он вделает благодарность в рамку.

И он, пожалуй, был прав: в революционные недели это значило больше денег. А ремонт ему оплатят зрители, для которых уже на этот первый вечер была объявлена фильма «Джиоконда».

Сдача «Элита» не означала, что комиссариат перестал действовать. Да, жители перестали тесниться во множестве, ища комиссара по каждому вопросу. Но чего стоила одна оставшаяся забота — избыть, скачать куда-нибудь 1-й пулемётный полк! Уже несколько раз они окончательно уходили, уже и прощальный митинг был, собирались идти на прощальный смотр к Корнилову — но Пешехонов и по сегодня не верил, что они когда-нибудь уйдут.

И другие благоначатия февральских дней требовали скорейшего уничтожения — например, безплатные чайные. Они превратились в ночлежки и базы бродяжничества для солдат, не желающих возвращаться в свои части, и других темно-пьяненьких типов. (Но ещё найди силы разогнать этих солдат или уговорить.)

Остывала революционная магма, и Пешехонову уже нечего тут было делать, он готовил свой уход. Хотели избрать его головой районной управы — он отказался. Во всякую минуту ждали его и в Исполнительном Комитете Совета, и всё это время числили там,

однако Пешехонову когда и приходилось появляться там по делам, попадал и на заседания, — он подчёркивал свою к ним непричастность: наростом виделся ему и этот Исполнительный Комитет, самоназначенный, никем не выбранный и лезший перебивать работу правительства.

Какая несомненная обязанность тяготела на Пешехонове как признанном — вместе с Мякотиным — вождём народно-социалистической партии — это стягивать свою не слишком многочисленную и маловлиятельную партию, собирать её съезд и выявлять прежнюю партийную программу воззванием к новым обстоятельствам. Своя партия всегда кажется самой правильной. И насколько же это особенно верно было о партии «эн-эсов» — единственных сегодня сохранившихся чистых народников, отколовшихся в 1906 году от эсеров из-за их террора, огрязнявшего народничество. Самая правильная партия: «всё — для народа, всё — через народ», этот лозунг и сегодня звучал уместно и точно.

Несомненным и благородным было, кажется, — готовиться к Учредительному Собранию? Но уже почуял Алексей Васильевич, что это движение — слишком медлительное и оно отстаёт от движения струй.

Уж кажется, эти две недели Пешехонов прокрутился с наибольшей быстротой, энергией и отдачей — и вдруг из состояния волчка понял, что — опаздывает!

Мы — все опаздываем!..

А — в чём?

Да деревня же! Необъятные, загадочные, тёмные пространства русской деревни, закипающие в неведомом бурлении от петроградской воронки. Деревня, которой Пешехонов отдал свои лучшие годы и труд, которой только и служили все они, энэсы, — чтоб освободить её из-под самодержавия. Бедная, покинутая, безпредельно страждущая, погибающая, в разъёме своих грунтовых непроезжих дорог, в хилости своих недоухоженных, недовосправших полей, в неухиченности и покренении своих старых изб, почти немая для жалоб и сама не знающая, чего лишена, — и тысячи изобретателей, техников, учёных, ораторов, поэтов и мыслителей как зарождаются там, так и доживают неразвёрнутыми, сами себя не узнав.

Туда, в эту тьму, и пришло теперь самое время кинуться спасать и просвещать. Но эти пространства были — уже не клочок мостовых, и туда не могло хватить никаких петербургских интел-

лигентов. Да разве их там ждали? Их там заранее подозревали как «бар». И невозможно так просто кинуться.

Тут, в Петрограде, уже спорили о видах республики — просто демократической, или социальной, или социалистической, — крестьяне ещё неизвестно когда поймут эти споры, ещё не близко ощутят, как они смогут составить четыре пятых Учредительного Собрания (если их не обманут при выборах) и направить Россию как захотят. А пока, ежедневно и ежечасно, они ждут от революции не политических вольностей, не прав государственного управления, им такое невдомёк, — а только землицы измечтанной, где-то в обилии лежащей, незасеваемой, до сих пор не разделенной. И если революционный Петроград не поспешит с решением, то крестьяне поспешат сами: уже доносятся первые слухи о погроме помещичьих имений. И Россия только горше останется без хлеба. Нужны энергичные действия на местах — поля, засев-незасев, пастбища, инвентарь, лесные заготовки, — кто этим всем распорядится?

К счастью, эсеры, которые были в Петрограде (самые влиятельные, вроде Чернова и Натансона, ещё только где-то катили из эмиграции), как будто отказались от своих прежних крайностей, из поджигателей деревни на погромы перенастроились ждать Учредительного Собрания, и даже опасались самовольной организации деревни: отдельное крестьянское объединение, да ещё всероссийское, может стать опасным: это будет отдельная крестьянская власть в России — и сметёт все партии? Поэтому на народнических переговорах эсеры предлагали теперь не допускать постоянно действующих крестьянских советов, а губернские крестьянские съезды допускать только по партиям, разделяя крестьянскую массу.

Теперь, когда пришла самая острая пора протянуть крестьянству руку, — защитники крестьянства уже обдумывали, как его обойти.

А теперь-то и видно было, как мы все опоздали с организацией крестьянства! Самые невинные благие проекты — дополнить церковные приходы кредитными обществами и кооперацией — опоздали! И волостное земство, протасканное, прополосканное через десяток лет думских прений, — опоздало!

А между тем надо всеми пространствами как раз и не стало никакой власти, какая бы могла защитить права и земельные границы — хотя б до Учредительного, внушить всем: ждать. Всё сдвинется — вот с а м о, прежде всякого Учредительного.

584

Гучков вернулся в Петроград сильно усталым, даже надломленным. После четырёх дней тяжёлой поездки, и ведь внаклад на сердечный приступ, и воскресенья не было, уже второго подряд, — хотелось бы ему не сразу объявляться в Петрограде, не тащиться в довмин, а тем более на заседание правительства, но понедельник пролежать дома, как бы ещё не вернувшись: весь день лежать, набраться сил, уладить мысли, — а с утра во вторник в министерство.

Уговорился с адъютантом графом Капнистом, что тот будет в довмине наблюдать и звонить, если что. И поехали с Машей прямо с вокзала домой, на Сергиевскую, и сделал, как хотел: разделся и лёг в постель.

Маша была в заботе, и даже подчёркнуто, с твёрдостью: что вот он не обошёлся без неё в трудный момент.

Да, не обошёлся. Этот сердечный приступ обуздал его и наполнил смирением. Не только не было энергии продолжать с женой мелкую борьбу и доказывать свою правоту — но каким-то глохлым, равнодушным слоем обложило всякие его залёты в будущее, всякие картины себя, ещё не старого, отдельно от тяжёлой жены. Нет уж, видно, как шло — так шло.

На столике лежала пригласительная карточка от Лидии, сестры Вяземского, — на литургию и панихиду 9-го дня в Лавру. На день, когда он уезжал в Ригу.

Ещё одно напоминание о вечности. Но живых — ведёт жизнь.

Однако покоя в постели Гучков не нашёл. Мысли, возбуждённые поездкой, не улегались, а дыбились, тревожно распирали. Безповоротное снятие Литвинова с 1-й армии, уже решённое, — не ждало, надо было осуществлять. А по ходатайству своих молодых приближённых советчиков решил сразу снимать и Горбатовского с 10-й армии.

И — сколько ещё придётся их снять, двигаясь дальше к югу?

А ещё же — и Рузского снимать.

Брусилов — тот будет сотрудничать.

А Сахаров, на Румынском фронте, — куда годится?

Гучков постарался вернуть мысли в приятную сторону. Скорее заполнять эту ведомость генеральских аттестаций.

И вот что: военно-полевые суды надо решительно отменять, они сгустили в себе символ реакции, не вяжутся с образом свободы. И Гучкову, когда-то поддержавшему с судами Столыпина, — особенно неприлично. Не простят. По крайней мере, отменить вне театра военных действий. А лучше — повсюду.

Но на этих мечтах Гучкову не удавалось удержаться, а в голову, освобождённую от мельканий поездки, опять вплывало нерешённое само, на чём он тут его оставил. И всё было трудное.

Казанский Военный округ. Гучков распорядился тогда освободить генерала Сандецкого из-под ареста — но казанский Совет солдатских депутатов вновь посадил его, да на простую солдатскую гауптвахту и под усиленный караул. Теперь ехали из Казани или уже приехали уполномоченные Совета убеждать военного министра, что так надо, а он должен убедить их отпустить генерала. Не сегодня, так значит завтра предстоит эта беседа.

А ещё же — оставались без атаманов, отстранённых, — Забайкальское и Терское казачьи войска, — теперь же и туда простиралась компетенция Гучкова. Пока Гучков ездил или лежал — а войска были без атаманов. Ну в Терское, оказывается, поехал Караулов, может выберут его.

А занявшись казаками — нельзя было не задуматься о приказе: освободить их от наказаний, налагаемых атаманами. Всеобщие свободы надо непременно и поскорей распространять также и на казаков — чтоб отобрать их из мира насилия в мир свободы.

А эти, вгорячах навыбранные из солдат в офицеры? ведь их теперь так просто не разжалуешь.

А во флоте? Натворилось невообразимое: после убийства Непенина адмирал Максимов, по сути, не был назначен ни Гучковым и никем, а, избранный матросами в минуты бунта, так и остался, нагло. Не был назначен — но и сместить его теперь Гучков не смел: при нынешней обстановке в Балтийском море вполне могло стать, что, как лёд сойдёт, Максимов приведёт эскадру и просто возьмёт Петроград в матросскую власть. Уж лучше не трогать.

И продолжал же висеть над Петроградом и над всей Россией так и не решённый вопрос об отдании чести. Совет депутатов честь отменил, министр промолчал, поливановская комиссия разрабатывала, — а каждую минуту на улицах сотен городов встречались военнослужащие и — отдавали честь? не отдавали? как же?..

Тем временем звонил из довмина Капнист.

Один раз: что всё — ничего, но разные люди очень ждут. У полковника Туган-Барановского важный новый проект, обсудить. Полковник Туманов вернулся из Ставки — доложить обстановку. (Да, это Гучкову надо слышать: полковник должен был посмотреть на Алексеева глазами Гучкова. Об Алексееве-то важнее всего было Гучкову иметь суждение, принять решение.) Потом: эти два дня тут ожидал барон Врангель, начальник Уссурийской конной дивизии, у него письмо от генерала Крымова, но — лично министру, отказался передать в другие руки.

— Так это очень важно! Я готов принять письмо. Шлите его ко мне!

— Сейчас как раз его нет: рано утром был — ушёл.

Вот, и Крымова проездил…

Потом: привезли из Москвы арестованного генерала Мрозовского. Пока, в ожидании министра, поместили его в Мариинском дворце, под отдельной охраной.

Ну пусть пока. Сразу не сообразишь, на всех времени не найдёшь.

Ещё: привезли арестованного командующего Иркутским военным округом. Ну, завтра.

Пока всё. Не прислать ли газет за время вашей поездки? Есть кое-что отмеченное. Ну, пришлите.

Как нужен был бы один покойный день! Не было.

Привезли газеты. Читал лёжа.

Прочёл своё воззвание об угрозе Петрограду. Набатно звучало.

Своё воззвание вместе с Алексеевым.

Несколько правительственных воззваний.

Своё воззвание против шпионов. Совершенно необходимое: военная контрразведка чувствует себя разгромленной, все и везде подозревают полицейский сыск, не стало возможности работать. А Финляндия, после снятия пограничной жандармской охраны, наводнена немецкими шпионами.

И сюда же затёсана была большевицкая «Правда». Неужели и эту гадость должен был министр читать? Да, большая отметка красным карандашом.

Прочёл, обожжённый обидой. Звали — не верить военному министру, развязно и даже безсмысленно нападали на его приказы. И даже — на приказ о немецких шпионах. Ну, это уже чёрт знает что! Как же иначе вести военное министерство во время войны?

И не отвечать же «Правде»!..

Но Гучков сильно расстроился. Где были эти большевицкие газетчики, когда Гучков громил великих князей, громил Распутина, а его травили с верхов? Где они были, когда Гучков писал громовые открытые письма и составлял тайный заговор?

Да что! В газетах и лучше было! За эти дни был напечатан неизвестно кем составленный, не прошедший военного министерства, какой-то шальной проект создания особой «Петроградской армии»: «Увековечить ту огромную роль, которую сыграли войска петроградского гарнизона в уничтожении старого режима… Из всего петроградского гарнизона составится отдельная армия в несколько корпусов с постоянным квартированием в Петрограде. Всем частям будут присвоены навсегда отличительные названия, свидетельствующие о роли, которую они сыграли в историческом моменте. Нынешние запасные батальоны будут развёрнуты в полки…»

— Вот эта недоученная рвань? — Гучков расхохотался через мрак. — Ах вот что! И как же они будут вести военные действия? Какой же это стратег придумал?..

И всё это — минуя военного министра?

Да, воистину ещё не было такого военного министра в России! Чтоб о подобном проекте узнавал из газет…

Да… Бразды надо забирать потвёрже.

Опять позвонил Капнист: генерал Крымов сам прибыл в Петроград! Телефонирует и спрашивает: когда военный министр может его принять?

Вот отлично! Это — конквистадор!

— Скажите генералу: через час, если он может. Я буду в довмине.

Старый соратник. Единомышленник. Сила! Он и поможет сейчас наладить.

И у самого откуда бодрость! — быстро одевался. Крымов — это замечательно! Это — первый и важнейший сейчас в армии человек.

По-настоящему, надо теперь Крымова — одним смелым махом назначить на Верховного! Только так и делаются великие дела. В Алексеева — Гучков не верил. Он боялся его уступчивости в любом неконтролируемом направлении. И ощущал в нём противодействие своим реформам. Но и — снять Алексеева сейчас невозможно, слишком много изменений в короткий срок, всё зашатает-

ся. Поэтому идея: пусть Алексеев пока исполняет должность Верховного, а назначить к нему начальником штаба — Крымова.

Крымов был из тех генералов, которым всё не попадается, не попадается дела по плечу.

ДОКУМЕНТЫ — 26

Ставка, 13 марта

ГЕНЕРАЛ АЛЕКСЕЕВ — ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ,
французская военная миссия при Ставке

Считаю своим нравственным долгом во избежание тяжёлых последствий от недомолвок высказать с откровенностью… Переживаемое Россией внутренне-политическое сотрясение… Запасные части внутренних округов пришли в моральное расстройство и не могут дать укомплектований раньше июня-июля.

…посмотреть прямо в глаза событиям и сказать с необходимой откровенностью, что можно рассчитывать на наше широкое участие в операциях только в июне-июле.

ДОКУМЕНТЫ — 27

Псков, 13 марта

ГЕНЕРАЛ РУЗСКИЙ — ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

…Состояние Балтийского флота внушает опасение, поэтому правый фланг Северного фронта и подступы к Петрограду являются необезпеченными… Это заставляет меня просить вас усилить войска Северного фронта, передав сюда до четырех корпусов…

585

Сколько лет ни поживал Крымов в Петербурге, с перерывами, — то юнкером Павловского училища, четверть века назад, то учась в Академии Генштаба, то служа в Главном штабе, — никогда не мог он к нему привыкнуть, не мог полюбить. Куда б ни переводился служить — в Сибирский корпус, на Японскую войну, в Даурское урочище в Забайкальи, в Кубанскую казачью дивизию, — вез-

де чувствовал себя при месте, и сердце раскрывалось. А подъезжал опять к Петербургу — заклятыми болотистыми низменностями, дрянными фабричёнками, настроенным домовым хламом, где лучше было удавиться, чем жить, — и всякий раз та же смертная тоска подступала.

Нельзя было поставить города гиблей.

А в этот раз поездка была и вся мрачная, от начала до конца. Если б Крымов и не выехал с живого фронта, о который уже ударило несколько накатов тления, и если б даже он не знал русского языка, не понимал бы ни слова, что вокруг говорилось и писалось на плакатах, — одним своим намётанным глазом и даже только через окно вагона — от Кишинёва и до Петрограда, на все эти распущенные шинели, оружие не по форме, развязный вид и красные клочья, — он бы понял: начался небывалый развал всей воюющей армии. Но и вся сила развала в том, что никто не смеет ему противоречить, а все поддакивают. А ещё и сегодня довольно на эту слякоть всего лишь двух хороших дивизий, но — в лоб. Одну из них — прямо в Петроград.

А у Крымова, вдруг принявшего Третий конный корпус от графа Келлера, было таких дивизий три, все конные: Уссурийская, Терская казачья и 1-я Донская казачья. И все они стояли — свободные, в резерве Румынского фронта, не было трудности снять их с места — а только по железной дороге долго везти.

Получив вызов Гучкова, Крымов не сразу мог ехать, по шаткости дел в штабе корпуса после отставки доблестного Келлера. Однако он послал вперёд с письмом Петра Врангеля, только что произведенного в генерал-майоры, только что получившего Уссурийскую дивизию, — редкого умницу, делового, схватчивого и бойца. В том личном тайном письме Крымов предупреждал Гучкова, что каждый день сегодняшнего образа действий погубляет всю армию безповоротно. А Уссурийская дивизия за два часа может быть погружена на Петроград. Довольно Гучкову дать телеграмму условной фразой — и дивизия грузится.

Но, не дождавшись телеграммы, Крымов уже ехал и сам, мрачно изумляясь на станциях, до чего довели русскую армию за две недели, как если бы был понесен основательный разгром от немца.

Приехал в Петроград сегодня утром и в гостинице узнал от Врангеля, что Гучкова эти дни не было в городе и письма передать не пришлось.

Долговязый, живоглазый, подвижный Врангель, однако, навидался за три дня в Петрограде и резко докладывал Крымову о здешнем бардаке. И что делается на улицах, и что в казармах, и что в военном министерстве, в поливановской комиссии и ещё в этой отдельной Военной комиссии, неизвестно по какому уставу приляпанной. Прошёлся Врангель по коридорам Таврического дворца, видел нашлёпки на комнатах Совета рабочих депутатов и сами лица повидал в коридоре, — Крымову и ходить не надо, с живых слов.

Крымов курил и бычился. Он горячился и бранился, когда дела и так и сяк. А когда оправдывалось худшее — сугробился и молчал.

Позвонили, что Гучков назначает в довмине.

Поехал Крымов без Врангеля, с Гучковым говорить на один. Прислали автомобиль, тот прыгал по нечищенным снежным колдобинам. Стоял серый, тучемутный денёк, такая погода в этом городе и неделями может стоять.

С прошлого года они не виделись. Входя в чёрной черкеске с одним Георгием в кабинет Гучкова, Крымов насмешливо щурился: не напялил ли тот военный мундир. Нет, хватило ума, в штатском.

Вышел Гучков навстречу к самой двери кабинета. Бодрился голову держать приподнято, — а глаза-то за пенсне — опухшие, отекшие, сильно помятый вид, при самом свежем воротничке.

Не похоже на торжество, как заливались газеты. (Впрочем, ни одной газеты, ни страницы, ни статьи Крымов никогда не дочитывал, покидал как порченую еду.)

Тряхнул ему руку умеренно, душу не вытряхнуть.

С того прошлого толка о заговоре — были они на «ты».

И не устал Крымов — а уж так устал, плюхнулся в мягкое кресло раньше. Гучков в другое кресло сел осторожно. Подали им крепкого чаю с баранками.

— Болеешь, Александр Иваныч?

— А что, видно? — печально улыбнулся. — Креплюсь, Александр Михалыч. Что-то сердце пошалило. — (А у самого белки жёлтые.) — Ну, зато ты — глыба.

— Эт фигура у меня такая. А то и я… Ну да в общем.

Нервы и у Крымова есть.

Сразу полстакана крепкого, горячего, сахар не доразмешав, отхватил Крымов, избочился на Гучкова — и:

— Дело-то, Александр Иваныч, — дрянь!

— Ну не так уж, — отпивал Гучков глоточками и сил набирался. — А — что именно у вас?

«У вас»! Что на Румынском да на Юго-Западном, мог ему Крымов и ворох накидать: везде выбирают солдатские комитеты; от Временного правительства едут какие-то комиссары — на кой ляд они в армии; вся дезертирская дрянь теперь может на фронт возвращаться безнаказанно и над своими товарищами похихикивать, что они, дураки, служили. Лезло в голову и на язык всякое, да пока ехал — одною чушью и просмаливался всю дорогу. А только не туда хотел его Гучков свернуть: у в а с, он спросил, что?

— Не у нас, а у в а с ! — баснул Крымов. — Верней так, что: приказ №1 издан у в а с , а немцы его через проволоку забрасывают у н а с. Так вот: с кем мы воюем? Если немцы заодно с Советом и правительство с Советом, а мы правительству присягаем, — так кто за кого воюет?

И смотрел на Гучкова литым дураком.

А тот перетирал пенснишко:

— Алексан Михалыч. С Советом — сложные отношения. Сложное положение. Так сразу не объяснишь.

— Да что объяснять? — Откусил Крымов полбаранки и вторую половину стакана залпом выпил. — Получила сволочь свободу — вот те и объяснение. Что это — Совет депутатов? Самозваная кучка прохвостов. Кто их — знал? Кто их — звал? Да полезли туда тыловые, хлам, который войны не видел. Вот эти ж самые депутаты — всю войну и пропрятались в Петрограде, почему они не на фронте? И — как вы, правительство, даёте вами распоряжаться?

Гучков дослушал гулкое раздражённое бурчанье Крымова и стал ему терпеливо объяснять голосом комнатным, приготовляясь к беседе долгой:

— Этого, Алексан Михалыч, в пять минут никак нельзя объяснить. И тем более это непонятно с фронта. Временное правительство сформировалось уже после Совета депутатов и в сложном к нему отношении, и в зависимости от него. В те анархические дни Совет депутатов вообще мог не допустить нашего правительства. Мы только постепенно укрепляемся, опираясь на благоразумные слои общества, базируясь на успокоении публики, рассчитывая на здоровые чувства нашего народа и прежде всего на патриотизм. И все творческие силы мы стягиваем к делу. И вот поэтому я вызвал тебя.

— Да какого чёрта?! — налился Крымов, не слыша или не понимая. — Есть уставы, есть военное начальство, — какого чёрта они вмешиваются в отношения офицеров и солдат? Как вы это

можете допускать? Вы — правительство! — Он кричал так, будто старшим по должности был здесь. — А теперь, я читаю, у тебя какая-то «комиссия», две дюжины из петроградских учреждений, а армейских — полдюжины, и то нестроевых, — и они отменяют дисциплинарные права начальников? Замечание — могу сделать, а наказать — не могу? Значит, солдат не выполняет распоряжения — будем через неделю суд затевать? Вы… кого дураков строите — себя или нас?

Не перенимая от Крымова раздражения, однако уже волнуясь, Гучков объяснял со штатским разведением, переплетением, выворотом пальцев:

— Алексан Михалыч! Свержение царизма — это эпоха. Это непросто смена Верховного Главнокомандующего. Обновляется вся страна, обновляется армия. Свободам — неизбежно распространиться во все сферы жизни. В конце концов, в этом и был смысл переворота. Ты не можешь не разделять этих чаяний и симпатий. Мы же вместе с тобой обсуждали переворот — ради чего?

Крымов полез за кисетом — вспомнил — достал серебряный портсигар и папиросу «Осман». Нежная долгая папироса в его большом закусе была как спичечка.

— Я — про династию нет. Я — не про династию. Хотя в Туземной дивизии плакали об отречении. И в Третьем корпусе продолжают считать наследником Алексея: Михаил — только регент, и не мог отрекаться. Ладно. Но так прыгать — никакой конь не прыгнет, как вы Россию хотите. Свернём голову все. И сама Россия.

Преодолевая крымовский тон недружелюбия, Гучков говорил всё мягче и приятельней:

— Алексан Михалыч. Я знаю твой нрав. Я знаю, как ты крут. Но сейчас положение — такая нежная ткань, её не порвать надо, не разодрать, а — постепенно наращивать до крепости. Это — большое умение надо. Мы в правительстве все стараемся. У каждого сложно. А у меня, может быть, сложнее всех. Сейчас — две возможных линии: давить комитеты? или с их помощью оздоравливать армию?

— Давить! — прорёк медведь-генерал. Он был на десять лет моложе Гучкова, но грузностью набирал возраст.

А тот — уговорительно:

— Мы же этого и боялись — революции. Мы же и хотели её обогнать. Но не вышло. Но нельзя же теперь Россию бить по спине за неудачу. Ну, как получилось. Конечно, во время войны револю-

ция — это кошмар. Редким государственным деятелям достаётся такая задача. Я — не военный, перед тобой не строюсь, — и мне особенно трудно. Я только и рассчитываю на помощь друзей, и твою — в первую очередь. Я вызвал тебя, Алексан Михалыч, вот зачем, ты может быть догадываешься…

Голос Гучкова приобрёл некоторую торжественность, и уже поэтому легко было догадаться. Но Крымов, откурив, сидел совсем неподвижным, широплечим обалдуем.

— Я вызвал тебя — чтобы предложить тебе пост… Начальника штаба Верховного!

Почти нельзя было вообразить генерала, который бы мог тут не вздрогнуть или не покраснеть. Но Крымов — может быть, потемнел, а так и сидел высеченным камнем.

— Понимаешь, Алексеев… Ты сам говорил всегда, что он не настоящий воин. И я согласен. Он был хороший начальник штаба, прикрываясь именем царя и при его безмозглости. Но самостоятельным Верховным и в новой, шаткой обстановке он быть не сможет. Я назначаю тебя для того, чтобы ты постепенно всё перенял в свои твёрдые руки. А потом поднимем тебя и на Верховного.

Крымов и командиром корпуса — только-только становился, ещё не утверждён. А от корпуса до начальника штаба Верховного — три хороших ступени, даже пять очередных. Взлёт — какой и бывает только в революцию.

Ну, выдержка! Он и сейчас не пошевельнулся. Но Гучков только улыбнулся этому слегка. Он испытывал к этому громоздкому истукану дружественность и благодарность: нигде никогда не дрогнул. Не подвёл. Не предал. Сидел в Карпатах с конями без фуража, без патронов, без хлеба, — отдавал себя под суд, чтобы спасти дивизию и коней. Шёл на государственный заговор без колебаний. И сейчас! Залюбоваться. Какая силища! Пока такие генералы в нашей армии есть — ничто не страшно, и — можно быть военным министром!

А вот что: Крымов — голосом сразу схрип. Он заговорил не своим басом, но каким-то громыхающим хрипом, лишь постепенно прочистило:

— Вот что… Я — одной Уссурийской дивизией в два дня тебе расчищу Петроград от всей этой депутатской сволочи. Может, крови немного прольём — а может, и не прольём, потому что силы у них — никакой, организации нет и храбрости. Пока они сил не набрали — сейчас их и чистить.

Военный министр откинулся в кресле, и шатнулось пенсне на его носу, едва не сбросилось.

— Да ты что? Да ты!.. Нет, ты просто совсем обстановки не… Или ты не понимаешь — что такое революция? Республика?

— Да мать её… республику! — как подземно прогрохотало в Крымове.

Не без жалости посмотрел Гучков на эту глыбную голову на широких плечах: какую жестокую узость полагает армия всем людям, любому самому толковому. Арестовать Исполнительный Комитет — ну, такая мысль у самого Гучкова в первые дни мелькала. Но — разгонять вообще всю революцию?

— Да ты что, Алексан Михалыч! — он тихо возражал, ему даже, кажется, страшно было, что эти слова произнесены в его кабинете. — Да у тебя представление о демократии есть?

А Крымов смотрел со своей идольской непроницаемостью.

Смотрел и удивлялся: как же он с таким хлипаком собирался идти на государственный переворот? Откуда он приписал ему военные качества, — что три раза стрелялся на дуэлях да в юности побывал в Трансваале? Да разве можно было на него серьёзно покладываться? Да как же они не разговорились раньше: одного ли, единого ли они хотят?

Крымову несомненны были в том, что он выложил, польза и спасение России. А эти помешанные на демократии — отдавали Россию под публичный дом?

Ну, только в последний раз:

— Всё-таки, может, — спросишь своё правительство? Посоветуйтесь там? Я могу в Петербурге — дня два подождать. Потому что действовать — сейчас момент. А потом — будет поздно.

Как ни грозно и горько, но Гучков ещё усмехнулся, улыбнулся, вообразя, что бы сделалось с Временным правительством, если бы предложить ему такое на заседании: князя Львова бы расплющило, Милюкова хватил бы апоплексический удар, Некрасов бы нагнулся для укуса исподтишка, а Керенский штопором взвинтился бы до потолка и потребовал арестовать Гучкова.

— Нет, Алексан Михалыч. Я в правительстве — единственный человек, кто может от тебя такое выслушать — и не применить репрессий.

Однако он был и жестоко озадачен: если у Крымова такие замыслы и хватка — как же можно ему отдавать Верховное Главнокомандование?

Гучков уже усумнился, уже жалел, что так сразу предложил, не расщупавши, положась на прежнее доверие. Он искал теперь запасной ход, оттяжку. Он ведь не назвал прямо времени назначения — и тут можно было поманеврировать.

— И я тебя очень прошу: пока подойдёт твоё назначение — ты ни с кем и нигде подобного… Ты прими сдержанность за правило…

— Что? — спросил Крымов. — Какое назначение? Да если вы депутатов себе на шею посадили — так неужели я от вас назначение прийму? Нечего мне с вами и делать. Этакое мне — не по душе. Ты лучше — своё окружение расчисть, у тебя шваль собирается. Уеду в корпус сейчас же.

Гучков опять пожалел. То слишком быстро приобреталось, а то слишком быстро терялось.

— Ну, зачем же так сразу отказываться? Подожди, подумай. Поживи. Поговорим.

— Не. Не, — хриплым дыханием отвечал Крымов. — Нечего делать. Завтра же уеду.

— Куда ж ты уедешь? — усмехнулся Гучков. — Это — бегство. С *этим* — бороться надо. От *этого* не уедешь. Оно к тебе и в корпус придёт.

— В Третий Конный?! — рявкнул Крымов. — Да я первую же солдатскую депутацию нагайкой встречу.

— Нет, нет, погоди. Я тебя так не отпущу. И в крайнем случае ты должен будешь мне кого-то посоветовать. Подумай несколько дней.

— Да мне и думать нечего. Тебе — демократического генерала? Так возьми Деникина. У него мозги — в аккурат такие, как у вас.

586″

(Пресса о Керенском)

…Его первый вздох почти совпал с последним вздохом первомартовцев.

…Любовь к народу клубилась в его честной груди — и он примкнул к социалистам-революционерам.

…Все думские каникулы посвящал объездам провинции. Приехал — облетел всех, шутками, рассказами пробудил, спрыснул живой водой. То — как-то стих, углубилась мучительная складка между его бровей…

…Его речи — моментные, но всегда общего характера… Его тактические предложения всегда носили отпечаток государственной мудрости.

…Он представляет интересы огромного крестьянства.

…Оратор Божьей милостью. Роковой. Одержимый словом. Избранный судьбой, историей, человечеством. С трагической печатью на челе. Такие люди рождаются в героически-порывные эпохи. Становятся вождями народов и делают историю.

…Перед выступлением волнуется до спазм в горле. Бледнеет, втягивает и вытягивает шею, глотает воздух как рыба без воды. Первая его фраза — всегда громкая, короткая как выстрел. Потом — короткая пауза. Потом — бурная, страстная речь… его слова летят с быстротой частиц радия.

…Слова его — внезапно родятся, как молния, льются бурным потоком, звучат музыкой сердца. Они — только пенистая оболочка честной мысли, только тигль для расплавленного чувства…

…Керенский — пророк революции. Пафос его безыскусственных слов создаёт детонацию в душах толпы, взрывает незримые залежи энтузиазма.

…«Приходят слова — спешу сказать, потому что другие теснятся, выталкивают. Когда говорю — никого не вижу, ничего не слышу. Аплодисменты входят в сознание толчками, действующими как нервные токи. Вообще всё время чувствую нервные токи, идущие от слушателей ко мне. Всё время в груди — горячие волны. Оттого голос вибрирует, дрожит. Выражений не выбираю. Слова свободно приходят и уходят».

…Отныне стало историческим: «Я не могу жить без народа. И в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, — убейте меня!»

…в него влюблена Русская Революция… Его имя — синоним красоты, чистоты и ясности нашей «улыбающейся» революции.

…Первый раз войдя как министр в своё министерство, первое, что он сделал, — пожал руку швейцару. Это было так ново, неслыханно, — разнеслось по всему Петрограду.

…86 человек в приёмной, не считая депутаций. На лестнице давка, в дверях не протолкаешься. Керенский ежедневно отрывает от своего времени час-два, чтоб обойти эту длинную очередь. …«Сперва депута-

ции! — предупредил Александр Фёдорович. — А уже потом деловые посетители».

…Вот — депутация социалистов-эсперантистов с пятиконечными звездами в петлицах. С безконечным терпением, с каким-то особенным участливым вниманием, свойственным только ему одному, выслушивает Александр Фёдорович приветственную речь (для успехов демократии необходимо ввести в учебные заведения курс эсперанто). В сущности, министр отказывает им, но эсперантисты уходят утешенные и очарованные.

С безропотным взглядом он встречает депутацию от партии анархистов — в чёрных блузах, с чёрными галстуками. Они явились не с просьбой, а с требованием. Керенский с осторожной мягкостью напоминает им о Кропоткине. Их требование решается компромиссом, они уходят удовлетворённые.

Туркестанская делегация — сарты в тюбетейках, текинцы в чудовищных шапках из чёрной овчины. Керенский немедленно удовлетворяет их просьбу.

…Семижильный он? Старый режим оставил Монблан несправедливостей. И теперь, когда можно открыть клапан, — тысячные толпы устремились к Керенскому, именно к нему! Пришла одна дама и жалуется, что муж хочет бросить её…

Теперь вы представляете, какую гигантскую работу делает гражданин Керенский? Не только днём принимает — и ночью. Необходимые приёмы назначаются в 11, 12, даже в час ночи. Доклады ближайших сотрудников происходят за завтраком, за обедом и даже у постели министра. Рабочий день в 16 часов кажется ему недосягаемым идеалом. Революция не щадит своих любимцев, она жжёт пылающие факелы с обоих концов… Не жалея, сжигает себя на громадной работе. Явился в министерство, устало сел и сказал стоящим в почтительности чиновникам: «Простите, но я две ночи не ложился».

…В зал входит — нет, вбегает — господин среднего роста, бритый блондин, коротко стриженный, в рабочей чёрной куртке. Он весь — порыв, непосредственность, страсть. За ним едва поспевает молодой адъютант, офицер с аксельбантами. Гром аплодисментов! Это — наш Керенский! Он — на эстраде, гром не умолкает. Властный трибун! Он любит толпу — и любим ею.

…Фотография не в силах передать его. Выражения и даже цвет его лица быстро меняются от душевных переживаний: стареет и молодеет, темнеет и светлеет — в зависимости от фактов русской революции.

…Когда говорит — часто опускает глаза. Будто углубляется в себя и в горячем сердце находит прекрасные слова, и в душе, чистой и пылкой, чреватые событиями мысли… Он скажет историческое слово, и слово это запомнится летописцами.

…Когда он говорит — жутко смотреть на него. Он говорит, как сомнамбула, полузакрывает глаза и словно глядит внутрь себя, словно прислушивается к тайному внутреннему голосу. Этот невидимый голос есть голос революции. Революция служит Керенскому нимфой Эгерией.

(«Русская воля»)

…Министр правды и справедливости. Символ нашей благородной революции.

Его, как первую любовь,
России сердце не забудет.

…Его имя должно быть золотыми буквами высечено на скрижалях истории. Если бы не он — мы б не имели того, что имеем.

587

Отец сегодняшнего капитана Василия Фёдоровича Клементьева был крепостной в Новгородской губернии. Подростком научился он самоучкой читать, писать и четырём действиям. Помещик сдал его в рекруты как неженатого. Всем им, рекрутам, приёмщики обрили полголовы, чтоб не сбежали, а сажая по телегам, ещё забили ноги в деревянные колодки и заперли колодки на замки. Так началась служба Фёдора Клементьева царю-батюшке.

Через сколько-то лет он свалился с коня на учении и стал годен только к нестроевой. Тогда отправлен в команду нижних чинов бобруйского военного лазарета, где за грамотность назначен фельдфебелем. Тут женился он на мещанке из города Игумена, домашней прислуге со следами оспы на лице, и пошли у них девятеро детей, из которых трое умерло во младенчестве. Местились же они тогда в казематном казарменном помещении крепостного госпитального здания, в комнате на два окна и разделённой перегородками на четыре клетушки. Оттуда и помнил Вася своё детство.

Уже позже отец, после 25 лет сверхсрочной службы, был уволен в отставку с золотой медалью «За усердие» и тысячью рублей пособия и сумел купить на комендантской мызе дом в четыре окна. Год переезда в новый дом особенно запомнился малолетнему Васе тем, что было всенародное радование в честь преподобного Серафима Саровского, все заказывали его иконы, а в день прославления — 19 июля, никто не знал, что это годовщина буду-

щей великой войны! — несли иконы в храм, как куличи на Пасху, со слезами пели: «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас!» — а заодно с тем любили и императора, чей портрет душевно был вывешен едва ли не в каждом доме — таких, как семья Клементьевых.

Вася окончил церковно-приходскую школу, потом начальное, потом городское училище, освобождён от трёхрублёвой платы как из семьи обременённой и за то, что хорошо учился. Старшие сестры тем временем выходили замуж, старший брат кончил юнкерское училище, а перед Васей, как перед каждым юношей, все пути ещё были равно темны и возможны. Товарищ по городскому училищу Айдик Лившиц увлёк его в нелегальный кружок. Кружок назывался «Самообразование», но всем членам выдали оружие, Васе — стальную дверную пружину, на одном конце приварена свинцовая шишка, так что легко убить человека. В том же кружке был и сын жандармского вахмистра — да и годы были самые революционные. Был у них и «технический вождь», товарищ Абрам. Партийные встречи они устраивали под видом вечерних гуляний на главной улице Бобруйска между двумя знаменитыми аптеками. А одна их сходка в еврейском домике, вросшем в землю, была окружена. С улицы стали жандармы, они бы арестовали, но зады оцепили городовые — и туда, измешивая весеннюю грязь, козий и человечий навоз, кружковцы выбрались и были добродушно пропущены городовыми. Вскоре арестовали двоих из военно-фельдшерской школы, по городу пошли пересуды о «социал-изменщиках», мать нашла васину гирю, — и он должён был отнести её назад товарищу Абраму, который был возмущён отступничеством. Так, лишь случайно, не пришатнулась васина жизнь к революции. И ещё, лишь по знакомству, удалось ему получить свидетельство о благонадёжности, без которого не открылся бы путь в юнкерское училище.

Расширенные экзамены требовали и физики, и алгебры. В Вильне, в Духовом монастыре, идя на экзамен, Вася истово молился перед ракой мучеников: ведь родители не могли его дальше содержать, но сами ждали помощи. (И в том же монастыре молился он, когда, успешному портупей-юнкеру, ему от простуды отказал голос и его хотели списывать в отставку.)

Первый раз войдя в казарму, он задрожал от батальных картин на стенах — Восемьсот Двенадцатого, балканской, хивинской, а одна была картина как проверка духа: старший фейерверкер Ми-

ронов стоял, одну руку на пушку, а над ним хивинец с занесенной шашкой: пленный Миронов отказался учить их стрелять, и сейчас его зарубят. А ты бы отказался?

За училищные годы Клементьев сжился с тем, что несёт в себе русская армия, — и ко дню производства монаршей милостью в подпоручики уже дики ему казались свои другие неизбранные пути. Единственно главная была — военная служба, с отцовским старым самозабвением, под началом Верховного Вождя Армии.

Оттого-то полученная на днях бумага об отречении Верховного Вождя жгла ладонь, как головешка. Смертоносная бумага. Это была потеря — больше чем близкого любимого человека, а — на ком всё держалось. Знали: *там есть,* — и спокойно выполняли свой долг. У капитана Клементьева текли слёзы по щекам, только никому не показанные.

В чём совсем он не слукавил — не притворился не только радостным, как командир дивизиона, как некоторые офицеры, — но даже равнодушным. Он так откровенно и видом являл и говорил солдатам вслух, что разразилось над Россией горе и ждут горя́ ещё худшие. И никто из солдат не позубоскалил, не усмехнулся — но уважали его, что вот он верен остался царю, а не спешил выпередиться к новым порядкам. (Его все солдаты крепко уважали со Скроботовского боя, когда он сорвал противогаз, чтоб отдавать команды — и долго потом ходил травленый.)

За минулую неделю как будто совсем заглохла всякая боевая и даже служебная жизнь — только что кухня приезжала дважды в день да раз сводили солдат в баню. Клементьев понимал, что службу упускать нельзя, а внутри всё было отбито и ничего не хотелось. И со стороны немца замершего ничего не происходило — ни выстрела за неделю. И тем более пропала вся служебная охота у солдат и даже фейерверкеров. Хотя неповиновения никто никакого не выказал, и прежним тоном солдаты привычно здоровались по-старому: «Здравия желаю ваш высбродь!» — а заметив недовольный взгляд на свою явленую расхлябанность: «Это, господин капитан, я так неприбранный потому, что иду за надобностью». Но и каждая лишняя затяжка пояса и продёржка шинельной морщи под ним так же должны были начинать им казаться лишним делом.

И на вечерних молитвах уже не пели «Боже, царя храни».

Да и молитва ль ещё додержится?

Без Государя станет армия — не та, не та. Такую армию построить — нужны столетия. А развалить — ничто не долго.

Особенно мучило Клементьева, день ото дня даже больше: как он мог дать новую присягу? — смахнуть прежнюю как не было.

Как зашлёпался.

Но великий князь Михаил Александрович прямо призывал всех подчиниться Временному правительству. И генерал Алексеев и генерал Эверт признали эту власть. И великий князь Николай Николаевич. Однако вот не стало вдруг ни Эверта, ни Николая Николаевича, — а присяга уже дана безвозвратно, а свою душу капитан Клементьев уже повязал.

Пришёл юмористический журнал — и в нём карикатура: как два венчаных брата откидывают скипетр и корону, никто не хочет принять.

Неуважительно — а ведь так… Стыдно.

Думал про Государя: а как он теперь? Что вот делает сейчас? Ему-то с такой высоты низвергнуться — каково? И знает ли, сколько верных ему осталось в армии? Но все рассыпаны — и ничем Государю не помочь.

Ощущение было — сломившейся жизненной оси.

И — аппетита не стало, совсем уж болезнь. Денщик приносил уговаривал:

— Ешьте, ваше высокоблагородие, ещё наголодаемся.

Отодвигал молодой капитан:

— Не хочу, ешь и моё.

От стола крестился на иконку малую в угол.

Начальник телефонистов бойкий старший фейерверкер Теличенко пришёл взять телефон на осмотр. Тоже звал «высокоблагородием».

Усмехнулся Клементьев:

— Зачем порядок нарушаешь? Господин капитан.

Отмахнулся Теличенко:

— А мы на старую благородию валимся, как приучены. «Господином» обзывать — как-то и язык не выворачивается.

Сам ли думал, или поддавал в тон капитану:

— Всё! Теперь подалась наша Расея — а куды? Теперь замест того, чтоб немца колотить, мы как бы один другому не наклали, — уверенными пальцами подгонял проволочки под клемму заменного телефона. — Столько мужиков без дела собралось, да если

немца не бить — кого-то же надо? Сейчас мы — как пьяные стали все.

Вздохнул по-старчески капитан с лёгкими молодыми усиками:

— Да, Теличенко. Ни думать, ни говорить не хочется. Кто-то за нас надумал и сделал.

Взял фейерверкер телефон под мышку — да действительно проверять надо было или он предлог искал?

— А вы, вашвысбродь, всё одно отдыхать не лягете, по вас видно. А приходить к нам на батарею. Вместях сподручней и вам и нам разобраться.

И тронуло и резануло Клементьева это «к нам», так и занозилось после его ухода. Они — звали. Им и правда хотелось и потребно было от своего привычного капитана услышать что к чему. Но — *к нам* уже отделяют они. Солдаты куда-то уходят, как схлынывает вода.

Но и Клементьев же хотел — поближе к ним. Но и он — без них существовать себе не мыслил. Батарея была — одно его детище. Нельзя было допустить, чтоб отречение Государя разрубило их.

А тут вскоре пришёл — из батарейного резерва прикатил на бричке — фельдфебель Никита Максимыч. Пахнуло от него движеньем и решительностью: он и скрывать не скрывал, что новые порядки осуждает и доброй руки к ним не приложит. С ним было как со своим, даже своее, чем с молодыми офицерами, тем же Гулаем.

Угольная борода Никиты Максимовича, укороченная, но буйно-густая, не старила его, а молодила, ещё больше выражала его привычную власть. На большую теперь кручину, сидеть и вздыхать, у него не было времени и терпения. А приехал он вот с чем:

— Что ж, ваше высокоблагородие, войны нет, а лошади у коновязей обамуниченные, маются. Иному коньку и соломки подстелешь, попонкой прикроешь — а стоит, не лягет. Уж ноги в наливах, голова к земле гнётся, а стоит. Потому — амуницию сознаёт. А дозвольте — разамуничить? Хоть на дённую пору?

Лицо у него было набряклое, грубое, даже разбойничье, — а лошадиные боли первее чувствовал.

— Да ведь, Никита Максимыч, теперь-то пехота и ненадёжная стала, теперь-то и побежит? Не успеем орудия взять.

— А без лошадей остаться — лучше?

— Но до сих пор не оставались?

— Так то война была…

Да, вот как… Б ы л а …

Не решился Клементьев сам, доложит командиру батареи. Но вскоре после ухода фельдфебеля подумал: а лошади-то не отделялись на «вы» и «мы». А сходить-ка их посмотреть.

Пошёл пробитой тропочкой в обгиб леска. Где соступал сапогом с тропочки — там подавался снег пружинно, сжимался. Стоял серый оттепельный денёк, к концу.

Но до лошадей не дошёл. Уже видел их, под временным навесом, сколоченным из абы чего, в хомутах, с закинутыми на спину постромками, терпеливых боевых лошадок, в сером свете нерезко различались масти. Но сбоку, из большой землянки ездовых, послышалось Клементьеву протяжное пение. Пение — как в сказке: из-под земли, от закопанных братьев. И такой звук — безконечно тягучий и душевно родной, — как силой повернуло Клементьева туда.

Пели во много голосов, и так сильно получалось, что и при закрытой дверке проступало сквозь дерево, солому и землю. И ещё мелодии не узнав, ни слов, — а уже понял Клементьев, что малороссийская. Столько соединяющего тепла было в распеве, — как лилась бы целебная бальзамная смазка между словами, вылечивая и в безнадёжности. А распев — медленный, как облака, плывущие по небу солнечному да над пшеничным полем.

Никакой другой музыки, кроме пенья церковного да народных песен, Клементьев сроду не понимал. Ничто были ему все эти граммофонные пластинки, как любили офицеры, с ихними пискливыми романсами и раскатами фортепьян, — проходили, совсем не задевая душу. А когда мальчиком он пел в церковном хоре бобруйского собора, то выступали они с концертами и светского пения, там певали они и песни народные, — да и летними вечерами ученики собирались петь под плетнями, на крутом берегу Березины. (Дико вспомнить: помощник соборного регента внушал им петь: «Россия, Россия, жаль мне тебя! Царь Николай издал манифест: мёртвым свобода, живых под арест».)

И сейчас это пение протяжное, как сама живая жизнь, — так и тянуло сразу за внутригрудье, тянуло своего к своим.

На солдат ли обижаться? Разве этот петербургский переворот они звали или делали? Да они сами растеряны, не знают, куда руки деть. Они если дерзить начинают — так пробуют, как всякий новый предмет хочется расщупать.

Но все вместе закинуты на дальний передний край против врага. Но всем вместе тут или стоять, или погибнуть. Разве можно нас разделить?

Капитан Клементьев спустился по земляным ступенькам, одетым в жердяник, тихо отворил дверь. Она пригораживалась печью, и входящий не был сразу заметен, да и внутри совсем серо. Двое ближних солдат у нетопившейся печки заметили — шевельнулись будто команду подать, но и тоже неохотно, со святостью к песне, — Клементьев остановил их рукой. И так застрял в тёмно-сером углу. Да он уже со ступенек узнал песню, не в самих словах и дело было, а в душе:

Край берега по затишку привязаны човны.
А три вербы схилилися, мов журятся воны.

Ездовых в землянке была дюжина. Почти все лежали навзничь на земляном возвышении, заменявшем общие нары, одетые, в сапогах, — и все подпевали, свободно зная песню, но всем голосом выражая несмерно больше, чем могли передать слова:

Як хороше, як вэсэло на билим свити жить.
Чого ж у мэне серденько и млие и болить?..

588

Как в страстны́е часы отречения разительней всего было Государю услышать об измене Конвоя — так в эти первые дни плена всю царскую семью горше самого плена мучило сознание — измены верных. Кого считали верными. Флигель-адъютанты. Светлыми, долгими, радостными годами считали их верными — а они отпадали даже в первые минуты опасности.

Ещё на ходу царского поезда спасал себя и свои чемоданы Мордвинов. Ещё с царскосельского вокзала, даже не заметили когда, — скрылись Нарышкин и герцог Лейхтенбергский. Отстал ещё в Ставке Граббе. Но больней всего пришлась измена Саблина — почти родного, почти члена семьи, обязательного на тесных семейных карточках, милого любимца всех детей.

Ждали их, ждали день за днём, хоть кого-нибудь. Спрашивали по утрам у Бенкендорфа: «Не приезжали?..» Он качал старой головой.

А потом: «И не приедут, Ваше Величество!»

Эти последние дни ещё оставался, но не скрывал своих терзаний заведующий делами государыни граф Апраксин. Сегодня и он прощался, так безсмутительно и выражая, что его обязанности перед собственной семьёй не разрешают ему оставаться в арестованном дворце. И ушёл навсегда.

Но ведь у Лили Ден был оставлен и брошен маленький сын, и она вовсе не обязана была по службе, лишь по дружбе и верности разделила все тяжкие дни с государыней, а теперь осталась и среди арестованных, удивительная душа! Кажется — чужой швейцарец, Жильяр — добровольно заперся с пленниками.

Совсем рядом, в лицейском здании, тоже обращённом в тюрьму, томились — и не было сил им помочь — захваченные начальник дворцового управления Путятин, начальник дворцовой полиции Герарди, генерал Гротен, генерал Ресин, командир корпуса жандармов граф Татищев, подполковник фон Таль и ещё несколько. Их не кормят, не дают постелей, они лежат на школьных партах и на полу. Их всех арестовали в ранние дни — и теперь, по измене других, что́ можно было думать: и из них отпал бы кто-нибудь, продлись его свободный выбор?

Эти грозные дни распахнули перед царской семьёй до сей поры непредставимые глубины человековедения. Крушились, но и возрастали в этом суровом опыте. Как же они, глядя в глаза, слушая речь, — так могли ошибаться в людях?!

И любимый духовник Их Величеств — отец Александр Васильев — тоже не шёл на зов во дворец. Тоже отшатнулся? (Говорили и: болен.)

А боцман Деревенько — пестун и нянька наследника, обласканный, засыпанный подарками, всегда верный как пёс, теперь мог, заставали его: развалясь в кресле, приказывал наследнику, едва вставшему из постели, подавать себе то и другое.

«Половина Ея Величества» — остались на месте почти все, от камердинеров до низших слуг. «Половина Его Величества» — рассеялись почти все. Остался верный камердинер Чемодуров.

О Господи, Ты один, ведающий души людские, — открой же нам, научи же нас: видеть суть людскую.

И — прости им отступничество их…

Никогда б не ушёл Григорий — и вот лежал поблизости, — но и мёртвого выкопали, осквернили, увезли.

А уж обо всех великих князьях — что и говорить? Они всегда были первые враги царской чете. Теперь многие — и в газетах поносили, ища расположения публики. И даже Павел — дал пошлое газетное интервью. И, живя по соседству в Царском, — от момента ареста не пытался связаться.

Впрочем, связаться с арестованными теперь и не легко. Узникам запрещены телефонные разговоры, аппараты остались только в караульном помещении. Туда же доставляются все письма и телеграммы, все вскрываются — после чего их вручает новый комендант Коцебу, — как раскрытыми же принимает и все письма от царской семьи. (Но этот ротмистр оказался очень сочувственный человек, даже просто хороший, — и немало писем вручил и отправил закрытыми, отправлял и телеграммы, иногда украдкой передавал и сообщения, полученные по телефону.)

Охранный гарнизон действовал по инструкции, разработанной до поразительных деталей. На положении арестованных состояла и вся придворная прислуга — повара, лакеи и вся челядь, лишь внутри помещений имея право свободного перехода и исполнения обязанностей. Докторам ли, механикам — право входа (и потом в сопровождении) и выхода каждый раз с разрешения дворцового коменданта, остальным — только с разрешения Временного правительства. Дежурный офицер просматривал каждый стебель приносимых цветов, папиросную бумагу, в которую они завёрнуты. Вскрывались и истыкались банки с маслом с петергофской фермы, а булки и печенья лишь потому избегали этой участи, что их пекли в кондитерской дворца. (Впрочем, прерывался то один продукт, то другой, то даже картофель, а гофмаршальская часть обращалась к комиссару по делам бывшего Собственного Его Величества Кабинета с просьбой не прерывать доставку молока больным детям бывшего императора.)

Посторонних лиц не впускали во дворец без разрешения правительства, но революционные солдаты — развязные, вызывающие, могли сколько угодно бродить по дворцу, потому что внутренних постов не было. Они всё хотели видеть — комнаты, вещи (и воровали многое, особенно серебряные ложки), требовали показать им наследника, едва не ломились в комнаты больных детей, во все комнаты, приходилось запирать двери; высказывали обо всём беззастенчивые замечания, бранились с прислугой — зачем одеты в ливреи, зачем слишком ухаживают за царской семьёй,

зачем слишком сильно кормят и почему несут вино. По вестибюлям, коридорам, парадным залам они ходили в шапках, куря, шумно, вид их был страшен, собственные офицеры боялись их, — да во 2-м гвардейском стрелковом полку и сами офицеры оказались ужасны, ни одного кадрового, всё какие-то зелёные прапорщики.

Но и снаружи успевали они набедить: в парке стреляли по козам, застрелили трёх оленей, полуручных. Одного — совсем близко, и долго кровь бурела на снегу у пруда.

Самого́ революционного Петрограда, самой революции царская семья так и не повидала — но эти развязные солдаты, ещё недавно лейб-гвардейцы, убеждали довольно.

И чтобы меньше было столкновений и расстройств — все приняли: буквально выполнять распоряжения коменданта и охраны. С полным спокойствием и покорностью (как военный человек) относился ко всем строгостям экс-Государь, не высказав ни разу упрёка, ни даже когда приходилось у запертой двери ожидать по 20 минут конвоя и ключа.

А государыня замечала — ещё, кажется, менее его и всех. От момента возврата супруга отпало ей быть главной воительницей, да и сломлена она была минувшими десятью днями. Теперь она всё более сидела в кресле у сына или у дочерей, часто уйдя в свои неприступные мысли.

На прогулки Николай каждый день ходил с обергофмаршалом Долгоруковым — на час, на полтора. Вчера и сегодня стояла серая оттепельная погода, не очень приятная. В парк ходить воспрещалось, но для прогулок оставлена была часть сада, отделённая замёрзшей канавкой. Особенно любили — расчищать от снега дорожку вокруг лужайки, друг другу навстречу. Иногда при этом Николай помахивал рукой своим, смотрящим в окна. Полукружьем стояла цепь часовых. Каждому, к которому приближался, Государь говорил «добрый день». Одни вовсе не отвечали, другие — называя полковником, третьи — «Ваше Императорское Величество». Что творилось в их шинельных грудях? Что держалось в их головах? И офицеры вели себя по-разному: одни (из студентов) — наседая почти на пятки и окрикивая «полковник», другие — сторонясь отчуждённо. Офицеру каждому Николай протягивал руку для пожатия. Одни принимали, другие — неловко прятали руку. Иногда расспрашивал их, из каких они военных училищ. Один от-

ветил, что — Виленского. «Да, — похвалил Государь, — у виленцев развито чувство товарищества. Хорошее училище».

Да что ж было на них обижаться? Так ли и об этом ли нужно было думать? В одно утро посмотрел Николай в окно — и увидел часового, спящего сидя, а винтовка валялась рядом в снегу. И смех и слёзы. Что же будет теперь с нашей армией? Как же пойдёт она в своё последнее наступление?

А Николай — так надеялся на нашу победу именно в кампанию Семнадцатого года!

Ах, лишь бы эта несчастная война хорошо кончилась для России, всё остальное — не важно!

Отходили ноющие удары — от ареста, от первого приёма здесь, от смотрин. От голого стыда развенчанности, от своей беззащитной доступности. Не задевали мелкие оскорбления младших офицеров, обманутых солдат. Это всё они совершали — по неведению. Вот, звали «полковником». Думали, что унижают? — ничуть. Николай и не мог сам себе присвоить звание выше, чем успел дать ему отец.

Раз отречение было необходимо для счастья страны — как же было ему сопротивляться? В те дни — жгло, и была досада на многих, и была попытка взять назад, — а вот за несколько дней, как с потерей последней внешней свободы спала и последняя ответственность, — Николай уже и не досадовал. Уже и не жгло.

Он радовался — что кровь не пролилась. (Если где и пролилась — то вопреки его воле.)

Вот за эти три-четыре дня в родном Царском Селе — в этом дворце он родился, он любил его, золотое же заточение! — к Николаю вернулась ясность духа — и смирение. Ничего больше он не мог исправить, никуда его не тянуло, не рвало, — все свои государственные обязанности он кончил. Сдал. Уже никто не мог прийти к нему с докладом, иногда досадливым, или с трудным предложением, смущающим ум, не надо мучиться с выбором. Всё своё — Николай сделал и кончил. Что мог — он сделал, и как мог лучше. И не надо больше наряжаться, переряжаться. (Влез в свои чиненные-перечиненные военные шаровары, которые были у него с 1900 года, Николай любил старые вещи.) Теперь, свалив с плеч все бремена, да жить своей семьёй. Милостивый Господь дал нам всем соединиться вместе!

Бенкендорф доложил, что, по всей видимости, они останутся в Царском Селе надолго. Приятное сознание! А сколько времени те-

перь — читать, для своего удовольствия или детям вслух. Николай помногу сидел то у Аликс, то у детей, особенно — у Алексея.

Очень озабочивали только их болезни. Алексей, слава Богу, перенёс корь легко и без осложнений. Две старших тоже вполне выздоравливали, ещё уши болели. Но Мария, продержавшаяся рядом с матерью самые опасные дни, теперь окунулась в корь едва ли не всех тяжелей: перекинулось и на уши и дало злокачественную пневмонию. Около неё собирали консилиум (власти разрешили, но — дикая грубость — чтоб и тут при осмотре присутствовали офицер и два солдата), а милый доктор Боткин, добровольно заточившийся, был рядом всегда. Анастасия же — почти поправлялась, вдруг опять заболели уши и тоже воспаление лёгких. Сегодня сделали ей прокол уха.

Пошли, Господи, пошли, Господи, только бы выздороветь всем.

Семья жила вся в левом крыле дворца, выздоравливающая Аня Вырубова и некоторые из оставшейся свиты — в правом. Иногда собирались по вечерам для чтения, для музыки — тут, в царском крыле, иногда шли навестить Бенкендорфов или то дальнее крыло — и Николай катил Аликс в кресле. И это был немалый путь, через протяжённость дворца! — ещё сколько пространства у них не отняли. Уютно было натопить камин — и в такую сырость сидеть в тепле и укромности. (Правда, жаловался Бенкендорф, что всё меньше выдают дров.)

А ещё была комната во дворце — биллиардная, всегда запертая, ключ у Николая — потому что там висели военные карты.

Кому же теперь они?..

Всё ж — Николай пошёл туда раз и, запершись, был с картами один, — смотрел, смотрел в тоске на корпуса, двинуть которые от него уже не зависело.

Перед картами он привык слышать ровный говорок Алексеева. Вчера сыну разрешили встать из постели — и сегодня отец повёл его сюда. И сам ему объяснял немного.

Теперь пришлось не посетить храмовый праздник Фёдоровского собора. Но к минувшему воскресенью хлопотали отслужить литургию в переносной церкви дворца — чтобы разрешили пропустить священника с дьяконом и четырьмя певчими. Разрешили, но подвергли их строгим формальностям и придиркам на пропуске. Собрались, кто на ногах, — семья, свита, прислуга. Так радостно было, что и в новых обстоятельствах не остались без службы. И молился Николай — за победу русской армии.

И слышал опять в ектенье не своё имя, но: «богохранимую державу Российскую и — благоверное правительство её». И — крестился истово, и — молился за Временное правительство: пошли им, Господи, этого благоверия, пошли им успеха в управлении Россией.

Он всё готов был им простить, он — уже им всё простил, лишь бы они спасли Россию!

Первыми с Аликс приложились к кресту, отдали молча общий поклон собравшимся — и ушли.

После того ночного, неоправданного, злого визита Гучкова к Аликс — никто из членов нового правительства не ехал в Царское, не выказывал намерения свидеться с отречённым Государем. Их на то свобода. Они не нуждались ничего перенять, ни о чём советоваться. Но бывший Государь был стеснён дебрями непонятности. Что будет с ним и его семьёй? Что будет с верными лицами свиты, давшими добровольно себя заточить, — но не навсегда же? Что будет с прислугою и служащими? — их сто восемьдесят человек, иные здесь целыми семьями, у других семьи вовне. И — ещё, ещё. Наконец: что будет с дворцовыми гренадерами, этими седыми ветеранами, изувешанными крестами и медалями за все войны, начиная от крымской? Не выбросят же их теперь на улицу?

Но не только не было ответов на все вопросы, а даже не разрешала цензура отправлять письма Бенкендорфа, касающиеся частного императорского имущества.

Наконец Николай сам обратился к Коцебу — передать просьбу, чтобы приехал посетить — кто же? — либо князь Львов, либо, очевидно, всё тот же неизбежный Гучков?

А пока внешний мир отвечал императорской чете только — газетами. Газеты проходили свободно. Раньше кроме «Русского инвалида» и «Нового времени» Николай не брал их в руки, он испытывал к ним брезгливость. Но сейчас и он и Аликс с интересом и с болью на каждой странице — смотрели и смотрели эти гадкие газеты, по нескольку разных за число. Странно, и остро, и обидно, и жутко было видеть своё прошлое и настоящее, и само нынешнее общество в этих неожиданных, резких, извращённых боковых лучах. И не газеты крайних революционеров занимались этой травлей — но газеты *общества*. Общий хор ненависти, глумления, поношения, проклятий — всей царской эпохе, династии и низверженной чете — уже даже не так поражал Николая и Аликс,

этим пронизано было всё. Но укол мог прийти с самой неожиданной стороны: вот, читали они, что английский атташе Нокс, столько раз принятый Государем не только официально, но за столом, — вот, в субботу посетил казармы 3-го и 4-го лейб-гвардейских стрелковых полков — тут, в Царском Селе, рядом,— и как ни в чём не бывало, как ничто не изменилось, будто Государь, союзник Англии, не сидел арестованный в версте от того места. Постеснялся бы…

Что говорят и думают о громовом низвержении династии, громовых русских событиях за границей — особенно больно и остро затягивало. Приходили, по подписке, иностранные журналы, приносили сейчас и их — но их номера опаздывали, ещё далеко отстояли.

Приносили в газетах и портреты новых министров. Долго и безпристрастно рассматривал их Николай: кому тут можно доверить? кто из них может возглавить Россию, не найденный вовремя им самим?

Из тех же газет узнавали и о своей судьбе: князь Львов открывал биржевому корреспонденту, что удаление династии из пределов России не вызывает сомнения и всё будет решено в короткое время.

Вот как?..

Сидели с Аликс — грустно. Ближайшим образом это не было долгое путешествие: всего несколько часов поездом до финляндской границы, единственное препятствие — Петроград, если выступят крайние левые партии (грозятся и убить). Ближайшим образом это давало им как будто свободу и независимость, — но подлинные ли? В гостях у Георга — стеснять его перед его левыми, и быть стеснёнными самим, как гостям.

И нельзя жить гостями, надо жить на свои средства. А у нас они теперь потаяли, 20 миллионов ушло на госпитали. А за границей ничего у нас нет, на что нам там жить?

Да и — что значит жить в изгнании отречённой императорской чете? Путешествовать по Европе — как высочайшим особам, давая собой материал для иллюстрированных журналов и быть предметом атаки американских корреспондентов? Страшно этой дешёвой популярности.

Конечно, Аликс хотелось повидать Дармштадт: там умерла её мать, там жила её сестра, Дармштадт ей дорог.

Коцебу, очень доброжелательный и лояльный, посоветовал государыне — написать королеве английской, чтобы та позаботилась о ней и её детях. (Один англичанин брался передать.) Аликс встрепенулась и ответила: «После всего пережитого нами мне не к кому обращаться с мольбами, только к Господу Богу. Английской королеве — мне не о чем писать».

Это — они, английская чета, должны были давно написать первые, хотя бы выказать сочувствие. Выразительно их молчание.

Такая мелочь — упала русская династия…

Николай всегда очень любил своего двоюродного брата Георга, забавлялся внешним сходством с ним. Не так-то он хотел ехать, но обидно, что Георг не отозвался, не посочувствовал. Неужели не мог прислать телеграмму?

Но если и ехать в Англию — то как бы потом, после войны, вернуться в Россию?..

В Крым.

Алексей — так любит Крым. И Крым — так ему полезен.

Но если ехать в Англию — какая грандиозная укладка вещей, страшно подумать!

А вот почему революционные партии так против нашего отъезда: они боятся выдачи каких-то мифических тайн.

От этого предположения у Николая загоралось лицо: эти низкие господа судят сами по себе. Хуже — его не могли оскорбить. Но это — писалось в газетах и внушалось всей России.

Не тайны — но интимную жизнь, но детали жизни государевой четы готовы были вырвать и вынести на базар. Газеты писали, что в Царском Селе будет производиться выемка бумаг государственной важности — для следственной комиссии.

Государственной важности — пусть берут, это теперь — их. Но того, что писалось между собою, что хранилось как воспоминания хрупкие, — нельзя было отдавать толпе. Это угадала Аликс — ещё до возврата Николая — и начала жечь свои дневники, письма. Однако в каминах нарастали кучи бумажной золы, это вызывало подозрения. А с этим надо бы спешить!

Подтолкнул ещё судорожный летучий обыск, устроенный в суматохе по дворцу: пробежали по всем комнатам, ничего толком не глядя, но всюду заглядывая. (Потом Коцебу сказал, из чего был переполох: искали — кто-то донёс, — что во дворце работает телеграфная безпроволочная станция.)

И Николай с первого же дня, как работу совершая, стал проглядывать и жечь из личных бумаг такое, что неприятно было бы увидеть в революционных газетах.

И так он наткнулся на письмо генерала Василия Гурко, присланное ему уже после отречения.

Странно, ведь он читал его в Ставке, всего неделю назад, но в тот момент принял — как должное, как обычное в его долгом царствовании выражение верноподданства. Потом сунул в общие бумаги.

Но столько изведал он за минувшую неделю — измен, лжи, притворства, низости, — что теперь письмо Гурко засверкало перед Государем алмазно: ведь он писал это письмо п о с л е отречения, когда всё уже было безповоротно объявлено. И — писал: что отречение было движимо великодушием! Что память народа — оценит это самопожертвование монарха. (О Господи!) И что Алексей ещё, может быть, вернётся на престол. (О Господи!)

А кончалось — так преданно, так верно,— Николай теперь зарыдал над письмом.

Какие же верные люди были около него, совсем рядом, и уже вся армия была вручена этому неутомимому, блестящему, отчаянному генералу! — и зачем же было его отставлять — да в самые последние роковые дни — он и был генерал для тех самых дней — и возвращать больного, маловерного Алексеева? — из одного лишь неудобства отказать ему в его посту.

А — что ж было тёмного между ними? Ах, вот: Гурко, будучи в Петрограде, посещал Гучкова.

Не настоял послать крепкий гвардейский полк на стоянку в столицу? Но, воинственный генерал, он дорожил каждым полком на передовой. И Николай сам же нехотя на это поддавался, ему и самому это виделось как нарушение патриотического долга: отзывать гвардию в тыл в разгаре войны, стыдно.

И если Преображенский полк в февральские дни и стоял бы в Царском — разве Государь посмел бы двинуть его на кровопролитие, русских против русских?..

Вспомнил, как великолепно Гурко провёл всю зимнюю конференцию союзников, как независимо! Никто не держался перед Николаем так дерзко, но и никто-никто-никто — не прислал после отречения такого верного письма.

Этого письма Государь сжечь не мог.

ДОКУМЕНТЫ — 28

13 марта

ГЕРМАНСКАЯ СТАВКА —
В МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, Берлин

Никаких возражений против проезда русских революционеров в групповом транспорте с надёжным сопровождением.

13 марта

ГЕРМАНСКОЕ М.И.Д. —
ПОСЛУ РОМБЕРГУ, Берн

Шифровано

Групповой транспорт под военным наблюдением. Дата отъезда и список имён должны быть представлены за 4 дня. Возражения Генерального Штаба против отдельных лиц — маловероятны.

589

Витебск и Полоцк уже прямо были связаны с Петроградом, и с этих станций солдат в поездах ещё увеличилось — да не командами по служебным командировкам, не возвратных отпускников, — но каких-то самовольных поездчиков, это проявлялось в чём-то, и была ли у них всех станция назначения, и знали ли они, куда ехали и зачем, — сомнительно. Теперь не стало им нужно брать билеты, шли в любой вагон, — отчего и не ехать?

От Витебска увидел и понял Ярослав хуже: не те солдаты оскорбительны, кто расстёгнут, чести не отдаёт, курит или семячки лускает, — а кто перепоясан, да только офицерской шашкой и офицерским револьвером. Или ещё хуже: сверх шинели, как солдаты носят Георгия, прицепил себе офицерский орден Станислав с мечами, да накривь, с поболтом, — и таких два-три мелькнуло на пересадке в Полоцке.

Это всё приходилось грозно понять: сорвали с офицеров, не подарены же.

То он всё ехал и мучился от стыда, что не смеет заступиться за своих соседей по купе, мучился, но и понимал, что он один не мо-

жет изменить сломившегося общего положения. И вспоминал, что эти все солдаты — сами не виноваты, что это — наши младшие братья, которым не так объяснили.

А вот — с холодком почувствовал и себя самого под угрозой.

А на станциях не только жандармов не стало — но и комендантских пунктов как будто.

И вот что на полоцком вокзале он заметил с удивлением: на такую увеличенную массу солдат стало офицеров совсем мало, куда меньше, чем их должно быть обычно: то ли не ехали вовсе, избегали, попрятались? То ли — представить нельзя — ехали, но переодевшись?..

Такого унижения для себя Ярослав бы не пережил.

На пересадке в Полоцке он сам поволок свой чемодан — но вдруг вывернулся невысокий веснушчатый, скромный солдатик и сказал:

— Ваше благородие, вам ить неловко, дайть я перенесу!

Солдатик оказался как из своей роты, совсем родной, не тронутый общим хамством. (Да и все такие, лишь бы им очнуться, напустили на них пьяного мороку!) Он же помог Ярославу и сесть на вилейский поездок.

Тут уже и все вагоны были 3-го и 4-го класса, но прежде — да три недели назад, когда Ярослав ехал в отпуск, — на отдельных вагонах была надпись — «офицерский». Теперь такой таблички он нигде не увидел.

В вагоне, куда попал Ярослав, было много народу, да все места заняты — и поперечные, и продольные, вдоль прохода, тут не разложишься, не ляжешь нигде, кроме верхних полок, а те уже захвачены солдатами и мужиками, — но лежать и не предстояло, через несколько часов надо было слезать на пересадку.

При посадке мелькнуло ему несколько офицерских погонов, не старше штабс-капитана. Но в самом вагоне, как сел и отпустил помогавшего веснушчатого солдатика, — ни одного офицера вблизи себя, вокруг себя, на просмотре — не видел Ярослав. Сидели — солдаты, мужики, бабы. Шинели, тулупы, поддёвки, свитки, чуйки — деревня и мелкогородская публика из недалёких мест, — а офицеров как вымело, как будто не на фронт шёл поезд, не залегала рядом громада действующих войск.

В иное время и представить бы лучше не мог Ярослав, как ему попасть в самую гущу простого народа. Но сейчас он не в себе,

напряжённо сидел, с сомнением и томлением. Хотелось ему скорей бы, скорей бы к себе в часть.

Разговаривали все сразу в разных местах, но звонче всех были солдаты, их больше и слушали.

Один солдат, с наянливой игрой голоса, самодовольно рассказывал, как в Петербурге повидал всех самых крупных бывших людей — и Штюрмера, и Протопопова. Да как же это ему удалось? А он — сам их арестовывал.

Публика вся обратилась к нему, онемела даже.

— И — какие ж они?

И — мог бы сбрехнуть парень, да не сбрехнул. Наслаждаясь своим приговором:

— Да люди обнакновенные. Да я — покрасивше их.

А наискосок, у прохода, сидели два матроса Гвардейского экипажа, неизвестно зачем-почему ехавшие в эту сторону, на сухопутный фронт. Не уступая ловкому солдату, стали и они рассказывать, голосом на четверть вагона, а на остановке и дальше слышалось: как они плавали на царской яхте «Штандарт» и подглядывали в каюту Александры Фёдоровны, когда у неё офицера́ были в объятиях.

Старый высокий мужик в продранном тулупе, в объёмистых валенках, насочавших влаги, на все рассказы только крестился:

— Гос-споди, Иисусе Христе! Гос-споди…

Яхту матросы называли правильно, — но уж так ли они плавали на ней? а всё остальное! — врали в духе этих недель, как установилось. И долг офицера и просто порядочного человека требовал бы от поручика Харитонова — строго их осадить. Но ещё в Москве насмотрелся он пакостного «Московского листка», который и в худшем тоне и даже карикатурах вязал императрицу с Гришкой Распутиным, сажая Государя дурачком под стол, — и вся русская столица, и вся образованная публика — видела и не возражала, а ухмылялись многие.

Нет, сломилось, повернулось что-то выше — и ничего не мог сделать поручик Харитонов, а только внутренне возражать. И только слушать дальше: что Гришка хотел помирить царя с немцем, а князья ему не дали, убили.

А что Государю и государыне пришлось за эти недели испытать, пережить, подчиниться? Уж трудней, чем Ярославу перетерпеть эти несколько часов в вагоне.

В каракулевой шапке и с короткой финской трубочкой лесопромышленник или торговец рассказывал, как на проеханной сейчас станции на той неделе арестовали солдаты жандармского подполковника, сорвали с него погоны — а сёстры из стоявшего на путях земского санитарного поезда разодрали те погоны себе на клочки — на память о прошлом режиме. А самого подполковника солдаты повели с собой в теплушку увезти прочь — и, ведя, не давали ему переходить через товарные составы по тамбурам, — не, ныряй под вагоны.

И — куда его могли увезти в своей теплушке? Трудно воображалось, чтобы сдать властям. Уж не застрелить ли на перегоне и выкинуть через дверь?

За минувший день сам поразясь своей ненаходчивости и неумелости, Ярослав представил, какая ненаходчивость должна сковывать вот так неожиданно схваченного человека — уже понимающего, что сейчас его будут расстреливать, и от этого особенно не могущего найтись, как же правильно вести себя, чтобы не расстреляли.

Уж недалеко было до Подсвилья, а там скоро и ветка на Глубокое. Казался полон их вагон — но во встречных поездах виделось ещё куда полней, и всё солдаты, в такой густоте, что и на площадках стояли, — откуда же и зачем столько их ехало, прочь от фронта? Столько их ехало, не проверяемых ни по билетам, ни по документам.

Получас за получасом шла вагонная жизнь — то покачка и постук, то остановка: то, при подаче назад, перебегающий лязг буферов, то, вперёд, натужный скрип тяг. Кто-нибудь бегал с чайниками за кипятком, разливали по жестяным и эмалированным кружкам, пили на столиках и на коленях, доставали снедь из мешков и ру́шали. В своём отделении все притерпелись к своему поручику, он не казался тут странным, лишним, — а как в своей части. Настроение было у всех самое мирное, разговоры растекались на своекожное, а о Питере, о царе, о революции и не вспоминали больше, и не говорил никто.

Но когда-то надо было выйти в уборную. Ярослав пошёл.

Не только обычной болтанкой поезд мешал идти, но нагорожено было в проходе и мешков и ног, выставленных и поперечных, — и не все подхватывались убирать их, а должен был Ярослав аккуратно обступать или вежливо просить.

Уже серело, к вечеру было, проводник поднимался к фонарям в перегородках, проверял, менял свечи.

А в узком тесном тамбурке перед уборной, где накурено было вовсе сизо, — вольно стояли трое крупных солдат и друг другу покрикивали сквозь грохот поезда. Может быть, они только всего что курили или для вольности стояли тут, — но не мог Ярослав тронуть ручку уборной, прежде не спросивши:

— Вы… не сюда… товарищи?

А как было спросить? Ярослав любил говорить солдатам «братцы», но здесь бы это звучало заискивающе. «Товарищи», — теперь все говорили так…

Высокий худой солдат, черноусый дядька хохлацкого вида, с подвижной мимикой, ссутулился через дым, наклонился к поручику, одну щеку перекосив, глаз прищуря, и крикнул — перекрикивая грохот поезда, самый сильный тут, над колёсами, да в маленьком тамбуре, — нет, просто крикнул на поручика:

— А-а-а! Вот он! А ну, сымай шашку, ваше благородие! И револьвер сымай! Сдать оружие!

Холодно-горячим исполоснуло поручика Харитонова, он вскинул подбородок.

Толчком к действию.

Но — какому? Уже нельзя ответить примирительно! Уже невозможно искать добрый тон!

Но — что??

И — не первому переступить непоправимую границу.

Как знакомый неотвратимый, нарастающий подлёт близкого снаряда — вот, сейчас грохнет! И — ничего нельзя остановить!

Под ногами грозно стучало, унося наискось.

А второй солдат, который ближе стоял — с тупым, одутловатым низом безбородого лица, — без выражения и без крика, рта не раскрыв, сразу взялся за портупею, за косой ремень, на котором держалась офицерская шашка, — рвануть!

Во вьющуюся секунду Ярослав Харитонов как вывился из тела своего, уже попрощавшись с ним, — всё равно подошло прощаться, уступить нельзя, и что-то случится сейчас невообразимое. Вывился — в жалости к своей несостоявшейся молодой жизни, к этому глупому попаданию, к этому жалкому концу мечтавшегося офицерского пути.

И черноусый, нагнувшийся, не выказывал, чтоб шутку затеяли, — а глядел как разбойник.

Всего-то вот так предстояло ему кончить, сейчас! Кончить, потому что отдать оружия Ярик не мог, и остаться жить после оскорбления — тоже.

Выхватить шашку было негде, разве только подбоднуть черноусого обушком, — но отбиться руками в тесноте от трёх здоровых нельзя — и отступить назад через прихлопнутую дверь опоздано — а ещё можно было выстрелить в одного.

И — не решив, не соображая, — сама проворная правая шмыгнула по боку расстёгивать кобуру.

Молодой — широкая челюсть, уцепясь за портупею двумя лапами, а ещё не рванув, сам себе загораживал и не видел.

А черноусый дядька заметил — и долгой левой перехватил правую Ярослава, вжался пальцами:

— А-а, гадёныш, кусаться?

Это — кто гадёныш, о ком говорилось? — не успевало вместиться в сознание.

Уже не хватало силы и простора — оба локтя упёрлись сзади в стенки — освободить руку при пистолете или спасти шашку, — а тут из дыма насунулся ещё и третий.

Это был сильно широкоплечий, шароголовый мрачный боровок, и глазки маленькие, страшней тех обоих.

И от этого, как не от первых двух, понял Ярослав, что пощады ему не будет сейчас: свирепый этот, с кабаньим оскалом, короткими сильными руками — как будто в разведке на языка насунулся вот на немца.

И этот третий закричал яро:

— Стой! Стой!

Уж и без того стоял Харитонов, откачиваться некуда и не хотел. С презрением к этим трём неблагодарным тупым дуракам, растоптавшим всю его веру в русского солдата. Оставалось рук — не отдать шашку, не отдать пистолет, и то уже не хватало.

— Стой! — ещё лютей кричал кабанок. — Стой, не трогай! Это же — наш поручик, это свой!

И, совсем насунувшись Ярославу к лицу, как бить его хотел головой в подбородок, и перекрикивая грохот колёс:

— Ваше благородие! Да ты помнишь меня? Я — Качкин, Аверьян! Мы — из Пруссии выходили вместе!

И — спускаясь обратно в уже покинутое тело своё, возвращаясь жить в чести, Ярослав помягчевшими, послезевшими глазами снова увидел этого увалистого кабанка, короткоухого, как

тот показывал тогда над могильной ямой, что копать будто не в силах:

— Качкин, вашвысбродь, по-всякому может! И ничего не докажете.

И его решительное лицо не выражало виноватости.

Ноги огорячились, отмякли, отпадали.

* * *

Все леса зашаталися…

(из песни)

590

Стать обер-прокурором Святейшего Синода (и показать им всем!) — заносился в мечтах Владимир Львов, когда хаживал, после университета, вольнослушателем в Духовную Академию, — но, конечно, никаких реальных шансов не было у него никогда. Пламенное сердце его, не мирящееся с несправедливостью, клокотало ото всех гнусностей, которые вершились в церкви. Но всё влияние его было — членство, а потом председательство в думской комиссии по церковным делам.

И не ждал он в наступающем году сотрясательного хода событий. Однако у себя в имении в Бугурусланском уезде под этот Новый год с семьёю запели «Боже, царя храни», наливая в таз с водой смесь белого, синего и красного воска ёлочных свечей (жена считала всякое гадание противоцерковным, но под Новый год у них разрешалось), — и вдруг почему-то, необъяснимо, вся вода в тазу сразу окрасилась в красное. Вздрогнули такому предсказанию. Столько крови прольётся?

И вот — пронеслась огненным вихрем великая революция, и новое правительство нуждалось кого-то назначить обер-прокурором — а никого и близко не было, хоть чуть касавшегося церковных дел, — и все взоры обратились на Владимира Львова, приехав-

шего из Бугуруслана на думскую сессию, вознесло его вмиг и на обер-прокурорство, и в члены правительства, — он благодарил Провидение за такую судьбу.

Ехал ли он теперь в автомобиле или в поезде, отмахивал ли длинными ногами по залам Мариинского или по коридорам Синода, — он так и слушал, как внутренне в нём отстукивало, сердце в груди и кровяными волнами в висках: обер-прокурор-Святейшего-Синода!!

Ну, теперь он расчистит это затхлое гнездо! Ну, теперь он пропишет всем идиотам и мерзавцам на митрополичьих и епископских местах!

Уже знал он, что в обществе стали его звать «русский Лютер», и ждали от него великого разгрома церковной рухляди, — и такая необузданность, ой была в нём, ой была! (Одна жена умела его сдерживать, но она осталась в Бугуруслане.)

Да, его принцип всегда был — взаимное невмешательство церкви и государства. Но этого надо было добиваться при царе. Это можно будет установить потом, при республике. А теперь, на первое время, надо переустроить Синод, излечить церковь от язв, от удушливой атмосферы, — а потом уже невмешательство.

Но в духе общих принципов революции, на первом же своём заседании Синода 4 марта Львов так и объявил духовным отцам: отныне — Синоду полная свобода по делам церкви. Цезарепапизма больше в русской церкви не будет! И предложил тут же вынести из зала символически присутствующее царское кресло. Вынесли.

Сила положения Львова была в том, что все эти старцы полностью растерялись: не только не промямлили ничего в защиту царя, но распространяли отречение оглашением в церквах и поспешно снимали поминания царя из церковных служб. А ведь сколько могло бы быть конфуза и затора Временному правительству, если б иерархи упёрлись. Но Львов пригнул их властной рукою.

А первый, кого ему надо было вышибить, — митрополит петроградский Питирим, был в дни революции даже временно арестован, перетруханный отпущен домой, в Синод не являлся, связи его с Распутиным были известны, — вышибить его не представляло труда. Уволили на покой!

И, не спрося Синода, Львов телеграммой вызвал на митрополию в Петроград уфимского епископа Андрея Ухтомского — первейшего умницу, реформиста, который хотел устроить приходскую общественную жизнь и чтобы сельские батюшки умоляли

сельскую интеллигенцию помочь священникам приспособиться к новым революционным формам жизни. Пока же Андрей Ухтомский ехал — во временное управление петроградской кафедрой вступил скромненький гдовский Вениамин, в котором Львов не предвидел сопротивления.

Однако он переоценил свою победу над Синодом. Да был слишком занят на заседаниях правительства — тут решался вопрос ареста царя, царицы, смещения Николая Николаевича. Когда же через несколько дней Львов снова явился в заседание Синода, на этот раз вышибать митрополита московского Макария, — то неожиданно встретил дерзкий бунт иерархов. Синод не только отказался отставлять Макария, но заявил, что желает воспользоваться благами объявленной свободы и отделения от государства и просит обер-прокурора не проявлять свою единоличную волю, а Синод решит сам!

Ах вот как?? 200 лет жили в дружбе с поработителями народа, были рабами бюрократии, 200 лет не вспоминали о свободе выбора, а когда революция им поднесла?.. Что ж они не вспоминали о своей канонике раньше?

— Да неужели у вас такая дерзкая мысль, — загремел на них Львов, — что до Собора вы станете вершителями церковных судеб? Да вы сами неканоничны, император выбирал епископов из трёх кандидатов. Если вы такие совестливые — откажитесь сами от своих мест! В чём гарантия, что вы будете управлять церковью лучше, чем я, Львов? А разве моя власть не от Бога??

Зароптали иерархи, что Церковь никогда не переживала такого давления.

— Так переживёте! — предупредил их обер-прокурор.

Быстро же перехватили святые отцы методы революции! Львов дал волю своему гневу, — а он страшен был в гневе, знал, чёрные брови его метались, как рога у быка. Он быстро им объяснил, что сперва прометёт метлою дочиста, как требуется, — а лишь потом будет у них свободная церковь! Да он всех их разгонит, вот что!

Но иерархи не обратились в бегство, не полегли, а подали — да заранее подготовленное! — коллективное прошение об отставке. И даже самые тихие, как гдовский Вениамин и литовский Тихон, — оказались среди бунтарей, чего Львов никак не ожидал: они были — не заядлые, они были не распутинцы, их никто и не трогал, — чего они?!

Однако тут обрывалось могущество Львова, это он сообразил. Коллективная отставка Синода в такие дни могла бы подорвать и Временное правительство, большую внесла бы сумятицу! Этого Львову не простили бы в самом правительстве: он же знал по тайным заседаниям, как у всех голову ломит, сколько задач.

И тогда он решил святых отцов перехитрить: смягчился, обещал подумать, — а их просил в отставку не подавать.

Он вот что задумал: ринуться в Москву, где как раз проявлялось и сплачивалось прогрессивное духовенство — протоиерей Цветков, священник Востоков, уже создали московский комитет действия духовенства, — ринуться к ним туда и общественно-церковной волной свалить Макария с той стороны.

Сказано — сделано! В субботу выехал в первопрестольную, а в воскресенье, вчера, — уже проводил собрание прогрессивного духовенства в покоях епископа можайского Дмитрия, тут были и из мирян известные, Кузнецов, Новосёлов, Громогласов, — тут Львов был как бы вполне среди своих, прогрессивной понимающей общественности, и мог говорить откровенно: что призывает их поддержать его в борьбе с Синодом и доказать, что вся полнота власти — в руках Временного правительства. Сам же он от своей твёрдой позиции не отступится ни за что! А также просил их помочь подыскать вместо престарелого безвольного Макария кандидатуру нового митрополита, который будет уставлен не назначением, но избранием, ладно.

Уж тут-то ожидал Львов дружности и сплочённости — но епископ дмитровский зачем-то привёз на совещание бывшего епископа владикавказского, уже на покое, проживающего у него в доме. И этот владикавказский внёс не то что диссонанс, но просто сильно расстроил собрание: он с упорством выступил, что прокурорская власть не должна мешаться в дела церковного управления (с каких это пор они такие стойкие стали?), — и даже резко обвинил, что Львов в Петрограде явился в покои митрополита Макария с вооружённой командой, офицером и солдатами, для ареста митрополита.

— Клевета! — закричал Львов. — Клевета!

Однако единство собрания было сильно испорчено.

Всё же постановили: просить Макария покинуть митрополитство.

Но у Львова не осталось ощущения, что он взял верх: *просить* покинуть — это не то что прямо отставить.

Нелегко ему было нести духовную власть!

Сегодня весь день в Москве он провёл активно — кинулся в учреждения чисто гражданские, ища прилива сил. Сперва поехал к комиссару Москвы Кишкину, жаловался на противодействие синодских иерархов и просил помощи комиссара. Кишкин мялся, повёл его в Комитет общественных организаций: тут были люди решительные, овеянные революционным духом, и дружно постановили: поручить обер-прокурору принять меры к немедленному увольнению Макария на покой.

После того ещё успел на заседание городской думы. Заявил думцам: что поскольку православие — важная отрасль государственной жизни, а Москва — центр православия, то просит он городское самоуправление оказать содействие в деле очищения духовенства от тех элементов, тех плевел, тех тёмных сил, которые своим прислужничеством старому режиму позорили церковь, — а сегодня вставляют палки в колёса реформ.

— Но я — не такой человек, — гремел он, предупреждал и врагов дальних, — у кого опускаются руки! И те палки, которые вставляют мне в колёса, — я обращу против них же самих!

Рукоплескали.

Сильно подбодренный общественностью, после обеда в ресторане Львов поехал на частную квартиру, куда приглашены были видные миряне-реформисты — опять же Кузнецов, Новосёлов и сам Евгений Трубецкой. Обсуждали с ними реформы, создали комитет для подготовки Предсоборного совещания.

И наконец, уже вечером, собрали в епархиальном доме весь московский церковный актив: по обстоятельствам революции и настроению времени, только свои, активные, и приходили, а реакционные сидели дома. Аплодировали дружно. Постановили: послать к Макарию депутацию и требовать, чтоб он отказался. Провести в епархии сплошь выборное начало, а на 6-й неделе поста, — сегодня начиналась 5-я, — выбрать и митрополита. Настолько ясно было, что Макарию теперь не устоять.

Таким образом, Львов мог торжествовать: своей московской поездкой он хорошо подкопался под Макария московского, пока он там в Петрограде в Синоде сидит «первоприсутствующим». А теперь — закрыть зимнюю сессию Синода — и до после Пасхи!

Но тем временем запускалось дело в Петрограде. Прочёл в газетах, что у Андрея Ухтомского, видно, лопнуло терпение ожидать митрополитства — и он поехал на фронт, агитировать за войну.

Да в Петрограде как раз было проще: не выбирать бы митрополита, а назначить уже подготовленного. Но нельзя было придумать, как же теперь отступить от выборного принципа, республиканская идея.

И она должна разлиться на всё Мироздание.

****

К дням минувшим нет возврата!
Русь царизма миновав,
К светлым вольностям заката
Паровоз летит стремглав.

(«Русская воля»)

591

Стал говорить ей «ты».

Сколько близости в этом слове! — голова кружится. Сама с собой потом перебирает: ты, тебя, тебе…

Состояние до того полное чудес, что страшно вообразить это потерянным.

И: удержать! удержать! удержать!

Говорят в городе: немцы идут на Петербург, уже взяли Ригу, Двинск. Всё это — бледной тенью, второстепенно.

Возобновились спектакли в театрах — не шла и не думала: с ним — нельзя, а без него — зачем?

Боже, как изменилась, как трудно это скрыть, все замечают, спрашивают. А в руки себя взять, притвориться — даже не хочется, от счастья. Разве руками лицо закрыть? — так ещё ясней.

Пока он здесь — глаза не пригаснут. Хотя каждый день теперь: а не последний раз?

В Нижний сейчас не поедет — будет какой-то у них съезд в Москве. Но если бы и в Нижний — к жене нисколько ревности, да по какому праву?

А только: послезавтра? — слишком нескоро! завтра? — нескоро! Хочу — ещё сегодня! И сегодня — тоже чтобы скорей! Сколько обнимая — а хочется ещё! И кажется: ещё бы один раз только!

Он полюбил, как она читает ему стихи. И сколько уже прочла.

…Ты знаешь, я люблю горячими руками
Касаться золота, когда оно моё…

А только: пить — не напиться, быть — не набыть.
А… если у меня б у д е т ?..
Ответил: у н а с .

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ МАРТА

ВТОРНИК

592

Генерал-майор Савицкий, начальник пехотной дивизии, ещё вчера получил распоряжение из корпуса: дивизию посетят два члена Государственной Думы, они выступят с речами, устроить обширный сбор представителей всех частей.

Офицеры дивизии взволновались: государственные люди, и прямо из Петрограда! В томительный клин одиночества, где офицеры казались покинутыми, входили светлые фигуры поддержки. В сегодняшней обстановке это было едва ли меньше, чем раньше бы — приезд Государя.

Устроить солдатский сбор ото всех частей, также и с передовой линии, и не помалу, тысячи на полторы, оказалась задача не простая, но штабные охотно хлопотали, то и дело перенимая телефонные трубки. За селом поспешно сбивали возвышение для речей и трибуну обтянули красной бязью: все теперь так делают, иначе это даже вызов или неприличие.

Всё для всех было необычно, а уж солдатам тем более: собраться не на парад и без винтовок, и не приказ выслушать, а на какое-то говорение с посторонними — и начальство не запрещает. Отовсюду, меся рыхлый снег, сходились к назначенному часу. Их ставили в карре вокруг трибуны, но и строимые и строящие чувствовали себя не в обычае, и строй только что не растекался в круглую толпу.

У солдат кое-кого были красные лоскуты на шинелях. У двух-трёх офицеров — тоже бантики, небольшие.

Стояло оттепельно, светлеющая пасмурь: облачный заклад расходился к тонкому — а так и не открылось.

Невысокий Савицкий, туго накрест перепоясанный, при шашке, с коротко подхваченной бородкой, в шестьдесят лет — офицер-молодец на сорок, расхаживал хмурый, с поджатыми губами, не к празднику.

Ждали депутатов на автомобиле — те всё не ехали, и время текло, что-то по дороге случилось, — а приехали на час позже в выездных глубоких санях, запряжённых тройкою крупных артиллерийских лошадей — и в гривы всем трём были вплетены красные ленточки.

Из саней первый выскочил какой-то проворный штабс-капитан с непомерным красным бантом в четверть груди, да не красным, а невыносимо алым, — и стал подавать руки в помощь вылезающим депутатам, но тут подоспели и другие помочь.

У одного депутата — высокого, остроусого и с острою вскидкой, бант на шубе был поменьше, среднего размера. А у другого — приземистого, доброго вида с курчавой бородкой, — совсем небольшой, и скорей не красный, а бордовый, чуть ли не бархатный. А больше ничего в депутатах революционного не было, оба, видно, из барской породы, и в шубах таких же, и шапки дорогого меха. И шагали важным шагом как бы по петербургскому тротуару и неловко взбирались туда, на помост, подсаживаемые.

За ними поднялся сухой подвижный Савицкий. И взлетел туда же штабс-капитан с большим бантом. И этот штабс-капитан, ещё вчера императорской службы, вдруг звонко и как бы очень привычно закричал над солдатской толпой:

— То-ва-ри-щи!..

Первым начал речь депутат с курчавой бородкой, Демидов. Он снял шапку, и волосы его оказались тоже в домашне-уютной причёске. И когда чуть улыбался — то это добро получалось и успокаивало в намерениях революции. И говорок у него был приятный барский, хотя голос простуженный или перетруженный.

Напомнил об отречении Государя — но безо всякой революционной ярости, а скорей как неизъяснимый ход Божьих событий, которому все мы подчинены. Вся армия и вся страна приняла весть о перевороте с восторгом, говорил он, но и восторг звучал не как уносящий сердце, а всё из того же фатального ряда, с которым не поспоришь. Новое правительство призвано проявить мощь России во всём блеске — и не того же ли самого хотим и мы, солдаты? Так надо безпрекословно подчиняться Временному правительству, с глубокой верой в него и в Государственную Думу.

Солдатские лица с большим вниманием и удивлением смотрели туда, вверх.

Честь обновлённой России — нам дороже всего, журчал депутат. Победа нам нужна как хлеб насущный, как воздух. Народ для

того и сделал революцию, чтобы лучше вести войну. Наш солдат готов принести свои силы на алтарь свободы и родины.

Из-под папах всё так же смотрели наверх как на диво невиданное — и молодые лица необработанные, и бородатые устоявшиеся. Выражение было: что-то явилось высшее, сверху, оно знает!

А если победы не будет — то немцы унизят нас и мы не сможем заняться нашими преобразованиями. За недовоёванную войну на нас ляжет проклятие потомства. Если враг сейчас победит — мы не расплатимся и внуками, и нас превратят в рабов. Наш долг перед нашими матерями, жёнами, сестрами и детьми — оберечь их от нашествия лютых иноплеменников. Без разгрома проклятого германского гнезда не может быть никому свободы в Европе. Забыть ли наши могилы в Польше и Галиции? И не можем мы не иметь ключа от собственного амбара: нам необходимы Босфор и Дарданеллы. А наши верные благородные союзники, которые всегда верили не старому правительству, а русскому народу… Солдаты! Не пожалеем наших сил и жизней! не посрамим земли русской!

Гладко у него выходило. Тем ли польщённые, что их вызвали слушать таких важных господ, солдаты слушали беззвучно, бездвижно, кто и рты полураскрыв.

А тут-то депутат и скажи самое главное, не упустил. Что войско без дисциплины немцам нестрашно. Кто сеет раздор между солдатами и офицерами — тот губит свободу. Русский солдат должен с негодованием отвернуться от лукавых голосов, призывающих его не слушаться своих прямых начальников. Наши офицеры дали клятву быть с нами заодно — так подчиняйтесь им! Только старый строй мешал офицеру и солдату объединяться. У офицера — специальное военное образование, он прошёл все степени службы, знает дело. Во всех армиях мира есть офицеры. Офицеры и солдаты — одно целое, они вместе проливали кровь.

Поняли, что конец, и солдаты крикнули своё «ура». Кто-то папаху бросил в воздух — побросали и другие.

Впрочем, хотя «ура» звучало дружно — опытное ухо Савицкого отличило, что кричала ещё четвёртая ли часть.

— Сложим наши головы за родину! — ещё нашёл голос прокричать депутат, и доплеском «ура» солдаты обещали сложить.

Добродушный Демидов надел свою круглую шапку — высокий же остроусый Гронский снял свой пирожок, обнажая гордую причёску назад, — и настороженно поглядывал. Голос его оказался острее, дерзее, взносчивей, — и держался он как летел в облаках.

— Товарищи! Мы приехали к вам от нашей славной Государственной Думы, решившейся свергнуть жалкого деспота Николая. Русский народ, как могучий богатырь, стряхнул иго царизма — и пришла свободная демократия. Глаза всего мира обращены теперь на нас! Перед всеми нами теперь — широкое и светлое будущее, если мы соединимся с Временным правительством. Вы, сидевшие в холодных окопах! Вы теперь не забыты! Нынешнее правительство смотрит на вас как на дорогих детей. Поверим же всей душой нашим народным избранникам! А кто теперь не подчиняется законному правительству — тот помогает врагу.

Иногда он резко-вскидчиво смотрел правей, левей, как бы увидеть, нет ли мятежа или возражения. Но стояли всё так же хорошо, не качались головы, не кривились притерпевшиеся лица, — и депутат продолжал лететь.

— Победа Германии была бы торжеством дома Романовых. Как только Гинденбург распакует чемоданы в Смоленске — из них выйдет Николай II.

Впрочем, ни Гинденбурга, ни даже что такое чемодан — половина солдат не знала, «чемодан» — это тяжёлый снаряд.

— Защита завоёванной нашей свободы должна быть теперь доведена до логического конца, чтобы были открыты пути прогресса. У Гогенцоллерна только одна цель: потопить нашу революцию в крови. Протянем же руку республиканскому народу Франции! Наш уход из коалиции подорвал бы её силы. Так сольём наши действия с товарищами офицерами, ныне такими же гражданами, как и вы. На ваши славные суворовские штыки наколите красные знаки революции! Ура-а!

И с тревожным видом протягивал тревожные руки, одну с меховым пирожком, вонзаясь в небо.

С тем же равным усердием покричали «ура» и этому.

Тут высунулся вперёд штабс-капитан с нестерпимо алым бантом:

— Да вы — спрашивайте, товарищи! Вы не стесняйтесь, спрашивайте!

Стеснялись.

— Да вы — спрашивайте!

И тогда какой-то немолодой озабоченный солдат спросил дребезжащим голосом:

— А прибавка жалованья — нижним чинам будет?

Второй депутат ответил витиевато, но больше в том смысле, что — будет.

— А вот, — пробасил тогда солдат-бородач. — Мы слыхали: теперь кресты и медали будут отымать? Так мы не поддадимся!

— Что вы, что вы, — радушно раскинул руки первый депутат, — кто же осмелится тронуть ваши боевые награды!

А стоял на трибуне ещё ни слова не сказавший начальник дивизии. Отвращенье ему было говорить — с этой красной трибуны, своим безоружным солдатам, смявшимся в толпу, да и что скажешь, ведь чёрт не надумает.

Только теперь по захолонутому молчанию можно было сравнить, насколько при депутатах шептались. Савицкому не досталось кричать, он говорил даже как бы тихо:

— Родина наша сейчас, ребята, — в очень тяжёлом положении. Какого никогда не переживала. Враг занял много городов и деревень — и мечтает продвигаться дальше. А у нас — смута. Радоваться рано. Некоторые чины поняли происшедшие перемены в том смысле, что теперь упразднены воинские уставы и уважение к офицерам. Но без дисциплины не может быть победы. Помолимся Богу, чтоб он послал нам… честно выполнить свой долг.

«Ура» он не крикнул — и ему, стало быть, не крикнули.

И на том бы, может, и кончилось спокойно — если б, видно, не было уговорено и подготовлено: по знаку ли штабс-капитана — с десяток рьяных подбежало к трибуне и тянулись принять депутатов на руки. За ними тогда и ещё полсотни подбежало, уже из озорства. И депутаты отдались, привычно, как упали, в этот ручной подхват. Подхватили их вряд ли уж так ловко — под спину, под мышки, под коленки, — и, раскачав, кидали вверх с веселеющим воем. Иногда взбрыкивала нога, рука, иногда отставала.

****

КАБЫ БАСНИ ХЛЕБАТЬ — ВСЕ БЫ СЫТЫ БЫЛИ

****

593

Никогда Саня и не знал, что у подполковника Бойе есть сын, лейтенант Балтийского флота. А сейчас узнал от полковникова денщика, да сразу: что лейтенанта этого застрелили матросы в первые дни мятежа в Гельсингфорсе, но сперва и неизвестно было, а потом — узналось. И оттого-то подполковник уехал — искать тело.

Как чуяло его сердце! — то-то он был такой сотрясённый.

Вот уже не первой зримой потерей касалась их маленькой батареи далекая петербургская революция.

Сегодня не было офицерских занятий с противоштурмовым орудием, и Саня пошёл на наблюдательный — передний, к Торчицким высоткам, а боковой они уже сняли по теперешнему покою. Пошёл в шинели, не в бурке, полегче. Сперва, как обычно, Дряговцом, потом полем. День был светлый, но в сплошных облаках. Сколько раз он этой дорогой ходил, как домашней изродной тропой, и гадал: каково придётся с этим местом расстаться? Три пути он видел: или убьют-ранят, или вперёд пойдём, или не дай Бог ещё отступим. Ну, и четвёртый путь — бригаду перебросят. А вот наступил неизведанный пятый: как будто и на том месте, а всё уже не то.

Вот и ход сообщения. Чуть отпала опасность — и стал казаться едва ли не игрой. Часть пути прошёл поверху, потом соскочил, в слякотцу.

В блиндаже оказался один Дубровин, фейерверкер: телефониста отослав или отпустив, себе навесил верёвочную петлю на голову, трубку к уху, и сидел на чурбаке, а не без дела: читал, и в который раз, затрёпанные «Правила стрельбы». Такого же, как Саня, крестьянского происхождения, и способный, а вот не получил образования и незаслуженно низко был поставлен.

Дубровин лишь чуть приподнялся от чурбака — неизбежным движением, обоим понятным и обоим лишним.

Подпоручик снял, накинул на гвоздь полевую сумку. И подошёл к стереотрубе, хотя ничего не предполагал увидеть. Как стали говорить наблюдатели — «пусто, одиноко сонное село».

Но Дубровин от своего чурбака внимательно ждал возврата из трубы поручиковых глаз:

— Ничего?

— А что?

— Да… может, проя́ва будет сейчас.

— Какая проява?

Дубровинская усмешка углом губ, хорошо видная на его чистом лице, даже и она была всегда серьёзная, несмешливая.

— Да… — осторожно, нехотя, — скоро увидим. Или не будет ничего.

— А что, всё-таки?

Не спешил сказать. А — другое, пока ли никого не было:

— Ваше благородие, у меня до вас просьба есть.

С неуходящей серьёзностью паренька, рано ставшего головой своей семьи, матери и сестёр.

— Говори-говори, — поощрил подпоручик, для этого фейерверкера ничего доступного было не жаль. (Что срывался на «ты» — сам не замечал.)

— Защитите меня, как-нибудь, ваше благородие, помогите мне в комитет не попасть.

— В комитет?

— Да вот, будут в батарее выбирать. Ребята, бают, меня хотят. А я — не хочу.

— А почему?

Тем же осторожным складом губ:

— Да ведь это всё брехня, языками молоть. Я не люблю. Это не к делу.

— Не к делу… — думал вслух подпоручик. — А как я могу тебя отвести? Разве офицера послушают?

— Вас — послушают, — уверен был Дубровин. — Скажите, мол: никак из разведки отпустить нельзя. Или что-нибудь.

— Не к делу-то не к делу… Но если комитеты всё равно будут — так лучше пошли б туда деловые, как ты, и поднаправили. Очень возможно, что теперь комитеты будут повлиятельней начальства. Так надо, чтоб умные туда и шли. Иди, Володя.

Дубровин вздохнул, темноватый. Тянуть поклажу — он и привык.

— Я — и так думал. Но тогда уж всех деловых собрать. И тогда, разрешите, я вас предложу.

— А я-то при чём? Комитет солдатский.

— А один офицер должен быть, так уставляют. Уже говорили ребята: хотят вас. Вы только не отказывайтесь, и выберут.

— Так офицеров — наверно офицеры должны выбирать?

Дубровин смотрел умным, спокойным взглядом:

— Это теперь — невеликое дело. Без солдатской благодарности теперь с нами много не наработаешь.

Сидели оба на чурбаках, близко.

— Об офицерах — много теперь толкуют в пехоте, — размеренно взвешивал Дубровин. — Раньше хоть говори, хоть не говори, а теперь… Помнят офицерам всё, что только было, аж от самого начала. Вспоминают одного командира роты, как он в Восточной Пруссии револьвером отогнал роту от колодца, никому напиться не дал, — один отпил, отравленной, и умер… Вспоминают каждый случай. Отступали в 15-м году, и вот офицер, легко раненный, посадил вместо себя на телегу солдата притомлённого… Вчера во 2-м батальоне выбирали комитет, встал солдат и про одного поручика говорит: «Сидели мы под Ломжей в малом окопчике, целый день не выйти, не высунуться. А у *них* была одна только папироса. Так половину выкурили, а половину мне дали. Вот такого офицера нам и надо в комитет»…

У Сани отеплились глаза.

А верно! А — так! Вот это и есть главное! Недаром всё офицерское, воспитываемое в училище, воспринимается сердцем противно. Надо и быть — братом. От одних осколков умираем — почему же не быть братьями?

О, настроение солдат — загадочное и мудрое, и ещё может вылиться в какое хорошее!

— Да пожалуй — и пойду, Володя. Если меня захотят — пойду.

— Хотя-ат, уже говорили!

Какой-то странный гулок донёсся сквозь щель. Дубровин первый оборотил голову, снял трубку с головы — и шагнул к стереотрубе.

— Н-ну! — вырвалось у него. — Вот и чудо! Смотрите, ваше благородие! Или вы в бинокль?

Вскинуть, приладить бинокль — тоже пять секунд. Теперь смотрели оба в четыре вооружённых глаза и видели с равной подробностью.

У главной полосы немецкого проволочного заграждения шевелилась — но не бежала в атаку, а стояла! — полоса наших солдат, спинами сюда, лицом к немцу! И все — безоружные.

Сразу нельзя было схватить, понять: достигли главной полосы — и без боя? — и никакого боя?

Да позвольте, там и немецкие каски — с десяток, меньше гораздо, чем наших шапок, наших полсотни. Но каски — по ту сторону проволочных рядов, однако тоже пробрались через оттяжки, через перепуты — и тоже к главной линии.

Как странно было ловить небегущие немецкие лица в бинокль — чужие усы, брови, чужие выражения, чужие шинели — а не пленные! и не в штыковой встрече! Просто — что?..

Они — б е с е д о в а л и! Взявшись за проволочные оплёты руками, как соседи берутся за пряслины забора, — они разговаривали!

Все раскинутые ежи, все колючие рогатки — всё как не бывало!

Немцы — впроредь, а наших куда больше, и сбиваются в кучки, чтобы ближе видеть и слышать.

Третий год сматривал подпоручик Лаженицын в трубу — но такого!..

Много жестов, размахиваний — от возбужденья и безъязычья. Слитный гул повышенных голосов доносился по-над землёй сюда.

Друг у друга закуривают. Смеются. Те протягивают нашим сигареты. Наши делают им скрутки, из кисетов.

Смеются! Как никогда бы друг с другом не воевали!

Смеются! Лупятся, разглядывают. А — какая у них друг на друга злоба?

Вдруг — побежали! Но только несколько: наших несколько — сюда, назад.

И в спину их — не сечёт немецкий пулемёт!

А немцев двое — к себе в окопы, там близко, на самом Торчицком гребне.

Остальные — по-прежнему у проволок — стоят, лупятся. Объясняются руками и голосом. Удивляются.

Больше всего удивительны — именно эти удивлённые лица. Сколько воевали — а так близко не видели. Сколько воевали — а ещё вот как можно?..

Нет! Самое удивительное — видеть таинственный, загадочный, полуболотистый, изрытый, изорванный взъём к Торчицким высоткам, всеми разгляженный ненавистно до комка, — безжизненный кусок земли, проклятый людьми и Богом, кажется навсег-

да изъятый из человеческого обращения, эти полтораста саженей медленного подъёма, которые круче альпийских отрогов, никто живой не может их преодолеть, только с адовым рыгающим огнём и грохотом может пройти их железная сила! — а вот живые люди просто топчутся на ней и смеются, просто бегут по ней сюда и обратно.

С чем это они бегут?

С кусками хлеба.

Не помещается в сознании: ничейная полоса, на которой не может быть ничего живого, — живёт! Прибежище смерти ожило как базарная толкучка.

Именно! — это и есть базарчик: наши бегут, протянувши ломти чёрного хлеба вперёд, как доказательство мира, — не стреляйте! мы несём вам Божьего хлеба!

Бегут — снизу вверх, на всклон, и оттого кажется, будто вытянутыми руками наши просят немцев: не отказаться! принять!

А немцы тоже вернулись: одна бутылка, один флакончик — спиртное?

И уже у проволоки протягивают, меняют Божий дар на дьяволов, не сосчитываясь что почём, — и счастливчики из наших по очереди из горлышка тут же пьют доверчиво, передают следующему. (Как будто не было тех отравленных колодцев в Пруссии.)

Боже мой! Что же осталось от войны? В несколько минут смыло всю неискоренимую войну, всю условность условной ничейной, запретной, непереходимой полосы.

И — хорошо!

А теперь — что ж и воевать? Как воевать? Зачем?

И — хорошо!

Только тут сообразил:

— Так ты знал?

Дубровин — баском:

— Знал. Уже два дня как сговаривались. Немцы звали: приходите, ничего дурного не будет. Смелые и вчера уже поодиночке ходили встречаться.

— Так подожди, — начинал соображать подпоручик. — Немцы — первые позвали? Через плакат, что ли?

Тут к нему и заползло: одинаков ли результат такой встречи? Наши после этого — воевать не будут, а немцы? Отлично будут и

дальше стоять. И — почему их настолько меньше? И почему *их* начальство, хоть революции у них нет, легко на это всё смотрит, отпускает?

Да уж — не приказывают ли им так? Наше-то пехотное начальство не мешает потому, что не смеет. Кто же сейчас посмеет? И чья винтовка подымется бить в эти спины?

Да! Да! — только тут вспомнил подпоручик: ведь существует давнишний приказ. Когда-то где-то были подобные случаи, и офицерам артиллерии объявляли под расписку приказ: дежурный артиллерийский офицер, увидев такое, обязан открыть предупредительный огонь шрапнелью — без согласования со своим командованием или с пехотным, немедленно.

А он?..

Вспомнил — смотрел в бинокль — и не шевелился.

Конечно, его батарейцы не откажутся, они не знают цели, — скомандовать им только прицел и трубку.

Но! — сам перед собой он не в состоянии был такой приказ отдать! Он даже и не задумался серьёзно. Даже если бы — высоко или в сторону, никого б и не раня.

Для проверки, отняв бинокль, посмотрел на Дубровина.

Тот не отрывался от стереотрубы. Спокойное, мужественное, юное, бронзоватое лицо его было гладко, без морщинки. Смотрел, как смотрят на явления природы. С уважением.

И назвал это — чудом.

Чудо и есть.

Двое немцев пролезли между нитками колючки — наружу, к нашим. И с одним из них один из наших схватился бороться. Покачивались, уже сваля каску и шапку, потом и сами покатились по земле — а все остальные руками взмахивали и кричали.

Всплеск хохота и крик донёсся сюда.

Посмотрели с Дубровиным друг на друга. Дубровин тоже улыбался — своею редкой, сдержанной улыбкой.

И что, правда, нам оспаривать эту изрытую землю — разве земли не хватит всем?

И как после этого ещё воевать *до конца*? — куда ж ещё концеватей?..

Что-то беленькое замелькало в руках у наших.

Бумажки.

Раздавали немцы — какую-то прокламацию?

594

Почти всего лишь за одни сутки сотрясена была революционная столица двумя ошеломляющими, сшибающими новостями. Сперва как огонь распространился слух, что сданы Рига и Двинск и немцы многими дивизиями валят на Петроград! (Этого и надо было ждать! Безпечность последних недель только и могла к этому привести!) Но не только не успели дождаться следующих газет, ни допроситься о новых телеграммах, не успели как следует перезвониться, переполошиться и решить — как же быть с эвакуацией государственных учреждений? — как разразился новый слух: что наши войска широко прорвали Западный фронт и с боями гонят немцев! (Этого и надо было ждать! Освобождённая революцией энергия должна была разрядиться!) Да не слух — а совершенно реальная телеграмма была разослана во много адресов, только нельзя было докопаться, откуда же первично она подана и кем: телеграмма о победе и чтобы отовсюду слали на Западный фронт порожние составы для приёма раненых.

Вот и верь чему хочешь. Каково попадать на такие качели, сердце не выдержит. Каково — и всякому, но особенно — Первому лицу России, Председателю Государственной Думы!

Нет, он не должен так себя допускать, так ставить себя в оттиснутое положение. Давно ли — незабываемые дни — он был главный голос Петрограда, обращённый к неразумному Государю или к Главнокомандующим. Давно ли всё правительство зависело от его ночных телеграфных переговоров — и отчего же он сам сложил с себя эту задачу? Да Главнокомандующие рады будут сообщить ему в первые уши. Да особенно Рузский, с которым и велись решающие разговоры. Рузский и сейчас, принявши фронтом присягу, не обошёл Председателя своим донесением.

И Михаил Владимирович сегодня с утра взял автомобиль и решительно поехал в Главный Штаб. Несколько волновался, боялся унижения: вдруг штабисты не допустят его до прямого провода? в нынешних условиях всё возможно. Но штабисты оказались почтительны, предупредительны — и разговор с Рузским ему быстро устроили.

И в той же самой аппаратной, где 12 дней назад, удерживая крупную голову свою над волнами сна и безсонья, Родзянко вытягивал судьбу России, — теперь в спокойном деловом дне он гово-

рил телеграфисту, что́ печатать, и опять тянулась лента от того же невидимого Главнокомандующего.

Того же, и Родзянко тот же, — а не было прежней взволнованности и передвигания глыб. Ну как дела? На Северном фронте всё благополучно, настроение армии прекрасное. А были какие-нибудь передвижения? Нет, никаких решающих операций, только обычная разведка. Но может быть, какие-нибудь успехи, по соседству? Нет-нет, все подобные слухи неверны.

О чём бы ещё?.. У двух значительных собеседников — значительный разговор, однако, не получался. Рассказывать о Петрограде? Тоже было нечего, да и не к чему. Не было такой живой проблемы, которую бы обсуждать.

И Родзянко вскоре окончил разговор. С горьким осадком. Куда испарились те горы, которыми он так легко двигал недавно? (Он даже хотел бы сейчас нового великого сотрясения.)

Что ему теперь доставалось? Конечно, не прекращался поток приветственных телеграмм со всей России (уже пришло их 14 тысяч, подсчитано, — но он уже успевал их все прочитывать и даже все предыдущие прочёл). Даже от Художественного театра — лестно восторженная. Более значительным приходилось и отвечать. К Родзянко же тянулись и разные надежды, просьбы: просили его, например, отменить смертную казнь также и по воинским преступлениям. То делегация петроградских коммерческих банков подносила Председателю чек на миллион долларов — на нужды революции, по его усмотрению. Конечно, деньги были, средства были, оставалась у Председателя немалая сила, — но как её применить? Таяли ряды сподвижников и помощников.

Ещё стали — приезжать делегации с фронта. Вначале очень интересные, теперь они уже становились, пожалуй, и утомительны. Уже не мог их всех принять Председатель, поручал близким членам Думы — Шидловскому, Мансыреву. Но нельзя было те делегации и упустить: в залах Таврического их перехватывали агенты Совета рабочих депутатов и тянули к себе, обрабатывать по-своему.

Как раз и сегодня, не успел Родзянко вернуться из Главного Штаба, ему доложили, что приехала с фронта делегация моторно-понтонного батальона. Техническая часть, им нужно внимание, вышел сам. Прапорщик, унтер поляк, да тройка солдат, один говорливый ефрейтор, он и говорит за всех: посланы для выражения наших глубоких чувств Временному Правительству! (Все так пони-

мали, что Временное правительство — это Таврический дворец.) Но, приехав в Петроград, слышим тут призывы к заключению преждевременного мира, к сдаче на милость Германии.

Ах, молодцы, вот тебе и моторно-понтонный.

— Да, вот такую мерзость изрекают некоторые…

Слышим призывы к неповиновению Временному Правительству? Какие-то самостоятельные выступления Совета рабочих депутатов? Это приближает Петроград к состоянию анархии. Мы — полностью поддерживаем Временное Правительство до победоносного конца!

— Молодцы, ребята, так и надо! Прошу вас и дальше быть верными Временному правительству.

Безкорыстно, безо всякой задней мысли и колебания, щедро подкреплял Родзянко Временное правительство — увы, не получая от него взаимности.

А дальше на сегодня назначено было — совещание членов Думы. Это, пожалуй, было главное в деятельности Председателя: вопреки выветривающим революционным процессам, расползанию, растерянности — любой ценою стягивать, сохранять остатки Государственной Думы. Невозможно было, увы, собрать ни одного пленарного заседания, — но собирать столько членов, сколько возможно (иногда и сам звонил отдельным, уговаривая не неглижировать). И сами заседания делать сколь возможно интересными и важными.

Не удавалось уговорить никого из министров прийти сделать хоть коротенькое сообщение — и так хоть на четверть часа создать впечатление прежней Государственной Думы! Но сегодня очень повезло: Родзянко уговорил двух полуминистров — государственного контролёра Годнева и воротившегося из Финляндии, уже не «министра по делам Финляндии», такой должности не будет, но своего исконного блестящего Родичева.

И в библиотеке, соберя около тридцати депутатов, Родзянко сдержанно сиял от удачи заседания.

Как в былое время, всё тот же нудноватый Годнев, методическим голосом и не опасаясь утечки времени, излагал меры и меры контроля, приводил цифры. Совсем как отчёт в парламенте.

И как в былое время, всё тот же Родичев, который никогда не готовился к речам и никогда же не мог говорить сдержанно, снова со своим остростёклым задором и с риторическими фейерверками, не стесняясь малочисленностью аудитории, волновал членов

Думы большими успехами политики нового правительства в Финляндии: русский народ заглаживает свою вину перед финским, и от финских деятелей получены заверения, что если в будущем эта политика не испортится, то мы будем прощены.

Наконец, завершая торжественно-официальную часть, и сам Родзянко мог же доложить — и доложил: о взаимоотношении Временного Комитета Государственной Думы и Временного правительства. Что (глотая обиды и острые углы) между ними полная солидарность. (А иначе и странно бы, почему Председатель не осадит их.) Временное правительство со своей стороны отдаёт себе полный отчёт, что до созыва Учредительного Собрания — выразительницей мнения всей страны является Дума. Вот они, собравшиеся тут.

Отчасти и Родзянко сам уже перенёсся сердцем от своей любимой, но ослабевшей Думы — ко временам Учредительного Собрания.

В перерыве министры ушли, без них депутаты занялись самими собой. Депутаты, вернувшиеся с Северного фронта, ярко, интересно делились впечатлениями от фронтовой поездки. Вся армия настроена бодро, все воины сознают необходимость дальнейшей упорной борьбы с врагом. Видели «настоящие революционные полки с полнейшей дисциплиной». Все понимают, что надо её соблюдать не за страх, а за совесть, и надо победить. Каждый депутат произнёс едва не по полусотне речей. Недоразумения если где и случались — то лишь относительно отдельных лиц командного состава.

— А как стоит в войсках авторитет Государственной Думы? — спрашивал Родзянко.

— Очень высоко! Невероятные овации, царский приём, да царя так не встречали: носят на руках, склоняют знамёна, целуют руки. И все кричат: «Ура Родзянко!»

Естественно, и должно быть так. Перешли далее. Два депутата, ездивших в Ревель, вынесли также и о флоте самое отрадное впечатление. Встречены были везде с триумфом. Удалось предотвратить эксцессы против офицеров. Матросы просто поражают своим сознательным отношением к делу.

— А как авторитет Государственной Думы?

— Очень велик!

Теперь предстоял разбор весьма огорчительного, волнующего, но и интересного пункта: революционным разбором бумаг в

министерстве внутренних дел установлено, что несколько правых членов Думы, а именно Замысловский, Марков, Крупенский и Пуришкевич, получали деньги из секретного фонда! Так — как отнесутся к этому члены Думы? Какие нам принять очистительные меры?

Случай был — исключительно скандальный, на прежнем бы полном заседании всей Думы это был бы взрыв, вскочили бы, стучали пюпитрами, кричали. Теперь — исчезла та страсть и многолюдность, и не прозвучало ропота, но все переглянулись, содвинулись. Прежде — громогласно бы поносили виновных и исключили бы тут же, — но что предпринять теперь?

Марков, когда-то тяжело оскорбивший Председателя словом «болван», и не мог оказаться никем другим, как таким чёрным негодяем. В пару к нему и Замысловский. О Крупенском — ещё осенью узнали, как он выдал Штюрмеру тайны Прогрессивного блока. Но — Пуришкевич?! — вот за кого было обидно Председателю. Ведь прошлой осенью Пуришкевич из черносотенца — да стал революционером! Да какие ниспровергающие речи произносил в Думе — и получал аплодисменты левых, остро-горькую популярность. И собственной рукой убил Распутина! И всё-таки — всё равно?.. Конфуз, скандал. Родзянко очень хотелось, чтобы Пуришкевич оправдался. Но он, как всегда, был — в разъезде, в санитарном поезде, где он? Раздавал листовки на Северном фронте, слал оттуда телеграммы Гучкову. На заседаниях Думы не появлялся.

Обсудили так и этак — и постановили: всем означенным депутатам в трёхдневный срок представить удовлетворительные объяснения, а иначе будут лишены депутатских полномочий!

Но угроза эта, когда-то страшная, равносильная общественному уничтожению человека, сейчас совсем не звучала грозно. Ни даже серьёзно: четыреста человек и так разъехались сами, и не лишённые полномочий, хотя Михаил Владимирович строго-настрого отказал всем в отпусках.

Затем занялось совещание новыми назначениями: каким депутатам ещё поехать на какой фронт. Одни отнекивались домашними обстоятельствами, другие уже с ног валились от речей произнесенных, — а иные были свежи и рьяно готовы ехать дальше.

Назначили человек двенадцать по всем фронтам.

И тут впопыхах прибежали к Родзянко от князя Мансырева, что надо ему идти в Екатерининский зал, подбодряющая весть:

1-й пулемётный полк, простоявший в Народном доме две недели, совсем его перегадивший, теперь надумал и согласился уходить к себе в Ораниенбаум, вот пришёл прощаться. То ли окончив совещание, то ли прервав его, Родзянко поспешил по коридору.

Но что это? Уже из коридора нельзя было выйти, так густо теснилась тут безпорядочная толпа. А спереди ощущалась предельная полнота всего огромного зала, а сверху, со ступенек, раздавался голос Мансырева, он держал подбодрительную речь к войскам: к упорной борьбе против жестокого германца!

Что за чудо? что за сон? Откуда это наполнение густое в опустевшем Таврическом? Как будто воротились счастливые могучие дни революции! А он, хозяин дворца, и не знал, что всё это здесь собралось!

Близко стоявшие объяснили ему, что сошлось неожиданно два полка: кроме 1-го пулемётного ещё и Павловский батальон пришёл на митинг как зачинатель революции — и построен там дальше весь.

Ах вот что! Ах, стало быть, из ревности к Волынскому, который был позавчера, только тот не входил внутрь, построение было на улице.

Но хотя Павловский пришёл без вызова и без спросу, по февральской памяти вломился весь в Екатерининский зал, куда только по строгим выписанным пропускам теперь пускают, — Родзянко сразу простил им это своевольство и возрадовался взмывшим сердцем — за то, что так неожиданно снова повторялась великая обстановка.

Локтями и крутыми плечами он стал пробиваться вперёд, чтобы выйти к ступенькам, подняться наверх и говорить. Не так просто! — сбито стояли растрёпанные пулемётчики и не знали в лицо этого крупнотулого, крупноголового барина, и пропускать не спешили. А спереди, над головами, там и сям, высились красные знамёна и красные лозунги, и которые не в складках — можно было прочитать местами: «Да здравствует Совет Рабочих Депутатов», «Да здравствует 8-часовой рабочий день».

Прошибально проталкивался Председатель — а наверху над его головой сменился Мансырев и послышался скрипучий, как насмешливый, голос Чхеидзе. Был лидером самой слабенькой маленькой фракции, сидел где-то там на краю думского зала — а теперь своим Советом захватил почти весь родной кров Таврического и считал себя главным тут хозяином.

— Вы, — дребезжал Чхеидзе, — должны слушать только людей, которых вы знаете. Вот, говорю с вами я — знаете ли вы меня? — Он толковал с уверенностью учителя и паузу сделал для учеников.

— Знаем! Знаем! — кричали из зала.

— Нет, вы меня не знаете, — поучал. — Вы думаете, что я — Председатель Совета Рабочих Депутатов? — (Кто и не знал, так узнал.) — Нет! Я такой же *солдат*, как и вы.

Совсем уже одурел, — возмущённо пробивался старый кавалергард.

— Вы спросите — какой я армии? — не торопился, забавлялся Чхеидзе. — Какого полка? Я — солдат рабочей армии, в ней я прошёл все должности, все чины. Теперь я дослужился до высокого чина генерала. Я — генерал-от-народного доверия.

Ну, кретин! — пробился Родзянко уже к низу лестницы. Теперь уже близко. Но и не прервёшь.

— Раньше мы учились у немцев, — глаголил Чхеидзе. — Теперь пусть они поучатся у нас. Русская революция вызовет скорое подражание в Германии. А если кто захочет отнять нашу свободу — мы будем отстаивать её своей грудью.

Ну — полезно кончил, за это Родзянко ему отчасти простил.

Со ступенек виден был весь строй павловцев — во всю длину зала и загнувшись (во главе батальона — всего лишь поручик), группы оркестровых труб в разных местах, охотливые и мужественные лица воинов — и знамёна, знамёна.

Наконец — мог говорить Родзянко. Зал — уже видел его и кричал «ура».

Могучим голосом, отдохнувшим за неделю, он как пушкою выстрелил в зал:

— От имени Государственной Думы, доверенной надежды русского народа, я — приветствую павловцев как первых, перешедших на сторону народа!.. Мы надеемся, что вы, храбрые воины, постоите за м а т у ш к у Р у с ь !! — (Ничто у него не получалось так густо и сильно, как «матушка Русь».)

О, какое «ура» заплескалось под потолком! какое «ура», раскачивая зал! И оркестры заиграли — эту гадкую марсельезу.

Но — цвёл зал, сияли тысячи лиц, — и вождь России Родзянко снова был на своём капитанском месте. Он — уверенно вёл революцию дальше.

595

Генерал Савицкий пригласил депутатов отобедать у него. В другой дислокации было бы хлопотно их принимать. Но сейчас стоял штаб дивизии в покинутом доме польского помещика, роскошная столовая золотистой отделки, и не такие видавшая пиры, и поместительная удобная кухня, где уже с утра затеялся штабной повар, есть и припасы и вино. И столовое бельё в доме на месте, и всякое настольное убранство.

Затем и понять от депутатов, чего он сам не понимал, или понять, что и они ничего не понимают. По речам — весь ход дел им казался благополучным. Заметно разные у них были взгляды, а вели к одному. Знали они что-нибудь особенное? Истекала эта сила из нового Петрограда? Вот послушать.

Четвёртым к столу был начальник штаба дивизии, высоченный полковник гвардейско-кавалерийского роста, намного выше их тут всех. При каждом шаге звенели как колокольчики его савельевские шпоры.

В немитинговой обстановке, вблизи, и депутаты оказались совсем доступными негордыми людьми, а приземистый с курчавой бородкой Игорь Платонович Демидов, кадет, тамбовский помещик, так даже просто милейший благодушный человек. В нём была та покойная барская несомненность, которая допускает быть уже совсем простым, и та насыщенность всеми видами бытия, которая не толкает человека выступать никаким претендентом. И голос его тут, где не надо напрягать, оказался с приятным припевом, и лицо всё время в улыбке.

А со вскинутыми остринками усов Павел Павлович Гронский, прогрессист из Твери, не так был прост, на каждой фразе чувствовались и претензии, и образование, — но ничего якобинского в близком обращении не проявил, и тоже дворянин, только что городской. И компанейский человек, с весёлым поглядыванием на закуску и выпивку.

Оказывается, депутаты уже несколько дней, с утра и до ночи, ездят по фронту, во многих воинских частях произнесли речи, — вдвоём, подсчитали, 28 речей, — оттого и осипли.

— Но удаётся везде: возглашаем «довести до победного конца» — и везде кричат «ура».

Савицкий испытывал обоих колким поглядом.

В рассказах депутатов все предметы — Государственная Дума, Временное правительство, Совет рабочих депутатов — выступали как отражённые в колеблемой воде, потерявшие свойства твёрдого тела.

— А что прикажете, господа? — сплетал пальцы Гронский, и облачко шло по его нервному лбу. — Тактикой скрывания событий, необъявления солдатам, создалась бы в частях ещё худшая атмосфера недоверия.

А вот: рождаются дикие эти *приказы,* неизвестно от кого к кому. Почему же Временное правительство не пресечёт их?

Но, господа, разве вам не сообщалась телеграмма Родзянки в штаб Верховного: все приказы Совета рабочих депутатов попадают в армию нелегальным путём и не имеют никакого значения, так как Совет депутатов не в составе правительства?

— Да в пустой след потом что угодно можно разъяснять, это уже не действует. — Начальник штаба заметно возвышался над всеми за столом. — Этот Приказ № 1 перепоранил всех, как влетевшая в строй граната. И между офицерами и солдатами сразу легла вражда. А что если добавлено там же о дисциплине — то этого никто не слышит.

У генерал-майора Савицкого глаза — быстрые, голова маленькая — подвижна, седина полузаметна, и усы и бороду кругло-коротко стрижёт, не запуская в почтенную старость.

— Да что «приказ №1», когда вот уже, не спрося строевых, печатаются указания генеральской комиссии при военном министре! И все они учат, как развинчивать военные уставы. Вот… — показывал газету.

Ротный командир может присутствовать на заседании ротного комитета лишь по его приглашению и только с правом совещательного голоса! Напротив, представитель ротного комитета имеет право *контролировать* совещания своих офицеров, собирать обвинительные материалы на должностных лиц — и сообщать в советы рабочих депутатов о попытках командиров вернуться к старому порядку. Если нет материала отдать офицера под суд, но офицер этот крайне нежелателен солдатам — то дивизионный комитет докладывает в Петроград о необходимости отчислить этого офицера. Полковой комитет *разбирает недоразумения* между офицерами и солдатами. Сойти с ума?.. А младший офицер лиша-

ется всякой дисциплинарной власти и может *жаловаться* на солдата только в ротный суд.

Этим двум господам, хотя и важным таким, Савицкий выговаривал с горячностью:

— Положение офицеров, господа, вы, или ваши петербургские друзья, или правительство, или газеты, — сделали совершенно нестерпимым! Такого — никогда не бывало ни в одной армии мира, и не может такое существовать. А сейчас газеты ещё обещают скорую отмену смертной казни, даже за измену и шпионство. Армия без наказаний, и даже с выборами офицеров, — да что вы, за дураков нас считаете?

— Но господа! — изумлялся Гронский и поводил своими красивыми, выразительными глазами, созданными для адвокатских эффектов. — Выборы офицеров — кто ж это принял серьёзно?

Грозно безулыбчивый начальник штаба наложил измерительную сетку. Никакие «общественные права» солдат не существуют ни в какой западной демократии. Во французской республиканской армии военнослужащие не имеют избирательного права, ни права политических собраний. Солдат никогда не имеет права переодеться в штатское и обязан быть на вечерней поверке. А у нас в тылу уже от этого освобождают. И у них командир полка имеет право дать солдату 14 суток ареста.

Когда повар с помощником входили менять, он умолкал.

Депутаты были огорчены упрёками, если не обижены: ведь это всё делают не они!

После вознесенья речей, да видя их рядом, таких обиходливых, разумных, симпатичных, — и правда удивишься, как мы сами бываем не похожи на наши дела.

— Ну как же, господа, а разве вы сами, вот этим приездом, не подрываете офицеров?

Добрейший полнолицый Игорь Платонович, ещё расплывшийся в теплоте обеда, изумился:

— Мы-ы? Но мы говорим только в укрепление!

— Нет, господа. Уже то, что говорили вы, а не мы, что была форма сборища, а не военного строя, — эге, думает солдат, значит есть многое такое, чего наши офицеры не знают или сказать не хотят. Уже то подрывает нас, что вы должны их уговаривать в нашу пользу.

— Господа! — перехватил сообразительный Гронский, поправляя салфетку на груди. — Положение неприятное, конечно, но оно сложилось от неизбежного революционного хаоса, от разнодействующих инстанций. Надо перетерпеть и перестоять этот короткий момент, — а уже дальше, уже вот начались все усилия к укреплению офицерства. Но и многое будет зависеть от вашего, офицерского такта. Вот — комитеты…

— Какой-то шестилапый зверь, — перебил полковник. — Как он будет в пехотном строю равняться?

— Но комитеты уже созданы, этого не повернуть. Пусть это зло — а в каком-то смысле может быть и добро? Они есть — так найдите к ним наилучшую линию. Если офицерский элемент стал бы умело направлять комитеты, то было бы отрегулировано безформенное солдатское движение.

И ведь он искренно говорил, счастливый дар! Вот так они и в Думе говорят? — слышат ли сами себя? И сегодняшних своих крестьянских слушателей как они представляют? Или в тамбовском, тверском имении лишь неделю в год?

Военные стояли наотрез: нет, армия этого не переварит! Комитеты — это конец армии, вот же читаем, какие у них права. Они уже кое-где лезут мешаться и в боевую деятельность. Сотрудничать с ними — исключено. Если уж упущено их разогнать — то надо их только обуздывать и не давать расти.

— Напрасно, о, напрасно, господа! — затронутый за важное, заволновался Гронский и успевал всех собеседников охватить уверенным взглядом. — Из-за того, что политическая борьба в армии вообще нелепость, — нельзя офицерам сейчас от неё отказываться. Она уже всё равно началась — так надо войти в неё и спасти армию. Огонь, зажжённый декабристами, разве когда-нибудь погасал в офицерстве?!

Нет, глаза таки его присверкивали по-якобински, это не почудилось. Ни к ладу, ни к ляду не приходились декабристы к сегодняшней обстановке.

— Надо смело вступать в комитеты, — не сдавался Гронский, — и направить их. Офицерство должно вступить в союз с лучшей частью солдатской массы!

Зоркий полковник налетел через стол со встречным:

— А вы — знаете эту лучшую часть? Где комитеты создались — кто в них? Фельдшеры, ветеринары да писари! — вот кого солдаты выбирают. В лучшем случае — прапорщики запаса да врачи,

окопная интеллигенция. Они-то солдат и будоражат. И вот *им* мы должны уступить власть? А где комитеты уже ввелись — есть ли успокоение? Да никакого, только хуже.

— Но может быть, — мягкие ладони сжимал в примирение спорящих доброжелательный тамбовский помещик, — тогда помогут делу отдельные офицерские комитеты?

— А чем может заниматься отдельный офицерский комитет? Если солдатской массой будет заведовать солдатский комитет, а боевая и строевая жизнь ещё пока у командования, — что остаётся офицерскому? Разбирать внутренние офицерские дрязги?

— Но что же иное? Но что же тогда? — покидая тарелку, вилку, нож, всем откидом в стульную спинку выразил разочарование Гронский. — Если вы вообще не берётесь сотрудничать с комитетами, то что же можно делать?

Савицкий подлокотил голову, тёр по темени:

— Эх, господа. А неужели вы не могли спросить армию, прежде чем совершать революцию? Как же штатские люди могли не посчитаться с нами?

— Так вышло само, господин генерал. Не поверите: мы проснулись — и не узнали Петрограда.

Начальник штаба пересек режущими глазами:

— А зачем вообще был нужен переворот? Что особенно плохого было раньше?

Это прозвучало как бы неприлично. Демидов вежливо промолчал. Гронский тоже сперва. Но пауза затянулась, и он сказал тихо, глядя в тарелку:

— Господа, к старому возврата всё равно нет. Хорошо или дурно — надо примириться.

— Хорошо, а вот пишут: в Петрограде в руках Совета рабочих депутатов — тысяча двести пулемётов. Значит — нам, на фронте, пулемётов не дождаться? И почему в руках Совета рабочих?

Да видите, объясняли гости, запасных пулемётных полков, как вы знаете, во всей армии всего два, и оба перешли на сторону революции. И для её поддержки оба желают сохранить свои боевые силы в Петрограде.

— *Желают!* А что же правительство?

Правительство? Правительство… Депутаты переглянулись, Гронский профортепьянил пальцами по скатерти и улыбнулся с тонкой остротóю:

— Между нами, господа, Временное правительство — как хороши, как свежи были розы…

И — замерли те расплывшиеся, миражные контуры.

— А Государственная Дума?!

А Государственная Дума? Да вот, все мы в разъездах…

Но кажется, депутаты не слишком были отяжелены злоповоротом событий: кажется, они уже понимали, что стольких сразу неприятностей не перенести, если не относиться к ним легче. Не посидеть, не посмаковать старого винца.

Савицкий сердито выдул сквозь усы:

— И вы думаете, в таком настроении можно наступать? Значит, кампании 17-го года нам уже и не взять.

Да что вы? Да что вы?! — огорчились депутаты. — А в Петрограде, наоборот, самые лучшие надежды!..

— А почему, вы думаете, солдаты так рады перевороту? Надеются: новое правительство быстро кончит войну — и по домам.

Да откуда ж это взяли? — изумлялись депутаты. — Да кто ж такое обещал? Это поразительно!

— А зачем же иначе переворот? Этого вы солдату не объясните. Если продолжать войну — зачем переворот? Всё, что солдат мог, — он давал Его Императорскому Величеству и без переворота.

Депутаты подавлены были выставленной им безнадёжностью.

— Так это всё потому, господа, — разводя, растопорщивая все десять острых пальцев, жаловался Гронский, — это всё потому… Не в революции беда, а в том, что у русского солдата нет сознания родины. Если б они любили родину — они не поняли бы событий так извращённо.

— Нет, — возразил коллеге Демидов. — Родину, Русь — они понимают. Или, во всяком случае, понимали раньше. Ведь спасали ж её от татар, от поляков — сами, никакой интеллигенции ещё не было.

— Вы, господа, в своих речах как-то странно сочетаете: «за родину» и «за революцию». А вы, Павел Павлович, революцию даже выставляли вместо родины. Да как вы можете их ставить рядом? Родина — это святыня и наша вечность. Революция — временная острая болезнь, умопомешательство, она не может даже года продержаться, — как вы можете их сопоставить?

Добрый Игорь Платонович, уже подхмелевший, кивал, кивал, согласительно. Да он, душка, так всё и думал, как они? Это он по

должности депутата?.. Ему, может, и самому жалко прошлого быта, своего где-нибудь запущенного поместья и соловья на сиреневом кусте?

Чего-то нет, чего-то жаль,
Куда-то сердце мчится вдаль…

596″

(по социалистическим газетам, 11—14 марта)

КАЮЩИЕСЯ ДВОРЯНЕ. 10 марта на заседании совета объединённых дворянских обществ 22 губерний единогласно принята резолюция: «совершился великий переворот… В эти трудные и великие для России дни все русские люди, отложив всякие разногласия, должны сплотиться вокруг Временного правительства как единой ныне законной власти. …призываем всё русское дворянство признать эту власть и содействовать ей… Пусть же дворянство, положив упование на милость Божию, своим безкорыстным трудом…»

…Без бояр, без дворян оказался наш царь,
Кто поддержит тебя, сиротина?
Кто опорой тебе будет в новой судьбе?
Кто заменит тебе дворянина?..

…Он разрушит вконец твой роскошный дворец
И оставит лишь пепел от трона,
И отнимет в бою он порфиру твою,
И порежет её на знамёна.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА РАБОЧЕГО КЛАССА… Соглашение о введении 8-часового рабочего дня. То, о чём товарищи рабочие мечтали, на что готовились отдать многие годы упорной борьбы, — достигнуто одним нажимом революционной воли, одним ударом революционного меча. Как бы мог рабочий участвовать в политической жизни, если б ему пришлось отдать всё своё время станку? Теперь — распространить победу петроградских рабочих на всю Россию.

…приспешники и рыцари старого бюрократического насилия могут оказаться между гражданами обновлённой России… Наши пожелания о немедленном отправлении всех этих холопов и кровопийц на позиции…

…В оперном зале Народного дома, где когда-то распевал для буржуазии свои песни Шаляпин, теперь заседают пулемётчики. С эстрады — речь: «Какой нам нужен командир полка?» Он должен любить свободу и выражать наши желания… Пулемётчик сам кузнец своего счастья.

Солдатский митинг в запасном полку в Сокольниках… Постановили, что приказ полковника о сохранении старого устава не имеет никакого значения… Также: московский гарнизон должен быть гарантирован от высылки на фронт.

ПРИВЕТСТВИЕ ТОВАРИЩАМ СОЛДАТАМ ОТ РАБОЧИХ. Герои, борцы, титаны! Поколения будут благословлять вас…

Латышский народный митинг в Москве… Довести буржуазно-демократическую революцию до победного конца… Латышский пролетариат является одним из первых авангардов российского революционного движения…

ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВ. ВОЗЗВАНИЕ. Отвергайте замыслы наложить оковы на свободу. Требуйте созыва Учредительного Собрания Деятелей Искусств — и оно решит вопрос об устроении художественной жизни России.

Союз сапожников. …Настал момент великого объединения всех масс трудящегося класса, медлить нельзя, и каждый из нас должен не распылять сил… Стоя на точке зрения классовой борьбы, мы не можем объединяться с мастерами…

К товарищам по производству изделий из бумаги… футлярщикам, абажурщикам, картузникам… Товарищи! Мы должны смотреть, чтобы династия из рук Романовых не перешла в руки Родзянок, Львовых, Милюковых… Не теряйте ни минуты, вступайте в профессиональные общества…

Товарищи фотографы и фотографические служащие… Не нужна ли прибавка жалованья? Эксплуатация труда поразительная…

Ломовики и крючники! Ка́тали, носаки́, кладчики, разгрузчики! Пришло и нам время объединиться!

Мать убедительно просит больницы и лазареты сообщить, не находится ли на лечении мальчик Михаил, 13 лет, Шилов, или значился ли в убитых…

О ВЫХОДЕ ГАЗЕТ. Исполнительный Комитет СРСД постановил **допустить безпрепятственный выход всех периодических изданий без различия направлений**. При этом ИК конечно оставляет за собой право принимать соответствующие меры против изданий, которые позволят себе в переживаемую революционную эпоху вредить делу революции…

СТАВКА — ЦЕНТР КОНТРРЕВОЛЮЦИИ. По сообщению георгиевских кавалеров, посетивших 12 марта Исполнительный Комитет, Могилев сделался центром контрреволюционного заговора. По мнению ИК, необходимо безотлагательно назначить Чрезвычайную следственную комиссию… Правительство обещало. Будем надеяться, что оно будет действовать безпощадно к шайке черносотенных заговорщиков. Солдаты глубоко возмущены безнаказанностью реакционеров…

(«Известия СРСД»)

ГЕНЕРАЛЫ-МЯТЕЖНИКИ ВНЕ ЗАКОНА… Среди нашего высшего командного состава, как известно, много (если не большинство) ярых сторонников старого режима… И они гуляют на свободе. Временное правительство должно неотложно издать декрет, объявляющий генерал-мятежников вне закона. После издания декрета солдаты не только не обязаны будут повиноваться таким начальникам, но смогут безнаказанно убить таких господ…

(«Известия СРСД»)

АРЕСТ ГЕН. ИВАНОВА. Мы в состоянии поделиться с читателем приятной новостью: пресловутый ген. Иванов, который в первые дни революции двинулся на Петроград для подавления революции, наконец арестован. Надеемся, этому холопу Николая II, этому сыну Иуды, будет воздано по заслугам.

Письмо в редакцию. В номере «Правды» от 7 марта была помещена резолюция от имени резервной автомобильной роты. Просим довести до всеобщего сведения, что указанная резолюция является вымышленной… Ни один орган нашей автомобильной роты никогда не высказывал требования прекратить войну и изменить состав Временного правительства.

Одесса. Новосозданный общественный комитет отказал в своём доверии городской думе и городской управе и взял управление в свои руки. Призыв к населению прекратить потребление спиртных напитков и сохранять порядок на улицах. Постановлено создать в Одессе Народный университет… Арестованы председатель Союза русского народа и председатель «русских людей»… Общее собрание адвокатов постановило приступить к изданию рабочей газеты.

Пенза. На улицах шумные манифестации, один митинг сменяет другой.

Ташкент. Арестован вождь погромно-монархической организации Василий Орлов, бежавший из Москвы.

Первое свободное собрание еврейских рабочих **г. Тамбова** приветствует петроградских рабочих и солдат. Вместе со всем пролетариатом еврейские рабочие готовы на новые жертвы для окончательного упрочения демократического строя.

Киев. За последние дни произведены обыски местных деятелей союза русского народа.

Инжавино, Тамбовской губ. Состоялось многолюдное собрание. Из деревень приезжают на базар не столько чтобы торговать, но чтобы разузнать новости. Растерянность. Спрашивают — лучше будет или хуже? В некоторых сёлах священники со слезами на глазах объявили в церкви, что настал конец мира.

…С далёких полей, залитых слезами обездоленных защитников дорогой родины, шлём вам горячий привет. Разделённые расстоянием, но душой всегда с вами

писаря хозяйственной части 66 полка

Пропала девочка в плюшевом лиловом пальто, в тёплом коричневом платке, Варя, 4-х лет…

ВСЕХ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ, отлучившихся из госпиталей, просят вернуться по своим местам.

(из «Правды»)

ЗЕМЛЯ — КРЕСТЬЯНАМ! Земельный вопрос может быть разрешён только революционным путём.

ВЛАСТЬ — ДЕМОКРАТИИ! Руль власти захватило контрреволюционное Временное правительство и прилагает все усилия, чтоб не дать начавшейся революции перекинуться на деревню и на армию.

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ? Уничтожить министерство императорского двора. Конфисковать удельные земли. Уничтожить «кабинет его величества» — целые уезды земли в Сибири. Более ста лет цари крали деньги у народа. Если оставить их Романовым — это будет фонд для подкупа убийц и погромщиков. В царских дворцах накоплено несметное количество золота, серебра, бриллиантов. Использовать Зимний дворец и все дворцы. Бывших министров не меньше, чем собак на свалке, — прекратить им пенсии. Жалованье высшим чиновникам представляло грабёж казны. Прекратить.

ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ…

Все храмы и утварь в них должны перейти в собственность государства — и православные общества будут получать их в пользование от правительства. Эти обязательные правила обезпечат нас от постоянного навязанного засилия духовенства, которое, в большинстве черносотенное, всегда помогало свергнутому правительству в его злодейской деятельности.

Партийная литература. В наших партийных газетах большая часть статей появляется без подписи. Это делается для поднятия авторитета

партийных учреждений и для устранения рекламирования отдельных лиц. Это внесёт и больше единства во взгляды масс.

ЖЕРТВУЙТЕ ЗАРАБОТОК ПЕРВОГО ДНЯ РАБОТЫ В ЖЕЛЕЗНЫЙ ФОНД «ПРАВДЫ». Рабочая газета не может зависеть от капризов и алчности господ капиталистов.

О СОВЕТАХ. С быстротой молнии двигается колесница русской революции. За Петроградом тянется, спотыкаясь, необъятная провинция. Но оглянитесь кругом: тёмная работа чёрных сил идёт непрерывно. Чтоб развернуть революцию дальше — надо союз рабочих и солдат сделать не временным, а устойчивым. Орган этого союза — Советы.

К. Сталин

597

Ещё десять дней назад Александр Фёдорович трепетал от гордости, что включён в правительство, и в драматически мятежных языках пламени видел своё положение социалистического заложника среди буржуазных министров. Но за немногие дни он великолепно в этом правительстве освоился: Некрасов, Терещенко и Коновалов были его тайно-соединённые и во всём согласные друзья; Годнев и Владимир Львов, постоянно в себе неуверенные из-за своей правой принадлежности, голосовали всегда на стороне Керенского; сам князь Георгий Львов относился к Керенскому с растущим почтением, если даже не с услужливостью, — и Керенский уже ощущал себя как бы заместителем премьер-министра, второю фигурой в кабинете, — хотя, конечно, это место думал занимать Милюков, да и Гучков. Керенский уж никак не был рядовой министр, всего лишь юстиции, но уже — влиянием на князя Львова — приобретал как бы право *veto* на любые решения остального правительства. А каждое собственное действие его одобрялось, а каждое предложение его принималось; например, чтобы правительство ехало в Сенат и там бы присягало на верность народу.

Правда, такое положение Керенского в правительстве объяснялось не только превосходством его личности, ещё не всеми усвоенным, но тем, что плечи его были нагружены доверием революционно-демократической общественности и всего Народа.

Однако это представительство от Совета, так полезное в первые дни, эта зависимость становилась Керенскому непереносима

и даже унизительна, по мере того как росли развязность и претензии Совета. Если Исполнительный Комитет Совета значил больше, чем всё правительство вместе взятое, то что тогда был Керенский в правительстве и зачем? Уронил бы он себя, если б хоть раз отправился туда, на Исполком, тереться среди них и серьёзно отчитываться о правительстве. Как признанная любовь всей России, надежда её, многогласно выраженная, — Керенский бы наилучше всего теперь совсем отменил бы своё советское происхождение, смыл бы его с себя, оно его только суживало. Но это было невозможно при том, что Совет то и дело вмешивался в дела правительства, и надо было какую-то позицию занимать.

А теперь придумали ещё эту Контактную комиссию, и вот исполкомовцы приходили развязно, вчера уже второй раз, сюда, в тихий, сверкающий, золочёно-мраморный Мариинский дворец, — и разваливались в бархатных креслах выслушивать отчёт правительства и давать свои указания. Особенно раздражал Керенского презрительно-басовитый тон Нахамкиса, как он поучал министров о доминации Совета.

Защищался ли добросиятельный князь, что Временное правительство получает со всех концов России сотни телеграмм с приветствиями, благопожеланиями, обещаниями помощи и поддержки, —

— Да мы, — отметал Нахамкис, — тысячи таких телеграмм получаем, и все требуют, чтобы мы забрали власть себе. Вы — только потому до сих пор правительство, что мы защищаем вас от масс, а они — желают вас убрать.

Как будто не личность энергичного мелькающего Керенского привлекла к правительству симпатии российских масс!

Но самому ему было неудобно о том возражать. Его позиция в Контактной комиссии оказывалась исключительно сложной, разодранной надвое. Он вообще избежал в ней числиться — потому что не мог же вступить в полемику против Совета на стороне буржуазного правительства, но и не разделял ни одной ноты Совета. Вчера он остался присутствовать на ней — как наблюдатель, как другие министры, — и сидел молча, с презрительно прищуренным выражением. И внутренне корёжился от уступчивости размазни князя Львова.

Вчера заседали в большой комнате, с окнами на Исаакиевскую площадь. Сидели за подковообразным столом, правительство — по внешней стороне полукруга, Исполком — по внутренней. Ке-

ренский — на самом краю, отдалясь, как если б он не имел отношения ни к тем, ни к другим.

Хотя уже отошло заседание правительства, ещё было не поздно. Но заседание Контактной комиссии изнурительно затянулось в споре об Учредительном Собрании.

Одна штора была не задёрнута, и виднелись огни «Астории», уличных фонарей, полная темнота там, где громоздился Исаакиевский собор, а иногда по площади проносились световые снопы автомобилей или покачивались точки свечных извозчичьих фонарей.

Собственно, обе беседующие стороны начинали понимать, что появлением Учредительного Собрания они обе отменяются. И поэтому спешить с Собранием не было выгодно ни одной из них. Но и много раз уже было заявлено, что война не мешает созыву. Однако, если Львов смущённо оправдывался, что практически невозможно созвать в мае-июне, как обещали, чтобы приготовить абсолютно демократические выборы,— значит, не раньше всё-таки осени, — Совет показно настаивал, чтобы летом.

Согласились, что должна выбирать и Действующая армия. Должны выбирать и женщины. Согласились, что подготовку выборов будет вести совместная с Советом комиссия. Но не сумел отстоять князь Львов даже — чтоб Учредительное собралось в Москве. А Нахамкис гремел не по-комнатному:

— Вы хотите увести Учредительное Собрание из-под контроля революционных рабочих Петрограда?

От безответственного его наседания Керенский внутренне извивался. Он уже понимал, как трудно устроить эти выборы, так легко пообещанные. И не видел, почему наотрез надо было отказывать Москве, где его принимали столь восторженно. И представлял, сколько ещё столкновений с Исполнительным Комитетом будет при подготовке.

Но его двойственное положение не давало ему возражать, и он молчал.

И только после заседания остался наедине с князем и резко выговаривал ему за недопустимую слабость.

Конечно, приходилось работать с тем правительством, которое составилось. Лицезреть вечно заспанного недотёпу Щепкина, рядом со Львовым. Приходилось терпеть недостатки и своих союзников. Например, Некрасов не делал ни одного сообщения, чтоб не клянчить повысить оплату кому-нибудь из своих подчинённых,

ища у них популярности. То предлагал отменить закон о лиходательстве — чтобы дающий взятку не подлежал суду, тоже кому-то обещал?

Как раз на вчерашнем и сегодняшнем заседаниях много и почти сплошь министры просили денег. Шингарёв — повысить суточные продовольственным комиссарам, Милюков — пособие нашему посланнику в Швеции. Коновалов — пенсий для увольняемых начальников Неокладных Сборов и казённой продажи питей, и на покупку угля для уральских заводов — полтора миллиона, и просто на усиление штатов министерства один миллион рублей. Некрасов — восемь с половиной миллионов на усиление оборотного капитала железных дорог. Сам Керенский — воспособления амнистированным, возвращающимся из Сибири. Терещенко — увеличения заработной платы рабочим Монетного Двора, а для Экспедиции заготовления государственных бумаг, где особенно много придётся работать, он просил сверхурочные, пособие по вздорожанию, процентные прибавки плюс полуторамесячные оклады большинству.

А сверх этих всех, подряд удовлетворяемых просьб не мог не встать, и когда-то должен был встать, и Терещенко вымолвил наконец вопрос: какое же месячное содержание назначить самим членам Временного Правительства?

Ведь они уже 12 дней состояли в должностях.

Наступила пауза. Никто не хотел предложить первый, и неудобно было высказаться слишком определённо. Всем понятно, что несправедливо было бы министрам свободного правительства назначить содержание ниже, чем министрам лакейского царского правительства. А вздорожание военных лет даже могло потребовать и некоторого возвышения окладов.

Но никто не был готов первый предложить. И сформулировали так: просить министра финансов представить сведения об окладах прежних членов Совета министров и свои предположения.

Других крупных вопросов не возникло. Отменили правила чрезвычайной охраны на железных дорогах. Приостановили мобилизацию труда инородческого населения Империи: этот вопрос должен быть решён более гуманно в соответствии с основными началами нового государственного строя. Отменили именование придворными чинами, званиями генерал-адъютантов, флигель-адъютантов и всех других.

Настолько Керенский созрел и создан был к движению, к ракетному движению — лететь, прочерчивая русское небо, появляться, быть показанным, произносить вдохновляющие речи, решительно всё ломать и переделывать, — что всякая заминка, остановка, вот эти многочасовые закислые, непламенные заседания просто нервы ему надрывали. Вот был Родичев министром Финляндии, пост его быстро упразднился (Керенский этому содействовал), и на днях надо ехать кому-то в Финляндию, произнести там несколько речей, — Керенский взял это на себя. (Он обожает финнов!)

В правительстве было тесно не от князя Львова, — Львов, конечно, старая галоша, но это со временем решится. Раздражающей помехой был, во-первых, Милюков, напыженный на своём министерстве, пока неприступный, но конфликты с ним предчувствовал Александр Фёдорович впереди. И ещё более чужая сила — Гучков. Нельзя было разумно понять его право быть военным да ещё и морским министром.

А сам Александр Фёдорович — насколько больше бы подошёл к этой роли! Как бы он выглядел, перетянутый мундиром по стройной фигуре! Как бы носился с фронта на фронт (да вот, в сохранённом царском поезде) — и как бы воодушевлял войска! Насколько бы легче и воздушнее всё совершал! (Да вот — гневался Совет, что в Ставке заговор, — и что же мешкал Гучков? И кто же раньше настиг казачий штаб карающей десницей? — генерал-прокурор!)

Юстиция? Но юстицию Керенский уже за эти 10 дней преобразил фантастически, уже сформовал новую русскую юридическую эпоху — и мог теперь перенестись дальше. Что ж, не ему достанется возвести юстицию на окончательный пьедестал — но в избытке таланта он рвался на следующий пост! (А пока — отчего не сделать и доброе дело? Он и всегда понимал, что Горемыкин — нафталинная шуба и ни при чём во всех событиях, а Голицын попал как кур в ощип, тоже ни при чём, — арестовали громко, и хватит — можно их теперь освободить из заключения, только как-нибудь понегласнее, чтобы скандала не было от Совета. И даже самому съездить в крепость, пусть старики запомнят, и история тоже отметит.)

Сдерживая вызов, Керенский помётывал взглядами на Гучкова. Нет, стар он уже, упустил лучший возраст, и нет у него чувства ритма революционной эпохи. Сам для себя Керенский решил заглянуть глубже: что там делается внутри гучковского министерства?

598

Это и есть настоящая жизнь: когда ты нужен обществу каждой своей клеткой, с головы до ног, сразу в десять мест и все 24 часа в сутки. Как-то с Нусей за поздним ужином захотели подсчитать, сколько ж у него обязанностей и постов, — она взяла бумажку, стала писать — а он заснул, локти на скатерть.

Лихорадка революции схлынула, а натяжения, в которых жил Ободовский, не ослабели ничуть. Министр промышленности Коновалов предлагал ему пост своего товарища, — отказался. На него и так теперь было взвалено Особое Совещание по снабжению металлом оборонных заводов. Особыми Совещаниями до сих пор командовали только министры, а он никто, — а надо создать его в неустоявшейся обстановке, да не Совещание, но чтобы заводы получали реальный металл по железным дорогам, взбудораженным той же революцией.

Одно это Совещание должно было захватить всё время Петра Акимовича. Но как только 10 марта достигли соглашения с фабрикантами о 8-часовом рабочем дне для Петрограда, — Ободовский поослабил внимание к заводам, а тут же кипливо взялся за свой Военно-Технический комитет: провести сейчас быструю технизацию нашей армии, даже за полгода достичь германского уровня, а то и выше. До революции его проекты залёживались в Управлениях на зелёных скатертях. А сейчас пали Управления, а руки Ободовского освободились. И уже 11 марта он провёл через Военную комиссию, а 12-го опубликовал в газетах как приказ: «О расширении деятельности Комитета Военно-Технической помощи». Поручалось ему (он сам себе поручал): устраивать при армиях телефонные, телеграфные, радиотелеграфные, прожекторные и электротехнические школы, и мастерские для ремонта всех этих аппаратов, электростанции для электризации проволочных заграждений, и получать все нужные приборы и аппараты внеочерёдно с заводов, а сносясь с начальниками воинских частей — забирать от них инженеров и студентов, кто в должностях не по специальностям.

И, собственно, ничего увлекательнее вот таких задач Ободовский не знал. Однако азарт его теснился той же Военной комиссией — ждали его и там, а вот Гучков уезжал — и членам Военной ко-

миссии, по очереди, и Ободовскому тоже, доставалось вести приём фронтовых делегаций, желавших выразить военному министру патриотические заверения и получить объяснения о положении в Петрограде (как будто сторонний человек мог бы эту дичь понять!).

А ещё же Ободовского ждали на заседаниях поливановской комиссии по демократизации армии. Хотя по более понятной ему заводской обстановке Ободовский начинал уже бояться размаха этих демократических начал, но из-за хаотических крайностей не могло же возникнуть принципиальное сомнение в самих началах, — иначе зачем же и революцию производили. Если, как предсказано,

Вынесет всё! — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе, —

то эта широкая ясная дорога только и могла быть дорогой широчайшей демократии — и только она могла насытить аппетит века и удержать Россию от перехода в безцветный социализм. Удержать на грани перелома, на грани срыва — всегда трудно, но в этом искусство и задача. Так и в армии. Дисциплина не могла остаться в прежнем виде, но получить гибкость, раздвинуться, — однако ведомая патриотическим чувством и широким умом. И в этом смысле даже те генералы, которых Гучков подобрал в поливановскую комиссию, оказались косными, они лишь тужились казаться демократами, но не успевали за быстрым дыханием реформы.

А тут с другой стороны, из солдатской секции Совета, опубликовали «Декларацию прав солдата» — так Ободовский совсем за голову взялся: что ж остаётся от офицерства в армии! И это — прошло совсем вне поливановской комиссии и военного министерства!

Особое Совещание по металлу Ободовский собирал в Таврическом. Но упирался в десятки вопросов, которых нельзя решить без правительства, — и приходилось ехать в Мариинский.

Сегодня он встретил там на белостенной лестнице с белыми бюстами античных героев — быстро спускавшегося Керенского, издали заметного по австрийской куртке в осиную талию, короткому бобрику и нетерпеливой походке.

Пожалуй, вот этой быстротой, гонкой торопливостью поспеть во сто мест, Керенский нравился.

Ободовского тот знал в лицо, уже намелькались за дни революции, и сейчас, полусбегая с лестницы мальчишески лёгким шагом, узнал — кивнул — пролетел ещё шага два — но тут же позвал, не помня имени-отчества:

— Господин Ободовский! Одну минутку!

Пётр Акимович не так же быстро шёл вверх, как тот вниз, ещё поблизости обернулся — а Керенский взлетел на эти ступеньки назад — и на этот раз уже тянул, жал руку, не совсем и без силы была его рука.

Двое, вроде адъютантов, бежали позади Керенского, — теперь они тактично отошли на другую сторону лестницы.

Хотя Керенский шёл, очевидно, после заседания правительства и после уже многих часов работы в разных местах, — но вид у него был совсем свежий, даже весёлый:

— Господин Ободовский! — он легко поднял палец, как бы, однако, призывая ко вниманию. — У меня есть одно… у меня к вам один…

Нет, поблизости лицо было у него несвежее, но очень решительный вид. При улыбке обнажался верхний ряд зубов, а веки полуопущенные.

— Такой вопрос, — негромко, но ласково, но и властно говорил он. — Я бы хотел немного познакомиться… вникнуть… в военные проблемы. М-м-м, — снял серьёзность, искупил руладой, — в порядке самообразования. — И уже доверчиво, одобрительно, наградительно: — Не могли бы вы ко мне привезти, вечерком, побеседовать, несколько умных полковников из Военной комиссии?

Сощурился ещё у́же.

Странно. И лично Петру Акимовичу это было совсем ни к чему. И почему опять именно он, гражданский инженер, должен был собирать полковников Генерального штаба? Но, с другой стороны, устроить подобное ему было совсем легко. А с третьей — не умел он вот так в глаза сказать дружелюбному человеку: а не пошли бы вы прочь?

— Ко мне, в министерство юстиции, вечерком, попозже, — уточнял Керенский как уже о решённом.

— Да, но… — замялся Ободовский, — об этом должен был бы знать военный министр.

— Ах, Гучков, — сухим коротким смешком засмеялся Керенский. И разрешил: — Ну конечно. Ну конечно.

И добавил, зачем-то смотря на наручные часы:

— Только… послезавтра я в Финляндии… Так хорошо бы завтра вечерком, перед поездом, часиков так в десять.

599

Два генерал-лейтенанта, два корпусных командира, два ровесника — они всем телом и видом рознились, и только разве тем схожи, что речь обоих была хрипловата и недлинна.

Крупный, грузный Крымов сидел в кабинете Корнилова, на широком стуле едва помещаясь и уже навалив половину хрустальной пепельницы махорочного пепла, а под высокий потолок наоблачив дыму.

Сухонький, калмыковатый, сдержанный Корнилов иногда присаживался за слишком большой стол, в слишком широкое кресло Командующего, а то вставал и прохаживался по ковру тонкими ногами в безшумных сапогах без шпор, крадущимся шагом разведчика. Подходил к одному из окон — все четыре в ряд от пола, высокие, все на Дворцовую площадь, — и постаивал, поглядывал туда — так же хмуровато, как и на собеседника. Это исконное у него было выражение, будто он чего-то недопонимал.

— Ни одну часть из Петрограда убрать не имею права. — Перешёл. — Они сковались как круговой порукой. — Перешёл. — Конечно, надо расчищать, не могу. Да пулемётные полки, сколько стволов, во всей армии не намного больше. А они тут в разврате. И не могу.

— Так отбери у них пулемёты!

— Не могу, — косоватыми сабельными бровями.

— Так кто же ты? никто? — обдымливался Крымов. Он не любил европейского выканья и всегда прорывался на русское ты, где только можно, даже и с первой беседы. — Не можешь выпереть этих — подтягивай крепкие части с фронта.

— Не имею права, — сухими плечами.

— Как? — и *взять* не можешь? И — привести?

— Не имею права, — из-под литых усов, холодно, как не про себя.

— Так какой же ты к чертям Командующий?! Я б — минуты не оставался.

И смотрел на Корнилова по-медвежьи. Вот это Крымов и хотел понять: почему Корнилов в таком положении остаётся Командующим? Просто ради почёта? Или — затаился, а есть свой план?

Корнилов провёл по усам маленькой рукой с массивным кольцом белого металла. Молчал.

Узкие глаза, закрытый, так легко его не поймёшь.

— Да от наших генералов — и весь разврат, — признал Крымов. — Спешат, не знают, как лучше …подлизать. Ну и кем Гучков себя окружил, вот я не ждал! — кальсонщиками, им на складах считать, а не генералы! Что это? — честь отменили, дисциплинарные взыскания отменили, даже «проступки» отменили, — а есть только «недоразумения»! А ещё — и офицеры выборные? Да бабьей метлой такую армию разогнать, это уже не армия.

Густо дымил.

Корнилов малыми шажками похаживал молча, непроницаемый.

— И Военный Совет — идиот на идиоте, — пыхтел Крымов. — Спешат засвидетельствовать солидарность, как легко армию растряхивают. Будто сами сроду не служили, старые пердуны.

Поджёг одну от другой.

— Ещё этот борода-лопата Иванов, дурак. Он-то всё и погубил, первый. Он-то почему в Петроград не вошёл? Самый первый всё держал в руках. Уж один-то боевой полк у него был, Тарутинский, а больше и не надо. Ещё когда сволочь не укрепилась — почему в Петроград не вошёл? — насупленно допрашивал Корнилова, будто тот и не вошёл.

Да на ту же должность и стал.

А вот пойди его разгадай.

— А то есть и Главнокомандующие, — гудел Крымов из бочки-груди, — которы красны ленты перед солдатами цепляют. Нашли хороший способ карьеры.

Он о Брусилове говорил.

Но адмирал Максимов проявился и похуже.

Да не мог Корнилов иначе думать, чем Крымов, не мог! И Крымов решительно:

— Тебе надо делать ставку на казакóв! Два казачьих полка у тебя есть, что же ты?

— Петроградские казаки сейчас — не казаки, — не протронулся Корнилов. — Они красуются — толпе понравиться. В рево-

люцию им тут хлопали. Сейчас думают — как бы им на Дон уйти. Вот и всё.

— Да что ты?! — Уверен был: — Не, мои — не такие.

— Поопасись, — возразил Корнилов узко сдвинутыми губами. — Дойдёт и дотуда.

— Не дойдёт! — Уж когда Крымов что в голову вбил — он возражений не признавал.

— До чего может дойти, — хмуро цедил Корнилов, — мы с тобой просто и вообразить не можем. Сукиных сынов если начинать считать, так… с Таврического.

Нет, он был свой! Ну-ну!

— А ты слышал, что шайка приказала? Считать уже принятую присягу недействительной! А? — Крымов гулко хохотал. — Шайка запасных отменила присягу!

А Корнилов совсем не весело щурился: до тебя далеко, а до меня дошло.

Отложил, погасил Крымов всякое курево, хлопнул по столу:

— А училища у тебя как?

— Юнкера — хороши. Одни они службу несут. Вчера в Павловском был. Отличный парад, отвечают дружно, под левую.

— И сколько у тебя всего юнкеров, со старшими кадетами? Тысяч десять?

— Около.

Большими лапами схватился за большие круглые колени — и закачался медведь:

— Так надо дело спасать, Лавр Егорыч! Ведь *такого* Россия не перескочит. Надо — армию спасать.

Корнилов остановился против, как влитый. Сощуренно смотрел.

— Я всё ж думаю — как-нибудь вытяну гарнизон. Конечно, все твёрдые меры у меня отняты, да и некем их применять… Ну вот начали приезжать депутации с фронтов. Я их посылаю на заводы. Они — в боевом снаряжении туда ездят.

— И что?

— И — проверяют. И тычут: почему, мол, вооружения нам не делаете? И по частям гарнизона.

— О-о-ох, — перекосился Крымов, как штык ему в бок. — Ещё кто кого переговорит. Добрая слава лежит, а худая бежит. Как бы эти депутации, наоборот, фронта не разложили. Ведь и от Петрограда на фронт ездят?

— Ездят.

— Ну вот, наездят. — И лапу на стол. — Нет, Лавр Егорыч! Россия этого не перескочит. Запускать эту заразу нельзя, потом нам всем же тяжелей придётся. Петроград надо расчистить, иначе нет дороги.

— Кем же? — сверлил Корнилов.

— Кем? Да училищами! юнкерами и кадетами! — размахнулся спешенный конный, ему всё было ясно и легко со стороны. — У вас тут всё парады — вот и собери их всех на один парад, но с боевыми патронами. С оркестром веди к Таврическому. Да и разгони этот Совет собачьих депутатов. И всё! И всё.

Всё было ему ясно.

Глаза Корнилова взблеснули угольками.

О юнкерах он уже думал. Юнкера честь-то отдают, но для многих их: вот кончился распутинский позор, наконец свобода. Ещё — пойдут ли? А за старших кадетов — родители расквохчутся: мы отдавали детей на ученье, а не на войну.

Да вообще в этом каменном, нагороженном городе был Корнилов — как у австрийцев в плену, всё чужое.

Да ещё Совет депутатов — он бы без трепета разогнал, но правительство его о том не просит, и будет недовольно, или даже разгневается, — как же на правительство руку поднять? на Гучкова?

Служба есть служба. Крымов наехал — Крымов уехал, а кому тут досталось — послужи. Да и Крымов же не против Гучкова советовал.

Но говорить Корнилов был не мастер. И только:

— Как же так, Алексан Михалыч?.. Во время войны?

— Так именно во время войны! — опять припечатал Крымов. — А то бы — сполáгоря!

В кабинете была открыта форточка — и вдруг стал доноситься оркестр военной музыки.

Приближался со стороны Миллионной.

Но это была не поганая марсельеза. Крымов первый узнал:

— Павловский марш.

Только после этого влетел адъютант и, запыхавшись, доложил, что Павловский батальон идёт на Дворцовую площадь на парад.

Темнокожий Корнилов, кажется, не мог покраснеть — а жар в щеках: не догадался бы Крымов, что парад назначен без Командующего.

— Да, — как будто вспомнил он. — Придётся мне пойти принять парад. А ты — не уходи, посмотри из окна, какие у нас теперь парады. Павловский считается из первых революционных. Он — как бы начинал, и ревнует к Волынскому.

Крымов переколыхнулся мрачно к окну, добра не ожидая.

Смотрели.

— А это что во главе такой молодой? Капитан, что ли?

— Избранный, — вздохнул Корнилов. — Не велят снимать.

— И-и-избранный, — прогудел Крымов. — Небось солдатам подмазывает.

Колонна уже выходила на Дворцовую и как раз заворачивала по дуге Штаба, чтобы сделать петлю. Оттого она приблизилась, повернулась сюда красными пятнами плакатов, отвлекающих и от вида, и от строя, от формы, от лиц, и можно было читать: «Да здравствует Временное правительство!», «Да здравствует Совет рабочих депутатов!»

— Тьфу, оскомина, — отплюнулся Крымов только что не натурально на ковёр. — И ты пойдёшь их принимать?

Лицо Корнилова было темно, угнетено, но и фаталистично. Движение перемены или гнева не пробежало по нему.

Но подходили следующие плакаты — от сердца отлегало: «В единении — сила». «Граждане! Подумаем о наших братьях в окопах». «Победим или умрём!»

— М-м-м-н-ничего, — курильно прокашлялся, пробулькал в толстом горле Крымов. — Да и идут, мерзавцы, не так плохо.

— Даже хорошо, — отлегало у Корнилова. — Видишь, всё ещё можно исправить, силы добрые есть. Только надо их поддержать да соединить.

«Отложим личные счёты!» — был следующий плакат, даже умильный.

А за ним опять: «Да здравствует» — на этот раз — «Учредительное Собрание».

А оркестр тем временем перешёл на марсельезу.

Отвернулся Крымов и ушёл в своё кресло.

А Корнилов надел шинель, фуражку. Со стороны ругать — всегда легко, но если тут что-то хочешь делать, то надо в чём-то и уступить, в чём-то и потерпеть. Уж он не признался Крымову, язык не извернулся, что сам написал в два штаба фронтов просьбу допустить туда к ним депутатов от петроградских батальонов. Он думал так почерпнуть от Действующей армии силу своему

гарнизону. Этим гарнизоном он командовал — и должен был его спасти.

Вышел на площадь. Погода была предурнейшая, слякотная, грязная, лужи. Но, как и к волынцам, — натягивало любопытствующую, бездельную публику.

Стал обходить фронт — стояли молодцами, отвечали дружно, громко: «Здравия-желаем-господин-генерал!» (Уже не сбивались на превосходительство.)

Стал речь говорить. А о чём? — всё о том же. Что нужна крепкая дисциплина. И спайка с офицерами. (Да половину их уже прогнали.) А со стороны офицеров — тёплое, заботливое отношение к солдату. Твёрдо всем стоять на защите нового строя. Да здравствует Павловский полк в окопах!

И лица солдат были вполне довольны вниманием.

Да не может быть, чтоб не было пути к их сердцам. Русские воины — очнутся.

Перестроились в колонну поротно. Переняли — очень недурно — ружья на руку, по полковой традиции. И — пошли печатать, небрежа слякотью, очень собой довольные.

Солдаты — те же дети.

Корнилов отрывисто благодарил проходящие роты за отличный воинский вид.

Его — опять подхватила толпа на руки и понесла в штаб.

Дети.

600

Идя на войну, уверена была Таня Белобрагина, что, останься жива (а лучше — умереть), — ни за что не вернётся в Новочеркасск. После смерти матери — близких тут не было у неё, только родня подальше. Вернуться туда, где любовь её была обманута и унижена, — и на какой-то улице вдруг встретиться *с ним*! и *с ней*!

Но, отбыв два года тяжкого немецкого плена — не ей тяжкого, а нашим страдальцам-солдатикам — с первой осени в лагере Гаммерштейн, без бараков и землянок, на голой земле, голодали, и косил сыпной тиф, и потом цепь лагерей, где пленных могли загнать

побоями в торфяное болото и не выпускать оттуда, или, в Ортельсбурге, застрелить пленного за то, что развёл огонь для чайника не в положенное время, заколоть штыком за то, что унёс две картофелины с кухни; беглецов привязывали к столбу, ноги на весу, на неделю, и круговые наказанья всем за побег одного-двоих; где собирали коренья, где отбросы из помойных ям, и к привозимой группе сестёр тянулись с жалобами на многие болезни и болячки, которых знать бы не знали в молодом теле, а в твоих руках почти никаких лекарств, — перед этими отрогами скорби начисто иссякла, излечилась, даже уже с недоумением вспоминалась боль самой Тани. И когда она попала прошлой осенью в возвращаемую партию пленных сестёр, вернулась в Петроград (получила там георгиевскую медаль 3-й степени) — то без колебаний отлилось в ней: конечно в родной Новочеркасск, где родилась, училась, стала сестрой, в неповторимую раскинутую просторную казачью столицу — с её крутыми булыжными взъёмами, лещадными плитами тротуаров, ракушечным устилом нежных бульваров, садами, садами, замкнутыми в заборах при сотнях нескученных деревянных и каменных особнячков, ветровой Соборной площадью у купола-шлема и плечей несравненного Собора, бородатым Ермаком с протянутой на ладони подарком-державой, пирамидальными тополями по Московской, раскидистыми туркестанскими по Платовскому и Баклановскому, дальними видами на аксайские луга, — да нет такого второго города в России! И вернулась. И стала работать в больнице Общества донских врачей на Ратной улице. Непереносимое в двадцать лет — к двадцати двум пережито и отвалилось.

Тут и застал Таню новочеркасский переворот с его странностями: составлявшее дух города важное казачество и казачье чиновничество — враз куда-то заглубилось, отошло, в свои особняки? Атаманом Дона! — стал заведующий портняжными и сапожными мастерскими военно-промышленного комитета Волошинов. А власть в городе, безо всяких выборов, захватил комитет из натолкавшейся образованной неказачьей публики, объявил же себя Областным Исполнительным, то бишь — власть на весь Дон, занял Атаманский дворец и стал распоряжаться не только по Новочеркасску — распустили городскую думу, упразднили полицию, взяли телеграф и почту, — но и по всему Дону смещали с должностей, и даже окружных атаманов, не спрашивая те округа, лишь не смогли

сменить начальника юнкерского училища: юнкера заявили, что будут защищать его с оружием в руках!

Эта мальчишеская отвага — звоном отозвалась в таниной груди! Не за короткие недели фронта в Восточной Пруссии, но за два года плена она ощутила себя военным человеком. И отец — войсковой старшина, погиб на Японской. И Мариинский институт кончала, для военных дочерей.

Но рядом с Областным исполнительным комитетом быстро вспухало чудовище и похуже: Военный Отдел. Отдел — будто бы того комитета, а по-верному — отдельная власть над городом крикунов из солдатского гарнизона. В Новочеркасске стояло два не донских запасных полка, их 16 тысяч, в Отдел полезли все, у кого глотка, или жажда власти, или жажда мести, — и в руки этой орды попала казачья столица. Заняли протяжное здание областного правления у крутого булыжного Атаманского спуска — и там вседневно кипел их солдатский конвент. Малочисленные голоса делегатов казачьих частей там были забиты двумя бешеными вожаками — армейским поручиком Арнаутовым и есаулом Голубовым, всякое выступление против них объявлялось контрреволюцией. Голубов на солдатском митинге сорвал с себя погоны: он — стыдится своего офицерского звания, а кто ещё носит погоны — тот контрреволюционер. И хотя сам он казак, но в борьбе за солдат и крестьян готов отдать последнюю каплю крови. (Потом огляделся — и снова те погоны прицепил.) Этот Голубов был — ватажник «сарынь на кичку!», и когда говорил перед толпой, то злобно захлёбывался — но и толпу увлекал, круговоротил. Но и обдуманные же листы «Известий Донского исполнительного комитета» печатали для Новочеркасска и Дона: «Покончить с казачьей гегемонией. Казаки — приверженцы буржуазии, отразить их удар».

Казачье население Новочеркасска было враз сбито и ошеломлено: у себя дома — они оказались совсем не дома! И даже громко голоса подать нельзя — а только друг к другу домой ходили и приглушённо гуторили. Молча отступившее, невысказанное, но потрясённое казачье несогласие.

И при такой развязке глóток от Военного Отдела — что же творилось с солдатской тучей? И на улицах, и во всех залах кричали: «Не верьте офицерам! бойтесь казаков! тех и других надо б и т ь!» И прямо казакам: «Доберёмся до вашей землицы! Довольно поцарствовали! Теперь все равны!»

И всё больше пьяных солдат на улице. И начались грабежи домов. И на памятники Ермаку и Платову цепляли оскорбительные для казаков скабрезные рисунки и ругательные надписи.

И это — неужели же были те самые братцы, те самые страдальцы, на которых изливалось мукой танино сердце в германском плену?? Не те самые — но ведь братья же тех? Но ведь каждый мог попасть не сюда, а туда? не туда, а сюда?

Однажды на пьедестал Ермака рядом с Арнаутовым взобрался кряжистый вахмистр Подгорнов да в простоте казачьих ухваток закричал:

— Эх, Ермак Тимофеевич! Что ты стоишь и молчишь? А дай-ка Арнаутову по потылице, всё он брешет, сукин сын! Когда ты Сибирь брал — не было розни между казаками и крестьянами, вместе шли! Брешет, а ещё поручик.

И — сбил Арнаутову выступление, гоготала толпа.

Слухи о том, что в Новочеркасске всем вершат солдаты, доходили до станиц — и станицы похмурялись. Какие-то неизвестные у власти, начиная и с этого атамана Волошинова. Стали окружные комитеты там да там — не подчиняться Областному.

А среди всего беснования этих двух недель — держался нетронутый, каким и был, Войсковой атаманский штаб. К нему и тянулись последние казачьи надежды.

И вдруг вчера к этим полковникам прислал Военный Отдел — своего *комиссара:* рядового солдата Рябцева.

А Войсковой штаб, с достоинством, — отказался его принять!

Тогда Голубов и Арнаутов потребовали, чтобы Войсковой штаб в полном составе — ушёл!

А Войсковой штаб — отказался!!

Голубов бушевал: всех переарестовать!

И вчера же Областной комитет выпустил воззвание: в октябре будет созван Донской областной съезд — а до тех пор комитет будет стоять на страже народных интересов и завоеваний революции.

То есть: растянуть свою власть до октября?

А почему *областной* съезд, а не *войсковой?* Чтоб обошлось без строевых казачьих частей? опять подавить казаков?

И в несколько часов — замелькали казачьи смельчаки по городу: в Войсковой штаб, из штаба.

Немедленно учредить наш Донской Казачий Союз!

В другом бы русском городе — как объединиться? А мы — донцы, вот и сразу все вместе.

Дон — это н а ш е !

А — где собираться? Все общественные здания уже захвачены *ими*.

А у нас же есть в Новочеркасске — ещё Новочеркасская станица, отдельность одних казачьих жителей. И её правление близ соразмерно стройной Троицкой церкви — сегодня к вечеру принимало устроителей Донского казачьего союза.

И Таня с колотящейся страстью — поспела сюда. И её, в сестринской повязке и с георгиевской медалью, охотно приняли, потеснились.

Вот это воины! Давно бы так! Там где-то гудят, сколачиваются арестные отряды — а мы открываем здесь *нашу* сходку!

Простые военные казаки, синие кителя, красные лампасы, вперемежку с казачьими офицерами — и сколько-то штатских стариков, своих, казачьих, — жили городом, считали, что у нас умов интеллигенции полно, — а она на поверку вышла не наша. И вот — средь нас нет имён.

Но есть — сердца. И сабли.

Казаки — хотят быть хозяевами своего исконного края! Дон — для казаков!

Наболела казачья душа, пора объединяться! Плечо к плечу! стремя к стремени!

Докладчик: с казачьих вольностей спали вековые оковы. Единая казачья семья, свободная от партийности… Исторические основы казачьего самоуправления и уклада… Восстановить их, используя революцию. Областной комитет ведёт к тому, чтоб обезличить Новочеркасск как духовно-культурный центр войска. Конечно, мы будем в содружестве и с донским коренным крестьянством. (Иногородних в области уже больше, чем казаков.) Но юртовая и войсковая земельная собственность казаков должна остаться неприкосновенной как их справедливое достояние.

Теперь Казачьему союзу — собираться ежедневно! Собирать съезд не областной — а *войсковой,* и не в октябре — а в апреле, теперь же!! Взовём к станичникам собирать союзы хуторские, станичные, — и слать посланцев к нам. Собирайся, донцы, во единый круг! Будем готовить учредительный Войсковой Круг! — первый свободный от до-Петра!

Таня смотрела на седоусых старших офицеров — но оглядывалась и как в дверях столпились с блистающими глазами новочеркасские гимназисты и реалисты. И что эти тоже здесь — ах, хорошо!

Вот, кажется, и нашла себе Таня место: она — будет в Казачьем Союзе!

Наступай, наступай, Голубов, посмотрим!

601

По вечерам, если не боевая обстановка, генерал Савицкий, прошедший всю войну, ещё от Восточной Пруссии, любил отдых и простую домашность: выше пояса вместо военного была на нём тёплая вязаная кофта верблюжьей шерсти, а на ногах — тёплые чувяки. Зеркало кафельной печи хорошо нагрето: весна не весна, а пока можно в суше да в тепле — так надо. Ещё очень любил Савицкий всякое хозяйство — и дивизионное, и штабное, и своё собственное, — вот расписной заварной чайничек с надколотым носком, возил не бросал, ложечки, сахарные щипчики, всё кусок дома.

Позвал начальника штаба чайку вместе попить.

— Вот, Иван Харитоныч, упаси Бог от этих приездов. Это — ещё умеренные, а приедут крайние?

В комнате-кабинете один стол был с бумагами и телефонами, один под картами, а третий, с углубными плюшевыми креслами, под чаем. Подле него и уселись теперь. Стояла на столе наблещенная 20-линейная яркая керосиновая лампа. Чтёные газеты, по недостатку места или непочтению, свалены были на пол у стены.

Из стакана в серебряном узорном подстаканнике с семейным вензелем Савицкий отпил свой коричнево-бордовый, настоянный, не ослабленный лимоном.

— Голова кру́гом идёт. Не сплю. Ведь мы кончаемся… Развал идёт на нас, как по широкому участку пущенный газ.

Рослый суровый полковник сидел недвижно. Что ж тут и говорить.

Савицкий щурился:

— Если б я сейчас мог спасти дивизию тем, что арестовать полдюжины комитетов, — я бы без колебания. Но дело зашло так, что уже и этим не спасёшь. Обычными методами военачальников — мы уже ничего не спасём. А вот я думаю все эти дни… думаю… Отколь гроза, оттоль и вёдро. Надо — через верхи.

Начальник штаба удивился:

— Но вы ж их видели, Дмитрий Сергеич.

— А — не через этих. Именно, раз они такие, и *Раззянко* их такой же, — не через них.

В своей трогательной кофте Савицкий сидел, как хозяйка за столом, а решительность движения проявлялась и из-под этой вязи.

— Я думаю вот… Может быть, тот же наш Командующий армией… Или даже выше… Просто не хотят взять на себя первой ответственности? сказать первое отчётливое слово против потока? А если я — возьмусь всё первый назвать? Подам им чёткий рапорт, моя подпись, моя ответственность за каждое резкое выражение, — а им только двигать бумагу по команде до самого верха. Может, и Ставке надо — на что-то опереться. Там, смотришь, и от кого другого поступит.

Встал, с отверделой спиной, распрямлённой шеей, уже не домашний старичок, только что чувяками не печатая, прошёл к письменному столу, выдвинул ящик, достал хрустящие два белых листа:

— Соизвольте посмотреть, — отчеканил, подавая.

Начальник штаба, принимая лист, — встал, звякнули шпоры, поклонился и начал читать стоя, а сел не прежде, чем сел и генерал.

Рапорт был написан чёрными чернилами, крупно, и почерк бы хорош, да чуть повреждён. (Ещё под Уздау прочеркнула Савицкому пуля три пальца понаружи.)

«Командующему армией генералу-от-инфантерии…

Командующему армейским корпусом генерал-лейтенанту…

…Новый военный министр не знает ни уклада армии, ни её моральных потребностей, разве только материальное снабжение…» — сразу брал за рога. И правда, простой хрусткий бумажный лист, а что только можно в него вписать, если без увилистого красноречия:

«Без проведения через законодательный орган появился в спешном виде и сообщён телеграфно от имени военмина приказ

об отмене ограничений в правах нижних чинов — под давлением партии социалистов, поставившей себе целью уничтожить Армию путём разложения нравственных устоев её. Под видом отмены ограничений в Армию вносится возбуждение солдат против офицеров. А Совет министров и Комитет Государственной Думы продолжают взывать о единстве, как будто не знают или не понимают приказа министра…»

Вот так! Всем Сенькам выдавал по шапкам. Потягивал генерал остывший чай — и с волнением не спускал ревнивых глаз с полковника, угадывая, какое место он сейчас читает.

В таком же духе шло и дальше, всё энергично:

«Нельзя допускать в армию политику, агитацию партий… Армия разваливается сокрушительно. Никакие военные действия этой весной становятся не возможны. Для натур малодушных и подлых надо установить законом физическое наказание, — это есть даже в западных армиях, с культурными солдатами. И — оставить смертную казнь по приговору полевого суда, хотя бы для изменников-перебежчиков».

И даже на Учредительное Собрание замахивался:

«Невозможно без главной части мужчин обсуждать образ правления, земельный вопрос, состояние сословий».

— Ну как?

Начальник штаба отложил листы на чистое место.

И правда, что мог иное сделать безпомощный начальник дивизии? Смело, чётко, и лепить им в лоб. Снизу вверх.

А это никогда не легко, снизу вверх.

— Ваше превосходительство. Боюсь, реальный результат будет один: через считаные дни — вам отставка. В порядке омоложения командного состава.

— Да пусть отставка! — махнул Савицкий, в гневе. — Я и жизнью не дорожу.

Да начальник штаба его знал.

И не знал. Савицкий закинул голову:

— А если ещё и в газетах напечатать?..

Ого! Живо перенимал он образ действий эпохи! Против Гучкова — и гучковский же приём!?

Начальник штаба любовался своим командиром. И ужасался их общему безсилию:

— Газета, ваше превосходительство, в лучшем случае ответит: некоторые воинские начальники по своему политическому неве-

жеству по сей день не уяснили подлинного смысла событий. Не через Гучкова, так через газету отставка ваша совершится тотчас. Честно говоря: просто некому сейчас в России ничего дельного написать. Или сделать.

Савицкий твёрдо смотрел. Думал.

— Нет, всё равно пошлю. Завтра же.

602

И вот наступил великий день — день оглашения Манифеста «К народам всего мира». Пленум Совета намечался в самом большом зале Петрограда, какой только обнаружили: в Морском кадетском корпусе на Васильевском острове, думали вместить туда тысячи, может быть, четыре.

Гиммер не ожидал, что будет так волноваться. Представить себя сразу перед столькими тысячами, а слова бросать сразу ко всей Европе — это чем ближе, тем казалось грандиознее, и даже в груди пересыхало. Хватит ли голоса? Ну, в закрытом помещении легче, чем на улице. Да ведь не просто же прочесть готовый Манифест — он должен будет сделать распространённый доклад, найти ещё новые аргументы и построения и при этом не слишком рассердить оборонцев и не потеснить интернационалистов. Гиммер думал, доклад такой у него в голове готов, — нет, не готов, с утра понял. Но и удалиться готовить его — он тоже уже не мог, какая-то взволнованная потерянность рассеивала.

Итак, он пошёл на обычное заседание Исполнительного Комитета и полуприсутствовал тут, полуслышал, хотя ни в чём не участвовал, а заглядывал в свои хаотические листки и ещё дописывал сбоку. Переписать начисто и потом заучить или запомнить — уже и времени не оставалось и усидчивости.

Заседание ИК началось с заявления какого-то шофёра, что ему известно, будто Горемыкин освобождён из Петропавловки. С подобными донесениями теперь многие пробивались в Исполком, они вызывали волнение, но большей частью оказывались ложными. Однако, сопоставляя с рапортом георгиевских кавалеров из Могилёва, что вся Ставка — контрреволюционное гнездо? В «Известиях» уже появилась сегодня предупреждающая статья самого Стеклова — сильные статьи «Известий» выдвигались как воору-

жённые полки. А теперь ещё и освобождение Горемыкина? Да не готовят ли реставраторы этого старца в премьер-министры? Запросить Керенского.

В который раз возмутились Керенским: обязанный отчётом Совету, он никогда не отчитывался, не сказывался, не появлялся, совершенно обуржуазился. Даже на сегодняшнем пленуме, где он обязан быть, он конечно не будет.

Затем энергично докладывал Богданов, что Совет Рабочих и Солдатских депутатов стал уже чрезмерен, неуправляем, нигде не помещается и работать не способен: там уже скоро две тысячи солдат, тысяча рабочих, это становится абсурд, а не законодательный орган. И нестерпимо такое соотношение: перевес мужицкого большинства, деревенской солдатчины, поглотившей революционный пролетариат. Надо изменить норму представительства, уменьшить общее число тысяч до двух, и хотя бы уравнять рабочих с солдатами.

Но — как же это сделать? Изменённую норму — как же провести через сам Совет? Как заставить депутатов самих отказываться от своих мандатов? Навыдавали мандатов без оглядки, навыпускали джиннов из бутылки — а как теперь их заткнуть назад? Задача!..

Сметливый Богданов предлагал так: нынешний непомерно громоздкий Совет оставить как он есть, но только для торжественно-исторических заседаний, как сегодня. А для сколько-нибудь деловой работы выделить из Совета или избрать отдельно — «малый Совет», человек на 500, а лучше на 200.

Но что ж толковать о Совете, когда нерабочим и громоздким стал сам Исполнительный Комитет? Уже и здесь набралось чуть не 40 человек, да сколько-то с совещательными голосами. Раньше Совета надо преобразовать сам Исполком. Уменьшить его нельзя, — но не избрать ли из него бюро, которое и будет решать все текущие вопросы?

Приходилось согласиться. Человек семь?

Тут же стали выбирать бюро. Соколов — опять опоздал, опять его не было, — будет жалеть, что не попал. А Гиммер — не стал уже ввязываться в бой, добиваться туда попасть, — да и зачем ему эти текущие дела. Он был — теоретик, он был — мозг. Незаметный, но вдохновенный, — он сознавал себя истинным направителем всей российской революции. Достаточно было, что он состоял в Контактной комиссии и мог всегда проверять Временное правительство, это — главное.

Выбрали в бюро Чхеидзе, Стеклова, Гвоздева, Богданова, Красикова, Капелинского и — не Шляпникова, а Муранова: появился теперь Муранов, он был как бы равен Чхеидзе по своему прежнему думскому положению, и все охотно приняли его.

Ещё возобновили существенный вопрос: об оплате труда членов Исполнительного Комитета. Невозможно держаться безконечно на энтузиазме первых революционных дней: откуда же брать средства к существованию, заседая тут по 7 часов ежедневно? Да вообще, состоя членами реального как бы правительства России, неужели же мы не имеем права на достаточное вознаграждение?

Однако — сколько себе назначить? Слишком мало — обидно, слишком много — может вызвать рабочее неудовольствие, да ещё и — из каких средств платить? А Временное правительство насчёт 10 миллионов тянет, не отвечает. Поручили пока Брамсону изучить вопрос вознаграждения членам и доложить Исполкому.

А заседание всё шло, шло. Долго подробно докладывала похоронная комиссия о плане похоронной процессии по городу. Марсово поле было всё не готово, только сегодня там начинали копку, а почва утолочена битым кирпичом и проморожена, теперь костры палить или взрывать. Жертвы революции всё не хоронятся, теперь откладывали еще на неделю. Ожидали миллиона участников — и боялись Ходынки.

Так — затянулось и затянулось заседание, пока не пригласили членов Исполкома к горячему обеду. И уже надо было собираться ехать в Морской корпус.

А Гиммер — так и не доделал своего доклада, не дописал, не переписал своих тезисов ещё раз!

Теперь всему Исполнительному Комитету предстояло автомобилями переехать на Васильевский остров — целой вереницей автомобильной по Литейному и Невскому.

Но хотя автомобили Петрограда были, по сути, в распоряжении Исполкома — стали подсчитывать наличные, и что-то как будто не хватало, плохо распорядились.

Тут Флаксерман, жена Гиммера, она работала в аппарате Исполкома, — возьми и сбей на несчастье:

— Коля! А поедем со мной. Меня — особый автомобиль ждёт.

— Какой? Зачем тебя ждёт?

— Вот тут, в гараже, на Таврической улице. А ждёт — чтобы на Лиговку заехать в типографию, взять пачку «Известий», раздавать в Морском корпусе.

— Так это крюк какой!

— Да на моторе — одна минута, какая разница! Там — всё готово, нам только вынесут, и мы ещё раньше других будем.

Ну что ж, пошли в тот гараж. Оттуда выбегали автомобили, но всё не те. Стали искать. Нашли шофёра, но у него ещё не было ордера. Пошёл подписать ордер. Ждали. Пришёл с ордером, стал мотор заводить — а мотор не заводится. Гиммер занервничал: пойти назад в Исполком? — но уже, наверно, все места разобрали. Да ничего, заседания Совета всё равно никогда вовремя не начинаются, подождём уж.

Наконец мотор завёлся. Погнали на Лиговку.

В типографии не только не оказалось собранных «Известий», но даже тех людей, кто бы знал, сколько и где их надо собрать. Пришлось самим лазить по этажам, спрашивать, искать. Наконец — нашли, но теперь надо было искать, кто бы имел право всё это выдать и кто бы это перетащил и погрузил в автомобиль.

Ещё искали по тёмным коридорам, хлопали комнатными дверьми, пока нашлись люди, кто увязал кипы и донёс их.

Шофёр ждал супругов Гиммеров с негодованием: он и сам был член Совета и хотел присутствовать на пленуме, а вот из-за них… Не слушая оправданий, кинулся крутить ручку завода.

Но машина не заводилась.

Не заводилась, не заводилась — и куда ж было кидаться? Извозчика не найти, в трамвай не влезешь, а пешком — всё равно несравнимо дольше. Да каждую минуту, каждую секунду, с каждым поворотом ручки может завестись!

Гиммер искусал все губы, стараясь только не думать, не думать об идиотской глупости своего положения! Не умереть от разрыва сердца, от умоисступления, — что там думает Чхеидзе? Уже, наверно, начали! Но — как же начать без главного докладчика?

Вдруг — машина затряслась, крупными неровными дёргами. Шофёр поспешно вскочил, нажал — и машина понеслась бешено, прыгая по ухабам, по лужам и далеко на прохожих разбрасывая серый снег и грязную воду.

Завернули на Невский, глянула его дальняя прямота, ещё погудели рожком на проворно разбегавшихся прохожих — и вдруг опять остановились. Тряхнуло седоков вперёд.

В этой двухминутной скачке по Невскому Гиммер ещё не успел отойти от муки — как впал теперь в новую, безысходную. Опустил голову на свои безсильные руки и готов был завыть. Но и опять не

было смысла срываться: редкие извозчики ехали — занятые, трамвайная остановка не рядом, вагоны обвешаны людьми — а эта чёртова рухлядь всё-таки способна завестись?

В таком корёженьи и с ненавистью глядя на жену, Гиммер произвивался эту остановку. А машина завелась! — и он своим давлением ещё поддавал передней стенке ехать вперёд! А когда опять заглохла резким толчком — стал впадать в транс равнодушия, уже начинали ему быть безразличны и свой провал, и что произойдёт на пленуме, — и не было энергии искать другой способ добираться.

Так, дрыгая, то кидаясь вдоль проспекта, то резко останавливаясь, чёртова машина ещё промучила, промучила их сколько-то, — и всё ж перебралась через Дворцовый мост и дотянула до набережной к Морскому корпусу — с опозданием больше часа. Гиммер бросил жену, «Известия» — и полоумно побежал внутрь.

Пусты были лестницы, переходы, — началось!

В одну из раскрытых и затолпленных дверей зала он всё же втиснулся, проюлил ещё немного — но вот затёрся, маленький, слабый, никому не нужный, за спинами, за спинами — и видел только вверх: огромный лепной потолок, на хорах — морской духовой оркестр, на возвышении — крупная модель парусного корабля и на неё взобравшихся отнюдь не модельных матросов, да какие-то морские эмблемы высоко по стенам, да кой-где развешанные флаги, драпировка кусками красной материи, это всё уже при электричестве, дневного света не хватало на зал, — и хотя слышал зычный голос Нахамкиса, а долго не мог понять, где же расположился президиум. Оказался он не поперек зала, а — вдоль, на помосте, на уровне живота огромной бронзово-чёрной статуи Петра Великого в треуголке, — и ступеньки помоста тоже все облепила публика, солдаты и рабочие, — их как выпирало вверх из зала, набитого до отказу, — и как бы тут Гиммер мог пробиться?

А слышно было — прекрасно. И с ревностью слушал он Нахамкиса. С ревностью — и страшной тревогой, не возьмётся ли тот грубо комментировать Манифест, эти тонкие нюансы войны и мира, проводимые через подводные рифы, а это дело не его, какой же он теоретик, он слаб, он грубый эмпирик. И даже не мог Гиммер понять, уже читался ли Манифест? Обидно как! без автора! да как же они могут?! Или это ещё впереди?

Густо, напористо Нахамкис оповещал:

— Русская революция является не только русской. Ещё 150 лет назад Франция сделала революцию. Была объявлена война хижин против замков, народа против короля.

О-о, да он касался великих теней! великих тем!

— Но тогда русские войска пошли в Париж и восстановили монархию. Потом наш проклятой памяти Николай I… Имя русского стало ненавистно европейскому свободному гражданину. У нас была тёмная ночь. Но революционный петух пропел — и наступила заря новой жизни — русский крепостной из жандарма превратился в революционера. И каждый с гордостью скажет: я жил в это славное время. И это чувствуют все оставшиеся на престолах тираны. Вот почему Вильгельм дрожит за своё существование.

Ничего, это ничего…

— Царь наш казался великий, потому что вы стояли перед ним на коленях. Но стоило вам храбро встать на ноги — он стал маленьким, глиняным, и вы его легко свергли. Однако дело революции не закреплено. Злодей Иванов арестован — а в Могилёве собираются контрреволюционеры. Я надеюсь, они будут все переловлены, привезены сюда в кандалах, а тут судимы безпощадно!

Что это, куда это он понёс? Ему не терпелось пересказать свою сегодняшнюю статью из «Известий». В такой великий момент — при чём тут Ставка? какое отношение к Манифесту?..

И электричество вдруг потухло. Но сразу и загорелось.

— Таких людей надо считать изменниками общему делу! — гремел Нахамкис, плохо видный за тесными высокими спинами. — Таких военачальников, поднявших оружие против нового режима, мы объявляем — вне закона!! Если найдётся генерал, который пожелает вести против нас солдат, — голос рокотал громом, — каждый обязан убить его!

Зал оживился, зашевелился, загудел, понравилось. Тем временем Гиммер, не имея сил расталкивать плечи, въюркивал между боков — и всё же пробирался. И вот ему стал виден грозный Нахамкис — как он махал убивающей дланью и пристукивал ею по доске перил, — и нельзя не признать, был революционно прекрасен, неожиданный вождь! Но при чём тут Манифест?

— А в России будет демократическая республика. Будет так называемое русское народоправство. Это в русском духе, вспомните Великий Новгород и Псков.

От Французской революции — и к Новгороду. Это — слабость Нахамкиса, он не умеет держаться логической цепи.

— Но есть международная сторона…

Опомнился.

— Как Франция, где дипломатия — привилегия богачей. Дурачащая народ золочёная дипломатия вызывает войны. Если бы над нами не сидели эти паразиты… Народы давно и создали международное общение, Интернационал, но пришла Англия, заговорила о морях, и началась великая война… В начале войны я спрашивал у германцев, будут ли они давать кредиты на войну Вильгельму. И они ответили: у вас, у русских, нельзя свободно слова сказать на улице, вы угроза для нас со своим деспотизмом, и мы будем с вами бороться…

Ах, ещё вот эта ошибка наших интернационалистов: у них почему-то Германия всегда виновата меньше Англии и Франции! Вот Гиммер никогда не потерял бы теоретического равновесия!

А Нахамкис — всё разливался. И как — это немцы должны были выступить с воззванием к русским свергнуть тирана, но они не могли поверить в нас. И как — вот мы теперь выступаем. Это — он так медленно подводил к монументу Манифеста.

А электричество мигало, пугая и раздражая.

И — ещё долго, и ещё сколько лишних подводящих фраз. Нет, не талантливый он! Ах, какая злая неудача с этим опозданием! Какой великий доклад, какой великий момент испорчен!

Но — не имел Гиммер силы выбиться из затискивающей, задавливающей массы. Так и застрял зажатой щепочкой, упал духом. И только его острый аналитический ум, сопротивительно или насмешливо, отмечал, что происходит.

Ну, наконец-то! Наконец-то он — стал читать и сам Манифест! Знал Гиммер этот экземпляр, оставшийся у Чхеидзе, перепечатанный на машинке, но и с исправлениями, — и теперь Нахамкис по нему спотыкался, не так расставлял логические ударения — и Гиммеру это больно отзывалось, как если бы от того погибал мировой интернационализм.

Но вдруг… но вдруг… он перестал замечать ошибки. Зычный голос Нахамкиса — над головами стольких тысяч — развернул Манифест как гигантское знамя — как Гиммер никогда и не смог бы, по слабости горла.

И он зачарованно прислушивался к этим периодам — «Мы, русские рабочие и солдаты… шлём вам наш пламенный привет и возвещаем… Нет больше главного устоя мировой реакции и “жан-

дарма Европы”… Наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире…»

И — дальше… и — дальше… Красоты сменялись глубинами — и Гиммер услышал свой Манифест ещё величественней, чем ожидал,— как уравновешен! как удался!

«…И мы обращаемся прежде всего к германскому пролетариату…»

И авторское самолюбие его смирилось, что читал не он сам.

И вот — кругом захлопали, захлопали тяжёлыми солдатскими и рабочими ладонями, — и сам Гиммер был перышком лёгким в этом вихре.

А сразу за чтением великих слов на помосте оказался не интернационалист, ни даже социалист, — но служака-полковник, против кого и предупреждал Нахамкис, кто и сегодня честно нёс бы свою собачью службу трону. Но в переменившихся революционных обстоятельствах этот полковник теперь бодро представлялся как новоизбранный солдатами командир Измайловского запасного батальона:

— Я старый солдат, и я заявляю вам, сейчас очень опасный момент: быть или не быть России.

Нагонял монархического страху.

— В наших руках свобода, но я боюсь, как бы она не провалилась под землю! Я боюсь, чтоб деспотический Вильгельм не отнял нашу свободу! Чтоб сохранить свободу — нужны оружие, снаряды и порядок в войсках.

Как будто не прозвучали великие слова! Тут же, через десять минут, вот как нагло выворачивали взрывную революционную идею в патриотическую пошлость!

— Я говорю вам: офицеры вам очень нужны как специалисты. Теперь мы служим — вам, и будем работать на укрепление сил. А вы — верьте нам.

Но давали только по пять минут, а то б он ещё разлился.

И ещё вылез офицер — молоденький, но наглый:

— Мы не можем в пять минут решать мировые вопросы. Мы не подготовлены. Мы ещё час назад не знали того, что сказал докладчик. Почему нам проекта не показали раньше? Сейчас — несвоевременно обращаться к немцам простодушно. Докладчик неправильно говорил, что немцы воевали против деспотической России: их удар был — по свободной Бельгии и свободной Франции.

А потом — какой-то солдат, но с правильными мозгами:

— Неужели вечно будет вражда между народами? Вас будут призывать к победе, а тут, в тылу, восстанут тёмные силы! Окончим кровавую бойню, где бедняки схватили друг друга за горло. Неужели народы не поймут, о чём мы говорим? Да только поднимем клич — и все нас послушают.

А под конец вывихнулся:

— Но если нас не услышат — вот тогда мы не дадим себя поработить.

Потом — социал-демократ, но выказывая наружу всю безконечную путаность вопроса:

— Мы, демократия, не можем идти за Милюковым, которому нужны Дарданеллы. Мы — за мир без аннексий и контрибуций, самоопределение народов. Враги у нас не на фронте, а в тылу. Но пусть немцы сперва свергнут Вильгельма. Что значит окончить войну? Это не значит побросать ружья. Надо прежде выработать условия.

Новые страдания. Так и знал Гиммер, что чем больше будет ораторов, тем больше запутают великий вопрос. Не надо бы и по пять минут им давать — по две. (А тут уже кричали, что по пять — мало!)

И эта высшая формулировка об аннексиях и контрибуциях у всех на устах — а не дали вставить в Манифест, вот стыд, там только — против захватной политики.

Тут снова выпустили дурака:

— Мы завоевали свободу, но на этом флаге должно быть написано — победа! Кто ручается, что на наши шеи не возложат контрибуцию? Мы должны дать заявление германскому пролетариату — и посмотреть, свергнет ли он Вильгельма.

И ещё дурака:

— А не поймёт ли германец наш глас как показатель нашей слабости? Нам надо бояться германца!

И известинец расхрабрился:

— Товарищи-братья, через штыки мы кликнем клич по Европе: настал конец владычества деспотов! Сбрасывайте свои правительства!

Наконец Чхеидзе кончил эту чехарду и взял слово сам. Но разве и он мог проникнуть в изгибистую структуру Манифеста? Он тоже мог только опошлять и огрублять: своими незаконными ком-

ментариями, не утверждёнными голосованием Исполнительного Комитета.

— Все народы смотрят на нас. А раньше нас называли жандармом. Наше предложение — не прекраснодушие, не мечта. Ведь обращаясь к немцам, мы не выпускаем из рук винтовки. Мы предлагаем немцам подражать нам и свергнуть Вильгельма.

Каша какая-то, одна фраза противоречит другой, ничего за собой не слышит!

— А в ожидании что же нам — плевать в потолок? Если Вильгельм помазанник божий — так смазать его! — (Зароготали в зале.) — Немцам мы скажем — потрудитесь походить на нас! А если немцы не обратят внимания — мы до последней капли крови. С оружием в руках будем продолжать войну, чтоб оборонять свободу!

Что лепит! Ну что лепит! Всё испортил!

Собачьей лапой развалили такую тончайшую конструкцию! Какое несчастье, что опоздал!

603

Разгоралась по Петербургу буржуазная травля «Правды» — что большевики все прослоены провокаторами и ещё неизвестно чьими агентами. А в самой «Правде» между тем сильно поменялось, Шляпников и разобрать не успел: он радушно просил приезжих сибирцев писать в «Правду» — они и написали. Вклинили в газету каждый по статье — и сразу нарушили её установку: потребовали поставить свои подписи. До сих пор всё печаталось без фамилий — разве важно, кто именно пишет? — без фамилий статьи и вся «Правда» приобретали грозную безпрекословность, как будто катится безпощадный каток революции: только так! и разбегайся, раздавим! А подписи — сразу делали газету трибуной частных мнений, которые и оспаривать не запрещено. Ольминский как старый газетчик — ставь и его фамилию. И Бонч полез за сибирцами — ставь и его.

Ну, Сталин ничего вздорного не написал и никаких претензий не выпячивал, вся статья его была — укреплять Советы. (Хотя: почему Советы, а не свою отдельную партию?)

А мурановская вся статья была для того, что: пролетариат знает, под чьим контролем «Правда» издавалась, издаётся и будет издаваться, — правдистов, членов Государственной Думы, и всех пятерых по именам, себя тоже. Позвали гостем — а он уже и ноги на стол. И дальше совсем с потолка: хотя все помнили, что большевицкая думская фракция была сослана за антивоенную позицию, Муранов писал теперь вполне безсовестно: «они пошли в ссылку за то, что в самом начале войны провозгласили революционную борьбу за свержение старого строя и за демократическую республику». После совершившейся революции это, конечно, неплохо звучало.

И этого Муранова фотографию в арестантском халате сам же Шляпников и распространял по Петербургу…

Такого напроломного манёвра, без прямого товарищеского объяснения или предложения, таких приёмов Шляпников не ожидал. Не знал, что и возразить. Он таких методов не знал: как же можно не допустить их до газеты? С чего бы вдруг — с ними и бороться? Но если «издавали и будут издавать» — значит, они хотят «Правдой» руководить сами? (Муранов и больше захотел: чтобы Шляпников уступил ему место в Исполкоме. Ну что ж, может и уступить.)

Однако в сегодняшнем номере приезжие начали и теоретическую борьбу. В статье, уже не подписанной (Каменева), они начали и принципиальный подкоп под линию Бюро ЦК: «Было бы политической ошибкой ставить сейчас вопрос о смене Временного правительства».

Даже не сказано, что это — новое для газеты мнение, что вот мы спорим, — а просто вот так, как ни в чём не бывало! Распоряжались — не спросясь.

Этот удар — приходился по главной политической линии, которой Шляпников гордился как лучшей революционной догадкой и которую он с таким усилием пробивал через ЦК. Не вышибать Временное правительство, а только контролировать его? — так думали и меньшевики, и эсеры. Значит, прощай настоящая большевицкая линия? Чему ж научили нас все французские революции XIX века, если не тому, что буржуазные правительства надо сметать, а не подталкивать? Чему же учит Ленин?

Нет, в *этом* уступать нельзя!

И само же собой шла в газете статья и нашей линии: о том, как несутся события, подтверждая любые «самые крайние» требования большевиков.

Получился в газете винегрет.

Не занимался Шляпников «Правдой» сам, но знал, что она — как крылья у него за спиной. И вдруг — начали подшибать.

Очень дурное стало состояние. Будто испакостили и раздавили всё, что он тут два года строил.

А тут ещё — передал ему сегодня Каменев свой «контрпроект» Манифеста к народам мира. И в нём так откровенно и писалось, что наша революционная армия даст отпор немцам — до полной победы у нас демократии!

И это — большевицкий «контрпроект»? Да это хуже, чем гиммеровский проект! Такого соглашательского текста Шляпников, конечно, дальше не пустит. (Но он у них вырвется теперь в «Правде»?)

А у самого Шляпникова не был свой текст готов, понадеялся! Но с этим разделением — как и выступать на пленуме Совета? А сибирцы выступят открыто против? Раздваивалась линия партии на глазах у всех врагов! Раскола внутри партии Шляпников на себя взять не мог. И оставалось сегодня — не вмешиваться, чтоб только и каменевская группа не полезла.

Пошёл с товарищами в толкучку Морского корпуса — с крутыми-крутыми сомнениями. Митинг был, конечно, полезный, но не в те руки попал, а к празднику оборонства.

Впрочем, Стеклов выступал революционно. Всё ж он не меньшевик, скорее наш. И даже больше наш, чем Каменев, Муранов.

Потом раскатисто читал текст Манифеста, все его оппортунистические выверты.

Вообще ничего хорошего в этом манифесте нет. Много громких слов, почти Циммервальд, а простой формулы — без аннексий и контрибуций — в нём нет. И после всех громких слов — русская революция не отступит перед штыками завоевателей — оборончество получит штемпель революционной демократии, — и теперь все вместе будут нападать на большевиков за нарушение национального единства. Выступать с прямыми антивоенными лозунгами теперь будет значить — выступать против Совета?

О-хо-хо, плохо поворачивается.

Но это всё смечал только острый партийный глаз. Типичная меньшевицкая лазейка: под видом борьбы с войной — продолжать войну. Оборонческим оборотом Чхеидзе отнял у воззвания ту небольшую долю интернационализма, которая в нём была.

И ещё на Чхеидзе не кончилось: стали спорить, прекращать прения или продолжать. Поднялся шум. Одни кричали: манифест

не готов, отложить, дайте ещё обдумать. Другие кричали: «А что скажут союзники?» — «Обсуждали меньше двух часов!» — «Вопрос не освещён!»

Но уж если столько тысяч собралось — как не принять? Чхеидзе объявил принятие — и грянул оркестр, сперва интернационал, потом марсельезу, кричали и ура, но оркестр заглушал.

604

От того вечера 6-го марта, как налетела на Цюрих буря и всю ночь толкалась на старый город, а на рассвете повалила густым снегом, и вскоре дождём, а днём крупой, и снова снегом, и опять дождём, а к вечеру снегом, и, только за следующую ночь весь город убелив, успокоилась, — от той бурной ночи и того дня, исшагивая и избегивая скудное камерное пространство своей комнатёнки от обеденного стола до полутёмного окна, не выпускаемый из клетки Швейцарии, непогодой запертый в комнате и не удерживая клеткой грудной, как выпрыгивала страсть вмешаться в действие, — Ленин не сам решил, но за него решилось: раз он задерживается, то отсюда, не мешкая, писать и посылать питерским большевикам программу действий, писать и посылать, и посылать, не окончивши писать, а значит как бы вроде писем, и, едва кончивши сколько есть за сутки, скорей нести кому-нибудь на почту, а самому бросаться в газеты (теперь уже их покупая все подряд, вся комната завалена) и выискивать, выискивать по кусочкам из того, что схватили и разглядели близорукие западные корреспонденты и отобрали как достойное для своей газеты убогие буржуазные умишки, — выискивать и выхватывать, и понимать в разящем свете партийного проникновения — и разворачивать, разъяснять перед непонимающими, растерянными или глупенькими. «Защита новой русской республики»? — обман и надувательство рабочих! Лозунг «А теперь вы свергайте своего Вильгельма!» — ложный, все силы на свержение буржуазного правительства в России! Временное правительство — правительство реставрации монархии, агент английского капитала! И — лучше раскол с кем угодно из нашей партии, чем сотрудничество с Керенским или Чхеидзе, чем доля уступки им!

А в этом разворачивании и разъяснении сам для себя находя, тут же и для партии встраивал недостающие звенья и планы организации: в ответ на великолепный манифест большевицкого ЦК (и чья это голова там вытянула?), объявленный в Питере ещё 28 февраля, а сюда дошедший через 10 дней отрывком в случайной газете, — предложить им и объяснить, *как* же организоваться (не так, как он советовал в 905-м, отряды по десять человек и — бомбой, ножом, керосином, нет!) теперь: вооружение народных масс целиком! *народная милиция изо всего поголовно населения* от 65 до 15 лет (втягивать подростков в политическую жизнь!) и обоего пола (вырвать женщин из одуряющей кухонной обстановки!), — и чтоб эта милиция стала *основным органом государственного управления*! Только так: *оружием в руках у каждого* будет обезпечен *абсолютный порядок,* быстрая развёрстка хлеба, а затем вскоре — мир и социализм!

И от вторника 7-го до воскресенья 12-го вырвались четыре таких «письма из далека» и тут же сдавались на почту экспрессами (когда уже написано — тем более жжёт, нельзя задержать, нельзя удержать) — кому же? — Ганецкому, умному, славному, расторопному Кубе, а он будет отправлять, налаживать туда дальше, в Петербург! (А копии — сразу Инессе, а та — Усиевичу, а тот — Карпинским, а те — назад, и всё экспрессами, это всё крайне важно для спевки о тактике.) Почти всё время кто-нибудь спотыкается — на почту, а ещё же искать по киоскам и читальням непрочтённые газеты и снова анализировать, угадывать — и светом луча выбрасывать вперёд новые пункты программы! А тут Луначарский увиливает выступить против Чхеидзе, — предупредительную холодность ему. Там Горький, недоумок, суётся в политику: приветствие Временному правительству да басенки «почётного мира», архивредное выступление, придётся ударить по рукам! (Не можешь выдержать партийной линии, так и не суйся, пиши свои картинки.) А там неприятности с Черномазовым в Питере, мало им Малиновского, хотят и вовсе залить нашу партию помоями. (Но Черномазов интриговал против сестры Ани, его безусловно убрать и забыть.) А там Коллонтай уезжает в Россию, счастливая! А тут, пока застряли, успеть бы на машинке перепечатать 500 страниц «Аграрной программы», кто бы взялся? А ещё: как не написать листовки к русским военнопленным, их два миллиона: заявите громко, что вы вернётесь в Россию как армия революции, а не армия

царя (вполне бы их могли использовать и против); а мы, социал-демократы, поспешим уехать и будем посылать вам из России деньги и хлеб… А ещё: как же при отъезде не написать прощального письма к швейцарскому пролетариату, ещё раз заклеймить шовинистов, ещё раз указать им путь (только это опасно, может помешать отъезду. А вот как: написать, оставить здесь, а уже из России телеграммой взорвать, пусть печатают). А тем временем…

…а тем временем совсем плохо с Инессой. Обижена. Сердится. Сидит в Кларане (а может уже и не в Кларане? вот письма прервались, может уже и не там). Сердится, но, как всегда у женщин, это выворачивается во что-то другое, стороннее: будто бы «теоретические разногласия», возражает и капризничает, где ребёнку ясно. Как бы нужна была тут, рядом! Какое время! — неужели время для женских обид? Некому собрать, систематизировать все телеграммы из России, ведь что-нибудь пропустишь наиважное! Но не только не захотела испытать английский путь возврата, а даже в Цюрих не хочет приехать на денёк! В Четырнадцатом году ехала для него с Адриатики в Брюссель, бросив детей, а сейчас без детей и из Кларана — ни разу не приехала.

И нельзя понять: вообще ли поедет с нами?..

Но всё это, всё это кружилось, как внешние воро́нки на воде, даже с Инессой, — а главные события большими, толстыми тёмными рыбами беззвучно проходили близ дна.

Ганецкий коротко отозвался: *будет!* Но пытка была — дождаться. По расчёту дней уже мог быть приготовлен в Берлине паспорт и прислан сюда — а не было.

И молчал всесильный Парвус.

Да он справедливо мог быть и в обиде. А не исключено: испытывал Ленина нервы, усилял свою позицию выжиданием.

Но некуда было деться им друг от друга: события соединяли их.

Если немцы платили ему миллионы ради призрака — то сейчас-то есть для чего платить.

И — будет куда принимать. И теперь-то и нужно, не как тогда.

А тем временем в шумных «комитетах возвращения», хотя и с перевесом циммервальдистов, льнули все к *законности,* ждали разрешения от продажного гучковского правительства, а оно уже слало 180 тысяч франков от частных сборов — на возврат дорогим соотечественникам, только, конечно, через союзников (где и германские подводные лодки топят транспорты дураков), — и уже во-

круг этих денег начинались интриги, могли обделить большевиков, собрания шли чуть не до драки.

Ильич на те заседания, конечно, не ходил, но ему подробно рассказывали. И чем больше все эти споры накалялись — а швейцарско-эмигрантское настроение было только отблеск того, что в России подымается, — понял Ленин, что он поспешил, сорвался: никакого отдельного паспорта получать нельзя, ехать одному невозможно.

И 10-го, ровно через неделю после фотографии, послал Ганецкому отменную телеграмму: «Официальный путь для отдельных лиц неприемлем».

Всё, отказались.

Зато Цивин ходил и ходил к послу Ромбергу. Тот уверял, что идёт усиленная переписка с Берлином, даже курьерами. И постепенно — из темноты, из будущего, из никогда не бывалого, проступали контуры крупного замысла — как большой паровоз из тумана — да только медленно-медленно проворачивал он свои красные колёса или всё ещё стоял.

А за ним — вагон.

Проступал из тьмы — вагон.

Неплохо. Приемлемо.

Но там пока для этих болтунов, для комитета по возвращению, надеюсь…? эти условия не открыты?..

Нет, нет. Нет-нет. То — официально, здесь — конфиденциально.

Хорошо, хорошо. Так, постепенно, несколькими головами, общими усилиями — что-то выявляем, выявляем, находим. Стало потвёрже. (Но — как тянулось! Но — непохоже на немцев как! Да ведь их ещё больше должно припекать, когда объявило Временное, что продолжает войну.)

Стали готовить список, кто поедет. Запрашивали своих по всей Швейцарии, но — тайно, это важно, никого чужих не примешивать. Одновременно (тоже важно!) вслух говорили всем обратное: и Англия нас не пустит, и через Германию ничего не выйдет. И шумно обсуждали анекдотические попытки: Сафарова просилась в английском консульстве, кто-то слал телеграфный протест Милюкову, а Равич придумала фиктивно выйти замуж за швейцарского гражданина — и так получить право прямого проезда. Смеялся Ленин и советовал ей «подходящего старичка» — старого Аксельрода, ничем другим уже не годного революции.

У немцев с одной стороны тянулось, с другой — крутилось, и чересчур проворно, верней — одна машина крутила независимо от другой. Сегодня вечером, воротясь из Народного дома, где два с половиной часа делал швейцарцам доклад о ходе русской революции — что истинная, вторая, революция ещё впереди, и есть для неё хорошая форма — Советы депутатов, и уже сегодня надо готовить против буржуазии восстание, — хорошо отвлёкся докладом, освежился от этих изжигающих, безвыходных планов отъезда, охотно возвращался пешком по приятному вечеру, поднялся к себе — и ахнул: маленький, сухой, седовьющийся, с уголком платочка из кармана, сидел и улыбался, как ожидая радостной встречи, и от своей важности не торопясь подняться для рукопожатия, —

Скларц!!

Не укорив, но и не похвалив, не сказав ни «плохо», ни «хорошо», — Ленин пошёл на Скларца с пронизывающим косым взглядом (такой взгляд всегда пугал), — тот поднялся, теряя уверенность, и Ленин пожал ему руку, как хотел оторвать:

— Да? Что привезли?

Без путевых впечатлений, без вводных, без сентиментальностей: что привезли?

Коммерсант, всё более входящий в большую политику большой Германии, почтенно принимаемый заметными генералами и в министерствах, и при щедрости своей сегодняшней миссии, — опешил перед этим режущим взглядом щёлок глаз и недобрым изгибом бровей, усов, а всё остальное — как мяч футбольный, накативший ему в самое лицо, — опешил, потерял улыбку и то приятное многословие с предисловием, которыми думал развлечь, и даже приготовленные шуточки, — а сразу высказал главное и выложил на стол.

И не садился.

И Ленин не садился.

А Зиновьев сидел и сопел.

Вот что было. Скларц приехал уже не только от Парвуса, хотя Бегемотская голова всё и начал (начал сам, ещё до ленинской просьбы, она пришла потом, начал по первым известиям о петербургской революции, рассудив, что не хуже Ленина знает, что́ нужно), Скларц приехал со всеми полномочиями от Генерального штаба на проезд через Германию и с обезпеченным выездным содействием здесь германского консула в Цюрихе, а если нужно, то и

посла в Берне. Скларц привёз готовые документы, — и вот они лежали, чудо, хотя чудес не бывает, — лежали на блеклой клеёнке в жёлтом круге керосинового света.

Вот. Господин Ульянов. Госпожа Ульянова. Всё в порядке.

А — Зиновьев?..

Пожалуйста. И госпожа Лилина. Всё в порядке.

Да, но… А… ?

И ещё один, пятый, да, вот: госпожа Арманд.

Всё знал, всё сам предусмотрел гениальный Парвус!

И — Инесса…

И всё! И все проблемы решены! И ни часа больше не ждать, не маневрировать, не дипломатничать, не раздражаться, не посылать посыльных, не ждать известий, ни от кого не зависеть — собрать вещи — а их нет у революционера — и ехать хоть завтра утром! Двенадцать дней назад отрёкся царь — а мы через три дня будем в Питере — повернём всю российскую революцию куда надо! Может ли быть быстрей во время Мировой войны? Ещё никто ничего не успеет испортить — а уже вырваться первым на петербургскую трибуну, опережая даже сибирских ссыльных, — и отворачивать Совет депутатов от гучковского подлого правительства, и создавать всенародную милицию от 15 до 65 лет обоего пола, да что угодно!

Документы — лежали. С немецкими готическими вывертами, немецкими орластыми печатями и с пригодившейся, уже приклеенной, вот вернувшейся ленинской фотографией, — в керосиновом свете, драгоценные документы на дешёвой клеёнке, местами протёртой до переплёта нитей.

Таким документам сам канцлер должен был сказать «да», чтоб их изготовили.

Парвус отплачивал долг, что перескакал когда-то.

И мешок Зиновьев — расплылся, руки протянул к бумагам.

Ленин вскинулся как на врага — тот замер.

Увы, уже понятно было: так просто сунуть руку в пламя революции — обжигалось.

И, потерев, и нервно потерев над документами уже чуть обожжённые ладони, Ленин резко взял их назад, сведя за спиною вместе.

Такая сделка не могла бы потом укрыться. Невозможно будет прилично объяснить. И размотается, и размотается до са-

мого Парвуса, — и не прикроешься славным революционным прошлым, а влепят тебя в ту же мразь и руль революции вырвут из рук.

Да вот что: не потому ли Парвус так и старается, чтоб именно — Ленина замарать с собою вместе? Вот такой индивидуально-семейной поездкой накинуть петлю — а потом и в руки взять? а потом и условия диктовать — как революцию вести?

Но — вовремя разгадал Ленин ловушку!

— Так вы же сами заказывали, господин Ульянов! — Нет коммерсанту оскорбления хуже, чем когда на хороший товар говорят: плохой.

— Заказывал. Но это была ошибка. Обстановка исправляет, — мрачно говорил Ленин, всё так же не садясь, всем напряжением не в речи, а там, внутри, в мысли, и оттуда чревовещательно диктуя: — Надо — большую группу. Человек сорок. Вагон. Изолированный, экстерриториальный вагон.

Поднял глаза, посмотрел на Скларца внимательней, внимательней — и уже сочувственней, и даже веселей. (Сообразил: да этот человек за сутки может доехать до германского правительства! Да это великолепно, что он приехал. Спасибо, Парвус! Ну, немножечко изменим вариант, ну — несколько дней.)

И, почувствовав, что Ленин к нему подобрел, — расслабился, улыбнулся Скларц: он и в высоких сферах не привык к такому обращению, он ничем его не заслужил.

— Израиль Лазаревич просил торопиться, — напомнил он. — А то — как бы это «правительство народного доверия» не заключило бы мира!

— Не заключит, не заключит, — развеселились глазные щёлки Ленина.

Усадил его, сел сам через угол стола — и не только словами, но всеми глазами внушал, гипнотизировал, чтобы тот запомнил и точно исполнил:

— Поезжайте и договоритесь прямо. Другие линии очень долго работают. Пусть хорошо поймут, что мы не можем себя скомпрометировать, — и не ставят нас в такое положение. Пусть не ставят нам ограничений — кого там нельзя, годных к военной службе и так далее.

(Как раз сам Ленин и был годен, да перешагнул 44 года. Но никогда не призывался, как старший сын в семье, — казнь брата дала ему эту льготу.)

— Или — отношение к войне и миру, не надо, и так ясно. И не устанавливали бы проверки паспортов, личного контроля. Как въехали так и выехали, как неразбитое яйцо, понимаете? И чтобы — ни слова в печати.

Всё — внезапно. Вагон пропустить — как снаряд. Не дать публике времени узнать, обсуждать.

— Да! — вспомнил Скларц, порадовать ещё приятным. — Стоимость проезда германское правительство берёт на свой счёт.

— Ещё чего! — темно вспыхнули, и по-разному, два глаза Ленина. — Странно бы выглядел такой проезд. Какие ж там глупые у вас. За проезд обязательно платим мы! — Смягчился: — Но — по тарифу третьего класса.

И ещё отдельно:

— Идёте ко мне — и не можете одеться скромно. Вас могли заметить товарищи. Из-за этого завтра ещё перебудьте здесь, сидите в отеле, а ко мне пусть придёт Дора. Разумеется, без документов, а что-нибудь мямлить, а я ей буду отказывать. И только после этого завтра уедете. А как только будет согласие правительства — чтобы нам дали знать немедленно!

Когда Скларц всё понял и документы собрал, пожал руку очень почтительно, благодарственно, и ушёл, —

— Как ещё можно *им* ставить условия? — удивился размяклый Зиновьев, колыша вялыми плечами.

Ленин остро щурился:

— Никуда не денутся. Заинтересованы больше нас.

— Про Скларца — скроем.

— Нет, Платтену скажем. Хуже, если узнает сам. Платтена, Мюнценберга — нам терять нельзя.

А ещё, для страховки, — немедленно письмо Ганецкому (может, кому и покажет):

«Пользоваться услугами людей, имеющих касательство к издателю “Колокола”, я конечно не могу…»

И даже:

«…Ваш план поездки через Англию…»

Чем больше прыжков и ложных ходов, тем безопасней нора.

Вот — предложенный Ромбергом *вагон*. Вагон. Надо проговорить его словами, надо помочь этому вагону, как цыплёнку, вылупиться в общественное сознание. Говорить, писать, бросать фразы:

— А может быть, *швейцарское* правительство получит вагон?..

— А не согласится ли *английское* правительство пропустить вагон?..

— Как это?

— А… от порта до порта. Отчего бы Англии не пропустить *запираемый* вагон? Например, с товарищем Платтеном и любым числом лиц, независимо от их взглядов на войну и мир?

— Но как же: Англия — остров, а — вагон?

— А… дальше — нейтральным пароходом. С правом известить все-все-все страны о времени его отхода. (Чтобы германская подводная сдуру не потопила.)

ПЯТНАДЦАТОЕ МАРТА

СРЕДА

605

После вчерашнего пленума Совета в Морском корпусе создалась в голове и груди Гиммера сумасшедшая неразбериха: он сам не мог понять, одержал ли блистательную победу или сокрушительное поражение. Хотя самый текст Манифеста, который он так изощрённо сбалансировал, был принят без поправок, и это надо было понимать как победу, — но от разных расстройств, от своего опоздания, оттого что не сам он это читал, и что́ нагородил постороннего Нахамкис, и от самовольных комментариев Чхеидзе, извращавших смысл Манифеста, было ощущение кошмарного поражения, заплёванности, гибели лучшего своего творения. И это разыгрывалось в Гиммере весь поздний вечер и ночь, так что он почти и не спал в своей квартире на Карповке, — и как только, ещё в темноте, донёсся первый грём самого раннего трамвая на набережной — он накинул свою дохлую шубёнку, нахлобучил шапку, надел галоши, подламывая бортики, — и побежал догонять трамвай.

Он как будто просвистывал внутри от пустоты и тоски и нуждался в новом наполнении, а наполнение такое мог ему дать только Таврический.

Конечно, по-настоящему понять значение объявленного Манифеста можно будет не раньше как недели через две: когда он уже провернётся по Европе и услышим, как отозвалась Европа. Но Гиммер не мог легко дождаться того срока: он нуждался чем-то жить и в чём-то сгорать — сегодня.

Совсем ещё были пусты коридоры и залы Таврического. Ещё не пришли служащие Совета, новый аппарат его, не пришли и служащие думской половины, а служители лениво подметали Екатерининский зал после вчерашнего тут митинга. Ни на какую пищу ума как будто нельзя было и надеяться — но фанатически несло

Гиммера в комнату Исполнительного Комитета, будто он уверен был, что Комитет заседает там и в виде ночных призраков.

Открыл дверь — и в ещё не разошедшемся сумраке комнаты действительно увидел: на большом столе заседаний, меж бумаг, лежала человеческая фигура, со стопкой же бумаг под головой. Могло причудиться, что это — подброшен труп или залез вор, — но Гиммер не успел так подумать и испугаться, как фигура подняла голову, а на турецком диване зашевелилась другая, — и не только это не оказались воры или враги — но лучшие из лучших друзей, но давно желанные, жданные товарищи из-за границы, первые вернувшиеся революционные эмигранты! — товарищи Лурье-Ларин (длинный, на столе) и Урицкий (толстенький, на диване). Лурье особенно легко узнавался, как только выявлялось, что обе руки у него — сухие, с трудом владеемые, и весь вид болезненный.

О, сколько же радости! прямо хоть кидайся-обнимайся (впрочем, такие сентименты не были приняты меж революционерами). И Лурье, едва проснувшись, даже со стола не слез, лишь ноги спустил, и не спрашивал, где бы умыться, — а Гиммер подсел на ближайший стул, и залились они во взаимном живительном перехлёбе. Ещё сон не стёрся с лица — а чувства Лурье клокотали. (Урицкий же оказался ленив и глуповат: подымался медленно, от разговора отставал, лицо было всем недовольное, и глаза совиные, когда рассвело вполне.)

Оказывается, они приехали только сегодня, среди ночи. На финляндско-шведской границе по неисправности въездных документов — не оформлены у нашего посла в Стокгольме — просидели полсуток в жандармской комнате. И главное возмущение их сейчас было — эта задержка, саботаж посла, а значит и Милюкова, в возврате революционных эмигрантов, — и как надо ударить за это Милюкова. И Гиммер страстно поддержал их.

Естественно, они ничего не знали о вчерашнем грандиозном пленуме Совета, ни о Манифесте. Но Лурье был весь переполнен своими новостями, сужденьями и предположеньями, так и сыпал ими, так и лил. А Гиммер навстречу — своё. И всё это было захватывающе до дрожи, так они и просидели пару ранних утренних часов, полные симпатии друг ко другу.

Лурье не знал подробностей ни о чём здешнем, с приезду ему всё казалось легко, — и тем более непримиримо он был настроен против Временного правительства: оно явно саботировало посылку русских газет в Европу, и там неоткуда было узнать истинных

сведений о происходящем тут. Да хуже того! — из встречных перебивов Гиммера ещё утверждался Лурье, что Петроградское телеграфное агентство подаёт в Европу новости в искажённой пропорции: всю революцию старается представить как дело рук либеральной буржуазии: революция как бы не от того, что народ вообще возмущён войной, а лишь плохим ведением её. Пригашает значение Совета, а будто русская армия и рабочий класс стремятся к войне. И оттого немецкие социал-демократы стали нашу революцию называть в кавычках, мол, она попала в руки воинствующего либерализма. Обо всём этом Лурье рвался скорей, сейчас же печатать в «Известиях», ударить по наглости Временного правительства!

Лурье не знал здешних взаимоотношений, трудностей — но даже и не спешил заглотнуть всё, что встречно выпаливал ему Гиммер, — ему как будто было вполне довольно привезенного в груди из Европы. Зато оттуда он привёз полную безкомпромиссность в борьбе за мир, за интернационализм, за переворот во внешней политике России, — Лурье оказывался просто-таки радикальнее и динамичнее самого Гиммера — и склонен был действовать ещё троекратно решительней! Да он просто предложил, чтобы Совет, без всякого стеснения, немедленно сам послал бы по телеграфу мирные предложения германскому правительству — как будто русского Временного правительства и не существует! Нечего и дней терять! Революции — всё доступно!

Могучие огни Европы, Интернационала! Это увлекало Гиммера! Он-то — готов был действовать так. Но — другие? но — Чхеидзе? Умрёт от робости! Да может ли Лурье представить, что вчера сотворил Чхеидзе? Он испортил всю революционную силу Манифеста, выступив от себя с непрошеными, самозваными пояснениями, будто бы мы будем с оружием в руках защищать Россию!.. Пошёл в болото капитуляции перед империалистической буржуазией. По сути — предал Циммервальд! Он повернул дело так, будто наши мирные усилия возможны только при революции в Германии, — но этого в Манифесте не было!!

Ну конечно, ну конечно! — было ясно им обоим, и они ещё друг друга уверяли. Наша революция победит или погибнет, всё в зависимости от того, удержит ли она знамя Циммервальда!

Ну подождите, обыватели Невского и патриоты биржи! Вам кажется — попутный ветер? — так он разведёт вам хорошую бурю!

Воодушевление Лурье заражало тем сильней, что, при сухорукости, ему даже писать пером составляло труд.

Урицкий тоже к ним подсел. Хоть он и сова — но вполне крайних убеждений.

У всякой революции есть своя логика, она не может стоять на месте! Вот что совершенно понятно: сегодня же Лурье и Урицкий начинают организовывать и издавать циммервальдский журнал «Интернационал». Можно ли для этого получить в Таврическом комнату? Да конечно!

Но ещё важней и быстрей: надо дать сегодня же бой на Исполкоме. А отчего бы нет? Гиммер не мог представить, почему бы Исполнительный Комитет не зачислил бы в свой состав таких двух славных революционеров. Это — просто формальность, а пока оба товарища могут сегодня же прийти на заседание — и включиться в обсуждение. Да! Выдвинем сегодня на ИК: необходимо побудить правительство немедленно публично выразить своё согласие с Манифестом! (Добить Милюкова!) И в Контактной комиссии не попасться, как бы правительство их не перехитрило. Вчерашний Манифест (да Лурье ещё и не читал его как следует, Гиммер совал ему свой черновик) просто обязывает советскую демократию к борьбе с правительством цензовиков! (В дальнем плане — отбросить пиетет и к интересам всякой частной собственности.) Ясно, что откладывать нельзя ни минуты! Надо смело развёртывать программу советской внешней политики. Теперь прибыло наших циммервальдских сил — надо атаковать.

Да ведь отношение ИК к войне ещё не разработано, просто жуть как запущено! Бороться за армию надо с циммервальдской платформы, надо преодолеть мужицкую косность, эту толщу атавизма, этот примитив национализма, носимого в сердце с колыбели, и заразу шовинизма, привитую либеральными газетами.

Да, задача трудна. Надо разработать тактику, как выиграть бой на классовой платформе Манифеста. (Уже прочёл Лурье Манифест.)

Проговорили вот так, друг к другу прилипнув, со стола на стул, потом и на трёх стульях, — что-то много времени прошло, уже с исполкомской кухни несли хороший завтрак, в сдобренной каше кусок мяса и чай сладкий с булочкой. Дружно поели — просветилось Гиммеру, что надо же прессу смотреть сегодняшнюю, что же пишут о Манифесте?

Сбегал в канцелярию, принёс охапку газет, с густым типографским запахом. Расхватали, уселись читать. В «Известиях» замечательно выглядел гиммеровский Манифест — обширный великий

Документ, которым будет отмечен XX век, у Гиммера даже сердце сжалось, не ожидал такого впечатления. И стал совать Лурье и Урицкому — пусть сперва прочтут Манифест как следует ещё раз. И сам ещё покашивался — но ему надо было читать, как отзывается буржуазная пресса.

И он таки расстроился. Ещё несколько дней назад проглядывал он номера буржуазных газет с усмешкой победителя: такая в них была растерянность перед Советом и даже услужливость. Но что это, они как будто набирали свою силу — в вязкости, по плетению вязких петель они были специалисты, буржуазные перья! Ловко же обработали они Манифест! Безстыжая «Биржёвка» подала его как продолжение традиционной патриотической политики, а?! А «Речь» холодно обошла 1-ю часть — как истраты на доктринёрство крайне левых социалистов, а зато возвысила 2-ю часть как оборонческую, вот, мол, и революционная демократия поддерживает защиту родины! Ну, и особенно, конечно, хвалили комментарий Чхеидзе: что вся сплочённая победившая демократия, таким образом, выступает против режима бронированного германского кулака.

Ну, Чхеидзе сам виноват, — но и как же они Манифест препарировали, негодяи! Никто не приводил его полностью, а только в обрывках и невинностях. Со стыдом и отчаянием Гиммер схватился за голову! Что же осталось от его виртуозного балансирования между левым и правым крыльями ИК? А может быть, он сам виноват: в этом балансировании не заметил, как перевесил чашку оборончества и недогрузил Циммервальд?.. Кошмар, если так!

И — где же было Гиммеру ответить громово? На заседании Исполкома — это был не ответ. Надо было отвечать — в прессе. Но где? В «Известиях» — не принято выражение личных мнений. А в меньшевицкой газете Гиммер всё-таки писать не мог, ибо был определённо левее их. А свой независимый орган собирались с Горьким создавать — но за революционной колотьбой некогда было. И получалось — хоть печатайся у большевиков. Позавчера он и сказал в полушутку Шляпникову: «Мне не остаётся нигде писать, как в “Правде”». Шляпников отнёсся серьёзно (у них-то совсем литературная пустыня, на Демьяне Бедном едут): «Что ж, я своим предложу. Но только придётся публично заявить, что вы стоите на позиции большевиков».

По сути — по политической сути — это недалеко и было. Но заявить так публично — была пошлость, которая затискивала бы

многогранную, многоискристую, всю в метаниях личность Гиммера — в тупую партийную колодку.

А сейчас, покинув товарищей читать, Гиммер выскочил пробежаться — и вдруг в Купольном зале встретил — Розенфельда-Каменева —

— Ба! Лев Борисыч! А я уже читал, что вы приехали, да что же не показываетесь в советских сферах? Что, у себя в партии порядок наводите?

Интеллигентный, мягкий, умный Лев Борисович не скрыл подтверждающей усмешки между усами и бородкой.

— Да, ваши ребята уж такие грубые правда, и такие неловкие, не дипломаты.

Лев Борисыч посасывал мундштучок, прищурил один глаз. Он как будто стыдился своих большевиков. И вид его, и манера говорить были барские:

— Читайте сегодняшнюю «Правду», её нельзя узнать. Это теперь — солидная, настоящая газета. Действительно, у неё был совсем неприличный тон, и репутация… Хоть закрывай совсем. Но я решил её перестроить.

— Ах, так вот и кстати! А мне негде печататься как раз. Я хотел бы, может быть, у вас — но Шляпников говорит: надо объявить себя большевиком?

— Ну, ерунда какая, мало ли что Шляпников. Пишите, пожалуйста, охотно напечатаем.

Так, так, — с поворотом ещё этой новой комбинации спешил Гиммер к Лурье и Урицкому. А что ж? Такая перепрыжка произведёт сенсационное впечатление в советских кругах. Уж, во всяком случае, большевики — верные циммервальдисты. И резко оторваться от Нахамкиса, с которым рядом им невозможно быть, тот мешает развороту гиммеровского таланта.

А тем временем в комнате Исполкома набирались члены. Лурье и Урицкий здоровались со многими знакомыми — все петербургские социалисты, в общем, знали друг друга, хоть и отлучаясь порой в эмиграцию или в ссылку, — и уж теперь никому не могла прийти такая неловкость: попросить их покинуть заседание. Лурье уже многим оживлённо сообщил свой проект журнала «Интернационал».

Кончали завтракать, Шляпников пришёл с Мурановым, тоже рыло.

Собралось десять, пятнадцать, восемнадцать человек, и, утомлённый, ото всех дней невыспавшийся, да и старше их тут всех, Чхеидзе, в потёртом порыжевшем пиджаке, открыл заседание, зовя к тишине.

И сразу упёрлись в финансы. Когда разрешали две недели назад создание Временного правительства, не догадались — никто не догадался! — связать их ещё и финансовым обязательством в пользу Совета: революция тогда пылала, и все умы были заняты одной политикой. Но постепенно остыли, куда ни кинься — нужны деньги, и вот рассчитал Брамсон потребности Исполкома — а денег-то у Совета нет! а деньги-то оказались в министерстве финансов.

А презренное, лицемерное цензовое правительство так до сих пор ничего не ответило на требование о 10 миллионах.

Так подошёл момент потребовать этих денег окончательно! Поручили Нахамкису и Эрлиху: сегодня же срочно сформулировать повторный категорический текст требования на 10 миллионов. И за подписью Чхеидзе и Скобелева — послать с курьером в Мариинский дворец.

А Лурье — цвёл, через болезненный свой вид, что он первый, самый первый вестник из-за границы. И не упустил, уже освоясь с обстановкой, взять слово, хотя и не был членом Исполкома, и докладывал о своих собственных переговорах в Германии с комитетом профсоюзов. Ещё дальше осваиваясь, как будто он тут заседал уже не первую неделю, не он сегодняшней ночью спал тут на столе, Лурье предложил образовать при Исполнительном Комитете Международный отдел (куда, очевидно, он бы и первый попал как знаток тех дел). И ещё — послать комиссара Совета в Петроградское телеграфное агентство, чтобы контролировать, как они освещают русские события на Западе. И ещё: послать делегатов Совета по всей Европе…

Всё дельно! И ещё неизвестно, что б он напредлагал, у него таки был *kopf* на плечах, и говорил он увлекательно, и уже очевидно было предрешено его участие в Исполкоме, — но давлением приехавших делегаций его пока остановили.

А делегаций пёрла — чёртова вереница.

И какой-то очередной полк или батальон и сию минуту входил в Таврический, отдавалась тряска и гул по полу, если не по стенам. Началось по второму разу это круговое сумасшествие — паломни-

чество всех полков гарнизона зачем-то в Таврический дворец. Понятен был энтузиазм первых дней революции, но зачем сейчас — опять мусор, грязь, нигде не протиснуться, и ещё уборные надо оберегать от наплыва нечистоплотных гостей.

А Исполком продолжался: собрать съезд Исполнительных Комитетов Советов сорока городов России, — надо укреплять свою всероссийскую власть.

И опять же с похоронами жертв: план похоронной процессии для послезавтра всё недостаточно разработан. И могилы не готовы. Так отложить похороны до 23 марта, благо трупы по морозу терпят и месяц.

Но после того, как Лурье уже утвердился, Гиммер не очень внимательно следил за происходящим. Он развернул на столе перед собою «Известия» на всю широту окрылённого Манифеста — и озирал его, и впитывал, и перечитывал, и снова любовался. Ему, с его слабым горлом не могшему прокричать речь с крыльца Таврического, — удалось-таки крикнуть на весь мир. И теперь наступят неисчислимые исторические последствия. До пролетариата всех европейских стран донесётся его чарующее революционное слово — и преобразится сознание всех, и преобразится вся война, и западные рабочие крикнут помимо своих правительств, и революционное эхо докатится обратным гулом к потрясённым стенам Таврического дворца.

На столе лежало колечко из красной резины. Гиммер возбуждённо-рассеянно раскручивал, раскручивал его на карандаше. Оно кружилось, как пропеллер аэроплана.

Вытягивалось, расширялось — откуда брался такой охват?

И мелькало как сплошное, красное.

ДОКУМЕНТЫ — 29

15 марта

ГЕНЕРАЛ ПАЛИЦЫН (русский военный представитель во Франции) — ГЕНЕРАЛУ АЛЕКСЕЕВУ

Ответ французского Главнокомандующего:

«В настоящее время невозможно внести какие-либо изменения в операции и подготовку к атаке, она уже в ходу. Я прошу поэтому, чтобы русская армия, согласно постановлениям конференции в Шантильи… В интересах операции коалиции и принимая во внимание общее духовное состояние

русской армии, лучшим решением был бы возможно скорый переход этой армии к наступательным действиям...»

Генерал Нивель верит в содействие нашей армии, как бы трудны ни были условия исполнения.

606

Союзники считают, что наша армия возродится, если мы перейдём в наступление?.. Пусть не видят своими глазами, но удивительно, как военные люди могут такого не понимать.

Или уж только: выложись и отдай, а с вами — что будет, то будет?..

Англичане сегодня же настойчиво запросили: английские планы действий в Месопотамии и Сирии опираются на раннее и решительное наступление всех русских войск в Азиатской Турции, — так как будет с ним?

Хотя генералу Алексееву уже всё стало ясно, но не хотел взять на себя бремя окончательного отказа. А — переспросить всех своих Главнокомандующих. Разослал.

Из Главнокомандующих кто уже отчётливо осознал положение, это Рузский: в спину Северному фронту развал ударил быстрей и сильней всего. Но Рузский перешагнул сразу и в панику, прося четыре добавочных корпуса. От кого же их взять? Алексеев был возмущён, и сам подсчитал всё до батальона. И теперь писал Рузскому: «Только ваш единственный фронт имеет двойное превосходство над противником — 505 батальонов против 250». И к тому же — никаких данных, чтоб удар противника был направлен против Петрограда.

Вчера Алексеев отправил и правительству секретную сводку настроений Действующей армии. В Петрограде правительство хотело получить в нескольких абзацах впечатление обо всём Фронте. Где-то со штабов корпусов начался сбор мнений, и штабные офицеры записывали то, что случайно было у них в памяти, упуская 99 неизвестных им долей, — а затем эти докладные сводились в следующих по старшинству штабах, что-то опускалось, а что-то подчёркивалось, — и так потом явилось целое. Оказались в сводке фразы и бодрые, но больше проступало изо всего собранного, что множество солдат в разных частях всего великого Фронта воспри-

няло отречение царя с удивлением, недоумением, огорчением, сожалением, хотя и не сделало попытки сопротивиться. В иных местах толковали солдаты и так, что долго без царя оставаться нельзя, надо скорей выбирать нового. В общем, Действующая армия поначалу просто ничего не поняла в событиях — это было Алексееву ясно, но не было ясно в Петрограде, судя по газетам.

Да он и сам до сих пор не понимал. Что такое Совет и как он может властно распоряжаться наряду с правительством — невозможно понять военному человеку. Две власти могут означать только развал.

А между тем и сам Алексеев в самом Могилёве не мог помешать Советам, в Могилёве стало даже два Совета-комитета: гарнизонный и солдатско-офицерский комитет самой Ставки, — Алексеев разрешил своим офицерам примкнуть, надеясь таким образом сдержать и направить.

Что вообще было можно придумать против расходящейся волны Советов? Если правительство ни в чём не мешало им — как могло сопротивляться командование? И Алексеев дал указание Главнокомандующим создавать центральные комитеты при всех фронтах, и дальше в армиях, и дальше в корпусах, дивизиях, повсюду в смешанном составе, а где уже возникли комитеты солдатские — стараться включать туда офицеров.

В разум не вмещалось: как это, при неотменённых военных уставах и государственных законах, — самозваные Советы присылали на фронт никем не разрешённые депутации, которые сразу же, миновав командиров, обращались к солдатам? В разум не могло вместиться, — но это уже происходило, и не было сил запретить, — и ничего не мог Алексеев придумать, кроме как тоже пытаться канализировать.

Временное правительство плохо понимало, что происходит в армии, но армия, но Алексеев ещё хуже понимал, что происходит во Временном правительстве и вообще в Петрограде. Прямые аппаратные переговоры давно прекратились. Присылаемые документы — были специальны. И Алексеев и все штабные стали как никогда со рвением читать газеты — но быстро почувствовали, что и во всех газетах изложение как бы специальное: слишком горячо, а затуманено розовым, и не доглядеться до дела. И потому особенно набрасывались на живых приезжающих.

Так, сегодня вернулся из Петрограда начальник военных сообщений Кисляков, ездивший на доклад к Некрасову. У Алексеева с

28 февраля остался недоразуменный камень, чувство обиды к Кислякову, что тот солгал тогда, не объяснил как следует, — а то ведь не отдали б им железные дороги и могло быть иначе многое. Но — и удержаться не мог от расспросов и вызвал Кислякова тотчас же, хотя этот хитрый рыжий чиновник заведомо не возьмётся передать правду. Он охотно делал доклад по железным дорогам, а выше и дальше будто сам не понимал. Вот, выяснялось, что всякая охрана железных дорог прекратилась повсюду — жандармерия вся распущена, а на замену никто. Ещё кое-где охранялись большие мосты, но уже и тут уверенности нет. Дичь!? Во время войны?

Ну, а как Бубликов?

Бубликов? Никто, ничего, его и близко нет в министерстве.

Короткие часы гремел на всю Россию как Робеспьер — и вовсе нет?

А Родзянко?

Родзянко — не у дел, никакого влияния не имеет. Сидит себе в Таврическом дворце.

Это исчезновение гремящих имён трудней всего уразумевалось. Вот, недавно, всё сосредоточивалось только в них — Родзянко, Бубликов, — и вдруг рассеялись как дым?

Но оставались реальны — министры, и, как уже знал Алексеев, они собирались ехать в Ставку, несколько сразу. Вот и предстояло во всём разобраться в прямой беседе наконец.

По-деловому он должен был бы радоваться этой разъяснительной встрече, — а испытывал тягость, тянуло его.

Ещё недавно именно он и дал этому правительству власть — а вот обернулось, и они ехали контролировать его, упрекать, а может быть увольнять.

Если бы 1-2 марта в грозе своей силы (как никогда не бывал) вернулся бы в Ставку император — должен был бы генерал Алексеев складывать объяснения о своих упущениях в государевой службе за последние перед тем дни. Но вот ехали министры Временного правительства — и тех же самых дней те же самые поступки Алексеев должен был истолковать обратно: как упущения признать свою верную службу, и как верную службу — упущения.

Теперь ему предстояло объяснить, почему он всё-таки осмелился собирать войска против Петрограда. А дело, мол, в том, что генерал Алексеев был введен в заблуждение относительно действительного смысла петроградских событий. Сообщения Беляева

всё извращали. Из Ставки в те дни нельзя было понять, что это — великое народное движение. По отрывочным и неверным сведениям можно было представить, что это — волнение кучки людей смутьянского характера и, значит, подлежит, так сказать, успокоению. Теперь-то ясно видно, что двинуть войска на Петроград была лишь отчаянная попытка бывшего царя спасти свою корону. Но в те часы ещё не существовало Временного правительства, чтобы дать генералу Алексееву прямые указания, как поступать, — и всё, что генерал Алексеев мог сделать, это отговаривать царя от репрессивных мер, уговаривать его дать ответственное министерство, вплоть до слёз и даже угроз, — да, он даже нашёл форму ему угрозить. В те дни генерал Алексеев не был властен удержать царя от его поездки, от его попыток, — но в решающий день 2-го марта генерал сыграл перевесную роль в том, чтобы подтолкнуть царя к отречению, это теперь всем известно. А когда отречённый царь почему-то приехал снова в Могилёв, — он не был допущен до дел нисколько. И по первому требованию Временного правительства был ему выдан. Не мог генерал Алексеев послужить Временному правительству вернее и лучше!

Изрядно гадко было давать такое объяснение — да ещё будет ли оно и принято?

Как стеснённо, как обидно, как жаль было генералу Алексееву всей своей долголетней честной службы, своего неоценённого умения, старания, — вот и всё никому не нужно, вот, теперь смахнут как муху. Если ещё не вздумают отдать под суд за нерасторопность в перевороте.

Ещё не сегодня министры приезжали, где-то в конце недели, ещё несколько дней оставалось запасу до неприятного разговора.

И не ждал Алексеев, что удар по нему придётся ещё куда быстрей — и опять в форме «Известий Совета», пришедших с сегодняшним поездом.

Дежурный полковник читал газету за столом. При проходе генерала сделал неловкое движение спрятать её, генерал заметил — и сердце его сжалось. Уж от этой газеты он не привык ожидать себе доброго. Хотел пройти, да он может вызвать себе полную пришедшую почту, но понял, что уже не найдёт покоя, и спросил дежурного:

— Там что-то есть?

Дежурный вытянулся:

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Мерзейшие статьи.

— Дайте, — протянул руку Алексеев. Взял эту, неровно сложившуюся, полускомканную гадость. И, забыв, куда и зачем шёл, вернулся к себе в кабинет. С опалённой, нето охолодавшей грудью стал читать.

Заголовок: «Ставка — центр контрреволюции».

И — всё оборвалось внутри. Уже не читал с полным смыслом, а жалко тащился по строкам.

Ах, это от Георгиевского батальона пошло, от них… «Офицеры-мятежники… обещают восстановление Николая II, угрожая несогласным солдатам — пулю в лоб». Какая ложь, какая чушь… «безотлагательно назначить Чрезвычайную следственную комиссию для раскрытия монархического заговора…» И каков язык — военно-полевого суда, а не газеты! «…Действовать безпощадно к шайке черносотенных заговорщиков».

Кровь била в вялые, старые щёки. Ничтожная чушь — а страшно. Именно по полной безсмыслице и страшно, ибо тут и оправданий не будут слушать.

Но это — было не всё! Сразу дальше — крупней, жирней: «Генералы-мятежники вне закона… Среди нашего высшего командного состава… Мрозовский, Иванов… Но таких генералов немало и среди тех, которые ещё пока гуляют на свободе… Неотложно издать декрет, объявляющий генералов-мятежников вне закона… После издания декрета солдаты… смогут безнаказанно убить таких господ, которые посмеют повести их на усмирение народа… Временное правительство обещало такой декрет».

Пол наклонялся — и скользил генерал по полу куда-то в пасть, в отсечение головы. Ноги плавились, он опустился на стул. Но не расплавились его глаза, и он читал еще следующую, третью статью, точно вослед, вплотную. Это всё было не о каких-то вообще изменниках, то могло его минуть, но это было прямо о нём.

«…Генералы-реакционеры. …Справедливое негодование на распоряжение генерала Алексеева насчёт “революционных разнузданных шаек”… Генерал Алексеев и многие другие, надевшие на себя личину друзей народа, прямо опасны и вредны для свободной России…»

Вот вцепились! Вот не простили! В тот грозный момент, когда банды ехали арестовывать всех по пути, — начальник штаба Вер-

ховного не должен был защищать свою армию, но должен был предвидеть, что не угодит революционному Совету, — и за это вот теперь расплатится!

Всё стреляло в Алексеева. Очевидно, мишенью был избран — он. И такой тройной прицел грозил, что с мушки они его уже не спустят.

«…Этот царский приспешник исподтишка старался взять за горло Земский и Городской союзы…»

Ну да, это помнят, оттуда и пошло…

«…Как может во главе нашей армии стоять лицо, которое для сохранения старого порядка готово…»

В своей прежней службе — честной, ясной, прямой военной службе, генерал Алексеев не потерпел бы десятой доли таких оскорблений — тотчас потребовал бы снять с себя обвинения, либо подал в отставку.

Но — не было теперь над ним такого прямого, ответственного и понимающего лица, кому можно было бы такую отставку подать. Какое-то расплывчатое, многоликое и подмигивающее было перед ним мурло — и подавать в отставку звучало смехотворно; его обещали обезглавить, или резать, или потрошить, они легко могли прислать вооружённую шайку и сюда, в Могилёв, — а оставалось бездеятельно ждать. Это была опасность непредставимая, неохватимая, неотразимая, — и отказывали ноги, соображение и язык.

И всё сходилось как нельзя хуже: печатали, что монархически настроен штаб Бориса Владимировича, — так это заговор в Ставке?

А великий князь Сергей Михалыч, хоть и подал прошение об отставке, хоть и снял свитские аксельбанты — но расхаживал по Ставке в генеральской форме, — вот и связь Алексеева с павшей династией.

А Николай Николаевич так и застрял в Ставке, всё не уезжал (его не пускали без сопровождения) — так и сидел в своём поезде на станции, пленник в собственной бывшей Ставке, это стесняло и мучило Алексеева, опасно и неприлично было бы его посещать, и неудобно совсем не оказывать знаков внимания, — и вот опять связь с династией. (Кажется, уедет сегодня вечером.)

Наконец — тут же рядом печатали крупно об аресте генерала Иванова в Киеве, — а Иванов совсем недавно свободно жил в Ставке, — и уже понимал Алексеев, что его обвинят: зачем не арестовал Иванова после похода на Петроград?

607

Окончательный отказ Крымова лёг на гучковское сердце обидой. Совсем не на многих, совсем на редких боевых генералов он рассчитывал опереться — и вот главный из них отрёкся. А верные и живые, кто были с Гучковым, — военная молодёжь, не годная для расстановки на крупные посты. Но — уже он начал, и не могло быть у него другого пути. Обновление всего генеральского состава русской армии могло бы стать делом его жизни. Ладно, он переворошит и с молодыми! Выгнать генералов сотню — другая будет армия! Наполеоновского духа.

Как раз в эти дни Гучков дал санкцию на арест окружения великого князя Бориса Владимировича. Это было и неизбежно: притёк донос из Ставки, и нельзя было не дать ему хода, особенно в дни, когда Совет гремел, что Ставка — гнездо контрреволюции. Такой арест, пятка́ офицеров, прозвучит сейчас в Ставке как звенящее предупреждение. Что военный министр шутить не будет. Предварительно напугать всех тех, кто думал бы сопротивляться.

Красиво бы — и самого Бориса! Совет бы ликовал. И это было бы даже как бы продолжением давней борьбы Гучкова с великими князьями. Но чтобы быть честным — материала не хватало. Борис — щенок, и безответственный, — но не вредный.

Тем более необходима какая-то суровая мера в дни, когда расслабляется вся военно-судная система. Вчера Гучков упразднил военные трибуналы всюду вне театра военных действий. Полевые суды на фронте решено оставить, но без права смертной казни. То есть, глядя вперёд: теперь ни измена, ни бегство с поля сражения уже не будут караться серьёзно. Очень может быть, что не избежать в армии института присяжных — то есть судьями посадить солдат же. От военно-полевой юстиции не оставалось ничего.

Парадоксальность положения была в том, что двигаться к укреплению армии Гучков мог лишь через частичное её ослабление.

Ещё появилась от Совета довольно безумная «Декларация прав солдата», — по безобразию уже опубликованная в газетах — ещё прежде чем поливановская комиссия её рассмотрела, а и рассматривая — пасовала. Но уж эту — Гучков имел решимость не утверждать или, во всяком случае, потянуть подольше.

А ещё — присяга. Правительство назначило армии присягать (вероятно, зря), а вот все петроградские батальоны отказываются. (Один штаб Корнилова присягнул.) И — что делать?

И с отданием чести Гучков уклонялся день за днём, надеясь, что просветится что-нибудь к лучшему. Однако не просвечивало. В Петрограде никто не отдавал, кроме юнкеров. На всех просторах железных дорог, этапных перевозок — чести не отдавали. Армия уже перестала выглядеть армией. Так стоило ли военному министру ещё упираться?

А тут — кажется, неизбежность, под напором общественного мнения революции, отменять все боевые ордена, из-за их царского или церковного звучания, — и только Георгиевский крест, конечно, надо отстоять.

А тут накладывали прошений и запросов от интеллигентов, которые раньше скрывались от военной службы: надо дать им право, не подвергаясь каре, явиться к исполнению службы ныне, наряду с новопризываемыми. И — неужели же им в этом можно отказать при торжестве революции?

А на возврат дезертиров-солдат придётся положить долгий срок, месяца два, иначе и не вернутся, кто уехал далеко в деревню.

А заводы и мастерские Главного Артиллерийского Управления требовали себе теперь тоже 8-часового рабочего дня — и как же в сегодняшней обстановке стать поперёк рабочего прогресса?

22 депутата Государственной Думы, крестьяне, обращались к Гучкову с просьбой — увеличить выплаты солдатским семьям: 3 рубля 20 копеек в месяц по сегодняшней дороговизне — ничто. И не отпускают казённых дров.

И придётся добавлять.

Телеграмму от суматошного истеричного Пуришкевича, уже не знающего, как выслужиться перед новым строем, как заказаться своим: что он лично раздал на фронте полмиллиона возваний Временного правительства и 20 тысяч «приказов №3» (совместных Гучкова с Советом). Заверял, что настроение в армии внушает уверенность. Зато писал, накопления немцев — лихорадочны, и зловещий признак — молчание их артиллерии. Старый шут, позабывший вовремя сойти со сцены. После убийства Распутина мог бы уже и перестать трястись на виду у всех.

Но уже докладывали, что прибыла и дожидается депутация Черноморского флота. Фронтовых депутаций разных, уже привык, приезжало теперь каждый день по две, по три. Однако сего-

дняшняя делегация была исключительная — и Гучков, глотнув кофе и подтянувшись, вышел к ней в залик.

Чернело от формы. Стояло 30 молодцов — больше матросы, но и солдаты, и штатских немного (выяснилось: рабочие). Среди моряков был капитан 1-го ранга, но Гучков благоразумно удержался подойти пожать ему руку: невозможно было теперь отличить его и возвысить, а жать руки всем подряд — Гучков брезговал, это выверт Керенского. И действительно, главным в депутации оказался не капеpанг, а солдат молодой, нестроевой части, Зорохович, — с живыми глазами, ещё гражданскими манерами (так и показался ряженым) и очень свободным языком. Нисколько не робея от обстановки, от министра, от солдат (он назвался председателем Центрального комитета Черноморского флота), чуть шагнул вперёд и залпом произнёс речь. И — целиком положительную. Он заверял, что боевая мощь флота не понизилась ни на йоту (так и сказал), флот и гарнизоны объединены желанием войны до победного конца, достойного великой нации (так и сказал). А поэтому они, черноморцы, приехали требовать от тыла неослабной работы на оборону, а Временному правительству окажут всемерную поддержку вплоть до Учредительного Собрания. А министра просил прислушиваться ко мнению севастопольцев.

Как посвежело. Гучков воодушевился:

— Старая власть по своей неспособности и равнодушию вела Россию к гибели. Теперь великая помеха убрана с народного пути. Не скрою: каждому из нас предстоит тяжёлая работа, но её нам облегчит глубокий государственный инстинкт, вложенный в душу народа.

Только — е с т ь ли он в народе? Смотрел, смотрел по глазам. И простодушные, и старательные, и любопытные. Больше — на Зороховича, с надеждой.

И дальше — о свободе, о победе, о единстве, — уже привыкал язык перемалывать.

— Я стал министром — и в моих руках большая лопата, которой я выгребу всё, что себя запятнало. Но помните, господа… — может быть, надо было «товарищи» сказать? не выговаривалось, — что ошибки возможны везде. Может быть, допущу ошибку и я, — но я не задумаюсь над её исправлением.

Вернулся к своим занятиям приподнятый. Корреспондентам отвечать: никаких оснований для пессимизма, настроение в войсках благоприятное, и вера в победу окрепла.

Затем пришёл Ободовский. Гучков любил этого неоценимого инженера, постоянную живость его сочувствия к военным делам, принимал его вне очереди среди военных и даже своих сотрудников.

Но вот — и он хлопотал: для технических артиллерийских заводов и мастерских подписать 8-часовой день при прежнем заработке и возможности сверхурочных. И — выплатить за все революционные дни. И одобрить заводские комитеты.

Встретились молча глазами.

— Но разве это будет работа? — сказал Гучков.

— Ничего не поделать, — вздохнул Ободовский. — Всюду так. А иначе будет хуже.

Вздохнул и Гучков. Перешёл поприятнее:

— Ну, как в поливановской комиссии?

Ободовский был там вне всех личных натяжений, напряжений и соперничества, наиболее безпристрастен.

— Да может, вы меня оттуда исключите? — хмурился. — Нелепо я там выгляжу, единственный штатский.

— Да за это я больше всего вас там и ценю, Пётр Акимыч.

Брови Ободовского под русо-седеющим бобриком головы иронически передёрнулись. Он не улыбнулся, но искринка юмора прошла в глазах:

— Я думаю, им недостаёт военной косточки.

— Ах вот как! — засмеялся Гучков. Повысилось у него настроение после черноморцев. — И в чём же?

— Перед Советом. Уж очень заискивают. Уж очень спрашивают разрешения и выкладывают им все материалы. И каждое только мнение, высказанное на комиссии, попадает в газеты и разносится во все казармы и окопы. И солдатами воспринимается как уже реальность. Что ж это будет?

— Это чёрт знает что! Подкрутим их.

Тут Гучков вдруг решился: ни у одного генерала не спрашивал, а у Ободовского первого и спросить.

— Скажите мне, Пётр Акимович, совершенно *entre nous*: а что вы думаете о генерале Алексееве? Можно его назначить Верховным?

Брови Ободовского застыли асимметрично. Сжатые губы прокачались в раздумьи.

— Вот, — решился Гучков, достал ему из стола папку с последним унылым письмом Алексеева о развале и слабости армии.

Ни от одной фронтовой делегации не веяло подобным. — Прочтите.

Ободовский не удивился. Отсел в комнате тут же, быстро прочёл, вернул.

— Ну что?

Пожал нервными плечами. Но ответил без всякого колебания:

— В настоящее время — не годится он в Главнокомандующие.

Гучков мысленно поставил в графе Алексеева второй минус, первый был свой.

Ободовский ни минуты не задерживался дольше дел. Вот уже всё кончил, и:

— Некоторый неловкий случай. Сегодня Керенский просил меня привезти к нему на встречу нескольких полковников из Военной комиссии.

Что такое?..

— Зачем?

— Как говорит: хотел бы немного познакомиться с военными делами.

— А зачем ему?

Ободовский пожал плечами.

Безтактно. Как и всё безтактно, что делает Керенский. Само по себе безтактно — да ещё почему же не спросить Гучкова прямо?

Мальчишка! Приказчик революции.

Но запрещать — смешно. Чувство юмора.

— Ну что ж, свозите.

Пока Гучков готовил ведомость на генералов — кто-то уже готовил и на него.

608″

(по свободным газетам, 13—15 марта)

АМЕРИКА НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

…Великая Заатлантическая республика не могла примириться с лишением прав целой категории русских граждан на том основании, что они исповедуют другую религию. Соединённые Штаты отказались от заключения торговых договоров с Россией. Во время войны американские банкиры охотно финансировали Англию и Францию, но Россия не

могла пользоваться американским кредитом. Теперь всё это разительно изменилось. Из телеграммы банкира Якова Шиффа мы видим… Приветствие американского посла носило интимно-сердечный характер. Америка становится из преданнейших наших друзей. Воинственное настроение американских политических и финансовых кругов… «Самая молодая» демократия увлекает за собой «самую старую»…

(«Биржевые ведомости»)

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПОЕЗДКИ НА ФРОНТ. Прибывшие из поездки по Рижскому фронту депутаты Ефремов и Макогон… Настроение армии не оставляет желать лучшего. Офицеры и солдаты клянутся в дальнейшем проливать свою кровь. Какое вдумчивое понимание момента! Какое спокойное сознание своего достоинства. На защиту интересов дисциплины стали сами солдаты. Как они теперь подходят с рапортом, как стоят на часах! — гвардейцы! Праздничный энтузиазм слился с будничным экстазом.

ХЛЕБ ВЕЗУТ! Известия с мест всё более отрадны…

Резолюция литераторов. Высоко оценивая огромную роль Совета Рабочих Депутатов, глубоко сожалеем о его попытках ограничить свободу слова и печати. Не должны первые шаги освобождения страны направиться на путь угнетателей свободного слова.

…Свобода печати может быть скверно использована злостными демагогами. Свобода печати для них — механическая свобода писать и набивать умы читателя дребеденью.

(«День»)

СВОБОДА СЛОВА. Временный суд разбирал обвинение солдата в критике вслух в трамвае Совета Рабочих Депутатов за запрет «Нового времени». Допрошены свидетели обвинения. Обвиняемый не агитировал, а лишь критиковал постановление СРД в спокойном разговоре с соседями… Обвиняемый в последнем слове заявил, что всецело признаёт новый строй. Найдено, что он невиновен.

Претензии арестантов. Многие лица, обвиняемые по чисто уголовным статьям, причисляют себя к политическим — и требуют полной амнистии. Рассмотрение дел затруднено тем, что все документы многих арестантов уничтожены во время пожара в Бутырской тюрьме.

…По роковой случайности из кронштадтских тюрем при освобождении политических были освобождены и все уголовные…

АРЕСТ БАДМАЕВА. По приказанию следственной комиссии произведен обыск… Ведь должны понимать люди, что в Тибете не знают ни химии, ни физики, ни физиологии. Нет и не может быть никакой «тибетской медицины».

К аресту Марии Павловны... Стояла во главе заговора. Много компрометирующих документов…

Постановление об аресте Кшесинской... Прокурорскому надзору поручено ознакомиться с корреспонденцией, забранной на квартире балерины… Кроме того, предстоит арест двух сослуживцев её по сцене.

БЕСЕДА С КНЯЗЕМ ЮСУПОВЫМ, ГРАФОМ СУМАРОКОВЫМ-ЭЛЬСТОНОМ.

…Юсуповский дворец на Мойке, особняк одного из богатейших людей России… Хозяин уже прибыл из ссылки. Прислуга дворца влюблена в молодого князя. «Вы, конечно, приехали узнать о Распутине? Но стоит ли говорить об этой грязной личности? При дворе знали, какого я мнения, я открыто возмущался. Узнав о перевороте, я не был удивлён. Я давно предвидел, что Двор катится по наклонной плоскости. Государыня вообразила, что она — вторая Екатерина Великая. Они не вняли голосу своих близких…

ОТМЕНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Временное правительство постановило снять с акционерных компаний ограничения относительно лиц иудейского вероисповедания и иностранцев.

Письмо в редакцию. Гвардейский экипаж сим заявляет, что слухи о том, будто бы на колокольне морского Никольского Богоявленского собора в великие дни революции были поставлены пулемёты, производившие обстрел восставшего народа, лишены всякого основания. Подтверждено осмотрами.

…Великое событие, единственное в истории всех революций по скоротечности и безкровию, когда в несколько часов одна шестая часть света руками петроградцев скинула с себя оковы. Петроград, которому особенно надоел старый строй, взял да и бросил его в тартарары. Сделал это самый нерусский город в России, — и вся Россия сразу приняла весть из Петрограда как благовест. И наша умная Россия взяла да и стала свободной.

(«Новое время»)

…Леонид Андреев боится развала. По его мнению, необходима дисциплина. Смешно! У нас о развале нет и помину. Вместо развала — спокойные ряды. Говорили, что усиливается пораженчество. Но я не видел ни одного знамени «долой войну». Наше настоящее прекрасно.

Срочные меры к охране заводов спирта...

К населению Петрограда. Комиссар Петрограда и Таврического дворца обращается к населению с призывом возвращать войскам оружие, как-то: пулемёты, винтовки, револьверы, штыки, ручные гранаты, пулемётные ленты…

МИТИНГ ДЕЯТЕЛЕЙ ИСКУССТВ в Михайловском театре… К сожалению, немало времени было потрачено на патриотические заявления общего характера, становящиеся уже общим местом. Были также выпады чисто личного характера… Выбрать комитет не смогли: не прошёл ни один список.

…В воскресенье 12-го я председательствовал на митинге искусств. У меня лично осталось несколько кошмарное впечатление от того, что происходило, и от принятых резолюций… Мейерхольд совершал оскорбительные личные нападки против Николая Бенуа, чья критика его спектаклей… Ограниченный фанатизм, требующий, чтобы прекратилась всякая свободная инициатива в вопросах искусства…

Вл. Набоков

Винница. Из местной тюрьмы сбежало 300 уголовных преступников. Часть их направилась в Киев.

Баку. Торжество омрачилось бегством из центральной тюрьмы свыше 600 арестантов: уже несколько дней в тюрьме волновались, требуя участия в торжествах.

Астрахань. В связи с происшедшим 9 марта побегом трёхсот арестантов местной тюрьмы Исполнительный Комитет постановил арестовать всю тюремную администрацию.

Омск. Брешко-Брешковская встречена командующим войсками Округа и восторженной толпой. С митинга вынесена на руках, объезжала казармы. Остановилась в бывшем дворце генерал-губернатора.

…Деревенские женщины по большей части плачут, что нет на престоле царя: пусть хоть плохонький, а должен быть.

В **Мензелинском уезде** пограбили мануфактурных торговцев.

ИНДЕЙКИ И ГУСИ откормленные, из Воронежской губ., по сходным ценам.

ДОХИ ИЗ СИБИРИ.

Требуется хорошая кухарка, знающая еврейскую кухню, умеющая хорошо готовить в пасхальную неделю, на хорошее жалованье.

МАЦА *1-го сорта с гехшером Раввина продаётся по выгодным ценам.*

ПОДВОДНАЯ ВОЙНА. БЛОКАДА СЕВЕРО-ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА.

Впечатление депутатов от поездки на фронт. Боевая сила армии увеличилась по крайней мере в 5 раз. Если бы теперь пришлось перей-

ти в наступление, то никакая сила не остановила бы солдат, воодушевлённых переворотом. Пораженческие газеты рвутся солдатами.

…Явление самовольных отлучек солдат является позорным и недопустимым. Воины свободной России должны знать и твёрдо помнить…

…При старом режиме между офицерами и солдатами была пропасть… Офицер, избавленный от полицейской роли, станет вождём на поле битвы. Если подвиги совершали прежде рабы — то что же теперь совершат свободные люди!

(«Новое время»)

В ТАВРИЧЕСКОМ ДВОРЦЕ. НАСТРОЕНИЕ ДЕПУТАТОВ. Одни утверждают, что с созывом Учредительного Собрания следует ждать конца войны… Другие: нельзя откладывать, оно само будет работать более года.

…Страна должна знать, кто говорит именем Рабочих и Солдатских Депутатов. Совету необходимо опубликовать полный список всех его членов — притом подлинные, настоящие фамилии и имена. Общее собрание Совета не знает, кто выступает в законспирированном под старым псевдонимом виде. О какой политической ответственности может быть речь, когда деятели скрывают свои подлинные имена и фамилии? Мы не станем разбираться в мотивах, почему считают нужным прибегать к маскировке. Она была понятна в самодержавное время. Теперь, в изменившихся условиях, нелепо продолжать старые приёмы, в сущности оскорбительные для революционной свободы. Такая же анонимность принята и при подписании резолюций митингов. «Правда» публикует резолюцию Бюро ЦК РСДРП против войны и общаться с германскими солдатами — и никем не подписано. Какие деятели выпускают на свет такие ответственные лозунги?

(«Русская воля», 15 марта)

О ХЛЕБНОЙ МОНОПОЛИИ. Нужно вызвать отток хлеба от крестьянских амбаров и умело направить в потребительские центры. Это — вопрос успеха русской революции. Нужны решительные действия… Хлебная монополия — героическое мероприятие. Она неизбежна для России.

Утёк золота русского за границу принял опасные размеры. Перекупщики, китайцы и корейцы, платят старателям больше, чем предлагает русская казна. Вдоль всей нашей китайской границы германские агенты устроили скупочные конторы. Ежегодно с приисков исчезает не менее 1600 пудов золота…

…Трепетания красного флага над Петропавловской крепостью я не забуду до моего смертного часа. Д. Минаев писал много лет назад:

Есть у нас одна нелепость:
От Петра до наших дней
В Петропавловскую крепость

Возят мёртвых лишь царей.
Но когда ж те дни настанут,
С нетерпеньем ждём мы их,
Что возить в ту крепость станут
Императоров живых?

Почему бы не свезти туда Николая Романова?

…Временное правительство распорядится с бывшим царём по-своему, и пусть никто не смеет требовать правосудия.

(«Русская воля»)

Арест ген. Н.И. Иванова в Киеве. …Очень взволновался. Заявил, что уже присягнул новому правительству и готов ему верно служить.

Арестован редактор газеты «Земщина» Глинка-Янчевский.

ЕСТЬ ЛЮДИ! Все охвачены энтузиазмом, опрыснуты сказочной водою жажды свободы. Людям больших дарований старое деспотическое правительство не давало простора, подбирало низких угодников, безстыдных опричников. В общественное сознание вбивалась клевета, что нет людей. И посмотрите, сколько оказалось людей, способных мудро творить государственные дела! Первые шаги, самые трудные и опасные, сделаны художественно-мастерски! А уж вести Россию дальше — тем более люди найдутся, страна может быть спокойна.

Телеграмма из Ниццы. «Всецело становлюсь на сторону Временного Правительства. Савинков».

…Получен ряд телеграмм от различных еврейских общин и кооперативных объединений из Нью-Йорка, Гааги, Лондона с приветствиями по поводу совершившегося переворота.

…Еврейский и немецкий вопрос требуют в крестьянстве правильного освещения.

Уход Г.Г. Перетца. Ввиду сильного нервного переутомления комендант Таврического дворца полковник Перетц подал рапорт об уходе. Это вызвало всеобщее сожаление. Пожелали уйти и все адъютанты, состоявшие при нём, и преображенцы, несшие караульную службу.

8-часовой рабочий день начинают осуществлять явочным порядком. Извозопромышленники и ломовики постановили не выезжать на работу после установленного часа — и останавливается разгрузка продовольственных продуктов на станциях, а есть подверженные порче.

На телефонной станции. Из 19 тысяч испорченных во время революции телефонов приведено в исправное…

В Кремле. Специальная комиссия по распоряжению комиссара Москвы приступила к приёму дворцов и соборов. Для приёма икон будут приглашены специалисты и опытные оценщики камней.

В **Гельсингфорсе** скончалась жена убитого адмирала Непенина.

Владикавказ. Грандиозная встреча депутата Караулова.

Киев. Клуб националистов переименовался в клуб прогрессивных националистов.

Николаев. Уголовные местной тюрьмы сообщили депутату Государственной Думы, что решили получить свободу хотя бы через тела надзирателей.

Одесса. В Одесском тюремном замке — «конституционное управление». Стража устранена. Власть начальника тюрьмы строго ограничена, управление тюрьмой — в руках комитета из 10 заключенных, в нём — знаменитый бессарабский «рыцарь больших дорог» Григорий Котовский, смертник, помилованный ген. Брусиловым. Охрану тюрьмы несут сами заключённые, давшие честное слово. Митинг арестантов отправил приветственную телеграмму правительству. Выборные ходят в город за покупками.

Харьков. Специальная комиссия работает над архивом охранного отделения. Найдены списки агентов, среди которых оказались видные деятели рабочих организаций, представители интеллигенции, кооперативов и учащиеся высших учебных заведений.

Сызрань. Бежавший из Симбирска под видом извозчика исправник арестован. Пытался повеситься, вынут из петли.

Устюжна. В уезде — лесные порубки.

Кое-где отбирают у помещиков землю, избивают агрономов. В селе Конюхове **Рязанской губ**. крестьяне разгромили квартиру присяжного поверенного, рояль разрубили на дрова, а бархатную обивку мебели разделили на штаны.

В **Нижегородской губернии** крестьяне радостно встретили весть о свободе. Преобладают республиканские тенденции. Были случаи разгрома помещичьих усадеб и вырубки частных лесов.

Отменить постоянные абонементы в Мариинском театре, наследственное право кучки феодалов…

СЧАСТЬЕ ЖЕНЩИНЫ В ЕЁ РУКАХ. Особый японский крем для лица.

Нужна прислуга без мужских знакомств.

609

В мирном домашнем Тамбове все дела во всех учреждениях всегда успевали сделаться до двух часов дня. По всем бумагам принимали решения, успевали отписать куда надо, убрать в столы и в шкафы и разойтись по домам, кроме разве уж самых мелких служащих. И после того, в разумно просторное оставшееся время суток, отдавали себя удовольствиям: обильным медлительным трапезам (никто никогда в Тамбове голодным не сидел); карточным играм; катанью по Большой улице в экипажах; гулянию в городском саду, где играл военный оркестр; летом — катанью на лодках по Цне и её рукавам — от самого городского берега и в дальние прибрежные леса на пикники, с раздольными песнями на пойме; зимой — ёлки, балы, маскарады, взаимные визиты и опять же катанье на рысаках (губерния изобиловала конными заводами). А ещё ж любительские спектакли и в них соревнования дам!

С войны стало потемней: и в учреждениях больше работы, и тревоги о своих, ушедших на фронт.

А уж с революционных дней и вовсе стало напряжённо: пришли в движение неожиданные, до сих пор не известные горожане и вопросы.

В центре стал председатель губернской земской управы — а теперь, внове, губернский комиссар — дворянин Юрий Васильевич Давыдов. При нём создался и губернский комитет — как новая революционная власть, и губпродсовещание, а заместителем к комиссару стал присяжный поверенный Шатов, убеждений весьма левых (впрочем, и Давыдов тоже). И тамбовский губернатор Салтыков и гарнизонный генерал признали комитет и подчинились ему без сопротивления. Распахнули двери тюрьмы, и оттуда освободились семеро задержанных по политическим мотивам. И так уже 3 марта в Тамбове безкровно совершилась революция. 8 марта догадались снимать государственные гербы. Давыдов одним приказом устранил от должности всех классных и низших чинов полиции и приказал сдать дела. Только начальник губернского жандармского управления с помощником не подчинились тому честно, а вырывали из дел страницы, из папок вынимали листы и уничтожали их, якобы «по нравственным соображениям», — и Давыдов распорядился арестовать их обоих и сам архив. Поступали и свежие политические доносы, но большей частью анонимные, Да-

выдов велел не рассматривать их. Рядовых полицейских, кто помоложе, направляли в армию, а старших возрастом охотно приняли в новую революционную милицию (возглавленную нотариусом), ибо оказалось, что некому нести службу порядка: никто новый не соглашался идти за 52 рубля в месяц. Да что там — домовладельцы и дворники стали тротуары плохо чистить.

Теперь выдавали полноправные документы административно-ссыльным — Тамбовская губерния всегда была разрешена для проживания их, да и собственного славного революционера когда-то выдвинул Тамбов — Балмашова, убийцу Сипягина, не говоря уже о несколько смутной, но ярко взлетевшей Марии Спиридоновой.

Открывались светлые просторы, омрачённые, однако, конкуренцией властей. Хотя в городской думе, только что избранной, была сильная интеллигентская группа «прогрессистов», да и противники их, «деловая группа», тоже не консервативны, — в Тамбове возник и стал собираться в лучшем зале города, в Нарышкинской читальне, — Совет рабочих депутатов и требовал признать себя высшей властью в городе. Но лица — совсем неизвестные, а собственно рабочих в Тамбове почти не было. Собирался Совет — негусто, и в читальном зале находились дни для собраний то торговых приказчиков, то еврейских ремесленников, то гимназистов, а то было устроено молебствие трёх тысяч магометан за спасение России.

Ещё одна была видная фигура в Тамбове — губернский предводитель дворянства владетельный князь Челокаев, гофмейстер и член Государственного Совета. Ещё 10 лет назад он был довольно прогрессивен и против губернатора. Но в 1907 крестьяне сожгли его имение — и он стал сторонник жёстких консервативных мер. Однако сегодня у него не было опорных сил для оппозиции, и шёл ему 77-й год (и наконец, он приходился Юрию Васильевичу — родным дядей).

Положение губернского комиссара равнялось прежнему губернатору, и Давыдов должен был бы занять губернаторскую канцелярию. Но он больше держался своего привычного кабинета на 2-м этаже земской управы — массивного каменного здания на углу Большой и Араповской, откуда и видна была ему вся центральная городская площадь перед собором и монастырём. Продолжая и дела земской управы, там принимал он большую часть посетителей — и туда же к нему пришёл сегодня и его шурин Александр Львович Вышеславцев, москвич.

— Саша! Откуда? Сейчас приехал? с вокзала?

В другое время, поспокойней и повнимательней, заметил бы Давыдов, что шурин его что-то слишком рассеян, даже расстроен. Но сейчас он сам был так возбуждён и переполнен деятельностью, да и не виделись от дня революции:

— Ну, каково, а? Каково, голубчик, мы отмочили? — встретил его на середине кабинета, обнимал и тряс. — Дождались, а? Ещё при нашей жизни вдруг дождались!

Вышеславцев виновато улыбнулся. По мягкому лицу его — со лба, через глаза и на щёки, как бы постоянно стекало тихое облачко осветлённости, как это нередко бывает на русских образованных лицах.

А Давыдов, усадив его и рискуя оказаться неучтивым, расхаживал по ковру и с размахами рук рассказывал о себе, о своём — да потому что это было не своё, а Тамбов, а губерния, а вся Россия! Ослепительна была общественная победа, и каждое событие и известие пело об этом, и безграничны, бездонны развернувшиеся перспективы, но может быть самое затаённое, да, вот что чувствовала всякая душа болельца за народ, и конечно эмигранта брата Васи бы сейчас: происходит искупление столетней дворянской неправоты! — нашим участием в революции, и как доверчиво революция приняла нас в свой поток!

— Но что в Москве? А в Москве как? Ты рассказывай!

Нет, Вышеславцев не вскидывался из кресла, не разбегался размахивать руками, хотя был моложе зятя почти на десять лет. Он всё так же смотрел мягко-рассеянно, светло-растерянно.

Да он, оказывается, и не прямо из Москвы: он сейчас на обратном пути, из Волохонщины. Туда ехал по борисоглебской ветке, через Жердёвку. (Кстати, мужики стали драть за пару лошадей по рублю с версты.) А оттуда сейчас, своими лошадьми, через Каменку и Ржаксу.

— В Каменке, Юра, за что Владимира Мефодьича арестовали? Как это может быть?

— Да этот дегенерат, учителишка Скобенников! Объявил себя волостным комиссаром, таких и не бывает. Вместе с акушеркой вытребовали милиционеров, что, мол, попечитель — враг нового режима и *сеет семена*. А просто акушерка мстила ему, он увольнял её. А Скобенников раньше перед попечителем просто лакейничал, и в соглядатаи лез, а теперь, видишь, взыграло, распрямился. Но пока туда-сюда, пока в Сампуре приняли моё распоряжение —

а старик две ночи отсидел ни за что, в клоповнике. Безобразие! И сейчас я его пока просил в Каменку не ездить, не дразнить. Но и тоже наш народ! Какую больницу, какую школу старик им поставил, лечил, научил, — а выводили под саблями — стояла толпа, смотрела бараньими глазами, и никто в защиту.

— А Плужников?

— Плужников был тут, в Тамбове. И ко мне приходил. — Усмехнулся Давыдов. — Ещё не хватало нам этих деревенских политиков. Плужников возмущается, что у Родзянки лучшего слова не нашлось, зачем и новое правительство с того ж начало: «Везите хлеб!» Мол, сперва пусть город нам товары везёт. Сейчас если все вот так за политику возьмутся… Ну, а что в Волохонщине? Что ты ездил? Проведать? Как Людмила Христофоровна?

— Мама? — вздохнул. — Мама —пока ничего…

Спинка кресла за Вышеславцевым была не ровная, а откинутая назад — и так он сам как бы падал назад. И с тем же растерянно-озабоченным выражением:

— Да не просто проведать, а знаешь… Сердце не на месте. Поехал… как бы чего…

— Ну-у-у, куда! Ничего такого не будет! Посмотри, какая светлая, дружелюбная общая атмосфера! Крестьяне всё понимают — и ничего не тронут. Во всяком случае тех, кто был к ним хорош. У меня в Каменке — усадьба, лес, и я ни за что не безпокоюсь. И ваша Волохонщина в Пятом году тоже не бунтовала, чего ты вдруг?

— А у меня — сразу встала тревога… И я поехал. И у мамы, оказалось, тоже. Даже, знаешь, такое настроение: если б можно было всё продать как попало да перевезти своих в Тамбов или в Москву…

— Ну — что ты придумал?!

— Три женщины, что они там могут? Да и кому теперь продашь? Да и не поднимется рука… Разрушить родной угол?..

Медлил. (Подъезжал — краснели почки на берёзовом молодняке, дальше сизой стеной стояли дубы, потом липы, и широко дымились трубы села…)

— Что я вздумал? Всё по-старому? А нет, Юра, сердце не обманывает. Вот собрал я перед домом всех мужиков. Знакомые те же самые мужики. Но вместо прежних глаз — и просительных, и дружелюбных, и, догадаться, лукавых, — новые, любопытные, жёсткие. И шапки сняли не все.

— Так и не надо!

— Так и не надо, я понимаю. А — знак. Столетняя наша неправота — это я понимаю. Нельзя было так широко и роскошно жить на глазах народа. Но когда видишь на лицах новую неприязненную решимость… И несколько совсем чужих, какие-то подбиватели из города появились…

Медлил.

— Я — сильно волновался. Всё же постарался изложить им твёрдо: отдаю им в аренду, пониже цены, почти всю мою пахотную землю, несколько десятин себе оставил — прокормить лошадей, птицу. Отдаю им луговой покос — исполу. Избыток теперь лошадей рабочих — отдаю в долг безлошадным. А что ж? — и в минувшем году не все помещики убрались, хлеб так и остался в рядах, рабочих рук не найти…

— А что? Я и говорю: правильно! правильно! — энергично одобрял Давыдов.

— Другие соседи — жестоко порицают меня, за сдачу. Ну, остались мои мужики как будто довольны. Сочувственно приняли. Сговорились. И, видя эту благорасположенность, — я после того сам шапку снял, поклонился миру. И просил: в моё отсутствие не обижать родных. Загалдели, что не обидят.

— Да конечно! Да совсем не та атмосфера, я тебе говорю!

— Как знать? А страшно — лишиться всего сразу, под корень.

— Да нет, Пятый год не повторится!

— А начали распределять лошадей — где там прежнее благочиние в барской усадьбе! — такое торжище подняли с криками и руганью — страшно их. Нет, они за эти недели стали не те…

Вышеславцев, полуоткинутый в кресле:

— Да хоть бы не землю, но усадьбу сохранить. Разрушится — вся наша жизнь, от младых ногтей? И всего нашего рода?.. Знаешь… просто никогда я так не любил нашей Волохонщины, как сейчас. Обходил как прощаясь, так сердце ноет. Как прощаясь… Обе веранды, крытая и открытая. Сколько чаепитничали там… В зной. И в лунные ночи. А снизу, из села, неслись деревенские хоры… Ничего этого больше не будет.

Безусый, открытыми губами, хотел улыбнуться — а боль одна.

— Во дворе дряхлеют конюшни, амбары. В парке дубы — каждый знакомец. Несколько лип — такие уже старые, скованы железными обручами, чтоб не развалились. Сколько труда, теперь уже непосильного, потрачено — полоть дорожки, аллеи, поддерживать

ветхие беседки. Сад. Мироновка, грушёвка, наливные, китайские, апорт, анис. Летняя печурка из кирпича, под два варенных таза. Тёмный прудок. Ореховая аллея — и калитка в конце. За ней — закат солнца смотреть и как возвращается стадо с поля. И этот высотный вид — на Журавлиное Вершинское. На Синие Кусты… Боже мой…

Взялся за лоб, а верней — прикрыть глаза.

Он ещё многое мог бы перевспомнить, даже из этих угасающих десятилетий. А — библиотека? Сколько собрано, сколько читано… А дальний колокольный звон над полями? А летом на рессорной коляске из именья в именье? — остывающий сухой полевой воздух, стрекочут кузнечики, ровный звук бегущих лошадей, спокойное пофыркивание, мягкий постук по просёлку. Среди ржи. Вальки упряжки задевают за дорожную траву. Или от речки — запах мяты: там, на костре, у шалаша, гонят её…

— Да если мы потеряем даже этот дряхлеющий быт, эту зелёную заглушь — куда привезём мы детей летом? И в знойный день — никогда не увидим, как находит туча без дождя — и перепела опадают в рожь?

Но к губернскому комиссару ждали посетители, просители, предлагатели.

Ну да Саша теперь — к сестре, домой? И расскажет ей.

Она — поймёт. Они всё это — вместе помнят.

610

Опять, опять ожил Таврический! Безошибочное сердце вело народ к своей водительнице Государственной Думе! Военный оркестр (уж пусть марсельеза) гремел на улице, потом замолк — но тысячный топот ног отдавался гулом по самому зданию. Пришёл опять лейб-гвардии Семёновский батальон! И как же переменилась жизнь Таврического!

Волны радости так и вздымали Родзянко, он чувствовал себя невесомым. Пусть неблагодарные министры забыли материнское думское лоно, откуда они все вышли, пусть неблагодарные журналисты пренебрегли этим истинным центром русской жизни, — но русский народ знал, где его духовный центр, знал, кого он любит, знал, чему он верит, — и тянулся сюда!

Этот возврат солдатских масс в Таврический был мало сказать торжественный — эпохальный. И Родзянко ощутил, что надо выйти к нему более чем достойно: не просто единолично, но в окружении свиты из членов Думы — собрать их вокруг себя как можно больше, всех, кто сейчас в Таврическом, чтобы явить символически весь облик Думы.

Собирали спешно из разных комнат — собрали человек двадцать, неплохо, обычно их стало тут меньше. Застёгивались, подтягивали галстуки.

Пошли. Прошли не через Екатерининский зал, а на хоры, другой лестницей — чтобы к площадке над собранием спуститься сверху, величественнее.

Весь зал был полон, и сверху это могуче выглядело. Несколько тысяч солдатских голов, без строя, — а над ними растянутые двухпалочные плакаты: «Война до победы», «Берегите завоёванную свободу!», но и — «Да здравствует демократическая республика», но и — «Земля и воля».

Однако же, Родзянко не мог привыкнуть, это не помещалось в его голове: он не был единственный присутственный хозяин в Таврическом дворце! Здесь же был ещё Совет рабочих депутатов, здесь же был ещё Чхеидзе. И уже на выступательной площадке, ниже его, Чхеидзе стоял и вещал — сразу обо всех народах мира и как они объединятся.

И явление Родзянки со свитой не было достойно замечено, ни отдельно приветствовано.

Впрочем, Чхеидзе в этот раз не так уж глупо выбрызгивал:

— Пока немцы не свергнут Вильгельма — наши штыки будут обращены против Германии. Докажите, семёновцы, что вы — львы революции. Учредительному Собранию и демократической республике — у-ра!

Это «ура» у него звучало так комично, сорванным голосом, как в водевиле.

А солдаты приняли и кричали «ура». Что ж. Ладно.

Но и тут не успел Родзянко занять главного места — как выступил полковник, выборный (других теперь не было) командир батальона. Он заговорил звонко, молодецки, голосом, привыкшим к тысячам, — а главное, сказал верные, золотые слова:

— Мы приветствуем Государственную Думу, — и обернулся назад и выше себя, и все теперь заметили думцев, — за то, что она взяла в свои руки борьбу с проклятым старым режимом!

Удивительно легко некоторые видные офицеры выговаривали теперь «старый проклятый режим». Но это было так — он был проклятый и сметен именно Государственной Думой, и за это ей спасибо.

Ещё поговорил полковник, самого себя укрепляя, что семёновцы теперь — сорганизовались, и являют силу, которая сумеет защитить свободу и счастье России, — и ему отчаянно горланили «ура». А он — деликатно и с пониманием уступил место спускающемуся Родзянке.

Всё внимание тысяч собралось сюда. Безмолвная внушительная свита высилась на ступеньках за плечами Председателя.

Шумно хлопали в ладоши уже заранее. Теперь простодушные семёновцы поняли, что наступает главный момент. Родзянко могуче вобрал кубическую сажень воздуха — и прогремел:

— Благодарю вас, храбрые товарищи… — уже без этого слова было неудобно, — семёновцы, что вы пришли показать свою готовность стоять на страже счастья и свободы нашей матушки Руси!

До «матушки Руси» он, как всегда, выговорил уверенно — но неожиданно быстро она появилась, когда должна была быть в заключение речи. А уже после матушки Руси что можно было добавить? Он понадеялся, что всегда найдётся на речь, — а вот скособочилось и нечего было говорить.

Добавил о борьбе со страшным врагом немцем.

Но и этого было достаточно. Во всём зале наступил энтузиазм.

И ответив, ответив поклонами на приветствия, Родзянко счёл удобным теперь продолжить спуск по лестнице со своей свитой.

Так до низу они и спустились под аплодисменты, и Родзянко подумывал, не подхватят ли его солдаты на руки.

Но — стихли, а наверху опять задребезжал голос Чхеидзе (упустил Родзянко: пока он там, надо было и самому оставаться там):

— А спросите, товарищи семёновцы, председателя Государственной Думы, — исходя ехидством тона, предлагал Чхеидзе, — что он думает насчёт демократической республики? А главное, спросите господина Родзянко, что он думает насчёт земли? А спросите, сколько у него самого десятин земли и думает ли он свою землю отдать народу? Отдаст ли он землю, из которой сам не обрабатывает ни клочка? Я отвечу за него: не отдаст ни десятины! И другие помещики тоже не отдадут!

Как полыхнуло в лицо и грудь Родзянко — то ли горячим, то ли холодным, то ли красным, то ли белым, как ослепило, — он остановился, внутри загорячило, упало сердце, — такого оскорбления никто ему никогда не наносил, и он не знал, что делать. Он мог рвануться вверх назад по лестнице — но ещё не был готов, не знал, что говорить.

Какой отвратительный выпад, какая безтактность и грубость! В своё время Родзянко сколько щадил этого гнусавца, допускал говорить с думской трибуны совсем непозволительное, — и вот благодарность. Утеряно было торжественное настроение, солдаты насторожились, — а что мог ответить Родзянко? Революционеры распускали про него слух, что у него 200 тысяч десятин, — но то было у дальнего предка, а у него только четыре с половиной тысячи.

А тем временем какой-то развязный, сполошный солдат-охальник взобрался?! захватил слово — и нёс свинский бред, поток оскорблений всем достойным людям России, какую-то уличную похабщину, — и уже начинались одобрительные отголоски из толпы. А солдат всё разгонялся — и прямо предложил семёновцам: не верить ни помещику Родзянке, ни всей Государственной Думе!

Родзянко пылал. Родзянко дышал запышенно. Он понимал, что на него обвалился один из важнейших моментов жизни, хотели изничтожить и его, и Россию. Он не должен был промолчать! Он не мог уже теперь пробираться через зал как побитый. Он должен был ответить! Но — что? И ехидная подача Чхеидзе, и развязность солдата обнажили в нём какую-то новую, непривычную уязвимость.

Плохо понимая, он стал топать по лестнице на площадку наверх опять. Солдат ещё нёс своё, но Родзянко отодвинул его властной рукой. И с новым большим залпом воздуха выкинул в зал:

— Господа! — Уж про «товарищей» он и забыл совсем, язык говорил, как привык. — И я, и Государственная Дума приложим все усилия, чтобы Учредительное Собрание было собрано как можно скорей. — Да он так искренне и намеревался, только от него это уже не зависело. — Мы не позволим никому воспрепятствовать! И Оно будет выразителем воли свободного народа — и все мы подчинимся этому безропотно, и будем защищать тот строй, который будет установлен.

Таким образом, эту гадкую «демократическую республику» он, кажется, обошёл. Но ещё же надо было ответить о земле. Ему вооб-

разились в совокупности свои любимые екатеринославские просторы — чернозёмная ширь, моря пшеницы и приречные левады, лошажьи табуны. Он и все просторы южнорусские любил, а к своему-то имению особенно нежное чувство. И почему же в момент торжества России — он должен был пожертвовать всем лично своим? Но хорошо, пусть, его сердце готово было и на самую широкую жертву, — однако спрашивали его о большем: готовы ли и все помещики отдать свою землю крестьянам? И что об этом думает не он один, но вся Государственная Дума.

Момент был велик, но велик и Председатель, он привык знать мненье своей Думы и душу России — и мог теперь взяться ответить:

— Что касается земли, то я от имени Государственной Думы заявляю вам, что если Учредительное Собрание постановит, чтобы земля отошла ко всему народу, — то это и будет выполнено безо всякого сопротивления.

Сказал — и только потом сообразил, что Учредительное Собрание и не может заниматься землёй, оно занимается государственным устройством. Ну, уж сказал. Ещё горячей теперь и уверенней:

— Не верьте, товарищи семёновцы, тем, кто нашёптывает вам, что я или Государственная Дума будем мешать счастью и свободе России! Это неправда, мы сделаем всё! — и да живёт народ русский так, как он сам хочет!

Он вызвучил это всё — превосходно, чувствовал. Благодарное рыдание жертвы, любви и самоумаления подступило к его горлу. Это — передалось залу, и зал заревел неузнаваемо. Забыт был и мелкий Чхеидзе, и тот дерзкий солдат, — и уже так ревели, так хлопали, что когда Родзянко спустился с лестницы — до последних ступенек ему не удалось дойти, солдаты подхватили его на руки — и понесли через зал, пробиваясь, и потом передавали другим, — хотя весил он 7 пудов, но не обронили.

А зал — ревел и ревел несравнимое «ура».

Родзянко — победил. Родзянко снова был со своим народом.

Кто-то там опять лез на лестницу, кто-то пытался вякать, — это уже было безполезно, Родзянко победил.

Через весь зал его так пронесли, около коридора спустили на пол, и он пошёл в свои комнаты.

А уже стояли в приёмной какие-то моряки. Оказалось: депутация Черноморского Флота. Родзянко отпил воды, приосанился и, неутомимый, вышел к ним.

Потом переходил к каким-то письменным занятиям, но обнаружил, что заниматься чем-либо ему невозможно: так он был обожжён, и что-то вынуто из него большое безвозвратно — там, в речи перед семёновцами. Он потерял душевное равновесие, он не мог найти себя, он сделал что-то не то, изменил кому-то, — и ему надо было время для осознания и успокоения.

Живя не на земле, живя в Петербурге, — он, оказывается, вот как был слит со всею ширью своей земли, вот как! Без неё — всё опустело, посерело.

А тут надо было распределять Фонд Освобождения России, решать что-то с Красным Крестом, с посылкой делегатов на фронты, — он отвечал и распоряжался, плохо понимая. Вынули из него душу.

А пожалуй: как же это его угораздило обещать всю землю, да не только свою, а всех помещиков России? И от имени всей Думы?

И почему-то там это легко сказалось, а теперь отдавалось неуклюжей тяжестью.

Не имущества было жалко. А той души, которая есть земля.

Всё не ладилось — а доложили ему, что опять делегация. А, будь ты неладен, да какая же?

Крестьянская. Новгородской губернии.

Крестьянская? Это была первая такая. Ну что ж, надо выйти.

В приёмной комнате, где этих депутаций проходила череда, теперь стояло два — всего-то два? — чудесных бородача — в посконных азямах, в лаптях и оборах, со светлыми струистыми бородами, а — в силе, крутоплечие, крепки, стройны. И один держал в руках неизвестно как довезенные в такой целости — блюдо, на нём ржаную буханку и солонку с солью и с красной десяткой. А другой держал — развёрнутую бумагу. Они стояли уже в полной такой готовности, может уже не одну минуту и не пять, — стояли как в театре, или как у дороги, ожидая проезда высокого лица, надёжно достоверные, земные, деревенские.

А едва вошёл Родзянко — тотчас ещё приосанились, ещё выпрямились — узнали сразу, глаза их заблестели. Миг один как будто думали — потом первый ступнул раз, ступнул два навстречу Председателю и — поясно истово поклонился, а блюдо держа ещё передей себя, прежде головы — и нисколько не перекосив при поклоне.

— Прими, батюшка, — сказал он только. А голос его звучал церковно.

Родзянко принял, конечно. Миг подержал — кто-то сзади подскочил, перенял.

Первый мужик ничего больше не нашёлся, а всё так же блистал глазами на Председателя, сам не веря такому чуду.

А второй, помоложе, развернул бумагу поприёмистей, кашлянул и, от себя ни слова, стал читать с бумаги. Грамотен был хорошо. Лилось у него:

— Многоуважаемый и дорогой Михаил Владимирович! Мы, крестьяне трёх деревень, Рахлиц, Старой Пересы и Горок Ловатских, Старорусского уезда, собрались вкупе обсудить совершившийся государственный переворот. И через своих выборных — Якова Соколова и Павла Соколова…

Братья? Нет, не столько были похожи, — но и похожи, общим типом северорусским, крупностью, русостью, открытостью. Может быть — дальние.

— Как вам, главе Государственной Думы, так и через вас всеми любимому князю Львову, которого видим из далёкого уголка необъятной матушки-России, решили преподнести по старому русскому обычаю — хлеб-соль и деньги. Пускай этот дар от чистого мужицкого сердца скажет вам, борцам за нашу свободу, землю и волю, — спасибо! Пускай он окрылит вас.

Давно-давно, все эти круговоротные революционные недели, и произнося вереницу пламенных патриотических речей, — не был Родзянко тронут так, как вот получив назад свою матушку-Русь из непритязательных уст. Он почувствовал себя пронятым — ещё больше, чем когда солдаты несли его на руках и он читал лозунги поверх голов.

— Верьте и надейтесь, — ровно, звучно и с достоинством читал один из Соколовых. — Вы всегда найдёте у нас силу и средства. Мы вам ни в чём не откажем. Как некогда Минину, мы принесём вам последние наши сбережения и благословим, как с Пожарским, наших любимых сынов, мужей и отцов на ратное дело.

Они — это з н а л и всё? Так это не выдумка была столичных гостиных?

Вот они, ясноглазо смотрели на Председателя с благодарностью за землю и волю!

И почувствовал Председатель, что подступают слёзы. Короткой этой грамотой, своим светящимся видом — как очистили его эти два мужика ото всей досады на ехидство Чхеидзе и на свою опустошённость от опрометчивого бряка с трибуны про землю.

А — кто ж на этой земле и работал, разве он? А кому ж она и отповедана Богом?

Теперь — он к ним шагнул и — первую депутацию, не услышавшую от него ответного слова, — поцеловал в бороду одного Соколова и поцеловал другого Соколова.

Да размахнуться — и отдать.

На тот свет всё равно ничего не возьмём.

А уже тянули его за локоть: в Таврический входили царскосельские стрелки, и слышалась музыка опять на весь дворец.

— Пойдёте выступать, Михаил Владимирович?

Но — первый раз он не пошёл. Был — полон всклень.

611

От штаба дивизии к своему полку попались Ярику санки с каким-то чужим солдатом: вёз неполные, можно было и чемодан вскинуть и даже сесть. Но курносый солдат предупредил:

— Вашбродь, я не прямо. Тут — митин будет, я к нему заверну.

— Какого Мити? — не понял Ярослав.

— Ну как? — удивлялся и тот безтолковому поручику. — Митин, не знаете? Послухать, о чём гуторят.

Ах митинг! Этого слова и образованные-то люди не знали, кто не бегал по левым сходкам, — а вот солдат уже знал, и на круглом лице его отображалась важность прикосновения.

— Чей же митинг?

— Епутатов! — так же важно заявлял картофельный нос. — С полков.

После того, что произошло в поездном тамбуре, ещё каждая жилка болела в теле, ещё не расслабла. Ведь — какой случайностью спасся? Уже не был бы жив, он бы кончил с собой от позора. Или выбросили бы его из поезда на ходу. Но и — уходить ото всего этого нового — тоже слабость.

— Ну давай завернём.

Дорога уже была раскатанная, скользкая, чуть подтаивало. Снег везде уминался, а ещё не подсочился водой и не рыхлел. Стоял пасмурный тёплый денёк.

Проехали меньше версты — солдат свернул отвилком в огиб леска. Там дальше было открытое, никакой частью не занятое польце у опушки — и толпилось солдат, да сотни как бы не с три, — конечно, больше свободный дивизионный народ, из полковых линий не могло столько прийти.

И повозок и санок несколько, составленных тут, у края.

А посреди солдатского сгущения тоже стоял запряженный парою возок — повыше и с решётчатым бортом, как возят сено или навоз, и в том возке стояло трое — один высокий статный унтер с далеко разложенными стоячими усами, другой — подпрапорщик, тонкий, петушистого вида и с красным лоскутом на шинели, третий — солдат в папахе набекрень, гололицый, литоголовый, так и распирающий щеками и через шинель грудью (он чем-то Качкина напомнил Ярославу, тот же тип, кольнуло). Этот солдат, — он речь и держал, — хоть невысок, но подбородком всё же выше повозной вязки, и, двумя руками за вязку держась, — всё чуть поднимался и всё как будто хотел наружу вылезти. И сколько вылезти не мог — столько голосом додавал, крякал, гакал по-над толпой:

— …Был я с пороху приехавши узнать, как у них там идут дела, в Петрограде. И передать им привет от нижних чинов… от самых последних животных прежних, которых раньше и за людей не признавали… Ну, дела ничего, хорошо. Промеж себя идут у них разговоры. А у тёмных людей — напротив. А вы, говорю, старайтесь силою их сломить! Вы, говорю, боритесь унутри — с теми, кто настаива’т на прежнем дворянстве! А мы тут, на фронте, всю усиль приложим, чтобы сломить врага. Правильно я говорю?

— Правильно! — загудели охотно.

У кого за спинами торчали винтовки, — а многие были без оружия, налегке, — то ли по близости своего расположения, то ли распущенности второго эшелона. Стояли с важностью события, даже рты приразинув, — и глядели на тех, в возке.

У Ярослава всё забилось: кем эти солдаты собраны, почему и как? Знает ли начальство? И — теперь это всё можно говорить? И в их дивизии это уже всё принято так?

— Ну и, однако, крути так, как следова’т, концы равняй! Не соблюдается очередь в постановке на позицию. Эт-та надо отрегулевать да направить. Или посылают людей на гибель для захвата единого пленного. Это тоже-ть не война, мы так не одобряем. Нас как миши́ньку под пули ставят. В такую содому суют!.. Так ведь он, гляди, прапорщик, а призвести его — только бумажки в отхожее

место носить. Правильно я говорю? — это он каждый раз с наседаньем на вязку и толстую морду свою высовывая да потрясывая.

— Пра-авильно! — гудело.

— Потому что, — аж рвалось из литомордого солдата, на язык он был поспешен и оборотлив, а папаха всё больше сползала набок, — потому что ахвицерá — они все желают восставления прежнего режима! Они, значит, — кон-ле-ворюцинеры! Вы, братва, ахвицерам — не слишком-то верьте, не слишком. А от кого к нам забота дурная, полускотная? А от кого к нам вытяжка и все несправедливые издевательства?

Ярослава оглоушивало. Говорили против офицеров, значит и против него самого. И уже он испытал, чего это стоит и чем кончиться может. Но и с уважением всматривался в соседей, какая же неведомая сила проявлена в солдатах, когда они собраны вот так, вне строя, рассвободнённою толпой.

— А наши товарищи в окопах молят, что и они хотят пользоваться жизнью при свободе, а не только умирать медленной смертью в окопах! На что же нам тая свобода — да без мира? Это же глумёж один! — подхватил, пристукнул на голове падающую папаху. — Зачем тебе свобода, если тебя убьют? Так ещё, может, немцы нас послушают — да и своего Вильгельма погонят? Да и замиримся, а?

— А-а-а! — отозвалось изумлённым вздохом.

Ободрённый, солдат и кулаком уже помахивал:

— Война как хотит — так пусть себе и остаётся! Не мы её начинали, не нам кончать! А Германия нам никакого зла не прочинит. Какой бы ни вышел конец — а подкатило кончать войну! Народ не хотит молодые головы отдавать!

И молодые и немолодые головы двигались, покачивались или были неподвижны, — а головы-то все человеческие, а лица все индивидуальные — никак не менее офицерских, хоть суровые, угрюмые, тупые, или светлые, юные, — и вот что: хотя и шёл гулок всё время, а это не соседи друг с другом разговаривали — нет, все стояли в необычной обрядной завороженности, кто и в робости, в одну сторону лицами, как во храме, и если вырывались вполголоса, то — никому, сами с собой или вообще всем. А нетерпеливые и громко:

— Верно выговаривает! Чо-ож головы-то отдавать?

— Ну, ладно, размотал тряпку с языка! Дай и другим гуторить.

Мордолитый и ещё бы хотел говорить, за петроградскую поездку, видно, разлакомился, но уже шумели, убирали его, слезал он нехотя с возка, — а туда, ногу через вязку закинув, полез степенный, плотный, средних лет, с усами и подбородным волосьём. Унтер и подпрапорщик между собой поспорили — и не препятствовали этому говорить.

Стал он тоже, за вязку взявшись, и заговорил голосом скриплотёплым:

— Ты, парень, с кем это в Питере балабонил — больно они все бойки да много кричать. Им там, в Питере, жизнь сохранная — а ещё им и восемь часов день подай. А как мы тут дудим — двадцать четыре и под обстрелом? Им паёк выдають, под обстрел идтить не надо, глотки здоровы, — отчего не пошуметь? Нет, пусть они сюды придуть да в наши окопы сядуть, где мы полторы годы сидим невылазно, а воюем все два с половиной. Пусть они нас тут заменять — а мы б на отдых подались бы, с нас довольно. Со всех бы тылов подсобрать, кто мочен носить оружию, — да в армию их, заместо нас…

Это вызвало сильный одобрительный гул.

И оратор, с видом старого плотника, не крича, а глаза сощуривая:

— В мирное время — что за служба была? Хоть и два года восемь месяцев, а помаршировали молодцы-удальцы да побегали на полигоне с винтовкой, вот и уся старания. С такой службы ворочаешься домой — задница жиром зашлась. А ноне служба — чо? Смертоубийство. Теперь если домой калеченный воротится — дак уже счастье, обнимают!

Ярослав поглядывал, искал, кого видел в спину, кого сбоку,— своих ротных никого не нашёл, а полковые были.

— А всё ж дозвольте в постепенность дойти последственно, с разумением, — вёл своё непростецкий оратор. — Если нам своим офицерам не верить, — нас и вовсе тогда пули посекут, мы тут будем кидаться как бараны в загоне. А что ж, офицеры — не с нами зараз погибают? Не так же кровь у них льётся? Только надоть им осознать неправоту того, что промеж нас состояло. Кажная личность, бросившая презрение, не сознавает, что под формой находится строевой солдат. Эт всё должно отступить на старый план, а дать место правде. Пусть заручаются любовью солдата, не отталкивают его, если хочут идти с нами рука в руку. И таких

офицеров немало, братцы. И мы в обхватку примем все их добрые чувствия к нам.

Боже мой, что за милый солдат! Что за голос у него приятный. Ведь вот же, вот он, народ, только надо было уста ему разомкнуть — и видно теперь, как можем мы обняться дружески, всю эту ложную злобу отбросив. Как верно говорит: «дать место правде между нами»! Защекотало, засжалось в горле у Ярика, — и благодарность к этому солдату, и к Качкину, и к другим хорошим — отвалило от его сердца пережитое оскорбление. Терпеливо, терпеливо надо искать открытого общения.

И из толпы не кричали тому солдату против — вот и с ним толпа была согласна, добрый знак.

Пока так волновался, пропустил Ярик у солдата дальше, а к концу услышал:

— Ежели англичанам да французам есть антирес — пусть они и наступают. А нам-то чего по чужим странам сохнуть, по чужой земле? Тая земля нам никогда не сгодится. Так что — обороняться будем, разумительно. А наступать — отказываем! Мы тож носами не чмыхаем, не! Так и немецкий солдат, братцы, он тоже как мы, подневольный мужик.

Галдели одобрительно.

Этот солдат покончил и тихо слезал с возка. Ещё двое потянулись вместо него — но статный унтер с красивыми усами и победно-презрительным видом оттолкнул их вниз и заговорил сам. Вязка была ему по пояс, руки на неё — свободно вниз, а стоял он в телеге — стройно, как на лошади б держался.

— Чмыхи вы чмыхи! — сильным голосом разнёс он. — Поджатый хвост и псу не помеха, правильно! Вы на фронт приехали галушки есть, да? Как это так возможно: обороняться, а не наступать? Где это вы такую войну видали? На месте топчась — вы и во сто лет войны не кончите. На чьей земле воюем? На нашей! Так ежели нам горло сдавили — надо сбросить, чтоб можно дышать. Ежели вы хотите врага разбить — так надо на него идти прямо, а не остаиваться, задницу чесать! Стоять на месте — это уже и обороны нет, вас только толканут — вы и посыпетесь. — Молодецки-властно он всё это толпе выговаривал, видно, что привык с солдатами, и видно, что — с правом, что сам — воин первой статьи. — Да не нужны нам ни пол-Германии, ни даже-ть один германский город. Но мира без победы тоже-ть не будет, это кто придумал —

так дурацкая голова! Этакого русский солдат не мог придумать. Победа нам нужна, чтоб не немцы нам указывали, какой мир, а — мы бы им!

Тут закричали ему истошно-враждебно два-три голоса:

— Верхогляд ты с тонкой кишкой!

— Кати в отхожее, а то запаскудишься!

— Почево залез, ахвицерскую науку нам вговаривать, мы её слыхали!

Унтер не потерял ни осанки, ни презрительной гордости, так и смотрел глазами суженными над своими красивыми усами, но перелаиваться не стал — и теперь дал себя отодвинуть тому молодому петушистому подпрапорщику с красным бантом. Этот был безусый — и из молодцов другого рода, заязистого. Одну руку он в боки взял, а другою потрёпывал нервно перед собою к толпе:

— То-ва-ри-щи! Только такие безпрепятственные собрания представителей и могут довести сынов России до конца кровавой расправы! Старый режим делал из солдата безсловесное животное, убивал в нём сознание человеческого достоинства! Но события революции показывают, что убить солдата не удалось. Самый надёжный оплот власти был — косность и невежество народных масс. Но теперь вы прозрели! Нет у нас больше царя-предателя и нет его развращённого правительства! А его прислужники офицеры должны теперь сильно задуматься. Уже командующего нашей армии генерала Литвинова сняли — и так их и всех могут поснимать.

Узнал его Ярик! — как раз из их полка он и был, взводный 4-й роты. С выражением зубастой самоуверенной находки звонко-дерзко кричал толпе, иногда добавляя к чувствам и обе руки:

— Но не в железном кулаке, не в отдании чести будет спасение. Надо крепить наши солдатские ротные организации, мы только в них сильны!

Слушали с большим напряжением прихмуренных лиц, половины слов и связи их не понимая — но ожидая, что это — к их пользе говорится, помогает им прозреть себя обманутыми, какими себя и не ведали раньше.

До сих пор простоял Ярик в каком-то обомлении, в неразборе чувств, как на странном спектакле, в который, однако, не полагается вмешиваться. Но при вступлении этого язвительного подпрапорщика он одумался, что ведь заведут толпу куда угодно, её куда

угодно заведут. Что он, офицер и командир роты, раз сюда попав, не должен оставаться безучастен! Однако — что он мог сделать? Лезть вот так же отталкивать и выступать? Балаган недостойный. Да он и не умел, и слова не подготовлены. Окрикнуть командно, перебить? Не к тону всего сборища, и не послушают, ещё худшее унижение.

Он — не один тут был, видел по краям ещё трёх-четырёх офицеров, тоже младших. И — никто не вмешивался. Положение их было общее — удавленное.

— Получшить питанию! — кричали меж тем, одобряя оратора.

— Даёшь скореича замиренье!

— Товарищи! — быстро улавливал и поворачивался молоденький подпрапорщик. — Но и мирное разрешение так просто не предвидится. Совет рабочих депутатов должен требовать от Временного правительства, что оно не ставит целью никаких завоеваний и контрибуций.

— Чего эт' — трибуций? — не выдержал один лохматый солдат.

— Эт' значит, — обернулся подпрапорщик, — после войны не платить, ну… налогов не платить.

— Налогов не платить! — наконец-то поняли и подхватились сразу в нескольких местах. — Это — хорошо! Это верно! Та-ак!

Высокий лихой унтер с презрительным видом соскочил вниз.

— Мы, конечно, войны не хотим! — вился подбодренный подпрапорщик. — Но мы и не можем так просто бросить окопы. Пусть и в Германии и в Австрии власть перейдёт в руки народа! Тогда мы сразу, все страны, сговоримся о мире. А пока этого не случится — всякий натиск наших врагов есть покушение на нашу свободу! И мы встретим врага грудью, под красным знаменем! И будем железной стеной стоять в окопах за нашу демократическую республику!

— Че-воо? Че-воо? — завыл голос, кажется уже слышанный, тот, что ссаживал патриотического унтера.

И, быстро растолкав несколько спин и легко взлетевши через вязку телеги, так что ноги взметнулись поверху, — рядом с подпрапорщиком и отводя его сильной рукой, — тяжело стукнулся ногами какой-то бешеный ефрейтор, вида переполошенного и злого.

— Че-во это? — кричал он уже сверху. И описал одной рукой косую дугу, как отрезал: — Ле-во-рюция — это значит делай, как народу надобно! А не как начальству! Эт' значит делай каждый — что хошь!

И — страшен был он, полубезумный, над толпой, — страшно подумать, что вот именно этому да дать делать что хочешь. Пёрли из него сила и злость немеряные, а лицо у него было просто каторжанское.

— Что вы хиляетесь туды-сюды, не знаете, кого слушать? Поднимают крик, что не хотят подчиняться Вильгельму, имеют в виду достичь, чтоб солдат погибал для буржуазии, как раньше для царя. Чтобы все мы, кто ещё тут уцелел, — голову сложили.

— Так что? — крикнул ему снизу тот унтер-красавец, он и сейчас на полголовы ото всех выдавался: — Бросай оружие, и пусть немец русскую землю захватывает?

— Та-аких чудаков нет, — по-бычиному этот бешеный с телеги головой поводил. И снова вперился и, снова нагорячивая, — даже трясся от гнева, и так должно было из него выхлынуть: — А только эту русскую землю — прежде отдайте н а м ! У помещиков заберите — нам отдайте. У монастырей заберите — да нам! У уделов! А то — нашими животами больно щедры! Мол — до победы! Вишь, проливы кому-то нужны! А в мирное время они и так для всех открыты — так и воевать зачем? До победы! А там, глядишь, с теми англичанами сцепятся, али с французами, — и где она будет, победа? На кой же мы чёрт царя свергали? На кой чёрт нам война, давайте её кончать! Разбирайся с офицерьём, штык в землю, да айда домой!

Масса — так и захолонула! Не кричали ему «правильно», смотрели с разинутыми ртами: можно ли такое даже высказать? И что теперь случится?

А кто напугался — лошади! Или перекуснулись две соседних, или что-то им почудилось, — метнулись, лягнулись, — и там, где возки и санки стояли, — раздалось ржание, треск и скрип разъезда.

А из солдатской толпы отозвалось матюгами и гоготом. И кто-то кинулся разбирать, распутывать, догонять, и сама телега с ораторами тоже поехала, — смеялся митинг, и не досталось тому оголтелому продолжать.

В толпе тем временем пооборачивались в разные стороны, и соседи заметили рядом поручика.

И какой-то один молодой вихлястый солдат, скорей, что из штабной обслуги, вдруг засиял как знакомому — а незнакомый, и — пошёл к поручику походкой гоголиной, ещё издали протягивая руку:

— А, господин поручик! Здравия желаю!

Ярик был тронут его улыбкой — и свою руку протянул охотно. И жал его совсем не солдатско-мужицкую руку, с опозданием отметив насмешку, какая была и в его походке, и в выговоре.

Пожали, отпустили — тот ничего больше не имел сказать, но стоял, разглядывая и улыбаясь.

Тут другой солдат по соседству — смурной и с шишкой сбоку челюсти — увидал пожатье — и сам туда же, к праздничку, и свою сунул поручику жёсткую руку. И сквозь его глупый вид тоже засветилось удовольствие.

Что ж, Ярослав пожал охотно и эту — грубую, неухватную. Это ж и был наш русский воин и русский человек — и из какой чванной гордости Ярослав мог бы стыдиться рукопожатия с ним? Эта черта запрета всегда была искусственна.

И третий — заметил, подбежал, подскочил, чтоб не упустить. Весёлый, лихо провёл рукавом шинели по носу, хоть и нос сухой, — и руку свою выложил наперёд:

— Господин поручик? Дозвольте.

И принимая пожатие, тряс, тряс радостно, — и в радости его не было насмешки, как у первого.

А уж за ним сразу и несколько тянулось. Один — с винтовкою за спиной и торчащим наверх штыком, длинный вислоусый пожилой дядька, ничего не сказал.

И сразу за ним — цыгановатого типа пройда.

И — с усами свешенными, хохлацкого вида, самознатный.

И — пряча всё же дымящуюся цыгарку в левый рукав.

И — бородач простоватый, со ртом незапахнутым.

И — ещё, и ещё. Уже второй десяток.

Уже не вид, не выражения их различал Ярослав — а только их ладони жёсткие, бугорчатые, плоские, да крепкие схваты, иные как клещи.

И — жали, и — жали. Больше — молча, а кто приговаривал «господин поручик», а кто бормотал «ваше благородие».

И — шли, и — шли, как в церкви к кресту прикладываются, все по порядку.

И сам Ярослав как шёл сквозь эту череду жёстких притираний и схватов. Он шёл — не от растерянности, он шёл с добрым сердцем сперва — к этому нашему доброму мужику, которому так долго было отказываемо во всём. И поначалу он улыбался, как обычно сопровождают рукопожатие.

Но — не было конца этому потоку, всё шли — и кажется, некоторые по второму разу. И, больно наминая ему кисть, всё подходили — но только ли из любопытства, не для того ли, чтоб ощутить себя неуниженными? Или унизить его?

Со страхом представил: да если так — каждый день придётся, и у себя в роте тоже?

Это пожатье в черёд он ощутил как новый вид беззащитности, хоть и обратный позавчерашнему. Не приложиться стояли к нему в рядок, а — приложить, как становится взвод в очередь к насилуемой девке?

612

В эти последние дни, в уже возобновившемся размеренном покое читальных залов Публичной (теперь переименованной в Национальную) библиотеки, появился веретенно-тонкий, сюртук в талию, ботинки самой последней моды и наблещены, умные глазки сквозь пенсне, остро вскрученные усы, — один из самых известных кадетов, Кокошкин. Не только каждый новый день, но если и в день два раза — он появлялся в новом свежейшем крахмальном воротничке, тот словно оковывал его маленькое личико. За суматошные дни революции многие стали разрешать себе разные недосмотры в одежде — тем язвительней была белизна и даже франтоватость Кокошкина, удивительная среди интеллигентов.

Друзья-кадеты срочно вызвали его из Москвы, но во Временном правительстве уже не нашлось места, а поручили ему вести Юридическое совещание при правительстве по вопросам, требующим предварительного правового изучения. Он был теоретик кадетской партии (но и модный успешный лектор), — ему вполне подходила порученная теперь работа. В связи с нею он и приходил в библиотеку, требовал много разных томов и перелистывал их.

От одной из его собеседниц передалось по запóлочной глубине библиотеки, что он сказал:

— Хотя мой род записан в Шестой Книге, но я ещё поискал бы человека, кого бы революция сделала счастливее, чем меня.

(Впрочем, за Выборгское воззвание Кокошкин был лишён дворянства. Впрочем, имение его близ подмосковной станции Кокошкино от этого не пострадало.)

А другой сотруднице он, от весёлости настроения, рассказал из своей жизни анекдот. Когда он ещё только ухаживал за своей Марьей Филипповной, нынешней женой, а тогда состоявшей ещё в первом браке, она как-то собиралась на скачки (любила играть, и они с мужем вообще промотали состояние) — но внезапно захворала. И в хандре и в нездоровьи поручила: «Фёдор Фёдорыч, если вы действительно любите меня — то поезжайте сейчас на эти скачки и поставьте на коня Мистраль». Фёдор Фёдорович любил её без ума и тотчас поехал на скачки, где никогда не бывал, и поставил что-то рублей триста на указанную лошадь. Но и по дороге туда на извозчике, и в зрительном ряду он читал захватывающую политическую брошюру, пришедшую из эмиграции, — и пропустил собственно картину скачек. Наконец общий шум свидетельствовал ему, что забег кончился. Он спросил, кто же победил, ему ответили, что именно Мистраль, и притом очень крупно, должны платить двадцатикратно! Поражаясь чутью любимой женщины, Кокошкин последовал к оконцу тотализатора и предъявил свой билетик. И каково ж было его смятение, стыд, сокрушение, невозможность показаться Маше на глаза, когда ему заявили, что он поставил не на Мистраля, а на соседнего по списку Магика! (Это он рассказал в связи с ходячим выражением «на какую лошадь ставить», то есть на какую партию.)

А сегодня Вера Воротынцева подносила к прилавку заказанные Кокошкиным книги по церковному праву, и досталось им тоже разговориться, по обе стороны прилавка, сниженными библиотечными голосами. О нынешнем слухе, что Владимир Львов подаёт в отставку из-за конфликта с Синодом, сказал:

— Много им будет чести! Скорей весь Синод в отставку пойдёт.

Он чуть шепелявил: «ш» вместо «с». Ровный в спине, пронзительно уверенный, а тут ещё и презрительный:

— И какое же жалкое зрелище эта церковь! Едва их тряхнуло — и уже воззвание Синода: покоряйтесь, чада, революции, всякая власть от Бога. Но отчего ж они не проследили, в какой момент власть Протопопова перестала быть от Бога? Сегодня они смекнули и потянулись к дарам свободы, дайте и им! А отчего же они раньше упустили отказаться от прислуживания царскому правительству, от своего инквизиторски-клерикального духа, например в разводах? Синодальные архиереи не слишком ли долго поддерживали всё гнилое и растленное на Руси? Почему их голос

никогда не поднимется в защиту невинных жертв? Или почему эти пастыри в былые годы не выходили провожать гробы революционеров?

— Но может быть, они молились за них? — осмелилась вставить Вера.

— Шёпотом? — остро сверкнул Кокошкин через пенсне. Хотя он был юрист, но не юридическое проступало в нём первое, а скорей эстетическое, он сравнивал не с буквой закона, а с красотой: — А почему они не вышли на амвоны и не возгласили: вечная память убитым за свободу?! Или крикнуть власти: не смейте больше лить крови! На гонения и смерть шли безбожные интеллигентные юноши, а иерархи, обязанные носить в душе Бога, — смиренно молчали? Нет уж, пришла пора кончать эту нечистую игру!

…Новая свободная Россия не может принять в своё лоно старых иерархов с доверием. Пусть прежде отрясут прах старого режима и докажут свою честность. Нет, они не могут понять и примириться, что церковь перестала быть государственным ведомством православного вероисповедания, а становится независимым юридическим институтом.

Как всюду и всегда, когда в обществе заходил вопрос о церкви, о религии, — Вера чувствовала себя принудительно стеснённой, с головою, наклонённой против воли. Она любила это общество, его смелые, свободные разговоры, но когда касалось религии — вдруг аргументы казались ей грубыми, а возражать всегда выглядело неловкостью, отсталостью, чем-то стыдным. Вот, от няни знала она: в иных петроградских церквях плакали об отречении. В одной церкви на Лиговке священник произнёс скорбное слово об отречении царя. Зашедшие в церковь солдаты прервали проповедь и повели его вон. «Что ж, убивайте за правду», — сказал священник. Формально этот рассказ не относился сейчас к их разговору — а и очень относился. Но невозможно было его привести. Очень выбирать приходилось выражения.

— Но вы навязываете Церкви язык гражданского мира, — возразительно улыбнулась Вера.

— О нет, нисколько! — легко отклонился от упрёка Кокошкин. Узость его сухенького лица выражала острую направленную мысль, свободнее многих свободных. Искливый ум, отнюдь не выставляющий себя, и по нему вдруг настилалась мечтательность: — Напротив, я могу выразиться ещё гораздо церковнее их: «Галилея-

нин вновь победил!» — в этот раз в виде нашей революции. Победа нашей революции — это и есть победа того, что не умела защитить церковь. Давно уже отмечено, что в формальном неверии русской интеллигенции было больше истинного религиозного пафоса, больше, если хотите, литургической святости, чем во всей нашей казённой обезличенной церковности!

А эта казённая церковность и отталкивала от официальной церкви всех искренних людей.

— Хватит! Церковь — слишком долго не могла существовать без полиции. Теперь упразднена полиция — будет упразднена и полицейская церковность.

Юридическое положение православной церкви будет решено безо всякого участия церковной иерархии — и лишь исходя из предпосылок правового государства. Ни одна государственная копейка не должна тратиться на церковь. Никакая церковь не должна иметь права преподавать своё учение в школе. Ни одна школа не должна находиться в ведении какого-либо духовенства. И брак, и похороны станут гражданскими. Венчание не должно добавлять никаких прав к гражданской регистрации. И наших покойников мы будем хоронить без участия духовенства.

Однако это был уже рубеж, где нельзя не спросить:

— А вам не страшно, что так опрокинется весь русский образ существования?

— Нет, я хочу сказать, что религия перестанет быть казённым кощунством. Это право — как воздух: верить или не верить, во что хочешь. Все должны быть свободны и в неверии!

В условиях всеобщей свободы и всеобщего равенства — какая же мыслима государственная церковность? Как может государство поддерживать или признавать какую-то одну из религий как истинную? Тогда эта церковь получит преимущественное право пропаганды, а все остальные из снисхождения останутся только терпимыми?

— Да рассуждая в самом общем виде: всякая религия есть мировоззрение иррациональное, а современное правовое государство — рационально. И — какая же между ними может быть кооперация?

— Однако, — осмелилась Вера, но ещё раз смягчая улыбкой, давая повод истолковать и шутливо: — У государства нет вечной души, а у каждого из нас есть. Поэтому каждый из нас, со своими духовными опорами, — выше государства.

— Ха-ха-ха-ха, великолепно! Парадоксально! — сверкающе засмеялся Кокошкин, превысив библиотечную тишину, закинул узкую схватчивую голову, а острия усов ещё кверху. — Даже ослепительно парадоксально!

Он брал под мышки полученные книги.

— Впрочем, о чём говорить? Разве Россия к сегодняшнему дню ещё была православным государством? Да со времён Петра Великого она уже переставала им быть в полном смысле. Например, в уставах уголовного судопроизводства с Петра допускалась замена религиозной присяги простым обещанием показывать правду. То есть атеизмом в скрытой форме. Конечно, мы пока не отделяем Церковь полностью, оказываем православию предпочтение перед другими религиями.

— Предпочтение? Нет, уж тогда — и отделяйте! дайте настоящую свободу! Зачем же сохраняете обер-прокурора?

— А это требуется для предупреждения всякой контрреволюции. Временно. Переходный период. Пока мы не достигли полной религиозной свободы — наш долг очистить церковь от негодных элементов. А если уж и нынешний переворот не обновит церкви — ну тогда, знаете, она безнадёжна.

Вера иногда — вынуждала себя слушать, вбирать или возражать, чтобы только оторваться от собственных мыслей.

И что такое унылое, неподъёмное она вбила себе в голову, чего на самом деле и нет на земле?

Вот спорила с Кокошкиным, — а в самой-то в ней простреливало: Крест? Крест. Нести крест! Но — и не так же нести, чтобы, подламываясь под ним, ожесточаться? Это — не больший ли грех?

Она думала, думала, думала: неужели же вот так, самой, отказать Михаилу Дмитриевичу — навсегда?..

613

С каждым днём успеха революции уже не было у Половцова ни малейшего сомнения, что правильно он сделал, в первые же сутки толчком сердца к ней присоединясь, а свои служебные обязанности покинув.

Так-то так, но возврат в свою туземную дивизию стал ему как бы и невозможен: это солдатам прощали сейчас хоть и трёхнедельную отлучку, только бы вернулся в часть, — но не полковнику же генерального штаба. Ну, разумеется, с бумажкой от военного министра вернуться можно. Но просто в старую должность — ради чего тогда всё городилось? (Правда, он сумел из Петрограда оказать немалую услугу своему командиру дивизии князю Багратиону: команда связи дивизии прислала в Петроград донос, что князь — приверженец старого режима. Донос попал в Военную комиссию, Половцов его погасил — и дал знать князю о его недоброжелателях.)

Поездка с Гучковым на фронт была для Половцова очень успешна: всё время рядом с министром, всё время нужный ему — быстротой соображения, чёткостью, военным опытом, памятью, отличным письменным слогом (с тонкими переливами дерзости и лести, расположения или холодности — по заказу). Знанием английского, французского и способностью в каждой ситуации понять её юмористический наклон. Полковник Половцов за несколько дней стал для Гучкова важнее всех адъютантов и всех чинов министерства. Министр сказал: «Будете вести мою экстраординарную и щекотливую переписку. Послу́жите так месяцок?»

Половцов щёлкнул шпорами. Преотлично! Экстраординарная переписка военного министра! При гениальной памяти на все лица и все обстоятельства — да ещё такая доверенность, такая власть! Но почему — только на месяцок?

Во всю красу своей длинной фигуры, кавказского мундира, полковник Половцов двигался, играл бровями рядом с невысоким рыхловатым министром в пенсне и придавал ему недостающий военный блеск.

(В поездке была только одна неприятная очень встреча: во Псков приехал генерал Абрам Драгомиров, у которого Половцов когда-то служил в дивизии, — приехал гордо-независимый от революционного министра, иронически рассматривая его окружение, а Половцова — укорно. Этого прямого генерала Половцов привык бояться и уважать — и тут, попавши в перекрест острых взглядов, чувствовал себя как переломленным. «Грустно видеть своего бывшего офицера революционером», — отвесил ему Драгомиров. При Гучкове Половцов не возразил, дотерпел до позднего вечера, а потом пришёл к Драгомирову в вагон с готовым монологом: почему нельзя было не вмешаться в события и насколько, ко-

нечно, легче отойти в сторону. «Нет, — сказал Драгомиров, — эти доводы и эта служба не для императорского офицера».)

А при возврате в Петроград позавчера Гучков почувствовал себя опять неважно, уехал отдыхать домой. И вчера за целый день, уже в довмине, не вызвал Половцова ни разу. Из гордости Половцов не пошёл о себе напоминать. И вот, вдруг, сразу зашатался его превосходный пост, ни по каким штатам не обозначенный, и стал как бы ничто.

И пришлось Половцову внезапно снова задуматься: что ж он от революции получил? Только-то и всего, что членство в поливановской комиссии и в Военной? Правильно-то правильно сообразил он принять сторону революции, — но в то ли место угодил, которое было его достойно?

Поливановская комиссия всё увеличивалась в числе заседателей, уже перешли в готическую столовую довмина за длиннющий стол, определились и наращивались два конца его — генеральский и офицерский, — а между тем быстро падало значение каждого члена. Да мельчилась и сама работа комиссии — дробное рассмотрение параграфов уставов, уже ротное хозяйство. Трезвому человеку давно было понятно, что это — бюрократический тупик, отсюда не выдвигаются.

И что ж оставалось — одна Военная комиссия? Но с каждым днём эта комиссия сдвигалась в сторону призрака. Да кто создал её? по какому плану и для чего? Это сейчас уже никто не мог установить. Она создалась как-то сама, в революционные дни, — а потом существовала лишь потому, что никто не догадался её разогнать — по двусмысленности её положения, то ли органа Совета депутатов, то ли правительства. Существовала на задворках Таврического, в низеньких комнатах 2-го этажа, и никто значительный и серьёзный уже не приходил к ним туда, а пёрлись смурые фронтовые депутации, тоска, тоска, до ломоты в рёбрах.

Половцов выходил и, отменяясь своею кавказской формой с газырями и страшной папахой, с брезгливостью похаживал по огрязнённым коридорам Таврического, униженным залам его, то встречая морды из Исполнительного Комитета, то революционный канцелярский аппарат из их жён и родственников, то, иногда, растяпистым мешком трусящего Родзянку, превратившегося в посмешище и ничто, или робких бывших депутатов этой гордой Думы, теперь переодевшихся попроще и жмущихся неслышно по задним комнатам в своих мертвецких заседаниях. В мини-

стерском павильоне ещё додерживали каких-то арестованных, уже 5-й сорт.

Деловая мысль могла быть одна только такая: переходить в штаб Военного округа. Это была прямая и настоящая военная служба. Там были все возможности стать в центре действий. Но кем бы туда перескочить? Пока бы всего естественней — адъютантом Корнилова. Однако невозможно предложить себя самого.

Половцов придумал — и уговорил двух офицеров порекомендовать его Корнилову по цепочке знакомых.

А каждый день после полудня нагнеталась во дворец и в Белый зал заседаний какая-нибудь солдатская или рабочая публика, и полный вечер кричала, выла, рыдала, курила под купол и набрасывала окурков. Вытягивали несчастных офицеров благодарить солдат за произведенную революцию и целоваться с ними на помосте.

Половцов иногда захаживал туда, послушивал: какое же мерзавство! И неужели вот это и есть революция? И неужели вот это для неё он покинул свой пост, свою часть, свою честь — а дальше?

Дальше — нога обрывалась. Если не удастся уцепиться за Корнилова… — да что же Гучков, чёрт его раздери, где ж его экстраординарная переписка, неужели уплыла? Именно близ Гучкова в смутное время генеральских перетасовок можно и выскочить в генералы!

Но явился Ободовский — и, отзывая полковников по одному, объявлял, что просит их сегодня задержаться тут до позднего вечера, а он повезёт их к одному влиятельному лицу, для того чтобы осветить тому некоторые военные вопросы.

— Моё сердце, Пётр Акимович, лопнет от любопытства, до вечера я не доживу! Скажите мне хоть шёпотом — к кому именно?

И Ободовский тихо:

— К Керенскому.

О-хо-хо-хо! Фью-фью-фью-ю! Гениально-комбинаторная голова Половцова сразу допоняла и домыслила всё остальное: Керенский готовится стать военным министром!

Хо!-хо!-хо! Надо ему понравиться.

Будущее несколько переориентировалось.

— А Александр Иванович знает?.. И не возражает??

Ну, так тогда это и безпроигрышно!

614

В минской газете прочитал Саня манифест «К народам всего мира». Нет, войны уже не будет. Прокликав такие слова, вряд ли можно воевать. Читали ведь и солдаты.

Это звучало действительно фантастически: через железные фронты или, как там писали, — через горы братских трупов, через реки невинной крови и слёз, через дымящиеся развалины городов и деревень, — вдруг звучал какой-то новый, не государственный, голос, — от рабочих к рабочим других стран, от солдат к солдатам чужих армий, — и могла ли после этого голоса по-прежнему продолжаться война?

И — не Сане было эту войну жалеть. Он сам себе удивлялся теперь, что мог два года с таким старанием и интересом служить. Что мог — добровольно на эту войну пойти.

Он пошёл — потому что тогда Россия нуждалась в защите. А теперь она нуждалась: как благополучно армиям расцепиться да всем разойтись по прежним занятиям.

А Сане, значит, опять в Москву и кончать университет? Мог ли он ещё вместиться на студенческую скамью? Да пожалуй, ещё мог.

Всякая мысль о Москве приходилась ему особенно сладка — и хотелось именно туда скорей.

Надоели газеты, столько дребедени и пошлости было в них, распухала голова. Бросил, пошёл пройтись. По задней опушке Дряговца, мимо всех землянок, в сторону 2-й батареи.

Стоял податливый пасмурный денёк. Подтаивал снег, рыхлел повсюду — а на наезженной дороге зеркалили лужи. Близко кричали грачи, в перелётах и суетне.

На берёзках набухали почки.

Тут Саня встретил прапорщика Фокина, идущего в штаб бригады, очень мрачного. Повернул с ним.

По пути Фокин рассказал о своих злоключениях. Желая повеселить солдат — он поигрывал им на скрипке по вечерам. «А барыню можете?» «А комаринскую можете?» Подбирал, иногда и плясали. И быстро прошёл об этом слух — и стали его уже вызывать каждый вечер, — сперва своя батарея и на передки, потом уже и соседние в Дряговце части: «Прийдить, господин прапорщик, а то

весь коленкор без музыки линяет». Наконец это ему надоело, уже не осталось ни одного вечера свободного, он стал отказывать. Стали обижаться и даже смотреть по-волчьи. Тут нашли какого-то парня со стороны: «Дай ему скрипку, раз сам не подыгрываешь!» — «Да как же я дам в неумелые руки?» — «А он по ярмаркам играл». Отказал — ещё хуже стало. Вот: как с ними правильно себя вести? и — можно ли по-доброму?

Саня в душе уверен был, что — можно. Но и с Фокиным не видел: где тот ошибся?

Что его самого соединяло с солдатами — это то, что он знал мужицкий труд и был из мужиков же. А без этого — легко было совсем потеряться.

Вот, запрещены были всегда карточные игры солдатам. Но офицеры, напротив, всегда играли — зачем? Неужели нельзя было воздержаться, отказаться? А теперь — из Петрограда разрешили и солдатам. И они в землянках сидели и резались в карты. И — что можно возразить? А при картах — уже не те солдаты.

Расстался с Фокиным — в расположеньи своей батареи уже слышал знакомый рогочущий, как жеребячий, голос. Чернега! Саня обрадовался: неделю его не было, как уехал на противоаэропланные курсы в штаб гренадерского корпуса.

Пошёл на голос.

Чернега с большим красным бантом на груди шутил с группой солдат, те вдвое перегибались-смеялись. Вот что в нём осталось — фельдфебельское, это да, Чернега был всегда с солдатами заедино, ещё гораздо свободней, чем Саня.

— А, Санюха! — прилопатил тяжёлой рукой. — Ну, как ты тут? Ты, говорят, член батарейного комитета?

— Да выбрали вот, — улыбнулся Саня.

— И председатель батарейного суда? — уже всё выспросил Чернега.

— Да, — ещё улыбнулся, неуверенно.

Уже влёк его Чернега под локоть в землянку и спросил:

— А Бейнаровича — председателем комитета выбрали? Как допустили?

— Да он выступал, кричал… Конечно б, Дубровина.

— Зря, зря, — уже в землянке отпыхивался Чернега, но не очень заботно. — А у нас в корпусном — тоже еврей, ефрейтор, но образованный, умный, зараза.

— В корпусном — что? — не понял Саня.

— Комитете! — хохотал Чернега. — Ты разве не знаешь? Я же теперь в корпусном комитете, ты не знаешь?

— Всего корпуса? — так и сел Саня на чурбак.

— Ну! А ты не знал?

Со своей купеческой койки ноги спустя, Устимович сиял, он уже знал.

— Да как же ты попал? — изумлялся Саня.

— А я ж там рядом был! Речь им двинул — и выбрали.

Смеялся, очень доволен.

— Тут ещё мою койку не заняли? Сейчас меня Цыж обещал кормить. За всю неделю, что я недобрал тут.

И руки тыкал под умывальник наскоро.

— Всего Гренадерского корпуса? — продолжал изумляться Саня.

— Всего, всего! — бодро хохотал Чернега, руками в полотенце. — А скоро будет армейский съезд — и туда уже выбран, поеду.

— Так ты у нас что? И в батарее не будешь? И служить не будешь?

— Вот скажи, Санька, и сам не знаю, — посерьёзнел Чернега. Пошёл сел на санину койку. — Никто меня, конечно, с должности не высвободил, но и сполнять её мне никакой возможности нет. Как теперь с комитетскими будет — никто не знает. Сегодня ж опять в корпус назад надо гнать. — Посмотрел: — Да вы тут с Устимовичем — неужели не справитесь?

Устимович улыбался — с надеждой ли на Чернегу или почтительно, как на героя. Устимович от всегдашней мрачности повернул последние дни к весёлости, то и дело улыбался. Шёл один тот конец, которого он и хотел.

— Ну и койка у тебя неудобная! Как тебе жердь в подколенку не давит? — пошёл пересел к столу. И по столу хлопнул толстой ладошкой, как прибил: — Всё, Санюха, начинается житуха — ещё такой солдат не видал. Долой баронов, фонов и шпионов! Стоять в окопах будем — а вперёд ни шагу!

И — полыхал, полыхал задыхательным смехом, нельзя понять: и сам так думает, или это он про других. Увидел санин недоверчивый взгляд, и:

— А что? Плохой привал лучше доброго похода. Не я придумал: вон, в газетах пишут: все уставы будем ломать! Наверно и правила стрельбы! Зря ты, Санька, учил! — и смеялся, трясся.

Ещё заново подивовался Саня на своего неиссякаемого приятеля. На всё встречное в жизни был у него избыток силы и ве-

селья. Так и теперь. Зная Чернегу, можно было предсказать, что его и революция с ног не собьёт. Но ещё новой силы он за эти дни нахватался.

— Так ты же мне… Ты — что? Эти дни — где?..

Ещё колесей грудь выкатил Чернега, кашлянул для приосанки:

— Я, Санюха, полки объезжал.

— Полки?

— Перновский, Несвижский, Киевский, Самогитский. Объезжал, знакомился, на передовке везде побывал, комитет должен всех знать! Теперь, Санюха, эти звёздочки, — себя по погону пошлёпал, — ничего не стоют. А вся власть будет у комитетов, привыкай. И имей в виду: не верят солдаты, что офицеры революции рады. «Ещё куда господа потянут!» Закоренело, понятно. Офицер, мол, и хороший-хороший, а кровь чужая. И не без этого. Езжу, убеждаю: рады мы! вот, на рыло мне смотрите! В пехоте, знаешь, не как у нас, меж собой ворчат: везде начальство поснимать, а чтоб свой брат стал. А другие уже домой бегут: боятся, без надела останутся. А на кой ляд эта война, правда? Фу-у-у!.. Да что ж Цыж не идёт, не несёт?

Всем своим чёрным долго-усталым лицом Устимович передавал согласие и восторг.

Да и Саня смотрел на Чернегу едва ли не с восхищением — на эту жизненную силу прущую, безмерную.

— И думаешь, справишься, Терентий? В корпусном?

Важно провёл Чернега большим пальцем по натопыренным коротким усам:

— Мордой в грязь не ткнёмся!

В который раз, подавленный его опытом, Саня спросил:

— И — что же ты думаешь, Терентий? Как же это пойдёт?..

— А что? — безстрашно примеривался Терентий крепким шаром головы. — У народа мышцы затекли, надо и размяться. Туда их всех, Санюха, — Николашку, Алексашку. И Родзянке народ тоже не доверился. Не управили Россией, руки у них слабые. Да ею управлять знаешь каки жилисты надо?

Как руки мыл — у самого по локоть закачены остались — вот она, жила!

— А революцию — её тоже, как лошадь без возжей, пускать на произвол не надо. Надо её, Санька, поднаправливать! Потому я и в комитеты пошёл.

Не спросил уж Саня о батарее, но пошутил:

— А как же — Беата? Эт' ты до неё теперь добираться не будешь?

Ещё подприосанился Чернега, надувом:

— Теперь, Санька, — не до баб! Всё! Перерыв! Теперь — надо революцию высматривать. Шоб не завалилась.

Толкнув дверь ногой, шёл за тем Цыж и нёс перед собой двумя руками духовитый чугунок.

— А, денщичья сила! — заорал Чернега. — Что несёшь?

— Так что — чебанскую кубанскую кашу, господин прапорщик! — весело отозвался и старый Цыж.

— А, молодец! А, угодил! А ну, — двумя руками, — стол расчистить! А ну, где моя ложка на четыре вершка!

И правда, с человеком этим всегда забывались горе, сомнения, а возвращалась здоровая охота к еде.

615

Превосходно всё шло и могло идти в министерстве иностранных дел, и Павел Николаевич с пониманием и тонкостью уже задумывал внутреннее целесообразное преобразование департаментов, и ещё новые послы — японский, испанский, португальский, бельгийский, сербский, норвежский, персидский, сиамский, посещали его с признанием Временного правительства, а уж с британским и французским он совещался через день, — и всё бы могло течь преприятнейшим и умнейшим образом — если бы не тяжеловесный, тупоумный и дерзкий Совет рабочих депутатов.

Как четырёхпудовую гирю навесили косо на ремне через плечо — и ходи так, действуй и управляй.

Вот, уже не насыщаясь своей фактической властью над Петроградом, над железными дорогами, над тыловыми частями, не насыщаясь своей «контактной комиссией», здоровенной и наглой фигурой Нахамкиса, нависшей над министрами (смесь отвращения, но и страха стал испытывать к Нахамкису Милюков), — Совет полез и в международные дела! Вчера было слышно об их возне в Морском корпусе, — а сегодня на разворотах не только советской газеты можно было прочесть их безответственное, преступное

воззвание «к народам всего мира» — и даже, что особенно встревожило Павла Николаевича, — одобрительные отзывы о нём на страницах вполне серьёзных газет.

Но наибольший взрыв состоял в том, что петроградский Совет уже присваивал себе международные функции, игнорировал правительство своей страны да и других стран. Он создавал грозную ситуацию, когда правительство должно было твёрдо заявить о себе либо перестать существовать.

Но — кто, кто? — в этом Совете министров был тот твёрдый человек, который мог бы решиться на твёрдое проявление, особенно против Совета депутатов? Да никто, кроме Милюкова. Тем более, что вот уже и в его же коренную область Совет вторгался.

Рано утром за кофе, как только пришла вся охапка свежих газет, Павел Николаевич прочёл это воззвание *ex officio* один раз, тут же и другой раз. Нет, его не обманули эти декорации, что «русская революция не отступит перед штыками завоевателей», — может быть, не отступит, но и, во всяком случае, *не наступит,* так? А главная фраза была другая, и даже дважды повторена: «решительная борьба с захватными стремлениями правительств всех стран», и тут же — «противодействовать захватной политике господствующих классов».

Как только начинают козырять «классами» — так тут же зияет и пропасть внутри каждой страны и всего человечества. (И «классы» воспринимаются как виноватое Временное правительство и ты сам посреди него.)

Как?! Да главный смысл всей революции и был — остаться верными союзникам вопреки измене царя! И теперь Совет депутатов хотел повернуть правительство на ту же измену? И ведь: своей безответственной декламацией только создают впечатление слабости России: так, чтоб нам перестали верить союзники и перестали бояться враги.

За последние дни несколько раз публично, а в частных беседах безчисленно — заверял Милюков союзников в нашей верности союзным обязательствам, что Россия для этого принесёт безоглядно все необходимые жертвы. И — какая же теперь создавалась постыдная неловкость перед послами? И — какой куклой тряпичной выглядел он сам?

Да не только в этом, но вся логика нашей балканской многолетней политики, но вся логика борьбы этих лет, — разве они до-

пускали так безответственно хлопнуть крыльями и отряхнуться ото всех национальных целей России и прежде всего — от жизненной потребности в Босфоре-Дарданеллах? *Cui bono?*

Газетчики всего мира сейчас с сенсационными криками разволочат этот «манифест» на позор русскому правительству — и кто же в правительстве способен не испугаться и сказать властное «нет» этой деструктивной стихии? Что ж, Милюков всегда славился своей способностью высказывать неприятные твёрдые вещи. Придётся продемонстрировать это ещё раз, уже при новом режиме. Придётся стать для всех — *bête noire*.

Какая ирония судьбы: свои главные дипломатические усилия направить не в лавировку меж держав — но: обойти этих сиволапых?

Хорошо, он их заманеврирует. Безо всяких манифестов он твёрдо направит Россию по руслу верности союзникам и собственным российским интересам. Он — реально так проведёт, и не обойтись как-то и заявить об этом вскоре, — против всего тысячеротого Совета.

Однако если бы — только одна эта дерзость! Но вчера же, на том же Совете, они успели принять и ещё одно воззвание — к полякам! Это уже вовсе взбесило Павла Николаевича! За Польшу боролись все — и павший Николай со своим дядей Николаем, и Вильгельм с Францем-Иосифом, и левое крыло собственной кадетской партии, и все сыпали полякам заманчивые декларации и обещания, — и теперь, обогнав Временное правительство, с безпечностью пролаял и Совет: да поднимется восстание во всех трёх частях разделённой Польши! (То есть — и против нас восставайте!)

Легко раздаривать чего не собирали.

Да Милюков и сам уже начал переговоры с польскими кругами. Однако не давали ничего подготовить *omnium consensu,* но забивали крикливыми декларациями. Тут не скажешь прямо вслух, тут своя филиация идей.

Но приходится действовать — и стремительно даже! Теперь никак не избежать публичного обращения правительства к полякам. И обращению этому неприлично отстать от советского более чем на сутки: эти сутки ещё можно объяснить технически, а готовили будто бы уже давно.

То есть: надо было буквально сейчас, за несколько часов — Павлу Николаевичу, конечно, кому ж ещё? — написать это воззвание, и сегодня же вечером принять его на заседании кабинета, и

чтобы завтра оно уже было в газетах. Прямо вот сейчас, за утренним кофе, не отрываясь, тут же, набрасывать его — да не социал-демократическим шавканьем, а достойным государственным языком.

Но именно сейчас-то надо было ехать на дурацкую церемонию — церемонию принятия присяги Временным правительством в Сенате.

Тем более дурацкую, что вчера же, под давлением Совета, правительство должно было отменить присягу для армии, так торжественно установленную. Присяга для армии хоть имела смысл, потому что простые люди верят в этот акт, — но какой смысл имела присяга образованных министров? — только нежелательный оттенок легитимности к порядкам старой России.

Однако надо было спешить к 11 часам в Сенат — и надевать — что же? торжественный чёрный сюртук. (По пути, в автомобиле, уже записывал некоторые фразы воззвания к полякам.)

А Керенский явился на церемонию не в сюртуке, но в наглухо застёгнутой своей полурабочей куртке (которою он, очевидно, хотел изобразить сюртук Наполеона). Оделся так, совершенно не считаясь с общей формой, и даже нарочито, чтобы выделяться демократичностью. И ещё более нарочито, проходя помещения Сената, здоровался за руку со всеми швейцарами и курьерами.

Ах, поздно осознал Павел Николаевич, какого же он дал маху, сам позвав этого демагога в правительство.

Ещё он обратил внимание на уныло-усталое лицо сильно постаревшего Гучкова. Но не обменялись с ним ни словом. А князь Львов светился торжественной глупой радостью.

Тем временем министров пригласили войти в зал 1-го департамента. Здесь, как и во всех залах Сената, был снят портрет бывшего царя, светлел-зиял прямоугольник на стене. Вот уже стояли буквою «П» в своей позолоченной форме 24 престарелых сенатора — и сгруженной кучкой в центре стали министры.

Всё это напоминало детскую игру, когда нужно делать как можно смешней, но не рассмеяться, а то проиграешь. Всех министров попросили поднять правые руки и в такой неудобной позе долго стоять, выслушивая и повторяя слова сенатора-председателя. И слова, конечно, самые банальные: …перед всемогущим Богом и своею совестью… служить верой и правдой народу державы

Российской… подавлять всякие попытки к восстановлению старого строя… — (как будто в этом состояла теперь борьба) — …все меры к скорейшему созыву Учредительного… и преклониться перед его волей…

Прежде чем «преклониться перед его волей» — надо было поворачиваться побыстрей да действовать как мужчинам. А вот Гучков — что-то дремал, не оказывался союзник.

Дневное заседание правительства отменили, а до вечернего Павел Николаевич успел составить не только великолепное обращение к полякам, а ещё придумал и более ловкий ход: создание Ликвидационной Комиссии Царства Польского (с участием видных поляков)! Это уже действительно был настоящий ход действия, язык правительства, а не какого-то митинга в случайном помещении, — и показывал, что Временное Правительство не первый день и серьёзно готовится к освобождению Польши.

Ликвидационную комиссию министры сразу поняли и приняли. Но само воззвание? — министры вдруг закапризничали, стали критиковать. И никто не мог возразить по существу: какие ж его мысли неверны? Освобождённая Россия в лице своего Временного Правительства спешит обратиться к вам с братским приветом? — так в лице правительства, а не совета депутатов. Срединные державы Европы предлагают вам призрачные государственные права и этой ценой хотят купить кровь поляков, которые ещё никогда не боролись за деспотизм? — абсолютно правильно. Свободная Россия зовёт вас в ряды борцов за свободу народов? — но это оборот, которым Милюков гордился: что мы — опередили их в свободе, пусть нос не задирают, и теперь зовём *их*. А дальше — главное программное заявление: что Временное Правительство считает создание независимого польского государства…

Да, но в каких границах независимая Польша? Разумеется, за счёт всех трёх — России, Германии и Австрии.

— Но, — тяжело возразил Гучков, — если им самим дать определять, где кончается Польша, то они отхватят Минск и Киев и всю Литву.

— Я думаю так, — искал Милюков: — из земель, населённых *в большинстве* польским народом.

— А где пополам с малороссами?

— Нет, тут надо доработать, подумать, как бы не ошибиться. Поляки — слишком чувствительный народ.

— Надо оговорить, — хмурился Гучков, — что, дескать, Россия надеется, что те народы, которые, ну… связаны с Польшей веками совместной жизни, тоже получат, и в Польше, обезпечение национального существования.

Милюков и сам понимал, что поляков надо укоротить, но его формулировка была более тонка.

Дальше — про будущий братский союз с Польшей — правильно. И ссылка, что только Учредительное Собрание может дать согласие на территориальное изменение России — юридически безупречна, этого не может сделать даже правительство, не то что совет депутатов. Светлый день истории, день воскресения Польши, союз наших чувств и сердец — это всё хорошо, но сошлись на том, что надо всё же дорабатывать. Ну, к завтрашнему заседанию, Павел Николаич.

Теряем день. Уже и так всё отлично выражено. Какой набор нерешительностей! Павел Николаевич надулся. Завтра представит в том же виде — и всё примут.

И — потянулась, потянулась занудная череда мелких дел, это правительство не умело отбирать главное от неглавного. (Да у Павла Николаевича своя есть неотложная работа: готовить к изданию свои думские речи с восстановлением выпущенных мест — русская публика заслужила прочесть их полностью. Нет, сиди слушай эту ерунду.)

А вот была телеграмма от духоборов из Канады: они, 10 тысяч, бежавшие от зверского царского правительства, теперь хотели бы вернуться на родину, рассчитывая, что новое правительство не будет же их привлекать к воинской повинности. Казалось бы: мечта Льва Толстого, и князь Львов особенно рад выполнить? Но это был бы совсем невозможный и нетактичный шаг сейчас! И как у них не хватает терпения посидеть тихо в этой Канаде? Если мы их сейчас освободим от воинской повинности — то какие будут обиды в армии? во что превратится государство?

Однако прерывая череду вопросов — подошли шепнули князю Львову, а он объявил, не благоугодно ли будет министрам прервать заседание и в полном составе выйти в круглый зал Государственного Совета — нельзя не выйти — для принятия депутации Черноморского флота.

Нечего делать. Покидали все бумаги и портфели на столах и потянулись в ротонду. Эти депутации начинали уже вконец заматывать.

Министры стали недружной кучкой, не доходя до центрального паркетного круга, а со стороны розовомраморного зала вошли под сень колончатой ротонды человек 30 черноморцев, многие молодцеватые.

Сразу выступил бойкий прапорщик: от имени гарнизона и флота какая высокая честь приветствовать в лице присутствующих министров… с чувством благоговения перед великим актом русского народа…

Вослед такой же образованный и речистый юный солдат стал говорить от имени 40 тысяч солдат, матросов и рабочих, что они не положат оружия, пока враг не будет сломлен.

Старший средь них офицер стоял даже не в первом ряду, задвинутый.

Отвечать досталось масляно-благодушному, всегда в хорошем настроении князю Львову. Князь сообщил морякам, что Россия вступает в новую жизнь.

И вдруг, как пробка из бутылки, как проталкиваясь через расслабленных министров, вьюном, затянутым в своей узкой куртке, вывинтился Керенский. Быстрые шаги — казалось даже перебежит всё пространство и сольётся с моряками! Нет — остановился в самом центре, под верхним купольным светом. И, отвечая на незаданный вопрос, звонко объявил депутации:

— Товарищи! Вы знаете: я — социалист и республиканец! Не верьте слухам, пытающимся подорвать связь между Временным правительством и народом! Я — ваш заложник среди Временного правительства! — и ручаюсь, что нам и народу бояться нечего!

Этой непрошенностью, непредугаданностью шагов Керенского Милюков уже не первый раз был застигнут врасплох, обомлевал: старый боец либеральных диспутов, он не привык к таким повадкам, и не умел осадить. Кто Керенского вызывал? Кто этот вопрос о доверии тут ставил? Какой такой заложник? Что это за «нам и народу»? За годы 4-й Думы Милюков привык к нервной дёрганности Керенского, но тогда она ничего не значила — а за эти недели Керенский преобразился в победительного, необузданного актёра, который всё время лез на авансцену и удивительно нетактично декламировал.

— Если бы была, — драматически звенел его голос, — хоть малейшая мысль, что Временное правительство не в состоянии выполнить свои обязательства, — я сам бы первый вышел к вам и

объявил об этом! — (где б это он «вышел», в Севастополе?) — Повторяю: вам бояться нечего! — Освобождал он черноморцев от страха, которого и тени они не выразили.

Милюков чувствовал, как в середине груди у него сгущается к Керенскому комок ненависти. Этот дешёвый актёр превращал всё правительство в балаган, всех оттеснял к нолю — и ещё неизвестно, до чего дорвётся.

Вернулись к заседанию, сбитые уже с последнего настроения.

А теперь лез вперёд и настаивал выслушать его этот рослый чёрно-горящий дегенерат Владимир Львов, уже явившийся из поездки. (Недавно на закрытом заседании правительства Милюков знакомил министров с тайными договорами России, — Львов кричал ополоумело: «Ах разбойники! Ах мошенники! Немедленно отказаться от всех договоров!» С той ночи Милюков про себя не звал его иначе как дегенератом.)

Дали ему слово для отчёта. Но он не стал кипятиться меньше, а так же всё подпрыгивало его темя, как крышка на кипящем чайнике. Он — возмущён Синодом! и митрополитом Владимиром! и митрополитом Макарием! И как мог князь Георгий Евгеньевич без обер-прокурора дать заверение иерархам, что Синод не будет распущен до Учредительного Собрания?

И этого обезумелого — ведь тоже пригласил в правительство Милюков. Где были его глаза?..

Керенский безвыходно-нервно громко щёлкал замками портфеля.

Гучков обвис головой и плечами и ещё внутри самого себя как будто осел.

Терещенко сидел свеженький, в бабочке, блистающий, — как будто отсюда спешил на ночной концерт или в кабаре.

А где-то за стенами наливался ненавистью тридцатиголовый Исполнительный Комитет и тысячеголовый Совет.

И в первый раз самоуверенный Милюков усумнился: что, несмотря на всё доброжелательство Англии и Франции, несмотря на пачки приветственных телеграмм от межпарламентского союза, от парижского муниципалитета, — ни у него, ни у Временного правительства может не хватить силы ног — устоять.

Он уже не был так уверен, что проведёт российский корабль между всех рифов.

616

А в «Правде» со вчера на сегодня произошёл переворот.

Это случилось в отсутствие Шляпникова, у него ноги не успевали везде быть, да он и не ожидал от приезжих такой быстроты. А Молотов, который и сидел в «Правде» и должен был направлять дело, — поддался, струсил, уступил в один вечер. («Я протестовал!»)

И сегодня Шляпников развернул родимую «Правду» — на первой странице разлился вчерашний полуоборонческий Манифест Совета — уже ошибка, такого места не следовало ему давать. А на второй, в верхнем углу, жирно: о том, что Каменев, Сталин и Муранов вошли в редакцию и теперь поведут «Правду». Не спросили ни БЦК, ни ПК — всё сами, как будто «Правда» — отдельный остров, никому не подчиняется.

Руководство партии складывалось в подпольи, а его устраняли, как муху сгоняют.

Обидно. Но эту обиду Шляпников бы сглотнул: в партийном деле не лица важны, не самолюбие, а — насколько дружно взялись. О, если бы дружно! Но нет, сразу же за Манифестом шла передовица, подписанная Каменевым, — оборонческий, шовинистический плевок во всю политику большевиков, как Шляпников её вёл, как понимал во всю войну. И этакое — прочесть из «Правды»! Стянулось небо в овчинку, потемнело, — лучше бы Шляпникова подстрелили 27 февраля на улице! «Долой войну», — писал Каменев, — это не наш лозунг. На немецкую пулю ответим пулей, на снаряд снарядом.

Но что завертелось в Таврическом! Это был день оборонческого ликования! — «Правде» обрезали ногти, когти, если не руки и ноги! Уж не только в думском крыле ликовали, но на самом Исполнительном Комитете встретили Шляпникова ядовитыми улыбками.

А что началось на Выборгской, на заводах, среди низовых членов! — каково было им среди товарищей, хуже, чем Шляпникову на Исполкоме, они и вовсе не знали, как отвечать. Кто вызывал Шляпникова к телефону, от кого гнали нарочных узнать: что за поворот? как это сталось и как понимать? Без всякого предупреждения, за одну ночь сломалась «Правда» и показывала уже в другую

сторону. Другую правду. Как переломит ветром ствол и он свисает набок, не оторвавшись.

Уж не считай униженья, стыда — какой же ты руководитель? — но смутно, грозно: как же из этого спасать? как выводить партию? Шляпников не в дни, но в часы должен был принять решение — исправить положение или сдаться.

Товарищи его и винили, что это он допустил. Да получалось и действительно, что он.

Более сокрушённого и запального дня не выдавалось ему за всю революцию. Без сна, без сил тянули — но было радостно, а тут повернулось тошно, разгромно — и всё внутри, от своих.

Один выход был: сегодня же устроить заседание всей головки партии и сокрушить приезжих голосованием и заставить их подчиниться партийной дисциплине! Созвать расширенное БЦК? Расширенный ПК?

Но даже не было уверенности, что приезжие явятся туда или сюда, так они себя самовластно поставили. Шляпников был для них — необразованный рабочий парень, неизвестно как оказавшийся во главе партии. И все они могли просто не прийти туда, куда он назначит, — тогда уж совсем позор. Шляпников не имел привычки — властно приказать, он голоса такого не имел.

И приходилось собираться на территории «Правды» же, на Мойке. Идти всем туда — это и были поддавки с самого начала. Но ничего не оставалось.

И весь день ушёл на то, чтобы сбить такое совещание в «Правде», хотя бы к позднему вечеру. Не ко всем доставали телефоны, надо было слать посыльных, не хватало кого и послать, — Шляпников и сам немало побегал по сборам, как и привык бегать все дни.

Теоретически — к бою он не готовился: вся теория у него залегала в груди, как хорошая простуда, прочно, уж там как выкашлянет. Новых цитат искать-листать ему было некогда, да не умел он. Но не было у него сомнения, что бой — надо дать. Просто отчаяние брало, что так легко предать и сломить коренную ленинскую линию, протянутую эти годы стальной паутинкой — через рыгающие фронты, через моря, через заполярные границы, из Швейцарии в Петербург.

Итак, собрались поздно вечером в «Правде» — а считалось, что это — совместное заседание БЦК, ПК, редакции «Правды» и приез-

жих товарищей. И ещё навязался сухорукий, тщедушно-длинный Лурье, сказываясь всячески большевиком.

Расселись в редакционном залике с зашторенными окнами на Мойку. Задымили.

Прямо из Выборгского райкома нужны были бы соратники, но их неудобно было сюда ввести. Итак, надеялся Шляпников на горячих, верных, шумных Хахарева и Шутко из ПК. Хитрый Калинин сидел смирно. Молотов совсем раскис. А Залуцкий — как всегда печальный, но не от того, что происходило перед ним, а как от чего-то своего.

С приезжими чувствовалась напряжённость, но лицом к лицу куда было легче, чем Шляпников целый день метался удавленный. Собирал совещание он — ему и начинать. Он и начал. Никаких записанных тезисов у него не было (никогда не бывало), но в нём самом так уверенно всё было заострено, так изгорало второй день безплодно, что он не боялся потерять мысль, только что не всё по порядку скажет.

Рабочие массы, заявил он, потрясены и в недоумении: что сталось с большевиками за двое суток? То, что напечатал товарищ Каменев, — это обычное оборончество, которого только и жаждет наша буржуазия. Это — союз с меньшевиками и эсерами. (Не добавил, но про себя: они в Сибири не знали настоящей партийной борьбы и по-обывательски объединялись с меньшевиками.) И Петербургский комитет, присоединял к себе Шляпников, и Московский комитет (он надеялся, что так, а оттуда никого здесь не было), — мы ведём борьбу с такими взглядами.

— Товарищ Каменев предлагает: «народ имеет право знать цели войны». Так грабительские цели войны ясно нам определены в 47-м номере «Социал-демократа», у товарища Ленина есть там такой ответ: «Если бы в России вдруг победили революционеры-шовинисты, — мы всё равно были бы против обороны их “отечества” в этой войне!» А сейчас — даже и не они победили, а сомнительные двухдневные республиканцы с монархическим подбоем. А наш лозунг: союз международного пролетариата для социалистической революции.

Каменев снисходительно слушал с интеллигентской усмешечкой превосходства: что́ с тобой, простым рабочим, спорить. Но, почувствовал Шляпников, ленинской цитатой хорошо он его по лбу угрел, сразу не найдёшься, что ответить.

И Муранов брови нахмурил, усы длинные расставил, выражение дурашливое.

До сих пор, нажимал Шляпников, «долой войну», дай землю и 8-часовой день были три кита нашей пропаганды. Да мы вот на днях издали, распустили брошюру «Кому нужна война» (сашенькину), 200 тысяч экземпляров. И что ж теперь — отказываться от самих себя? На чём же мы плывём? Недостойно революционного социал-демократа повторять оборонческие кивки на немцев — мол, пусть они теперь делают революцию, а если у них нет мужества свергать Вильгельма — то мы пока законно обороняемся. «Давить на Временное правительство» — это не ахти какой выход, с этим и все соглашатели согласны, но это близоруко. Давите, давите, а правительству важно только, чтоб армия ему подчинялась и шла бы в бой. Для обмана простачков они какие угодно заявления сделают и от завоеваний откажутся, лишь бы каждый солдат оставался на своём посту, как и призывает товарищ Каменев. Значит, «долой войну» по Каменеву безсодержательно, а содержательно — подкреплять собой спину буржуазии?

До сих пор Шляпников нёс одним дыханием, сильно разгорячился. Но на этой «содержательности» Каменев ему сразу тихим голосом и подставил:

— А что же именно содержательного вы нам предлагаете? Как содержательно понять вашу тактику?

— А то, что недостаточен переход власти в руки либерально-монархической буржуазии. Она должна переходить к пролетариату.

— Нет, но насчёт войны, — глаза Каменева сжимались, будто он готовился рассмеяться. — Бросай окопы, и пусть туда немец заходит? Бросай винтовку, и пусть он её подбирает?

— Нет, такой глупости мы не предлагаем! — обошёл Шляпников. — Это обывательские сплетни. Это так «Правду» поносят.

— А — что же? Содержательно — что же? — щурился Каменев.

Чёрт его знает, это действительно было ещё не продумано, не известно, что именно делать. Да ведь и обстановка небывалая. Постепенно нащупается. Не мог он сейчас точно сказать, но чутьём трезвого человека чувствовал, что лозунг — самый сильный, он будоражит солдатское сознание и облегчает агитацию. Что призвать не воевать — это сильней, чем призвать воевать.

— А — вступать с немецкими солдатами в беседы, разъяснять им мировую революционную обстановку. Чтоб они против войны повели борьбу снизу. В общем, объяснять, что мы братья.

— А на каком языке объяснять? — Каменев ехидно.

— Ну, найдётся кто-нибудь. У австрийцев — и славяне, по-нашему понимают.

— А если он в беседу не вступит? — спросил угрюмо бровастый Муранов. — А если он нашего штыком в живот?

Да уж кто из них в переделках бывал больше Шляпникова, вам бы так.

— А надо с умом. Сперва перекрикнуться. А как предлагаете содержательно — вы? Что вот Манифест опубликовали — так он по воздуху к немецким солдатам перелетит? На немецкую революцию надеяться — так надо ж и нам не воевать. А что вы предлагаете практического?

Теперь Каменеву что-то приходилось ответить:

— Переговоры социалистических верхов.

— Так это само собой, никто вам не мешает. А братание в траншеях — само. Тогда и верхушки будут переговариваться поживей.

Тут — и Хахарев и Шутко тоже голосов поддали. И Шмидт косой помычал.

А Сталин сидел в сторонке тихо, благоразумно, папиросы искуривал. Да он — не вредный, он даже, может, — и не против. Из троих он меньше всех был замешан в правдинском перевороте, и у Шляпникова не было к нему упрёка.

Каменев только что не смеялся открыто. Он понял, что Шляпников сам не понимает, что такое «долой войну», и не может предложить разумного способа поведения. А Шляпников горячился, всем чутьём ловя, что поведение такое есть, только не мог он его, действительно, назвать точными словами. Шутко и Хахарев вступили в обсуждение, какие могут быть на фронте случаи. Молотов ни мычал ни телился.

Бурно было, покрикивали, призывали к порядку. Во всё обсуждение мешался ещё Лурье — как свежий человек из Европы и всё может рассказать про обстановку в Германии. Слушали его, но не вытекало ясно: так будет в Германии революция или нет. И опять спорили: что делать нашему солдату на фронте?

Горячились, только не Каменев. Он выслушивал с запрокинутой головой, через пенсне, и всё как старое, ничего нового:

— Что мировую войну может кончить только мировая пролетарская революция — это большевизм всегда утверждал, это так. Но пока её нет — мы против дезорганизации военных сил революции.

— А та́к вы её никогда и не дождётесь! — кричал Шляпников.

Спорили с ним люди безо всякой практической хватки, безо всякого подпольного опыта. Он же — глубоко знал, что говорит — дело, он сам бы сейчас в окопе не растерялся, но доказать этому интеллигенту не мог. Конечно, в социалистических книгах такие случаи не предусматривались.

— Да, — в потеху кланялся он Каменеву, — мы не знатоки. Мы не знаем! Укажите нам такую форму борьбы, которая не дезорганизовала бы армию. А вы не указываете, но предлагаете — вообще не бороться.

— От вашей борьбы, — указывал Каменев, — только травят «Правду».

— Ну и что ж? Травля на «Правду» нам вполне годится. Мы эту травлю хорошо используем для укрепления нашей партии в рабочих кварталах. По сравнению с меньшевиками. Собираем резолюции в защиту «Правды»! А сейчас добились от Исполкома, что и милиция будет защищать продажу «Правды». А ещё на «Русскую волю» в суд подадим, поручили Козловскому и Соколову. А свёртывать наше политическое знамя мы не можем! Буржуазия оправится от февральских дней и перейдёт в контрнаступление на пролетариат! А вы предлагаете их тем временем поддерживать!

Спор разгорался шумно, но и весело. Весело было Шляпникову, что ни в чём он не побит, а на всё находит ответ не худший.

В подобных случаях, при таком неразумном упорстве противника, Ленин всегда безстрашно шёл на раскол! Но Шляпников не мог взять на себя раскола: не имел права допустить его в таком слабом положении партии.

И первый призвал:

— Где же, товарищи, наша большевицкая дисциплина?

Напоминание подействовало. Что они знали все крепко: что именно дисциплиной они выделялись изо всех партий. Не избежать было и сейчас, в этой комнате, найти общее решение.

Тем более что Муранов что-то потерял спесь, почти уже и не спорил.

А Сталин — и от начала не спорил.

А Политикус и Кривобоков охотно кинулись заглаживать.

И Каменев, поняв, что остаётся в меньшинстве, согласился впредь на умеренно-революционную позицию.

Зато надо было и Шляпникову согласиться, что все трое они остаются в редакции.

Уже к полуночи вышли — трамваи давно не ходят, блюдут свой 8-часовой день. А автомобиля тоже нет ни одного. У Шляпникова, как у члена Исполкома и выборгского комиссара, был — но он одолжил его вчера товарищам из ПК.

Так и расходились в разные стороны, под ясным, но уже и не морозным небом, по опустевшему пустынному городу. Пошёл Шляпников ночевать на Выборгскую.

Что изменилось в городе? Не то чтобы света меньше — да и меньше (часть фонарей разбита, часть окон плотно зашторена), но безлюдней. Автомобили если проносятся — то без прежнего шика, а по будним революционным делам. И шикарные санки не носятся, ни фаэтоны не плывут с обезпеченной, самоуверенной публикой — подпугнули буржуазию, подобралась. Да всех лишних прохожих ранéй с улицы сметает — боятся встреч, раздёва, кражи.

Только члену ЦК, БЦК и ИК Саньке Шляпникову нечего беречь, нечего опасаться, а при случае так и двинуть нападчика прямо в физию. Пришла революция, свалили царя, победили, — а шёл Шляпников в том же неподбитом пальтишке, в тех же ботинках и галошах, в которых таскался прошлой осенью по ночным улицам и пустырям, только тогда он смекал, нет ли слежки, да сейчас не подъедешь за 8 копеек на трамвае, а надо шагать да шагать, опять отмерять наискосок по пустырям питерские волчьи тропы.

Да хоть в груди уляжется, разойдётся, а то ведь не заснёшь. Пекли его эти разговоры, непонятливость, несогласность или невозможность доказать. Да что ж от Ленина до сих пор ни строчки? Хоть бы он им доказал!

Весь вечер не мог Шляпников ещё понять: чем ему так неприятен был суетливо-суёмый Лурье — ничего вредного он не говорил, а скорее в пользу. Но весь вечер мешал, как заноза, а мысли не собрались понять.

И только на пустыре, на бугре, где перед ним раскрылось небо, уже заходящая предполная багровая луна да крупные звёзды, отникающие от её засвета, — тут он понял: Лурье приехал из Копенгагена, добрался, ничего.

А Сашенька была в Христиании, ближе. И не ехала.

И тоска-тоска потянула, хоть завой!

Как же могла не спешить?! Что же с ней?

Да уж хоть не на любовь, хоть на революцию — как же не поспешить?

617

Поздно вечером, уже Таврический опустел, Ободовский усадил в автомобиль четверых полковников — Половцова, Якубовича, Туманова, Энгельгардта — и повёз их в министерство юстиции на Екатерининскую.

Энгельгардта можно было вполне не везти: мундир он надел во вторую революционную ночь, на минуту ему показалось, что он — во главе революции, издал несколько громких приказов и до сих пор жил ими, ещё не поняв, что оттёрт в ничтожество. И какие ценные военные советы и соображения мог он произнести перед Керенским? Просто смех.

Якубович и Туманов, оба из младотурок, были неплохие штабисты. Если бы Керенскому предстояло разрабатывать стратегическую операцию — что ж, они могли бы ему предложить совет (может быть и негодный).

Но ведь вопросы Керенского наверное будут касаться реального состояния сегодняшних войск, границ возможных настроений, чего-то живого, — а это всё готов был высказать только Половцов, единственный тут боевой офицер.

Однако и он не мог угадать: какие же именно вопросы намеревается задавать Керенский? Вообще, вся поездка была исключительно пикантной: группа ближайших сотрудников военного министра ехала под полночь к министру юстиции консультировать того по военным вопросам. Это могло означать подготовляемую смену военного министра. (Ну разве ещё: что министр юстиции готовит военный переворот.)

Так ли, не так, — при всех обстоятельствах эта поездка увеличивала значение тех, кто едет, и следовало использовать эту ночь. Половцов выпил крепкого кофе и привёл себя в состояние высшей догадки и проницательности. От этой ночи могла зависеть вся его дальнейшая судьба.

Адъютант министра юстиции (он назывался именно так, не чиновником!), скромно одетый, но такой же ловкий и быстрый, как Керенский, пригласил их в кабинет.

Кабинет был отлично обставлен, достаточно просторен, но и не подавлял, — а большая удобная комната для разговора десятка человек.

Керенский в своём новоизлюбленном серо-чёрном австрийском френчике сидел за огромным столом как-то избоку, как заскочивший на минуту, не министр, — и будто бы писал.

Будто бы писал, но при входе их как бы отбросил ручку, рискуя забрызгать стол чернилами, и резко поднял голову. И — встал. И по резкости его движений можно было ждать, что он испуган, застигнут и сейчас убежит вон.

Но — ничего подобного. Он — вытянулся, опираясь недлинными руками еле-еле о стол, поклонился сразу всем, с оттенком церемонности, даже дважды, но одною своей бодрой, быстрой головой, а не выскочил из-за стола трясти им руки. (Всё-таки штаб-офицеры — слуги старого режима, а он — революционный министр?) Он был весь радостен и свеж, несмотря на поздний час, да оказывается, и спать не собирался ложиться:

— Я, господа, сегодня ночью выезжаю в Гельсингфорс.

Половцов уловил, что Керенский любуется собой, каков он со стороны, как энергичен, как звучит эта фраза и как не может быть всем безразлично, что он выезжает направить дела Финляндии.

В важнейших встречах решают самые первые две минуты: надо понять собеседника ещё прежде, чем потечёт главный разговор. Половцов впитывал Керенского острыми глазами, острым слухом, но ещё более — своим гениальным шестым или седьмым чувством, познающим суть характеров.

Ободовский, замученный, нисколько не польщённый и ощущая себя тут совсем не к месту, с выдохом представил:

— Вот, Алексан Фёдорыч, по вашей просьбе, для вразумления по военным вопросам, по которым всему правительству приходится иметь суждение… — он маскировал неприличие визита, — …полковник… полковник… полковник…

Половцов, когда был назван и Керенский взглянул на него, — послал министру из своего кавказского обрамления взгляд переливчато-находчиво-готовный. (Вообще, кавказская форма очень помогает выделяться.)

Сели. А Керенский, не выходя из-за своего стола, там за ним прошёлся, как за трибуной, потирая руки. Он был в бодрости пафотической, сильно повышенной, не рядовой.

И, не маскируясь и не прикрывая своего интереса, сразу же резковатым голосом задал в аудиторию свой главный вопрос:

— Господа! Правительству — (сразу ото всего правительства!) — необходимо знать. Знать ваше мнение: годится ли Алексеев в Верховные Главнокомандующие?

И пытким взором уже считывал ответы с их лиц или предупреждал их не ошибиться в ответе!

Ого! — Половцова даже отбросило. — Ого! Дело шло очень о серьёзном! Военный министр, у которого он работал, не говорил ему, что решается такое! (Ещё раньше, чем себя проверить, — а что ты об этом думаешь? — уловить: а что хотят услышать?)

Но самый пожилой, солидный и седоватый, был Энгельгардт — и Керенский ждал ответа от него.

Керенский то присаживался, то вскакивал, переходил — в общем, больше стоял. Тем более и полковники вынуждались отвечать стоя.

Энгельгардт, со своей размазанной манерой рассуждать, сперва сказал несколько никуда не клонящихся фраз. Лишь потом стало из них выступать, что Алексеев опытен как никто другой, уже полтора года начальником штаба, а фактически Верховным, — всякому другому пришлось бы сейчас долго осваиваться, а время не ждёт, весенние бои на носу. Он — очень трудолюбив, очень знающий. Все его уважают. Нет, в короткое время не может быть никакой лучшей кандидатуры.

Собственно, полковники в Военной комиссии между собой от нечего делать и часто болтали на эту тему: кто достоин быть Верховным (про себя примеряя, кем достоин и каждый из них). И както всегда, действительно, приходили к тому, что хотя Алексеев никакими полководческими талантами не блещет, и внове, со стороны, даже трудно было придумать — зачем бы его так высоко возвышать, как это могло царю втесаться? — вместе с тем соглашались, что и уверенно заменять Алексеева тоже некем. Ибо тогда б: или Рузским? или Брусиловым? Но оба — тонкие штучки, честолюбивы, несправедливы, а Брусилов ещё и хитёр как муха, и ненадёжен. А — решительно превосходящих качеств всё равно ни у того, ни у другого нет. Так что менять — не стоит.

Так что Энгельгардт выражал сейчас общее их мнение. И от Якубовича, и от Туманова последует примерно то же.

Но — корнями волос Половцов чувствовал над собой крыльный ветер (как крыши чувствуют над собой срывающий ураган)! Вот — перед ним самый сильный человек, выдвинутый революцией, и он как бы не уже имеет замысел, даже уже движение, — и на-

до помочь ему в том направлении, и дать увлечь себя туда же! (Правда, тут и такая опасность: что Керенский уже намечает Брусилова — очень неблагосклонного к Половцову, — но почти не может быть, чтобы всего лишь такое решение было у Керенского, — для этого зачем бы ему всё начинать? Такое могло быть решено и в военном министерстве, Гучков тоже относился к Алексееву очень скрепя, скрипя…)

И тут помогла любознательность Половцова: хоть и мерзовато, но он почитывал газетку Совета депутатов, а там сегодня была речь Стеклова, что Ставка — гнездо контрреволюции и неверные генералы подлежат аресту. И хотя Керенский явно сторонился Совета, из которого произошёл, — но не мог или не отозваться, или не опередить событий.

Подошла очередь Половцова — он почти вскочил в свою длину (не подобострастно, а просто от избытка джигитской силы) и сказал так:

— Таланты честности, порядочности, работоспособности и знание техники дела — от генерала Алексеева не отнять. Работник — отличный. И к нему все привыкли. Но, — сверлил Керенского горяще, — работник — это не полководец. Революционная армия в грозные часы нуждается в великом полководце!

И видел, что — попал! Что — так!!

Из неуспокоенных, перебирающих рук своих правую — Керенский вдруг всунул на груди под борт френчика между двумя пуговицами — но тут же сам заметил, что слишком под Наполеона, и отдёрнул. Он весь был — живчик, он искал разрядки рукам, ногам, ему тесно было позади стола.

Ободовский, который, кажется, и не собирался высказываться, однако, покивал:

— Боюсь, боюсь, что Алексееву не справиться в новых условиях. Да он — и не принимает их всей душой. Он и переворот-то встретил как-то… с оговорками.

— Благодарю вас, господа! — стоя, с торжественностью объявил Керенский, и вырвал свою руку, снова уже вставленную под борт. — Теперь… ответьте, пожалуйста, мне… — тут в его бодром голосе проявилась первая заминка, но что он спросил! — Как вы думаете? — И сам думал. И во взгляде и в позе его оттенилось пренебрежение. — Как вы думаете: может ли Александр Иваныч Гучков с успехом совмещать должности и военного, и морского министра?

Ого!! Ураган таки срывал крышу, визжали скрепы, вылетали гвозди: министр юстиции спрашивал у полковников только что не прямо: годен ли на что-нибудь их министр?

И — в полсекунды полёта взвесивши весь риск (а без риска не бывает и успеха!) и радостно чувствуя в себе, летящем, слитие двух дуг — и того, что правда он думал, и того, что надо было, — Половцов, как лучший в классе ученик, вскочил, всех опережая:

— Совместить — невозможная задача! Слишком много работы, разнообразия вопросов, лиц.

Он же не сказал, не сказал о своём шефе, чью экстраординарную тайную переписку вёл, что тот *вообще* не годен, — а только не может неестественно совмещать.

Как, видно, и надо было Керенскому.

И тот — тряхнул своей плоскосдавленной с боков головой — и не стал ожидать ответов от остальных.

Встреча была выиграна! — Половцов замечен, запомнен.

Но она ещё продолжалась, всё более непринуждённо. Ещё были минуты до отхода финляндского поезда — и министр спрашивал ещё. Но — не об артиллерийских накоплениях, не о группировке войск, не о дислокациях, — вообще, военные интересы его на этом закончились. А спрашивал он, уже выйдя ближе к ним и откидисто сидя посреди комнаты в кресле, то улыбаясь (неприятно обнажая верхний ряд зубов), то громко хохоча, — разные подробности о членах царской фамилии, кто что знает, — просто как весёлая, лёгкая беседа. Спрашивал, и не дослушивал, сам перебивал.

Оказалось, министр юстиции поразительно мало знает о династии и даже трёх юных из шести Константиновичей считал опасными реакционерами. И о ком только он был самого наилучшего мнения — это о Михаиле Александровиче: как корректен! как благороден! не стал держаться за корону!

— Вот думаю, господа, на днях съездить посмотреть и самого царя.

ШЕСТНАДЦАТОЕ МАРТА

ЧЕТВЕРГ

618

Это Саша все недели безкорыстно делал только революцию. Это он — мучился, к кому примкнуть, с кем соединиться, за кем идти, вот возвращался в социал-демократию, и теперь вместе с Рыссом носился с объединением её ветвей. А обыватели тем временем вернулись к своей обычной жизни, понимая и новую эпоху вполне по-старому, и опять у них вечерами играли граммофоны. И, проходя по лестнице мимо двери второго этажа, чуть не каждый раз слышал Саша на площадке:

Что ты — одна всю жизнь.
Что ты — одна любовь,
Что нет любви другой.

И выберут же пластинку. Эта песенка прохватывала Сашу на прострел, и даже до обиды: точно как про него. С какой непонятной узостью, с каким отчаянным постоянством, почему он так привязался к одной, к одной, которую и видел мало, и отдалилась она, отчуждалась, — а Сашу растравно тянуло всё только к ней, а не к каким другим, кто с пониманием, ясным взглядом, ясной речью. Сам Саша был ясен, прям, отчётлив, и всё замудро-запутанное его обычно отталкивало, — и только одна Еленька, с её смутностью, нечёткостью, привлекала необоримо. И Саша отсечь не мог, и хуже того — не хотел.

Врезалось, как она сказала ему последний раз, на своих именинах: «Я — плохая! так и знай: я могу изменять!» На что ещё надеяться, если девушка сама о себе так говорит?

А тянуло, тянуло всё равно.

Минувшие дни он настойчиво звонил ей по телефону, требуя встретиться: теперь спохватился и понимал, что за эти недели мог и совсем её упустить. Но знал он свою прямоту и силу: как повили-

ка, как горох не могут расти сами, но должны обвиваться на твёрдом стебле, — так и Еленька, сама того не понимая, нуждалась в нём, чтобы выжить, определиться, да ещё в такое шаткое революционное время. Пусть не понимала она, но Саша понимал за двоих, до чего они друг другу нужны!

Он телефоном искал её с воскресного вечера, как загляделся на покорность Вероники Матвею. Он хотел её видеть тогда же немедленно, — в понедельник? во вторник? — но два вечера подряд не заставал её звонком, потом застал днём, предлагал прийти к ней в этот же вечер — она сказала, что занята. И, сколько можно по телефону угадать тон, — никакой обрадованности не отозвалось в её голосе, не соскучилась.

Но Саша не дал движения гордости, не покинул трубку, а настаивал и даже просился на свидание: только увидеть её нужно, лицом к лицу, а там напорным убеждением он её оборет! Чего в ней нет — это стойкости постоянства.

А она всё отказывалась. Да неужели *все* вечера заняты? Все вечера. Но тогда днём, ведь курсов нет сейчас. (От Вероники знал, что Еленька не мелькает и на курсовых сходках.)

Нет, оттягивала. Нет. Потом, позже.

А сегодня проснулся — и толкнуло: да просто пойти вот сейчас, утром, не звоня, не предупреждая! Врасплох только её и застать. Иначе он не добьётся.

Вскочив от постельной неги, завтракая, собираясь, волнуясь. Её надо брать штурмом.

И немудряще, просто — жениться на ней. А почему нет? Свобода личная ему не нужна ни для кого другой, свою свободу — сладко отдать Еленьке. И тогда остальная его свобода наилучше пойдёт на дело. Но — чтоб Ёлочку иметь под рукой. Правда, она будет его заволакивать, отволакивать — но этого и хотелось, как лучшей в мире игры. Как тёмной влаги к ясному дню. Не зря он так пригляделся к ней, с первого же раза, хотя всегда казалось тётям, что она ему не пара.

Шёл к ней — и зашёл в цветочный магазин. Этого вида торговли революция не прервала, и толпа не громила этих магазинов, и цветы откуда-то всё время поступали. Социал-демократу, да даже и офицеру-республиканцу сейчас идти с букетом цветов было смешно — но тут уже недалеко. Насобрали ему каких-то в хороший букет, с перевесом красного.

Сейчас — знакомая прислуга, занятая уборкой, уже введя Сашу в промежуточную комнату, при нём постучала к Ликоне в дверь.

А Еленька уже не только не спала, но появилась на пороге — в платьи, не по-утреннему праздничном, и сама — сияющая, даже воспалённая от сияния.

Саша — вздрогнул, не ожидав такой встречи.

И тут же понял: да это — не к нему.

Её взгляд был готовно уставлен, но это — пока она не осознала его появления.

А вот — поняла.

В этой комнате он уже бывал, она тут принимала его — но сейчас тут закатан был ковёр, мылся пол.

Ликоня повела головой, как лошадка по несвободе, — и отступила. И головой пригласила войти в свою комнату. Ещё не сказала слова никакого — ни радости, ни упрёка, зачем же он так внезапно, и утром.

В ней так много было сейчас необычного, Саша не успевал всего охватить: что же? Изумлённая? — но и отсутствующая. Глаза — как воспалённые от безсонницы, но ничуть не утомлённый вид. А одета, хотя утро, в прекрасное вечернее платье — узкое, алое, но с синим пробрызгом или отливом. Почему? Примеряла?

Саша забирал её глазами, и не пытаясь скрывать восхищение. Это не только была — та, к кому он шёл, но и выше! и прекрасней! Как она изменилась за эти две недели! — вдвое? втрое? Покрасивела? — это мало сказать. Лицом её завладевало победное шествие красоты.

Не шествие — нашествие! Поселилось — и нескоро уйдёт.

Он подал ей букет — не галантно, не гостинно, а двумя руками, выбросив их вперёд — молодо-дружески, восхищённо.

И — выиграл: не могла ж она просто так бросить букет, надо обрезать, в вазу поставить, или прислуга сделает. И — вышла.

А он — остался в её комнате один. Оглядывался во все стороны, стоя.

Ощущение было, как если б он обеими руками погрузился в саму Ликоню — под локти её, или под рукава, или под локоны чёрные на плечах. Не только дразнящий запах этой комнаты — духи и ещё что-то, но разбросанные, разложенные, застигнутые как

они есть предметы и приметы её жизни, на стене в овале силуэт чёрной тушью, ещё декорации театральных спектаклей — фу-у, голова закруживалась, пока он поворачивался в полный круг, — до чего ж инородный мир — а захватил бы его весь в один загрёб вместе с Еленькой.

Хотя понимал он, понимал, что ему никак не шло бы таскаться с ней по каким-нибудь «Бродячим собакам», приютам взъерошенной театральщины.

Вошла, неся букет уже в вазе. Как тяжёлое, как через усилие. Поставила на столик.

Она не только, кажется, не сказала ему ещё ни слова? но и голову несла как-то мимо, но и полными глазами не посмотрела прямо, кроме того первого взгляда на пороге, непонимающего. Не помнил её такой чужой.

И — никогда ещё не был так остро прохвачен ею. И ещё будоражило это вечернее платье поутру. Шла она на дневной спектакль? — так будни. И совсем же рано.

— Ты куда-нибудь уходишь? Генеральная репетиция? — спросил он, имея в виду как тогда с «Маскарадом».

Но этот вопрос и заставил её поднять полный взгляд к нему в глаза. Мгновение смотрела прямо-прямо, как он и хотел. Не только глаза её, тёмно-тёмно ореховые, без близкого понятного поверхностного выражения, сосредоточенные в себе, — а и ресницы как будто сгустились, и маленький рот не был детско-подушечным, как всегда.

Провела одним плечом безпонятливо:

— Репетиция?

А поняв — удивлённо и как бы с гордостью:

— Нет.

Не понял тона. Разве это уже её не увлекает?

— Но не на курсы же? — почему-то возразил, безсмысленно.

— На курсы? — вовсе удивилась она. И верхняя губа её, вот чудо, удлинённая, — повелась как-то вбок, не с сожалением, но… — Так их же нет теперь.

— Ну как, — обиделся он за революцию, но механически. — Сходки. Общественная работа. Вероника, многие ходят.

Еленька колебнула бровями, как не веря. Колебнула плечом. И как о потерянном:

— Да нет, уж какие теперь курсы.

Трёх недель не прошло от вечера её именин — и как изменилась! Конечно, и Саша изменился, и все, исторически прошла эпоха, но…

— Ты — очень изменилась! — выговорил ей своё удивление, но и восхищение.

— Ты — тоже, — провела она взглядом.

А! Всё же — видит. Заметила. Хотел бы услышать, что — изменился к лучшему, боевому. Но Еленька какая-то невнятная была: посмотрела, сказала — внятно, а тут же — уколебнулась головой, ушла взглядом.

Они всё стояли.

Села на маленький стул без спинки, взяла от зеркала. Ему указала на кресло:

— Садись.

В том тоне, что: раз уж пришёл.

Он сел и теперь не мог смотреть во все стороны, а определился его обзор так: сама Еленька (спиной к окну, уже в глаза её не вглядишься), проход к окну — а по другую сторону её кровать. Под оливковым покрывалом.

Когда он шёл сюда, он думал: для разгону будет ей рассказывать. Во скольком ярком, необычном он участвовал за эти две недели, она наверняка ничего такого не представляет. А этим рассказом и дать ей почувствовать, что он — герой наставшего времени, из тех, кто и дальше поведёт. Это — должна она ощутить.

Но так не в лад, в случайностях пошла сразу встреча, короткими недоумениями, так видимо он пришёл некстати.

И это вечернее платье с раннего утра…

— Так ты всё-таки идёшь куда-нибудь?

— Нет, — тихо.

— Я тебя задерживаю?

— Н-нет, — не так уверенно.

Но уж как ни пришёл, а уйти он не мог без серьёзного. Напрямую, не хитря.

— Почему ты ко мне так переменилась, Еленька?

Она повела одно плечо немного вперёд, другое назад. И так же рассеянно:

— Я к тебе — не переменилась.

— Нет, соберись! Нет, ты меня даже не слышишь. Как же не переменилась? Ты такая не была никогда.

Да никакого б ему ответа, никакого объяснения, а — если б только можно было чуть притянуть её к себе, как было раза два зимой, — и никогда не хотелось этого так закружливо. Ещё из-за этого платья… Зря он дал себя усадить: усаженные — как привязанные к своим местам. А пока оба стояли — естественно было бы подойти.

Вдруг она странным движением, как умываясь, наложила соединённые маленькие ладони на лоб и медленно, медленно провела по лицу вниз. И оттуда вышла уже как будто с вернувшимся смыслом:

— А что? И когда? — раздельно спрашивала, — ты знал когда-нибудь? о моей жизни? С тех пор как катались на лодке в белую ночь?

Этой белой ночью — полосануло его! Не только вспомнил перламутровую воду и незатухшую заревую розовость за Петропавловкой, и саму Еленьку на носу — в белом, а затемнённую при убылом свете, вот как сейчас, — не только вспомнил, а понял: что сразу тогда, в тот момент, в ту ночь — она была вся для него открыта, — а он не внял, не спешил, не приник, — ещё вольная долгость простиралась впереди, ещё каза-алось… А неполных три года с тех пор и даже последние месяцы в Петрограде, когда встречались, это уже не сближение было. После той лодочной прогулки — отдаление.

А сейчас, в тёмно-огненном платьи, — она сидела насколько расцветнее, взрослей и красивее, чем тогда.

А сейчас, поняв, и со своим принесенным решением, и готовый гигантским шагом перешагнуть назад всё то, что упустил, — выклоняясь из кресла вперёд, сколько оно допускало:

— Еленька! Я правда знал о тебе мало. А ты сама никогда не раскрываешься. А я всегда был занят каким-то делом. И — война же! И на эти последние недели я совсем тебя не покинул, но был в таком вихре — могу тебе рассказать. На самом деле я о тебе никогда не забывал. И сегодня пришёл к тебе, чтобы…

Сидел на краешке кресла, весь подавшись к ней:

— Я пришёл к тебе — знаешь, как раньше говорили: моя шпага и рука! Я пришёл — твою жизнь охранить! Я, честное слово… — (он торжественность хотел снять, чтобы не смешно) — я просто сам удивляюсь, до чего я правда без тебя не могу.

А в ней — ничто не проявилось. Не качнулась. Кажется — и не покраснела. Не переменила положенья рук.

И вдруг догадка толкнула его. Он всё собирался выложить своё, а не подумал о ней как следует. Всмотрелся:

— Скажи: тебе плохо? У тебя горе?

И теперь естественно встал, переступил к ней, положил руку на любимые её волосы, чёрную гладь, спадающую по краям лба коротко, а дальше длинно.

Но она не усидела под его рукой, а тоже встала. И высвободилась.

— Спасибо. — Улыбнулась. — Но беды у меня нет. Никак.

Теперь Ликоня стояла так, что оконный свет упал на её лицо, — и Саша разглядел: да это — не горе было, не потерянность. А — взожжённое, ни к чему не внятное — это было на лице её — счастье??

Он — никогда такого не видел!!

— Ты… ты… — взял он её за руки с упрёком, срываясь дыханием вгоряче, — ты…

И вот теперь глаза её наполнились смыслом. Полноглубные, они говорили: да.

Как сожжённое дерево, недожжённый столб, Саша стоял, недоумевая. Не принимая. Это было, значит, так — но этого не должно было быть.

Вдруг она подняла свою маленькую руку и провела по лбу его, поправляя сбившийся волос. Ласково, сожалительно. Но почти как мать.

И в этом касании была её власть над ним.

А он стоял всё тем же недоумелым столбом.

Стоял неразумно, но образумливался. Но в трезвую его голову возвращался смысл, не замкнутый этой девичьей беззащитной комнатой.

Краснокрылый Смысл, который носился над улицами, над городами.

— Знаешь, — очуивался он. И голова его опять выходила в запрокид, но не такой гордый, как недавно. — Было бы время другое, но в такое… Ох, ещё я тебе понадоблюсь. В тихий уголок тебя не уведут — потому что тихих уголков не будет скоро. Я — так предчувствую, что я тебе понадоблюсь. Что ты ещё…

Её лицо так близко было — а не поцелуешь. И он только вбирал её глазами, несогласный отдать, и неспособный уже никогда оторваться. Нет, это он был старше её, вот за этот месяц.

— Еленька, я предложил тебе, и это остаётся так. И когда тебе плохо будет — зови.

619

Петроград выглядел как пьяница наутро после попойки: те нахально-весёлые уличные лица первых революционных дней теперь сменились хмурыми и озлобленно-вызывающими. А самому городу — ещё хуже: запущен, грязен, всё обнажается при оттепели, и даже на Каменноостровском можно набрать мокрого снега в ботики.

Да не столько-то ходила Ольда Орестовна по улицам, сколько прочтёшь в газетах или услышишь из разговоров коллег.

Вострубили, что теперь завоёваны всеобщие права, ничьи не будут нарушены иначе как по суду, — и держали в тюрьмах 4 тысячи случайно задержанных, а городовых и жандармов административно высылали из столиц: «Это в интересах свободы. Они — опасный контрреволюционный элемент, и мы должны их обезвредить». «Русская воля» Леонида Андреева кинулась напечатать, что в дни революции на броненосце «Слава» команда была выстроена на борту под наведенными пулемётами — и им приказали несколько часов безостановочно петь «Боже, царя храни», — и вот только почему в Свеаборге возникли эксцессы. И редакторы профессорских газет перепечатывали эту чушь до тех пор, пока не дошло до малограмотных матросов, и судовой комитет возмутился: ничего подобного не было, оскорбление чести нашего корабля!

Вот это и был сегодняшний букет: нашатырное всеобщее ликование о наступивших безграничных свободах, захлёб о благородстве союзников (английские войска на подступах к турецкому Иерусалиму объявлялись «последними крестоносцами»), визг, что Вильгельм хочет восстановить на троне Николая, и безоглядная клевета на не имеющих права ответить, атмосфера оголтения, в которой нельзя и предположительно заикнуться, что какой-нибудь царский министр был не прохвост. Превыше всего гремело и пугало сообщение Чрезвычайной Следственной Комиссии: уже идёт разборка материалов, и её руководители «стремятся в самом непродолжительном времени дать удовлетворение взволнованной народной совести путём передачи на рассмотрение суда присяжных заседателей главнейших преступных деятелей старого режима».

Это — грозно звучало трубами, ведущими на эшафот, повторяло громы Французской революции, и немели все возможные воз-

ражатели и защитники. Да что там, 16 крупных сановников, среди них бывший начальник Охранного отделения Глобачёв и недавний петроградский градоначальник Балк, подали заявление из-под ареста, что хотят принести присягу новому строю.

Газеты крупно печатали: «Чёрная сотня за работой, происки черносотенных волков: хотят использовать великое завоевание народа — свободное голосование — для того, чтобы восстановить монархию». Свободное голосование — но голосовать за монархию предательство. Городили на «союзников тех, кто прятался на крышах с пулемётами». Но мало того, что никто не прятался на крышах с пулемётами, — а в чём же тогда смысл Учредительного Собрания, и какой же оставлен ему выбор?

Да сама себе не хотела Андозерская все годы признаваться — но ведь и всё царствование Николая II монархическое чувство выветривалось в миллионах сознаний, от 1894 и всё вниз. Кто хотел полным чувством любить царя — обречён был на ежедневное умирание, и даже всякое его публичное появление скорее ранило и оскорбляло. А кто мог серьёзно праздновать — 4 дня рождения (Государя, наследника и двух императриц), 4 тезоименитства, день вступления на престол да день чудесного спасения — 10 дней в году? При светлой душе Государя, при его чистых намерениях, — как будто изощрялся он вести государственную власть — только и только к ослаблению. Не потому пала монархия, что произошла революция, — а революция произошла потому, что безкрайне ослабла монархия.

И теперь мы можем брести — только в Погибель.

Но и к погибели можно идти по-разному. Образованное русское общество — толпилось к ней глупо, некрасиво и подло. Все как оглохли, как ослепли, перестали различать свободу и неволю. Ещё недавно какая была интеллигенция непримиримая, гневалась, выходила из себя по каждому промаху власти, просто звали, чтобы поскорей и пострашней грянула гроза, — и что ж вот все так сразу обарашились?

А между тем и надо было бы сейчас всего лишь несколько громких голосов вразрез с улицей — но голосов, известных России, — и вся эта нетерпимость и оголтелость атмосферы могли быть смягчены мгновенно.

Всего несколько — четыре, три, даже два крупных голоса! — но не оказалось на Руси ни одного такого мыслителя, ни такого писателя, ни таких художников, ни таких профессоров, ни таких цер-

ковных иерархов. Каково гремели и разоблачали раньше! — а теперь замолкли все или тянули в унисон. Мусульмане из Государственной Думы имели смелость отбрить: что законодательные учреждения не знакомы с основами мусульманской жизни — и не вмешивайтесь предлагать и преобразовывать. А православные на Руси не смели так ответить — да и где бы им ответить? — они были окружены насмешливым обществом.

Но Ольде ли Орестовне было кого-то упрекать, если она и в своём тесном учебном кругу не смела высказаться громко, а тем более перед слушательницами? Занятия возобновлялись на революционных основаниях — в зависимости от голосования слушателей. И, например, в Совет Университета теперь будут входить и студенты, и сторожа. Революционный ажиотаж охватил и ведущих профессоров. Профессор Гримм стал товарищем министра просвещения, ведал делами высшей школы. Теперь огулом — и в трёхдневный срок — увольнялись все профессора, занявшие пост назначением, а не выборами, — хотя бы были и талантливые специалисты. Так уволили известного глазника профессора Филатова. (Андозерская в своё время прошла по выборам, но сейчас в министерстве просвещения спешили «упростить» систему, как оставлять *за* штатами так называемых «реакционных» профессоров, — и теперь в короткие месяцы она могла быть убрана от преподавания.) Карсавин и Бердяев уже записались составлять Историю Освобождения России — ещё и освобождения не видели, а уже составлять! Да бердяйствовали скоропалительно едва не все светила кряду; по Достоевскому: «им сперва республика, а потом отечество». Репин, Горький вместе с революционерами начинали всенародную подписку на памятник декабристам.

Но что ещё отдельно проницала Андозерская в иных своих коллегах-демократах: они на самом деле несли только тонкий налёт эгалитарных идей, — а в тайниках сознания сохраняли девиз умственной гордости, интеллектуального аристократизма, и — на самом деле — презрение к черни. А вот — выслуживались.

В перерыве одного заседания Ольда Орестовна надеялась отвести душу с Кареевым. Знала она, как он всегда терпеть не мог эти студенческие политические забастовки, отмены занятий, неперечислимые революционные годовщины, и сейчас страдал, что Психоневрологический даже не собирался возобновлять занятия этой весной, но весь отдавался революционному мотанию. Заговорила — и сразу же не нашла языка: не революцию Кареев ви-

нил, а якобы извечную русскую праздность, изобилие религиозных праздников прежде, которые всегда и мешали нам накоплять культурные и материальные ценности. И вот эти навыки рабских времён России теперь, мол, механически переносятся в Россию новую.

Ольда Орестовна оледела. И этот — был из лучших наших профессоров и лучших знатоков западных революций. Во всём Петербурге не оставалось у неё никого, с кем говорить откровенно, — ни из коллег, ни из студентов. Приходилось — с разломной, измученной головой — даже плакать, уже и не думала, что умеет.

А вот что. Какое-то предчувствие поселилось в ней. И даже ясное. Что именно этот гибельный ход, передвижка, перестановка всего сущего, — именно этот ход и принесёт ей Георгия. Сами события в нарастающем хаосе — соединят их. Прочно, и без борьбы.

Вот — так почему-то.

Всё сползает к погибели — а жизни людей ведь продолжатся?

И Россия: погибает, да. Но: и не может же вовсе погибнуть такая огромная страна с недряхлым народом!

Значит: какой-то же будет путь развития?

Но — отказывал глаз различить его…

620

«Милый мой, дорогой, милый самый!

Если Вы не остановите — я не могу теперь не писать Вам вослед. Меня, значит, нельзя допускать близко так: уже полученного — мало, хочу больше! Как далеко я зайду в своём счастьи? Может и справедливо — наказать меня разлукой, так слишком много одной — не полагается?

Я — осмелела от близости с Вами.

И как Вы назвали меня — Зоренькой.

У меня глаза светятся — когда о Вас. У меня все мысли тёплые, когда о Вас. Я — добрая, когда о Вас.

Я — Ваша сегодня. Вчера. И позавчера. И прежде Вас — я тоже была Ваша.

Только — Вас, и никого никогда больше!

Я утром вернулась — и долго не снимала платья, в котором была у Вас, сине-алого, как Вы его назвали. Вы меня обнимали

в нём, мне хотелось его оставить дольше, дольше, — я будто тем удерживала Вас около.

Вы сказали — *будет* так будет. Спасибо! И я — хочу! хочу теперь!

Что бы Вам ни было нужно от меня — я счастлива буду Вам дать. Может быть, когда-нибудь я понадоблюсь Вам для чего-то большего, чем была в эти дни.

Вся Ваша

Зоренька

Но — не вечерняя же?..»

621

Ни в Англии, ни во Франции нет у женщин избирательного права — так тем более мы должны быть впереди! В это воскресенье начнётся с грандиозного митинга в городской думе, потом будет величественное шествие к Таврическому дворцу, сплошь женское, с требованием, чтобы женщины участвовали в выборах в Учредительное Собрание, и даже могли бы становиться министрами. Впереди — кортеж амазонок из сестёр милосердия, Вера Фигнер в дворцовом экипаже, союзы конторщиц, продавщиц, перед каждым — свой духовой оркестр. Вероника, конечно, собиралась идти, и уговаривала тётей. У Таврического будут речи, а потом назад, к Казанскому собору, — на это уйдёт всё воскресенье, и на виду у всего города, это будет просто сказка. (Хотя, увы, сказка кончается, и с понедельника уже никак не миновать курсов.)

Тётя Агнесса кривила губы с папиросой:

— Не слишком надейтесь на Временное правительство, не намного оно лучше царского: сейчас, скажут, не такое время, чтоб уравнивать всех в правах, вот подождите, установится спокойствие. А когда установится спокойствие — так тем более, зачем его нарушать? Всякое государство всегда несправедливо к женщине. У нас только не отнимали права умирать за свободу наравне с лучшими мужчинами.

— Ах, — ни к ладу пригорюнилась тётя Адалия, — только тогда будет женщина равна, когда не будут мужчине всё прощать, а за внебрачного ребёнка клеймить одну женщину.

Тётя Агнесса сердито расхаживала:

— И на Учредительное Собрание тоже не слишком надейтесь. Ну, какой сейчас самый предельный лозунг? «Да здравствует демократическая республика». Мало! — отсекла тётя Агнесса огненной папиросой. — Слабый лозунг!

— Ой! — всплеснула Адалия. — Ну что ты говоришь? Демократическая республика — мало? Да ни о чём другом мечтать мы…

— А что же, тётя Неса?

Остановилась:

— Республика должна быть — трудовая. Весь выработанный продукт должен выдаваться тем, кто его выработал. Ну, за вычетом затрат на производство. Рабочий должен получать обратно всё, что он сделал. Вот это — равенство! Тут сходятся и максималисты, и анархисты.

— А всё ж, пойдём с нами Бабушку встречать, она великая подвижница.

Тётя Агнесса упиралась: что не столько уж Брешковская и мук вынесла, жила и на воле, и в эмиграции, а сейчас всего лишь с поселения. А вот прах Лаврова перенести бы с чужбины, это да. И почему Кропоткина не называют Дедушкой русской революции, это было бы более справедливо, — и пойдёт ли Адалия встречать Кропоткина?

Тётя Адалия обещала, что пойдёт. Согласилась и тётя Агнесса идти сегодня. Всё-таки: тех, кто побывал на каторге, она уважала всех.

И пошла Вероника с двумя тётями, обеих взяв под ручку.

Снова заполнены были дворы и залы Николаевского вокзала — впрочем, сегодня не так густо, как первый неудачный раз. Однако множество было учащейся смеющейся молодёжи. Были и цветы, но в этот раз тоже поменьше. Ждали Керенского — но он всё не ехал, вот так раз! Зато был оркестр, и он играл.

А поезд — опять задерживался. И ожидающие оживлённо топтались, переходили, обменивались всеми видами городских новостей, а среди них, конечно, и слухами и сплетнями, снижавшими общую торжественную возвышенность. Сплетни были — больше про царскую семью: что Вырубова, оказывается, вызывала у наследника искусственные кровотечения; что, по рассказу лейб-хирурга Фёдорова, императрица, выезжая в Ставку, именно с Вырубовой занималась там до поздней ночи государственными делами, и давали царю указания. А слухи — даже обезкураживающие: что из Финляндии будут высылать всех русских, как уже не пускают ев-

реев; что в Петрограде будут отбирать у граждан не только огнестрельное оружие, но и все ножи; что какие-то три полка потребовали возвращения Николая Николаевича в Верховные; что вовремя арестованный Гучковым штаб походного атамана замышлял поход казаков на Петроград с баллонами удушливых газов.

И хотя многие тут, передавая эти новости, сами же каждый раз оговаривались, что нужен к ним скептицизм, но и Вероника не находила в себе стойкости — удержаться и не передавать узнанное дальше, оно властно протекало черезо все уши, хотя и омрачая многих. Так и тётушки — выслушивали подоспевшие новости, отплёвывались, и хотели бы не размениваться настроением — и разменивались.

А самый пугающий слух был: что в поленницах, многосложенных на Марсовом поле, приготовлены пулемёты и будут обстреливать толпу во время похорон жертв. Просто руки опускались от такого слуха! — ужасно было представить это беззащитное побоище воодушевлённой толпы. И где же были власти? Неужели не было у них досмотра и силы, чтоб эти пулемёты искоренить заранее?

Где были власти и что они знали — действительно следовало изумляться. Повалили к поезду, залили перроны, вышел вперёд оркестр, поднялись цветы над головами, забились сердца, готовились выкрики в грудях — и вдруг — и вдруг! — никакой Бабушки в поезде опять не оказалось! Обыкновенные пассажиры выходили, а Бабушка нет!

Ещё не сразу это распространилось, ещё задние не хотели верить передним, — разочарование просто немыслимое! просто за границами всякого понимания! издевательство, какого и царские чиновники не допускали! Да это и есть провокация тёмных сил, это и есть замысел каких-то злобных реакционеров! Как же так? если известно было — теперь стало и всем известно — что Бабушка ещё, оказывается, не доехала до Самары, что она везде там выступает по гарнизонам, — то каким же образом об этом не узнали и не известили всех заранее? как допустили встречу? как же можно так играть нервами и людьми, и второй уже раз!

Просто рвать и метать хотелось всем от досады. Тётя Агнесса прямо бешеная стала. Да такой массе публики и обидно было — просто так разойтись, потерянный день, кого-нибудь другого бы встретить, что ли!.. Но никого такого заметного в поезде не было.

И оркестр…

И тут кто-то придумал: так вот с оркестром теперь и пойдём все по Невскому!

Замечательная идея! И — вывалила публика на Знаменскую площадь, кое-как разобралась в колонну — и пошли, пошли посередине Невского, уже кое-как отгребённого от расквашенного снега, но по несколотому неровному льду, а где и почвакивая.

И оркестр играл непрерывно. И трамваи останавливались с почтением.

И в этом торжественном шествии с цветами, и когда Невский глядел с тротуаров, — настроение всех, а особенно неунывной молодёжи, снова поднялось: ужасно это приятно, шагать колонной под музыку, стараясь ногой попадать в такт и ощущая себя боевыми силами революции. (Говорили: примкнул к колонне и известный эсер Камков, только что приехавший.)

Музыка революции! Мы идём! Мы победим! Будущее — в наших руках!

622″

(по западной прессе)

АНГЛИЯ

… Английские либералы восторженно приветствуют своих русских единомышленников… Окончательная победа европейской демократии над отмершими автократическими принципами… Перед войной либералы опасались, что англо-русское соглашение нанесёт вред делу свободы. Но теперь Россия безповоротно вступила в семью свободных наций…

РУССКАЯ ПОБЕДА. Трудно представить себе более презренную фигуру, которая заслуживала бы меньше сочувствия, чем свергнутый царь. Раньше сложность была в том, что, побеждая Германию, нельзя было допустить победы России. Теперь — иное дело. Иными словами, русская революция уже принесла нам половину тех плодов, которые мы надеялись получить в результате победы…

(«Нью Стейтсмен», 11 марта)

ПОЗИЦИЯ ЕВРЕЕВ. Министру иностранных дел был задан в палате общин вопрос, известно ли ему, какие несправедливости совершены в отношении евреев в России, и собирается ли он консультироваться с

русским правительством относительно гарантий на будущее и возмещений за прошлое русским евреям, с тем чтобы поощрить их добровольное возвращение на родину…

(«Таймс», 10 марта)

ТЕЛЕГРАММА ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА. «…Я всегда говорил: самодержавие — это слабость, которую Россия преодолеет. Весть о прыжке от самодержавия к демократической республике изумила Западную Европу… Россия — предвестница мировой Федерации республик…»

ТЕЛЕГРАММА БЕРНАРДА ШОУ. «…Наш союз с царём в свободомыслящих кругах считался позором. Мы все знали, что правительство царя в десять раз хуже правительства кайзера, что мы соединились с самым варварским самодержавием, чтобы раздавить самую культурную державу в мире. Мы ничего не могли ответить, кроме того что русская армия нам нужна в качестве парового катка. Отвращение к русскому правительству сделалось глубоким жизненным инстинктом всех любящих свободу. …Огромное чувство восторга, с которым весть о русской революции принята в Англии… — мы уже не соучастники разбойников. Наконец мы воюем с чистыми руками! Германским войскам теперь придётся на опыте ощутить, что может сделать революционная армия свободной России…»

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ЗНАМЕНИТОГО ПЕВЦА. Г-н Шаляпин, великий русский певец, который, как известно, вышел из народа и всё ещё принадлежит к прогрессивным кругам, дал интересное интервью:

«Я признаюсь, я дрожал во время первых дней революции: будет ли она снова подавлена или осуществится прекрасная мечта русского народа, за которую столько друзей было сослано в Сибирь? Можете себе представить мою радость, когда я узнал, что Волынский полк стал на сторону народа?! Какая великая победа! Какая блистательная революция! Как хорошо она руководилась!»

(«Дейли Телеграф»)

Лондон. Грандиозный митинг в Альберт-холле в честь обновлённой России… Призыв радикалов к новой России о помощи в борьбе с английской реакцией… Один из самых выдающихся моментов митинга — полная горького сарказма речь известного деятеля Зангвилля, играющего руководящую роль в кругах английских евреев…

…На митинге в Кингс-холле… приветствие князя Кропоткина… выступление эмигранта Зунделевича… Оглашено послание Комитета по защите иностранных евреев: «Евреи надеются, что русская демократия разделит приобретенные свободы со столь долго гонимой еврейской расой и даст ныне евреям возможность жить в России и пользоваться своей собственной национальной жизнью. Так как и сейчас ходят слухи о погромах, то мы надеемся, что вы посоветуете истинным

друзьям России охранять жизнь евреев и навсегда разрешить трагические еврейские задачи в России».

Воистину великое событие! Самая отвратительная тирания, какую только знает современный мир и которая столько лет противостояла любым попыткам просвещения и прогресса, повержена во прах… Наконец эта долгая-долгая ночь для русских евреев заканчивается… Последствия установления свободы в России невозможно охватить умом. Они дойдут до всех концов земли. Они будут влиять на историю будущих поколений. Мы стоим лишь у начала революции, всех последствий нельзя ни вычислить, ни предугадать.

(«Джуиш Кроникл», 10 марта)

ФРАНЦИЯ

Между Великой Французской революцией и русской — поразительный параллелизм. Для Германии победа русской демократии страшней, чем крупное проигранное сражение. Это — величайшая из побед, одержанных союзниками.

Мы можем взирать на будущее России с надеждой и доверием. Опасности можно избежать компромиссами партий. Преобладающее стремление населения России — выиграть войну. …Французы тем более сочувствуют стремлению России к свободе, что Россия берёт торжественное обязательство победить общего врага…

…Надеемся, революция не создаст изменений в желании выиграть войну, напротив, поведёт к энергичному её продолжению. Революция может вызывать опасения только в том, что народу будет трудно принудить себя к дисциплине…

…Первое впечатление, что захвата власти способными лицами достаточно, чтоб навести порядок, было слишком оптимистическим. Временное правительство оказалось перед огромной волной народного недовольства… Поездка французских социалистических депутатов в Петербург… напомнить русским революционерам о военных обязанностях. …Русские революционеры должны доказать, заслуживают ли они доверия союзников.

…Опасная сторона русской революции — в том влиянии, которое могут оказать некоторые русские социалисты, совершенно сбитые с толку германскими социалистическими теориями. Если русские рабочие дадут себя увлечь плохим вождям, то у них не будет республики, ни свободы печати, ни свободы совести — но в Петроград придёт прусская армия…

(Эрве, «Виктуар»)

…Россия должна одержать военную победу. Только в таком случае Франция будет приветствовать русскую революцию…

(«Ля Франс»)

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ

Нью-Йорк, 16 марта. В честь приезда в Америку Шацкого русско-американская торговая палата дала обед. Щацкий прибыл в Америку со специальной миссией способствовать установлению дружеских сношений между обеими странами. Шацкий сказал, что приток иностранных капиталов является для России вопросом национальной важности. Заявление Шацкого, что еврейский вопрос разрешён русской демократией раз и навсегда, было встречено присутствующими с величайшим энтузиазмом.

Представитель федерального министерства торговли ответил: «Реформы, возвещённые в России, устраняют препятствия в сношениях между нашими странами. Успех американского капитала в России будет зависеть от духа, стоящего за американским долларом».

Митинг в Нью-Йорке в ознаменование русской революции. В числе русских гостей находились Шацкий и Поляков. Были получены приветствия от Рузвельта, Элии Рута, Якоба Шиффа и ряда других… Возможность возобновления торгового договора с Россией встречена американским деловым миром с большим сочувствием…

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И АМЕРИКАНСКИЕ ФИНАНСИСТЫ. В финансовых кругах Америки заявляют, что русская революция открыла американский денежный рынок. Масса влиятельных финансистов, в особенности из числа русских евреев, подготовляет большой заём…

В интервью петроградскому корреспонденту «Нью-Йорк Уорлд» **премьер-министр князь Львов** сказал: «Через неделю после начала революции вся страна в плавном порядке. Будущее настолько ярко, что я едва смею всмотреться в него…»

Г-н Родзянко, отвечая на вопрос, какую окончательную форму примет государство: «Ни у кого в России пока не было времени надлежащим образом обдумать этот серьёзный вопрос».

…В решимости Соединённых Штатов вступить в войну сыграл большую роль великий русский государственный переворот. Американским кругам претил союз с русским самодержавием. Американцы не доверяли прежней России. Они находили, что германский монархизм менее несовместим со свободным духом Америки, чем русский царизм.

20 марта. **Президент Вильсон** предложил конгрессу объявить войну Германии для того, чтобы обезпечить условия для существования демо-

кратии в мире, и в то же время с восторгом говорил о замечательных, радостных событиях последних недель в России…

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ДЕРЖАВЫ

Турецкие газеты пишут о гибели России: что Россия теперь не только не поддержит Согласия, но будет для него балластом…

Австрийские газеты утешают своих читателей… что с Россией в данный момент как с фактором военным много считаться не приходится. Венские газеты высказывают уверенность, что Россия станет на время бездеятельной в военном отношении.

…Благоразумие требует мер предосторожности, когда пожаром охвачен дом соседа…

(«Кёльнише Цайтунг»)

…Германская печать выражает надежду, что борьба между крайними левыми элементами и умеренными поведёт в русской армии к дезорганизации. Уже какой день германская печать ни о чём другом не пишет, как о русской революции. Главный вопрос, волнующий Германию: что означает сотрудничество Керенского с Милюковым?.. В германских кругах мечтают о крайностях русской революции, чтобы Керенский вёл на эшафот Милюкова.

Берлин. В рейхстаге депутат-социалист **Носке**: «Немецкие социал-демократы полны решимости бороться против всякой попытки воскресить проклятый царизм. …Германия должна официально заявить, что не будет способствовать восстановлению царской власти. Как только в России определится стремление к миру — германское правительство должно сделать шаги к его немедленному заключению. Германской социал-демократии предлагают из-за границы устроить революцию. Но тогда рабочий класс постигло бы величайшее несчастье…»

ЗАЯВЛЕНИЕ ИМПЕРСКОГО КАНЦЛЕРА Бетмана-Гольвега. «…По отношению к событиям в России мы соблюдаем принцип невмешательства. Это ложь, что император Вильгельм хочет восстановить власть царя… Через несколько недель мы увидим, желает ли русский народ мира или присоединяется к войне до победного конца. Мы будем следить за событиями хладнокровно, с готовым для удара кулаком».

…Русское правительство предоставило солдатам право стачки. Мы можем лишь желать, чтоб они воспользовались им возможно больше — тогда наши солдаты, связанные железной дисциплиной, могли бы убить возможно больше русских…

(«Берлинер Локаль Анцайгер»)

АНГЛИЯ

Следует предостеречь от слишком жестокого отношения к представителям старого режима. В глубинах народных, столь мало затронутых просвещением, это может произвести крайне опасные потрясения…

ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ. Мы искренно надеемся, что у британского правительства нет никакого намерения дать убежище в Англии Царю и его жене. Если Англия теперь даст убежище императорской семье, то это глубоко и совершенно справедливо заденет всех русских, которые вынуждены были устроить большую революцию, потому что их безпрестанно предавали… Нельзя забыть теперь про один факт: Царица стала в центре и даже была вдохновительницей прогерманских интриг… Она погубила династию Романовых, покушаясь изменить стране, ставшей ей родной после замужества. Английский народ не потерпит, чтобы этой даме дали убежище в Великобритании… У англичан ныне не может быть никакой жалости к павшей Императрице… Если наше предостережение не будет услышано и если царская семья прибудет в Англию, возникнет страшная опасность для королевского дома.

(«Дейли Телеграф»)

Среди русских эмигрантов в Англии 25 000 мужчин военнообязанных, не вступающих в ряды армии. Если морские сообщения будут неблагоприятны для их возврата на родину, британское правительство должно изыскать меры поставить их под знамёна союзных армий.

(«Дейли Кроникл»)

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗПОКОЙСТВА. К сожалению, не могу сообщить о духе умеренности со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. Эксцессы, которые были совершены под его эгидой, вероятно можно объяснить недостатком организации. Надеемся, г-н Чхеидзе не будет продолжать методы, применяемые… Иначе в цивилизованном мире может возникнуть подозрение… Русские газеты посвящают слишком много места сенсационным разоблачениям пороков старого режима и мало внимания уделяют проблемам, стоящим перед Россией…

(Петроградский корреспондент «Таймс», 13 марта)

Организация нового государства постоянно затрудняется вмешательством социалистов… Безконечные уступки ненасытным требованиям теоретиков и невежд…

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ. Сентиментальные прокламации социал-демократических лидеров… Как и Николай II, они прокламируют идею универсального мира… Г-н Чхеидзе, грузинский мечтатель, своим пылким красноречием пленяет необразованные умы… Русская социал-демократия представляет собой отпрыск германского марксизма. По своему существу это нерусское явление, и большая часть её лиде-

ров нерусского происхождения… Призыв к трудящимся всего мира будут читать прежде всего русские войска на фронте. Сомнительно, дойдёт ли он до немецкого пролетариата.

(«Таймс», 17 марта)

Лондон, 17 марта. Некоторые английские газеты с особой настойчивостью подчёркивают, что лидеры русской социал-демократии являются лицами, чуждыми по крови русскому народу, и играют в руку истинным врагам России. На деле эти газеты давно перестали отражать мнение Англии.

(«Биржевые ведомости»)

…Керенский в настоящее время самый сильный человек в России…

623

В Союзе инженеров выбрали Дмитриева, вместе с ещё двумя, депутацией к властям: о том, что работать на заводах стало совершенно невозможно. В эти недели инженеры попали так же, как офицеры в первые дни революции, — только не было у них револьверов и шашек, которые бы отбирать, а такая же вдруг подсечная немочь лишила их всего обычного образа поведения и права: они не могли расставлять рабочих, направлять, указывать, а каждый раз в виде ласковой просьбы: исполнят рабочие — хорошо, а не исполнят — ничего не поделаешь.

Пока в Петрограде ещё только готовились хоронить жертвы революции — а на петроградских заводах вот убили двух инженеров (и с десяток избили), — и чьи это будут теперь жертвы? Немало инженеров от угроз расплаты должны были скрыться и с заводов, и даже со своих квартир при заводах, так что только доверенные знают их места.

Группу Дмитриева выбрали — идти к властям, но: кто же были власти? Очевидно, заводами должно заниматься министерство промышленности и торговли. Но ещё очевиднее, что оно против рабочих волнений не решится действовать ни на вершок. Пошли советоваться к своему же брату Ободовскому, нашли его в военном министерстве, через коридоры, где щёлкали шпоры, скрипели сапоги. Вышел Ободовский с ними в проходную комнату. Нервное лицо Петра Акимыча было опалено деятельностью, очевидно и безсонницей, прямые короткие волосы, из светлых всё явнее седые, дыбко колебались.

Они все были не на месте: заводские работники, вот, почему-то в военном министерстве, а между тем заводское дело прогрохатывало к обрыву, как сорванная с троса вагонетка.

И Ободовский только и мог им подтвердить:

— Господа! Между нами, Временное правительство мало на что влияет и меньше всего на рабочие дела. Тут всё решает Исполнительный Комитет Совета. А там отделом труда заведует Гвоздев, вы, Михал Дмитрич, его знаете, — он разумный человек.

То есть искать управы на рабочих инженеры должны были у самих же рабочих?.. Новая *свобода* жала и потягивала, как неловкое платье.

Дмитриев позвонил Гвоздеву. Тот сразу обещал, что поставит их сообщение прямо на заседание Исполнительного Комитета. Но повестка дня перегруженная, когда удастся?

Пришлось звонить снова и снова. Не удалось ни в тот день, ни на следующий, и только сегодня обещали.

Переполненный Таврический дворец никак не ощутил входа троих инженеров. В большом зале стояло множество солдат, кричали временами «ура» и гремела марсельеза. Гвоздева нашли в маленькой комнате бокового крыла, где на стене от прошлого ещё не снят портрет чина в звездах, а бархатом обитые кресла перемежались с табуретками.

С осени не появилось в Гвоздеве никакой важности, а перед визитёрами он держался даже заботливо-суетливо. Прегустые соломенные волосы его, недлинно стриженные, колыхались на голове и были в перепуте, как пшеница в ветер.

Сидели и обсуждали, довольно потерянно. Из соглашения Совета с заводчиками выполняется только 8-часовой рабочий день, да и то почти не работают. По соглашению, не было права заводским комитетам вмешиваться в управление заводами — а они являются в конторы и начинают указывать.

Гвоздев в кручине упёрся на руку, свесил светлую косму — и поглядывал на инженеров детски-откровенно, как на самых своих.

— Ездили мы по заводам, — говорил, — и нас слушают не намного больше вас. Раскачали наших ребят как черти пьяные: что по теперешней поре за один день можно взять, чего, ино, и за десять лет не получишь. Да ведь и правда, — тут же и радовался изумлённо, — ведь о восьмичасовом дне двадцать лет бились зря — а тут в один день получили! Сколько из нас масла-то пожато, что скрывать!

И тут же вздыхал:

— Так и дальше, мол, хватай. Экакое свинство развели, ещё так никогда не распускались. Но должна совесть воротиться! Поиграют — должны ж образумиться, что ж мы — не́люди?.. А солдатики — пропадай без снаряженья? Или — уж так погано все люди устроены?

Лицо его, с бровками малыми, разляпистым носом, было застигнутое.

— А Исполнительный Комитет — он как будто и не понимает. Ну, попробуйте их вы растрясти.

Дмитриев предложил: в некоторых полках теперь бывают совместные комитеты солдат и офицеров. Нельзя ли так же и на заводах: комитеты из рабочих и инженеров? Когда рабочих не толпа, а всего несколько человек за стол сядет, — они доступны объяснению, уговору.

— Можно, можно попробовать. — Но что-то затуманились простодушные глаза Гвоздева. — Вон, ещё как бы трамвай обратно не остановился.

Посланный вернулся с заседания, что, кажись, можно идти.

Пошли. Вслед за Гвоздевым вошли в большую комнату с ещё более неподходящей обстановкой: объёмистый диван у стены, золочёное трюмо, а посредине вокруг большого голого стола сидело человек двадцать штатских, ещё и стояли, среди них и несколько молодых солдат.

Депутацию инженеров ввели, но ещё не кончили другой вопрос: доспаривали, что хотя правительство и отменило армейскую присягу, но, как всегда, ограничивается полумерой. Что это — не полное признание ошибки. А где признание порочности самой идеи присяги? А как быть с частями, которые уже присягнули, — отменяется ли присяга? Нет! Правительство виновато — так пусть оно высечет само себя.

И штатский Дмитриев, кажется, понимал, что смысл говоримого был ужасен.

Если так расправлялись с армией, — кто поддержит заводскую дисциплину, несравнимо слабейшую?

Но более чем Дмитриев слышал, он невольно смотрел. Успел обежать два-три раза все лица, кто был к нему не затылками, да и другие временами переходили. И кроме пятка солдат, явственно в стороне, охватил, из кого же состоял Исполнительный Комитет. Что это собрание было никак не рабочее: уж рабочих-то Дмитриев

видывал тысячи, он узнавал их на улице, отличая от городского обывательского потока. Но, хотя в пиджаках, а некоторые и при галстуках, — не было и привычно интеллигентных лиц. А скорей тянулся тот тип бездельных агитаторов, которые шалались вдоль заводских стен и разламывали заводскую жизнь, — только эти одеты прилично.

Кончили с присягой — Гвоздев собрался напомнить о своей депутации, но тут секретарь Исполкома, очень чистенький, с заострённостью лица вперёд, — заявил вне очереди о срочном важном вопросе, что к нему поступило чрезвычайно тревожное сообщение: на Васильевском острове распространяется погромная черносотенная литература.

Вот уж чего нельзя было и вообразить после трёх недель революции: чтобы кто-то кому-то решился сейчас передать или даже подержать в руке такую листовку. Но Исполнительный Комитет оживился, возмущённо загудел, заговорили сразу по нескольку и друг ко другу. Никто, кажется, и не спросил: кто именно распространяет? в каких количествах? какую именно литературу? кому? Но все требовали решительных мер, а секретарь Капелинский и сам ничего точнее не знал и ничего более не хотел, как записали бы в протокол, чтоб этот вопрос выяснить и пресечь погромщиков.

А тем временем в дверь вошли несколько живописных матросов, с той особой дерзостью, которую им придаёт лихая форма. И сопровождающий их юркий штатский громко торжественно объявил:

— Товарищи! Депутация из Гельсингфорса!

И все сразу повернулись и осветились как бы восхищением перед вошедшими и перед их матросской свежестью. И была забыта инженерская депутация.

А матросы — тоже же не простые, а те горланы, какие две недели назад своими руками бросали за борт капитанов, — теперь отрывисто, смесью языка натурального и воспитанного газетками, заявляли. Что весь гельсингфорсский гарнизон поклялся добиваться демократической республики. Что очень их волнует вопрос о войне и мире и все высказываются против принятия присяги. Что они верят в мощную силу петроградского Совета Депутатов и ждут от него указаний. А с Временным правительством будут считаться лишь постольку, поскольку оно идёт за Исполнительным

Комитетом. А для предотвращения дальнейших убийств офицеров необходимо, чтоб Исполнительный Комитет направлял работников и литературный материал.

И вообразил Дмитриев тот Гельсингфорс, где дальнейшая жизнь офицеров зависит от присылки «литературного» материала. И видел, с каким сочувствием здешние выползни следили за бодрой матросской речью. И потерял всякую надежду, что подробно выслушают его.

Но ошибся. Матросы кончили тем, что заговорили о 8-часовом рабочем дне — что он смущает матросско-солдатскую массу: почему рабочие добиваются себе одним только?

И так обсуждение как бы само собой обратилось к инженерской депутации. Матросы ушли, а Гвоздев пригласил Дмитриева говорить.

Дмитриев встал, напрягся, чтоб овладеть вниманием собрания, успеть сказать им всё главное, прежде чем его начнут перебивать или раздёргивать. Он помнил, держал в сборе все эти пункты, случаи, названия заводов, фамилии пострадавших, он сейчас только что повторял их Гвоздеву, он не сбился, — но при напряжённом виде этих странно откопанных людей, при наслушанном об армии и флоте, — говорил с безнадёжностью. Он уже понял, что ни в чём не успеет, и заводов не спасти.

Однако его слушали не прерывая и даже как будто с застенчивостью, будто он о чём-то запретном говорил. Или будто их уши не были подготовлены слышать о дезорганизации промышленности.

И никто не спешил отозваться.

Помянул Дмитриев и предполагаемые совместные комитеты инженеров и рабочих, уже не веря.

Члены Исполнительного Комитета невыразительно молчали. Не выступал и Гвоздев, опустивши пшеничный клок. Да ведь он с депутацией был как бы заодно.

Кто-то сказал: надо выпустить воззвание к рабочим. Во имя революции они должны порядок соблюдать.

Другой: а вот не надо было к работам приступать, пока не добились полного улучшения всех условий труда.

А крупный, рыжебородый, что всё стоял и ходил:

— И потребовать от разбежавшихся инженеров и мастеров немедленно приступить к работе.

Баритон его прозвучал безпощадно.

Тогда вступился Гвоздев тенорком: что стали с фронта всё чаще приезжать солдатские депутации, и все они недовольны, что заводы не работают, а *учётные* на них прячутся, а снарядов не дают. Так может — начать возить эти делегации по заводам?

Тут выпрыгнул маленький, острый, с войлочными волосами:

— Но это безпринципно, товарищ Гвоздев! Мы не можем выдвигать против рабочего класса крестьянство в шинелях! Мы не можем использовать отсталость крестьянской массы!

624

(Провинция и деревня, фрагменты)

* * *

Министр Некрасов срочной телеграммой отменил всю охрану железных дорог, кроме больших мостов. Везде, где местные комитеты сочтут железнодорожную полицию излишней, — откомандировать её на фронт, её обязанности без ущерба выполнят сами ж-д служащие и народная милиция, внесётся только больший порядок.

* * *

На **Ижорском заводе** после переворота рабочие устранили 38 инженеров и мастеров. При том постановили: сдать их всех в солдаты, а семьи чтоб очистили городские квартиры. Жалованье уплатить лишь по 9 марта, ни дня вперёд. (Некоторые из них служат на заводе 25 лет и больше.)

* * *

В **Озёрах** Коломенского уезда после переворота местные фабриканты пожертвовали 200 тысяч рублей на устройство пенсионной и ссудной касс для рабочих. Но рабочие вместо такого устройства порешили: разделить все деньги между собою поровну.

* * *

В **станице Каменской**, на Донце, толпа чернорабочих арестовала генерал-майора Макеева, хотя он и приветствовал революцию, и посадила его в одну камеру с уголовниками. Те издевались над ним и били.

* * *

В **Томске** народную демонстрацию и церемониальный марш проходящего гарнизона принимал на трибуне среди президиума — венгерский военнопленный Бела Кун.

* * *

Едва образовался в **Екатеринбурге** Комитет общественной безопасности, как туда повалили посетители с жалобами о совершённых кражах, о побоях мужа, с жалобами квартирантов на домохозяев и встречными, с просьбами о паспортах, о перенесении покойников в другую могилу. А врач Упоров пришёл с заявлением от проституток. В эти дни к екатеринбургским домам терпимости солдаты стояли в длинных вереницах, как обыватели за сахаром, и, по сведениям комитета, на каждую проститутку приходилось в сутки до 60 посещений — но протест от них пришёл не о том, а что они как свободные гражданки не желают больше подвергать себя врачебному осмотру.

* * *

Вслед за уголовниками изъявили желание освободиться из тюрьмы и идти на фронт также и воровки. Запросили Керенского — он распорядился отправлять воровок сестрами милосердия. Красный Крест пришёл в ужас, но первое время принимал.

* * *

В **Москве** излюбили стягиваться на постоянный митинг к памятнику Пушкина и памятнику Скобелева. С утра и до вечера кипит, только люди меняются. Ораторы взлезают по карнизам и выступам постаментов. Всех слушают жадно, а потом споры разбиваются по кучкам, кучки спорят внутри себя до крика, далеко выносятся неровные вспыхи голосов. В толпе — обыватели всех видов — и прилично одетые, и студенты, и простые мещане, бабы, и солдаты, и офицеры, кто с головой забинтованной, у кого рука на перевязи, солдат на двух костылях.

* * *

Ломовой извозчик:
— Нам хоша б и рельс-бублику, только б царя хорошего!

* * *

В **Мариуполе**, как и во многих городах, без полиции по ночам стало неспокойно: выстрелы, ограбления. И стали жители устраивать неслыханную поквартальную самоохрану от босячья с окраин и от бродячих солдат: мужчины, кто с ружьём, кто с палкой, а то только со свистками, ходили патрулями вокруг своего квартала. Гимназистки перестали появляться на вечерних улицах.

Но мариупольцы радовали себя, что зато теперь война скоро кончится.

* * *

По железным дорогам — телеграф, и вблизи них быстро всё известно — даже в Приморской области, за 8000 вёрст от Петрограда. Но в глуши губерний, не то что дальних, а даже во Псковской, почти весь март ничего не знали. В таких местах держались и урядники, становые, а священники продолжали возглашать в службах царя.

В российских деревнях ещё неделями нависала темнота и непонятность. А там — уже раскисает, грязь, так что из дома в дом не пройти, не то что детям в школу.

* * *

Под Барнаулом в селе Зайцеве священник отказался признать новое правительство. В селе Ново-Шульбинском священник отказался служить молебен о благоденствии Временного правительства.

* * *

Местами в деревнях собирают в складчину копейки и посылают мужика в город — за газетой. Такую б газетину купить, где всё как след прописано. А может — и *орателя* какого заманит к ним.

Свой селянин привёл с безпроезжей дороги какого-то городского.

— Где поймал?

— Ехадчи по большаку. Сказывается бы што товаришшом.

— Кам-пания! Вешать бы этих сволочёв.

— Товарышш! Всё скажи, ничего от нас не утаивай: как там, в Питере, порешили?

* * *

Приехал к барину в **Новгород-Северский** крестьянин с хутора Лоски. Просит объяснить, что верного в слухах, какие ходят. А то — «царь помер, царевич видрикся вид престолу. В Петербургу збрали на престол Леворуцию, але вона ще малолитня, так ии бабушка правле. А та бабушка така погана баба: усэ бурчить та бреше, так ии прозвали Брешко-Брешковска».

* * *

Но вот заездили кой-где по деревням городские. Мол, земля должна быть в одну неделю отнята у помещиков и передана безземельным.

— А остатним шо ж? Шиш?

Приехали какие-то в солдатских шинелях:

— Громите, товарищи! Ничего вам не будет, мы — за народ!

Рвут телефонные провода из помещичьих имений.

А другие приезжают: собирайсь, выбирай ка-ми-те-ты. В кажном селе, в кажной волости должон быть ка-ми-тет. А сельских старост, волостных старшин — по шапке, сельских урядников — в шею.

* * *

В мелких деревнях **Феодосийского уезда** после переворота говорили крестьяне:

— Ото, мабуть, нас опять отдадут панам у неволю.

И этот слух, что восстановится крепостное право, широко раздался по Югу.

625

В прошлое воскресенье адвокатское собрание растянулось почти на целый день: назначили его в час дня, не учтя, что в этот день Совет рабочих депутатов определил быть в Москве грандиозной демонстрации, празднику свободы. И демонстрация имела успех, особенно из-за весенней погоды, вся Москва была на улицах, и от сборных пунктов десятки тысяч стягивались к центру — молодёжь, женщины, штатские и солдаты без строя, то «отречёмся от старого мира», то «вихри враждебные», и масса красных плакатов и флагов, а с Арбатской площади и отдельная колонна евреев, — и всё это на Театральную площадь, море голов, не то что ехать, но пешком нигде не пройдёшь. С верхних этажей и с низко летящих аэропланов разбрасывали прокламации — «Свобода всему миру!», «Война до победного конца», потом появился Грузинов со штабом на лошадях, под колокольный звон. И от того всего на адвокатском собрании долго не было кворума: кто застрял на улицах, а кто и дома.

Корзнер потому особенно нервничал, что эти дни нужно было повсюду успевать быть: и на службе, и с клиентами, и вот здесь, на профессиональных совещаниях, и не пропускал же он заседаний Комитета общественных организаций.

— Между прочим, знаете, господа, к нам туда стал ходить писатель Бунин. Думает всё увековечить в художественном произведении.

И заседания одолевали — и никак же нельзя без них: сейчас чего-то не увидишь, не отзовёшься — потом не исправишь за тысячу лет. Конечно, время — не разглагольствований, а напряжённых

дел. И сословие присяжных поверенных, острее других изнывавшее под гнётом старого режима и особенно ярко себя проявившее в защите лиц, гонимых за политические убеждения, — теперь должно возглавить процесс всеобщего разъяснения, стать авторитетными глашатаями гуманных начал среди взволнованного населения. Выбрали редакционную комиссию, туда вошёл и Корзнер, составить обращение от адвокатов к народу и войскам.

Поддержка Временного правительства народом была из задач первоочередных. Надо было организовать, наладить, чтобы изо всех мест посылали выражения доверия правительству. Надо было всюду разъяснять: кто подрывает Временное правительство — тот идёт против народной свободы. Смотрите, новые министры буквально не спят и не едят по недостатку времени, своим примером призывая и нас к сверхчеловеческой энергии.

Но Игельзон посмеивался:

— Ещё самой главной опасности, господа, вы не учитываете! Сейчас для революции самая большая опасность — это обыватель. За переворотом не успевают души, ущемлённые обывательщиной. Человек стоит в стороне от всей сложной мучительной борьбы, но рассуждать о ней — его обывательское право. Читает газеты — и чувствует себя судьёй русской революции. Что за мука, кому приходится в день встретить двух-трёх обывателей! Это существо, которое не может радоваться ничему возвышенному. Крылатой радости он противопоставляет свою крохотную обиду, головокружительным завоеваниям — булавочный укол неустройства. Если ему в манифестации отдавили мозоль — он кричит: вот какая она, ваша свобода! Как нам сделать, чтобы вместе с самодержавием исчез и обыватель?

Сейчас, когда надо работать с удвоенной энергией, верить, бороться, агитировать, — всё чаще появляются выпады с остро-опасным словечком «буржуазия». В Совете эти большевики кричали: «Не допустить буржуазию править городской думой!» На митинге в Лефортове один большевик заявил: «Буржуазия устроилась в Земгоре и уклоняется от воинской повинности!» Вот новый поворот — уже и Земгор им плох! Уже и лозунг республики их не устраивает! «Буржуи» — это буквально все, у кого белая манишка, интеллигентный вид.

Так внезапно возникла опасность молодой свободе совсем с неожиданной стороны. Пристально следили за этими симптомами. Симптомы входили и в их собственные дома. У Левашковичей

прислуга уже выставила требования: светлую комнату, два часа перерыв на обед, два свободных дня в месяц, удвоенное жалованье плюс безпрепятственный приход гостей. Вот так они поняли свободу! А уступи — требованиям конца не будет. Деньги, допустим, можно добавить, — но разрушить собственную жизнь, распорядок и сделать из квартиры проходной двор? Выставляется харя.

Разделить ряды восставшей России — да это мечта клевретов старого режима, это и есть правая интрига. Вызвать междуусобицу — что может быть теперь желаннее для погромщиков? И вот путь: бросать самые крайние левые лозунги — и так разделить демократию. А дурачки-большевики клюют. Ясно, что это — всё та же черносотенная опасность, но выплывающая с левой стороны. Удобно! — ведь сейчас идёт бешеная скачка левых позиций. Теперь все стали левыми, левизна страшно подешевела. Кто воистину был левым при царском режиме — теперь не нуждается леветь, и выглядит как бы отсталым. А безответственные выглядят «ещё левей», — и перед ними уже тускнеет левизна сознательная.

Ах, досадно было тратить аргументы и усилия против ещё этой мнимой левой опасности, когда не добиты были главные тёмные силы! Хотя реакционные гнёзда, могущие сейчас организовать контрреволюцию, не открывались явно, но они безусловно своё роют и только ждут благоприятного момента. Уже были слухи, что в Витебске, Кишинёве, ещё где-то идут еврейские погромы, потом не подтвердились. Но защиту свобод надо спешить упрочить! (И когда же наконец будет издан акт о еврейском равноправии? чем объяснить такую медлительность, кто держит? И надо найти все корни убийства Йоллоса и Герценштейна!) А если оглядеться дальше: по провинциальным городкам что там сидят за общественные комитеты? Какие-нибудь совсем чуждые революции люди, и если схлынет столичный революционный напор — они ещё откроют своё истинное лицо. Там сидят и купцы, которые и сегодня называют евреев спекулянтами.

И в обстановке этих опасностей — как досадно, что они возникали и с той стороны, откуда бы им не возникать. Вот — проблема Совета рабочих депутатов. В опьянении своей силой он уже зарывается, будто он уже чуть не законодательная, чуть не исполнительная власть. Левое неразумие: снова разогревать революционную лаву и снова её разливать. Начинают кричать о «диктатуре пролетариата», чуть не о втором правительстве, — и так сами же от себя отшатывают общественные симпатии. Захватный явочный

порядок был допустим по отношению к царю — но дикость, когда большевики проповедуют «явочный порядок» по отношению к Временному правительству. Агрессивный тон при малосознательных массах — это очень опасно. Грустно за неразумие России. На нашем знамени должны сиять закон и право.

Старый Шрейдер качал головой:

— Нет, господа. Не так всё просто. У русского человека природная любовь к безпорядку, и тут ничего нельзя прогнозировать. Культурный ход революции в этой стране под большими опасностями. Охлос, анархия и максимализм могут всё погубить. И винить их не приходится. Народ, который жил в рабстве целые века, не может стать в три недели свободным и выдержанным. А тёмные силы будут везде подстрекать к насилиям. А крестьяне, как только коснётся земли, глупеют, — уж не спрашивай сознания государственной сложности.

Так и возникла — совершенно против всякого разума — ещё одна специфическая опасность: демагогический лозунг «Долой войну!». Никакой логикой нельзя было предвидеть такое извращение идей нашей революции, такой идиотский лозунг — но он возник! Опаснейший лозунг для русской свободы! — и проталкивает его малая группка лиц, но он может вызвать расстройство всех наших рядов. Около памятника Скобелеву такие ораторы высовывались. И такие ж статейки о немедленном мире, всегда анонимные, в левой партийной печати. И листки — «долой войну». Это, очевидно, большевики, вольные наездники от социализма, они безответственны, для них нет ни сложных, ни трудных вопросов. Но пренебречь этой опасностью тоже нельзя. На адвокатском собрании единогласно постановили: пропагандировать среди населения лозунг «Война до победного конца!», а для этого подготовить ораторов, желающих выступать на собраниях и митингах, — молодых помощников присяжных поверенных с полемическим даром. И вот теперь собрали инициативную группу адвокатов у Игельзона, чтобы подготовить доводы для этих посылаемых ораторов.

И аргументы, господа, нужно пофактичнее. Немецкая революция? — журавль в небе, никто её не видел. Интернационал? — никакого не существует. Помочь германскому пролетариату? — вот только мы и можем: энергичным ведением войны!

А спросить их, ненормальных: как это можно из войны мирно расцепиться? Только победить — или только сдаться. Одна неделя

без снарядов и продовольствия — и наша армия будет расстреляна немцами. Это будет новая сухомлиновщина, нашими собственными руками! Нам не нужен захват чужого добра, но обезоружить разбойный народ. Нам нужен мир не временный, но вечный! Сейчас решаются судьбы всего человеческого рода!

— Господа, нельзя даже допускать постановки такого лозунга — «долой войну». На наших знамёнах — «демократическая республика», и почему же можно обращать взоры к абсолютистской Германии? А подумали о Сербии, залитой слезами?

— Господа, господа, сбросьте пар панславизма. На Сербии не потянет.

— Хорошо, спросим так: имеет ли право русский рабочий не обратить внимания на призыв французских социалистов, известных всему миру? Ведь они зовут — продолжать войну неослабно!

А Шрейдер своё:

— Господа! Не забывайте, что психология наших масс перевёрнута вверх дном. Надо всячески будировать любовь к родине, это понятнее простонародью, чем свобода. А через любовь к родине мы спасём и свободу.

Молодой белокудрый Фиалковский, которому и предстояло идти одним из ораторов, взорвался:

— Я не понимаю! Мы — именно устранили тех, кто нам мешал побеждать, — и почему теперь «долой войну»? Что случилось? Начальство не смеет наказывать — так бросай всё? И это говорят кому? — республиканской армии?

— Нет, господа, ещё реалистичней, язык неумолимых фактов. Наши оппоненты — понимают ли ясно, к чему ведёт их призыв? Если фронт будет сейчас прорван — то все притаившиеся контрреволюционеры так и попрут против наших завоеваний. Пораженчество — сегодня может оставаться только в тёмном подпольи черносотенства! Среди революционеров — его не может быть!

Да. О да! Это опять она — правая черносотенная опасность, хитро замаскированная под левую! Да, да, — несомненна становится связь царской реакции с этими криками «долой войну»!

О, как же ветвится, как запутан этот простой вопрос о войне!

Надо будет вот что: посылаемым ораторам давать защиту из студентов с хорошими кулаками. Потому что возможны всякие столкновения.

626

Когда достиг слух, что везде по ротам, по батареям надо выбирать комитеты, хотя ещё и не известно, для чего, три старших фейерверкера в батарее — старший орудийный, старший разведчик и старший телефонист, сговорились, что они и составят батарейный комитет. Шли доложиться о том капитану Клементьеву, по пути встретили подпоручика Гулая, сказали ему. Гулая уважали за суровость обращения и простоту происхождения, он был свой.

— Здорово придумано! — гулко отозвался подпоручик. Жёсткий взгляд его не сразу выдавал насмешку, бывает и задумаешься — что он? — Значит, комитет будет чисто фейерверкский? Правильно! Звание немалое. Сам император Пётр Великий дослужился только до бомбардир-ефрейтора.

— А что? — не понимали.

— А если канониры — свой комитет захотят?

— Так зачем же?.. Лучше нас рази рассудят?

— Мы везде бегаем-хлопочем, а править другие будут?

— Правильно! — ещё гулче захохотал Гулай. — Так и вы лучше офицеров не рассудите, а вот же выбирают! Не-ет, братцы, не миновать вам теперь толковать с номерами, с ездовыми, с ними вместе составить списки, кого намечаете, — а потом на общем собрании голосовать, да ещё запротоколировать.

— Запрото… ?

— Что-т шибко долго, господин поручик, всех обходить да со всеми говорить. А коли на собрании схотят совсем других, а не нас?

— Ну что ж, — посмеивался Гулай, — они и будут. Это вам — демократия, а как вы думали?

Что-то им потом и капитан сказал, не одобрил, дело захрясло. Никого они не обходили, и собрания не созывали.

А создались комитеты иначе: приехали чужие неизвестные люди и стали проводить собрания — в дивизии, в полках, в артиллерийской бригаде — и везде выбирали комитеты. А сегодня с утра приехал и к ним в батарею какой-то молодой, белокожий, с рыхлой ряжкой, не нашего цвета сизая шинель новонадёванная, а на плечах отстежные хлястики из серебряной рогожки с малиновым просветом, завроде наших погонов, не разберёшь, кто ж он по чину, а по возрасту решили — прапорщик. Одно видать: по земле ему

ползать не выпадало. А с ним — унтер, но в стороне держался, как провожатый. И вот на позиции близ орудий собрали всех номеров, всех разведчиков, всех ездовых, кроме дневальных при лошадях. Помещения тут никакого нет, но стоял мягкий серый день без оттепели — и все расположились прямо на позиции за пушками, подмостясь кто охапкой хвороста, кто колодой, кто на пенёк, а те на хоботах орудий, на отсошниках, как и подпоручик Гулай. А ещё был тут, из деревни, колченогий шаткий столик и три табуретки, поставили и их.

Приехавший сразу занял среднее место за столом и грамотного телефониста посадил рядом записывать, — а третья табуретка так никому и не понадобилась, её потом перенесли капитану, который подошёл *с* опозданием.

Чудной прапорщик заложил руку за борт шинели и чудно́ поклонился вправо и влево. (Солдаты оглядывались по-за собой: кому это он поклоны бьёт?) Объявил, что сделает «внеочередной доклад по текущему моменту». (Вылупились.)

И — уверенно понёс, с удовольствием, смачно выговаривая и себя слушая. Чего-то мелькало: «вековой деспотизм… развратный проходимец Распутин вместе с царицей-немкой правили Россией… на подвигах сотен борцов от декабристов до наших дней… звезда свободы… творчество солдатских масс…»

Гулай стал замечать у этого земгусара в терминологии, что он — из публики, отрепетированной в социал-демократических кружках, а то из тех провинциальных юных интеллигентов, какие читают гимназисткам лекции по философии, чтобы верней уложить по выбору в постель.

Солдаты слушали смирно, хотя с глазами стеклянистыми. Прапорщик понёс и дальше — «история всех революций показывает… миражи оптимизма… преодолеть негативность организации», — вдруг кто-то из батарейцев сзади звучно приговорил:

— Зюньзя!

и передался, перекатился смешок. Прапорщик не понял, не заметил, а солдаты стали шевелиться, доставать кисеты, скручивать газетные махорочные цыгарки. И задымило по всему расположению, а кто от дыма отмахивался — казалось: от докладчика.

А Зюньзя не заметил безповоротного — и ещё разгорячался, уже и с жестами, да вольно было речь держать — ни обстрелу, ни ветру, ни снегу, ни холоду, — то ли ждал сопротивления от здешних офицеров, косо поглядывал в их сторону. Но унизительно бы-

ло бы Косте Гулаю тратить свою диалектику на этого мордатенького поросёнка.

Секретарь сидел над чистым листом, не понимая, что ему писать.

Капитан Клементьев и не смотрел на Зюньзю, а куда-то поверх стволов, будто обдумывал стрельбу. Командира же батареи не было.

Наконец Зюньзя заметил, что его вовсе не слушают, и покинул свою фразеологию, стал подделываться под лубочный стиль, ища сочувствия в солдатских лицах: «совсем невтерпёж, невмоготу стало жить бедному люду… полиция грабила живого и мёртвого… начальство только и делало, что запрещало жить своим умом…»

Думали — все выборы будут двадцать минут, не рассчитали: время-то близилось к обеду. Народ забезпокоился, закашлялся, больше зашевелился. Наводчик 2-го орудия хозяйственный Прищенко не выдержал и высоко поднял руку, будь что будет.

Зюньзя заметил:

— Вам, товарищ, что? Отойти? Пожалуйста, разрешения не надо.

Прищенко слез с лафета, переминаясь:

— Да нет, господин прапорщик. Чего ж впорожную вола гонять? Вот-вот куфня приедет.

Зюньзя обиделся на грубость:

— Как же так, товарищи? Я вам — момент объяснял, а теперь должен объяснить о взаимоотношении с офицерами и о роли комитетов.

— Так вы, товарищ господин, и сказывали бы с конца, а то куфня приедет.

— Чего тары-бары размолачивать! — резким, дерзким голосом закричал сзади Евграфов. — Давайте выборы!

Высокий страшноватый Хомутов высморкал на снег одну ноздрю, другую, обтёр нос рукавом шинели и с пучка хвороста угрозил:

— Немец молчить-молчить, а как бухнет раз-другой, тут нас всех и потрафит.

Улыбка презрения прошла по мясистеньким губам приезжего прапорщика. Он посмотрел на них светлыми глазами:

— Так как же мне, товарищи, с вами говорить? — и на беду опёрся о стол, а тот шатнулся, и секретарь подхватил прапорщика под локоть. И ещё менее уверенно: — Я — не знаю.

— Ну а не знаешь — не берись! — резко опять крикнул Евграфов сзади.

Кто-то застыдился, смягчил:

— Господин прапорщик, да ты нас не слушай. Средь нас такого наскажут — на плечах не унесёшь и на возу не утянешь.

Загудели батарейцы: про что дело идёт? хотим знать.

У Зюньзи появилась в руках какая-то бумажка.

Но уже не слушали его, а запросили своего капитана:

— Ваш высбродь!.. То ись господин капитан. Объяснить вы нам по-простому: о чём дело идёт?

Капитана Клементьева любили: имел он сочувствие к батарейцам и никогда никого попусту не распекал.

Со своей манерой молча похаживать-посматривать, он и сейчас присмотрелся — встал — перешёл к столику ближе, но не касался его, и не искал положения рук, у привычного военного они всегда хорошо висят.

— Да что ж, ребята, — заговорил негромко, но всё было слышно. — Тут дело такое. Старый порядок — кончился. А нам — жить нужно.

И остановился. Да кажется, всё главное и сказал. Поняли.

Гулай подумал: и правда. Какой бы там космический аспект революция ни имела — а нам жить нужно.

— Вот и приходится новый порядок заводить, — так же сдержанно и печально объяснял капитан. — И новый порядок придумал, в помощь командиру и в вашу защиту, — батарейные комитеты. Вот вам и нужно в этот комитет выбрать трёх человек. И всё.

— Так это — ещё новое начальство будет? — закричали, смекнули сразу. — А фейерверкера́ на что?

Один телефонист громко крикнул за комитет. Ему:

— Заткнись, проволочная катушка!

Переругивались.

Приезжий прапорщик безполезно стучал карандашиком по столу.

Капитан надумал ещё сказать. Замолчали.

— Батарейный комитет будет заведывать всеми батарейными делами, кроме боевого и строевого. Дел таких немало. Например, кому идти в наряд, на кухню или к лошадям. Кому обмундирование дать, кому не дать, — комитет и решит.

— Ого-о-о! — закричали.

— Не-е-е! Лучше нехай фельдфебель! Он приобычен, рука наторена.

— Не, вашескро… господин капитан! — кричали возмущённо. — Подпусти кого к обмундировке — так на себя напялит и ещё в запас возьмёт.

— А выбирайте таких, что не возьмут, — пожал плечами Клементьев и ушёл на свою табуретку.

Дело перешло опять к Зюньзе. А бумажка в его руках оказалась списком кандидатов — кто, когда, где успел её написать и ему подсунуть?

Прочёл старшего орудийного фейерверкера.

— Ничаво, — отозвался смиряющий голос. — Повертит тебя строго, но что требуется — отпустит.

— Да погрозится, что морду набьёт, коли чистым ходить не будешь.

Уж этот — раздавал, ничего.

— Старший фейерверкер Теличенко.

— Энтот себе лучшенькое отложит!

— Возле воды ходить, да не замочиться?

— Пущай, ничего, подходящий.

Так та́к и выходил фейерверкский комитет, удивился Гулай. Не мытьём, так катаньем.

Нет, третьим Зюньзя прочёл, не ведая, что это его обидчик:

— Бомбардир Прищенко.

Тот и сам не ожидал — вздрогнул.

Сразу несколько недовольных голосов:

— Ишь, гад, куда нацелил!

— У его штаны аль подштанники запроси, так он с тебя до пуза всё сымет, на солнце посветит и ещё ругнёт — поноси.

— Так значит, не подходит? — спросил Зюньзя.

Но и спорить оказались ленивы — кого ещё искать? Да и досуга нет.

— Почему не подходит? Пущай и ён будет, как прыщ на ж…

Других мнений не было.

Прищенко сидел красный от волнения.

Чёрный длинный Хомутов вскочил, прислушался:

— А никак, ребята, кухня ходу даёт? Как раз своечасно!

— Так позвольте, товарищи, — уже неуверенно и брезгливо заявил Зюньзя. — Надо голосовать, сколько за, сколько против, надо в протокол…

— Да пиши, пиши энтих, что выкликнул!

С поворота дороги показалась и сама кухня с завёрнутым дымком.

Побежали за котелками.

627

Ушли в землянки офицеры. Разошлись по делам старшие фейерверкеры. Фельдфебеля и с утра на батарее не было. Ушли ездовые к себе на передки — а у номеров что-то не улягалось: расщекотили их, задели — и теперь не могли они сразу к старому смириться, а разгулялись: чего бы такое поделать?

А погода — тучная, мерклая, «пузырей» немец не подымает.

— Хоть бы пострелять, что ли? — кто-то вздохнул.

— Тю на тебя! — цыкнули. — Оглузденел? Нам чичас немца никак затрагивать нельзя. Перекрестись, что он не трогает! Что тебе в боку застряло?

Стали вспоминать, когда последний раз стреляли, — да уж назад тому недели три? Да погодите, братцы, это не когда наш ероплан пузырь немецкий поджёг? (Повалил дым буро-волчистый, и пожалели ребята наблюдателев, какие с пузыря в трубу глядели: люди они тож, а спалятся, как мухи, в таком огне.)

Расходились ребята, как праздник неоконченный, лишь затравленный, — нет, что бы поделать? И кто-то тут догадайся:

— Так, братцы, теперя комитет у нас есть — а зачем? Пущай не зря подмётки дерут. Пущай составляют список всякому довольствию, какое нам требовается.

— А чего требовается? — Евграфов передразнил. Он за эту неделю уже наметался, нанюхался. — Нам требовается — по домам. И всё тут!

— Как это — по домам? — строго окликнул пожилой прави́льный, и шрам его под глазом надулся, покраснел. — А Россию — чего?

— Усю не заберуть! — отгукнули ему. — Нам чего ни то оставят!

— Это — так, братва. Нам — замирение требуется. И тут батарейный комитет не пособит.

— Замирение — не за первым холмом. А вот насчёт вещичек. Ведь обносились.

У Хомутова и локоть ватника протёрт.

— Давай! Пусть комитет пишет, заготовляет. А на чо выбрали?

Однако и старший наводчик, и старший телефонист ушли, да их потревожить нельзя, уважают.

А попался Прищенко, рожа рябоватая. Потянули его, потолкали: пиши! Да де ж писать? Да всё за тот же столик колченогий, пока с неба ни дождя, ни крупы не сыплет. А на чём же писать? А от собрания листик чистый остался, иде он?

Нашли на снегу. По толстоте никому на курево не сгодился, однако смят.

— Ничего, поразгладим.

Прищенко от комитетского звания не отказался. Сел на табуретку и вывел химическим карандашом, вслух повторяя:

— Наши требования.

Номера обстали вокруг, обсели на табуретках и корточках, а кто стол ненароком качнёт — того в три глотки матом.

— Так, значит. Что пишем?

— Конешня, перво-наперво пиши обмундированию, верхнюю и сподню, шобы всю сменили на новую.

— А старо, чинено, шоб не сдавать, а нам про запас оставить.

— И как же ты всё это потаскаешь? В мешок не влезет.

— Обозу добавить.

— Не, ребята! Первое делу всему — обутка, без обутки нисколько не протопаешь. Пиши первое: выдать всем к весне новые сапоги.

— Не-к, во́ что, во что пиши: замест ватников — всем полушубки!

— Да на кой тебе к лешему полушубки, коли весна?

— А зачем котелок за спиной носим, смекни!

— Пиши, пиши! Так тебе незамедля и приставят по бумаге! Ещё хорошо, коли на другой год к Петру и Павлу отпустят.

— Так ты что, вошь гулящая, ещё к другому Петрову дню воевать хотишь?

— А что тебе здеся, так плохо?

— Чего хорошего: как начнёт садить с чижолой, так и подштанники для лёгкости скинешь.

Прищенко постучал карандашом об стол, на манер того прапорщика:

— Да вы всурьёз, а не лясы молоть!

— Мы и всурьёз. На запас, чтобы промаху не было.

— Да стола не трожьте, мужики.

— Что, правда, как пьяный шатается? Что на ём за писанье? А ну, неси молоток, подобьём.

— А его трогать не надо, писать и всё.

— Так шо дальше писать?

— Смазку для обуви!

— Табаку!

— Заусайловской крупки, на день — осьмушку на двоих.

— Не! Осьмушку — на одного.

— Верно. Они всё равно урежут.

Прищенко ждал, слушал, помусоливал карандаш языком.

Губы и язык его олиловели.

А все кругом стояли-сидели, зарясь, задумывая, и наперебой выталкивали:

— Чтобы парикмахер стрить да брить приходил кажный день!

— Чтоб сапожник со струментом и товаром заседал тут, у нас.

— Чтоб кажную субботу баня, а мыло бы отпускалось фирмы Жукова, фунт на двоих.

— А може тебе земляничного отписать, чтоб от тебя не так смердело?

— Курительной бумажки пачку на два дня! — только теперь про бумагу вспомнили, до того уж к газете привыкли.

— А може тебе ще бумажки для ж… записать? — упёрся Прищенко.

Засмеялись дружно:

— Такой не бывает!

— Не, не, — упёрся Прищенко, — такого не подавайть, курительной не запишу. С таким листом совестно будэ куды сунуться.

— Так — а каку офицеры свёртывают?

— Так ахвицеры — и по зубам мажуть, мало что!

— Во! И нам пиши: зубного матерьяла.

— Так вон, у Прищенки рот теперь весь синий, хоть песком шуруй, за неделю не ототрёшь. Пиши, пиши, Прищенко, ротяного!

Гоготали.

— В комитет попал — теперя посинеешь.

Прищенко достал из кармана серую тряпочку, стал тереть губы и рот.

— С вами, дьяволами, свяжись.

А карандаш химический за ухо положил.

— Не, ты карандашик возьми — да под списочком и распишись. И Теличенко пусть распишется. Весь комитет. И тогда несите.

— А куды несите?

— Ну, куды положено.

— Капитану.

— Ни при чём тут капитан.

— А тому прапорщику, что приезжал. А он дальше нехай двигает.

— А иде он теперь? Он не наш бригадный.

— Не, ты пойди, пойди, с капитаном посоветуйся.

Только начали расходиться — налетел фельдфебель Никита Максимыч, борода смоль, глаз огонь:

— Это что? Почему мебель расставлена? Дневальные, туды вашу растуды, что смотрите?

На формировке окладиста была его смоляная борода, на фронт выезжали — подкоротил, чтобы вша не села.

— Так собрание было, Никита Максимыч!

— Какое тебе собрание? Тут — батарея! Разноси мебель отсюдова, чтобы вмиг!

Уж знал небось про комитет, и обидно ему, что не его выбрали.

Выступил Евграфов, на городской манер:

— Господин фельдфебель! Пущай постоит. Если кому что потребуется записать.

— Ещё чего! — записать! А ну ж — обстрел? Сколько беды от щепья будет? Эй, дневальные, бери, говорят!

Подхватили дневальные стол, табуретки — и потащили прочь подале. Ну, и не в деревню же назад волокти.

Тем временем Прищенко со списком своим вернулся от капитана:

— Сказал: нигде такую не примут, дюже помятая.

628

А занозила Гучкова эта хитрость Керенского встречаться с его полковниками. На каком основании, для чего? Уж он и жалел, что вчера сблагородничал и разрешил. Сегодня хотелось ему узнать бы, как же эта встреча прошла? — но не у кого было: Ободовского

он сегодня не видел, и полковники тоже все как исчезли: никто из них не появлялся доложить сам.

А тут среди дня Гучков узнал, что в предполагаемую правительственную поездку в Ставку, о которой уже столько разговоров, князь Львов сам не едет, но едут, кроме Милюкова, Шингарёва, ещё и Некрасов и — чуть ли не опять Керенский! Вот этим добавлением обожгло Гучкова: ещё и в Ставку совался Керенский? Нет, это уже балаган! И ещё Некрасов? Набрали хлама!

Собственно, вся эта поездка имела смысл в одном Гучкове: военный министр ехал знакомиться со своей Ставкой. Посмотреть их там своими глазами: насколько они искренно приняли переворот и примут реформы? Посмотреть и в глаза Алексееву и, если удастся, установить единство планов. Позже, для важности, добавили Львова и Милюкова, — а теперь вот как поворачивалось?

Первым движением было — звонить князю Львову и решительно протестовать против такой профанации. Но, уже изведав князя Львова, Гучков знал, что это всё равно как боксировать с мягкой подушкой: никакого сопротивления не будет — и результата не будет.

И вторым движением, отталкиваясь ото всей этой пошлой компании, Гучков придумал: ехать от них отдельно, не завтра, а сегодня же вечером, опередить. Отделиться, свою миссию выполнить отдельно, явственно для всей Армии и всей России, а не как развлекательную прогулку.

И уже в первой половине дня отдал энергичные распоряжения: о подготовке поезда, и какие лица с ним поедут, от каких управлений и что готовить. Решил всех вчерашних наказать, оставить. А брать ли Поливанова? Желательно было бы взять как главного сотрудника по предстоящей великой реформе. Но с другой стороны, как бывший тоже военный министр, он рядом с Гучковым отчасти бы конкурировал, забирал бы слишком много значения себе. Да пожалуй, и одиозно было бы среди ставочных появление этой слишком реформаторской фигуры. Не брать.

От быстрого изменения планов уплотнился и сегодняшний служебный день, на который и без того было намечено много — и ещё новое втискивалось.

Надо было съездить в заседание Адмиралтей-Совета и от этих дряхлых адмиралов принять присягу Временному правительству. Утвердить и морскую комиссию по ослаблению уставов — подобную поливановской сухопутной. Затем совещание с комиссаром

Кронштадта Пепеляевым и подготовить, кого же назначить новым комендантом крепости вместо убитого Вирена: назначать приходилось не столько по вкусу министра, сколько по вкусу матросов, ибо могли и не стерпеть.

Пришлось больно капитулировать и перед казанским Советом — не связываться из-за арестованного ими генерала Сандецкого, да ведь и известного реакционера, не шуметь, а выразить казанским переворотчикам благодарность за твёрдость, с какой они в Казани устранили старый порядок.

Не ощущая своей реальной власти, всё время делать вид, что ты ею обладаешь. Разрушительно для себя самого.

Тут же и докладывали, что Исполнительным Комитетом Совета в Петрограде арестован лучший гучковский агитатор полковник Плетнёв, объезжавший казармы с речами. Превозмутительно! — военный министр не мог послать своего оратора по казармам запасных полков! И — освободить его из-под ареста сам не мог?! Теперь нужно было просить у Исполнительного Комитета? Противно. Действовать через министерство юстиции? — опять же Керенский.

Тут — снова какая-то депутация автомобильно-технической части в кожаных куртках. А подошёл к кипе подложенных телеграмм и писем — и очень неприятное попалось от финляндского артиллерийского дивизиона. Спрашивали: развал армии с согласия военного министра — это что, глупость или измена? Какое глубокое непонимание! — да и как им понять со стороны? Какое невежественное применение милюковских обвинений к *нам*?

А что вот было делать с его собственными военно-промышленными комитетами, которыми он так гордился и развивал их до последней натуги, до последнего дня, — а сейчас, с высокого министерского капитанского мостика, видел, что все эти налепленные добавления сильно кренят правительственный корабль. *Ему* никак не возможно было зачеркнуть эту всю общественно-оборонную деятельность. Но теперь он испытывал желание крепко подчинить её министерству. (Как никогда б они не дались при царе.)

День клонился к вечеру, и надо было спешить кончать министерские дела и к поезду. (Подушке Львову сообщить в последний момент, не советуясь.) К счастью, состояние Гучкова было куда лучше, чем к рижской поездке, — и тоже в момент из последних он позвонил из довмина Маше, что уезжает на пару дней. (Она замялась — и не сказала: «Возьми меня».)

629

Кто когда-нибудь поработал с князем Георгием Евгеньевичем — называл его «разрядником электричества». Он не только не был никогда ни с кем резок — кроме царского правительства в его последние месяцы, оно не заслуживало лучшего, — но он исключительно умел и сам примиряться с врагами и всех между собою примирять. Он знал это высокое доброе искусство — с любым человеком поговорить, пошутить, — и собеседник будет вашим. Он кого угодно мог обворожить и склонить на свою сторону. Он умел начальствовать обходительно, безо всякого начальственного тона, вносить мир и успокоение в сердца сотрудников. И в конечном счёте правильно оказалось, что его избрали главой правительства: он всех их возьмёт и спаяет своим миролюбием. Даже было непонятно ему: откуда именно в революционные дни взялось в людях ожесточение? что случилось со всеми? Ну, раньше враждовали с несговорчивой старой властью, но теперь она ушла — и почему же всем не договориться между собой по-хорошему? Даже худой мир всегда лучше доброй ссоры, практические соображения всегда выше. Зачем эта вечная во всём политика? зачем эти партийные страсти?

Особенно щемил князю сердце этот постоянный, почти грубый нажим со стороны Исполнительного Комитета. Так нужно было несколько тихих дней для тайных переговоров с Англией о судьбе царя, уже бы его и отправили, может быть, и всем легче, — но едва Временное правительство потянуло с разъяснением — как Совет стал стучать кулаком и даже издал свой отдельный приказ о задержании царя. Так же грубо и не слушая возражений Исполнительный Комитет настоял созывать Учредительное Собрание в Петрограде — хотя слитное чувство многих ясно подсказывало, что сердце России — Москва, вековая собирательница духовных проявлений и чаяний народа, конечно должна быть и местом Учредительного Собрания. Но князь Львов сразу уступил Совету, чтоб не создавать напряжённых отношений. Только противление вызывает зло.

Да и с Советом всё разрядится, надо лишь миролюбиво с ними разговаривать. Откуда они? — они тоже из народа, и не могут нас не понять. Почему князь Львов и одобрял Контактную комиссию: только лично встречаясь, мы их и сможем убедить, надо смотреть друг другу в глаза.

В такой ситуации князь Львов опасался, чтобы вдруг не порвал с правительством, не ушёл единственный здесь представитель революционеров Керенский. С ним — князь был особенно ласков и уступчив. Да он и замечательный был человек: как никто из министров, он умел ярко действовать на воображение масс и скорее мог подвигнуть их к чуду, чем Милюков своими скучными умственными выкладками. У Керенского обнаруживал князь и созвучную себе веру в русский народ — и очень склонился к его замечательной, ещё пока тайной, одному князю открытой идее: дипломатическими уговорами убедить союзников, что России в теперешних обстоятельствах лучше бы выйти из войны. Как бы это было замечательно, если бы мирно, по-хорошему всё уладить!

Да в Манифесте Совета Рабочих Депутатов и был этот возвышенный порыв к мессианской роли России — всех примирить!

О, дожил князь до счастливых дней, когда можно творить светлую жизнь совместно с народом!

Не надо дёргаться, не надо все время соваться с нашими надуманными интеллигентскими решениями, — надо дать свободно течь великой мудрости народной.

И твёрдо держаться и дальше принципа: мы не смеем влиять на население иначе как нравственно. Никаких приказов. Никакого насилия. Крайне изумляли князя приходящие от некоторых земских управ просьбы о присылке войск для поддержания порядка. По министерству внутренних дел князь велел отвечать: не подлежит Петрограду, улаживайте сами на месте.

Да Боже, да в любое место такого крестьянского волнения если б он мог поехать сам — он бы в пять минут всё уладил!

Удивляли князя и комиссары, разосланные по разным местам России: они запрашивали оттуда, а некоторые даже мчались назад в Петроград: как быть? невозможно организовать на местах власть! губернаторы все сменены в один день, начальники земских управ вместо них не справляются, повсюду множество комитетов, они друг друга не слушают!.. О, слабые, неумелые, неуговорные люди! Вы, комиссары, и не посланы для управления. И зачем же вам непременно — казённое низсылаемое единообразие? Губернаторов? Если нужно — на местах и выберут. Это замечательно, что так много создалось местных демократических комитетов. Везде мудрость народная сотворит наилучшие жизненные формы, всё уляжется. Только нигде не надо доводить до скандалов, надо сговариваться раньше.

Более того, князь готовил на днях ликвидацию и всех градоначальств по всей России: они состоят из людей старого режима, и уже нетерпимы. Пусть и полицию каждый город устраивает на свой ум.

Да вот нельзя было далее тянуть и с отменой смертной казни — уже громко раздавались укоряющие голоса. И амнистию уголовным нельзя было откладывать далее, во всех тюрьмах волновались, и были мятежи.

А в самом Мариинском дворце сидел арестованный генерал Мрозовский — и не знали, что с ним делать. А из Киева срочно телеграфно запрашивали: как быть с арестованным генералом Ивановым? Ну что ж, доставьте его в Петроград, тут произведётся всестороннее расследование.

Да не перечесть запросов и теребящих телеграмм, какими осаждали князя Львова с утра до вечера. И безпрерывно звали к телефону. А ещё ж прорывались депутации, не всем откажешь, — а желала выразить каждая всего лишь полную поддержку Временному правительству.

Возникали самые неожиданные проблемы. То собственный князя Львова Земгор начинал выглядеть как лишний, мешающий деятельности министров. И Особых совещаний по сырью, по топливу, по металлам, по перевозкам существовало так уже много, что, находил Коновалов, надо добавить ещё два новых Особых совещания, дабы координировать деятельность прежних. А всё равно: воззвание к рабочим Донецкого бассейна об увеличении работы (и ограничить Пасху тремя днями) должно было издавать правительство, и комиссаров туда посылать — оно же. И металлургия была в тревожном состоянии. И подпирал вопрос о неизбежности государственной нефтяной монополии. И нельзя было до Учредительного Собрания откладывать рабочего законодательства, свободы профсоюзов, права стачек. Тем временем бастовали в некоторых местах казённых железных дорог, сменяли начальников, а подвижной состав не ремонтируется, — и надо было скорее вводить 8-часовой день и увеличивать заработки. Но заработков требовали все — и надо было объявлять Заём Свободы, о чём опять-таки требовалось воззвание правительства. А Киев требовал преподавания на украинском языке. А Мануйлов заговаривал о реформе высшего образования в Империи и ликвидации системы народных училищ. А ещё первее всего надо было отменять национально-вероисповедные ограничения в Империи.

Да помилосердствуйте, господа! В каких головах это всё может поместиться — и в каком числе заседаний быть обсуждено, мирно и без скандалов?

А скандал едва не получился в правительстве по неожиданному поводу: кто поедет в Ставку? Давно намечалась такая поездка: уж Ставка ли была для правительства не самым главным местом во время ведения Великой войны? Для личного знакомства с ходом дел натурально было ехать премьер-министру, военному министру и министру иностранных дел, поскольку там состояли представители союзников. Чтобы решить острейшие проблемы снабжения армии продовольствием — неизбежно было ехать и Шингарёву. В таком составе и решили ехать, — но тут Некрасов стал резко настаивать, что эта поездка не может состояться без него, иначе он не гарантирует работы прифронтовых железных дорог. Чтобы не было скандала — князь ему уступил. Но тут заявил и Керенский, что ему абсолютно необходимо ехать в Ставку для личного знакомства с Алексеевым и всем штатом, для составления общей политической картины, — и уж кому-кому, но Керенскому Львов никак не мог отказать! Но — и не могло же всё правительство в полном составе ехать в Ставку! Так пришлось отказаться от поездки князю Львову самому. Странно будет выглядеть такая поездка без премьер-министра, но и неприлично же никому не остаться в Петрограде.

Сегодня, пока не разъехались, устроили два заседания правительства — ранневечернее и поздневечернее.

Ещё то огорчало князя, что заседаниями правительства иные министры стали манкировать: опаздывали или на самих заседаниях явно дремали, всю страсть приберегая к столкновениям на закрытых заседаниях, ночных. (А и закрытыми заседаниями не следовало злоупотреблять: уже раздавались упречные общественные голоса, что Временное правительство действует в обстановке тайны.)

И ещё одна особенность формальных заседаний: так много подсовывается бумаг с мелкими вопросами — что невольно их оглашаешь, и так мозги министров долго не доясняются до главных вопросов, хотя все понимают, что надо решать именно главные.

Сам же князь и вынужден начать заседание с вопроса о воздвижении в Петрограде памятника павшим в борьбе за свободу. (Хотят сделать выше Александрова столпа.) Постановили: немедленно объявить конкурс на памятник.

А Шингарёв, хотя необъятные вопросы налегали, не мог не объявить о пожертвованиях, поступивших через него, в том числе, вот, золотая цепочка, которая будет сдана в банк. (Его голос дрогнул, когда он сообщил об этой наивной жертве.)

Эта цепочка подала повод правительству учредить Фонд Национальной Обороны.

А Милюков возбудил вопрос о наградах по дипломатической службе, подписанных до дня революции: как будто нет оснований отменить их и не обнародовать? Зачем обижать ожидающих чиновников?

О процентной прибавке чинам почтово-телеграфного ведомства. Отпустить полмиллиона рублей. Им же — на выдачу пасхальных подарков. Ещё полмиллиона.

Мануйлов: можно ли и всем министрам завести свои бюро для осведомления печати, как завёл Керенский?

Решили, что можно.

Управделами спрашивал: распечатывать ли все акты Временного правительства? А за счёт чего? Отпустить 100 тысяч.

Во всей этой мелкой череде первенствующе важно, как держит себя князь. Он-то не должен допустить скуку ни на лице, ни в голосе. Он-то должен с неизменной внимательной и свежей улыбкой осматривать и опрашивать желающих высказаться и видом своим передавать всем бодрость и надежду.

Ещё такой вопрос: петроградская городская дума, не получив разрешения занять Зимний дворец, теперь настаивает проводить свои общие заседания в Мариинском. Но хорошо ли их сюда пустить? — Нет, господа, тут от них жизни не будет. — Но в какой форме отказать, ведь неудобно?.. Придумали: ведь тут ещё возобновит заседания Государственный Совет!

Глубже в вечер и в ночь уже больше министров собралось, и внимание стягивается острее на вопросах главных.

Окончательно решено все удельные имущества признать национальной собственностью и не платить никаких компенсаций членам императорского дома.

Милюков докладывает исправленный манифест о независимости Польши. Не заметили, что ж он там исправил, — приняли. С плеч.

Ещё Милюков получает согласие правительства признать не подлежащими оглашению все сведения о конференции союзников в минувшем январе.

А теперь — вопрос… вопрос… К нему примерялись уже на закрытых заседаниях и в частных беседах, но его неизбежно внести в протокол, — о казённых окладах самих министров.

Не осталось дремоты, несмотря на поздний час. Все внимательны, но сдержанны.

Так как в частных беседах этот вопрос достаточно выяснен и министр финансов подготовил все нужные справки, то теперь, мановением доброго князя, решение проходит вполне тактично: сперва утверждают товарищам министра — по 12 тысяч в год, а затем министрам, естественно, на ступеньку выше — по 15 тысяч, плюс ещё по 4 тысячи квартирных, кто не занял казённых квартир.

А ещё вдобавок — издержки на представительство. У министра-председателя, военных дел и иностранных это составит ещё по 12 тысяч в год. И остальным — по 6 тысяч.

Всё так, возражений не последовало.

Только вот замечание, небольшое замечание. Его делает сам князь, понимая деликатность. Протоколы наших заседаний все публикуются наряду со всеми великодушными и даже великими актами нашего правительства.

— …но именно *это* постановление разумней было бы не публиковать во всеобщее сведение. Оно может быть криво истолковано, не к поре прийтись…

Благоразумно. И постановили так.

Миновали неловкость, помогая друг другу.

И так бы на светлой ноте могло кончиться заседание, если бы Набоков не достал из своей папки ещё новую бумагу и не объявил: что Исполнительный Комитет Петроградского Совета Рабочих Депутатов вторично настаивает ассигновать из государственного казначейства на организационно-политическую работу Совета — 10 миллионов рублей!

Знал, помнил князь, — но всё равно забыл, и теперь изумился, как бомбой по груди рвануло.

И — все. Шатнулись даже.

Десять миллионов?.. На политическую работу?

Вот это — новые отношения. Вот это — только начни платить.

Да нет, не в десяти миллионах дело, а дело в обиде: зачем же так нехорошо и так даже дерзко?

— Скажите, господа, а кто их вообще в ы б р а л ?

(А — нас?..)

Смолчали.

Значит, мало встречаемся. Мало в глаза друг другу смотрим. Упустил князь Георгий Евгеньевич.

И — что же делать? Начать давать? — невозможно.

— В наших с ними условиях насчет выплаты денег — ничего не было, — твёрдо заявил Милюков.

Но — как можно отказать?..

Но — как можно дать?..

Ай, какая неприятность, какая!..

И — Керенский в отъезде, нельзя с ним посоветоваться.

— Вот что… Вот что, господа… Давайте запишем: передать на добавочное заключение министру финансов… И так выиграем время.

Гладкое молодое лицо Терещенки сильно сморщилось.

****

КРОЙ ДА ПЕСНИ ПОЙ — ШИТЬ СТАНЕШЬ, НАПЛАЧЕШЬСЯ

****

630

Поездкою в корпуса Воротынцев убедился, что время утекает невозвратимо, всё разваливается от каждого упущенного дня.

И — что же намерен Лечицкий? Вот это хотел бы Воротынцев успеть узнать до его отъезда на Западный фронт!

Прошлой осенью в штабе Девятой при разборе одной операции Платон Алексеевич сказал: «Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник придёт к этому убеждению. Не раньше».

Но не застал Воротынцев в армейском штабе никакой суеты. Ни о каком отъезде генерала Лечицкого не говорилось. Странно.

Днём Воротынцев был у Командующего с докладом о своей поездке. Тут-то он и надеялся обратиться с прямым вопросом. Но присутствовали другие, Лечицкий переходил к следующим делам. Не удалось.

Лечицкий был не из столичных лощёных генералов и никогда не пользовался никакими протекциями. Сын сельского священника, всю службу он прошёл на строевых должностях, и с самых низов. Кончал даже не военное училище, а дореформенное юнкерское, выпускавшее подпрапорщиков, то есть старших унтеров, только через год они становились офицерами. И потом 22 года прослужил в захолустных сибирских линейных батальонах, у дальних границ, откуда никто никогда не возвысился. Дослужился до капитана, и на этом кончилась бы его карьера, если бы не Японская война. В ней он получил один из сибирских полков, с тем полком — Георгиевское знамя, и сам стал генерал-майором. Нет — генерал-солдатом. Все вокруг терпели поражения, а он побеждал. В то время Государь так полюбил его, что сразу после войны зачислил в свиту Его Величества и даже — не гвардейца, не генштабиста — назначил командовать в Петербурге 1-й гвардейской дивизией — знаменитыми Преображенским, Семёновским, Измайловским и Егерским полками. Гвардия восприняла как пощёчину, однако Лечицкий тактично вёл себя и за год передал гвардии военный опыт, которого у неё не было. В начале этой войны он формировал Девятую армию, предназначенную для удара на Познань и Берлин, но от первых наших неудач был брошен вызволять Люблин, потом Ивангород, потом задвинут на крайний левый фланг. Тут, между Серетом и Стрыпом (как раз тогда и попал в 9-ю армию полк Воротынцева), при конце нашего великого общего отступления 1915 года, Лечицкий сумел, единственный тогда, наступать, взяли 35 тысяч пленных и могли ринуться в разваленные тылы противника. Просил Лечицкий у Иванова миллион ружейных патронов — тот не дал, нету! В том сентябре собирались дать Лечицкому Румынский фронт — да не владеет французским языком, а надо же разговаривать с румынским королём.

Воротынцева Лечицкий заметил ещё на Стрыпе, отмечал его и в зимних боях под Черновицами, и награждал за июньское наступление к Кымполунгу. Для Воротынцева Лечицкий был генерал в высшем понимании — столько подлинного опыта скопилось в нём. У него есть дар и выше: не окружающим только штабным офицерам, не главным только начальникам, а всем своим войскам вну-

шить волю к победе и уверенность в ней. Но никогда не требует выше солдатских возможностей. («Солдат без подошв — не солдат».)

С каким же замыслом, с каким намерением он едет принимать Западный фронт? (И если бы взял с собой! Он бы не пожалел!)

Сегодня на ночь Воротынцев заступал дежурить по армейскому штабу. И искал и нашёл повод — не слишком пустую телеграмму — войти к старику в кабинет уже настолько поздно, что никого не будет, но чтоб он ещё не спал.

И доложил через адъютанта в половине первого.

Платон Алексеевич принял. Сидел в кабинете один.

Он был ослепительно белый — выседевший до яркого бела: длинные белые, сверкающие усы, тем более рельефные, что остальное лицо гладко брито, и вся голова в мелком бело-седом засеве, и брови тоже белые.

Устало читал бумаги, но, несмотря на поздний час, одиночество и усталость, — стоячий воротник его кителя был застёгнут как среди дня. А китель был домашний — безо всех его многих орденов, и даже Георгиев, одни потемневшие аксельбанты.

Выражение его было устоявшееся печальное: совсем не ждал никакой радости, ни сейчас вот в подаваемом, ничто не могло его прорезать.

Прочёл телеграмму, выслушал пояснение, распорядился.

И опять, но без тяги живой, а как в понурое наклонял голову в бумаги.

— Ваше высокопревосходительство, — поспешил вставить Воротынцев. — Днём я не имел времени после доклада о поездке представить вам ещё некоторые соображения. Я понимаю, что Девятая армия в подробностях вас уже не касается. Но я думаю, что и на Западном фронте творится то же, если не хуже, — там ведь ближе к Петрограду.

Платон Алексеевич как медленно опускал голову — так медленно приподнял опять. Смотрел на Воротынцева печально-опустевшими глазами. Соображал? Тихо высказал:

— Я… не приму Западный фронт.

— Как? — изумился Воротынцев. — Назначенье отменено? Оно широко распечатано.

Смотрел на Воротынцева — а думал о другом:

— Я — отказался категорически.

Во-от что! Воротынцев не смел подробнее спрашивать, но всем видом своим так хотел знать!

И Лечицкий:

— Не время сейчас возвышаться.

Это надо было — на лету перехватить, в высоте. Не время? Да, конечно, не время, когда разваливается, — но и по тому же самому — время!

— Но, ваше высокопревосходительство! Если вам дают фронт именно в этих днях — то значит, относительно вас в Петрограде лучшие надежды…

Лечицкий чуть подвинул голову:

— Относительно меня — может быть. Но должен я охватывать всю обстановку. Если интендантско-думские генералы будут у меня снимать командиров корпусов и начальников дивизий… Какая *от них* может быть реформа? Если все преобразования проводятся, не спрося командующих и под давлением некомпетентных кругов. А Гучков — вообще отдался Совету депутатов?

Посмотрел ли он, напротив, чересчур внимательно — Воротынцеву почудилось, что Командующий испытывает его. Ведь знал же он о его прошлой близости к этой компании.

И Воротынцев — за эти дни не первый раз — почувствовал краску, через шею к щекам. Тотчас он должен был объяснить, чтоб его не путали с ними? Но не находил формы и фразы.

На открытом круглом лбу Лечицкого, уходящем в белый посев седины, даже и морщина не вскатывалась, — но какая обременённость была в глазах, и в тоне, и в сути:

— Не они только. Всё равно при этих обстоятельствах невозможно командовать. Когда у меня под рукой будут арестовывать начальников и офицеров — а я не могу этого остановить. А все начальники тем более подорваны нравственно и могут не справиться с неповиновением. И во всех частях бушуют или вот забушуют комитеты. А при штабе армии разврат идёт ещё быстрей, чем в корпусах. У нас пока ничего, а вон, генерал Рогоза передал, что ждёт — не арестуют ли его в самом штабе. Но главное: Ставка выпустила из рук всякое управление. Читать их безпросветные информирующие телеграммы — вы не представляете, одно отчаяние. И правительство—дезорганизовано и безсильно. Под кем же служить? Нет… нет… — Платон Алексеевич вздохнул над безрадостным столом. — Кто требует исполнения долга неуклонно — тот готовься из армии уходить.

Вот так та́к!.. Сражение потеряно только тогда, когда главный начальник…

Метил Воротынцев шагнуть под сильную руку, в боевой ряд, — а ряда не оказалось. Если лучший Командующий армией отказывается от борьбы… Обстановку он видел несмягчённо, но вывод был чересчур безпощаден.

— Но, ваше высокопревосходительство! Но если и вы… То — кто же тогда?

Только вот теперь она и объяснилась, та печаль до пустоты, которая поразила Воротынцева при начале:

— А много мог сделать наш генерал Сахаров в решающий день отречения? Побрюзжал — и уступил. Ловко подгадали с переворотом, старых офицеров мало даже в гвардии, а в армии почти не осталось. У молодых — совсем иной дух. И вот разрушается всё, на чём армия стояла. Армия — погибает. И руководить событиями — уже нельзя.

Смотрел неподвижно. А стал он сух лицом и пробелён — как бы до святости. В нём как будто очищалось не полководческое его, а наследственное священское

Но вот с этим, с этим — Воротынцев никак не хотел смириться! Если отказаться руководить событиями — то как быть офицером? Зачем?!

— А — война? Как же тогда пойдёт война?

Командующий медленно, сокрушённо кивнул, кивнул головой.

— Войны — скоро не будет, полковник.

Не будет? Да это бы отлично! Да как к этому дойти?!

— Война? — вы сами видите, из чего ж ей быть?.. Конечно, если б я был моложе — я должен бы искать путей. Но при моём возрасте — в э т о м всём я не могу участвовать. Не могу насмеяться над всей своей жизнью.

В *его* возрасте! (Да и не в таком уж возрасте.) Но как быть тем, кого э т о застигло в расцвете?

Заволновавшись, опасаясь не убедить, и забывши границы, Командующий не спрашивал его, — Воротынцев, всё так же стоя навытяжку, лишь руки посвободней:

— Да, ваше высокопревосходительство! Может быть, ни одному поколению русских офицеров не приходилось ломать головы над такой задачей! Но она свалилась — и приходится ломать. Как можно, боя не начинав, признать положение безвыходным? Не может быть, чтоб не нашлось средств, — только как бы их увидеть? Эти настроения в армии могут переломиться, как и появились.

Может быть, Ставка — одёрнет Совет депутатов? Ведь армия же вся за Ставку!

Пронеслось, в возраженье себе самому: но Лечицкий — не Ставка и даже, вот, не Главнокомандующий фронтом. Значит — ещё один рапорт Сахарову, телеграмма в Яссы: исключите чужие вмешательства в военное управление? И пусть безпокоятся старшие по должности? Что, правда, делать?

Глубоко и слышно вздохнул генерал Лечицкий, ничуть не изменясь лицом на горячий всплеск Воротынцева.

— А я же — не ухожу Я остаюсь, пока меня не уволят. Хотя скоро уволят. Потому что ни я их не буду терпеть, ни они меня. Но вы понимаете военную жизнь: теперь всё будет только ссовываться и падать. Ошибкой было бы думать, что с революцией можно повести игру и её перехитрить.

Не много было Воротынцеву отпущено тут беседовать, но вся неповторимость и вся неразрешимость жгуче поднялись к горлу. Погибала армия? Может быть. Погублена война? Может быть.

— Но, ваше высокопревосходительство! — С открытым волнением спросил: — Что же будет с Россией? Россия же! — не может погибнуть??

Лицо Лечицкого было неподвижно, а выдал, шевельнулся рельефный ус:

— Может быть… Может быть, и не сумеем мы… Передать потомкам Россию, унаследованную от отцов.

В эту ночь, пользуясь своим дежурством, Воротынцев по незанятому аппарату юза послал через штаб фронта в Ставку личную телеграмму Свечину, в условных выражениях: возьми в Ставку теперь же на любую должность.

Сейчас, при массовых перемещениях, такая возможность у Свечина, может быть, есть.

СЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

ПЯТНИЦА

631

В мире выковалась Новая Женщина — с новым психологическим складом, с новыми запросами, новыми эмоциями, самостоятельная, внутренне-свободная женщина, с самоценным внутренним миром, живущая интересами общечеловека. Она перестаёт быть простым отражением мужчины, и мужчина любит её за смелый полёт, за самобытность духа. Это уже не «чистые» девушки, роман которых обрывался с благополучным замужеством, это и не жёны, страдающие от измены мужа, — они сами уходят хоть от мужа, хоть от любовника, даже и став матерями. В их нелицемерных переживаниях сокрыта этика более совершенная, чем пассивная добродетель пушкинской Татьяны или трусливая мораль тургеневской Лизы.

А между тем большая литература всё ещё рисует нам женщину былого. С тугой повязкой на глазах шагают беллетристы мимо новой женщины, не в силах её вобрать. Они всё выводят — обманутых, покинутых, слабых созданий, мстительных жён, очаровательных хищниц или безцветных милых девушек, — женщину прошлого с её ревностью — основой всех её трагедий, жизнью, сведенной к любовным переживаниям, даже материнством как суррогатом счастья. Много веков достоинства литературных героинь измерялись не гордыми душевными качествами, а запасом плоских женских половых добродетелей, и особенно — сексуальной чистоты, воспитанной на почитании непорочной мадонны, — и за нею прятались все эмоции (хотя, в противовес лицемерно навязываемой морали, у женщины физиология играет несравненно большую роль, чем у мужчины). Всё описывают нам прежнюю женщину, воспитанную в пассивности, покорности, податливости. Даже самые крупные писатели XIX века в собственной среде не заметили такую яркую провозвестницу нового женского типа, как

Жорж Занд, — великолепную, яркую, обаятельную индивидуальность, выпрямленную во весь рост своей личности, завоевавшую право уйти от «законного» мужа к свободно избранному любовнику.

Бунт! — вот типичное свойство новых героинь! Бунт против предписаний однобокой сексуальной морали! Бунт против любовного плена! Новая героиня постоянно борется со своей склонностью стать тенью мужа, его резонатором, отказаться от себя, раствориться в любви, ассимилироваться с человеком, которого судьба избрала ей во «властелины». Новая женщина не испытывает банкротства, когда мужчина отнимает вносимую им долю. Новая женщина не только не боится самостоятельности, но дорожит ею. Так же и новая девушка, когда женское естество предъявляет свои права, — без былого сентиментального ужаса переступает запретный порог.

На эту новую дорогу многие женщины вступают с трудом, нехотя, перебиваемые атавистическими чувствами женского долготерпения, самоотверженности, бредут даже с тоской, всё лелея мечту о примитивном семейном очаге.

Увы, эти новые героини выпархивают, вытекают лишь из-под второстепенных перьев. Минувшие месяцы в Христиании Александра Коллонтай проглатывала многие-многие, если не все новые западные романы на эту тему. Она сочувственно, сострастно брела вместе со всеми этими Йенни, Майями, Рикардами, Ренатами, Матильдами по их обжигательно неизведанному пути — обдумывая, и учась, и научаясь многому. (И сама стала писать сексуальные рассказы, переживая на себе эти многочисленные сюжеты, которые невозможно реально успеть пережить в жизни. Жаль только, что в мире, захваченном войной, сейчас эти рассказы не могли найти публики.)

Да кто из нас, женщин, не перестрадал втайне все эти проблемы? — но, по въевшемуся в нас лицемерию, мы всё ещё поклоняемся мёртвому идолу обязательной морали. А она тем временем ведёт человечество по пути неуклонного вырождения, со своим кодексом нерасторжимого моногамного брака и институтом проституции, ибо не выполняет двух главных целей: наилучшего воспроизведения потомства и психического утончения человека в любви. Оттого происходит отцеживание самых великолепных женских экземпляров, способных более всего вызвать эротические эмоции мужчин, — в безплодную проституцию. Но в проституции

нет места для требовательного хрупкого Эроса, он в страхе отлетает, боясь испачкать свои золотые крылышки о забрызганное грязью ложе. А в основу легального брака положен ложный принцип безраздельной собственности.

А главное: вступая в брак с завязанными глазами, люди не знают даже: существует ли между ними то физиологическое сродство, то телесное созвучие, без которого брачное счастье вообще неосуществимо. Совсем не неприличны, но очень бы следовало возобновить «пробные ночи», широко практиковавшиеся в Средние Века. (А литература совсем не пишет, оставляет в полной темноте поразительную наивность мужчин: игнорировать переживания женщины в момент наиболее интимного акта. Неудовлетворённость женщин на этой почве известна лишь медикам — а беллетристика проходит молчанием это явление, которое могло бы бросить сноп света на множество семейных драм.)

Это — не первый сексуальный кризис человечества, он уже был и в Возрождение, но тогда не затрагивал податного сословия, социальных низов, те дремали в неведении, — а скоро он грозно вступит и в лачугу рабочего. И какая уже существует реальная пестрота брачных отношений! — неразрывный брак с устойчивой семьёй; тайный адюльтер в браке; свобода в девичестве; проституция во всех разновидностях; снохачество; брак втроём; брак вчетвером; конкубинат — а лицемерное общество всё делает вид, что не замечает. Да неужели же не пришла пора сорвать с сексуальной морали ореол «категорического императива»? привести её наконец в соответствие с запросами прогрессивной части человечества? Индивидуальная воля каждого! — вот единственный законодатель в интимном вопросе. Пусть ещё не завтра наступит для всех новый сексуальный порядок — но дорога уже найдена, вдали уже заманчиво светлеет раскрытая заповедная дверь, — так поспешить распахнуть её — на вольный воздух радостных отношений между полами! Открытая смена любовных союзов на протяжении долгой человеческой жизни должна быть признана обществом как нормальная и неизбежная! Влюбление, страсть, любовь — это лишь полосы жизни, перебегающие под солнцем. Что преступного в том, что эротический экстаз бросает двух людей в объятия друг друга? при чём тут рай и ад?

Поиск близкой понятливой души — это опасная удочка. Приобрести мужа-собственника и властелина твоей души? — это как тюрьма. Пора научить женщину брать любовь не как основу жиз-

ни, а лишь как ступень, как способ выяснить своё истинное «я». Пусть и она научится, как мужчина, выходить из любовного конфликта не с помятыми крыльями, но с закалённой душой. Новая женщина, избавляясь от любовного плена, изумлённо и радостно выпрямляется. В ней страсть более не туманит мозга, привычного к анализу. Для женщины прошлого высшим горем была измена или потеря любимого человека, для современной героини — потеря самой себя, отказ от самой себя в угоду любимому. Она дорожит своей свободой и независимостью и отстаивает её со стойкостью женщин древних саг. Она может простить многое, даже измену, она простит обиду, нанесенную самке, но никогда не простит небрежного отношения к своему духовному «я». (Веками притуплённая психология мужчины часто не даёт ему разглядеть это «я».)

Такая повышенная требовательность к мужчине заставляет многих героинь современных романов переходить от увлечения к увлечению, от любви к любви, в томительных поисках. Одного она любит «верхами души», к другому её властно влечёт телесное сродство. (Периодами — и ей приятно предъявить свои права на земные радости, осознать себя «просто женщиной» и на мужчине проверить своё обаяние — воздушные светлые одежды, солнечные встречи, радостный смех, знойность чувства! — ведь пылкое любовное желание обогащает и расширяет индивидуальность! Когда волна страсти захлёстывает её — она не отрекается от блеснувшей улыбки жизни, не кутается лицемерно в полинявшую мантию женской добродетели — но испивает из кубка любовной радости, чтоб убедиться, насколько он глубок. А если он оказывается мелким — она отбрасывает его без сожаления и горечи. «Уметь в любую минуту сбросить прошлое и воспринимать жизнь, будто она началась сегодня», — таков был девиз Гёте.)

Большая любовь — редкий дар судьбы, выпадающий на долю немногим избранникам. Но если нет большой любви — зачем же эротический голод? Там, где не достигли Большой Любви, пусть её заменит Любовь-игра. Это — не всепоглощающий Эрос с трагическим лицом, — но и не грубый сексуализм. Любовь-игра требует большой душевной тонкости, чуткости, психологической наблюдательности — и даже воспитывает душу больше, чем Большая Любовь. Увы, люди не знают цены эротической дружбе. Надо научить их красивым и необременяющим переживаниям: переливать эротическое вдохновение, не платя за это свободой своей

души и своим будущим. Нельзя набрасывать брачную узду на каждого неосторожно влюблённого. Любовь-игра и указывает эту дорогу.

Всё это Александра Михайловна особенно хорошо и окончательно обдумала минувшей зимой. И хотя по женским масштабам её жизнь уже была прожита, ей исполнялось в этом году 45 лет, и хотя уже много красивого, тонкого и рафинированно-простого она пережила, — но она никак не была утолена, не готова была отречься — и ощущала в себе способность, по Гёте, всё начать заново ещё сегодня! — ещё перешагнуть возраст, и как перешагнуть! — посоревноваться с 20-летними. Невозможно отойти от книги жизни, не долистав её ярких страниц!

Александра никогда не пыталась скрывать своих любовных связей, как это обычно делают мужчины. Её последняя связь с Саньком Шляпниковым была известна в партийных кругах. Диковатого старообрядческого рабочего паренька она развила, подняла, отшлифовала. Но и сама с ним испытала много самобытного, и в благодарном порыве — сейчас даже не верилось, как недавно и с какой страстью — рада была за ним ухаживать, обцеловывать, и всегда упрашивала приезжать скорее и называла себя чухной — хотя обоим было понятно, как это несоразмерно. Забавно было его выращивать. Но всегда было видно самой, что он не вождь, достиг пределов своего роста, в последнее его пребывание в Скандинавии уже заметно прискучивало.

Их любовь-игра уже вся знакома, перезатянулась. Как не дрогнула Сашенька ещё в ранней молодости порвать со своим первым мужем, гвардейским офицером, хотя имея сына от него, сразу поняв, что жизнь «жены и матери» — это клетка, так и во всех последующих разрывах жизни она была неумолима и не колебалась, разжалобить её невозможно.

А тут — и эпоха такая, всё пришло в движение, всё так нервноподъёмно, фейерверком взорвалась революция, — теперь-то и всё менять! (Сейчас революционеры будут появляться у всех на виду, на помостах, на пьедесталах, — и Санёк со своим незначительным мещанским лицом не достоин показываться с нею рядом.) Революция! — всё в огненном круговращении, и самый неожиданный жребий может запылать в твоих руках. В себе она ещё чувствовала столько задатков — дарить! И сама, до переима дыхания, хотела захватной силы, первобытной силы, сильнее себя! Именно этого качества было меньше всего в скучной Европе.

Надо иметь в себе то особенное чувство — у Александры Коллонтай оно было — принадлежности к феерическому ряду женщин революции, особенному пламенному ряду в мировой истории. Эти события разворачивались — для неё, чтобы ей проявиться! Она входила в своё время, в свои обстоятельства, в свой дух! Она немного опаздывала с приездом в Петроград — но ещё не слишком.

Ехала по Швеции — о Шляпникове уже было мало мыслей: вопрос решён безповоротно. Конечно, он будет первое время убит, станет уговаривать, обхаживать, заглядывать в глаза, — но у Коллонтай достаточно душевной упругости, чтобы превзойти такие ситуации. Не дала ему и знать о приезде — чтобы первые часы осмотреться без него.

Двое суток этого пути она много думала не о Шляпникове, но — о Ленине. Не как о мужчине, конечно, смешно представить Ленина мужчиной, но о том, как она перед ним обоснует — этого не избежать — свою нынешнюю теорию и свой идеал. С колючими глазками, колючими негибкими доводами (на всякий случай осторожными в незнакомой области), он, конечно, будет пронзать её на смех. Но и она своего детища легко не отдаст: без нового Эроса наполовину угасал и весь смысл революции. Она заранее почти клокотала, представляя себе эти неизбежные споры: и откуда только может браться такое непростительное равнодушие к одной из, скажем, существенных задач рабочего класса? Ведь это лицемерие, не лучше буржуазного! — относить сексуальную проблему к числу «семейных дел», на которые нет надобности затрачивать коллективные силы и внимание! Но сто́ит, и раньше бывало, заговорить о пролетарской этике, пролетарской сексуальной морали — как наталкиваешься на шаблонное возражение Ленина, что половая мораль — это надстройка, и пока не изменится экономическая база — нечего и…

Спор — будет, и горячий, и уже сейчас надо к нему готовиться, нельзя не отстоять в партии своё верование. Но надо и — умело свою теорию социологизировать, как умеют опытные марксисты. Так прямо, как Коллонтай думала наедине с собой, почти никому в партии и говорить нельзя, да большую часть тонкостей они и не ухватят. Ленину и другим надо говорить приблизительно так.

Сексуального вопроса не могут избежать социалистические программы: ведь отношения между полами влияют на исход борьбы враждующих классов. Надо уже заранее выискать тот основной

критерий морали, который порождается специфическими интересами восходящего рабочего класса, — и привести в соответствие с ним нарождающиеся сексуальные нормы. Эта психическая реформа будет влиять на коренное переустройство социально-экономических отношений на началах коммунизма.

Для Новой женщины любовь должна быть лишь привходящая мелодия, эпизод. Свобода и одиночество нужны ей для любимого дела — работы, агитации, партии, идеи, без которых она не могла бы жить и дышать. Подчинение одного члена класса другим, как это бывает в закреплённом браке, есть момент собственности, враждебный психике пролетариата. Из основных задач рабочего класса вытекают: бóльшая текучесть, меньшая закреплённость в общении полов. Любовь не должна изолировать пару из коллектива. Любовные эмоции как фактор могут быть направлены и на пользу коллектива. Любовь может помочь упрочить связи коллективистской солидарности, а именно: чем больше нитей личной любви будет протянуто между отдельными членами класса — тем прочней солидарность класса. Задача пролетарской идеологии — не изгнать Эрос из социального общения, но перевооружить его колчан на стрелы новой формации!

И неужели вот такое построение не убедит Ленина?..

Финскую границу пересекала в Торнео. На санях переехала реку. Первый человек по эту сторону — солдат с алым бантом на груди, — так и вспыхнуло сердце от этой алости! «Ваши документы!» Но с облегчённым ликованием и беззаботностью белозубо усмехнулась ему Коллонтай: «Но я политический эмигрант, у меня никаких документов нет!» Вызвал офицера — совсем юного и тоже с алым бантом, а в руках — список. Назвала себя гордо — и он нашёл в списке. А был смущён её красотой, не мог скрыть, помог ей выйти из саней — и, вспыхнув, осмелился взять её руку и поцеловал робко.

А потом ехала, ехала через Финляндию — родину свою, потому что мать её была простая финская крестьянка, забравшая себе в мужья сперва одного старого генерала, потом другого генерала, полицейского. Как баловали Сашеньку в юности! — от ласк и не было свободы, оттого и пошла она освобождать народ. В гимназию не пустили, чтоб не развратилась политикой, на Бестужевские курсы не пустили, — всё равно не удержали от революции.

По мере подъезда к Петрограду уже сердце выскакивало: так хотелось скорее всё узнать и скорей во всём участвовать!

На Финляндский вокзал приехала вчера вечером, встретили только знакомые — состоятельная семья, но с революционными традициями, на извозчике повезли к себе на Малую Конюшенную. Их благоустроенной квартиры революция не коснулась, ничто не было ни разбито, ни похищено, можно было принять ванну и засесть к телефону за новостями. До часу ночи Александра Михайловна звонила разным друзьям и знакомым (обойдя Шляпникова). Между другим узнала и про него, что он поколеблен в БЦК, потерял «Правду», — да, вихревое время ему не по таланту.

Из телефонных же разговоров она поняла и многое главное: что Исполнительный Комитет никем не избран, а заседает в захватном порядке, но главная власть — у него.

Утром в десять уже входила в Таврический, с жадностью оглядывая эти стены, эти залы, теперь исторические.

Бродили солдаты, штатские. Мелькала мужественная втягивающая тёмная форма моряков.

Особенно приятно было увидеть милого Лурье — человека остро умного, и с европейским опытом жизни, отчего оба они могли видеть в событиях петроградских больше, чем видели здешние. А ещё: они в первые дни войны были в Германии вместе интернированы как русские, но затем с почётом освобождены как социал-демократы. Сухорукий Лурье приехал всего два дня назад, но уже состоял и в Исполнительном Комитете, уже ко всему тут привык, обо всём рассуждал как участник революции с первых часов, — а ещё через два дня, уверял, такой будет и Коллонтай, безусловно кооптируют, станет первой женщиной в ИК. Во время заседания циммервальдской секции они приветливо перекидывались замечаниями — и вместе толковали остальным, как тот или иной русский шаг выглядит из Европы.

К счастью, Санёк не пришёл на заседание (хорошо, первый взгляд, первый тон — не на публике), вместо него главным от большевиков был Каменев. Познакомилась с Гиммером. Сухой, острый, гномистый человечек, он горел своими безцветными глазами и предрекал победное шествие революции, которое не смогла сбить даже подлая кампания против «анонимов» в Исполнительном Комитете.

От кого-то Коллонтай узнала, что в министерском павильоне до сих пор содержатся арестанты, человек тридцать, — правда, не самые видные, те уже в Петропавловке, но и здесь ещё кое-кто, в том числе и женщины.

— Женщины? — встрепенулась Коллонтай. — Кто?

Полубояринова, издательница «Русского знамени». И жена Сухомлинова. И две дочери Распутина.

— Я хочу их видеть!

— А сегодня захватили, привезли начальника петроградского Охранного отделения.

— Хочу их видеть! Всех! Как это устроить, товарищи? — загорелась Коллонтай от ощущения неповторимости, пропустишь такой миг — всю жизнь потом будешь жалеть.

Формально нужно было разрешение министра юстиции, но, конечно, по знакомству можно быстрей и проще. Пошёл Гиммер попросить прапорщика Знаменского, трудовика.

И повели Александру Коллонтай — большевичку и эмигрантку — специальным коридором, когда-то построенным, чтобы члены правительства шествовали из зала заседания отдохнуть в свой павильон, коридором с остеклёнными стенами, впрочем под вечерние шторы, чтоб охранить от выстрела террориста, — повели и мимо часового с винтовкой ввели в запретную нутрь, уже довольно потрёпанную, уже три недели как плохо убранную тюрьму, — и всё же каждый шаг Коллонтай был её торжеством, ликованием, звоном в ушах: могли мы, социал-демократы, думать дожить до такого? Шла — и чувствовала трепетание в себе общественной страсти. Она ярче торжествовала над такой женщиной из враждебного класса, чем прежняя бы женщина торжествовала над соперницей.

— А начальника Охранки — тоже покажите!

— Хорошо. Пока вот здесь — Полубояринова. Только она очень строптивая, всё время бушует и требует.

И Коллонтай — вошла в комнату, соразмеряя, вся чувствуя свой победный, торжественный шаг и своё синее платье, свою закинутую голову, с небольшого роста, понимая, что представляется этой арестантке — вершительницей её судьбы? ангелом Революции?

Полубояринова встала от книги, от маленького стола, она такого ж роста была, как и Коллонтай, — но ни тени схожей красоты, ни изящества в платьи, чернокудрая твёрдая мещанка. И не заискивала ничуть, — а сразу так и приняла с ненавистью — и ещё шагнула навстречу.

В двух шагах друг против друга они остановились.

И перед этим упёртым взглядом — никак не меньшей силы, чем свой, а с большей яростью, — Коллонтай вдруг потеряла ощу-

щение великого мига. Она, оказывается, не приготовила фразы — ни язвительной, ни унизительной, ни игровой, — она шла уверенная, что свободно будет владеть положением.

Такой упёртой силы ненависти она не помнила, чтобы встречала.

Прямыми глазами они смотрели, ничего не смягчая, — и Полубояринова кликнула резким, бранным голосом:

— Ну, что пришла, потаскуха? Кто такая?

632″

(по социалистической печати, с 15 марта)

О КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ПРОИСКАХ. Генералы-мятежники, сосредоточившиеся в Ставке… Приказы Алексеева… Радко-Дмитриева… Драгомирова, не дозволяющего солдатам ездить в Петроград… Генерал Иванов после неудавшегося похода на революционный Петроград мог гулять в Ставке на свободе, его арестовали только в Киеве… Обосновался в Ставке и разжалованный Николай Николаевич… Призываем всех революционных солдат и офицеров зорко следить за кознями сторонников старого режима.

СВОБОДА ПОЛЬШИ. Полтора века кровавый род Романовых угнетал эту прекрасную, вечно юную страну… Народ-страдалец, вечно погружённый в конспирации, он всегда точил меч, чтобы снести голову петербургскому тирану… Пусть все и каждый, везде и всюду, ведут одну и ту же пропаганду: восстание во всех трёх частях Польши! Нет лучше времени, нет лучше момента, как теперь зажечь святой огонь повстанчества!

Собрание социалистов-революционеров постановило… Признать непростительной и опасной слабостью со стороны Временного правительства содержать Николая Романова в неприспособленном как место заключения царскосельском дворце.

КАК СОДЕРЖИТСЯ НИКОЛАЙ РОМАНОВ. Весь Александровский дворец, все его флигеля и здания, весь парк охраняются сильными караулами, которые стерегут все входы и выходы. Всевозможные повара, лакеи и разная челядь тоже находятся на положении арестованных. К их услугам лакеи разных рангов, скороходы и арапы.

По просьбе комиссара Масловского Николай был ему предъявлен. По словам делегата, лицо бывшего монарха опухшее, взгляд тяжёлый, исподлобья.

ДОЛГ НОВОЙ РОССИИ. Ближайшая задача Временного правительства — отменить национальные ограничения. Эта отмена больше всего касается евреев. Мы знаем, с какой сатанинской настойчивостью царский режим изобретал ограничения для евреев. В этом была какая-то утончённость, какой-то политический садизм. Сотни лет отвратительные тарантулы самодержавия ядом своим отравляли жизнь населяющих Россию национальностей. Кошмар еврейского безправия должен быть немедленно рассеян. Временному правительству пора платить. Срок наступил.

(«День»)

…Центральный комитет печатников объявляет, что им будут приняты все меры против травли рабочей газеты «Правда» — вплоть до бойкота типографий.

…Похождения Распутина, его «чудеса», кутежи и связи обступают вас с газетных столбцов. От Распутина некуда деваться. Неужели свободное слово дано для того… Как только стало возможным говорить обо всём — сейчас же потянуло к «клубничке».

(«День»)

…Из Копенгагена отбыли первые эмигранты, возвращающиеся в Россию, провожаемые кликами «ура» и пением свыше 500 соотечественников.

…Страстно хочется верить, что русская революция — это только первый великолепный сигнал всемирной революции. Революционная радиоактивность должна прорываться через окопы…

…Органы местного самоуправления, эти гнёзда вымирающего дворянства, купцов и домовладельцев, лишённые всякого доверия демократии, сейчас фактически умирают на фоне ураганом поднявшейся жизни.

Долой смертную казнь! Мы не верим, будто один из вождей демократии сказал, будто сперва надо отрубить несколько голов, лишь потом издать декрет об отмене смертной казни. Кому-то выгодно распускать такие слухи, чтобы опорочить демократию. Не надо нам игры в Маратиков и Робеспьериков.

(«День»)

К трамвайным вагоновожатым, кондукторам и рабочим. Товарищи! Трамвайное движение до сих пор не вполне восстановлено, многие десятки вагонов стоят в парках неиспользуемыми. Городская деловая жизнь поэтому плохо налажена, терпит гражданин. Интересы револю-

ции требуют… Пусть все видят, что революция ведёт не к хаосу. Необходимо немедленно согласиться на сверхурочные оплачиваемые работы. Восстановление трамвайного движения — это ваша революционная обязанность, товарищи!

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. …Всем, самовольно отлучившимся из команды Эвакуационного госпиталя, предлагается в ближайшие дни явиться в свою часть. В противном случае будут считаться сторонниками старого режима.

…Предлагается всем, самовольно отлучившимся из 2-й полуроты, вернуться в полуроту до 15-го или 17-го сего месяца включительно. В противном случае перестать считать их своими товарищами…

…Просят товарищей солдат 10-й роты немедленно возвратиться к исполнению обязанностей гражданина.

Товарищи солдаты! Некоторые из вас имеют золотые и серебряные медали, полученные в награду от прежнего правительства. В будущем всякие медали и знаки, вероятно, будут отменены, так как награда каждого гражданина — в сознании долга, исполненного перед Родиной. Все эти медали драгоценного металла нужны теперь на усиление революционной мощи. Предлагаю сдавать их, Советы Депутатов укажут куда.

…Разгром магазина гвардейского Экономического общества принёс колоссальные убытки.

Всероссийская конференция Бунда состоится…

Очередное заседание Еврейской Социал-Демократической Рабочей Партии Поалей-Цион 15 марта в гимназии Гуревича.

Париж. Парижская лига защиты угнетённых евреев с энтузиазмом приветствует русскую революцию и выражает твёрдую уверенность, что Временное правительство немедленно осуществит полную эмансипацию евреев.

Нью-Йорк. Русские политические эмигранты, проживающие в Соединённых Штатах, приветствуют совершившийся переворот, спешат вернуться на родину…

Нью-Йорк. Крупный банкирский дом «Кун, Леб и К°» заявил, что, ввиду нового положения в России, он отныне согласен оказывать материальную поддержку союзникам.

Нижний Тагил, 14. Введена цензура в типографиях… Председатель комитета — присяжный поверенный, социал-демократ.

Боровичи. На городском митинге подожгли знамя «истинно-русских людей», найденное в одном из местных монастырей. Зажигаются костром сложенные портреты высочайших особ.

Бежецк, 15. Председатель Корчевской уездной земской управы Корвин-Литвицкий сожжён крестьянами вместе с его усадьбой. Лес вырублен.

…В деревне новая жизнь налаживается с трудом. Характер текущих событий деревня усваивает нелегко и иногда ошибается при оценке их.

(«Дело народа»)

Помните пленных! В дни возрождения России вспомните о ваших братьях-воинах, томящихся в плену. Забытые и безправные, они умирают от голода и холода.

…Добиваться развития пролетарского самосознания среди официанток Народного дома…

ВАЖНАЯ ПОПРАВКА. Исполнительный Комитет Совета Рабочих и Солдатских Депутатов доводит до всеобщего сведения, что напечатанная позавчера «Декларация прав солдата» представляет лишь проект, еще не обсуждавшийся общим собранием СРСД.

ПЕТРОГРАД ИЛИ МОСКВА? В Москве идёт усиленная агитация, чтобы местом созыва Учредительного Собрания была признана Москва. Надо раз навсегда покончить с этой агитацией. Какое основание делать Москву столицей России? Историческое прошлое Москвы, конечно, не может иметь никакого значения. Москва была центром московского царизма. Кремль — каменное олицетворение московского самодержавия, сокрушившего новгородскую и псковскую республику. Со всей этой романтикой пора уже покончить. Кто ратует за Москву — учитывает возможность ловить рыбу в мутной воде.

(«Известия СРСД»)

Разрушительная часть Великой Российской Революции ещё не закончилась, ещё во многих углах России происходят отрыжки старой власти.

Завод «Промет». Продолжение сверхурочных работ при 8-часовом рабочем дне уничтожит наше завоевание и не оставит времени каждому проявлять гражданские права. Собрание постановляет считать 8-часовой день только при полном уничтожении сверхурочных работ.

Офицеры-питомцы **Михайловской артиллерийской академии**, в стенах которой никогда не угасал светильник свободы, обращаются к Совету Рабочих и Солдатских Депутатов с горячим призывом восстановить на казённых заводах нормальный порядок. Устранение с заводов большого числа лиц технического персонала неизбежно отразится на качестве боевого снабжения и поведёт к напрасным жертвам на фронте.

ЭМИГРАНТОВ НЕ ВПУСКАЮТ В РОССИЮ…

…Наши агитаторы Выборгского района бросают горящие факелы в доселе тёмные углы. От них загораются окрестности и революционной бурей разносятся по всей России пламенеющие щепки…

«ПРАВДА» — РАБОЧЕМУ КЛАССУ. Товарищи, братья по революционному делу! Вы должны знать, что в некоторых пунктах города какие-то неизвестные личности вырывают «Правду» из рук газетчиков. Все эксплуататоры народного труда, все паразиты и тунеядцы обдумывают поход против пролетариата, хотят грядущую демократическую республику превратить для него в смирительную рубашку.

Редакция «Правды»

Комитет бронедивизиона опровергает слухи, что он и петербургский комитет РСДРП разграбляют дворец Кшесинской. Дело в том, что комитет занял дворец уже после двух погромов. А теперь имущество охраняется.

Вследствие заминки подвоза муки к булочным население Петрограда может очутиться в крайне тяжёлом положении. Надвигается грозное бедствие, а светлые дни торжества Свободы не должны быть омрачены сетованиями трудового народа на длинные хвосты и голод…

Всякие волнения на почве продовольственной неурядицы могут быть выгодны только сторонникам старого режима. Просим товарищей солдат не приобретать белый хлеб в лавках. Исполнительный Комитет просит товарищей пекарей не прерывать работы и согласиться на сверхурочные…

В Кронштадте. Сейчас жизнь начинает входить постепенно в нормальную колею. Отношения между офицерами и матросским составом флота, однако, не вполне налажены до сих пор. В начале движения несколько десятков офицеров были убиты, многие арестованы…

Армия и офицерство. Многие офицеры справедливо оказались не заслуживающими народного доверия… Пополнить недостаток молодыми офицерами-революционерами, которые были бы солдатам товарищами и братьями, — особенно из студентов, светлого элемента будущей России.

Среди гренадеров. Признано единогласно полезным для солдат допускать безпрепятственно публику в расположение казарм. Желающим солдатам разрешить проживать на частных квартирах, но с обязательством являться на утреннюю поверку. Выдачу жалованья производить на прежних основаниях.

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ. Товарищи воинские чины 2-го Пулемётного полка! Мощным натиском завоёвана всеми желанная свобода, а враги не дремлют. Возвращайтесь, товарищи, в свою часть. Ибо всякий не

вернувшийся от сего опубликования в течение 5 дней будет считаться позорным изменником нашему святому делу.

…Всех самовольно отлучившихся из 262-го полка и не явившихся в течении одной недели…

…всех отлучившихся из 16-й пешей Ярославской дружины…

…самовольно отлучившимся из 1-го пехотного запасного полка… В противном случае перестать считать их своими товарищами…

…товарищей-солдат 171-го запасного полка, самовольно отлучившихся по разным причинам…

…180-го пехотного запасного полка, с призывом немедленно явиться в свою часть…

СОЛДАТЫ ГРАЖДАНЕ… Не явившихся до 20 марта постановлено считать уклонившимися от исполнения гражданского долга…

Ходатайство бывших дезертиров. …мотивируют, что раньше они не хотели защищать династию Романовых, а в настоящее время хотят бороться за счастье и светлое будущее новой России.

Одна из особенностей нашей революции состоит в том, что базой её до сих пор является Петроград. Схватки и выстрелы, борьба и победа имели место главным образом в Петрограде и его окрестностях. Провинция ограничилась восприятием плодов победы и выражением доверия Временному правительству.

(«Правда», 18 марта)

Нижний Новгород. В приказе по войскам гарнизона объявлено: ввиду высокого общественного значения Совета Солдатских Депутатов, считать его членов неприкосновенными, не приводить в исполнение дисциплинарных взысканий, наложенных на них, освободить от нарядов и других обязанностей службы.

Рыбинск, 16. Бывшие чины полиции благодарят новое правительство за признание за ними прав гражданства, выразившееся в призыве их в ряды войск, и выражают глубокое презрение бывшему полицмейстеру.

Козельский уезд. Крестьяне в неописуемом восторге от революции, многие плачут от радости. Священник предложил устроить молебствие об избавлении от царя-врага. Крестьяне высказываются за республику, так как, по их словам, «зачем выбирать нового царя, когда всё равно потом придётся его выгонять?»

Ямбургский уезд. Постановлено: готовиться к выборам в Учредительное собрание и уничтожать всю литературу, направленную против демократической республики.

…Надо признать: в крестьянстве ещё отчасти остались старые рабские привычки. Тут ещё держится в тёмных головах представление о ца-

ре-батюшке. Тем ясней: если монархия в Англии вредна, то у нас она чрезвычайно опасна.

(«Рабочая газета»)

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ! Не в пример своим западным сёстрам, вы не пожелали замкнуться в эгоистические рамки своих личных женских домоганий, но влились в общую работу…

Воззвание женщин-работниц. До сих пор только отдельные ласточки присоединяли свой голос к хору борцов-пролетариев. Но теперь свободная гражданка-пролетарка предъявляет свои права. Один у нас идеал — социализм.

…в помещении гимназии Гуревича — студенты Бундовой группы…

Объявление. В дни революции со многих автомобилей были сняты магнето. Надеясь на честность и благородство граждан, автомобильный отдел ИК СРСД убедительно просит всех, тем или иным путём приобретших таковые, вернуть их в Государственную Думу, комната № 13…

…Мастера сапожники, башмачники, заготовщики, чемоданщики, портупейщики — приглашаются на общее собрание. Неявившиеся будут считаться сторонниками старого режима.

Петроградские **дворники и швейцары**, собирайтесь в цирк «Модерн» для шествия в Государственную Думу. В единении сила!

Собрание дворников… Организуются в профессиональный союз. Первая задача — изъятие из своей среды реакционеров и тёмных элементов…

…Запасной батальон лейб-гвардии Литовского полка просит возвратить две походные кухни, взятые студентами 27 февраля…

633

Угловая гостиная имела окна на Сергиевскую и на Потёмкинскую. Через эти окна простым глазом была видна вся Революция: как она текла и толпилась вереницами к Таврическому дворцу, затем спадала, прекращалась, а последние дни опять многолюдно потекла. А ещё был — неумолчный дребезг телефона, приносивший вести с разных концов столицы, и всё от людей выдающихся. А ещё же — кто не считал за честь переступить порог этой квар-

тиры и обменяться душевными эманациями с её обитателями? Хозяйкой этого драгоценного мирка была символистическая поэтесса, властного характера, с прямой высокой фигурой и глубоко погружённым взглядом, как переполненная тайнами и смотрящаяся в них. Затем постоянно присутствовал здесь её муж, почти уродливый, — поэт, прозаик, драматург, мыслитель, критик и публицист — несколько раскидистый в творчестве, но тоже если не гений, то с яркими признаками того. И почти так же постоянно пребывал там их друг, всего лишь только мыслитель, критик и публицист, но очень собранный, красавец, и с твёрдым взглядом. Мужчины были тёзки, одинаково звала их и хозяйка, но всякий раз, в трилоге или полилоге, было понятно, к кому обращаются или возражают кому.

А беседы лились тут эти три недели почти непрерывно: события настолько сотрясали, настолько багряно освещали души и горизонты, что онемели их перья, всех троих: друг лишь иногда писал толковательные газетные статьи, муж — лишь иногда доправлял уже готовый роман о декабристах, а хозяйка написала лишь одно новое стихотворение, но, переходя озарённо по комнатам, почему-то навязчиво повторяла своё старое:

…в белоперистости вешних пург
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург…

Петербург — революционной воли императора-диктатора, не затхлого русского царя, взрыв святого мятежного духа на берегу балтийских волн, — и теперь как можно скорей должно быть стёрто позорное имя Петрограда, убогая славянщина, рабья кличка, пощёчина русской истории, и как можно скорее должен быть забыт кошмарный петроградский период с августа Четырнадцатого по март Семнадцатого. Ничтожный Николай был дан России мудро — чтоб она проснулась.

Свершилось! Нам оказалось суждено, что́ не удалось декабристам. Все праведные взлёты тут — 1 марта, 9 января, и вот вспыхнул пламенный столб и зажёг всю Россию! Мы жаждали чуда, и оно состоялось! Что б ни случилось потом дальше — какое радостное время! в революционной подвижности всё кричит «вперёд»! Опьянение правдой Революции! Печать богоприсутствия на лицах. Влюблённость в свободу, не дарованную, но взятую. Можно бояться, можно предвидеть и каркать — но этих наших предвесен-

них морозных белоперистых дней Революции уже никто у нас не отнимет. Огненная радость.

Эти три недели почти не выходя из квартиры, они были в душевном единении со всеми свободолюбцами. Вихри революционных событий все тут прокручивались и прожигались через их души и под их окнами.

У поэтессы был совершенный мужской ум — и она властно охватывала все приносимые вестями события, прежде всего в их политическом единстве, уже потом — в их художественной наивности: и повелительные, хотя тупые воззвания Совета, и нежно уступчивую растерянность думцев. Раза два на четверть часа влетал сюда — кометой, гранатой! — распираемый счастьем Керенский, изо всех политиков единственный на верной точке. Сюда, в квартиру на Сергиевской, телефонировали и заходили воспринять охватывающий свет — и политики, и журналисты, и секретарь Толстого, и деятели церковного отделения (скорей отделить этот груз от государства!), и конечно всех видов искусств.

И хотя хозяйка успевала консультировать и направлять и политиков, и журналистов (и держала в сердце ещё рвущихся в Россию революционеров, как Савинков), — и она, и муж, и друг прежде всего были обязаны перед Искусством, ибо, в конце концов, его самостоятельный ход часто определяет и всю историю. Не всем видное трагическое действо — совершалось в Искусстве эти дни, и его последствия могли быть огромны для будущей России. Своё тройное внимание они должны были устремить сюда, и прежде всего, конечно, на театр. Прежде всего нужны были новые пьесы! — вот, пьеса мужа о декабристах, да и пьеса о Павле, прежде запрещённая, теперь обещала хорошо пойти.

Но, но. События мчались, уже 4 дня как театры возобновили спектакли — а в них, находил друг, до сих пор не возник новый пафос. Дни идут — и нельзя допускать, чтобы старая обывательская тина засасывала граждан Новой России. На афишах императорских театров орлы заменены лирой, в Мариинке сняли тёмно-синий занавес с двуглавым орлом — но это ещё не шаги того золотого века искусств, который теперь распахнётся над Россией. Сколько лет они трое ждали, жаждали и предсказывали революционный взрыв — но это ещё не он? «Да торжествует искусство, освобождённое от гнёта и произвола!» — телеграфировала Александринка Временному правительству, — но с чем же она сама вступила в революцию? Спектакли, которым помешала уличная стрельба, в эти

последние дни отдавались — и уже совсем новый революционный зритель видел вполне старый парад. И всё те же старые тянулись «У врат царства», «Честь и месть», «Шарманка сатаны», и та же двуспальная кровать на французских спектаклях Михáйловского.

Но «Маскарад» стоил кардинального разговора — и уже несколько раз он вспыхивал в квартире поэтессы. Эту постановку режиссёр Мейерхольд готовил пять-шесть сезонов с умопомрачительной роскошью — и приготовили к самому дню революции! Бредовая фантазия, раззолоченный просцениум, колонны с золотом, фестоны на порталах, пышные занавесы, затканные серебром, сияние зеркал, чертоги, безчисленные вазы, ширмы, цветной водоворот неисчерпаемых костюмов, фасонов, неистовое изобилие шелков и бархатов, хаотическая пестрота, далеко перейдено всякое чувство меры, — а вся красота напрасна, ибо: где же Лермонтов? Без его души — зачем эта нагромождённость? Не жесты, а ритмические движения, не шаги, а па, исполнение кукольно-безжизненное. Мейерхольд претенциозно нагромождает трюки и завершает их в финале безвкусным спуском траурного флёра с розовым венком и проходом маски мертвеца.

Но и каков же шарлатан! Обласканец директора императорских театров, казённый клеврет с синекурой в Александринке, — в эти революционные дни он вдруг совершил опередительное изворотливое па — и в прошлое воскресенье на митинге искусств яростно напал на «Мир искусств» уже с революционных позиций: что они узурпаторы, хотят захватным путём стать вершителями судеб русского искусства, примазаться к новому ведомству и с вожделением ждут освободившихся роскошных казённых квартир! И с такой дерзостью и быстротой Мейерхольд совершил своё нападение, что большинство артистов, сидевших на митинге, зашумели и зааплодировали ему против «узурпаторов» — и Бенуа не решился отвечать. И ещё Люба Гуревич подхлестнула в газетных статьях: чтó нам прецеденты мировой истории, если мы творим новую жизнь? Художники привыкли творить каждый в своём непроветриваемом углу, а пришла пора включаться в широкую народную жизнь!

И сегодня в квартире на Сергиевской как раз побывал Бенуа, растерянный и смятый. Он уронил себя в глубокое кресло:

— Да наверно и так. Мы не успеваем за историческим мигом. Русскому богатырю, так долго сидевшему сиднем, мы должны учиться говорить правду просто и сильно — но не визжать и не

мешать ему додумать свою думу. А мы, русское искусство, все немного калеки. У нас нет простоты национального чувства. Но если даже в сумерках царизма — такие пышные цвели таланты, то что же вырастет теперь, на заре!..

Да, какие-то сильные решения должен был принять штаб искусства на Сергиевской! Теперь, когда как будто укладывался политический кризис, но так нервно пульсировал шар Искусства, — три их пера должны были проявить себя с новой силой. И муж — всё доделывал пьесу о декабристах, а друг — стал чаще посылать в газеты новые статьи. В том и величие совершившегося, что это — единый всероссийский порыв. Теперь — надо работать со сверхчеловеческой энергией.

Ушёл Бенуа — и вскоре раздался очень резкий дверной звонок. Так и ёкнуло сердце, не обмануло: да это друг наш Керенский! душа Керенский! — не предупредивши телефоном — влетел ракетой — сияющий, впопыхах — автомобиль ждёт на улице, но, проезжая мимо, не мог отказать себе запорхнуть на пятнадцать минут!

Неудержимо поцеловались с хозяйкой, по привычке политического единомыслия. Пожал руку мужу и другу. И, разбросив руки как крылья подстреленной птицы, свалился в кресло, где только что сидел Бенуа.

Хозяйка, всё такая же несгибно прямая, но с потеплевшими глазами, села через круглый низкий столик от него и смотрела с тревогой. С его узкого бледно-белого лица и никогда не сходили следы нездоровья — и сейчас это не восполнялось энтузиазмом на подвижном трагичном лице Пьеро. Даже бледная зелень виделась в коже обнажённых щёк.

— Алексан Фёдыч, дорогой, ну что? ну что? Ждём от вас, как всегда, новостей.

— А я, как всегда, — додохну́л он, — жду от вас успокоенья душе!

— Что вы делали в Финляндии? Да когда же вы успели вернуться?

— Что делается в вашем министерстве?

— Как ведут себя цензовики в правительстве? Подло?

— Поздравляем с отменой смертной казни!

— Правда ли, что уже совсем готово равноправие евреев?

— О господа! Готово! Этот указ — наша гордость! Ах, если бы я успевал вместить в себя всё, что я успеваю сделать и ска-

зать! Но это происходит почти раньше меня и почти помимо меня! Нигде, кроме вашего чудесного уголка, я не успеваю вздохнуть и…

Он совсем затих, безсильной дугою. Его верхняя губа ребячески оттопырилась в жалобе.

— Что будете пить?

— Всё равно, что подадите, — весь отдыхал он. — Я только на пятнадцать минут. Гонят дела! Сегодня вернулся из Финляндии — сегодня же выезжаю в Ставку.

— В Ставку? Да зачем же? Да неужели и *этого* не могут без вас? Алексан-н Фёдыч?

— Не могут. Увы, ничего они не могут.

Друг спросил, когда будут похороны жертв революции, но Керенский то ли забылся на миг, то ли отдался нирване, не в состоянии был ответить, — хотя веки его не были полностью смежены, чуть покивывали, показывая, что он слышит, что он слушает настойчивые убеждения склонившегося к нему друга:

— Мы надеемся, вы не допустите, чтоб эта церемония потеряла хоть гран торжественности. То, что мы пережили с 1825 по 1917, настолько ужасно, а с 27 февраля по 2 марта настолько чудесно, что обыденные похороны не могли бы удовлетворить народного чувства! И не забудьте: это будут первые на Руси похороны без попов. И мы хороним как будто не только этих, но и всех, отдавших жизнь прежде. Нам надо предаться этой скорби, чтобы потом ещё полней отдаться радости. Они выпили за нас чашу мученичества, чтобы нам открыть чашу радости. Ставьте им памятники, создавайте легенды!

Так, так. Но — что в Финляндии?

Керенский глубоко, облегчённо вздохнул, глаза его раскрылись полностью, и он ответил наслаждённо:

— В Финляндию я ездил поддержать узы дружбы наших наций. Приветствовать их свободу. Толпы, толпы… Речи… Тюльпаны к статуе Рунеберга. Целовался с главой правительства… Ну, и вообще мне там приятно, ведь они меня вылечили… Ну, народный дом, переполненный… Потом — корабли, беседовал с командами… О, как я безмерно устал!..

Едва с балтийских кораблей, так измучен — и уже ехал в Ставку! — поэтесса не могла чего-то здесь охватить. Но она понимала, что Керенского ведёт художественное вдохновение. Его сияющую фигуру она благословляла с первого дня Революции.

— Боялся, что из-за этой поездки пропущу, не встречу Бабушку. Но она опять задержалась в пути. Не дождусь, когда буду её всюду возить и выступать вместе. Надо поддержать связи с эсерами, а то против меня с той стороны копают. Ещё Чернов приедет… Куда не успеваю, посылаю Зензинова…

Число мест и число дел превосходило человеческие возможности.

— В министерстве? — не забыл и других вопросов Керенский, после глотков ледяного сока. — С вялой нежностью: — Ну что ж, освободил Горемыкина и Голицына…

— Не опасно?

— Да нет, старики никудышние. Очень хлопотала Сухомлинова — ей отказал. И Макарова — ни за что не отпущу, он мне ответит! Вот вернусь — буду старших охранников хоть сам допрашивать.

— А царь — останется под арестом?

— Да какой это арест! — отфыркнул Керенский длинными губами, они у него и безпощадно умели складываться. — Узникам дают общаться друг с другом, какое ж тогда следствие? Вот на днях заберу охрану в министерство юстиции, тогда разделю царя и царицу, чтоб они совсем не виделись, как полагается, — вот тогда мы кое-что узнаем! — Оживился. Но ненависти не было в его голосе. — Тогда, может быть, и выследим «дело Царя». Дело Царя!.. Да я должен увидеть их сам. Поеду вот в Царское к ним, нагряну!

Чего не хватило во Французской революции: не явился Робеспьер к Людовику сам!

— Чем более революционным будет правительство в методе своих действий, — внушал друг, — тем большую устойчивость оно приобретёт.

— В такой буре — пойдите сохраните устойчивость! — горько отозвался Керенский, всё ещё бледный. — Послал судебным палатам приказ: кому это удастся, пока по возможности не освобождать уголовников. Ведь что делается: в тюрьмах посжигали дела, теперь никого не знают, у кого когда конец срока, все говорят — на днях. Теперь всё равно неизбежно давать большую общеуголовную амнистию: кому тюрьма — всех освободить, каторжные работы — снять половину. Скоро дадим амнистию, какой не бывало ни при одном царе!

— Но отчего, отчего ваши министры все такие нежные? — с волевым переливом спросила неуклонная поэтесса. — Почему среди министров, кроме вас, попросту говоря — нет мужчин?

Керенский перебрал длинно-волнистыми губами:

— Не говорите, друг мой. Я сам среди них — просто изнываю. Да! — вспомнил, и ещё на ступень оживился, и обратился к поэту-мужу: — Зачем я приехал? Я же приехал заказать вам популярную брошюру о декабристах — ведь вы же дышите ими, вам легко. Напишите скорей! И напоминайте, и выявите, что декабристы были — офицеры! Это сейчас очень пригодится, это может смягчить трения в войсках. А Сытин закатит тираж тысяч сто!

Муж воодушевился, друг во внимательных очках заинтересовался, — но хозяйка продолжала свой важный допрос:

— А как министры восприняли последний манифест Совета?

— Никак! Разве рыбы могут что-нибудь воспринять, не воспринять? Ах, ах! — Керенский страдальчески обжал локтесогнутыми руками свою огурцовую голову. — Эти идиоты из Исполкома просто предают западные демократии! Мне стыдно будет смотреть в глаза французским социалистам, которых я так заверял в нашей верности!

— Но я нахожу… но мы тут находим, что… Манифест — ничего. Конечно, язык эсдечный и есть подозрительные места. Но он возглашает как бы мир без победы? Это красиво. И при этом не зачёркивает войну как субстанцию, как понимаем её мы, символисты: не в грубо прямолинейном смысле всеобщего истребления, но как жертвенное крещение, экстатический подъём, очистительную жертву вселенского костра, в котором и выявляется Мировая Красота. А вы — это понимаете? разделяете?

Керенский оглянул их троих — и испугался их торжественных, загадочных, философических лиц. И в испуге — вскричал, чтоб эти исторические сфинксы услышали! И — вспрыгнул из кресла, и забегал по гостиной, вцепляясь в свой короткий бобрик:

— Исполнительный Комитет — это кучка фанатиков, а вовсе не Россия! Мне нечего делать с этим Исполнительным Комитетом! И с этим правительством-размазнёй мне тоже нечего делать! А между тем не пришлось бы правительству уйти под давлением сепаратного мира, как нажимают тупицы Совета! И что будет с Россией?

И — упал-наклонился к шкафу, как к скале, на его ребро, провисая спиною в глухом френче:

— А вот ещё приедет скоро сумасшедший Ленин — что будет тогда? Я для него — шовинист! А? А??

634

В комнате Исполнительного Комитета за все дни так и не прибили вешалки — и шубы, пальто наваливались на диване, на скамье в углу, и там всегда кто-то возился, разыскивая своё. А пустым шкафом задвигали, чтоб не было прямого ходу, дверь в соседнюю комнату солдатской Исполнительной комиссии, в неё тоже уже навыбирали несколько десятков солдат. А председатель её поручик Станкевич был и там, и тут.

Сколько состояло членов в Исполкоме — наверно и Чхеидзе не знал точно, они всё что-то добавлялись, то из эмиграции, может быть секретариат успевал знать, потому что каждому члену ИК был выдан красный билет для свободного прохода всюду в Таврическом. А вот Пешехонов и Мякотин, наиболее близкие Станкевичу по правосоциалистической ориентации, войти в ИК не захотели, не признавая законности Советов. И седовласый патриарх народников Чайковский, хотя зачислен в ИК, а почти не бывал. А ещё ж сюда доизбрали и солдатских депутатов — пяток писарей во главе с присяжным поверенным. Да ещё была пара военных чиновников от Совета офицерских депутатов, не смевших на Исполкоме и слова сказать. А Капелинский от простого секретаря поднялся в заведующего секретариатом в трёх комнатах, а просто на протоколах сидели у него Перазич и Суриц, тоже не простые писаря, а какие-то партийные, давно кому-то знакомые.

Приезжающие фронтовые депутации иногда допытывались: как Исполком возник и из кого он состоит. Создалось неудобное положение, потому что непартийным людям трудно объяснить традицию революционно-партийных представительств, при которых примитивные общие выборы совсем не обязательны. Да многое было, о чём Исполком не хотел бы дать знать наружу. Он издавал директивным тоном громогласные на всю страну решения — но, как они родились тут, оставалось его тайной. Он ни единый день не выполнил своей повестки, под напором внеочередного принимал решения второпях. Изображаемой уверенности в вождях революционной демократии не было, мнения их менялись с большой быстротой, от уходов-приходов сильно менялся состав заседающих — и настойчивый член мог подловить нужный момент случайного большинства для нужного ему решения. А самым настойчивым оказывался Нахамкис, как второй стоячий председа-

тель он перестаивал и подминал под себя, да ещё ж выходил к делегациям и полкам речи держать — а речи те, как вслушался Станкевич, были многословной пустотой и тупым повторением, что внутренний враг ещё не сломлен и эта подозрительная гуманность погубит революцию.

Но больше: что б там на Исполкоме ни было решено, а по стране разносился даже не его голос, а трубный голос «Известий», четверть миллиона порхающих газетных листов, и это был собственный голос Нахамкиса, захватившего «Известия» с самоуправством и безответственностью. Подбор статей и тон их были безобразны, часто голос «Известий» не отличался от самого грубого голоса «Правды», а «Декларацией прав солдата», напечатанной вовсе не как проект, а как закон, переколыхнули всю армию.

Да десятки членов и нечленов вообще самовольно действовали от имени ИК: на бланках с его печатью рассылали разрешения на грабёж имений, как Александрович, или с мандатами Совета и не считаясь с его постановлениями разъезжали по провинции и фронту. А Скобелев требовал предоставить Совету Зимний дворец.

Таков был тот Исполнительный Комитет, в который Станкевич сознательно пришёл и осваивался тут, видя в нём опору для решений и действий. Но — здесь ли она была?

Во глубине России, по новой моде, возникали такие же неведомые, не сосчитанные и неизвестно как выбранные советы, советы — и слали запросы петроградскому Совету, какой же тактики придерживаться? как относиться к Временному правительству? как…? (А минский Совет слал телеграмму: отвяжитесь, не вмешивайтесь в наши дела!) Петроградский Исполком и хотел бы руководить всеми этими местными советами, да не успевал справиться. И всё чаще говорили, что надо бы ещё в марте собрать Всероссийское совещание Советов.

Станкевич всегда был натурой не только деятельной, но направляющей. Он не мог быть пассивным свидетелем хаоса. Высшая задача была: из какого-то опорного центра опередить разлив анархии, не дать ей развалить армию и Россию! И когда он сидел в бурлении двухтысячного Совета — ему казалось: нет, тут толку не будет, действовать только из ИК. Но, с презрением наблюдая безтолковое прозябание ИК, его страхи перед конфликтами с рабочими и с таинственным Фронтом, как бы он ветром не сдул их тут чертовщинную слаженность, и как ёжились перед распахнутыми лицами фронтовиков; и, слушая жалкий жаргон здешних циммер-

вальдистских формул и как они запутались с этой империалистической войной, что́ о ней думать, и скорей же надо её кончать, и нельзя же стать лёгкой добычей Гогенцоллернов, — Станкевич откидывался: нет! даже с громоздким солдатским сборищем можно кашу сварить надёжнее: оно благоразумней своего Исполкома, потому что солдаты, по крайней мере, стихийные патриоты, их безграмотная толпа настроена здоровей и дружелюбней.

А тут — участились фронтовые делегации. И, перенимая общую самовольщину Исполкома, — Станкевич, на то не уполномоченный, стал к ним выходить и решать армейские вопросы. Едва ли не каждая фронтовая часть уже слала или хотела прислать свою депутацию в Петроград: узнать, понять, что́ тут делается, — как может существовать две власти (иногда спрашивали о судьбе царя). Но — высказаться и самим. И высказывания их были самые не циммервальдские: готовы до последних сил бороться! ни пяди не уступим врагу! армия не потерпит мира с Германией! мы не хотим, чтобы жертвы прошлых лет окончились ничем, и это позор для России! всё для войны! Мы 24 часа под снегом, дождём и ветром — а как будет работать тыл? и он должен идти на те же жертвы! Боимся только одного: что нам не дадут кончить победой! Мы под пулемётами врага не хотим купить своё личное спасение позором России! Неужели новая Россия заклеймит себя изменой? И даже: не трогайте Армию, не мутите её вашими крайностями! Пусть тыл спасёт нас от провокаторов-агитаторов, а мы спасём его от немцев!

И эта обратная фронтовая волна, прикатившая в ответ на посланную туда волну разложения, — несла надежду! С этими фронтовыми делегациями Станкевич освежался от затхлого воздуха Исполкома и снова узнавал себя (военных лет), свою армию и свою Россию. Может быть, эти делегации и не выражали истинно того, что медленно проваривалось сейчас в дремучих низах армии: делегации могли быть посланы инициативными, энергичными, достаточно просвещёнными группами. Но от этого они не переставали выражать возможную энергию армии. Эту обратную здоровую волну надо всеми силами поддержать! эту энергию возглавить и направить. Ещё армия здорова! — но нельзя терять этот короткий момент — надо выйти ей навстречу честной, открытой и нераздвоенной революционной властью!

А с первых дней революции появился обычай посылки во все места *комиссаров* — сперва от Думы в обезглавленные министер-

ства, смятенные губернии, разъяснителями на фронты. Но если безсильная Дума так посылала, то не стократно ли успешней может послать Совет с его реальной властью? Посылать теперь не временных, но постоянных *военных комиссаров* Совета — состоять нашими советчиками и направителями при самом военном министре, при Ставке, при штабах фронтов, флотов да, пожалуй, и всех четырнадцати армий? В момент, когда раскололась власть и на фронтах плохо понимают события, — такие мостики военных комиссаров всё соединят в жёсткую конструкцию: незамедлительно передавать директивы, быстро решать все армейские вопросы, предупреждать ошибочные шаги командующих, но и руководить политической деятельностью в войсках и всей системой солдатских комитетов так, чтоб они не вели к развалу. Право же, это было здорово задумано!

И, со своими офицерами-депутатами подготовив доклад, Станкевич вчера застиг Исполком врасплох и получил предварительное согласие, записали в протокол.

Так — наступит ли эта твёрдая конструкция? Можно ли её состроить нетвёрдыми руками? В Исполкоме в ту минуту, может, сложился случайный состав. А ведь это ещё надо провести и через правительство?

Сегодня в комнате Исполкома было меньше обычных заседающих, зато натаскано много знамён, венков и плакатов: как раз на сегодня назначались грандиозные похороны жертв революции на Марсовом поле, но в последний день отменили за неготовностью. А всё натасканное пока останется здесь, придавая заседаниям Исполкома торжественно-траурный вид: то рабочий, разрывающий цепи на фоне восходящего солнца, то погребальные венки.

И как раз в эту странную обстановку явился совсем неожиданный гость: министр финансов и миллионер, разодетый и даже благоуханный Терещенко. Заседание уже кончилось, но Станкевич остался посмотреть.

Это был первый министр, который явился поклониться Исполнительному Комитету! — Исполком всё же не рискнул бы вызвать министра. До того молодой человек — тридцати лет ему не было, не старше Станкевича, и до того с услеженной наружностью, без усов, без бороды, по-европейски подстрижен, костюм от лучшего портного, уголок белого платочка из нагрудного кармана, крахмальный воротничок, бабочка, сияющая улыбка (глуповатая), — а вокруг по всей комнате чёрно-красные ленты: «Вы жертвою пали».

А из Екатерининского зала доносится марсельеза и вопли, принимают очередной гвардейский полк.

По чьей безтактности этот сахарозаводский наследник и принц киевских шантанов стал революционным министром? Уж после этого ничего более экстравагантного он не мог выкинуть, ни даже вот явясь в Исполнительный Комитет. А явился — кажется, только познакомиться и показать свою обворожительность? Обходил, любезнейше жал руки членам, рассыпался в комплиментах, давал понять, что он тоже читал отцов социализма. Как болтовню наполняют светскими мелочами, так он рассказывал тут, что уже перестраивает государственный бюджет на демократических началах. И о чём только просил: прислать к нему в министерство нескольких советских, помогать в этой работе.

Власть! — наша революция давала задуматься о ней. Ведь как будто революция и производится, чтобы свергнуть одну власть и утвердить другую. Но — странное впечатление вызывал вот такой министр, да и коллеги его: как будто они робели перед властью, не понимали её и себя в ней.

Но так же диковаты были и эти революционные пиджаки, которые вот раскланивались с благоуханным министром. Сами-то они брать власть не хотели никак, а «пусть либерализм обанкротится перед лицом широких масс». (И: чёрт его знает, чем ещё кончится эта революция, и эта война, и эти двенадцать миллионов под ружьём — что с ними делать?) Сам Исполнительный Комитет брать власти не хотел ни за что — однако связал и правительство так, чтоб оно не имело власти.

Но непонятно осталось: зачем же Терещенко приходил?

А вот что: ведь ничего не сказал о 10 миллионах рублей Совету!

И как-то опешили от его ласковости, никто и не спросил.

635

(Армейские фрагменты)

* * *

В Особой армии в гвардейском стрелковом полку Его Величества солдаты отказались спороть с погонов царские вензели. Генерал Гурко приказал: не принуждать солдат.

* * *

В Каменец-Подольске, где штаб Юго-Западного фронта, генерал Брусилов собрал в обширном Народном доме митинг из солдат и офицеров. Из его речи присутствующие узнали, что Брусилов никогда не любил династии, как ни украшал его бывший царь орденами и аксельбантами, купить его ласками было невозможно, — а всегда оставался он верен народу. И что ему всегда претила надоедливая церемония отдания чести, он рад от неё отделаться.

* * *

Командир 22-го армейского корпуса генерал барон фон Бринкен в момент принесения его корпусом присяги Временному правительству внезапно упал перед строем: умер от разрыва сердца.

* * *

Как теперь понимать отменённую присягу? Кое-где дошло до драки между частями присягавшими и неприсягавшими.

* * *

Батальон из резерва повели вечером работать на передовую линию. По дороге в темноте кто-то закричал: «А что нам идти башку подставлять, что мы, дурные?» И другой: «У всех слобода, а нам башку подставлять?» Офицеры всё же уговорили. Но, когда прошли всю дорогу — и всю по грязи, — солдаты окончательно отказались. И весь батальон отправили назад в резерв.

Ещё через ночь их водили уже в другое место, и по сухой дороге. С перекурами, с переговорами добрели к работам перед полуночью. Повозились малость — и через два часа пошабашили.

А ещё на следующий вечер сказали: «Там на рабочем месте грязь». И не пошли.

* * *

И две роты 14-го Финляндского стрелкового полка отказались идти на работы, днём. Начальник дивизии генерал-лейтенант Селивачёв, небольшого роста, а с длинным лысым черепом, сам отправился в лес к этим двум построенным ротам, поздравил их с принятием присяги и предложил рассказать, как они её понимают. Вышел унтер-офицер и доложил: раньше они дрались за немцев и предателей родины, а теперь — за счастье свободной России. Генерал громко спросил, согласны ли роты. Ответили, что согласны. Тогда он объяснил им, что долг и повелевает драться при всех условиях. Обещали работать безропотно.

Ещё спросил: а слыхали ли они, что некоторые мутят слухами о выборе себе начальников? Так вот, он предлагает им выбрать вместо себя начальника дивизии, на что даёт им четверть часа. Отъехал с офицера-

ми, через 15 минут вернулся: готово? В один голос ответили: «Только вас, господин генерал, ваше превосходительство!»

Тогда генерал объяснил, почему им трудно выбирать себе начальников, не зная ни жизни их, ни военных познаний.

* * *

На митингах требуют: убрать из офицеров кто с немецкими фамилиями. И просто строгих. И — на кого покажут, скажут. Некоторые младшие офицеры, прежде в чём-либо оскорблённые, теперь удобно сводят счёты с обидчиками, старшими чином: одни — через подставных унтеров, другие сами произносят зажигательные речи.

* * *

Ахтырский гусарский полк посылал в Петроград своего унтер-офицера «для осведомления». Тот вернулся и доложил своим:

— Совет солдатских депутатов состоит из солдат, никогда не бывших на фронте. Да еще из дезертиров — законных и незаконных. А в госпиталях там раненые требуют давать им хлеб только белый.

* * *

В Петрограде готовились к похоронам «жертв революции» — то есть павших для её торжества. Не хватало трупов. Из лазарета гвардейского Московского батальона собрались везти убитого капитана Фергена… Полковая дама узнала, возмутилась, вывезла его труп из лазарета и похоронила на Успенском военном кладбище.

* * *

Два эшелона 445-го пехотного полка отказались ехать на позицию: «Воевать хотим, а на позицию не желаем, дайте отдых месяца два!»

* * *

16 марта в Твери генерал Чеховской, которого Совет солдатских депутатов избрал бригадным генералом, явился в канцелярию запасного пехотного полка за городом и вёл беседу с офицерами. Вошли трое вооружённых солдат:

— Генерал! Нам приказано вас арестовать! Следуйте за нами на гауптвахту.

Никакой бумаги не было предъявлено, но генерал безпрекословно подчинился. Ни один присутствующий офицер тоже не возразил ни словом.

Конвой из 12 солдат повёл его, впереди отдельно. Со стороны другие солдаты и штатские стали бросать в генерала камнями. Одним из них раненный в голову, генерал Чеховской упал. На него набросились и добили камнями — без помех от конвоя и даже при участии его.

* * *

728-й пехотный полк пожелал видеть своего начальника дивизии в два часа ночи. Затем пережелал и согласился на следующий день. К его встрече полк был выстроен в полном составе, с офицерами. Уполномоченные от солдат, под шумные восклицания всего полка, заявили, что просят разрешения послать четырёх депутатов от полка в Петроградский Совет, чтоб узнать, что там у них делается и сделать им свои заявления.

Уже было соответствующее разрешение по корпусу, и начальник дивизии согласился.

Затем полковые уполномоченные выразили, что их дивизия уже месяц стоит на позиции, а другие дивизии давно отдыхают в Двинске, — и пусть теперь те дивизии поработают в окопах, а без этого и наша на позицию не пойдёт. И ещё они заявляют, что те части в Петрограде и городах, которые ходят по улицам и вывешивают флаги «война до полной победы!», — должны быть поставлены в окопы и испытать на себе, как победа достигается. А нам, послужившим на войне, стать вместо их.

Начальник дивизии генерал-майор Попов четыре часа кряду уговаривал, разъяснял, убеждал (как уже и, с 1 марта, каждодневно беседовал во всех частях), — ничего не добился. Солдаты настаивали, чтобы спешно было доложено командиру корпуса и командующему армией и дать им ответ.

С каждым днём недоразумения всё чаще — по пустякам, а по характеру грозные. Солдаты озлоблены. Уговорят по одному случаю — вспыхивает по другому.

* * *

А в одной дивизии 18-го корпуса взбунтовался перевязочный отряд: потребовал, чтоб над ним не было никакого воинского начальника, а медицинский персонал сам бы самоуправлялся.

* * *

В 144-м Каширском полку, известном нам по Хохенштейну, где лёг он наполовину, задерживая немцев, и командир был убит при знамени, а другие попали в плен, — в этом новом полку со старым названием теперь арестовали командира полка и полкового адъютанта. Через день, однако, освободили.

* * *

В гвардейском Московском полку на фронте третья рота самочинно построилась без оружия, и фельдфебель подпрапорщик Кузнечихин доложил командиру роты штабс-капитану Климовичу 3-му, что рота просит его выйти к ней. Он вышел к ней, поздоровался. Но вместо ответа они по знаку фельдфебеля объявили, что не желают, чтоб он командовал ротой дальше. Климович отправился к командиру батальона с до-

кладом о происшедшем — тем временем рота, смяв ряды, бросилась к землянке, где помещался подпоручик Костылев, объявила ему, что выбрала своим командиром, и стала качать при криках. Климовичу осталось отправиться в обоз 2-го разряда.

* * *

Скомандовали солдатам, что будет полковой парад. Куда ето ещё заведут? Не поверили — и зарядили боевые патроны.

В одном полку требуют 8-часового окопного дня. В атаку не пойдут, так как *этой* земли им не дадут.

В другом: «Хотим домой! Хотим попользоваться свободушкой и землицей! Зачем нам теперя калечиться? Шибко ужасно умирать при таких открытых дверях в России!» Потом уступили: ладно, стоять в обороне будем, но в наступление не пойдём.

Через лавочника солдатской лавки один полк передал другому угрозу: в наступление не ходить, откроют фланговый огонь.

Восемь разведчиков бросили винтовки и перебежали к противнику. («Теперь слобода, не накажут».)

В германских листовках: Германия сочувствует государственному перевороту в России, отказывается от вмешательства в её внутренние дела и от наступления на русском фронте. «Англия желает воевать до безконечности и чтобы русский солдат служил ей пушечным мясом. Свергните постыдное иго англичан!»

А Юго-Западное интендантство как раз в эти недели ухудшило выдачи: ржавые селёдки, худая солонина, чечевица. Громче кричали на митингах: офицерьё это нарочно делает, чтоб нас опять вогнать в нижних чинов!

* * *

Уже и такое поползло: офицерóв бы кончить, денежные ящики разбить, деньги поделить поровну — да и по домам.

Поделить ротные деньги? Солдаты из хозяйственных мужиков оспаривают: не делить, ещё всей роте нужда будет.

Солдаты в землянках целыми днями режутся в карты. Командующий 4-й армией генерал Рогоза запретил и генералам и офицерам играть в карты до конца войны — чтобы только солдаты не играли.

Так всё равно будут.

* * *

В Брянске вспыхнул бунт гарнизона. При командующем 10-й армией генерал для поручений Марков поспешил в кипение совета военных депутатов, бурно выступил там, добился постановления: освободить 20 арестованных офицеров и восстановить дисциплину. Но после полуночи несколько вооружённых рот двинулись на вокзал расправить-

ся и с Марковым, и освобождёнными. Толпа бесновалась, положение отчаянное. Марков, перекрикивая гул:

— Да если был бы тут один из моих железных стрелков, он бы вам сказал, кто такой генерал Марков.

Из толпы голос:

— Я — из 13-го полка.

Марков, расталкивая солдат, к нему, и за ворот шинели:

— Ты? Ну так стреляй. Пощадила пуля в боях — пусть покончит мой стрелок.

Толпа взмыла восторгом. И под «ура» отпустила его с освобождёнными в Минск.

636

По желаниям, выраженным из Петрограда, генерал Алексеев понял, что Гучкову сегодня не надо устраивать никакой торжественной встречи, а министрам завтра — напротив, надо. И он отдал распоряжение собрать завтра на вокзал штабных офицеров и публику, а сегодня поехал к полудню встречать Гучкова лишь с Лукомским и Клембовским.

Это и лучше, что Гучков приезжал прежде остальных министров, отдельно. Наперёд выступал не политический разговор, очень неприятный, но профессиональный военный.

На перрон всё же стянулось немного публики, кто узнал. Поезд остановился — из гучковского вагона вышло двое юнкеров-павлонов и стали часовыми у входа, отлично держась. В окнах виднелись полковники, сопровождавшие министра.

Алексеев вошёл в вагон волнуясь: ещё живо было в памяти, как Гучков едва не погубил его прошлой осенью перед императором своими необузданными письмами, так что на некоторое время даже само звучание его фамилии становилось генералу неприятно. Не виделись больше года — и вот он приехал в Ставку не скромным краснокрестным представителем — а в полной власти. Да он и раньше казался Алексееву человеком необыкновенным — своею всероссийской славой, отвагой, своею противотронной дерзостью. Поэтому и сейчас не было ревнивого чувства, что это — штатский выскочка, занявший пост военного министра. Алексеев с тревогой ожидал, как на него Гучков посмотрит и что первое скажет.

Гучков сидел над бумагами в салоне-канцелярии, образовавшемся от разгородки двух купе. В полувоенном френче, а вид усталый. Поднялся безо всякой военной подтяжки.

Алексеев отрапортовал с рукой при козырьке. Пожали руки запросто. Немного полегчало: вид у Гучкова был не для разноса.

Сказали по несколько слов. Несколько слов после таких событий! Всё — ничтожно, невыразимо, неперечислимо, и сколькое уже отпечатано на текущих лентах аппаратов…

А поздравление с занятием министерского поста — как-то не выговорилось.

Но и, встречно, никакого сочувствия уязвленному Советом положению Алексеева Гучков не высказал. И унизительно было бы жаловаться ему на Совет? А может быть, это и значило, что не надо обращать внимания на газетные статьи?

Гучков представил несколько своих чинов. И — корреспондента «Таймс», зачем-то сопровождавшего его вместо русского.

Фельдфебель павлонов выстроил свою чёткую четвёрку у выхода — и это был весь караул. Проминаясь, Гучков вышел на перрон, пожал руки Лукомскому, Клембовскому, не добавил ничего — и все пошли, сели в моторы.

Этот путь по Днепровскому проспекту за последние недели с разным настроением проезжал Алексеев — то в темноте, то днём, встречая, провожая царя, и всегда с душевным грузом. А кроме этих немногих проездок, он все три недели просидел и пролежал в своём кабинете.

В офицерском собрании был сервирован торжественный завтрак, и все старшие чины штаба ожидали (только оставшимся великим князьям было советано не приходить). Гучков, здороваясь со всеми, иногда и улыбался, а был рассеян. Разговор за завтраком свёлся к пустякам, вполне как бывало за царским столом.

После завтрака закрылись вдвоём в небольшой «государевой» комнате, Гучков сел в единственное здесь кресло, в котором неделю назад томился, не помещался долгоскладный Николай Николаевич. А Алексеев — сбоку, разложив на зелёном сукне стола пачку заготовленных бумаг.

И пять карт фронтов висели на стойках позади их спин, но не пригодились, не дошло до направлений и стрелок.

Алексеев начинал переговоры с правительством — неравным партнёром: и от передвижки всех событий и властей, и от улюлюкающей травли Совета, и от ослабления армии, и ещё не утвер-

ждённый в своём посту, — начинал гораздо неуверенней, чем бывало прежде рядом с расположенным, всегда доверчивым императором.

Раньше военный министр совсем и никак не командовал Ставкой. А сейчас — не могло возникнуть и мысли о неподчинении Ставки министру.

Однако в последние дни и даже часы, проведя важные консультации с Главнокомандующими, обменявшись подробными телеграммами, Алексеев пришёл к неожиданному выводу, который укреплял его по отношению к правительству.

Консультации были: на что способны, что могут планировать наши фронты в ближайшие недели и месяцы? И, кроме Кавказского, из четырёх спрошенных Главнокомандующих один только Рузский — три дня назад просивший четыре корпуса в подкрепление, имеющий двукратное численное превосходство над противником, а желающий трёхкратного, — только он ответил пессимистически: вековые устои сброшены, новые не созданы, отношения налаживаются с трудом, в запасных частях крайнее расстройство, новых комплектований нет и не будет, дезертирства даже подсчитать нельзя, в одном 171-м запасном полку не досчитывают 4 тысяч человек, — для нас возможна только оборона! — на подготовку наступления нет сил. Перед союзниками же следует объяснять поздней весной и распутицей.

И Алексеев, тоже мрачно видя армейское положение, был с тем согласен. Да от Рузского он и не хотел бы наступления, трудно добыть линию лучше, чем Двина.

Но тут же вослед, с Западного фронта, где временно главнокомандовал старик-генерал Смирнов (с которым Алексеев как раз хорошо действовал в августе 1915 при окончательной остановке немцев), — пришёл бодрый ответ совершенно противоположного смысла. Он уверенно писал, что если наше политическое расстройство отнимет у нас способность наступать — то тем более оно отнимет у нас способность обороняться: на оборону надо никак не меньше сил и средств, но их придётся рассредоточить на фронте в 1650 вёрст, не зная, где немцы нанесут удар, а при наступлении мы сами концентрируем их в назначенном месте, и при нашем нынешнем недостатке притекающего снаряжения и пополнений — именно это и легче. Лучше наступать, даже без полной уверенности в успехе, чем обречь себя затыкать угрожаемые места. При неудачном наступлении мы в худшем случае останемся на том же месте,

а при неудачной обороне мы будем отступать хуже, чем в 1915 году, — по чисто русской земле и ближе к жизненным центрам страны. Напротив: чем скорей мы втянем войска в боевую работу, тем скорей они отвлекутся от политических увлечений. Да обязаны же мы и помогать союзникам, они вправе ждать нашей помощи.

Михаил Васильич был поражён не самими этими простыми доводами, а — насколько же его в па́морки отшибло за эти недели, что подчинённый должен ему объяснять прекрасно ему самому известные принципы стратегии. Так он был травмирован революцией, что потерял ясность взгляда. Да больше всего приходилось общаться с Рузским, а Рузский-то и нагонял паники. Да и правда же Балтийский флот развалился, — и едва освободятся ото льда Финский и Рижский заливы — какой может быть удар по нашему правому флангу?

Но и тем более значит, чем этого ждать — лучше самим избрать наступление в центре. Если Гурко примет Западный фронт — то, зная его: он ещё резче будет требовать того, что сейчас Смирнов.

А ответил Брусилов — и пришлось Алексееву покраснеть ещё больше. Когда две недели назад решался вопрос об устоянии армии против революционной заразы и ещё можно было всё спасти — именно Брусилов (с Рузским) мешал собраться совещанию Главнокомандующих. А теперь он собрал своих четырёх командующих армиями, и их военный совет решил даже единогласно: армии желают и могут наступать! Наступление вполне возможно! Революционное движение не отразилось пока на нравственной упругости и духе вверенного мне фронта, тлетворное влияние пропаганды скажется лишь при долгом бездействии. Мы перешли к новому порядку в полном спокойствии, вопрос внутренней политики для армии должен считаться законченным, и никаких больше партийных влияний. Пассивный образ действий убьёт настроение, подорвёт веру в высших начальников, войска будут возмущены их бездействием, и исчезнет дисциплина. Так же уверен Брусилов, что и военный министр преувеличивает падение нравственного уровня запасных частей: вливаясь в боевые части, они тотчас укрепятся. А первая даже небольшая победа вызовет воодушевление всей России, патриотизм поднимется, и напрягутся все силы государства. Да победа нужна нам и для того, чтобы не подорвать веру союзников в нас, иначе они поставят нас в изолированное положение и лишат денежных кредитов. Да победа нужна нам по самым общим сообра-

жениям: 1917 — несомненно последний год войны, и как же можем мы закончить безславно? Конечно, риск есть, — но по ограниченности ресурсов мы вынуждены сузить фронт прорыва и масштаб наступления. И просит Брусилов не предпринимать никаких шагов в смысле отказа перед союзниками от выполнения наших обязательств. Наступление наше возможно начать в первых числах мая.

Да так же недавно думал и Алексеев! Именно так он и писал 9 марта французам: наше наступление начнётся в первых числах мая. Но потом подрезал его первый же Гучков, что правительство ничего не значит без Совета, ничем не распоряжается, не будет ни пополнений, ни снаряжения. И затменной головой Алексеев написал союзникам 13 марта, что наступление не может начаться раньше июня-июля. И в какое же глупое положение, оказывается, он поставил не только себя, но всю армию и всю Россию?

И даже, вот, нерешительный Сахаров, ещё перепутанный всеми румынскими расслаблениями, — и тот ответил, что склоняется к небольшим активным ударам!

И: все Главнокомандующие подтверждали, что гурковская зимняя переформировка дивизий была успешна, новые дивизии не уступают старым и увеличилась наша мобильность.

И всё это сложилось у Алексеева — буквально за несколько часов до приезда военного министра. И когда теперь они с Гучковым уселись в государевой комнате для разговора — Алексеев, очнувшийся в своём прежнем убеждении, мог уверенно докладывать. Что морально неустойчивые войска лучше применимы в наступлении, нежели в обороне. А патронов, снарядов и укомплектований для обороны требуется никак не меньше, чем для наступления. По нынешнему нравственному настроению войск и по глубине театра действий наше отступление теперь было бы губительно, грозней, чем в Пятнадцатом году. Мы не смеем обречь себя на оборону или отложить наступление до июня-июля. А от первых успехов будет всеобщее воодушевление, и — надеется Алексеев — исправится нынешнее недобросовестное поведение рабочих Петроградского района.

Гучков же, по мере того как всё это слышал, — поднимался плечами, выравнивал спину, поблескивал пенсне с растущим удовольствием, и возвращался к нему прежний задористый вскид головы. И даже охотно принял брусиловский упрёк, что военный министр преувеличивает нравственное падение запасных частей. И легко согласился с бурчанием Алексеева — не давать просимых

четырёх корпусов Рузскому. Им-то двоим, здесь, было хорошо понятно, что все те шумные заявления их об угрозе германского наступления на Петроград были дуты, лишь для вразумления столицы и подтяжки дисциплины в ней.

Но теперь, укрепясь против министра, Алексеев не мог не спросить: а как же — сам министр? само Временное правительство, если, писал Гучков, оно располагает властью лишь в пределах, допускаемых Советом?

Однако, вот, повеселевший Гучков ответил совсем другое: то было написано в мрачную минуту. Обстоятельства нестабильны, да, но не так страшен чёрт. Постепенно улаживается.

Можно было это понять и так, что правительство защитит Алексеева от травли Совета?.. Гучков не сказал прямо. И генерал постеснялся спросить прямо. А так:

— Значит, Ставка в своих действиях может реально учитывать только директивы правительства?

Да, конечно.

И есть надежда, что правительство обезпечит высылку маршевых рот из петроградского гарнизона?

Да. Да.

Пободревший Гучков объяснял имеющее ныне быть соотношение между ними. Английская система: за Ставкой — только техническое выполнение чисто военных задач, а общие директивы — от Временного правительства. Некоторые прежние высшие функции Ставки теперь перейдут к военному министерству. Генерал Алексеев останется в качестве Верховного Главнокомандующего. Лукомского придётся убрать, да и Клембовского оставить только на переходный период.

Не в силах был Алексеев тут спорить, да и не сжился он ни с тем ни с другим. Да не всё ли равно, с кем работать, если делаешь всё сам? По своей постоянной форме работы он и не нуждался ни в ком.

А начальником штаба Верховного предполагается назначить генерала Деникина, отличный боевой генерал, Гучков надеется — Михаил Васильич не будет возражать?

В такой форме и так поздно спрашивали — что ж теперь спорить?.. (Отличный боевой генерал? — так и место бы ему на своём корпусе…)

Сахарова — в отставку, после его рыданий над падающим императором, заменим Лечицким.

Но Лечицкий уже отказался принять Западный фронт.

Ну а Румынский, свой, примет.

Да переставлять, переставлять — владело Гучковым неутолимое желание. Командующих армиями из четырнадцати хотел снять чуть ли не пятерых! да командиров корпусов — полтора десятка! да начальников дивизий десятка четыре! И верил, что от этого наступит бодрящее настроение среди воинов.

Сидел штатский хромуля — и рвался пройтись ураганом по командному составу. Как будто есть лучшее соответствие, чем когда человек привык к своему посту и к нему привыкли.

Для постоянной связи предполагается держать при Ставке представителей от военного министра.

Когда бывал такой представитель? Зачем?..

Но выбора не было. Разве Алексеев — условно оставляемый, как быть не назначенный, да при арестах ставочных офицеров, тень на всю Ставку, да яростно атакованный Советом и не защищённый правительством, — разве он был в позиции возражать против этих или даже удвоенных реформ? Он должен был проглатывать и своё унижение, и дикие постановления позорной поливановской комиссии, да ещё узнавая их готовыми из газет.

637

От того, что правительство разрешило Шингарёву готовить хлебную монополию, — бремя его только увеличилось, а колебания не оставили. По всей логике дела, вводить монополию — надо было. У прогрессивной русской интеллигенции всегда было убеждение, что государственное регулирование имеет преимущество перед частной инициативой, только в кадетских кругах высказывалось, что бюрократическое государство не сумеет регулировать рационально. Теперь же, когда на Руси возникла свободная государственность, — теперь-то, кажется бы, регулирование и начать! Все воюющие страны так или иначе уже отказывались от свободы торговли. И перед всеми глазами — блистательный образец германского регулирования. Так почему ж отставать России?

Но Шингарёв сердцем ощущал нечто выше логики: хлеб взрастил землепашец, а государство клало руку: всё моё! И хотя это делалось для пользы всех этих же землепашцев, всей этой Руси соединённо — а было содрогновенное чувство роковой черты. Но

только другу своей юности, взятому в заместители, да Фроне Андрей Иваныч об этом говорил — никому более в министерстве, ни тем более в правительстве: это был, конечно, реликт сознания, который надо отогнать.

Как отец семьи не может жить и спать спокойно, зная, что семье грозит голод, — так и Шингарёв теперь стал чуть не отцом всей России: за всякий голод в ней отвечал он.

Простой сельский врач, как ни рачительный о крестьянах, — думал ли он когда-нибудь, что станет главным вершителем судеб всей русской деревни? Что окажется тем главным человеком, который должен накормить всю Россию? Финансы, он видел теперь, была придуманная для него отрасль. А министр земледелия — он был, кажется, настоящий, уж по всей душе.

Да он рад был, да он горд был, что это так. И крикнуть хотелось: Милая! Потерпи! Ещё немного потерпи! Ещё немного поднатужься и помоги — вот сейчас! А мы Тебе скоро всё воздадим.

Но, Боже, какое бремя! — оно ощутимо гнуло и проваливало плечи, и со дня на день становилось всё тяжелей.

Тем временем сведения о проекте монополии попали в газеты и обсуждались там, министра предупреждали от возможных ошибок: спешное введение монополии может отразиться с плачевностью. Посетила Шингарёва и депутация от хлебных фирм. Эта настаивала, более того: в Германии хлеба недостаёт, а у нас много, и введение монополии у нас — безсмыслица. А учёт запасов, напротив, у нас и труден, и не умеем мы. Фирмы настаивали вообще отменить твёрдые цены и отменить все запреты на передвижение хлебных грузов по железным дорогам: только тогда Петроград получит неограниченно хлеба. Да и ясно, что только выгодные цены на хлеб могут подвигнуть и к полному засеву в будущем.

И это было во многом верно! Но на колебательные размышления не оставалось ни дня: проект уже разрабатывался в министерстве и неизбежно катился к утверждению — и министерство предусмотрительно уже отбирало себе даже зернохранилища у Петроградского банка. Шингарёв провёл несколько заседаний комиссии по разработке монополии, сегодня работа была почти окончена — и только предстояло ещё пропускать её через Продовольственный комитет, где Громан будет много портить. (Громан нёс безтолковщину на каждом шагу, странно, что раньше думцы не замечали его ограниченности. Теперь он вообразил себя как бы вторым министром продовольствия, от Совета, оккупировал и сам кабинет Шингарёва, поставил стол в

середине комнаты, контролировать министра. За тем столом сразу по пять человек курили — а Шингарёв, не курильщик, задыхался от дыма и страдал от шума, — а неудобно было выставить.) Уже было установлено: что весь сохранившийся в зерне хлеб прошлых лет, хлеб 1916 года и будущий 1917-го — поступает на учёт и в распоряжение государства. Владельцам хлеб оставляется лишь по нормам: для обсеменения, для прокормления себя — пуд с четвертью на душу в месяц (почти петроградская норма), сезонных рабочих, скота. Всякий владелец обязан объявлять количества по видам и места хранения своих запасов. Кто отказывается от добровольной сдачи — у того производится реквизиция по особым правилам, по сниженной цене. Обнаруженные же скрытые запасы отчуждаются в пользу государства по половинной цене. Также обязательна для владельца доставка хлеба на станцию, пристань, а до сдачи — храненье и ответственность за сохранность.

А пока — надо было успевать поворачиваться и распоряжаться как под артиллерийским огнём. В Петрограде — ввести хлебные карточки! Телеграфировать во все губернии, чтобы вводили хлебные карточки и там. В Петрограде — запретить всё кондитерское и конфетное производство, выпечку сдобного хлеба, бисквитов, пирожных, исключение для одних куличей под Пасху. Ввести карточки и на фураж для лошадей. Завал овса у одних породистых на ипподроме — так закрыть в этом году беговой и скаковой сезон в столицах, а коней отправить прочь. А тут — разразилась забастовка ломовых извозчиков: требуют 8-часового рабочего дня. И сразу создался затор в разгрузке прибывающих продуктов, и без того задержанной в революционные дни. А подходило ещё полмиллиона пудов мяса из Сибири — и если его не доставить тотчас на холодильники, то всё придётся выбросить по начавшейся оттепели. Кого же просить? Только Совет рабочих депутатов, чтобы повлиял на ломовиков.

Не голод — голод ещё нигде не наступил, его только боялись, — но министр земледелия, поспевая с сегодняшним продовольствием, должен был поспевать готовить и урожай Семнадцатого года, и урожай Восемнадцатого. Продовольствие и земледелие вместе — это и значило: вся Россия на плечах. С юга на север всползала грозная черта распутицы — а за распутицей и за подсыханьем так же неотступно катило с юга на север время посева. А с осени не пахали под яровое, не хватало рабочих рук. На юге полевые работы вот уже начались — и не хватает рабочей силы, инвентаря, семян. И как убедить крестьян довериться, что в будущем им не грозит отобранье зерна, это только сейчас такой острый момент, — и убедить их сеять усердно? Опять же — воззвание. (И Родзянко то и дело катит свои воззвания, понимает: «Засевайте поля! Хлеб будет куплен правительством по необидной цене!» Уж по какой там будет куплен, но — засевайте, родные!) А ещё воззвать к горожанам: возделывайте сами огороды! А ещё воззвать к городским самоуправлениям: выдавайте льготную землю под огороды!

Каждый, кто вырастит хоть пуд овощей, — облегчит продовольственное бремя России!

Весна идёт! И министерство земледелия должно успеть помочь посевам, в необычной обстановке третьего года войны и второго месяца революции. Кинулся к Гучкову: в тяжёлых местах разрешить крестьянам отсрочки от призыва. И — дать военнопленных, и дать воинские команды на помощь земельной обработке. И ещё же у нас — 300 тысяч учащейся молодёжи, такой активной и революционной, а вот разъедутся на каникулы — как их потом собрать и использовать? Уже теперь собирать в дружины, инструкторам обучать их земледелию….

Андрей Иваныч едва не шатался. Он не высыпался уже чуть ли не месяц, был измучен, пригнулись плечи, потерял неизменную бодрость.

Но и это всё — было не всё! Министр земледелия революционного правительства должен был ещё — и прежде того! — дать крестьянам землю, многолетне обещанную кадетами!

Несчастная эта прежняя пропаганда о земельном переделе! Какой сейчас передел? Начни сейчас передел — и остановится последнее снабжение городов. Но не только не время им заняться и сил нет, а вот изумление: самой этой необъятной земли для раздачи в России не обнаружилось! Оказывается, даже всю казённую и помещичью землю разделив, — в иных губерниях нельзя добавить крестьянину и одной десятины. А все те завидные обещанные десятки миллионов десятин оказались тайгой да тундрой. И не то чтоб это было трудно развидеть раньше, статистика всегда же была доступна, но в спешке и накале борьбы со старым режимом кадетские умы и другие интеллигенты, занятые земельным вопросом, не хотели вникнуть и не взялись объяснить неистовым передельщикам, да ведь и специалистов всегда не хватало в партии. Что такой земли нет — всегда говорил Столыпин, — страстно отвергали. Так пронеслись, как в завороженном сне, — и очнулись теперь, после революции, когда пришло практически делить, и оказалось: три четверти земли и так уже у крестьян. А о н о уже само не ждёт: *оно*, грозное, уже первыми дымами подожжённых помещичьих усадеб завиднелось то в одной губернии, то в другой. Да ведь и должно было полыхнуть, и должно было заклубиться, этого и следовало ждать!

Ах, что бы вам ещё потерпеть, мужички! Что бы вам потерпеть ещё один годок, ещё этот один последний годок — пока Временное

правительство укрепится, кончит войну, созовёт Учредительное Собрание…

Нет, теперь-то они и не хотели подождать!

Что там кипело, в деревенской темени, даже представить было трудно, а предотвратить — нет сил никаких. И тут ничего не находилось срочней и действенней, чем прямое воззвание. И Шингарёв сразу начал его набрасывать. Но предрекать и обещать, в какую сторону земельный вопрос будет решён, — этого ни министр земледелия, ни Временное правительство не смели, это было бы неуважением к будущему Учредительному Собранию. Можно только писать, что вообще вопрос будет подготавливаться, вот начнётся разработка материалов.

И на сегодняшнем заседании правительства Шингарёв держал перед собой проект воззвания, ещё меняя и дописывая.

Заседание было на редкость нудное. Четверо министров прямо отсюда ехали на вокзал и мечтали отоспаться хоть в вагоне. Всё текло кредитование, все просили кредитов. И Терещенко важно кивал, кивал, записывал, нисколько не возражал, как будто деньги у него были немеряные.

Стал Шингарёв докладывать своё воззвание — волновался: ведь знаменательный исторический момент для России, либеральные круги впервые сами останавливают крестьянскую мечту!

Но министры не заметили ничего необычного. В той же дрёмной, текучей манере согласились, без прений и поправок.

А Некрасов, как проснувшись, сказал свежим голосом:

— Это идея! Я тоже такое воззвание напишу, от имени правительства. На станциях солдаты безчинствуют — нет управы. Насильничают над железнодорожными служащими, переполняют поезда, — а если ось лопнет, да крушение? Напишу.

****

ПОДУМАЕШЬ УМОМ — ГОЛОВУШКА КРУГОМ

****

638

Жить оставалось только надеждой, что через месяц-два всё устоится, угомозится — и боеспособность армии восстановится. Но по всему, что капитан Клементьев видел в своей батарее и слышал из окружающей пехоты, — солдатское настроение, напротив, раскачивалось и стало такое переменное, что у офицеров опускались руки. За порывом тёплого разговора — тут же какая-нибудь дикая выходка или недоброе слово, дослышанное. Пойдёшь от нечего делать пушки осмотреть — из землянки выглядывают, бурчат: «Вот, заноза, дырку в целке ищет». И что было правильно: тотчас же пытаться поставить ослушника на место — или не замечать и ждать, что сами убрыкаются?

От начальства получить указания было не от кого. Командир дивизиона продолжал линию, что революция — к лучшему и нас спасёт. А командир батареи, и всегда-то широкой, плывучей комплекции с расплывшейся лысиной на голове, — ещё разрыхлился, расслабился и у себя в землянке всё раскладывал пасьянсы.

— Да-а-а, — говорил с сожалением или завистью. — Теперь многие офицеры отпрашиваются в госпиталь. Собирался и я заболеть, да совесть не позволила. Если б не долг войны — взять да и уйти, пусть управляются сами. Но надо всё-таки, знаете, спасать Россию. А с кем, спрашивается, спасать, если солдаты из окопов убегут? Уж вы, Василь Фёдорыч, прошу, держите батарею, — вы молодой, духом крепкий и происхождения народного, к вам доверия солдатского больше. А нам — теперь трудно стало с солдатами разговаривать. Хоть и признали мы безропотно новый строй — а всё безполезно.

Не он один отошёл — как-то вообще офицеры разъединились перед солдатским недоверием, перед газетной пакостью. Соединённые годами войны — теперь вдруг разрознились, не было дружных решений, не было единства мнений, каждый сам избирал линию поведения.

А солдаты, пожалуй, наоборот: они теперь искали будущего все вместе. Чернобородый мрачный медлительный Хомутов выразил это так:

— Теперича свово обчества надо держаться. Ежели чужим будешь, храни Господь подранят где, — на перевязку не подхватят. Санитары теперича в очко режутся.

Безработные санитары резались в карты, да, но и свой батарейный ветеринарный фельдшер не только перестал опекать ковку лошадей, но где-то в близком тылу наладил самогонный аппарат, сам был пьян и других угощал, ездовых.

Фельдшеры — это была известная обиженная категория: 4 года они учились, а получали только унтерский чин. И все их зовут на «ты». И в мирное время ещё 6 лет должны были служить — куда после этого пойдёшь? Всегда недовольные, завистливые к офицерам, они теперь и потянули в революцию.

Клементьев нагрянул к фельдшеру, аппарата не нашёл, но самого застал в дымину пьяного: с койки поднялся, но шатался, и весь растрёпан.

— Вы знаете, что пить спиртное на передовой — запрещено? — отчитывал его капитан.

— Эт-та — остатки царских приказов! — отмахнулся фельдшер неровным движением. — А мы теперь держим — новый режим!

— А кто вам разрешил стоять вольно?

— А я смирно никогда и не умел! А теперь наша взяла — чего тянуться? Власти у вас уже больше нет, котора была при царе. Теперь каждый — себе голова! Не Девятьсот Пятый вам год! — не повесите, не расстреляете…

Уже и остановить его было нельзя, на пять слов капитана вываливал полсотни своих.

— Да не боюсь я и даже Бога!.. И вся сознательная пехота на моей стороне!

А на поясе, на шнурке, висел у него финский нож.

И ушёл от него Клементьев ни с чем, с позором и безсилием.

И что, правда, он мог сделать? Никаких наказаний у командиров не осталось. Он только мог просить батарейный комитет рассмотреть дело этого фельдшера.

Если комитет ещё что решит.

И если фельдшер раньше того времени сам не дезертирует прочь — кто его теперь тут удержит?

Этой фельдшерской историей капитан Клементьев был ранен горестно: да, вообще — теперь всё возможно, и такое. Но — в нашей батарее? Но в нашей!..

Как туча мрачный, возвращался он от фельдшера на батарею. Как же оставалось управляться? Только фейерверкерами: они не стеснялись ругать своих по-прежнему и ругнёй заставляли поворачиваться.

Но вернулся на батарею — ждало его не приятней. В землянку к нему постучали. Впустил. Вошли Прищенко и Евграфов — по близкому без шинелей, но и без шапок, как никто не ходит, и в отхожее место шапку надевают, — а затем, наверно, чтоб не козырять? или чтоб не снимать их? Вошли — набавляя себе больше значения или смелости — Прищенко поддуваясь, Евграфов покачиваясь пружинно.

— Что, ребята, скажете?

— А вот, господин капитан, — начал конечно Евграфов, как городской он всегда был для разговору первый, начал насмешливо позвенивающим голоском, — есть вопрос хозяйственный. Отрегулевать надо.

Мог бы Клементьев — да время тому прошло — указать на устав: что надо обращаться через своего фейерверкера. Да ведь Прищенко был теперь и член комитета, куда же старше.

— Хозяйственные вопросы вы теперь на комитете и решайте, — попробовал отвести капитан. — Или с фельдфебелем, как положено. Никита Максимыч и хочет, чтоб вы всё кухонное и одёжное сами отпускали.

— Нэ як, господин капитан, — возразил Прищенко, у него и движение рук стало важное, да не по швам они и висели. — Фельдфебель тут нэ прикасается, тут господов офицеров дило.

— Ну что ж, — вздохнул Клементьев. Сам сидел и их пригласил. — Что ж. Выкладывайте.

Так вот: прослышали они (только писаря и могли их натравить), что в батарее есть такие «економические деньги». Так — отчего от солдат их скрывают? Почему не объявят и не поделят?

И смешно, и тошно.

— А вы знаете, братцы, что это за деньги? Их от вас никто не отбирает и никто не скрывает, они проведены по книгам. Такие суммы установлены аж от времён Петра Великого. Если батарея сэкономит по сравнению с казённым отпуском, например получит фураж, а прокормит лошадей на подножном корму, — так вот она имеет экономию. И может тратить её на батарейные нужды, для вас же. Вот например, всем вам куплены непромокаемые плащи, а в других батареях ведь нет. Куплены — на эти деньги. Они и есть для вашей нужды.

— А вот как раз теперь, господин капитан, и нужда! — ловкой приказчичьей скороговоркой перехватил Евграфов. На его не-

поросших щеках девически-гладкой кожи проявился румянец. — Нужда теперь эти деньги по нижним чинам разделить, на питанию, на кто что хочет.

— А вот это — никак нельзя, — возражал капитан рассудливо. — Такого порядка — нет, командир батареи не имеет права. Но вы — будьте спокойны.

— Никак не можем быть спокойны, господин капитан! — ещё больше румянился Евграфов, но только не от стеснения. — Тревога нас гложет. Мы к вам — не от себя, мы — депутатами от народу.

— А вот, — словил Прищенко капитана на прищур глаза. — Цим литом распорядывся фельдфебель нам сино косить, тамочки, биля второго резерва. Нам и не в голову, мы скосили — а ить ниякой доли с того не ймали. А нонче вот докурлыкиваем: то ж не служба военная була, то ж економия, а на нашем горбу? Так с того — нам полагается получить?

Оспой изрытое его лицо всё было захвачено этими ускользающими деньгами.

— Нет-нет, господин капитан! — семенил языком и Евграфов. — Надоть хозяйственные книги всех прошлых лет проверить нашим депутатам. Може нас обворовывали? — а мы скудаемся.

Такой разговор, такие подозрения вслух — быть не могли две недели назад. А сейчас Клементьев хоть бы и рассердился — не мог ни крикнуть на них, ни выгнать, ни даже и отказать.

Но рассердился он только на писарей, за их ядовитую болтливость. А эти ребята — что ж… Клементьев и сам знал по своему голодному нищему детству, как легко в обездоленьи питается подозрение и зависть к высшим.

Этим — что ж, он обещал: доложить, добиться, комитету покажут и хозяйственные книги, отчего же. Даже и хорошо, что комитет этим займётся.

Он-то знал, что в батарее всё чисто, по закону.

Только — ведь они на этом не успокоятся, будут и дальше, и дальше наседать, смотришь, и оперативные планы потребуют.

Дожила наша армия!..

А вскоре после них ворвался в землянку угольнобородый с горящими глазами фельдфебель Никита Максимыч. Ему бы вот и рассказать, пожаловаться насчёт писарей и хозяйственных книг, — но мрачно его принесло, и своим занятого.

Такого и не бывало: не спросясь по форме — плюхнулся на табуретку, шапку скинул с хлопом и голову свою чернокудлую подпёр об стол локтями, как какой Пугачёв. И сидел во мраке, отдышивался.

— Что с тобой, Никита Максимыч? — даже испугался капитан. Что-то он, видать, учинил.

— Ничего не знаете? — дохнул как по-пьяному, а воздухом трезвым фельдфебель.

— Нет.

— От начала не знаете?

— Нет.

— Ну, хорошо. Тревожились меньше.

И сам тоже не торопился говорить. Вытянул по столу руки, привычные к власти. Ладони потёр.

Схлопнул ими.

Посмотрел из мрака, исподлобья, из-под пугачёвской космы:

— Этой ночью из обоза второго разряда укатили два конюха — Клёцкин и Безбатченко. И прихватили два мешка муки. Мне доложили насвету́, я — за ними верхом, на Черногузе. И догнал подлецов на боковом просёлке! — Глаза его сверкнули царским гневом. — Лошадей у них — отбил, повозку. И муку отобрал.

Бесовство в глазах запрыгало:

— А самих дезертиров — не-об-на-ру-жил. Безо них воротился.

— Как?? — уж и зная Никиту Максимыча, не понял Клементьев. — Как же так — не обнаружил?

— Вот так, не обнаружил! — по усам, по бороде сухо и грозно утёрся фельдфебель.

— Так ты… ты… ?

— Я ж один был, а их двое! Ещё я их в госпиталь повезу, сволочь такую? На дороге оставил.

639

Господи Всевышний! Мы ещё смеем скорбеть, мы ещё смеем жаловаться! Да оставь нам живыми наших детей!

Как тяжко, но и — промыслительно, но и — объяснительно налегла болезнь всех пятерых детей на эти чёрные дни трона и цар-

ской четы. Уже три недели болезней, Ольга и сегодня не поднялась, а припоздавшие Мария и Анастасия вот погрузились в новую бездну жара, у Марии 40,9, дышит из кислородных подушек, у обеих — воспаление лёгких, оглохли обе от воспаления ушей, Анастасию рвёт, Мария бредит. Обе лежат в тёмной комнате, и уже совсем измученная Аликс подле них.

Страх был: что Мария умрёт. Очень плоха. Всё колебалось на весах Господних.

Много раз в день молились.

А наследник в этот раз проболел легче всех, вот уже выздоровел, и даже бегал. Из-за своего всегдашнего нездоровья, оттого отставания в занятиях, он был моложе своих тринадцати лет: вот забывался в играх ото всего отречения, от всех изменений, совсем ребёнок.

А Татьяна, тоже уже на ногах, самая гордая и замкнутая из сестёр, со скорбным лбом, — напротив, всё усвоила, ничего не забыла ни на минуту. Да ведь, Господи, уже взрослая женщина, уже за двадцать ей, а Ольге и за двадцать один. А что теперь ждёт вас, девочки, какие и где женихи? Теперь и румынский принц откажется.

В положении семьи можно было ожидать только ухудшений. Отвечено было, что ни Львов, ни Гучков, которых просил приехать Государь, — не приедут. Вместо того приезжали правительственные комиссары — проверять, как выполняются инструкции содержания узников. Объявлено было, что по ведомству бывшего Двора и Уделов комиссаром назначен Фёдор Головин, когда-то гнусный председатель Второй Думы, потом капиталист, концессионер дороги на Екатеринбург, язвительный, мелко самолюбивый и ненавистник Государя. В его руки теперь попадали и все дворцовые службы, и о содержании вдовствующей императрицы предстояло ходатайствовать тоже перед ним.

А судя по газетам — происходил поворот всё больше в сторону обвинения императорской четы, грозили следствием и судом. Предстояло практически думать: кого брать защитником? Ко́ни?..

У коменданта Коцебу возникли неприятности от начальства. Очевидно, были доносы на него от дворцовой прислуги и от солдат, что он слишком благоволит к узникам и даже дружески обращается, — и как бы не заменили коменданта.

Очень будет жаль. Всё больше понимали арестованные, что режим содержания гораздо больше зависит от лиц, чем от инструк-

ции. Когда в караулы попадали хорошие офицеры, солдаты — сразу чувствовалось в быту и на прогулке отношение другое.

Но эти, кто доносил, — зачем же не ушли, остались служить? Для измены?..

Между тем подробно печатали газеты речь германского канцлера Бетмана-Гольвега. Читая её, Николай заметил, что газета дрожит в руках. Это было — первое германское публичное высказывание после переворота. Для Николая это было — как голос самого Вилли.

Уже давно, три года, всё сердечное было порвано между ними. После коварства Вильгельма в июле Четырнадцатого — они стали враги насмерть и навсегда. Но — столько лет дружбы невозможно было выскрести из груди и всё забыть. И в минувшие дни нет-нет да всходила мысль: а что теперь Вилли? Что думает он о падении русской монархии? И — начинал ли бы он войну, если б это всё предвидел?

И вот — пришёл от него ответ на всё. Речью канцлера.

Царь пал жертвой своей трагической вины: он попал под влияние держав Согласия. В Девятьсот Четырнадцатом он остался глух к напоминаниям Вильгельма о вечной дружбе. Россия прикрыла преступное сербское нападение на Австро-Венгрию. А в декабре Шестнадцатого первая из наших врагов с презрением отвергла наши мирные предложения.

Безпросветно. Безпролазно. Никогда не объясниться. Но — дальше??

Германия никогда не поддерживала реакционный русский режим против освободительного движения. Император Вильгельм всегда советовал Николаю II не сопротивляться реформам. (Да напротив же: он советовал не опускать повода, никакого соглашения с мятежниками, а грянуть речью к народу со стен Кремля.) Царь не послушал его советов. Трудно выразить даже чисто человеческое сочувствие павшему царскому дому. Вздорны слухи о намерениях Германии оказать содействие в восстановлении власти царя.

Боже, как он ожесточился… «Трудно выразить сочувствие»…

Суди тебя Бог, Вилли.

Впрочем, надо вспомнить честно: и Николай же ожесточился. Обещал Палеологу, что лишит Гогенцоллернов права представлять Германию в мирных переговорах.

На Земле между ними было кончено всё, навсегда.

Но ещё не кончена речь канцлера. Германия не смежила воинственных очей: на Востоке Германия добьётся своих национальных интересов! Мы будем следить за событиями хладнокровно, с готовым для удара кулаком.

Боже, Боже! Сохрани Твою Православную Русь…

Нет, не ошибочен был роковой выбор России! Германцы — чужие нам о́твеку. Слава Богу, что есть у нас верные союзники в Европе. Вильгельм — никогда, значит, не был искренен, всегда враг. А Георг — и родственник, и верный.

Странно, однако, что так и не написал, не отозвался.

Надо бы разбирать книги и вещи, откладывать, что с собой в Англию брать.

Хотя ехать к ним туда — не хочется. Всегда охотно путешествовал Николай за границу (не так уж и много). А сейчас, когда подступила почти неизбежность отъезда, — вдруг стеснилось в нём: сколько русских мест он уже не повидает никогда (а ведь было всё доступно! мало ездил) и скольким святым местам не поклонится. (Как упустил? Благодаренье Богу, что ездил в Саров.)

Хотя и замкнутый то в Петергофе, то в Царском, то в Ливадии — Николай, однако, повседневно ощущал своё единство со всею Большой Русью: он пребывал — в ней, единством с нею крепился в шторме зложелательства образованного общества, высшего света и даже династии. И уверенно знал, что отдалённый пахарь и неведомый косец — постоянно знают своего Царя, пусть и немы, не слышно их в столичном гвалте.

И всегда непритязательный в потребностях, а сейчас тем более уже отделённый от трона и даже тяготясь ещё сохранённой по инерции, не его приказом, церемонийностью, — всё те же ливреи шествовали важно, всё те же камердинеры предупреждали приход редких теперь и незваных посетителей, и те же скороходы в галунах и со страусовыми перьями сопровождали их, — Николай всё более готов был расстаться со всем этим начисто. Только Ливадию одну было жалко, Ливадию хотелось бы сохранить, Алексею там очень хорошо. Но если и это будет невозможно, а надо бы определить свою жизнь не на оставшиеся месяцы войны, а уже до конца, навсегда, — то предпочитал бы он поселиться простым крестьянином в России, в самом скромном уголке родины, да даже хоть и в Сибири, — чем ехать на постылую, постыдную, скан-

дальную западную популярность или вечное бездомное гостевание — да и на какие средства? никаких средств на Западе не было у него.

И только если уж никак не исполнимо, если присутствие его в России может повредить государственному спокойствию — тогда он готов подчиниться изгнанию.

Эту истекшую неделю заточения и начавшуюся вторую, несмотря на грозные признаки вокруг, Николай с каждым днём всё более чувствовал умиротворение и распрямленье души. Такое настроение было: если бы сейчас и все хором просили бы вернуться на престол — ни за что бы не вернулся.

Прошёл первый ожог развенчанности — и он обнаружил, что ему легче и проще обращаться с людьми, — стало легче разговаривать с людьми, вот как! Он и раньше предполагал в людях более искренность, чем искательство, — но уж теперь-то и вовсе мог рассчитывать на откровенность тех, кто был к нему хорош.

Во всё царствование он старался принимать решения по совести — насколько это было открыто ему. И никогда не принимал решения в гневе, но всегда давал себе охладиться. И к врагам своим — вот Гучкову, Милюкову, никогда не был преследователен и никогда не арестовывал их, как вот они его. И не применил низких усилий цепляться за власть: едва почувствовав себя помехою, тут же и ушёл.

Говорится: царю — пуще правда нужна. Царю нужна правда больше, чем кому-либо из живущих.

Он оттого был внутренне спокоен, что твёрдо верил: и судьба России, и судьба его семьи находятся в руках Господа. Господь поставил его так, как он стоит. И что бы ни случилось — надо преклониться перед Его волей.

В эти последние дни — заблистал наружный мир. Погода переменилась на солнечную — вчера, сегодня стояли лёгкие весенние морозцы, задерживающие таянье, но всё залилось светом весны. Как поднялось настроение!

Каждый день долго гуляли с Долгоруковым, — слава Богу, не запрещали. Приучились совсем не замечать охраны вокруг и не досадовать на выходки её, если те случались. Да довольно пространства и здесь — если не верхом, если не пешим гоном, а с работницей снеговой лопатой. Чистили, чистили снег с разных сторон, друг другу навстречу, и кончали дорожку у старой беседки.

Николай — наслаждался этими днями! И как увлекает такая работа: из бело-радужной массы, в ослепительных точках всех цветов, вырезать лопатою ровные кубы этого сказочного вещества, перекидывать их — а самому вдвигаться, вдвигаться в белую стену. Ничего в мире больше не видишь, кроме этого, Богом созданного, бело-сверкающего моря.

ДОКУМЕНТЫ — 30

17 марта

ЛИЧНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГЕОРГА V СТАМФОРДАМ — БАЛЬФУРУ, МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

... Его Величество не может не испытывать сомнений не только по поводу опасностей переезда, но и из общих соображений целесообразности: желательно ли, чтобы императорская семья поселилась в этой стране.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА

СУББОТА

640

Большое помещение с высокими и тёмными потолками, наполненное шумным, безалаберным множеством людей, лицами в разные стороны. Откуда-то понимает Варсонофьев, что это — Биржа, и он тут зачем-то стоит. Но не успевает ни приглядеться, ни — что́ они делают (только разговаривают громко все). Вдруг — властно голова его поворачивается, обязанная смотреть. Мимо него входит в зал — мальчик с дивно светящимся лицом, и словно он хочет объявить всем необыкновенную новость. Он проходит мимо, держа в руках перед грудью какой-то небольшой сверкающий предмет, — проходит на середину зала, свободно, как будто тут не столплены густо, там останавливается, приподнимает что́ в руках! — и вдруг в едином жарко-ледяном дыхании, дыбящем волосы, охватывающем весь зал (всех тут!), Варсонофьев понимает, что этот мальчик — Христос, а в руках у него бомба! — ужасного взрыва для целого мира — и сейчас, через секунду, она взорвётся!

И, не выдержав содрогновения, нестерпимого ожидания взрыва, — проснулся.

Ещё и в яви обнимал его ужас этого космического подошедшего взрыва.

Такие сны он записывал. Потянул за ниточку стебель ночника, тот зажёгся, — хотел записать на клочке, как делал всегда, чтобы скорей потушить и заснуть. Но так сильно он был охвачен, что всё равно нескоро заснёт.

И с лёгкостью встал в прохладное, взял халат с кресла, в халате пошёл к бюро, сел, зажёг настольную лампу, из ящика достал тетрадь снов и стал записывать туда.

Он давно перестал понимать сны как сочетание безсмыслицы. Безсмыслица и путаница отделялись сами, тут же и забывались. По меньшей мере наши мысли и чувства во сне — наши истинные,

и мы отвечаем за них. Но Варсонофьев знал, что почему-то избран принимать и тайнопись вещих снов. Психологически безошибочны были и все его сны с близкими, он истинно воспринимал, и на большом расстоянии, кто что чувствует. Правда снов не в ситуации, а в настроении.

Однажды приснилось ему, что он подходит к маленькому фонтану и понимает: если приблизить губы к его струе и шептать — то по струе передастся как по телефону и кто-то другой в далёком фонтане всё услышит. Многи способы передачи чувств и мыслей, мы не во всё верим. Не раз бывало, что Павла Ивановича тянуло к телефону — и он шёл, и по пути раздавался первый звонок.

У Варсонофьева была уверенность, что все события нашей жизни и другие лица связаны с нами и друг с другом не только теми явными причинными и следственными связями, которые видны всем, — но ещё и связями тайными, которых мы не услеживаем, даже не предполагаем, — а они не только существуют, но властно влияют, но формируют души и судьбы.

Из каких-то неведомых Божьих глубин к нам постоянно притекают на поддержку и сила, и сознание.

Но сон сейчас так сотряс его, ещё вот оставался страх в теле. Варсонофьев постарался записать точные минуты, когда это приснилось.

И ещё сидел, старался вспомнить точные оттенки смысла, ощущения, ведь они сотрутся потом. Что это была за Биржа? Не петербургская, не московская, и может быть даже вообще не Россия или, во всяком случае, не одна Россия. Это какой-то смысл имело — всеобщий.

И хотя нестерпимо было пережить этот взрыв — но он был не просто уничтожение, он был и Свет, слишком светилось лицо мальчика.

О! сколько было сил непознанных! В каком-то непостигаемом объёме совершалось нечто великое — и может быть только слабым отображением были те завихрения на улицах русских городов в последние недели.

Но — зачем посылаются такие сны, вот ему, ещё кому-нибудь? Ведь о них невозможно объявить, на них невозможно сослаться, никого научить, ничего доказать.

Предыдущая запись его в тетради была: «Сны анемподиста в Анапобожьи». Так — приснилось ему, не кто-нибудь сказал это вслух, а — ясно вошло в сознание: что это — его сны так называют-

ся, что якобы край, где всё это ему видится, — Анапобожье. Очень понятно было, что — Богов край, но всё в целом не улавливалось.

У снов был свой язык. То снилось ему выражение «на тайлок» — и он сразу понимал, что это значит: тайно. То на какой-то узорчатой решётке, как бы ворот, от невидимой руки выкладывалась надпись металлической вязью, тут и застывая: «Кто не был князь — поди, ведась». И во сне — ему был вполне понятен и значителен этот смысл, а вот записывая — уже не мог ухватить.

А ещё предыдущий записанный сон, на прошлой неделе, был таков. Будто находится Варсонофьев в церкви, но — ночью, на закрытой, сокровенной службе, и церковь почти пуста, присутствующих с дюжину — есть священники, есть миряне, все мужчины. И понятно ему, что церковь эта — в России, но вся Россия — под властью каких-то страшных врагов. А эти здесь собрались на обряд *запечатления* церкви — то есть запечатания её на долгое время, как запечатывались храмы старообрядцев. И запечатление это будет вот в чём состоять: на аналой посреди церкви уже положены три больших серебряных креста (не помещаясь, чуть с перекрывом друг друга, так ясно это видно) — и в ходе службы старший священник зальёт их вместе расплавленным белым воском, и так они застынут надолго. И ещё знают они все: что после этого обряда их всех должны посадить в тюрьму, за то что были здесь, и это неминуемо, и они к этому готовы. А власть врагов спешит, чтоб этот обряд не произошёл: они хотят, чтобы церковь не успела запечатлеться. А в обряде тоже спешить нельзя: теперь они все должны лечь на каменный пол ниц и так оползти всей чередою все церковные стены кругом, лишь потом будет запечатление. И Варсонофьев, ползя, думает — как потом успеть дать знать дочери, Марине, о своём аресте, — и вдруг слышит её надрывный плач. И, не поднимая головы от пола и не поворачиваясь, он видит другим каким-то оком: Марина в крестьянской вышитой рубахе стоит на пороге храма, не смея войти на обряд, и плачет, уже всё, всё поняв.

Он продолжал ползти ничком со всеми — и как-то продолжал видеть на входе рыдающую Марину — такую русскую, в этих вышитых, вздувных рукавах, такую родную и понимающую — как будто никогда, ни на сколько они не разделялись, не размежались: они снова были душами слитно, всё иное вмиг отшелушилось как случайное. И уже не важно было, поймёт или не поймёт она теперь о его аресте, — важно, что она — видела запечатление. Будет свидетель!

Что это? Откуда это всё сочеталось?

Однако сегодняшний взрыв из рук светлого мальчика выходил и ещё гораздо шире этого всего.

На улицах, а больше в редакциях, а больше на страницах печати хлестало опьянённое веселье. Павел Иванович не узнавал знакомых — так они были победны, так залётны в мечтах. Но сам он ходил среди них — ссунутый, со свечами тревожных глаз.

Он — никого никогда не мог переубедить своими статьями, над ним посмеивались как над чудаком несовременным. И что группа их 8 лет назад предсказывала в философском сборнике — ни тогда никого не убедило, ни сейчас никому не вспоминалось.

Так — ещё кому же он мог передавать и сны?

Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование.

И не видели, что ликование — только одежды великого Горя, и так и приличествует ему входить.

Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил.

Да, земных.

641″

(по свободным газетам, 16—18 марта)

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ
НАКАНУНЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ВОЙНЫ ГЕРМАНИИ

ВАНДАЛИЗМ ГЕРМАНЦЕВ. Потопление…

Германские планы. По сведениям из германофильских кругов в Швейцарии, германское высшее командование, в связи с революцией в России, отказалось от наступления на Францию и Италию и готовит удар на Петроград.

…По-видимому, германцы готовятся к нанесению России сокрушительного удара, возлагая надежды на якобы наступившую дезорганизацию русской армии. Они надеются занять Петроград и продиктовать оттуда условия мира державам Четверного Согласия. Но это может вызвать негодование среди демократических элементов германской армии.

Ребяческий идеализм тех, кто пытался навязать лозунг «долой войну» широким массам. Это не удастся! Ни один голос больше не смеет говорить о братании с немцами. Россия распрямляет крылья для орлиного полёта, армия готова зажечься новым энтузиазмом.

(«Русская воля»)

…недоумение по поводу того, что до сих пор остаются неизвестными и президиум, и Исполнительный Комитет, и многочисленный состав Совета рабочих и солдатских депутатов. Вообще, печать обратила внимание на странную анонимность их. А Петроградский Совет играет роль центрального Совета для всей страны. Должно быть устранено всякое подозрение самозванства. Должно стать широко известно, как Совет составился, на каких основаниях организовано представительство. А ведь именно Совет горячо протестует против всяких тайн. Врачу, исцелися сам!

(«Речь»)

Кто такой этот влиятельный аноним с прерогативами второго правительства? Его контроль над правительством имеет не петроградский, а всероссийский характер.

…Может быть, состав СРСД сложился и не вполне удачно — в вихре революции некогда было обдумывать. Но это революционное воплощение «святого недовольства» совершенно необходимо, чтобы поддерживать во Временном правительстве реформаторский пафос.

Вести с фронта всё более успокоительные — о бодром настроении в армии и готовности бороться до конца.

…В одном из ораниенбаумских пулемётных полков сегодня бросался жребий, какой батальон должен выступить в первую очередь на фронт…

В военном министерстве. Министр Гучков отдал распоряжение, чтобы во все военные училища безпрепятственно принимались лица иудейского вероисповедания, а также баптисты, молокане.

ХЛЕБ ВЕЗУТ! Чего не могло сделать прежнее правительство, то постепенно достигается всенародным порывом. Давно ли говорили, что нужны чрезвычайные мероприятия, чтоб откопать хлеб… Со всех концов России извещают о пожертвованиях хлебом для армии.

…Свобода мгновенно переродила миллионы людей, и крестьянство немедленно начало вывозить на рынки продукты. Нам возразят, что в Москве и Петрограде не заметно обилия. Но не нужно забывать, что при том расстройстве, какое нам оставило самодержавное правительство… Терпели долго, потерпим ещё — и все кризисы отойдут в область кошмарного прошлого.

Обыск в квартире Распутина. …15 марта арестованы, доставлены под конвоем в Таврический дворец и посажены в министерский павильон сын Распутина и две дочери, 18 и 15 лет.

Арестованный также секретарь Распутина Арон Симанович обещал конвойным 15 тыс. рублей, если ему разрешат поговорить по телефону.

Ликвидация марковцев. В Щиграх арестован брат Маркова 2-го, а также председатель местного «союза русского народа». Заключены в тюрьму.

…Быть может, именно затем Россия и опоздала в своих политических формах и приёмах, чтобы ей ближе всех подойти к созданию «общества будущего».

Свобода личности — краеугольный камень нового строя, — но разве не обязано было правительство лишить свободы представителей старого строя? Именно во имя будущей близкой свободы правительство сейчас не может не прибегать к насилию. Поддаваться теперь на удочку софизмов о свободе — значит поощрять контрреволюцию.

Д. Философов

Свобода — это нежная красная роза, вынесенная на улицу Петрограда в день суровой зимы.

Советом Рабочих Депутатов установлены неслыханные доселе разрешения на бумагу для «благонадёжных газет». Что это? Все чистые восторги, надежды, упования, и вся «Европа с восхищением взирает» — но?! — строится новая тюрьма для свободной мысли?.. Цензоры прошлого не додумывались так: запрещать фабрикантам выдавать бумагу тем газетам, кто на подозрении… В час ослепительного торжества демократии больно и стыдно…

…Разъясняется, что чиновники и офицеры также должны быть внесены в ведомости на получение хлеба, наряду со всеми.

ВОЗЗВАНИЕ КОМИССАРА г. МОСКВЫ. Граждане, вы произвели величайшую в мире революцию… Призываю же вас к самообладанию. На короткое время ограничьте свои потребности.

Н. Кишкин

Арест губернатора. По распоряжению комиссара г. Москвы Кишкина арестованы владимирский губернатор и его супруга и доставлены под конвоем в Таврический дворец. Во Владимире толпа намеревалась совершить над ними самосуд. У губернатора сломана нога, у губернаторши вырваны из головы клоки волос.

Тифлис. Дворец наместника взят для общественных нужд в веденье Исполнительного комитета Совета. Ежедневно в воинское присутствие

являются группы уклонявшихся от воинской повинности. И заявляют о готовности отдать жизнь за счастье свободной родины.

Владикавказ. Тёмные силы ещё не сложили оружия. Особое сопротивление оказывают осетины и ингуши. Из многих станиц поступают сведения о работе тёмных сил.

УДАЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА СТОЛЫПИНУ. Киев, 16 марта. На сегодня назначен праздник свободы. Ночью войска оцепили думскую площадь, и начались работы по удалению памятника Столыпину. К утру работы не были окончены. Фигура Столыпина, сдвинутая с пьедестала, окутанная цепями, висела на блоках. Огромные толпы народа, еле сдерживаемые цепью милиции, с большим интересом следили за работами. В 3 с половиной часа дня фигура Столыпина грохнулась на землю. Толпа с криком «ура» кинулась к поверженному Столыпину. Мимо безконечной рекой потекли манифестации с оркестрами. Украинские процессии шли под марш запорожских казаков. Телеграфисты — с плакатом: «Телеграф — глаза и уши революции». Фигура Столыпина, весящая около 400 пудов, затем вывезена грузовыми автомобилями.

Могилёвская губ. В Рогачёвском уезде аграрные безпорядки. По прибытии солдат все взятые вещи возвращены потерпевшим. Усилена охрана винокуренных заводов. В Савинском уезде началась самовольная порубка крестьянами казённых лесов. Крестьяне согласились, что совершают беззаконие, и прекратили порубки.

Астрахань. Рыбачье население сместило казённую рыболовную полицию. В некоторых местах казённые рыболовные участки захвачены местным населением.

Привет масонов. Париж. Масоны ложи «Великий Восток», собравшись на малый конвент, отправили телеграмму князю Львову, выражая надежду… что Государственная Дума и Совет Рабочих депутатов сумеют сосредоточить всю нацию под одним братским знаменем.

…Депутация дворников заявила Совету, что все подозрительные элементы исключены из их среды. Вся масса петроградских дворников, в числе около 5 000 человек, выражает желание прийти в Гос. Думу для выражения своей готовности.

Арест громил. 15 марта ночью сторожа Апраксина рынка, обходя галереи, задержали нескольких человек, взламывавших магазинные замки. Громилы оказались из числа освобождённых революционным движением каторжан Шлиссельбургской тюрьмы.

Неосторожное обращение с оружием. Один из милиционеров нечаянно взвёл курок… Раненые доставлены…

В ближайшие дни выйдет в свет закрытый царским правительством в 1905 году журнал П У Л Е М Ё Т .

Театр «Мозаика». *Пьеса «Гильотина».* К о н ц е р т ц ы г а н . В концертном зале кабаре до 2-х ч. ночи.

С в а х а н у ж н а солидная, со связями — для молодого человека, имеющего общественное положение.

ГЕРМАНО-АМЕРИКАНСКИЙ КОНФЛИКТ.

Правое крыло шведских консерваторов, т. е. по нашей терминологии черносотенцы…

(«Новое время»)

Телеграмма Кропоткина. …Дети России, спасите нашу страну и цивилизацию от чёрных сотен Центральных Империй! Противопоставьте им героический фронт!

Согласитесь, что люди имеют право знать, кто им приказывает. Хотелось бы думать, что ни анонимов, ни псевдонимов больше не будет в большом государственном деле.

(«Русское слово»)

…Раньше у дезертиров было много смягчающих вину обстоятельств. Теперь — дезертирство ничем нельзя оправдать.

ИНВАЛИДЫ И ВОЙНА. Инвалиды, находящиеся на излечении в московских госпиталях, протестуют против лозунга «долой войну»: «Мы потребуем выдать нам оружие, будем умирать в окопах, но отстоим свободу родной России».

…Воспитанный в атмосфере безправия и неуважения к человеческой личности, прежний тюремный персонал в ближайшем будущем будет удалён. Для подготовки новых кадров начальников мест заключения будут открыты краткосрочные курсы тюрьмоведения.

…Но, конечно, пропагандой не исчерпывается. Произвести безошибочный отбор вчерашних героев. С ними необходимо обойтись как с врагами… Они должны быть лишены всякого общения с населением… Удалите их… Арестуйте их… судите их. Изолируйте всеми законными способами, но без мягкотелой сентиментальности… Они не поколеблются покрыть шестую часть земного шара виселицами, если б одолели сейчас. Если нам суждено пережить смуту, то только в провинции будет её начало. Это надо предвидеть и предупредить.

(«Биржевые ведомости»)

…Там, в глуши, куда ещё не донёсся благовест новых дней, там ещё чёрная сотня щёлкает зубами…

НЕ СПЕШИТЕ ЗАБЫВАТЬ! Это слепой оптимизм, что Николай II уже в прошлом и обезврежен. Короткую память надо иметь, чтобы так скоро позабыть режим засилия. Забить осиновый кол в могилу династии! Нет, русская печать не должна умолкать о её грязных скандалах. Россией управляла шайка политического негодяйства! Слишком великодушны те, кто предлагает набросить вуаль на преступные тайны царскосельских разбойников, на скверну царизма. Нет, рассказывать, рассказывать и рассказывать!

Амфитеатров

Объяснение Маркова 2-го. «…В том, что монархическая печать получала поддержку от монархического правительства, ничего предосудительного нет, как и в том, что нынешнее революционное правительство поддерживает Совет Рабочих и Солдатских депутатов. Мы старались просветить народ, но не готовили из своих отделов вооружённых отрядов. Сравнительно с действительной потребностью помощь правительства была ничтожна. Ныне, как известно, полная свобода печати, и потому редакция и типография «Земщины» конфискована, редактор «Русского знамени» сидит в тюрьме, а остальным правым изданиям во имя равноправия воспрещено выходить в свет».

Революция — не праздник разрушения, но торжество государственного строительства. Европа изумляется той стройностью, с какой совершился у нас государственный переворот.

(«Новое время»)

У будущих могил. 17 марта. Несмотря на объявление, что похороны жертв революции отложены, сегодня из некоторых частей города к Марсову полю потянулись дроги с гробами. Ошибочно привезенных покойников пришлось вернуть.

В совещании петроградского городского головы. …Сложная задача, как охранить от тёмных элементов все дома в столице, когда население из них выйдет на улицу на похороны жертв революции. Решено держать на запоре все дома и чердаки. Ко дню похорон будут изъяты целые группы преступных элементов…

Трамвай. Московский трамвай с каждым днём работает всё хуже и хуже. Например, 16 марта на работе было всего 30% вагонов от действовавших до начала событий. Объясняется это тем, что рабочие относятся к своему делу вяло. Городское управление решило обратиться к Совету рабочих депутатов с просьбой оказать давление на рабочих в целях предупреждения полной остановки, а к рабочим — с воззванием не сокращать числа рабочих часов.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ. Комиссар казённой палаты обращается к населению Москвы с напоминанием, что подоходный налог не отменён.

Подполковник Грузинов. Вчера командующий войсками, проезжая верхом по городу, обратил внимание, что у Спасских казарм идёт самая оживлённая торговля солдатскими вещами. Командующий въехал в середину толпы и обратился к солдатам с короткой речью, что они расхищают народное достояние. Обратясь к покупщикам, он напомнил, что скупка солдатского имущества преступна. Солдаты тут же потребовали обратно уже проданные вещи, и скупщики охотно их возвратили.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ. Не прекращаются слухи о погромной агитации на местах. Провинция не пережила великих дней переворота, как мы, не ощутила этого энтузиазма — и враги переворота там не обезврежены, как здесь. Совершается великая ошибка: происходит централизация отечественной истории в Петрограде. Надо дать русской провинции то ощущение счастья и радости освобождения, которое испытали мы. Массам нужны эмоциональные восприятия. Устраивайте парады, спектакли, зрелища, пусть массы на местах получат свою долю праздника революции, и непременно официального. Кричите о великом счастьи освобождения! В провинции имеется безпутная чернь, усиленная теперь неосторожно выпущенными уголовными преступниками.

(«Новое время»)

Из волостного приговора… низвержение старого преступного правительства… горячо приветствовать борцов за народную свободу… Ввиду малого запаса дров на будущую зиму — оставшийся запас очередных делянок распилить на дрова. Должна быть низложена спекуляция, торговать чаем и табаком по цене этикета…

Митинг полицейских. Одесса. Полиция должна отдать свои силы на служение обновлённой России. Отныне участок должен перестать быть презренным, отверженным местом… Если нам выкажет доверие Совет Рабочих и Солдатских депутатов…

Ф.И. Шаляпин сочинил слова и музыку нового гимна «Свободный гражданин» и исполнит его в воскресенье с хором Мариинского театра:

К оружью, граждане, к знамёнам,
Тиранов жадных свергнут гнёт,
Знамёна красные — вперёд,
Во славу русского народа!

Дешёвый прокат *изящных автомобилей*.

ПРОДАЁТСЯ РОСКОШНАЯ ГОСТИНАЯ красного дерева с бронзовыми предметами.

РАЗВОД быстро и дёшево.

СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ ПЕРЕД ВОЙНОЙ. Президент Вильсон в своём послании к конгрессу в понедельник укажет, что Соединённые Штаты были вынуждены к войне.

Английские войска в 70 километрах от **Иерусалима**. Новый крестовый поход! В случае овладения Палестиной Англия официально выскажется за предоставление страны евреям для колонизации.

…нужно призвать и старых и малых. Нужно превратить ночи в дни и работать изо всех сил…

…Страна ждёт от петроградских рабочих чуда, что 8-часовой день не подорвёт производства.

Батальон 1-го марта… из бывших дезертиров, добровольно желающих в строй, и из солдат, освобождённых из тюрем… Командный состав батальона будет избираться, должности будут распределяться вне зависимости от числа звёздочек на погонах. Может быть, это — первая частица республиканских войск, будущий оплот свободы против посягательств контрреволюции!.. Товарищи солдаты-дезертиры! Вам указывается путь доказать вашу любовь к Родине. Батальон ходатайствует о присвоении ему имени подполковника Грузинова.

Химики и огнемётчики! Ротный комитет извещает, что если не явитесь в часть до 28 марта, то будете считаться изменниками родины, сторонниками старого режима и отданы под суд.

…объявляется, что явка дезертиров ещё раз отложена до 15 апреля, последний срок…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ.

…Отмена казни в момент торжества революции — признак великодушия и проницательной мудрости. В новой свободной России уже никогда не может быть того надругательства над человеческой душой…

Керенский со слезами на глазах сказал: «Я счастлив, что мне выпало на долю подписать указ об отмене смертной казни в России навсегда».

СМЕРТЬ ГИЛЬОТИНЫ. Одна великая революция ввела гильотину, другая отменила её. Великая Французская Революция, провозглашая высокие принципы, не гнушалась насаждать их при помощи палача. Русская революция начинает с того, что берёт человеческую жизнь под охрану.

ОТМЕНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. Быть может, завтра эта реформа, которой страна тщетно ждала при старом строе, станет законом. Могут упрекнуть, почему правительство начинает с уравнения

инородцев, а не уравнения крестьян… А тут — ничего не надо создавать, а только разрушить уродливые…

Приезд американских капиталистов. …сообщают о приезде в скором времени в Россию большого числа русских евреев, предполагающих применить капиталы на дело развития русской промышленности. Лицо, недавно вернувшееся из Нью-Йорка, рассказывает, что нигде не приходилось наблюдать такого интереса к России, как среди русских евреев.

(«Новое время»)

В первые дни революции, как известно, жандармы, охранявшие пограничные станции, бросили свои посты, вследствие чего через Торнео хлынула в Россию масса шпионов. В настоящее время охрана границ восстановлена.

НОВАЯ ЭМИГРАЦИЯ? Некрасивая картина массового отъезда из Петрограда. Буржуазные слои, которые молчаливо приняли переворот, но взирают на будущее с тревогой… Дряблые души, лишённые чувства гражданственности, у них нет веры в прочность нового уклада. Они перенесут панику за рубеж, дискредитируют дело свободы в глазах иностранцев. Изменники нашему демократическому строю, они увозят из страны массу денег, подрывают курс рубля.

Облава. В ночь на 18 марта в разных районах Петрограда задержано милиционерами 70 воров.

Надзор за проституцией. Отменён прежний надзор полицейских комитетов с врачами. Ныне для женщин, занимающихся позорным промыслом, будут созданы особые приёмные пункты.

Воззвание комиссара Москвы. Граждане! С падением старой власти пришлось устранить и ту полицию, на которой лежало взыскание налогов. Но потребности государства не могут ждать ни дня, ни часа. Граждане, несите сами в казначейство налоги, какие с вас следуют.

Приказ комиссара по Москве. Для устранения затруднения в движении населения предписываю немедленно приступить к очистке мостовых и тротуаров ото льда, снега и сора.

Ростов-на-Дону. Общественный комитет решил распустить выборную городскую думу как непригодную в условиях настоящего момента.

Тюмень. Прекращена газета «Ермак». Издатель заключён в тюрьму.

ДЕРЕВНЯ. Переворот был совершён городом. Деревни город не знает, но установилось подозрительное отношение к ней. Само Учредительное Собрание в крестьянских руках начинает казаться опасной игрушкой. В среде крестьянства нет никакого ясного самосознания. По деревням не стало житья от воров и хулиганов.

Новая сенсационная книга ТАЙНЫ РУССКОГО ДВОРА. Закулисная жизнь Николая II. Секрет распутинского влияния на женщин. Распутин и экс-императрица. Тайны великосветских салонов.

ОСТАТКИ ВЕНСКОЙ МЕБЕЛИ продаются в очень большом количестве.

642

Так и чуяло сердце Николая Иудовича: не обойдётся. Ох нет, не обойдётся!

Уехал как мог далеко ото всех этих опасных мест — и от Петрограда, и от Могилёва — Киев. В Киев, где он так долго и счастливо служил командующим Округа, оставил хорошую память, имел много друзей, — хотя и здесь теперь кипела со всею страстью революция, но тут-то он думал перебыть. Нет, не удалось! Разнёсся по Киеву слух, что он приехал, достиг Исполнительного комитета, — и именно его здешние знакомства и связи почему-то толкнули комитет на подозрение, что генерал может что-то злоумышлять, может перестать быть верен новому правительству.

И три дня назад его незаслуженно жестоко арестовали — а позавчера, неведомо зачем, отправили в злогрозный Петроград, от которого он не знал, как унести ноги дальше.

За что??! Откуда же он мог знать 28 февраля, что мятежники станут правительством?

Правда, везли его благородно: никто не стоял у купе со штыком, никакого конвоя, а сопровождали генерала два киевских офицера, самых предупредительных. Можно было на станциях выходить из вагона гулять — но Николай Иудович не вышел ни разу, ни даже в Могилёве, где прирастал его вагон, откуда вся беда его и пошла. (Да боялся он — и чтоб не оскорбили прохожие солдаты.)

Этой дорогой от Киева до Петербурга сколько раз он ездил прежде, сколько мест знал глазом, — сейчас на эти поля и междулесья, где боролись туман, солнце, снег, вода и чернеющие проталины, — с новым, отрешённым, захолонувшим чувством смотрел Николай Иудович, пытаясь проникнуть в свою чёрную судьбу и найти выход.

Он уже видел по многим расправам и общему суматошью, что могут засудить и безо всякой вины, разорить, растоптать. А за ним— за ним пристрастный взгляд мог найти и вину?

Но взгляд справедливый должен был высветлить от обвинений: нет, не было вины за генералом Ивановым, не было!

Теперь он особенно жалел о несчастных обстоятельствах 2-го марта — что не удалось ему тогда встретиться с Гучковым. Достаточно было в тот день оправдаться перед Гучковым — и теперь, когда он стал военным министром, никто б и руки не поднял на Николая Иудовича.

И, как съедающий парной туман на полях, клубилось в нём: надо оправдаться перед Гучковым! Ещё и сейчас не поздно написать, подать обстоятельный доклад Гучкову.

Однако в дороге не пришлось написать: ещё не были готовы все доводы, и трясло. Да чем больше он обдумывал свою защиту — тем более она глубилась, расщеплялась, уже целое дерево корней и ветвей.

Сперва подробно обдумывал он свои действия в первомартовские дни. Взгляду придирчивому, недоброжелательному они действительно могли представиться отягощающей цепью: он — и единственный он во всей России! — прямо ехал на подавление революции! Это был — эшафот.

Но если теперь со всею силой ума вдумываться и вдумываться в каждый шаг и перипетию той злополучной поездки, и вдумываться с проницанием ума сочувствующего, заинтересованного (как только может быть заинтересован сам человек в сохранении своей шеи!), — то та же самая злонесчастная цепь событий могла быть (лишь при малых изменительных мазках) совсем напротив обрисована и истолкована — в оправдание Николаю Иудовичу!

Всю дорогу теперь, почти не спя, почти не ев, генерал обдумывал каждое звёнышко той поездки: как его объяснить, понять и представить.

Если ничего не пропускать и с самого начала: в ту ночь назначения, в императорском вагоне на могилёвском вокзале, — я уже понимал, что причины петроградских волнений имеют глубокие корни. И я уже тогда доложил — как бы сказать? — бывшему царю Николаю Второму, что надо удовлетворить недовольство народа, и нельзя рассчитывать, что все войска останутся на стороне правительства.

А ввести войска в Петроград? — совсем не имело карательного назначения. Предполагалось привлечь войска с фронта лишь для облегчения положения запасных петроградских войск. Лишь — для охраны петроградских заводов, не больше.

И именно для того, чтобы ни в коем случае не применить вооружённую силу, я и приказал войскам высаживаться из поездов не в Петрограде, но далеко в окрестностях. Я — именно желал избежать междуусобицы. Части, бывшие со мной, не имели никаких столкновений и не пролили ни капли крови.

Это — главный выигрыш! С этим не поспоришь.

Да собственно — нет, даже нет, не так! Я к этим войскам не имел никакого отношения! Я — их не посылал. И я — не видел их в дороге. И я не посещал их под Петроградом. Прошу отметить, это все знают: я ведь не поехал к Тарутинскому полку на станцию Александровская. Хотя он был рядом. У меня, по сути, никаких войск не было. А в Петроград я ехал просто как отдельное лицо: просто принять командование Петроградским военным округом. (Вовремя он сжёг удостоверение Алексеева о диктаторстве.)

Георгиевский батальон? Моя поездка совершенно случайно совпала с поездкой батальона. Просто — мой вагон подцепили к их поезду. Нет оснований ставить это мне в вину.

Да всю эту поездку просто раздули газеты.

Да, в пути были некоторые нежелательные эпизоды, между станциями Дно и Вырица, когда солдаты отбирали у офицеров оружие, — и мне пришлось прибегнуть к силе, но безо всякого оружия. Некоторые из задержанных имели уже по несколько экземпляров оружия.

В самом Царском Селе, лишь исполняя приказ бывшего Верховного Главнокомандующего, я посетил его супругу, — но вы можете любыми средствами проверить, что я не принял от неё никаких поручений и не установил никакой связи против нового народного правительства.

Моё положение очень осложнялось тем, что я не имел никаких сведений об обстановке, — но именно поэтому я принял благоразумное добровольное решение — уйти сам и увезти этот единственный батальон в Вырицу — для ещё большего успокоения. Тут я имел от генерала Алексеева сообщение, что в Петрограде начинается успокоение и надо ожидать благополучного исхода. На станции Вырица я и решил ожидать исхода переговоров бывшего царя с депутацией Думы.

(Чего ни в коем случае только не следует делать — это ссылаться на обмен телеграммами с Гучковым и надежду встретиться. На нынешнего военного министра это может наложить пятно, быть

ему неприятно — и только ухудшит положение обвиняемого генерала.)

И так я не имел никаких важных для дела сведений до утра 3-го марта, когда получил от Государственной Думы приказ, что вместо меня командовать Округом назначен генерал Корнилов — а я, стало быть, свободен от своих обязанностей.

И я тотчас же стал возвращаться к месту своего жительства в Ставку. И только уже на обратном пути узнал об отречении бывшего царя.

Да более того! да гораздо более того и глубже! Упрёки в «царизме», которые мне делают последние дни, — глубоко несправедливы! Вместе со всеми я разделял общее недовольство делами царствования Николая II — за что меня очень не любила придворная немецкая партия. Моё отчисление с Главнокомандования Юго-Западным фронтом и было большой интригой группы лиц, с Распутиным в центре. Это уже тогда породило у меня чрезвычайно тяжёлое чувство по отношению к бывшему царю и его супруге.

Царизмом я не был заражён и не мог быть.

И в Ставке я находился в совершенно изолированном положении. На вокзале.

Напротив, отречение последнего царя отнюдь не освободило меня от верности службы Отечеству — и всем властям, Отечеством поставленным.

Моя готовность служить новому правительству усугубляется сознанием необходимости искоренения того многого отрицательного, что я наблюдал и испытал при прежних порядках.

И я — никогда не принадлежал к каким-либо политическим или хотя бы религиозным организациям и кружкам. Поэтому отпадает всякая возможность дурного влияния на меня моих знакомств, в том числе в Киеве.

А в Киев я приехал — просто отдохнуть и разобраться в личных делах.

…Так кручинные думы отемняли и гнули генерала всю дорогу. Как будто он неплохо строил свою круговую защиту, — но что можно ждать от этих обезумелых революционеров? Недорого возьмут потащить и на эшафот.

Надежда была — на одного только Гучкова.

И вторую ночь в поезде, как и первую, Николай Иудович почти не спал. Остро болело сердце.

С воспалённой душой он сидел у окна последние часы перед Петроградом. Что ждало его?

Подъехали к Варшавскому вокзалу. У Николая Иудовича было два довольно тяжких чемодана, сопровождающий офицер не сразу нашёл и носильщика. Встречал их офицер — адъютант коменданта Таврического дворца. Стали выходить из вагона, откуда ни возьмись — кучка солдат. Увидели генерала — столпились, кто-то пронзительно свистнул, зубоскалили — и хотя ни по чему не было видно, что генерал арестован, — но потребовали, чтобы он сам понёс свои чемоданы, иначе не пропускали.

И так — с каждым генералом, значит?.. И офицеры ничего не могли поделать. Неограждённость была полная — могли и оскорбить, и ударить. Слава Богу, хотя и отставленный, хотя и почётно-старый, но генерал ещё не потерял силушку. Он безропотно взял оба чемодана и понёс, вовсе даже не зашатавшись, только налился красно.

Солдаты, очень довольные, шли рядом, погогатывали и посвистывали.

К счастью, дальше их ждал автомобиль — и так они оторвались от этой группы. Но тотчас дальше, по Обводному, шли войска с красным флагом. Николай Иудович попросил: везти как-нибудь стороною, так, чтоб не мимо войск.

Но и перед самым Таврическим все улицы были забиты стоящими, чего-то ожидающими войсками. Только и везти мимо них такого видного генерала, дразнить. По Шпалерной вообще было невозможно проехать — объехали по Кирочной, с другого ходу. Уж чемоданов пока не брали, офицеры любезно обещали доставить вослед.

Но и в самом Таврическом было не избежать перейти зал — а в нём тоже в обилии толпились солдаты, и заметили генерала, и это вызвало колкое, недружелюбное внимание.

Воистину был ход, как на Голгофу. Уж не чаял Иудович, как скорей бы привели его в отъединённое, хоть и запертое место. Болезненно ждал он оскорбления.

Но обошлось. Довели его коридором до какого-то часового, там дальше ещё коридор — и в комнату. Обыкновенную комнату, без решёток, не было в ней никого, стоял стол, диван, стулья. Принесли завтрак и оставили его одного.

Николай Иудович покушал, посидел, походил: вот так та́к, судьбы человеческие! — он арестант.

А время уходило, надо было писать Гучкову.

Он позвал, попросил чернил и хороший лист бумаги. И хотя перо подали дрянное, но всё ж он выписал красивым, чисто писарским почерком:

«Милостивый государь Александр Иванович!

Если назначение меня Командующим Петроградского Округа с целью успокоения в нём брожения и предполагавшееся усиление гарнизона Петрограда действующими войсками не соответствовало обстановке наступившего момента, — то принятое мною решение остановиться в Царском Селе, а затем и отойти на станцию Вырица представляется вполне целесообразным: иначе возможное кровопролитие затруднило бы установление нового порядка управления Отечеством.

Отречение последнего царя от престола не избавило меня от верности Отечеству и поставленным властям. Как я служил 47 с половиной лет чуждый искательству, так буду служить и новому правительству, тем более, что новый государственный строй может дать блага народу. И я никогда не принадлежал никаким политическим и религиозным… Напротив, солдата и простолюдина люблю с первых лет моей офицерской службы…

Прошу о восстановлении моего доброго имени и о предоставлении мне возможности ещё послужить на пользу дорогой родины и её Временного Правительства…»

643

Минувшие недели всё-таки не одной революцией были наполнены, Свечин имел удовольствие последить и за настоящей войной, имел азарт и угадывать стратегический замысел и чужое исполнение: германское отступление на Сомме. Как всегда, первые вести приносились близорукими и крикливыми газетными корреспондентами — и сообщения о якобы грандиозном наступлении союзников, какого у них и за всю войну не было, не пресловутый домик паромщика, но сотни квадратных километров, и даже союзные военные представители при Ставке поняли так. А затем, и через них же, стали приходить сведения достоверные — и проступил

истинный смысл события, какой Свечин и подозревал: ничего французы не прорвали, слишком это было бы легко на устоявшемся фронте: немцы отступали сами, ничем не вынужденные к тому! Да отступали — как? С высоким искусством, узнавалась до мелочей разработанная напряжённая программа гинденбурговского штаба: отступали так, что имели всё время инициативу, свободу действий, а французам покидали настолько методически разорённую территорию вместо их налаженной прифронтовой, что обрекали их на важнейшем участке фронта к длительной разрухе и бездействию. Великолепный замысел и великолепное исполнение! Немцы на несколько месяцев создавали себе новое выгодное соотношение и освобождали много своих сил. Свечин и всегда считал, что гениальность более всего может проявиться не в наступлении, а в отступлении.

На третьем году войны немцы ни в чём не проявили ослабления, но оставались всё тем же мировым классическим врагом.

Следил за чужим замыслом и завидовал, что не русская стратегия мечет такие петли. Русских стратегов посадили под дурацкий красный колпак.

Но — где используют немцы освободившиеся силы? На Западном ли фронте? Не на Восточном? В отношении чисто военном это было для них и возможно, и исключительно выгодно: при начавшемся развале русской армии они могли бы иметь здесь крупный быстрый успех.

Однако, кажется, политическое зарево стояло выше военного: нужно ли им на наше разложение наступать или дать нам разлагаться дальше?

Революционные события Свечин переносил, точнее всего сказать: брезгливо. Высокоразумные существа — люди — вдруг обращаются в стадо озверелых обезьян. Личность растворяется в слепых страстях толпы, и больше всего боятся люди показаться умеренными. Об этой революции или дворцовых переворотах давно болтали все петроградские и московские салоны и земгоровские интеллигентские агитаторы, внушали, кликали, призывали — не могли потерпеть до конца войны.

Великому народу в великих боях такое легкомыслие не проходит зря.

Но остановить — было упущено в роковые февральские дни. Прохлопал Государь. Прохлопал Алексеев со своей блеклой упряжкой Лукомского-Клембовского. Прохлопал Хабалов. Прохлопал

Иудушка Иванов. Уже не говоря о размазне императорского правительства. И наконец, сползая с гривы на хвост, прохлопал и долгоногий великий князь.

Они все прохлопали, и закатились или быстро закатывались, — но должна была стоять Россия, и её Армия, и её Ставка — и все, кто служил в Ставке, пренебрежа своей брезгливостью, или презрением. Для того, чтобы всем им стоять, приходилось терпеть и неприятное, и неопрятное — и как-то служить и ему. Терпеливая линия в дальнем просмотре всегда оказывается верней. Какая-то дрянь ушла с переворотом, какая-то наплывёт и новая, может быть и гуще,— а Ставка должна стоять. И не только решать обычные задачи стратегические, но ещё и методами, которых у неё сроду не было, охранить солдат от подстрекательства депутатов, комитетов, Советов, — удержать армию от переёма порядков тыла. А сейчас опубликовали ещё какую-то «Декларацию прав солдата», — это что ж? в отмен всех уставов? Окончательно отменяется отдание чести, и даже перед строем? отменяется вечерняя поверка, а «смирно» — команда лишь предварительная, — это что?

Свечин всегда знал один девиз: служить. Пути вольномыслия очень завлекательны и разнообразны, и очень приняты образованными людьми, но дело движут и развивают не они, а вот те самые презренные чиновники и военные служаки, которые являются на службу утром и уходят в пять пополудни, если нет сверхурочных работ.

Справится ли Ставка в новом положении? Способна ли Ставка ещё на что-нибудь? Но нельзя признать положение уже загубленным, а службу уже безполезной. Вот Егор просится — хочет что-то придумать? (В нынешней неразберихе, да когда ликвидируются все великокняжеские отделы, наверно удастся всунуть его в Ставку, вот только улучить Алексеева наедине.)

Главное — Ставка не должна выступить против нового правительства, это Алексеев ведёт правильно.

Выход — всегдашний единственный выход жизни: компромисс. Принести присягу Временному правительству? Пожалуйста. С почётом принять в Ставке министров нового правительства как людей якобы серьёзных и что-то понимающих? Пожалуйста.

Как оправдать новую присягу? Можно это составить. Я прежде присягал императору Николаю II? Но разве я присягал лично ему, Николаю Александровичу? Я присягал главе государства, которое является моим отечеством. Однако, раз благо отечества не осу-

ществилось при том императоре, — будем искать его при новой власти.

Уже вчера на завтраке в собрании Свечин видел Гучкова, тот поздоровался весьма прохладно. Он конечно помнил крутой отказ Свечина тогда, в ресторане Кюба, когда пылкий Воротынцев чего-то от Гучкова с верою ждал. А Свечину давно уже надоела эта игра в младотурок, давно пора становиться взрослыми. Но раз Гучков стал военным министром — он переходит из сил мятежных в силы созидающие, в те, с которыми неизбежен компромисс. Он становится одной из дюжины голов этого нового сочленения, которой Свечин уже присягнул. И потому, и по служебному благоразумию, не следует продолжать прежнего вызова — но сгладить, сколько удастся.

Достиг Гучков задуманной своей высоты, но показался он Свечину не орлом, ширяющим под небесами, а довольно утомлённым и помятым петухом. И аресты ставочных чинов по его приказу выглядели не грозно, а жалко. И офицеры, приехавшие с Гучковым, таскали позорные красные банты, — а ставочные ни один.

Встречать министров сегодня на вокзале, Алексеев настоял, должны все ведущие чины Ставки.

Вдруг почему-то пожалел Алексеева. (Никогда не жалел.) Вся мера унижения, какая была в этой встрече, она падала больше всего ему. Серых, честных, трудолюбивых — таких ни при какой власти не возвышают, это ещё государева была личная склонность, — а вот обливала его революция помоями, а ему оставалось только отираться, как и ничто.

Итак, на вокзале был выстроен почётный караул из Георгиевского батальона. Вся главная квартира, вместе и с морским штабом. Военные агенты союзных держав вышли на перрон из гучковского вагона. (А сам Гучков не вышел. И понимающий глаз разило, что военного министра встречали вчера не так.)

Обывателей из города было мало — город не смыкался с вокзалом. Но приехали на извозчиках (носились на них по городу) какие-то с красными бантами, красными шарфами и даже красными лентами наискось, через плечо. Но привели и построили какую-то школу, уже с красным флагом. Остальной перрон был безпорядочно забит любопытными железнодорожниками и солдатами, что создавало толпу, но нарушало строй.

Ещё и на крышах примыкающих станционных построек тоже набрался любопытствующий народ. Ещё выше, вкруг высоких

станционных тополей, в тепловатом пасмурном дне суетились, возились, кричали грачи, прилетевшие тому дня три.

На подходе поезда два оркестра уже заиграли марсельезу.

Вагон министров сразу был отмечен тем, что из него выходила и строилась охрана из Гвардейского экипажа.

Встречающие не знали точно, кто именно из министров будет, ожидали первым увидеть князя Львова — первым явлением не царской власти на Руси.

Но в вагонной двери появился — подчёркнуто узкий, тщедушный, подчёркнуто подвижный, не в штатском пальто, но в полувоенной куртке и в полувоенном картузе, всем видом и движениями явно претендуя казаться военным. И ещё ему явно хотелось отдать под козырёк. Но он удержался, а с тамбурной площадки приветствовал всех собравшихся каким-то римским движением руки — и тут же, звонкоголосо перекрикивая ещё не замолкший оркестр, закликнул:

— Товарищи! Армиям фронта — низкий поклон свободного народа! Надеюсь, ваше воинство сломит упорство внешнего врага!

И — не сошёл, и не сбежал, а почти спрыгнул к Алексееву со ступенек. И не просто пожал руку генералу, но повышенным тоном вскричал:

— Позвольте мне, генерал, в знак братского приветствия армии, поцеловать вас как её верховного представителя и передать привет от Государственной Думы!

И — смело поцеловал колючего Алексеева своим голым обгубьем.

Дальше вышла заминка, которую Свечин хорошо видел поблизости: этот мальчиковый министр тут же намеревался и идти, с Алексеевым или даже без него, мимо почётного караула. Но Алексеев, естественно, ждал следующих министров. А следующий министр в тамбуре не появлялся. (Когда потом появился надутый Милюков в шубе, можно было догадаться, что он не хотел просто прилипнуть к спине юного предшественника.) Вышла заминка, — а тем временем матрос Гвардейского экипажа с усилием опустил одно вагонное окно — и оттуда выставился ещё какой-то штатский, без шапки, хорьковатого вида, с холёными усами, и тоже ораторски высунул руку и закричал, но уже в тишине, в приготовленном внимании:

— Товарищи железнодорожники! Ваш героизм и сознательность безропотно несущих днём и ночью свой труд с удвоенной

энергией на алтарь отечества!.. Старое правительство разрушило железные дороги, но мы оживим их и поднимем правовое положение железнодорожников!

Так что постепенно прояснялось, что это, наверно, — министр путей сообщения.

А в тамбуре показался и выдвигался к двери — очень постепенно, очень солидно, на голове богатая меховая шапка, шея в меховом воротнике, строгий вид, строгие очки, — всем известный Милюков.

От некоторых не в строю раздались аплодисменты.

Милюков осторожно, как бы остерегаясь свалиться, сошёл по ступенькам, внизу поздоровался с Алексеевым. И движенья не делал приобнять или целоваться.

Тем временем сходил со ступенек ещё один министр — ростом выше Милюкова, совсем не надутый, открытое прямое лицо.

Затем и тот хорьковатый.

И теперь все четверо с Алексеевым двинулись мимо почётного караула, — но министр-мальчик на нетерпеливый шаг вперёд всех остальных, и первый звонко крикнул, смешно из юношеского горла:

— Здорово, молодцы!

И георгиевские кавалеры отлично отрубили:

— Здравия — желаем — господин — министр!

Милюков и другие уже не кричали караулу.

И мимо выстроенных чинов Ставки прошли со штатскими поклонами, никто никому не подал руки.

Впрочем, и много стояло же этих чинов.

Впрочем, Государь подавал.

Затем опять возвратились к своему тамбуру, и тот шустрый министр легко взлетел на площадку, обернулся и быстрым горячим голосом начал выбрызгивать речь. Кидалась его необычайная взволнованность, и ощущение необычайности момента, и страсть голоса, — за всем тем Свечин только и усвоил из его речи, что Учредительного Собрания нельзя собрать, не достигнув прежде победы над немцами.

По крайней мере, хоть это понимали.

И — «ура» за армию!

— Ура-а-а-а-а!

Затем медленно, солидно на ту же площадку взошёл тяжёлый Милюков, обернулся, взялся руками за верхи поручней (проверя пальцем, нет ли там налётов паровозной сажи) — и стал подчёрк-

нуто не торопясь и подчёркнуто без ажитации, довольно долго говорить.

Он отмечал заслуги армии в свержении старого режима.

(Если говорить об Армии Действующей, то заслуга могла быть только в полном бездействии.)

Уверен был:

— Народ, сумевший в четыре дня совершить мировой переворот, — добьётся и победы над внешним врагом!

Эх, сесть бы тебе за оперативный стол, да посчитать, сколько мы потеряли от петроградских заводов. Да смещённых начальников. Да комитетов сколько. Да дезертиров.

И — «ура» за армию!

— Ура-а-а-а-а!

А затем поднялся тот третий министр, с таким хорошим, естественным лицом. И голос у него оказался естественный и душевный, даже редко такой услышишь. Но говорил он зачем-то длинно, с косвенными отвлечениями, всё не мог остановиться, — всё о тяжёлом наследстве старого режима, как его преступный хаос отразился на продовольствии. Говорил как-то растерянно или рассеянно, будто сам озабоченно думая о другом:

— Хлебородная страна вследствие преступной политики старого режима осталась без хлеба. В две недели наладить снабжение было, конечно, трудно. Но будут привлечены лучшие люди общества. Не пеняйте нам, если на первых порах придётся несколько и сократить потребление.

А что ж пеняли старому правительству? Оно и не сокращало.

— Теперь — мы сами делаем свою историю — и не на кого сваливать ответственность. Во имя будущего надо ограничить себя в настоящем. Только общей неустанной, самоотверженной работой…

644

Не прошло и трёх недель революции — армия расколота до основания, шаталась и гибла. Не то что наступать в этом году на Германию, — разумному военному человеку было ясно, что для спасения самой-то армии, чтобы было кому с т о я т ь, могли остаться только недели!

А Лечицкий сказал: всё равно ничего не поделать…

А сослуживцы по штабу армии и кого Воротынцев повидал в поездке по корпусам — были встревожены, уязвлены, ироничны или даже равнодушны (или даже перекрашивались под новую власть?), — но никто не разделял, что надо немедленно, вот тут же, самим, что-то резкое предпринять.

Армия — всегда и на всё ждёт команды.

Как мы все разъединены! Все дёргаемся поодиночке. Офицерство оказалось — сплошное баранство. Мы смелы в своём обязательном строю, в бою против Гинденбурга, — но пришло с неожиданной стороны, из-за нашей спины, — и какой мрази уступили?

Впрочем, большинство когда умело что-нибудь сделать? Большинство и всегда лениво духом, на него надежды нет.

Но — немыслимо не противостать этому разложению! Ведь на этом не кончится, пойдёт ещё глубже. Лечицкий прав: это — осыпь земляной кручи, и она тронулась еще только по верху. О революции уже все пишут как о чём-то, произошедшем три недели назад. Хо-го! Она только начинается!

И надо спешно искать наилучшей точки: и — чтоб самому не сползти, и — чтоб удержать. Если это вообще кому-нибудь посильно.

Воротынцев стал спать дурно, его жгло, что надо немедленно *делать*! Он ждал ответа от Свечина. Свечин пока дал телеграмму, что — надеется устроить.

Решение — не рождалось. Первое соображение военного — применить к ситуации военные средства. Но такие средства — у кого были? И был бы у Воротынцева свой прежний полк — сегодня, конечно, тоже разлагаемый, — так и тоже не то, вращённый в костяк фронта, отдельно не вынешь. И: революция — точно как зараза: тот, кто хочет приблизиться лечить от неё, — обречён прежде заразиться сам.

Да и что на Румынском фронте можно делать?

Он только мог присоединиться к кому-то крупному и сильному.

Но вот — и Лечицкий не собирал таких. Западный фронт — на уровне Москвы! — мог быть таким центром действия! — но вот Лечицкий не брал его.

Вчера весь день стоял туман над городишкой Рамоном, а сегодня подул совсем тёплый ветер, туман сдёрнуло, под солнцем и небом открылся Серет и степь за ним в сторону Ясс — нигде уже ни клочка снега, и только чёрные-пречёрные плодороднейшие поля,

ждущие семян, и такие же чёрные взмешенные дороги, по которым проехать совсем невозможно. На несколько дней вся Девятая армия потонула в этом море грязи. Но каждый, кто становился пощуриться под солнцем и принять этот обещательный ветер в лёгкие, — узнавал вокруг и в себе каждогоднее, каждый год удивляющее ликование весны — толчком в грудь, вмещающее в нас сноп радости, самоуверенности и надежд.

В такую погоду, и чувствуя себя молодым — нельзя не верить в успех.

И в этот солнечно-голубой день — пришла Воротынцеву телеграмма из военного министерства. Не от самого Гучкова, но от помощника его, генерала Новицкого. А содержание — захватывало дух: немедленно прибыть в министерство получить назначение с *большим повышением*!

Такая телеграмма может прийти офицеру — раз в жизни. И не в каждой жизни.

Да Воротынцев, признаться сказать, и ждал такой телеграммы. И даже удивлялся, почему не шлют: обиделся на него Гучков?

Воротынцеву, в его разряде командира полка, повышением было бы — получить дивизию и генеральский чин. А — *большим* повышением? Сразу корпус?..

Всё может быть, когда прежние начдивы и комкоры начали сыпаться как сосновые шишки.

«Дорогу независимым!»… На этом тезисе ведь и было их совпадение с Гучковым. Об этом и мечтали: сменять по непригодности, а не по старческой только болезни. Это и обличали: загромождение командных постов засидевшимися стариками.

Головокружительный соблазн.

Выбор — целой жизни…

Какой выбор? Да, конечно, я согласен! Кто может быть не согласен?

А Лечицкий сказал: не время сейчас возвышаться.

Но и именно — время! Но и важней всего — управлять событиями *сейчас*!

Но если Лечицкий не видит силы в Главнокомандовании Фронтом — то что может сделать корпусной? Получить от Гучкова корпус, — а с чего он окажется крепкий и стойкий?

И потом: идти сейчас к Гучкову — значит и служить этой самой революции? Разве Гучков позовёт — противодействовать ей? Он же сам — петроградская власть.

Но революция — это событие слишком огромного масштаба, чтоб его безошибочно разглядеть изблизи. И из революций тоже выходили могучие государства, на века.

Могут быть ещё разные, разные повороты к лучшему, там дальше увидим?..

Однако что вот сразу близко видно: Временное правительство, которому так бы естественно выйти из войны, — безмозгло кричит о новом приливе сил и о войне до победы.

И — сами же при этом разрушают армию.

На что ж они надеются?..

Продолжать войну? — уже в прошлом году это было преступно перед русским народом. Сегодня — это стало и безнадёжно. После того как отпробовали шипучего комитетского напитка — кто ж вернётся в старый строй? Теперь-то, после революции, продолжать войну — самоубийство.

Теперь долг — не переть на войну, не жалея лба, — но спасти народ в час его охмеления.

Да вот: как Гучков допустил эту «Декларацию прав солдата»? Он возвышает энергичных офицеров — и он же разваливает армейские уставы? И чего он ещё наворочает?

И какой же смысл возвышаться по куче, которая рушится?

А в этих комиссиях — поливановской, Военной — однако, кто и налип, как не младотурки же?..

Нет, пути расходятся. Это был самообман, будто и Воротынцев состоял в той компании. Как будто все едино хотели разумных армейских реформ. А они, вот, готовы и на развал.

Новицкий, подписавший телеграмму, — генерал-писатель, большой любитель изъяснять военную жизнь пером. Сейчас, когда больше всего нужна пропаганда, конечно, ему и быть при военном министре. Он ещё из юнкеров был разжалован за политику, потом всё же прошёл курс. А недавно был отставлен от бригады: что она по его вине понесла потери от газовой атаки.

Ка́к всегда жаждал Воротынцев высокого назначения! И вдруг сверкнуло — внезапное, небывалое!

Но — не от тех.

Но — не в то время.

Нет, не должность важна при революции. А — реальная возможность делать дело.

Однако в штабе Девятой армии теперь уж вовсе не остаётся делать ничего серьёзного.

Ставка! Вот единственное место, которое может противостоять и развалу от правительства, и развалу снизу. Единственное место, независимое от Петрограда и само себе командующее.

Единственное место, где может завязаться армейское сопротивление красному Петрограду. Если уж не в Ставке — то где ж ещё?

Или, всё-таки, принять вызов Гучкова?

С какой решимостью — отшвырнуть?.. Ведь на корпусе вскоре — и генерал-лейтенантский чин! А в Ставке — ничто, какая-нибудь жалкая должность?

Выбор честолюбия: да, безусловно ехать к Гучкову! Сейчас же — согласие, и выезжать!

Как вот подсохнет.

Выбор реального дела: только Ставка! Нервный узел.

Не может быть, чтоб уже всё было без поворота проиграно!

Во всякой стеснённой задаче, если всматриваться в неё пристально и со свежестью, можно увидеть решение — и даже достаточно простое, неожиданное.

И есть — азарт опасных положений!

Сказал Лечицкий: революцию не перехитрить?

А может быть, всё-таки, есть такой способ?

Да не может быть, чтоб не оставалось никакого выхода! Так не бывает ни на войне, ни в природе.

645

И снова катили торжественные валы революции! И снова текли и текли праздничные войска к Государственной Думе! (По неизвестной причине. Одни части завидовали другим?)

Позавчера пришёл из Нового Петергофа гвардейский артиллерийский дивизион — и притащил за собой 12 тяжёлых пушек. И с оркестром и со всеми плакатами хлынул на ненадёжные полы Екатерининского зала, к счастью не пытаясь втянуть с собой и пушки — они все двенадцать остались на Шпалерной, грозною народною защитой Государственной Думы. Но ещё стояли в Екатерининском артиллеристы — как уже подошёл к дворцу, мешая строй из-за пушек, — гвардейский Литовский батальон. Пока разобрались, вывели одних, ввели других, произнесли речи перед литовцами (и Родзянко опять, но и Чхеидзе опять), — доложили, что сна-

ружи подошёл 180-й запасной полк. («Тех, кто предавал народ, — под народный суд!»)

Уже так много было полков, желающих выразить преданность, что не все могли пойти по круговороту Таврический дворец — Дворцовая площадь, но кто куда успел. С Дворцовой площади доносили по телефону, что там в этот день Корнилов принимает парад и митинг сразу двух пулемётных полков перед отправкою их в Ораниенбаум. (Уже который день пулемётные полки ходили в разные места Петрограда и прощались.)

Вчера привалил к Государственной Думе запасной батальон гвардейского Петроградского полка — с полуистлевшим георгиевским знаменем, простреленным в турецкую кампанию, и красной лентой: «Доверяем Временному правительству». Родзянко в это время не было в Таврическом; Чхеидзе, на этот раз не «генерал», а «солдат от народного доверия», воспользовался и звал зорко следить за шагами Временного правительства. А к Измайловскому батальону Родзянко поспел, и выборный полковник произнёс здравицу: «За мудрого честного вождя Родзянко!» — и обоих понесли на руках.

Однако высшего ликования шествия полков достигли сегодня! Феерически повторялась незабываемая картина революционных дней! Колонны войск забили всю Шпалерную, завернули на Потёмкинскую и дальше вокруг Таврического сада — и по несколько часов ожидали впуска во дворец, многие сидя на снегу, а то и лёжа, ружья везде составлены в пирамидки.

Первым пригарцевал 9-й запасной кавалерийский полк, сам себя назвавший «1-м кавалерийским полком республиканской армии», — это название они и везли на пиках первой шеренги.

Сразу же за ними пришёл лейб-гвардейский Московский, и тут же за ним — лейб-гвардии Преображенский.

Так и забили улицы — хотя и это был не конец: дальше пришли пешком из Петергофа, потом 2-й Балтийский флотский экипаж и, уже к вечеру, — Гвардейский экипаж. А в 8 часов вечера, уже в полной темноте, — дошагал из Красного Села 176-й полк.

И все дожидались очереди войти в Екатерининский зал и тут держать митинг. Законное желание! (Хотя и утомительное.)

И выступали, выступали, чередуясь, то думские депутаты, то члены Совета. Сам Родзянко берёг свои силы, чтобы выступить перед экипажами, тем и другим. Вот вливались в зал и чёрные шинели. (У гвардейцев на знамени с одной стороны изображён кресть-

янин, «земля и воля», с другой — кузнец с наковальней и «да здравствует свобода».) Второй Балтийский экипаж Родзянко убеждал терпеливо ждать воли Учредительного Собрания, которое и ответит на все вопросы, волнующие русский народ. Но тут же влез от московского совета депутатов: что моряки — революционный авангард, выдвинули лейтенанта Шмидта, и отстоят теперь свободу, которая пока завоёвана лишь наполовину.

И его — балтийцы качали. А Родзянку — не качали.

А к Гвардейскому экипажу прежде Родзянки обратился их командир, капитан первого ранга: мол, 100 лет назад, когда декабристы вывели на улицу петербургские полки, — Гвардейский экипаж тогда вышел первый. Теперь — не первым, но тоже вышел. А с проклятыми немцами будем бороться до победного конца! С «ура» подхватили матросы его качать. Затем и Родзянку.

Так до позднего вечера ликовал сегодня Таврический. А завтра, в воскресенье, сюда ожидалась огромная манифестация женщин, добиваться избирательных прав, — и тоже ведь не мог Михаил Владимирович не выступить.

Всё так, всё отлично, но разве деятельность его только была приветствовать полки? Да именно в эти самые дни 23-й армейский корпус прислал Комитету Государственной Думы в подарок шлем — как эмблему безопасности от посягательств врагов свободы. А артиллерийский парк прислал всё месячное солдатское жалованье на усиление войны. И приходили сведения, что крестьяне жертвуют для родины хлеб. И надо было принять делегацию объединившихся демократических поляков, пришедшую благодарить Думский Комитет за обещание независимости Польше. (И хотя Комитет был ни при чём — но как не принять благодарности?) И нельзя было не принять Громана, который приходил мутить и жаловаться по продовольствию на Шингарёва. (Да и пора была писать воззвание к крестьянам: не поддаваться агитаторам и не громить имения. Очнулся теперь Родзянко, что зря это он в революционных попыхах утвердил реквизицию хлеба, у кого свыше 50 десятин. Это — разбой. И он теперь протестовал Львову.) И надо было рассылать, рассылать комиссаров Думы во все концы страны и разъяснять единство Думского Комитета, Временного правительства и Совета Рабочих Депутатов. А сегодня вызывал к прямому проводу генерал Рузский — и ни с того ни с сего повёл по телеграфу дискуссию: кого именно понимать под правительством — Думский Комитет или Совет министров? Генерал понимает Совет ми-

нистров лишь как исполнительный орган, а Комитет Государственной Думы — как орган высшего контроля. Да, конечно, именно так! — горячо подтверждал Родзянко. Но мы решили предоставить им отчасти и законодательную власть.

А когда ездил в довмин, принял Михаил Владимирович на душу ещё горшую тревогу и отемнение: узнал он, что готовится назначение Алексеева Верховным Главнокомандующим.

Роковой шаг! Этого он и боялся! С первой минуты пронзило его, что это — опасная ошибка. И потом час за часом прорабатывалось в нём: какая же это опасная ошибка!

Лукавое котячье лицо Алексеева так и стояло перед ним, живое!

Как фактический глава государства, как человек, ответственный за Россию, — Михаил Владимирович не мог не вмешаться! И самым энергичным образом! Он должен был спасти — и русскую армию, и победу, и революцию.

Но, не имея прямо власти вмешаться и запретить и не имея под рукой полной Государственной Думы для запроса, — один способ имел Родзянко: написать предупредительное увещательное письмо. Кому же? Ну, очевидно, князю Львову.

Письмо прорабатывалось в нём, — и сегодня в дальней комнате дворца, сотрясаемого шагом тысяч, он написал — своим решительным, разбросистым почерком, мысли легко ложились под перо:

«Милостивый государь князь Георгий Евгеньевич.

…Это назначение не приведёт к благополучному окончанию войны. …Я сильно сомневаюсь, чтобы генерал Алексеев сосредоточил в себе сумму достаточного таланта, силы воли… Генерал Алексеев всегда считал, что армия должна командовать над тылом, над волей народа… Вспомните обвинение генерала Алексеева против народного представительства: что оно из главных виновников надвигающейся катастрофы… Не забудьте, что он настаивал на введении военной диктатуры… Ширины умственного кругозора в этом человеке нет, охватить широким размахом донельзя усложнившиеся условия ему будет не по силам, да имя его и мало известно в России… Для меня совершенно ясно, что только Юго-Западный фронт оказался на высоте положения. Там чувствуется голова широкого полёта мысли — я имею в виду генерала Брусилова. Это единственный генерал, совмещающий… Другим лицом широкого государственного ума я считаю генерала Поливанова. Быть может, ещё не поздно изменить ваше решение…»

Вот. Вот так. Сегодня же и отправить.

А если не повлияет?

О-о-о!.. О-о-о!..

Тогда: завтра же собрать заседание Временного Комитета Государственной Думы — и просто постановить!

То есть, вынести рекомендацию…

646

По-настоящему, трудно было уразуметь, о чём бы Верховному Главнокомандующему надо было совещаться с министром юстиции и даже путей сообщения после того, как накануне уже обо всём важном отсовещались с военным министром. Другое дело — по иностранным делам. И всегда охотно — по продовольствию.

Да ещё: как понимать этих пятерых министров в их совокупности и взаимоположении? Если не приехал премьер — то кого из них считать старшим? Гучкова? А может быть Милюкова? (А Керенский уверенно держал себя как за старшего. Впрочем, простой, искренний молодой человек, неожиданный его поцелуй тронул Алексеева.)

Травимый Советом депутатов, Алексеев ли всей душой не хотел наладить сотрудничество с правительством? Да как без этого вести дальше войну? Без Временного правительства — что теперь есть Ставка? Она не может решить ни одного стратегического вопроса, ни с пополнениями, снаряжением. Надо любой ценой установить безконфликтные отношения, и придётся принять дух, круг понятий и условия новой власти.

Но принять их условия — не значило принять все их безумия подряд. Вот они простили всех дезертиров, вот они простили уголовных,— а теперь отменили смертную казнь! во время войны и на фронте! Хотя этого и раньше почти не применяли — но она же должна быть! Газеты давно болтали об этой отмене — но никак Алексеев не думал, что у правительства настолько не хватит благоразумия. Они как будто совсем не понимали реальной опасности развала армии — всё заслонялось выставочным щитом *демократизации*.

Через глухое течение телеграфных лент или сухую сдержанность донесений передать в дальний Петроград здешнюю тревогу

и опасность было непосильно. Но теперь-то, когда министры сами наехали сюда в таком числе, — теперь-то и было высказать всё открыто. Да, поддержать хорошее взаимопонимание, но также и отстоять армейский взгляд. Как-то нужно в сегодняшнем совещании всё это тактично совместить.

Генерал Алексеев сильно волновался. После дня отречения Государя вчера и сегодня были для армии самые важные дни.

По пути с вокзала министры проявили приятное, весёлое настроение: сегодня в вагоне, говорили они, впервые за три недели они крепко спали. А то ведь в самые революционные дни не умывались по шесть дней и спали в сутки по часу! — но скорее с гордостью об этом. Всем министрам Алексеев приготовил номера в гостинице «Бристоль», рядом со штабом, однако номера могли понадобиться им лишь для дневных переодеваний: дела революции не позволяли им задержаться в Ставке, и сегодня же поздно вечером намеревались они отправляться назад и поспать снова в поезде.

Против штаба собралась на площади большая толпа — поглядеть министров. Охрана Гвардейского экипажа продолжала сопровождать их, и ещё филёры сновали в толчее. Министры махали руками толпе, и особенно воодушевлённо Керенский.

Завтрак сервировали в узком составе — пятеро министров и три ведущих генерала, и уже за завтраком началось деловое обсуждение. Потом перешли в конференц-комнату, то есть в государеву, где висело пять карт фронтов. Теперь собраны были все новые лица, о ком и вообразить нельзя было прежде тут, — а решать, по сути, надо было всё тот же вопрос: план кампании 1917 года.

И вот теперь Алексеев мог повторить им свои новейшие выводы: что наступление — лучший выход для нас. И мы можем намечать его, хотя и в ограниченном размере, на первые числа мая.

Какое облегчение! — не придётся краснеть перед союзниками! Министры радостно засветились, едва ли не больше всех — сдержанный Милюков. И все стали крайне благожелательны к Алексееву. В десять глаз рассматривали этого царского генерала и удостоверялись, что — можно ему доверить всероссийскую вооружённую силу!

(Да уж забыли они или не ценили: кто ж больше Алексеева помог им самим утвердиться?..)

А тут ещё именно сегодня появился при Ставке американский военный агент поручик Риге. Он вот-вот ожидает извещения о

вступлении Соединённых Штатов в войну, чтобы официально начать действовать при Ставке. Это — радовало всех, ещё бы!

Но Алексеев не дал себе раскиснуть от их доброжелательства, а стал выдвигать твёрдо. Господа! Освободите армию от тлетворных влияний и от политики. (И особенно смотрел при этом на Керенского: затлела у него надежда, что именно этот министр — мог бы!) Мы не можем допустить такой резкой ломки всего воинского устава. Армия переживает фактически болезнь, упадок духа офицерского состава, солдатское брожение. А — Балтийский флот?.. Провален весь наш правый фланг. А как может быть, что Петроградский военный округ отказывается давать пополнения Действующей армии? А петроградские заводы уже три недели не дают вооружения… А именно в Петрограде главное производство всех боевых припасов. По причине революционных событий мы не получаем более ни снарядов, ни патронов, ни орудий, ни ружей. Не поступают и мины для обороны Балтийского моря, оно станет открыто противнику. Теряя столицу, мы теряем возможность победы. А такая неудача сотрясла бы страну морально — и население припишет тому, что переворот произведен не вовремя. И будет искать виновников.

Кого?..

Так Алексеев выдвинул остриём против министров всё, что мог.

А вот — сведены заявки по разным отделам интендантской части, по артиллерийской части, по снаряжению, по людским укомплектованиям, конским, по железнодорожному транспорту, по топливу, по металлам. Вот — графы потребных норм, вот — наличных запасов, вот — ожидаемое от тыла. Война теперь ведётся на истощение.

Всё так, господин генерал, но Ставка должна уяснить себе народные желания и руководствоваться ими. Слишком настаивать на узких военно-технических вопросах — значит не понимать духа революции, это производит невыгодное впечатление на общественность. Ставка не должна довлеть сама себе, а являться исполнительным органом революционной власти. Возникает вопрос: достаточно ли разъяснено Командующим армиями значение переворота? Войска должны идти рука об руку с народом, и враги нового строя нетерпимы. Новое правительство и само имеет значительные трудности с Советом депутатов, да. Тем не менее оно

смогло спасти родину от грозящей гибели. У нас у всех преобладает оптимистический взгляд на будущее.

При такой настороженности министров — разве мог Алексеев дальше пожаловаться, что даже в Могилёве сама Ставка чувствует себя неуверенно, страдает от хамства *товарищей* из местного Совета. Даже в Могилёве Алексеев реально теряет власть.

Ну что ж, проще двигаться по повестке дня, вот по этим заготовленным заявкам, которые уже и в Петроград многие посылались. На фронтах запасов продовольствия и фуража стало недостаточно. Значит, надо либо уменьшить суточную дачу, но это опасно при нынешнем возбуждённом настроении армии, либо надо сократить в армии число ртов и лошадей. Отводить в тыл конные дивизии?

Затруженный Шингарёв печально отвечал: сокращать лошадей и рты — да, но этого мало: неизбежно и значительно уменьшить суточную дачу хлеба, круп, фуража: хлеба — до двух фунтов, крупы — до четверти фунта. Шингарёв разводил большими ладонями: всё посчитано, у нас нет другого выхода. Настроения армии не надо бояться: как раз революционное настроение и поможет перенести урезы, которых не простили бы царю. Пусть армия разводит огороды, вот выход.

Разводить огороды? — какое ж тогда наступление!

Но если мы не можем снабдить самих себя, запротестовал Алексеев, то надо же прекратить отправку пшеницы союзникам!

Малоподвижное лицо Милюкова и твёрдый лоб его омрачились: ведь это ему, ему придётся краснеть и извиняться перед союзниками.

Некрасов занервничал: железные дороги не могут сейчас справиться одновременно и с перевозкой запасов для армии, и с оперативными перебросками войск, если они понадобятся для наступления.

Вот как… Алексеев нашёл доводы и силы обнадёжить правительство — а правительство, напротив, глушило его. И — что ж из этого выйдет?

А вот что. Генерал Алексеев должен издать ободрительную директиву фронтам. Нынешнее положение создалось от неумения прежних министров наладить продовольствие и транспорт. Новые народные министры стараются распутать, но требуется терпеливо пережить переходное время. Потребности армии огромны, и дороги пока не могут удовлетворить их в полной мере. Ограничены и

ресурсы в Европейской России. Внутри страны нет такого запаса собранных продуктов, и вот почему придётся уменьшить дачу продовольствия и фуража. Пусть армия обходится пока тем, что доставляется, и верит, что в тылу всё делают лучшие люди и лучшим образом. Затруднения — и во всех странах, и даже там дачи — меньше. Война идёт на истощение, и победа достанется тому, кто сумеет всё перетерпеть. Временное правительство обещает, что через полтора-два месяца уже будут благоприятные результаты.

Да не для того министры приехали в Ставку на короткие часы, чтоб изучать эти цифры, настроченные в тяготеющих докладах, — над тем будут работать комиссии по секциям.

А — вот что надо сокращать: саму Ставку. Во-первых, ускорить ликвидацию управлений бывших великих князей. И сами они, и принц Ольденбургский пусть немедленно подают прошение об отставке и отправляются в Петроград, мы не будем арестовывать их. Затем: царский железнодорожный батальон — отправить на фронт. Георгиевский батальон? — тоже доверять им нельзя, это каратели, хотя теперь притворяются, что не знали, куда едут.

Генерал Алексеев не спорил. Он даже, со своей стороны, просит правительство как можно скорей отправить бывшего царя в Англию: его пребывание в России может нервировать армию.

Керенский возразил с оживлением, что надо прежде разобрать все царские бумаги — и только тогда… ?

Да, вот ещё. В правительственных кругах очень сочувственно относятся к новой инициативе Земсоюза: сверх всей многообразной заботы, которую он уже ведёт об армии, ещё взять на себя создание Комитета Пропаганды, который будет давать армии ответы на все интересующие её вопросы политической, социальной, военной жизни, способствовать росту её сознания и подготовке выборов в Учредительное Собрание. (А пока на этот комитет нужен один миллион рублей.)

Земсоюз был больным местом генерала Алексеева, теперь скрываемо больным: ведь он докладывал царю свой решительный вывод, что Земсоюз приносит армии больше вреда, чем пользы, и следовало бы его разогнать, и рассылал секретную директиву, как надо ограничивать Земсоюз. И сейчас на это новое феерическое предложение он серьёзно мог бы ответить только одно: а не хотят ли все эти молодчики-земгусары да послужить в строю? Именно их пропаганды он и опасался всегда. Но председатель Земсоюза

стал теперь премьер-министром России. И Алексееву оставалось только согласиться на эту новую карусельную болтовню.

С последней надеждой он взглянул на Гучкова — должен же он понимать эту вздорность?! Но тот сидел как с зубной болью. Не возразил.

И ещё есть правительственное предложение: посылать делегации от войск в Петроград для приветствий Временному Правительству.

Ну что ж, если это нужно. (Алексеева как бы опять не познабливало, не возвращалась ли болезнь?)

Так постепенно совещание прошло черезо все трудности — и проступал итог для газетного коммюнике:

«Генерал Алексеев понял народные желания. Линия для общей работы с ним найдена».

ДОКУМЕНТЫ — 31

18 марта

ФРАНЦУЗСКИЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛ НИВЕЛЬ — ГЕНЕРАЛУ ЖАНЕНУ ПРИ РУССКОЙ СТАВКЕ

Энергичным образом настаивать перед генералом Алексеевым, чтобы, несмотря на важные внутренние события, русская армия, в соответствии с принятыми ранее решениями, оказала возможно полное содействие операциям англо-французских войск. Наилучшим выходом как с точки зрения общих интересов коалиции, так и для морального состояния русской армии является как можно более скорый переход её в наступление.

647

А даже и хорошо, что князь Львов не поехал в Ставку: у него образовался в субботу как бы невольный день полуотдыха. То есть нисколько не прервался ни поток приветствий, ни поток забот, звонков, докладов, и особенно Щепкин, в себе не уверенный, спешил решать в этот день с князем все вопросы по министерству внутренних дел, — а всё-таки чувствовалось облегчение: без половины министров ни одного мучительного вопроса не придётся

сегодня постановлять. И не придётся мирить накопляющиеся страсти, особенно между Керенским и Милюковым, что бывает князю очень тяжело душевно. Заседание правительства если и состоится, то по вопросам третьестепенным — об отмене переводных и выпускных экзаменов в средних учебных заведениях, об обнаруженных хищениях при строительных работах, о выплате суточных и других вознаграждений комиссарам губернским и уездным, служащим правительственной канцелярии, и процентные надбавки им.

Самым давящим в жизни князя Львова последние две недели то и было, что никто не состоял *над* ним в качестве начальника, высшей инстанции, с которой бы ему и ладить: спокойней было бы князю иметь над собою решительное твёрдое начальство. Нет, он стал тот самый верхний, за всё ответственный, который и должен теперь укладывать все неразрешимые вопросы России. И эта нагрузка была бы непосильна для человеческого мозга, если бы не верить, что сама Россия во всём разберётся и всё вытянет.

Отец князя Георгия был вольтерьянец, и не любил русской деревни, и даже бежал из неё в предреформенные, довольно жуткие тогда годы за границу, — так что Жоржинька родился в Дрездене, и первый язык его был не русский, а английский, от бонны. Отец, и воротясь потом в Россию, всё не доверял русским крестьянам и на более сложные работы в имении выписывал рабочих из Германии, хотя от этого смехотворно не было лучше. Однако Жоржинька, напротив, вырос в уверенности, что наши мужики во всём учителя жизни, и наш народ — богоносец. И эта вера в наш чистый, святой народ особенно поддерживала князя Георгия сейчас, на бурных общественных волнах. Он понимал, он верил, что вся стихия уляжется, когда здравый смысл возьмёт верх. Что наш народ сам знает, что ему нужно, и сам всё устроит.

А между тем корреспонденты, конечно, пронюхали и сообразили, что у князя Львова сегодня менее загруженный день, — и дружно приступили с просьбой о беседе для воскресных выпусков газет: дать читателям общий обзор переживаемого момента и общие перспективы.

Ну вот и недостающее сегодня бремя, — грустно усмехнулся князь. Но не только невозможно было отказать настойчивым корреспондентам, а тут же и подумал, что это хорошо, что это даже лучший способ управления: не постановления выносить, не указы, но — вольными, широкими словами объяснить всё народу России.

Пригласил корреспондентов к себе в кабинет, выдержанный в синих и костяных тонах.

Лакей в ливрее и высоких белых чулках подал кофе.

Создалась вместе — интимность и просторность, было легко говорить. И слышал князь, как голос его задушевен и как это передаётся, умягчает корреспондентов. И князь говорил как бы сам с собой или мысленно со всей Россией:

— Время, которое мы переживаем, настолько выходит за рамки всех привычных представлений о ходе государственной жизни, что я чувствую себя затруднительно говорить в форме газетного интервью. Жизнь — ещё в расплавленном состоянии, и те твёрдые формы, в которые она выльется, намечаются пока лишь в общих очертаниях, а определятся со временем — свободным народным творчеством.

Князь говорил не торопясь, весь вдумываясь, весь вчувствуясь, поводя то к одному корреспонденту, то к другому седоватой своей головой и улыбаясь своею, как он знал, неизъяснимой улыбкой.

— Русский народ только сейчас стал перед всем миром и перед самим собою во весь свой гигантский рост. Он совершил настоящее чудо: в течение нескольких дней он снёс до конца прогнившее здание старого порядка — безо всякого междуусобия, почти без кровопролития. Он совершил и второе чудо: он сумел на второй день после своего великого переворота сорганизовать новую власть и в центре, и на местах. Скажу вам, я верю в то, что он совершит и третье чудо: донесёт свою свободу и своё единение в неприкосновенности до того великого дня, когда Учреди…

Переполненный верой, князь дрогнул голосом:

— Только эта вера и помогает нам нести наши сверхчеловеческие задачи — и не сламываться. Без дружной народной поддержки мы бы… — докончил шёпотом, — свалились.

Он должен был передышать, чтоб овладеть собой, но корреспонденты не ринулись грубо в эту паузу с вопросами. Да это всё были чуткие интеллигентные люди. Чуть звякали кофейные ложечки.

— Великая русская революция сделала нас — исполнителями воли народной. Мы в полной мере оцениваем значение тех сил страны, которые сыграли главнейшую роль в час великого переворота.

То — не был ни сам князь, ни думцы, то — были удивительные герои, солдаты запасных полков, и удивительные рабочие, кото-

рые… Экспромтом блеснуло князю, что эту беседу он может использовать для публичного обмена как бы дружеской улыбкой с Советом рабочих депутатов, улыбкой, каких немало он послал им через стол в заседаниях Контактной комиссии, — но, публичная, такая улыбка более обязывала и контрагентов. Он, кажется, нашёл очень тактичную форму:

— Всё старание наше — осуществить *полноту* власти, которую нам вверила народная воля в согласии с этими силами. Но мы надеемся, что *и эти силы ясно понимают положение русской свободы и Временного правительства*. Чтоб ответственность Временного правительства передо всем русским народом была реальной, для этого ему нужны… возможности решения и действия…

Кажется, он хорошо и уместно это выразил!

— И признаки всеобщего объединения вокруг Временного правительства являются со всех сторон России — в выражениях доверия, приветствиях, депутациях. Наша программа — уже известна стране. Основное обязательство — это созыв Учредительного Собрания в возможно кратчайший срок. Определить этот срок уже сейчас с полной точностью — само собой разумеется, нет возможности. Нет готовых образцов. Составление избирательных списков уже будет грандиозно, как всеобщая перепись. И надо обезпечить голосование на фронте, — значит, чтобы военные действия не были в полном разгаре. И надо же обезпечить абсолютную тайну голосования.

Действительно, эта проблема была тем головоломней, чем пристальней в неё всматриваться. В горячке революционных дней обещали собрать Учредительное чуть ли не в мае. Но корреспондентов не приходилось убеждать, они понимали.

— А тем временем, господа, что ж, правительство приступает к самым неотложнейшим из реформ. На первом месте здесь — отмена нетерпимых, позорных вероисповедных и национальных ограничений, — это уже готово у нас и будет опубликовано в ближайшие дни. Затем пойдёт очередь — равноправия женщин, равноправия сословий. Затем потребуется регламентация… В краткой беседе трудно исчерпать, господа, безконечный список вопросов. Но не могу не коснуться кардинальных: войны и продовольствия.

При слове «война» даже мирно-лучистые, ласковые глаза князя Львова заблестели иным огнём (оставив недописанное, корреспонденты спешили записать это):

— Вступая во власть, мы были убеждены, что свободный русский народ не преклонится перед врагом. И мы оказались правы: клич «война до победного конца» уже звучит со всех сторон. И даже те, кто при старом порядке был холоден к этой борьбе, теперь зажигаются новым огнём! Но и враг не дремлет! — он уже стягивает войска к нашему фронту и готовит новый удар.

Лица корреспондентов выражали ту же мужественную решимость. Когда́ знала Россия такое душевное единение между председателем правительства и прессой!

— Внутренние отношения в армии уже обновляются в духе права и справедливости. Что же касается продовольствия, — тут князь тяжко вздохнул, — то нам досталось от старого порядка тяжёлое наследство. Вся надежда — на готовность земледельческого населения продавать и даже жертвовать хлеб для нужд свободной России. Я верю, — он поднял глаза выше своих собеседников на подпотолочную лепку, — что великая крестьянская сила выручит Россию из беды. И, несмотря на все опасности, я — бодро смотрю в будущее. Я — верю в жизненные силы и мудрость нашего великого народа. Я верю в его великое сердце, этот первоисточник правды и истины.

Так эффектно он кончил, так полно выразил себя, что уже мелкие вопросы неудобно было и задавать. Его благодарили, беседа кончилась.

Князь позвал Щепкина, чтоб углубиться в министерство внутренних дел. Тут было множество вопросов назначения, увольнения, кредитования, распределения. Однако пришли и доложили, что очень настаивает на приёме у князя некая депутация с Западного фронта.

С Северного уже побывало их несколько, с Западного — ещё не успевали приезжать. Досадно было отрываться, но и…

— А сколько их человек? — спросил князь.

Да не больше дюжины.

Обычно депутации принимались в ротонде или в Квадратном зале, отделанном в помпейском стиле.

— А вы заведите их прямо сюда, — предложил князь.

И, два штатских человека, они со Щепкиным встали, вышли на середину кабинета навстречу депутации, выровнялись.

Те входили, без шинелей, но с покрытыми головами, постукивая сапогами, бренча оружием и шпорами, почти все с Георгиев-

скими крестами, кто и по два. Выстроились в две шеренги, лицом к князю, три офицера — в первой шеренге. И самый младший из них — подпоручик, с очень свободной речью, произнёс звонкое приветствие правительству, в обычных словах.

Князь ответил, как всегда благожелательно, но кратко, по усталости. И у него тоже слова были все повторные: что правительство служит народу, а народ надеется на армию, которая и должна привести к победе.

Единственная необычность, может быть, была именно в том, что приём происходил в кабинете и оттого не стягивалось никого со стороны — послушать и посмотреть. Только и стояли вдвоём князь со Щепкиным против малой депутации, в торжественном, но закрытом кабинете.

И от этой ли ощутимой отъединённости, или такое намерение и было у делегации, — вдруг выступил старший из офицеров — донской казачий, с двумя звёздами при двух просветах, ещё совсем молодой, литой, и усы литые чёрные, черноглазый, с приятной мягкостью, скрывающей лихость, — сделал шаг из строя вперёд, молниеносно отсек князю честь, доложился:

— Войсковой старшина Ведерников! — и уже тише, но не от своей скрываясь делегации, ей-то слышно каждое слово, и лицом не продрогнул ни один унтер, ни солдат, не удивился ни слову произнесенному: — Ваше сиятельство! Мы наслышаны, что у вас в Петрограде — как бы две власти. Что вашему правительству мешают разные самочинные организации, суются не в свои дела. Вы, — он не смел улыбнуться в строевой позе, но всё смазливое лицо его просилось к весёлой улыбке, и даже можно было понять, что это — улыбка сговора и уверенности: — Вы — только прикажите нам! мы — вас освободим от них враз, ваше сиятельство!

И опять мелькнул честью, задержавшись у козырька, ожидая ответа.

Князь Львов почувствовал, что горячая краска ударила ему в лицо. Слава Богу, никто посторонний не слышал, но он покраснел даже перед Щепкиным, и перед самим войсковым старшиной, и перед молчаливыми солдатами в двух коротких шеренгах: а кто поручится, что один из этих солдат не отправится тотчас доложить в Совет рабочих депутатов?

Нет, в этой дружной группе было нечто слитное. Так и сдвинулись.

Однако князь покраснел сильно, краска не сходила, и в этом стыдливом пламени, стараясь держаться безпечней, он пробормотал в величайшем смущении:

— Что вы, что вы! Нет, нет! Эти слухи преувеличены. Всё приходит в равновесие. Всё приходит в порядок. Ничего, ничего не требуется, господа. Никакой защиты внутри страны нам не требуется, только защита от немцев!

Войсковой старшина опустил руку медленно-медленно, и уже никакой улыбки не проглядывало на его лице. И шагнул назад, не оборачиваясь, спиной.

По его тихой команде две шеренги повернулись направо — и, стараясь не стучать после ковра на пороге, тихо вышли из кабинета.

Князь со Щепкиным сели заниматься дальше, не обсуждая происшедшего.

Но что-то очень испортилось в душе князя, что-то очень провалилось и тоскливо подымливало, как от рухнувшей штукатурки. Князь Георгий Евгеньевич дозанимался с трудом и с упавшим вниманием.

Он не успевал дать себе отчёта, что это произошло, отчего так дурно? Сожаление? Опасение? Сомнение?

Щепкин ушёл — князь подпёр голову двумя руками, закрыл ладонями и отсиживался в некоем головокружении, как бы ожидая, чтобы осела эта тоскливая дымящая пыль.

Боже, отчего оптинские старцы не велели ему остаться в пустыни, как он хотел, не дали отрешиться от мирского, как он одно время просился?..

648

А ведь Нижняя Волга в эти дни уже вскрылась! — и суда выходят из затонов, начинается навигация. Гордей Польщиков и сердцем знал издали сроки, но и в Петрограде в утро отъезда успел получить телеграмму из Астрахани, что его первый пароход вышел в Красный Яр.

Всякое время года любил на Волге Гордей, но лучшее время — весеннее половодье! Эта всякий раз новая распахнутая радость от открывшейся реки, от мощи разливов, от воли и простора, какие

дадены каждому человеку, и мне, и всем нам. От начала могучей общей работы её чувствуют все, она на лицах всех матросов, рабочих, грузчиков, и даже пассажиры возбуждены по-своему. Парусные расшивы с рыбой выходят из Астрахани тотчас по ледоплаву, украшаясь флагами, — и команды в красных рубахах. Лучшее время года! — и Польщиков всегда старался сам пройти на первом своём судне, — а вот в этом году задержался тут на севере. Но и сейчас из Москвы, отбыв завтра-послезавтра этот торгово-промышленный съезд, сразу же кинется в низовья Волги.

Его пароходное общество «Купец» соревновалось с «Самолётом» и с казённым пароходством — и в пассажирских рейсах, и в баловстве волжских гуляний, а более всего — в перехватчивых торговых перевозках, в чём и есть главная работа реки и главный доход судовладельца. Любил Польщиков все свои суда — от скоростных пассажирских бегунов и до последней сенобежки и угольной баржи, знал сильности, слабости каждого судна и помнил уём каждого. Да неплохо знал и чужие суда. И капитанов не только всех своих, но всех заметных волжских. И знатных лотовых. Это для посторонних Волга так длинна, так неохватна, и Царицын с Тверью как не видались никогда, и Ока с Камою как не обнимались, — а для волгарей всё в единстве. Когда на великой реке встречаются капитаны и пароходы, то узнают друг друга, как односельчане на деревенской улице. И как те останавливаются потолковать о сельских новостях, так и эти — весело трубят друг другу, сигналят знаками, кричат в рупоры, а то и сбортовываются, сбросив движение, а то и перекидывают лёгкие перильца, иногда и с мостика на мостик, и переходят в гости, как циркачи.

И своё волжское дело любил Польщиков (и своё коннозаводство за Волгой) — но и своё купеческое сословие. Правда, уже не из тех он был купцов — в армяках, в длинных кафтанах, шароварах с гармошкой на голенища, борода по брюхо и золотые цепочки на обеих сторонах живота симметрично. Он был — из купцов нового поколения, после коммерческого училища ещё год доучивался в Гамбурге корабельно-торговому делу, поездил и по Европе. Таких, как он, среди купцов звали «американцами», ещё и по западной одежде (хотя Польщиков любил русскую, даже в столицы не расставался с сапогами, а дома на выгулку надевал шубу лисью). Но никак не был он из тех, кто «тянулся за барами да распрощался с амбарами». Тысяцкий, почётный потомственный гражданин — и хватит с нас, борзых не гоняем, в карты не продуваемся, и в гвар-

дейские полки не добиваемся. А истая сила русская — в нас! И, посравнив наши коммерческие обычаи с западными, где на каждый шаг контракт и вексель, как не прохватиться нашими? Кто честен и проявил это среди купечества — то границ доверию нет, дают задатки по 50 тысяч и не берут расписок, — вот так, нам не по судам тягаться, всё торговое в России делается на слово, без бумаги, уговором торг стои́т, ряда узлом затянута, обещал — выполняй, не выполнить купеческое слово — последний позор. У нас в России громадные сделки заключаются за чашкой чая, на словах, — и всегда выполняются, и чтоб дело шло разгонисто. Да помнил Польщиков и такое, ещё парнем, при отце, он попал у себя в Нижнем, в 96-м году, тоже вот на торгово-промышленный съезд: Витте хвастался пошлинами на западные товары, чтоб русским было легче, — а статейные купцы собрали большинство: не надо! открывай им ворота, пусть! поверстаемся, кто сильней! Витте поверить не мог: не из-за границы ли их подкупили? А вот это — и было по-нашему, размахнуться так размахнуться!

Нынешним октябрём скончалась в Нижнем Новгороде знаменитая пароходчица Мария Капитоновна Кашина, кликали её Марфой Посадницей. Много от неё Польщиков перенял в купецком деле, и говорила она: так — от Верхнего Новгорода идёт.

И когда в смуту Пятого-Шестого года иные состоятельные, напуганные грабежами, громежом, стали деньги переводить за границу, а предприятия сворачивать, то согласно корили их: «Стыдно деньги за границу прятать. Как бы нас малость ни потрясло — а Россия как стояла, так и будет стоять, и капиталы наши и силы наши — ей нужны каждый день». И выгодные условия в Европе для денег предлагают — но нет!

В эту войну полили газеты глупую несмысленность, что «купцы прячут товары», не понимая, что когда купцам «прятать» будет уже нечего, тогда-то цены и подскочат до небес. В начале войны нас только и спасли запасы купцов: по дурацкому закону о мобилизации все товарные вагоны разгружались в тот час и в том месте, где их заставал приказ. И на несколько месяцев прервалось товарное обращение по стране, и, не будь торговых запасов у купцов, — города бы обнищали и вымерли. А так — и не заметили перерыву.

В этот раз уехал Польщиков в Волхов да в Череповец ещё из цельного Питера, а воротился через пять дней — банки, фирмы, биржа закрыты, прекратились операции, не работают заводы, не

разгружаются, не нагружаются товарные поезда. Так что и какие дела оставалось Польщикову доделать в Питере — все прервались. И он — уехал бы в Нижний, или повис бы тут без смысла и живого дела, сторонним наблюдателем революционного сумбура, — если б — не эта девочка.

Польщикову сейчас чуть за сорок, а ни в чём нет этих лет — ни на лице, ни в стане, ни в глазах, ни в ногах. Волгарь, капитан, всадник, лошадник, лёгкий на подъём, на вспрыг, — в этом декабре в Астрахани из ледяной воды вытянул тонущего, два стакана водки выпил, бутылку шампанского — и как ни в чём. Лёгкий и на язык, весёлый, — он всегда всяким женщинам нравился. Хотя, конечно, женатый, но по роду подвижной своей жизни всегда в поездках, в чужих городах, Польщиков нигде не скучал. А ещё была у него страсть — наперерез всем страстям — к театру. И в Германии немало повидал, и в Москве-Петербурге. Хоть на сотый спектакль придёшь, хоть на трёхсотый, — а как только свет пригасили и занавес тихо-тихо стал расползаться, с шорохом метя по доскам просцениума, — так сердце и обоймёт: в этот раз — что-то особенное будет! Компаньоны смеялись, а мог Польщиков на изрядный новый спектакль тысячу вёрст отмотать, туда и назад.

А эту-то худенькую черноволосую — и не узнал по её тихости в уголку, хоть и надышанную тем же воздухом, — это она его узнала! и сама к нему подошла!

И — во всём остальном городе катилась ли революция, нет, — в эти часы они не думали. Запирались, зашторивались, и от раза к разу всё усладистей и захватней забирала его Ликоня, — да не забирала, а сама была забрана до последнего вздоха, до затворенных век, — и только в одном имела волю устояться упористо, стыдливо: никогда не обнажилась при свете. Только глазам его не далась открыть себя всю.

Старшему сыну Гордея было 17 лет, дочери 15, а Ликоне — 22, но не видел он в том покора. Жену свою, близко к ровеснице, Гордей ощущал чуть не как мать, а вот Ликоня была ему самая как бы ровня, и даже робела от его задора.

Он научился и говорить с ней — не как с девчёнкой, и не как с дамой, — а прямо, как думал.

Между тем жизнь в Петрограде ожила, и дела Польщикова как-то сносно закончились, время было гнать на Волгу, — а он не спешил уехать, добавлял день, второй — чтобы с ней побыть. Возобновились уже и театры — но не шёл с ней Гордей никуда, — и да-

же не чтоб уберечься от лишнего слуха (хотя и тоже ни к чему), а: показывать своё сокровище никому не нуждался.

И Ликоня тоже никуда не рвалась идти: лишь бы вдвоём.

Оттягивал отъезд — и вот как придумал: в воскресенье 19-го в Москве открывается общероссийский торгово-промышленный съезд, на который он был приглашён, да и надо же по новой обстановке посмотреть-послушать. Так в Нижний пока не возвращаться, а ещё были дела в Твери, сладить их по пути на съезд. И Польщиков дотянул петроградское сидение до позавчерашнего утра, четверга. Так, в последнее утро и уехали из гостиницы: посадил её на извозчика, а сам — на Николаевский вокзал. (А всё в нём трубило и радовалось! Вошла Ликоня в жизнь — и уже так просто не уйдёт. Зажглась ему и правда — как Зоренька.)

Каждый день с ней, а лишь втравлялся больше, и травля-то — медовая. Жизни такие разные, а не только не соскучился — а вот бы ты мне и нужна! И если б совсем у него был свободный выбор — взял бы её и в Тверь, и в Москву, как никого не возил.

Ещё в петроградском зале пароходного общества «Кавказ и Меркурий» потолковал со своими торговыми партнёрами: события обещали, что теперь враз отпадут таможенные границы губерний, запреты на вывоз, гибель грузов, твёрдые цены, все эти стеснения от уполномоченных, от петербургских канцелярий, от изобилия начальников, — польётся теперь торговля свободным дыханием, и Россия сразу выиграет (а уж после войны-то!). Сильно гниловато было последнее время, да, сколько нечистых рук совалось погреться, «работать на оборону», да за горячими барышами, — а теперь будет всё на открытом просмотре. Не как с уральской платиной: ведь на приисках и промышленники крали платину от учёта, и даже рабочие, и продавали в тайные руки, и утекала русская платина, в 5 раз дороже золота. (А сейчас, говорят, и вовсе не стало горно-полицейской стражи, так что там делается? — скорей бы мимо эти мутные дни.)

Сегодня вот уже приехал в Москву. Стал в «Славянском базаре», который не за удобства любил, а за кипливость, лёгкость купеческих встреч, и Китай-город тут же.

И вот — особый день, у всех на устах: *мининские дни,* мининский съезд. Настал момент, когда России нужны Минины! Торгово-промышленное сословие объединяется на большие дела! Прошлую неделю неслись телеграммы туда и сюда, рассылались приглашения купеческим управам и обществам, биржевым и тор-

говым комитетам. Приехали даже немудрящие купчишки из захолустий, почти — хозяйственные мужики. На завтра ждались и новые министры, Коновалов и Терещенко, и от Совета съездов промышленности-торговли Кутлер и барон Майдель.

Съезд открывался завтра, уже сегодня почти все участники съехались, много номеров заняли и в «Славянском базаре», гардеробы были изувешаны купеческими шубами, меховыми картузами с пуговками, в столовом зале сидели большими рассудливыми группами, содвинув столы по два и по три, по посту заказав кто ботвинью с осетриной, кто паровую стерлядь, и беседовали в перемежке с безконечной едой, и потом подолгу чай пья, простяки — с блюдечек, подувая. Мелькали половые с подносами блюд и фарфоровыми чайниками.

А ведь если тут покопать — то у трёх четвертей отцы были крепостные. Сами себя освободили, до всякой реформы, смекалкой.

И едва ль не за каждым столом виделось знакомое лицо. Были тут и знатнейшие — двое Хлудовых, один Рукавишников. С разных концов России знакомцы — из Сибири, Туркестана и Малороссии, узнавали друг друга, а кто знакомился впервой. И много было дремучих бородачей, а немало и в европейских манжетах-галстуках, средь них Польщиков — едва не из самых молодых, а из молодцеватых — уж точно.

И от одного стола звали судовладельцы: «Гордей Арефьевич!» Вот собирались обтолковать, где рабочих брать на ремонт судов, просить у министра военнопленных? и металл? и чтоб службу береговую не забирали в армию. А фрахты — повысить, не избежать.

А за другим столом увидел своего сибирского заимодавца. Так чем через банк — тут же подсел к нему, отсчитал три тысячи, тот переверил, ещё раз бумажки перекидал, крепче счёт — твёрже дружба.

В освобождении от денег, когда производишь законный платёж, есть приятное ощущение порядка, точности, выполненного долга, оправдания самих денег.

И когда Польщиков сел — под открытой форточкой, у окна на весенний солнечный день, на Никольскую с несколотым, дружно тающим льдом (дворники разбаловались без полиции), — то, повертя голову, и тут видел нескольких знакомцев рядом. (Промышленники-фабриканты не останавливались в «Славянском», не было их сегодня тут. Сойдёмся с ними завтра.)

Такого съезда купцов давно не помнили. И среди этих сметливых лбов, цепких глаз и отрывистого броского купеческого делового разговора — ощущал каждый гордость принадлежать к этому сборищу и соучаствовать завтра.

Да давно бы позвали их выручать Россию. Почему ж купечество не имеет власти решать, направлять? На купцов только натравливали, валили на них рост цен. Купцам зажимали рты, отстраняли всю войну, отказывались от их опыта и действия. А теперь-то — мы скажем своё!

Теперь — съезжалась глубинная кондовая Россия, не участница происшедшего трясения, но прихваченная им среди дела. Царя вспоминать, или пожалеть его — удерживались: по всему московскому разбору, застигнутому ими здесь, это было как бы запрещено, вон Рябушинский объявил привет «свержению презренной царской власти», да называют старый Петербург «ханской ставкой». Ханская не ханская, но и произволяли нами, да. Труд народный опутан был препонами, и дело — не в тех руках состояло. Но вот собирались — чтобы сплотиться, и выдюжать, и устоять, а если мы не устоим — то кто? Многоликая русская торговая сила привалила спасать Москву, как в давние времена. И Учредительное Собрание назначим — только тут, в Белокаменной! Было торжественно, хотя не все могли выразить складно.

В ресторане «Славянского базара» окидывали друг друга ценящими взорами, переходили по залу, пересаживались, выслушивали вразумливо: да если мы — не сила, то кто же в России сила? Теперь вот только войну докончить— всё наладится у нас, расцветёт. Не Питер нам будет указчик. Вот пошагаем!

Думал так и Польщиков, и даже, Европу зная, — залётнее их. Природные дары у нас — богаче Америки, нам только — рассвободите движение, посостязаемся мы товарами со всей заграницей. Ещё б железные дороги наши так отладить и сгустить, как германские. А от войны оправимся, капиталы соберём — да, смотри, и Волгу с Доном соединим, ведь двести лет без дела проект лежит. И поплывут наши волжские — туда, в те моря!

Толковали, что надо на съезде хорошие головы избрать — в столице сидеть и защищать торгово-промышленные интересы. Все теперь так-то избирают, все защищают.

А тут скажи молодой Хлудов, да уж и передавали из уст в уста: тузы московского купечества, Третьяков и Четвериков, порешили предложить: самим торгово-промышленникам — и ограничить

свою прибыль, с этого начать. За военные годы в иных предприятиях прибыль превысила основной капитал. Так надо нам сговориться и, не дожидаясь, самим отрубить излишки прибыли: сколько можно, а выше чего нельзя — отдай в казну. И все цены — вниз пойдут, а производство — вверх. И укрепим Расею-матушку, и мир будет промежду народом помягше, к нам же. Кому-то надо первым совесть заявить — так нам. Тогда отобьются от нас и все мародёры, притянутые высокой прибылью, очистимся и от них. Вырежем от нас эту язву, кто на армейских поставках нечистые срывы берёт или, как киевские сахарозаводчики, — сахар через Персию едва ль не в Германию гнали.

— Э-ко-ста!..

Поблескивали глаза. Что ж, и наживе есть край, не всё нажива, а что-то куда-то жертвовать, чтобы после тебя осталось, в твою память и во спасенье души. А теперь вот — в казну, поддержать саму Расею. И оттого — всем отдастся добром.

Показывали на вёрткого черноусого посреди зала в большой компании, за столом на 12 персон. К нему какой-то нарядный вскочил с бокалом:

— Вашего имени, господин Бубликов, Россия никогда не забудет! Вам удалось предотвратить кровавую бойню!

А Бубликов — громко, для многих, шире своего стола:

— Смотреть на Россию не как на жирный пирог, а как на горячо любимую мать! Избегать бороться за классовые интересы. Предстоит увеличение налогового бремени — и примириться с этим. Лечь костьми, но отдать свои силы на благо родины!

Отзывались ему:

— Для родины мо-ожно не поскупиться. Налоги-то малые платим, признаться сказать.

— Правительство новое на-адо подкрепить. Мы подкрепим — чтоб другие на него не больно давили.

А Бубликов:

— Так, так, но и Временное правительство тоже должно знать себе границы. Сокращение прибыли — ещё не известно, как тот же Коновалов примет, как индустрия посмотрит. Там, в Петербурге, — мародёрская штаб-квартира. Уже не приходится, господа, пугать катастрофой, — катастрофа у наших ворот.

И — разлилось, погудело по залу: ка-та-стро-фа?..

Да вести-то ползли, прислушаться купеческому люду, — та́к себе. Бумажных денег будут напечатывать всё больше. И, слышь, вы-

жимают жертвовать — да не муку для голодающих, это-то мы готовы, а на «освобождённых, пострадавших за свои политические убеждения», — и уже Третьяков пожертвовал, Второв дал 500 тысяч, суконные фабриканты собрали 100 тысяч, — мол, будто эти политические за нас всех страдали и нас вызволили. А — что они нам? кто такие? почему и им жертвовать? Что-т' мы не замечали, как они нас вызволяли. Да не те ли они, что бомбы кидали, банки грабили?

А вон уже, слышь, готовят объединение всех приказчиков. Это значит — супротив нас?

И вон свобода — питерские рабочие стали 8 часов работать, не глядя на военное время. А питерские фабриканты все условия им сдали — а наценку переложат на изделия. На военные товары конкуренции нет, казна всё примет. Так чем же они поступились? Не своим карманом.

Да хуже того: хлебную вольную торговлю, мол, не воротить хотят, не снять запрет на вывоз из губерний, не дать хлебушку дышать по себе — а всё забрать в казённые руки и ими направлять. Мо-но-полия!

Ну, так и посевы сократятся. Ну, так и будет Русь гола. Всё клещами зажмут — всё и обронят. Россия — голодная будет.

— С монополии — разве хлеб вырастет?

— Надо ото всего съезда слать министрам телеграмму: отменить монополию!!

— Кому вязнуть, кому вытянуть, — тут ещё не видать.

Завтра этот Коновалов ещё что в речи выразит? Какие у них задние цели есть? Мы-то добродушно съехались.

Э-э-э… Да не упущено ли уже, православные?..

649

Лихо ты моё, куда ж мы посунулись? Неделю назад Козьма ног под собою не чуял: какого соглашения достиг с фабрикантами! Одним шагом получил для всего Питера восьмичасовой день, о котором 20 лет только грезили, — и с сохранением прежней заработной платы!

А — рабочие? Оглянулись, что из свободы можно и больше выколотить, мало взяли, — и ну выколачивать! Почему у буржуазии барыши, а нам не вырвать? Распахнулась воля — так можно рвать!

И с каждым днём не меньше, а больше, на каждом заводе выдумывали по-своему. На том заводе угрозили администрации — и удвоили плату всем вкруговую. А там уже кричат: утроить! А на том: учетверить! Путиловская верфь давала повышение 20 процентов — рабочие потребовали 400! Там — по болезни оплачивать две трети, там — оплачивать выборных депутатов. На Промете — отменить сверхурочные, из-за сверхурочных не остаётся времени на гражданские права, не видим завоеваний революции. Ещё где: отменить сдельную оплату труда, не желаем боле напрягаться! На Треугольнике потребовали: шестичасовой рабочий день, а наградные — на Рождество и на Пасху каждый раз по два месячных оклада; а все служащие — себе: чтоб им участвовать в прибылях. Там — инженеров стали избирать, и от этих уже требуют всего, за день — пять-шесть изменений. Там — фабричные инспектора тоже чтобы выборные. Там требуют: вообще безо всякого начальства, работа ещё лучше пойдёт! А чернорабочие (подстрекаемые большевиками) требуют и себе такую же оплату, как получают высшие разряды. Туда ж и банщики: не желаем работать больше четырёх дней в неделю, и чтобы в субботу тоже отдыхать (самое, когда людям мыться).

Никогда не ждал Козьма, что такое неоглядное озорство и такая жадность разгорится в рабочих людях. То и обидно было ему смертно, что не хотели внять, скандалили и всё разваливали — свои же рабочие, самый родной его люд, кто умел всё в мире сделать своими руками, и кем Козьма гордился всю жизнь, что и он из них.

А вот мы какие рыла вылезли. Попрекали образованных, что они своекорыстны, — а мы? Попрекали фабрикантов, что они жадны, никак не насытятся, — а мы? Да мы жадней и дичей!

Да питерские фабриканты — вот, подписали соглашение по-хорошему. Они рассужденье имели, что и мы тоже обороты подбавим, и так оборону вытянем, а? Им-то в глаза как Козьме смотреть, когда сам подписывал с ними? Они нашего Совета слушаются — так надо ж и нам знать край. Соглашение есть соглашение, надо и самим выполнять. Производительность обещали повысить, а она ни к чёрту упала, на заводы ходим только болтаться да требовать. А у них сырья нет, угля нет — откуда им повышать плату? Надо же совесть иметь, ребята! Надо же по справедливости!

Вчера петроградское общество заводчиков собралось — и составило Совету депутатов вопль: рабочие предъявляют невыпол-

нимые требования, конфликты обостряются до полной анархии, постановления примирительных камер остаются без исполнения, работы идут безпорядочно, производительность резко упала, насилия над мастерами и администрацией, избиения до убийств, самовольные аресты, выгоны. Просят Исполнительный Комитет — принять меры!

И бумага эта — прилетела, легла к Гвоздеву на стол. А — к кому же?

Он сидел над ней — и держался за растрёпанную свою бедовую голову. Неделя прошла — и ото всего соглашения одна злоба. Подписывал Гвоздев своей рукой, и фабриканты улыбались ему, руку жали и верили.

Да что там стыдно! — страшно. Ведь знал он эти *насилия,* в бумаге подробно не расписанные: одного мастера утопили в проруби, а одного за малым не скинули живьём в вагранку.

И это — мы такие? И это мы такие — всегда и были? Только пока боялись тюрьмы или виновных пошлют на позиции — так сидели небось тихо? А теперь — давай громи?

Две недели Козьма себя утишал, что это — только шатнулись, вывихнулись, что это всё станет по местам.

А — нет.

Да ведь этак — и все сгорим, как на пожаре.

Так значит, дело-то не в *классе.* А в своём сердце.

Да рабочие умелые, разрядами выше, — во всей этой заварухе и кипели куда не так. Громили и зорили, и лезли в комитеты — не они, а валовые рабочие, самая чёрная нижняя людь.

Куда кидаться Козьме? Сидеть в своём отделе труда? Мотаться по заводам? Да с тёплой бы душой. Да ведь — и Козьму не слушают. Да ведь и не объедешь всех. Посылал помощников по всем местам — тоже не обхватят.

А самого Козьму — то тянули на занудные заседания Исполнительного Комитета. То слали — непременно выступить в новом рабочем клубе на Херсонской с речью об Учредительном Собрании, — а что он сам в этом Учредительном понимает, и на кой оно ляд, когда заводы разваливаются? А то теперь приступили: именно ему (как тогда — царя арестовывать) составить новую воинскую присягу. Почему-то другим — неудобно.

Да, конечно, знал Козьма, кто же не знал: что теперь семьёю день прожить надо 3-4 рубля, и не все же получают 5 и 8, многие и получают не более четырёх, а то и помене. Требование повы-

шать оплату — не выдуманное, сама жизнь гонит, всё повышается. Но и должен же человек всегда знать себе границы, но и опамятоваться: не один же ты! Давайте всё ж попридержимся, да сделаем обдуманно. Ну даже-ть захватим — а удастся ли удержать? Смотрите, нам бы не захлебнуться. Пойдёт общий развал, не будет ни топлива, ни сырья, — так откуда нам будет плата? И что нам тогда этот 8-часовой день? Да хозяйственный развал — он хуже этой, бишь, контрреволюции. А крестьянин тоже не будет кормить нас не в обмен. Мы ничего не дадим — так и хлеба не будет. Мы все границы переступим — так и фабриканты на том заводы закроют — и конец.

А — война? Война же идёт, очнитесь, ребята, что за дикие мы оказались? В твёрдом разуме выход один — чтобы Питер давал и снаряды, и пушки. А как нам иначе смотреть в глаза фронтовым делегациям?

Они и стали тут подбывать, да с резолюциями фронтовиков, корящими рабочих за 8-часовой день и что снарядов не шлют. Кой-где рабочие застыдились, стали и своими резолюциями отвечать: мы не лодыри! а просто не хватает угля и нефти, только из-за этого работа тормозится, не верьте слухам, что мы не дорожим обороной. Да со всего громадного Путиловского проняло одну башенную мастерскую, 800 человек, постановили: «Учитывая серьёзность момента… производить работу полностью».

Призывы помогали мало, но только призывы и оставались. Исполком не поможет (позавчерашний доклад Дмитриева ничего не сдвинул) — так ставить вопрос на пленуме Совета, пусть воззовёт сам Совет.

Хотя и он уже взывал, тоже не помогло.

Взъерошенный, озабоченный Гвоздев пошёл на сегодняшнее дневное заседание Исполкома, чтоб уговориться о постановке вопроса на пленуме.

Из Екатерининского зала бодро вспыхивала очередная марсельеза очередного затопившего полка.

Перед дверьми Исполкома ждала польская делегация: пришли благодарить за независимость.

А на Исполкоме— и уже который раз — озабоченно обсуждали: как сократить пленум Совета, разросшийся до трёх тысяч? Там совсем безсмысленные прения, мол, социалистический дух распадается, большой перевес солдат над рабочими придаёт консервативность. Такой Совет становится просто даже вреден.

Однако где сила, которая убедила бы его распуститься? Кто посмел бы теперь распустить Совет?

Выходило: надо как-то обмануть Совет. Рафес, Соколовский, Капелинский высказали опасение, что Совет забунтует. Всё сорвётся — и только хуже станет. А Богданов — взялся: сегодня же вечером он попробует!

— Погодите, погодите! — вмешался тут и Гвоздев. — Но неотложный вопрос с положением работ на заводах. Это нельзя откладывать, я прошу поставить на пленум сегодня!

А тут ворвался комендант Таврического дворца и, не прося слова, стал кричать, что он снимает с себя дальше ответственность за митинги: полы залов больше не выдерживают марширования! Или переносите митинги на улицу, или все тут провалимся!

Входила приосиянная, торжественная польская делегация.

****

Взыграли радостные силы,
Как буйный волжский ледоход.
И вышел Стенька из могилы
Вновь поглядеть на свой народ.

(«Русская воля»)

650

Острое объяснение с Еленькой позавчера ещё долго докалывало и дозванивало в сашиной груди — как колют и бьются острые льдинки, со звоном печальным. И даже не взбрыкнуло в нём: «Ах так? Так обойдусь без тебя!» Наоборот, чем непоправимее он узнавал, что теряет Еленьку, — тем нежней хотелось оставаться ей верным. Почему-то — надежды он не потерял, хотя она всё сделала, чтоб отбить её. И даже какое-то больное наслаждение было в этом мучительстве: не добившись её — а продолжать любить. Вот теперь он особенно понял, что не просто хочет её, а любит. Даже понимая с ужасом её в чьих-то чужих руках — не освободился от неё.

Ещё и потому, что наступило такое подвижное время — и обстоятельства сами могут вернуть ему Еленьку.

Всё это так безпокойно в нём колыхалось, что и вчера весь день пролетел как потерянный.

А сегодня позвонил Матвей: не хочет ли Саша познакомиться с ведущими большевиками? На совещание о принципах действий к ним идут от межрайонцев человека три, можно взять и Сашу.

И без того тошно. Отказался.

Но прошло полчаса, час — пожалел: а что вот так травиться? Лучше уж на совещание. Перезвонил Матвею. Ещё успел.

А совещание оказалось в особняке Кшесинской, который Саша хорошо запомнил. Только теперь уже не было того безлюдья, во дворе стояло несколько броневиков, расхаживали унтеры в кожаных куртках и штанах, в вестибюле — часовой с винтовкой, а внутри — совсем была оголена столовая, как уже и не столовая, и гостиная не как гостиная, уже не было аромата дома знатной дамы, но мебель еще на месте, в беломраморном залике так же рояль, бело-золотые полумягкие стулья, а совещание — в той скруглённой комнате, как бы зимнем садике, где посередине грот с голубым фоном, вода уже не сочится, но ещё стоят две пальмы — раньше, кажется, больше.

Саша пришёл, как и всегда ходил теперь, в военной форме. Разумеется, никто из этих унтер-офицеров или дежурный не потянулись отдать ему чести, он и не ждал — но шагал и понимал, что военный человек нужен, понадобится любой из социалистических партий. Да и в совещании, среди двух десятков сидящих, оказался один рослый черноволосый мичман.

По пути снова рассказывал Матвей Саше, что сейчас владеет социалистами дух объединения — всех фракций в одну партию — и есть к тому реальные возможности.

Объединение всех социалистов в одну партию — это казалось Саше всего надёжней: будет сила! и выбирать не надо в кого вступать, — а то что правда делят?

Пришли к самому началу, сели, где было место. Через соединённые окна полукруглой стороны виделся Троицкий мост. Там в выступе, лицом к остальным, сидели как бы президиум, около них и Кротовский, одного его Саша и знал в лицо, — да лидер он был никудышний, суетливый, и физиономия, надо сказать, без налёта интеллекта, а весьма премерзкая: голова вокруг лысины будто усеяна волосиками, а не выросли, лысина со лбом как нахлобучена на юркие глаза, не давая им высоты взгляда, губы толстые, а уши мясистые. А большевиков Саша никого не знал. Один там, в полукру-

ге, сидел очень интеллигентный, в очках, симпатичный. А рядом с ним, руки сплетя на груди, безпокойный, простоватый, с небрежными усами, всё вертелся: проверял ли, кто здесь или кто говорить будет. А в общем-то лица были очень заурядные, до того неиндивидуальные, что, встреть их кого Саша на петроградской улице — никогда б не догадался подумать, что они из головки той партии, наводящей последнее время такой страх на общество. И не интеллигенты, и не рабочие, а так — мелкие служащие.

Повестку озаглавили: *вопросы тактики.* А начали обсуждать последний Манифест ко всем народам.

Саша-то находил Манифест просто замечательным: сама необычность прямого обращения ко всем народам Европы — не остаться революционным островком в воюющем мире, а чтобы революция перекидывалась дальше и дальше! И ведь действительно европейская война тогда остановится, действительно! Всеобщий мир через всеобщую революцию — ну разве не красота? Вот это — цель!

Но так — никто тут не думал и не высказывался. Этот интеллигентный — Каменев — умеренно похваливал Манифест, только надо ещё давить на Временное правительство, чтобы заставить его открыто высказаться против завоевательных планов. А какие-то резвые кричали ему:

— А где призыв к немедленному прекращению?

— Да так и любой Шейдеман охотно выскажется! Нет, надо заставить их формулировать нашу революционную волю! Надо их заставить немедленно вести переговоры о мире!

— Как же мы их заставим? — снисходительно усмехался невозмутимый Каменев, не повышая голоса. — Чем?

Но видно, тема была больная, о ней говорено раньше, ораторы ссылались на прежние стычки, выступали не связно, а короткими репликами, поднимаясь со стульев или не поднимаясь. Очень горячился, больше чем мог доказать, тот простоватый усач — Шляпников (ах, это и был их главный Шляпников? всего-то? не боги горшки обжигают), и те все резвые были за него, и Кротовский: если не свергать Временное правительство, то бить его в спину и в шею.

Это ещё что за дикость? — удивлялся Саша. Против своего же революционного правительства? Каменев на это возражал с большим самообладанием, разумно. (Вообще, он тут, кажется, единст-

венный умный.) А большеголовый бровастый Муранов — рядом с Каменевым — очень важно голову держал, но молчал.

Замелькало «надеть узду на революционную стихию?», «оборонцы!», «пораженцы!». Шляпников горячился, что среди собравшихся не может звучать термин «пораженцы», это недостойно, так клеймила большевиков неразборчивая буржуазная печать, либералы в союзе с чёрной сотней, а «пораженчество» было всего лишь предсказанием неизбежности крушения романовской монархии на почве внешних неудач. На «пораженцев» не клеветал только ленивый — а предсказание их блестяще оправдалось, первый революционный полк на улицах Питера и был главный «пораженец» — ругательное, обидное слово.

Но Каменев разумно возражал ему, что не надо кидаться и «оборончеством», и «революционным оборончеством», это тоже безсмысленные обидные клички, лишь смазывающие суть вещей.

Шляпников, горячась:

— Зачем пролетариату война? — на его долю только увечья и смерть, а в тылу — длинный рабочий день и дороговизна. Правящие круги запутались, выйти из войны не могут. Надо заключать мир без официальных сфер!

Каменев, уравновешенно:

— Конечно, хотелось бы кончить войну поскорей. Но когда армия стоит против армии — не сложить же оружие и домой? — это политика рабства. Если Германия сейчас начнёт наступать — надо дать ей сильный отпор.

— Правительство капиталистов — наши враги!

— Но на «долой правительство», — улыбался Каменев, — у нас просто нет сил.

— Если не свергать сейчас — то хоть объяснять массам, что всё равно неизбежно нам придётся брать власть!

А рядом с Ленартовичем сидел какой-то кавказского вида, маленького роста, с оспинками на лице и с толстыми длинными усами, разведенными ровно вбок. Саша ещё удивился, какие туповатые сюда попадают, при чём тут он? А тот поднял руку, объявили: «Товарищ Сталин» (только в насмешку можно было к нему прицепить!). И этот тихий встал, подшагнул к фонтанному гроту и стал говорить заунывно, но не так глупо.

Как это теперь модно козырялось, он потянул из французской истории: что в 1792 году республиканская Франция воевала про-

тив коалиции реакционных королей, и если б что-нибудь подобное было сейчас, то социал-демократы все бы дружно поднялись на защиту свободы. Но нынешняя война — с обеих сторон империалистическая, за рынки сбыта и сырья, а главное: сегодня она не угрожает нам восстановлением старых порядков, как пугает буржуазная печать, и нет никаких оснований бить в набат, что свобода в опасности.

Таким образом грузин подыграл как будто шляпниковцам — но тем же тоном ровно подыграл и Каменеву, что лозунг «долой войну» выглядит голым пацифизмом и тоже ничего не даёт. Что Манифест Совета надо приветствовать, но (уклонился тут же) приветствовать с оговорками, что он не разоблачает хищнического характера войны. А нам (вроде опять в сторону резвых) надо давить на Временное правительство, чтоб оно начинало мирные переговоры, — и только так мы сорвём маску с этих наших империалистов.

Примирить — никого не примирил, а запутал больше.

Энергичные: надо бороться за армию! Буржуазия призывает к бургфридену. А нам нужно — выборное начало! чтобы солдаты не шли покорно за офицерами, вот чем надо заниматься! — и только так мы отберём у них силу.

Что ж, Саша к такой армии был вполне готов: честно, демократично. А толковый офицер всегда сумеет и обратиться к солдатам, и зажечь их, и быть выбранным, — и поведёт их ещё лучше, чем в подневольной армии.

Тут выступил один кудлатый, здоровый, а лицо барановатое, Кривобоков-Невский. Он на гротик как наступал, тот не давал ему простора:

— Надеяться на бывшую императорскую армию, как бы её там ни демократизировали, — в корне неверный путь! Преступно забывать, что ни одна революция не побеждала без собственного войска. В 1789 году сразу стали создавать национальную гвардию и только потому победили. В 1848 не было её — и революцию потопили в крови. И сегодня реакция не спит и готовит нам разгром…

Вот уж галдели об этой контрреволюции, но Саша нигде её не видел, выдумки. Где она есть?

— …И пока мы хозяева положения — надо требовать декрета о немедленном вооружении народа! Если не хотим дожить до па-

рижских июньских дней, чтобы буржуазная молодёжь топила нас в крови.

А Муранов в президиуме — водил своими страшными огромными бровями. Но ничего не говорил.

А что? готовность *к делу* у большевиков — как ни у кого не увидишь, это правда. Кажется, не в плохое место Матвей привёл.

Вдруг — всё изменилось на совещании: с гордым видом вошла красивейшая женщина — вот удалась природе! — и одетая так хорошо, как не одеваются на партийные совещания и вообще в этой среде. Белокурая голова, тщательно выложены волосы отдельными кольцевыми кудрями. Тонкий профиль. При властном взгляде как будто выражала готовность и к приветливой улыбке. На груди брелок на цепочке. Невысокая фигура с приятною полнотой: заняты все формы, отпущенные природой, и все в меру. Выталкивая коленами тяжёлую ткань лилового платья, она прошла, как это было ни закрыто, — по одной стороне гротика, мимо колен сидящих, — по какому-то праву прошла в полукруглый уступ позади спин президиума, там нашёлся стул, она повернула его боком к окну и села, облокотясь на подоконник, профилем к Троицкому мосту. И так (проектируясь для Саши на череду мостовых фонарей как скульптура) сидела: слушая речи, но и рассеянно, но и показывая себя всем тут.

Да она одна и подходила к этим стенам — как бы состоятельная хозяйка этого дома, а они все тут — случайный сброд посетителей.

Мичман откровенно воззрился на неё. И Саша тоже — на какое-то время перестал слышать, что говорилось.

И пропустил: очевидно, перешли на другой вопрос повестки? или как? Почему-то опять этот комичный Сталин получил слово и монотонно негромко вёл, никак не подавая надежды на пламенную речь:

— Уч-редительные Собрания а-бычно собираются уже после успокоения страны. Поэтому о-пытные революционеры, — и тень улыбки прошла по его лицу, — всегда пытались а-существить свою программу, ат-тягивая созыв Учредительного Собрания, и поставить его уже перед фактом а-существлённых реформ. Но наше Временное правительство возникло сав-сем не на баррикадах, а… — сожаление выразилось в его голосе. — Па-этому оно сав-сем не революционно. На-ше Учредительное Собрание будет на-много де-

мократичней этого правительства. Поэтому нам — ны в коем случае нэ надо оттягивать Учредительного Собрания.

Матвей с кривоватой улыбкой шепнул:

— Член ЦК.

Ах вот как. Ну, это разочаровывало.

А та красивая большевичка, как она прошла села, так она, может быть, тоже член ЦК?

— …Можно назвать че-тыре условия победы русской революции. Первое…

651

Всегда не слишком светлая и наблещенная, даже сумрачноватая, обширная квартира Винаверов, в минувшие дни, по соседству с Думой, не раз приют для ЦК кадетов, — сейчас, ещё до вечерней темноты, светилась во все электрические лампы — с потолков и со стен. В столовой сновала прислуга, кончая собирать парадный обед, в других комнатах сидели и гуляли гости, числом до двадцати, больше мужчины, больше — сотрудники и соучастники жизни Максима Моисеевича — по юриспруденции, по борьбе за еврейское полноправие, по еврейским культурным организациям. И ещё ждали двух почётных гостей.

Весь вид квартиры, всё настроение да и одежда собравшихся были торжественно именинны — и не к рядовым именинам, но к большому юбилею. Однако никто не принёс юбиляру подарков. Хотя он и был здесь, по сути, главный виновник торжества — но плоды его и ликованье его разделяли равно все.

Приглашены и собрались они сегодня по тому поводу, что не только уже были уверены, что закон о национально-вероисповедном равноправии утверждён, — но Максим Моисеевич получил на руки его полный текст, а со дня на день он появится в газетах.

И какое же указующее совпадение: почти в день еврейской Пасхи!..

Да! Это и есть наш второй исход из Египта!

Сейчас же после опубликования будет общегородской митинг, и обещал выступить Милюков. И там начнём сборы пожертвований, чтобы построить в Петрограде большой еврейский Народный Дом.

Какой долгий путь страданий и борьбы пройден — и как вдруг быстро всё совершилось!

— Да, господа, двадцать пять лет усилий, как раз юбилей! Я считаю, мы начали эту борьбу в начале девяностых годов, с «Бюро Защиты». Считайте, как раз двадцать пять!

Но — и износился же хозяин-юбиляр за эти четверть века. Ведь ему сейчас только 54, а на вид давали и шестьдесят. Уже припокачена была его спина, как если б он носил, и носил, и носил мешки. И крупный лоб его облысел далеко на верх темени, борода с сединой, и уже куда не расцветный вид, но по-старчески сложены складки, утепляющие серые глаза. Однако и пободрели, побыстрели его движения за последние две недели, и поживели глаза. А улыбка всегдашняя — добродушно-хитроватая, и добродушно-радушно разводил он руки, встречая каждого нового гостя, — а вот и Фёдора Фёдоровича Кокошкина!

А Кокошкин и сам блистал как главный юбиляр, да — по-кокошкински: франтовски одетый, сверкающий белизною и стеколками, веретенно-стройный, закованно-крахмальный, а на маленьком сухоньком личике — чёрные усы почти по-вильгельмовски загнуты тонкими воинственными пиками вверх, но и всем этим Кокошкин как будто скрывал, а скрыть не мог, что сам он — эстет, мечта и нежность. Он — сиял, и взгляд его был — задумчиво-радужный.

Винавер обнял его простоватым движением и поцеловал, но так, чтоб не испортить это картинное чудо. И не сломать: изысканная подобранность Кокошкина всегда вызывала опасение, не прячет ли он за ней нездоровье.

Боже, сколько их соединяло, от самой Первой Думы! Сколько решающих ночных совещаний разделили они! Сколько исторических документов составили совместно прежде — начиная от бессмертного Выборгского воззвания в июльскую ночь — и снова, в новый прибой, новый орлиный полёт — воззвание Временного правительства — «свершилось великое!» — и вместе же работали теперь над проектом Учредительного Собрания. Какой рок сводил их руки над самыми великими документами!

Да ведь программа Февральской революции — это и есть программа нашей Первой Думы! Все попытки вразумить власть оказались тщетны.

Да, конечно, они оба и сегодня расплачивались за Выборгское воззвание: не имели права избираться в три последние Думы, оттого их имена не стояли так высоко у публики — и они не смогли

войти прямо во Временное правительство. Но поддерживали его из-за кулис своими перьями и советами.

Теперь главное: не дать силам контрреволюции расправить чёрные крылья и посягнуть на новый строй! Вот, арестовал Гучков кое-кого из Ставки. И арестован кровавый семёновец Риман… Вот, вы слышали, господа, арестовали полковника из следственной комиссии Батюшина… Как? Разве ещё не вся комиссия посажена? Давно пора этих зубров всех!.. К сожалению, только — Совет депутатов несколько выходит за пределы своих функций… Да, это отчасти есть… Но — обойдётся…

— Но, господа! Кто у меня был на днях? Не догадаетесь! Пуришкевич.

Загудели, действительно удивлённые.

— Пришёл спрашивать пути спасения России! Теперь нашёл у кого. Я ответил: это вы, тёмные элементы, ввергли Россию во все её несчастья. Это вы приучили народ к безправию — и теперь чего будет стоить вернуть его к правовому строю!

Ну, действительно, психопат был, и остался.

А вот он, вот он! — грузно появился князь Павел Дмитриевич Долгоруков, неся мамонтовую голову на слоновьем корпусе. (Тот самый князь Павел, который революционной молвою Девятьсот Пятого года выдвигался на императорский престол, а в Шестом году своё место в Думе уступил Герценштейну; и потом ездил к Клемансо от имени России просить не давать нам займа.)

Винавер приветствовал князя сердечно, обеими руками за обе, и снизу вверх лобызал. Князь тоже был среди тех ведущих кадетов, десять дней назад и составивших проект отмены национальных ограничений, — ещё не известно, когда б у правительства дошли бы руки. Ещё предстояло министерству юстиции кропотливо изыскать и перечесть все изменяемые и отменяемые статьи прочих законов, но общий закон — первейшая задача правительства — уже был утверждён, уже был — вот.

Переходили в столовую. Стол сверкал всей возможной белизной и серебризной. Горничные в кружевных передниках и наколках были наготове обносить закусками. Хозяин и хозяйка сели на противоположных оконечностях стола, Максим Моисеевич — под большими часами, а по две руки от него — Кокошкин и князь Павел.

От Винавера ждали не тоста — речи. Гости замерли ещё прежде ножевого стука о хрусталь. От знаменитого адвоката ждали речи сильной, и сам он, давно отволновавшийся на речах, поднялся

растроган, взнесен, вскружен. Он был невысокого роста, но с головой непропорционально большой.

— Друзья мои! — гулко выговорил он, вкладывая весь смысл. — «Свершилось великое!» — так начали мы на днях обращение Временного правительства. Но с ещё большей заслуженностью просятся эти слова на язык сейчас. *Упали* цепи рабства с еврейского народа! Едва ли мировая история знает пример столь ошеломляющего превращения! За последние 25 лет русское еврейство подверглось гонениям и унижениям, неслыханным и небывалым даже в истории нашего многострадального народа. Ещё вчера безрассудная злоба и ненависть загоняли евреев в тиски морального гетто, лишали его неотъемлемых прав. Ещё вчера наши права на передвижение, образование взвешивались на унции. И тем не менее еврейский народ пронёс через тысячелетия провозглашённые им когда-то идеалы равенства и братства. Гонимый из края в край, он всё не терял надежду на царство Божие на земле — и вот теперь, на самом краю своего рассеяния, он обретает всю полноту человеческих прав!

Максим Моисеевич вошёл в речь, иногда прикрывал веки, и плавный голос выносил:

— Разлетается прахом злосчастный, постыдный вопрос о вероисповедных ограничениях, многолетнее злопыхательство поколений казённых глупцов! От клеветы и наветов более всего страдали евреи. И в чём только не обвиняли их: то — они эксплуатируют коренное население, то — стоят во главе Освободительного движения, то паразиты и тунеядцы, то слишком энергичны и деятельны. Жертвоспособность еврейской молодёжи — и та стала для старой власти орудием возбудить инстинкт толпы. Царизм не задумывался даже расстроить акционерное дело у себя в стране, лишь бы ограничить участие евреев. Не останавливался перед охлаждением отношений с Америкой. А еврейская молодёжь в течение десятков лет шла в ряды борцов за общерусскую свободу, здоровым инстинктом чуя, что одна и та же твердыня охраняет и политическое рабство по всей России, и гражданское рабство евреев. И отцы взирали на своих детей, идущих на каторгу, с болью, но не с осуждением. Самые большие тяготы в этой стране падали на долю еврейского народа — но он не уставал бороться. История национальных гонений в России ещё не написана. Сегодня мне не хочется возвращаться даже чувством к тем танталовым мукам, какие пришлось перетерпеть евреям.

Что это напоминало? Что это ужасно напоминало? — вот такой торжественный сверкающий стол и торжественные заседатели, но собравшиеся вовсе не для еды, а лишь по поводу её, — а выход весь, а ожиданье всё — пламенная речь? Да — *банкеты* же, банкеты с Девятьсот Четвёртого на Пятый! — не зря прогремевшие серебром и стеклом, нагремевшие нам и революцию!

— Духа же евреев тяжкий гнёт нисколько не угашал, напротив — возбуждал к сознательности и борьбе! Вместо прежней покорной и трусливой массы явилась нация с высоко развитым чувством собственного достоинства! И вот сегодня, когда вся гниль одним ударом смыта с тела народного, — перед нами во весь рост стоит еврей-гражданин, с достоинством перенесший годы угнетения и преследования. Вырван ядовитый зуб царизма. Снята тяжесть с русской совести. На долю Временного правительства выпала великая честь снять с русского народа тяготевшее на нём пятно. Теперь Россия вступает в ряды цивилизованных народов. Сегодня мы в полном смысле можем назвать русскую революцию Великой: ещё горят страсти — а революция спешит восстановить значение личности, выполнить повелительный долг чести относительно евреев! Вот она, грань между старым и новым строем. «Ныне отпущаеши». Первый раз за две тысячи лет мы будем праздновать нашу Пасху не рабами, а свободными гражданами. Радостные чувства этих великих дней откристаллизуются и передадутся потомству в восторженных рассказах и трогательных легендах.

Зааплодировали. Сверкали глаза. Предупредительно поднимали бокалы. Максим Моисеевич отдышивался от радости, как от большого подъёма. Но он ещё не кончил.

— Теперь евреи могут смело войти в храм свободы, ибо он воздвигнут и на костях еврейских борцов. Евреи могут гордиться, что и они принимали участие в революции. Евреи добивались свободы не как рабы — и теперь полноправно могут участвовать в закреплении достигнутого успеха. Конечно, одним росчерком пера ещё не будут устранены все противоеврейские традиции. Ползут нашёптывания тёмных сил, и провокаторы хотят сорвать революцию на вопросе допуска евреев в офицерство. Понадобится ещё одна революция — в тёмных невежественных мозгах, чтобы поняли все, что никакого еврейского вопроса вообще никогда не существовало. Все помыслы нового еврейского гражданина теперь — на благо родины, открывшей ему свои объятья. И весь его никем не отрицаемый гений теперь будет вложен в строительство родины.

Забудем же наши обиды — и пусть запоздалость зари не отягчит души страдальца. Никогда ещё Россия так не нуждалась в энергиях и талантах — и евреи принесут их ей.

По составу речи можно было понять, что он — кончил, и отчего ж не на высокой ноте, упущенной раньше? А Максим Моисеевич вовсе не кончил, главный-то поворот был сейчас.

— Напомню, что в своей известной речи в Первой Государственной Думе я бросил в лицо правительству: да, мы полны силы отчаяния, но у нас есть и один союзник — это исполненный истинной человечности русский народ! Да, господа, это так, — обвёл он глазами всех, но не двух самых близко сидящих. — За светлое будущее России мы боролись не одни, но вместе с лучшими русскими людьми. Дух Пушкина, Белинского, Герцена и Толстого, и вся атмосфера Девятьсот Пятого-Шестого годов и Девятьсот Семнадцатого — это негаснущие эманации. И современное нам поколение русских людей сумело выявить те же истинные черты русской души — и этих дорогих друзей мы видим сегодня и здесь, в нашем узком избранном кругу — и — и разрешите, — сияюще повернулся он направо, — обнять вас, дорогой князь Павел Дмитриевич?

И наложил руки на плечи слоногрузного князя, не давая ему подняться в рост, — тот разошёлся в смущённой улыбке. Обнялись.

— И разрешите, — с глубинным порывом повернулся Винавер налево, к своему сердечному любимцу, — обнять вас, наш ненаглядный Фёдор Фёдорович!

И наложил руки на хрупкость Кокошкина.

Все встали.

652

Обедать министры должны были в офицерском собрании Ставки. Но вовремя не пришли, и всё не шли — и обед начался без них.

Тут они и вошли — все в пиджаках, Керенский в курточке. Никто из офицеров не поднялся. Лишь когда министры подошли к генеральскому столу — привскочил Алексеев. И иностранные офицеры прекратили еду.

Все жадно смотрели на диковинных министров, и особенно на Керенского: больше всего он гремел по газетам, а портретов его ещё не знали.

Только после обеда, когда поднялись, вокруг каждого из пяти смогли образоваться группы — и так присмотрелись и прислушались к ним ближе. Трое старших были люди привычного общества, таким же старался быть и Некрасов, а Керенский излишне нервно дёргался то в одну, то в другую сторону, иногда его жесты и фразы были напряжены, сценичны, не по размеру аудитории.

Но эти беседы стоя не продолжались долго: все министры спешили, в разные места, использовать для своих дел эти немногие часы в Ставке.

Милюков объявил представителям союзников, что на сегодняшнем заседании правительство решило оставить Алексеева Верховным Главнокомандующим. Союзные агенты внимательно и вежливо кивали. (Они ещё утром знали об этом же от Гучкова.) Разумеется, никакого неприятного упоминания о задержке нашего наступления тут не прозвучало.

Затем Милюков и Гучков вместе с Алексеевым отправились на совещание с морским штабом. Гучкову как морскому министру неизбежно было такое совещание устроить, но Милюков непременно хотел участвовать — и тут стал проводить свой заветный план: убедить и Ставку, и морской штаб энергично подготовить и произвести высадку в Босфоре! Он знал, что адмирал Колчак только об этом и грезит, — и тут в темпераментном кругленьком адмирале Бубнове нашёл тоже горячую поддержку. Но вечный противник босфорской операции Алексеев стал кисло и скучно выговаривать и выписывать на бумаге целые столбики возразительных соображений — всё вокруг распыления сил, нехватки десантных судов, трудностей снабжения, задержки сроков и тяжёлых особенностей момента.

Но как же было из-за мелочей малодушно отложить, не осуществить в эти революционные яркие месяцы константинопольскую мечту России?! Милюков никогда, и даже в эти месяцы особенно, не терял государственной мысли: путь России — через проливы, через Балканы, через Средиземное море! Пришёл исторический момент!

И он смотрел на Гучкова со страстным выражением, — если таковое было ему доступно.

Однако Гучков, ведь тоже прикосновенный к балканским проблемам, — нет, не выказывал мужества. Любил он дерзкие шаги, но что-то слишком много сразу предпринималось дерзких: одна его генеральская пертурбация чего стоила. А все перетряски уставов, комитеты? Однако и боевой расчёт, представленный Колча-

ком, был поразительно убедительный: вся недоступность Босфора казалась мнимой, — а только руку протянуть — и взять!

Но, уже привыкнув за эти дни к подавляющим трудностям, Гучков скрипел. Не столько против расчёта Колчака, как — о снабжении. О разгрузке железных дорог. Мы везём из Донбасса уголь, перегружая железные дороги, — а могли бы морем везти его из Мариуполя в Одессу — но для этого тоже нет судов, а придётся с транспортов Колчака снять десантные приспособления и поставить их под уголь и руду.

Милюков сердито возражал. Не сошлись, не решили.

Гучков весь день был настроен нервно именно из-за обильного присутствия других министров, которые лезли не в свои дела, отравляли ему встречу со своею Ставкой. И хотя его главные дела уже были за полтора дня все обсуждены — но он решил пересидеть министров, не уезжать сегодня, остаться ещё на день. Как заноза досадная ему особенно мешал Керенский своим претенциозным, неуместным здесь поведением. На дневном заседании Гучкову подали телеграмму из министерства, что получено известие: в Петроград из Архангельска везут арестованных там по приказу министра юстиции — двадцать пять морских офицеров и трёх генералов! Каково? И это — без морского министра! Гучков едва не захлебнулся этой телеграммой — но всё шло совещание, а потом Керенский сразу ускользал, а потом обед, а потом опять ускользнул, — никак не удавалось его припереть и выпалить ему! Между совещаниями у самого Гучкова были встречи: утром — с военными представителями союзников (осторожно готовя их, что России очень трудно будет выполнить обязательства, но скоро-скоро восстановится её военная мощь), затем сидел в Дежурстве у генерала, получая самое для себя нужное: списки всех старших начальников от дивизии вверх со всеми аттестационными отметками.

Наконец, из вежливости просидел и час с великим князем Сергеем Михайловичем, отставляемым от инспектора артиллерии: тот боялся ехать куда бы то ни было, уже наученный злоключениями династии и своей бывшей любовницы Кшесинской в Петрограде («Скажите, Александр Иваныч, женщину, балерину — за что?» — «Но разве я могу уследить, кто кого вытесняет?»), — и вопреки официальным рекомендациям правительства Гучков советовал ему ехать куда угодно, только не в Петроград.

Лишь поздно вечером Гучков узнал, что Керенский в этот день успел принять смотр Георгиевского батальона (в какой су-

масшедшей стране это мог сделать министр юстиции?!) — а только что, вечером, выступил на собрании офицерских и солдатских депутатов (куда и Гучкова звали, да он был занят). Ну, чёрт подери, Гучков рассердился уже черезкрайне: с этим фигляром надо как-то кончать, он открыто лез в компетенцию военного министра. И выходки его были так неожиданны, что нельзя их предусмотреть.

Откладывая объяснение до следующего правительственного заседания (осадить фигляра по первому же поводу), — пока только и мог Гучков: остаться на следующие сутки, завтра собрать это же самое собрание офицерских и солдатских депутатов и на нём произнести обширную речь, заслоняя болтовню Керенского: как он, Гучков, ещё с 1907 года пытался возродить боевую мощь России, а ему мешали правительственные сферы. Как революция вызволила нас из проклятой тины — и теперь солдату предоставлены все права гражданина, и теперь свободным революционным развитием мы создадим непобедимую армию!

А Керенский — а Керенский, со своим динамизмом, провёл сегодня ослепительно очаровательный день! Уже утром, с вокзала, — единственный министр, кого подняли на руки, был он! И вот блистательно придумал принять парад батальона Георгиевских кавалеров — умеренно укорил их, что они поддались карательной поездке в Петроград, но и тут же благодарил, что они остались верны народу, — держа руку у картузного козырька, пропустил мимо себя их печатный шаг — и очаровал. Пробежал в комнаты военно-судного управления — и очаровал. Наконец, приятно поболтал часок с великим князем Сергеем Михайловичем. К каждому великому князю Керенский испытывал острое любопытство, желание сокоснуться. В эту поездку — неудобно было поехать в самом царском поезде, — а как хотелось! А в самой Ставке — какой особенно бодрящий, военизирующий воздух. А вот и опустевший двухэтажный дом, где жил царь. Как министр юстиции Керенский должен был проверить — и прошёлся дорожками двора и сада: вот тут ходил сам царь — а теперь ходит Керенский! (Так же одинокий, заложив руки за спину, — а охрана из Гвардейского экипажа всё время за ним, в отдалении. Распорядился выдать им царского вина.)

Во время большого совещания Керенский то и дело вставал и подходил рассматривать карты, развешанные на стене. Молодой, стройный, впечатлительный, умный, с одной рукой небрежно за-

ложенной за спину, он чувствовал, как полководческий дар вливается в него час от часу. (А кто был здесь полководец? И Николай Николаевич не был полководец, его популярность раздула общественность в пику царю.)

Очень обижало Керенского пренебрежение Гучкова: что он приехал на сутки раньше, держался всё время особо, отдельно и как бы выше. А вот что надо: по возврату в Петроград тотчас же дать газетам интервью о впечатлениях от Ставки — и заявить от себя проект омоложения командного состава армии, — да разве Керенский не думает так? не думал так всегда? Этим путём и будет создана та революционная армия, которая существовала во Французскую революцию! Проект омоложения командного состава вызовет восторг и сочувствие всей армии!

Так, в разнообразных событиях, чувствах и впечатлениях прокатился этот незабываемый день Керенского — а закончился он блестящим выступлением в солдатско-офицерском могилёвском Совете депутатов (60 солдат, 30 офицеров) в здании городской думы. Его встретили, конечно, единодушными овациями — и он взнёсся на помост и тотчас же приступил к речи, каждым свободным жестом своим показывая, насколько новая власть выгодно отличается от старой.

— Товарищи! Русская революция поразила весь мир быстрым темпом своего свершения — и порядком, не имеющим примера в истории! Старая власть, лишённая всякой опоры в народе и армии, сдалась в несколько дней без сопротивления! И они все — в наших руках! Дело реакции проиграно безповоротно! Но должен последовать справедливый суд, а не мелкая мстительность! Великий народ должен проявить величие и в великодушии.

В такие мгновения — гусиным пёрышком щекотало Керенского в горле.

— А что мы видим в нашей армии? Она станет ещё сильней, когда до конца осуществится приобщение к гражданским правам! Уже сегодня я вынес самое отрадное впечатление. Офицеры чувствуют себя прекрасно и говорят, что наконец-то нашли своё настоящее место. Они прониклись пониманием психологии солдата-гражданина. Солдаты проникнуты духом верности, чувством долга перед родиной. Дезертирство не только не усилилось, но многие возвращаются на фронт. Генералитет, хотя и не ориентируется в новых формах жизни, но мы не встречаем от него противодействия. Внутри государства — больше нет нам опасности! Но она —

от внешних врагов. Если бы немцам удался прорыв — они бы восстановили у нас старый деспотический режим. Но я ни минуты не сомневаюсь, что наша армия грудью защитит завоёванную свободу! Если не исчезнет наш энтузиазм — мы выдержим удар! Солнце свободы всходит — и осветит не одну Россию, но и весь мир, который напряжённо ждёт с Востока своего освобождения!

А дальше — аплодисменты, аплодисменты, энтузиазм не поддавался описанию!

И снова его вынесли из зала на руках. (В сопровождении подпьяневших матросов Гвардейского экипажа.)

653

Сегодня в Белом думском зале очередь собираться была рабочей секции Совета. Не так избыточно, как солдатская, двери закрывались, и по проходам можно было пробраться, но всё же сидели впритиску и во всех ложах, и на ступеньках. И даже — не курили, обязались так, иногда кто где засмолит — на него цыкнут. Всё это рознилось от солдатских дней, когда стояли даже и во все стороны лицами, и всё висло в дыму. Сегодня, в рабоченный день, и на хорах оставалось место — и там расселась стража арестованных из соседнего коридора, кто-то и до белья раздевшись от духоты, на привольи чай пили.

А Екатерининский зал по соседству грохотал от пришедших туда сейчас моряков.

На родзянковскую вышку, на фон опустошённой императорской рамы, уверенно взошёл полноватый Богданов. Он теперь стал ходить с портфелем, что, при упитанном белом лице, придавало ему и министерскую солидность. И перед подъёмом на трибуну снимал, совал в карман пенсне, нужное ему только для бумаг. Энергично постучал по пюпитру (родзянковский колокольчик за эти дни украли) — уже и стук его и манеру знали, и сразу слушали. За три недели привык Совет к Богданову и Богданов к Совету, управлялся с ним оборотисто, и доводов его слушались, он и был тот главный, кто приносил из Исполнительного Комитета директивы, а здесь превращал в решения. По умелости, бодро надеялся он и сегодня справиться, хотя понимал, что дело окажется потрудней.

— Товарищи! — сильным голосом подал в тишине. — Сегодня нам предстоит два вопроса. О положении работ на заводах — но это потом. А раньше нам надо обсудить некоторую перестройку работы самого Совета. Исполнительный Комитет пришёл к выводу: в таком виде, как мы существуем, мы больше существовать не можем. Теперь в Совете две тысячи солдат и восемьсот рабочих, — это слишком много, на общих собраниях решение вопросов может быть непродуманное. Простое голое поднятие рук — это не решение. Как теперь изменить положение вещей? Это называется — реорганизация. В теперешнем составе Совета много наслоений, ибо он сложился стихийно. Наш Совет рос на случайных основаниях. И пришлось разбиться на отдельные солдатские и рабочие собрания, у солдат своя Исполнительная комиссия, тоже 107 человек. Так работать нельзя, это слишком громоздко.

Солдатская аудитория — много бород; здесь — ни одной, самое большее — усы у третьего, а то бриты. Сквозь солдатские дремучие бороды нескоро проникает речь оратора. А тут, с рабочими, поостерегись, их всё же (сами же) годами приучали к сходкам и речам. И лица у них — размысливые, честно серьёзные, и пришли они — понимать, и торжественный парламентский зал приосеняет им важности. Тут — поосторожней, через каждую фразу — и успокаивать. (А начали с рабочих, потому что перестройка ущемит солдат побольше.)

— Но, надо сказать, хотя состав Совета и случайный — он сохраняет полное единство. Нам нельзя ломать эту махину. Нельзя сказать — распускаем и созываем новый. Мы всё-таки связаны друг с другом, рабочие с солдатами, и через Исполнительный Комитет. Мы росли стихийно — но рвать эту связь нельзя. Этот аппарат нельзя уничтожать. Наша задача — связать эту махину, чтоб она представляла сильное гармоническое целое. Хотя мы считаем, что три тысячи человек работать трудно, всё же вопрос слабо освещён. Но Совет распустить нельзя. Он должен сохраниться, только его роль должна быть точно определена.

Пока сходило ничего. Но слушали — не безразлично, кажется, начиная подозревать и подвох.

— И вот я доложу проект сегодня на вашей секции, завтра на солдатской. Впредь Совет должен намечать общую линию. А разрабатывать эту линию при таком большом количестве членов нельзя. Кроме того, есть случаи торжественные, например обра-

щение к полякам, когда нужен весь Совет. Разработка же и принятие решений и постановлений должна лежать на рабочем органе. И мы предлагаем такой создать: Малый Совет Рабочих и Солдатских депутатов, не больше пятисот человек. Теперь момент спокойный, не как 27 февраля, и выборы могут быть произведены закономерно. Выбирать депутата не на полтысячи, а на две тысячи человек. И солдат — не от каждой роты, а от батальона, полка. А ещё в Совете отдельно должны быть представлены партии. И профсоюзы. Мы ценим организации. Итак, старый Совет не уничтожается! — который раз оговорился он, хотя ж никто ещё этого ему не кинул, но промахнулся языком, назвал Совет не Большим, а сразу старым, — его задача — разработка общей линии и вотирование торжественных актов.

Теперь зашевелились. Только радости и поддержки в движении не было.

— А Исполнительный Комитет?? — крикнули, даже из разных мест.

Этого Богданов и ждал, самое больное место, осторожно его обойти — не допустить и мысли переизбирать Исполнительный Комитет.

— Исполнительный Комитет, товарищи, избран ещё 27 февраля…

— Временно! — крикнули.

Помнили…

— Сперва решили, что он будет состоять из девяти рабочих, девяти солдат. А потом ещё присоединялись партийные депутаты. Да, он сложился несколько стихийно. В нём сейчас 37 человек, из них далеко не все бывают на собраниях. И мы предполагаем доизбирать туда рабочих и солдат. — (И не собирались.) — Но сейчас надо думать, как реорганизовать Большой Совет.

Богданов ждал сразу большого шума, но если быстро бы проявился — быстро его и приглушить. А тут разрабатывалось медленно. Оттуда и отсюда стали выкликать вопросы:

— Так — депутатов в Малый Совет — новые выборы? Или — из этих, из нас?

— Новые! — уверенно ответил Богданов. Потому что так говорили на Исполкоме. А сам сразу и подумал: ошибка, вот тут надо было и уступить.

— А остальным — чего ж? — забезпокоились ещё в нескольких, справа, слева, высоко и внизу. — К станкам?

Их ведь, этих заседающих, освободили от работы.

— Да, товарищи, а что ж, с работой у нас плохо. Но Большой Совет время от времени будет собираться.

— А районные советы — будут?..

— А Малый Совет — будет выбирать свой Исполнительный Комитет?..

Ишь, куда заваливают! Нет-нет:

— Исполнительный Комитет остаётся от Большого, мы туда довыберем. Малый Совет не избирает своего Исполнительного. Так, товарищи, давайте организованно выступать, но покороче! — гнал Богданов.

— Не покороче! — распалялось в зале. — Вопрос важный, сокращать время нельзя!

Стали выкликать и фамилии — и записываться. И быстро записалось больше двадцати человек. Таких прений Богданов допустить не мог: чем дольше прения — тем больше проигрываешь, уж он знал. Но уже шёл первый — с завода Паля, и с привычками и словечками оратора:

— Та-ак, — сказал, — товарищи! Вопрос требует самого напряжённого обсуждения. Он постановлен расплывчато и неконкретно. Мы не видим плана реоганизации. Надо его раскритиковать как следовает… Мы реоганизуемся, пожалуйста, но чтобы был максимум пользы и чтоб мы не потеряли своего удельного веса.

— Вы сами, товарищ, говорите конкретно, а не лишнее! — стал подправлять Богданов. Эти речи, он знал, нельзя запускать.

— Чего неконкретно? — стал сбиваться оратор. — Если, например, три депутата от завода уже есть, а надо выбрать ещё один, так будет четыре? А если от одного завода сразу восемь, и говорят одно и то же, так не лучше ль их сократить, а на их место других добавить?

— Чего сократить! Кого сократить! — возмущённо закричали из зала, это от крупных заводов. — И сбили оратора. Он ещё поблукал языком и ушёл. Когда само собрание прогоняет ораторов — тогда председателю и вести легче.

Второй вылез с Лангезиппена, тоже, видно, умелец поговорить:

— Да, товарищи! Как и для чего — это вопрос очень сурьёзный. Когда начиналась революция — так и всё делалось кое-как. А Исполнительный Комитет — он есть теперь законодательный

комитет. А не только здесь, но и по всей России оказывается давление со стороны остатков тёмных сил. Старая власть местами ещё существует, ого! Вот я, например, узнал: в Великих Луках земский начальник ещё и сегодня арестовывает. Мы находим, что три тысячи депутатов — это много? но, товарищи, и выходов много. Учредительное Собрание вот недалеко — а на местах нигде нет передового элемента. А в Петрограде этого элемента как раз очень даже много. И мы можем часть существующего нашего Совета отделить и разослать по провинциям, чтоб они организовывали массы к Учредительному Собранию. Мы вынесли на себе тяжесть революции — и нам теперя надо взять на себя пропаганду! На местах буржуазия небось работает, а мы почему-то ничего не делаем. Исходя из этого, я предлагаю: часть Совета командировать во все провинции для пропаганды. Докладчик сказал — в Малый Совет войдёт 500 человек, а нам остальным — куда? на улицу? И я предлагаю: рассыпаться нам по всей России!

Он покидал трибуну — уже заспорили на местах, соседи с соседями. Многим показалось заманно, другим неохота из Питера уезжать.

Ох, трудна ты, работа головы! Ох, трудно пробиться, весь хлам прокидать: чего же именно правильно?

И с трибуны очередной тоже сетовал, отирая серый лоб:

— Вопрос, товарищи, сложный. В пять минут его никак решить нельзя. В этом зале, в Думе, самый сраненький вопрос и обнаковенно обсуждался по нескольку дней. А теперь — вся Россия к нам прислушается, ибо должен быть один центральный орган. Исполнительный Комитет должен был проект соопчить нам заблаговремённо, а не этак сразу на голову кидать. Мы так уразуметь не поспеем. Да по какой категории избирать-то будем? Значит, один Совет у нас будет правильный, а другой неправильный?

А сразу за ним — полез конторщик с Айваза с выложенной у кармана цепочкой часов, слышали его в Совете, не раз. Так и заявил сразу громко наотрез:

— Нет, товарищи! Я хочу указать на замечание товарища Богданова, что наши решения просто принимались поднятием рук. Это неверно, они принимались вполне сознательно. Никто решений Совета не опротестовывает — значит, работа ведётся правильно. А если это так — то к чему нам меняться? Теперь я перехожу к существу вопроса, что якобы Совет продуктивно работать не может, и предлагают схему реорганизации. Я не согласен. Да,

у нас около трёх тысяч человек, и возможно, будет расти до пяти тысяч. А Малый вырастет до семьсот, это не парламент? А что же будут делать наши три тысячи человек? Только ждать торжественного случая? Это — опять не решение. Вот товарищ с Лангезиппена наметил выход, и он мне рисуется приемлемым. Сократим Совет до пятьсот-шестьсот человек — но и остальных оставим в звании, только поручим им: подтянуть к нашему сознательному уровню обширные области страны. Выплатим командировочные — и пусть едут, возглашают. Многие по России не знают, что в Петрограде творится, — и надо им это показать. Это даст — колоссальнейшую пользу! Итак, одна часть осталась бы здесь, а другая поехала бы. У нас тут, однако, разные взгляды, и вот, чтобы понести всё одинаково, надо выработать план. А если сделать, как предлагает Богданов, то положительного результата мы не получим. Мы бы, значит, топтались тут, на месте, а там бы, на местах, шла работа тёмных сил? Временное правительство с этим мирится, но мы должны добиваться своего. На местах есть тёмные массы — и тогда мы убили бы сразу двух зайцев: и здесь бы сократили бы количество депутатов — и страну бы подготовили к восприятию великих реформ.

Так, самодельно и неожиданно, повернул Совет весь вопрос. Но не для того был поставлен ловкий председатель-докладчик, и он загремел, опоминая зал:

— Предыдущие товарищи говорили не по существу. Нам надо — усилить, укрепить Совет *рабочих,* а не усылать его в провинцию, не подменять всероссийской проблемой. — То есть он хотел им намекнуть, что надо увеличить рабочих за счёт солдат, но об этом никак нельзя сказать прямо вслух, дойдёт до солдат. — Давайте говорить о Малом Совете.

Но не взял их с наскоку сразу к голосованию, теперь забарахталось трудней. За время трёх-четырёх ораторов стали рабочие — опоминаться, в затылках расчёсывать, друг с другом обменялись из ряда в ряд: да нет, тут дело нечисто! это ведь нас разогнать хотят.

И вылез длинный хитрый черноусый дядька со Старого Парвиайнена, обопёрся об трибуну хорошо и повёл так:

— Я — с другими говорившими тут не согласен. Как это: Совет слишком большой — давайте выбирать других? Как это: Совет — уменьшить, а Большой — для торжественного случая? Это не выдерживает критику. Значит — мы годны только для парада?

Я не думаю, чтоб свобода была настолько упрочена, — и нам расходиться ещё рано, — как это: выбирать других? Теперь настроение масс опустилось и начинают действовать нежелательные силы, и если новые выборы — то только ухудшат состав Совета. И получится мнение, что мы были — не совсем подходящий елемент? И что ж будет делать дальше Совет? У меня такое предложение: если от какой фабрики двадцать депутатов — ну, можно сократить. Хорошо, выберем пятьсот человек, но из нашей здешней среды. Но и Исполнительный Комитет — тогда тоже заново. Из этих пятьсот выберем.

— Этого — не допустим! — застучал Богданов кулаком. — Ещё чего? Кто не доверяет нашему Исполнительному Комитету — пусть организуется сам на стороне, как хочет. А наш Исполнительный Комитет — избран этим Советом.

Богданов лишил оратора слова, дядька не хотел уходить.

— Почему говорить не даёте? — загудели.

— Круто загибаешь — оглоблю сломаешь!

Но тут близко сразу несколько с вытянутыми руками совались к трибуне — и как угадать полезного? Богданов отметил одного — опять вида приказчичьего или конторского.

Этот подвижный завертелся на трибуне, поспевая убеждать во все стороны:

— Товарищи! Мы с вами — люди подполья! А наш Совет организовался во время стихии. А если сделать теперь новые выборы — то в Совет придут люди, которые будут звать «воевать до победы».

Застучал над его головой уже недовольный Богданов, и с мест орали с разных, — но и конторский не растерялся, а продолжал виться:

— А сила перейдёт от Большого Совета к Малому? Нет, товарищи, мы явились сюда не для реорганизации, а — организовать разбитую Россию, и для этого нужны строители.

— А сам — кто? — глушил Богданов, сбивая.

— Я сам, товарищи, пожалуйста, фармацевт. Здесь много служащих. Раньше мы, служащие, были отделены от рабочих, а теперь мы слились. И цель Совета Рабочих и Солдатских Депутатов — это контроль над Временным правительством. А между тем министр просвещения остался совсем без контроля, вы обратите ваше внимание! А нам говорят — разойтись? Нет, товарищи, делать государственное дело нужен инструмент — а нам го-

ворят: разойтись? Здесь, в этом здании, была холопская Дума, а у нас новое настроение, мы хотим организоваться, а нам говорят — реорганизоваться?

Наступил общий шум — от богдановского стука и горла и встречно от зала, как и раньше на Советах бывало: ораторов на трибуне оказалось сразу двое, и по ступенькам подпирали двое, а по всему залу ещё вставали и говорили окружающим. Совет расколыхался, окончательно поняв, что его обманывают и хотят разогнать. Кричали и грозили кулаками Богданову — но и он смело кричал:

— А я вас не боюсь!

Но сам-то уже понял, что не справился, что прения проиграны и надо не голосовать, а откладывать на следующий раз.

Десять-пятнадцать минут покричали, разрядились, угомонились — выбрал Богданов на глаз и дал слово белокурому парню с Трубочного.

— Я высказываю против посылки нас на места. Это значит — распылить силы, а нам надо быть в единении. Такая посылка будет громаднейшим ущербом. Чтобы не был громадный состав — так Малый надо выбирать из нас же, зачем же со стороны ещё набирать? А если уж со стороны — так пусть Малый Совет будет со всей России, ото всех разных городов и губерний. А то ведь нас и так считают Всероссийским — так вот. Не нам туда ехать — а пущай сюда едет провинция. Мы, Петроград, своё дело и сделали — теперь пущай делает провинция!

Пришлось Богданову опять вмешиваться, разгребать свою восьмисотную неразбериху:

— Нет, товарищи, это неправильно! Хотя мы и петроградские, но волею судеб мы и так уже всероссийские. Мы только формально именуемся Петроградским Советом — а сила у нас на всю Россию. И возможно, нас и так признают всероссийским.

А гуща ему — нового оратора вытолкнула, тоже кудрявого, молодого:

— Мы выбраны сюда решать вопрос — а получается, что знакомимся с готовым докладом. Надо раньше оповещать! Совет рабочих депутатов спаялся — и уничтожить его не дадим! Когда девятый вал прошёл — так мы уже и не нужны — и «выбирайте новых»? Мы распустить себя — никак не можем! Мы выбраны совсем не случайно, а вполне разумно. Да к чему нам новые выборы, зачем нам новые? Придут новые — мы должны их знакомить

с делами снова. Среди нас тоже-ть нет буржуев! Да, разбирать при трёх тысячах трудно, — а ежели разойтись по комиссиям да по подкомиссиям — так и нет никого. Да вон, пулемётчики из Народного дома уходят — щекатуры обсвежат, да и занимайся! Хотя б и были у нас недостатки, но в такое ответное время распускать нас недопустимо! Выбирать новых членов Совета — это только внесёт путаницу. И зачем нам Москва и другие города? Если мы их пустим сюда — так они начнут нами управлять. Это мы — сбросили иго, мы и должны Россией управлять! А они — пусть присылают людей для связи. А подчинить себя мы никому не позволим! Ежели нужно выбирать Малый Совет — то и выбрать из сидящих здесь, и всё!

Ну, поднялось! — вой. Вставали, кричали, руками махали, выходили, ещё такого Совет не помнил. Сейчас оборвать прения — нельзя, всё проиграно. Сразу не прошло — теперь другой вариант: дать им много часов говорить, сами разбредутся и запутаются. В растянутых прениях толпа всегда запутывается и ослабляет сама себя, мысли расползаются, разделяются — и тут-то снова её можно взять сильной рукой.

— Куда вы уходите, товарищи? — перекрикивал Богданов, приложив раструб к губам. — Вопрос очень важный, продолжаем свободные прения, никто вам ничего не навязывает!

Уселись и опять продолжали.

Теперь — от Розенкранца:

— Да, товарищи, наш Совет выбран стихийно — но и надо издать директивы, чтобы не было заявлений, что мы неправильно избраны и наши решения неправильные. А раз демократическая республика — так сделать пропорционально тысячам. На нас смотрит вся Россия, и авторитетность наша увеличится, если будут представители от других городов. Тут ругали буржуазию — а что? Привлечь и её в Совет рабочих депутатов. — (Загудели, закричали недовольно.) — Её будет немного, но мы ещё больше поднимемся в глазах. Нужно привлечь в Совет и умственные силы. А если возникнет конфликт Большого Совета с Малым — так кого население будет слушаться? Они будут считаться правильно избранные? Они будут — всё, а мы — ничто? Нет, так не пойдёт.

А следующий повёл ещё загибистей:

— Я предложил бы лучше — удалить Исполнительный Комитет, а вместо него и создать Малый Совет с подкомиссиями. Мы в первый день революции избрали Исполнительный Комитет на

три-четыре дня, а он остался постоянным, это нежелательно. Всё захвачено в руки кучки посторонних людей!

— Этого никто вам не разрешит! — бомбил Богданов по кафедре. — Исполнительный Комитет — не посторонние, а состоит из рабочих и солдат! И из политических партий!

— Здесь говорят массу пустых слов! Вопрос тонет в словах! — взывал следующий, подмеченный зорким Богдановым, взятый на поддержку. — При чём тут Исполнительный Комитет? Обсуждается Совет! На нас устремлены взоры всей России! Мы сейчас должны реорганизоваться. Но мы никак не можем сговориться.

Теперь кого своих знал в лицо, так их бы вызывать — но рук не тянули.

— Исполнительный Комитет и так делает всё возможное в интересах революции! Мы только можем ещё расширить Комитет борцами за благо. Конечно, они перегружены работой, и надо их пополнить! Надо согласиться с предложением докладчика. Нас никто не упраздняет. Но Малый Совет будет продукт обдуманного решения. Эти люди не будут лишними, раз они выбраны!

— Так ежели нас уже много — зачем же ещё выбирать?! — волновались с разных мест.

Свои, проверенные, не тянулись, а какого-то глупого кудлатого Богданов выделил — и дал ему слово. И — не ошибся намётанный глаз. Кудлатый завёл, как и не слышал предыдущего, вот это и надо:

— Я хочу сказать: в настоящее время автомобильное дело на краю гибели, а мы тут чёрт-те что обсуживаем. Автомобили принесли большую пользу революции. Но каждая комиссия старается захватить над ними власть. А нас в комиссию не приняли. И людям дают право распоряжаться. А я говорю от пяти тысяч шоферов. Мальчишки разбивают автомобили. Тогда их — в мастерскую, а после починки уже хужего качества. И разве можно ограничивать движение автомобилей записками? Вот офицеры и развозили женщин, вместо прокламаций к Учредительному Собранию. Мы — погубим эту промышленность! Надо уничтожить пропуска…

Такой шум поднялся — не дали ему больше говорить. Но сделал своё: одно острое выбил другим острым.

Недалеко от входной двери, сбоку, сидел и волновался Гвоздев: он видел, что страсти разожглись, прения затягиваются — и

всё меньше оставалось надежды сегодня же обсудить с успехом состояние заводов и убедить эту разгневанную массу ещё и в чём-то другом против её сочувствия, как можно было бы на холодную голову.

За недели революции, он заметил, это было не первый раз: или пустяк, или раззадорина захватывали всё внимание и силы людей — а главное рушилось.

Происходило безумие: не то что с петроградскими автомобилями — но обрушивалась вся оборонная промышленность в разгар войны — и свой брат-рабочий не хотел внять и отозваться, — чего же ждать от исполкомцев? И если уж сам Совет тоже не направит…

Тут он услышал — за дверью прошли по коридору к Полуциркульному с радостными громкими голосами, будто что-то нашли редкое. В зале Гвоздеву делать было пока нечего — и он подался посмотреть, кто это там, что.

В двери Полуциркульного входили толпясь, и от задних Козьма узнал: вот, приехали из Иркутска Церетели и Гоц, сейчас будут говорить!

Лидер социалистов во 2-й Думе Церетели пробыл в Сибири 10 лет — и Козьма, простым ещё рабочим, никогда его близко не встречал. Хотя вот переписывался с ним недавно. Теперь он увидел на помосте рядом с Чхеидзе, Чхенкели и другими исполкомовцами очень высокого, стройного молодого грузина, в пальто, сильно чёрного волосами, усами. Приветственные речи приехавшему были уже произнесены на вокзале или на ступеньках Таврического — теперь отвечал он сам.

Он стоял как тополь. Говорил с улыбкой. В улыбке его было — ненаигранное, но смягчённое страдание пережитых лет. Говорил с паузами между фразами, с большим значением выбирая слова:

— Кончились мрачные годы реакции. Пробил час для полного торжества демократии! Ваш подвиг был и в том, что вы остановились вовремя: вы поняли, что идёт революция буржуазная и ещё не настал момент для конечных задач пролетариата. Которые и нигде ещё не осуществлены. Вы не стали навязывать событиям свою волю — но лишь толкаете буржуазию на путь революции. И хотя 4-я Дума была построена на костях 2-й — мы готовы забыть Временному правительству прошлое и поддерживать его.

Грозно повёл высокой головой:

— Но если правительство станет на путь компромиссов — мы низвергнем его в прах!

Вздохнул. И — задушевно:

— А самое главное, самое главное: кончилось наше собственное разделение. Мы больше не будем раскалываться на меньшевиков и большевиков, мы будем — единая социал-демократия!..

654

Говорят о возможной поездке через Германию — все и много. И несколько эмигрантских комитетов и все партийные направления просили Гримма вступить в переговоры с немецким послом Ромбергом. (Как Мартов предложил — за каждого эмигранта освободим пленного немца.) Отлично, отлично, *план Мартова* работает!

Гримм — взялся! (Ещё лучше.) Но он не только вождь Циммервальда — он и член швейцарского парламента, и такой шаг ему неблагоразумно делать без сочувствия правительства, например министра иностранных дел Хоффмана. (И если Гримм взялся — значит, консультация была, заметим. А почему бы Швейцарии быть против? Швейцарии и самой бы неплохо эту шумную банду отправить. Швейцария сама стеснена войною со всех сторон.) Гримм ходит и ходит к Ромбергу, он ведёт переговоры *абсолютно секретные,* чтоб не проникло в печать, чтоб не опорочить швейцарский нейтралитет, — но главным представителям каждой партии (Натансону, Мартову, Зиновьеву) он-то сообщает. Мы — знаем.

Улита едет — когда-то будет. Пусть, пусть.

А Ромберг всем отвечал «да». И Гримм посчитал, что он легко всё исполнил: да — и да. Теперь остаётся вам, товарищи, обращаться за разрешением к своему Временному правительству.

Ах, спасибо! Ах, забыли перед вами шапочку снять! И потом век кланяться в ножки Луи Блану-Керенскому?

Все эти острые дни ужасно не хватало Радека-плута, телефоном вызвали его из давосской санатории, отдыхал, даже на русскую революцию сразу не ехал. Но уже по пути всё понял и придумал ещё один шаг отвлекающего зондирования: в Берне, через немецкого корреспондента.

Что ж, и тут был ответ от Ромберга, как и всем: да, да, конечно, всех желающих пропустим.

Но — не распахивалась германская граница, да и все *желающие* только узнать хотели, да посравнить, да спроситься Временного (слали телеграммы Керенскому), а так больше мялись.

Все согласны — и не начиналось ничто. Неуклюжи старинные дипломатические пути.

Не начиналось, пока тёмные крупные рыбы у самого дна не пройдут свой курс.

Пока Скларц не доложит в Берлине встречных предложений Ленина.

И германская Ставка не скажет окончательно: да.

И министерство иностранных дел не всполошится: уже так много публичных разговоров об этом возврате, уже князь Львов откровенно сказал швейцарскому посланнику, что быстрый отъезд эмигрантов из Швейцарии нежелателен. Так надо ж поспешить! — из-за кого же тянулось? — этот шанс для Германии не повторится!

И 18 марта, в субботу, Ромберг в Берне получил наконец распоряжение как можно быстрей сообщить Ленину, что его предложения об экстерриториальности приняты, не будет личного контроля и ограничительных условий.

В субботу — и «как можно быстрей»! Значит — не перемедливать лениво воскресенья. И, нарушая все законы осторожности, используя запасную крайнюю связь, германский посол стал вызванивать по телефонам, в Народном доме нашёл наконец социалиста-немца Пауля Леви: надо немедленно передать Ленину, что…

И ещё одним звонком был вызван Ульянов к соседнему телефону на Шпигельгассе — и шёл, волнуясь, что это Инесса.

А это был — ответ!!!

И вот когда — путь был открыт! Вот когда можно было назначать группе в 40 человек отъезд хоть через два дня, ровно сколько нужно товарищам уложить вещи, сдать книги, уладить денежные дела, съехаться из Женевы, Кларана, Берна, Люцерна, купить продуктов на дорогу, можно было ехать уже во вторник, а в ту субботу — на одну субботу позже, чем со Скларцем, — вмешаться в русскую революцию!

Но ещё во мраке тёмной затхлой лестницы, а потом в дневном мраке комнаты-камеры (с утра опять то крупный густой снег валил, то снег с дождём вперемежку), руки подхватывая к вырезам жилета, чтоб они не вырывались к действию прежде време-

ни, и успокаиваемый пальтовой тяжестью старого засаленного пиджака, — Ленин заставил себя ни к кому не кидаться объявлять, но — подумать. Подумать. Подумать, бегая.

Потерять голову в поражении и в унынии не может твёрдый человек. Но потерять голову в успехе — легко, и это самая большая опасность для политика.

Всё открывалось — а воспользоваться и сейчас было нельзя: как потом объяснишь, через кого и как согласовано, что вдруг внезапно подали вагон одним ведущим большевикам — и уехали?

Ещё надо сделать несколько отвлекающих, ослепляющих шагов.

Никакого простора бегать ногам, и на улицу не выскочить в такую погоду (и давно забыты читальни), — и вся беготня ушла в огненные вихревые спирали, провинчивающиеся в мозгу.

Поездка — открыта, да, но — к у д а ? Для задержки на финской границе? Или в тюрьму к Временному правительству? Можно представить, как там сейчас свистит шовинизм! По существующим мещанским представлениям — это ведь так называемая «измена родине». И даже тут, в Швейцарии, — меньшевики, эсеры, вся безхребетная эмигрантская сволочь, закричат об измене.

Нет!

Нет.

Н-н-нет…

(Кстати, пока Ганецкому: обращался к англичанам за пропуском, не дают!.. Пусть трезвонит.)

Удерживали бы обстоятельства, — но держать себя самого, уже свободного, рваться — и держать, до чего ж трудно!

Тут надо… тут надо…

Всё, что проплыло у дна тяжёлыми тёмными рыбами, теперь провести по поверхности беленькой парусной лодочкой.

Переговоры *окончены*? — теперь-то переговоры *начать*! Как будто сегодня начать их в первый раз!

И нет фигуры приличнее, чем доверчивый, безлукавый Платтен.

Готовить группу — само собой. Да список уже и есть.

(Инесса! Неужели и теперь не поедешь? Чудовищно! С нами — не поедешь? В Россию! — на праздник, на долгожданный? Останешься в этой гнили?..)

Сорок человек — уже не обвинишь в измене. По сорока человекам пятно расплылось — и нет. Конечно, можно бы прихватить и максималистов, и разных отдельных отчаянных, тогда б ещё без-

грешней. Но… Лучше с собой чужих не брать, лишние свидетели в пути, лишние свидетели каждого шага, а мало ли будет что. Да и в чём тогда успеванье, если своими усильями, в своём вагоне провозить соперников, а в Питере с ними бороться? Нет! Всё до последнего момента — втайне, и день и час отъезда втайне.

Только переговоры — открытые.

Не имея согласия уже в кармане — такие переговоры нельзя начинать: а вдруг не удадутся, что за позор! Но с согласием в кармане — вот тут-то их и вести.

И: как нужна высокая организация во всяком пролетарском деле, в каждом шаге пролетарского дела, — так и в этой поездке. Жестокий обруч. Чтобы какое-нибудь дерьмо в сторону не вывернулось. Чтобы все заодно — и никто не уклонился, не сказал бы никто: а я не участвовал! а я не подозревал, в чём дело!

Поэтому — за подписью каждого. Как присяга, как клятва. Как разбойники целуют нож. Чтоб никто не отбился потом, не кинулся «разоблачать». Ответственность — самая серьёзная, и должны разделить все сорок.

(Неужели Инесса не поедет?..)

И уже — сидел, составлял такое обязательство. Уже набрасывал, на стуле у окна на коленях, в сумерках снежной вьюги, своим почерком косоугончивым, как в на́стиг за мыслями наискосок листа, в эти дни крупней обычного, так волновался, — набрасывал пункты, какие могли бы тут войти: я подтверждаю… что условия, предложенные германским посольством товарищу Платтену, мне были объявлены… и я подчинился им со всей политической ответственностью перед возможными последствиями…

И вдруг из коридора — приятно-резкий, насмешливый голос Радека. Приехал?! Ну, лучшего гостя и помощника не придумать сейчас! Карл, Карл, здравствуйте, раздевайтесь, ох, за воротник вам насыпалось. Да вы новость нашу — *представляете*?!

Короткий вопль, сверкающие зубы, не убираемые за верхней губой, кучерявый, с ореолом бакенбардов — смеющийся озорник Радек!

Ну-кось, ну-кось, давайте вместе составлять. Такие же твёрдые условия надо подготовить и для Ромберга.

— Вы — им — условия?

— Да. А что?

— Восхитительно!

Такая затея — как раз по Радеку. Он — и советует, он — и шутит, у него и находки и мысли предусмотрительные.

Только вот курить в этой комнате запрещено, сухую трубку сосёт. И… Э-э…

— Владимир Ильич! А как же будет со *мной* ? Неужели вы меня способны не взять?

— Да почему ж не взять?

— Да ведь если мы пишем — «русские эмигранты», а я — австрийский подданный?

Ах ты, чёрт, австрийский подданный! Ах, чёрт! Привыкли как к своему, только для виду считается — польская партия. Но как же можно Радека не взять? Радека — и не взять!

У Радека выход готов: если будет Платтен с Ромбергом заключать письменный договор (а не будет письменный, так устно ещё легче попутать) — пропустить слово «русские», написать — «политэмигранты», а — о каких же ещё речь? Не додумаются немцы, подмахнут.

Вообще, в такой архиответственный момент, в таком наисерьёзнейшем деле недопустима игра, и германская Ставка — не из тех партнёров, с которыми шутят. Но для Радека — незаменимого, ни с кем не сравнимого, фонтана изобретений, острого, едкого, нахального Радека — пожалуй и попробовать?

— Но — согласится ли Платтен вести эти переговоры? И сам — ехать с нами?

— А больше — некому. Значит, согласится.

— А если — Мюнценберг? Потвёрже.

— Вилли? Да ведь он считается немецкий дезертир. Как же ему — с послом? И как через Германию?

— Всё-таки… — постукивал Радек черенком между зубами, — всё-таки Платтен — партийный секретарь, а какая-то поездка с эмигрантами? А тут начнёт мучиться, не будет ли вреда его Швейцарии?..

— А что — Швейцарии? Ей только лучше.

Нет, Ленин тут не сомневался. Перед Гриммом Платтен заминался, да, отступал, но в главном — пойдёт, раз увидит аргументы. Он — человек рабочий, пролетарская кость. О переговорах же с Парвусом он не знает и никогда не узнает.

А Радеку о Парвусе хоть рассказывай, не рассказывай, — всё понимает сам. Радек даже неприлично преклонён перед Парву-

сом: в бернских кабачках, по интернациональному долгу как бы ни обязан был его поносить — за отчаянный шаг к шовинистам, за богатство, за тёмные сделки, за нечестность, за дамские истории, — а сам со ртом разинутым, с набившейся пеной в углу губ, видно: ах и молодец! ах мне бы так!..

— Про Скларца я ему сказал: восьмигрошовый парень немецкого правительства, я его выгнал! Про Гримма скажу: что-то подозрительное, тормозит отъезд, какие-то гешефты в свою пользу. А мы — больше ждать не можем, революция зовёт! По-пролетарски, открыто, без всяких тайностей — возьмём и обратимся в германское посольство! Возьмётся! — уверен был Ленин.

Да как научить его с Ромбергом говорить? Ведь это ж совсем новый текст. Мол, в России дела принимают опасный *для мира* оборот. Надо вырвать Россию у англо-французских поджигателей войны. Мы, конечно, приложим ответные усилия к освобождению немецких военнопленных (лови нас потом!..). Но мы должны быть застрахованы от компрометации и гарантированы, что не будет придирок в пути… Готовы ехать в запертых и даже в зашторенных купе. Но должны быть уверены, что вагон не остановят…

Ленин захватил пространство комнаты и носился по косой — три шага, три шага, три — одну руку за спину, а другой размахивая, — а Радек записывал, пустой трубкой придерживая лист.

С Радеком внакладку находки: для такого шага ещё неплохо бы нам собрать оправдательных подписей от западных социалистов… Социалистов — да, но и ещё бы каких-нибудь безупречных людей…

— Да где же таких найти?..

— Ну, например, Ромена Роллана?

Головасто придумано, хорошо!

Так пора и крючок закинуть. Через кого бы закинуть под Роллана?

С приходом Радека облегчились невместимые, прожигающие вихри в голове: есть мыслям исход, можно высказать и услышать ответ. Вот… Если начинать демонстративные новые переговоры через Платтена, то ведь надо так же демонстративно порвать с Гриммом?

Да просто — звонко порвать!

— Да чтоб всю вину на него же и свалить!

— Да чтоб и за старое ему наложить, мерзавцу! Пусть попомнит, как отложил швейцарский съезд!

А для этого надо: во-первых, опубликовать все доверительные сведения о его скрытых переговорах!

Эт-то очень всегда ударяет: внезапная публикация доверительного. Оч-чень ошеломляет.

То есть просто вот сейчас, немедленно, подготовить такую публикацию!

— …И расставить нужные акценты!

— …И завтра же опубликовать!

Ну, с Радеком и самая напряжённая работа превращается в весёлую игру! За что Ленин особенно Радека любит — за хорошую пристрастность!

Уже сидели и писали: Радек писал, теребя пустую трубку в зубах, в коридор выйти некогда, иногда смеясь и даже подпрыгивая от выражений, — а Ленин сидел сбоку и советовал.

Единственный такой был Радек человек, кому, сидя рядом, Ленин вполне мог передать перо и только посмеиваться. Лучше радекова пера никогда не было во всей большевицкой партии. Луначарский, Бухарин — все писали слабей.

— Тут важно, что ещё получится: что именно Швейцария все эти переговоры ведёт и нас выталкивает. А вовсе не мы!

Ах, умный, понимающий, золото!

— Завтра же и опубликуем — у Нобса или…

— Завтра — воскресенье. А вот что! — запрыгали, запрыгали искры за радековскими очками: — Завтра воскресенье, так пошлём *сейчас* же, немедленно — Гримму телеграмму! В субботу вечером, немедленно, сейчас! — Усмехался и подпрыгивал Радек, как будто его со стула кололо.

И Ленин подпрыгивал от удовольствия.

И говорили, говорили вперебой, поправляли, и Радек тут же записывал:

…Наша партия решила… безоговорочно принять… предложение о проезде через Германию… и тотчас же организовать эту поездку… Мы *абсолютно* не можем отвечать… за дальнейшее промедление… решительно протестуем… и е д е м о д н и !..

— Та-ак! — почесал Радек за ухом, — закатаем ему в листовой шоколад:

…*Убедительно просим* немедленно договориться…

— Завтра, в швейцарское воскресенье, договориться!.. Да! ещё завтра первое апреля!

— Первое апреля!! — давно так не смеялся Ленин, всё напряжение последних недель выбивалось из его груди сильными, жёсткими, освобождающими толчками. — Вот получит бонбоньерку, центристская сволочь!

…Договориться… и, *если возможно,* з а в т р а же…

— Когда вся Швейцария дрыхнет! …

…Сообщить нам решение!.. С благодарностью…

Как на шахматной доске, уже сделав задуманный ход, ещё больше видишь успеха и возможностей, чем рассчитывал перед тем. Но эту усмешку — с 1-м апреля и с воскресным заданием товарищу Гримму — придумал Радек-весельчак!

— А если за воскресенье он не сделает — так в понедельник мы свободны действовать сами!

— Ну, во вторник…

Да что! да ещё лучше придумал Радек:

— Владимир Ильич! А — Мартову? А Мартову мы тем более обязаны написать, он же *инициатор плана* !? — душился Радек от смеха.

— А что же Мартову? — так быстро и Ленин не сообразил.

— Да что мы немедленно *принимаем предложение Гримма о проезде через Германию*! Вот обкакать: что это *его* предложение! На весь мир — *его*! Швейцарские социалисты нас выталкивают! Член швейцарского парламента!

Ну, это совсем было гениально! Ну, Радек! Ну, завоет Гримм! Ну, кинется оправдываться. Да отмываться всегда трудней, чем плюнуть. Надо уметь быстро и в нужный момент плюнуть первым.

— Вспомнит, подлец, ненапечатанную мою брошюру!..

— Но уже поздно. Придётся идти сдавать на Фраумюнстер.

— Да я сбегаю, Владимир Ильич.

— Да уж пойдёмте вместе, разохотились.

Но уж тогда оглядеться, подумать — что ещё? А, вот, Ганецкому в Стокгольм:

— Срочно переведите три тысячи крон на дорожные расходы.

(Тогда уж и Инессе: «…О деньгах не безпокойтесь… Их больше, чем мы думали… Здорово помогают товарищи из Стокгольма… Надеюсь, мы едем вместе с Вами?..»)

И вот что: там залог в кантональном банке за проживание в Швейцарии, 100 франков, нечего баловать лакейскую республику, надо забрать.

Одевались, Ильич — в своё железно-неподъёмное, на ватине, а Радек — в летнее пальтишко, так всю зиму и пробегал, все карманы затолканы книгами.

Трубку набивал, спички готовил.

Ленин вслух:

— Ничего. У Платтена с Ромбергом — какие переговоры? Ромберг вынет из стола — и даст. Но эти несколько дней надо, надо было кинуть шовинистическим харям.

Радек крутился как юноша, лёгкий, удачливый:

— Руки чешутся, язык чешется! — скорей на русский простор, на агитационную работу!

И, пропуская Ильича вперёд, уже спичка наготове, в коридоре зажечь:

— В общем так, Владимир Ильич: через шесть месяцев или будем министрами — или будем висеть.

ДОКУМЕНТЫ — 32

18 марта, Берлин

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЧИНОВНИКА М.И.Д. ИЗ ГЕНШТАБА

...Прежде всего, мы должны избежать компрометации едущих слишком большой предупредительностью с нашей стороны. Очень было бы желательно получить какое-либо заявление швейцарского правительства. Если без такого заявления мы внезапно пошлём эти безпокойные элементы в Швецию, это может быть использовано против нас.

18 марта, Берлин

ПОМОЩНИК СТАТС-СЕКРЕТАРЯ — ПОСЛУ В БЕРНЕ РОМБЕРГУ

Шифровано

Спешно! Проезд русских революционеров через Германию желателен как можно быстрей, т. к. Антанта уже начала противодействие в Швейцарии. По возможности ускорьте переговоры.

20 марта, Копенгаген

ГЕРМАНСКИЙ ПОСОЛ В ДАНИИ ГРАФ БРОКДОРФ-РАНТЦАУ — В М.И.Д.

Совершенно секретно

...Мы должны теперь непременно стараться создавать в России наибольший хаос. Для этого избегать всякого внешне-заметного вмешательства в ход русской революции. Но втайне делать все, чтобы углубить противоречия между умеренными и крайними партиями, так как мы весьма заинтересованы в победе последних, ибо тогда переворот будет неизбежен и примет формы, которые сотрясут устои русского государства. ...Поддержка нами крайних элементов — предпочтительнее, ибо таким образом проводится более основательная работа и достигается быстрее результат. По всем прогнозам можно рассчитывать, что месяца за три распад продвинется достаточно, чтобы нашим военным вмешательством гарантировать крушение русской мощи.

655

И по-прежнему жил Волынский запасной батальон в тех же казармах, и учебная команда — на тех же нарах, близ которых подняла бунт, — но это была уже не та жизнь и не тот батальон. Две недели вовсе никаких занятий не было — ни строевых, ни учебных, ни даже в учебной команде. Только с этого понедельника в иных ротах унтеры сами стали выгонять молодых запасников пошагать по улице, да и то час неполный, а больше с них не возьмёшь. А ведь молодые — они ж ничего не смыслят, не умеют, — когда ж учиться будут?

Но в Тимофея Кирпичникова за годы военной службы, а других лет у него как и не было, — вросла строгость. И от этой новой сплошной разольгóты у него был развал сердца. Что ж это: солдаты уже и от унтеров стали свободны, делаем чего хотим? В казарме грязь — и никого не заставишь убрать как следует? Сидят на нарах босиком, ноги по-татарски, и в карты режутся. А пойдут по городу шаландаться — так на отлучку и разрешения не берут, да без пояса, да шинель внакидку, да ещё хлястик с одного конца отстёгнут и свис, — пришла пиву неперелива! Смотреть на это — глаза лопнут.

В учебной команде, конечно, построже, а уже и тут расслаба.

И начальства, офицеров в батальоне — тоже как не стало. Одних — совсем как вымело, нету, Воронцов-Вельяминов аж с того дня не являлся. Другие если и промелькнут — так стороной и словно не видят всего этого безобразия, не вмешаются. Уж не по команде обратился Кирпичников к штабс-капитану Цурикову: «Ваш высокоблагородие, что-то делать надо?» А он папироской об портсигар постучал, закурил: «Ладно, Кирпичников, постепенно наладится как-нибудь». Мол, иди в батальонный комитет.

Так Кирпичников там и сам состоит. А головой у них — какой-то образованный, недавно призванный, уже в годах; солдат — ещё никакой, но де в ссылке побывал, в Сибири, и теперь всё солдатам указывает. Да два горлана, из расхлябанных. Теперь комитет готовит батальонный оркестр — в театре выступать, деньги собирать на похороны жертв.

А молодые прапорщики составили свой офицерский комитет, но в угодье с солдатским.

Так если запасной народ вот этак и дальше — а как же наши на фронте? Вы там пропадайте, а мы тут попроклажаемся?

Ну правда, раз ходили на парад на Дворцовую площадь. Принимал сам Командующий. Ничего прошлись. А то стали нахаживать гости сюда, в волынские казармы. Однова пришёл итальянский генерал с офицерами — и уж как руками с табуретки размахивал, вот улетит. Пока чего переведут на наш — уж как волынцев нахваливал, революцию соделали, — покачали во дворе того генерала. И два англичанина долговязые как-то приходили, офицер и солдат, оба в громких кованых ботинках, распаренные как из бани. Этот по-русски мал-мала говорил, двигал челюстью на помощь, уж наши смеялись над ними и пособляли. И тоже покачали их. И все они так говорили, что теперь обновлённая армия нанесёт вместе с союзниками последний сокрушительный удар.

Как же она нанесёт, ежели всю армию развинчивают? Если вот уже скоро месяц на охтенском полигоне и стрелять перестали? Если изо всех петербургских запасных, туча немалая, за это время не послали на фронт ни одной маршевой роты? — и обещают впредь не слать! Война там как ни должись — а мы к ней боком? — а паёк прежний. Так так нас Вильгельм и завоюет.

С каждым днём в казармах томче прежнего — без дела, без учения, — так чего мы тут? Изневолю побредёшь и сам по городу. А там — и раненые, и калечные бродят, да как с ними разговоришься — так ещё растравней: за что ж мы-то руки-ноги отдавали, — дураки, значит? Надо было раньше охомениться? Или уж теперь эти пусть тоже идут!

До чего дошло: из госпиталя все санитары как один увалят в цирк на митинг, а лежачие больные без помощи.

На тех митингах чего только не галагонят.

А не решись они тогда с Марковым — и не было б ничего нигде?

(Этим калечным, раненым он про свою заслугу помалкивал, совестно.)

Никто той ночи уже не вспоминал, и о самом Кирпичникове, — а дружно все галдели. Да уже послыхивали и такое по городу: мол, «долой войну!» — воевать не будем больше.

Как ж'эт так? — ополоумеешь. Так чтоб войну скорей кончать — на неё и надо идти!

А под Варшавой помнишь, Миша, каки сибирские полки сложили? Да ведь и моя, и твоя кровь там осталась. А теперь — всё отдай, и русские города отдай?

И батальонный комитет не туда тянет.

И решили с Мишей Марковым: пусть наш ефрейтор Орлов, кого мы в Совет депутатов избрали, — пусть он там добьётся, чтобы вразумили гарнизон.

И говорили Орлову, а зря: выбрали мы его как здешнего, питерского заводского — а он теперь к тем и поворачивает. Заводы-то работать не хотят! — что это, 8-часовой день? а сверхурочно не желают. Снарядов не шлют, ни патронов, никакой амуниции, — что там с нашими будет? это в какую кровь обойдётся?

Орлов только своё: Совет — всё знает и укажет. Подчиняться только Совету, и одному Совету!

Как это одному Совету? А — правительству?..

Кому? кому пожаловаться? — тянуло Тимофея. Некому. Один раз повезло: увидел их прежнего студента, который разъяснял им, в посёлке Михаила Архангела: увидел, тот проезжал в открытом зелёном автомобиле с красными спицами. Вот бы кинуться к нему, спросить: как? что? почему же? — так уже пролетел, не догонишь. На ту квартиру сходить, на Невскую сторону? — так то и не его квартира, там его и не найдёшь.

Раньше мог солдат из казармы в город отлучаться только с нарядом. А теперь — ходи когда хочешь. Солдаты ходят и гулять, и белый хлеб покупать: хвост баб оттеснят и себе берут. (Хвосты-то за хлебом стоят ещё длиньше, чем раньше, и с вечера становятся.)

Не стало в казармах вечерней поверки, так по вечерам все себе полные хозяева: кто опять на нары да в карты, кто друг дружке домашние побылки рассказывать, кто спать. Так ведь столько ночей и по столько часов никакой и медведь не выспит. И тянутся ребята опять в город, сами не зная зачем.

Сегодня пошли и Кирпичников с Марковым.

Город Питер из внезапного дружного восстания опять обращался в свой прежний самостный, чужой обычай. В этом городе люди ведь копились не для какой прямой работы, а для весёлой жизни. С утра небось подолгу спят — а потом долго в ночь живут при светах. И когда по улице мельтешат — не понять: за каким делом? или гуляют просто? (В деревне сразу видно: кто с топором пошёл, кто с косой, или навоз вывозит. И в армии: при каком оружии рота пошла или с белыми свёртками в баню.)

Правду говорят: город затейный, что ни шаг, то питейный. Как выбредешь на Невский у Знаменской площади (откуда всё и началось) — у-у-у-ой! прямизна да светлизна, матушки мои! Да сколь огней, да сколь публики, да разодетые как. А на дамочках шляпки какие полястые, а под ними сетки зачем-то, как на рысистых лошадях, а пройдёт мимо — опахнёт тебя каким-то запахом-зельем, какого сроду никогда не нюхано.

Так и в Варшаве всегда дразнило: барская жизнь недоступная. Как они — нам никогда не жить.

Но сейчас Питер малость пооблез. Дворники небрегут — кучи снега невывезенные, лёд из-под ног не сколот, — и семячек, семячек везде налускано. И не носятся с шорохом ломким выездные санки под ковриками или баре с теми дамами в легковых автомобилях. И не стало городовых, а стоит милиция из сопляков. (Говорят: полицейским платили 40 рублей в месяц, а эти 8 рублей за одно дежурство берут, этак бы и мы в охотку.) Барская публика на Невском осталась — а всё ж не ихняя уже улица, и нашего брата немало.

И трамваев — с резкими звонами, а изнутри все огненные и ещё с парами глазков под крышей, там бело-красный, сине-зелёный, жёлто-синий, какой значит номер, — трамваев тоже по вечерам куда меньше стало: служащие работать не хотят, 8 часов —

и в сторону. Оттого трамваи набиты невпро́толчь, и ещё люди гроздами вна́весь на держалках, на ступеньках — тут и солдат не вскочит.

А солдат любит поездить: ему — без платы, и гони хоть через весь город.

Да главная-то жизнь — она не на улицах, она вон там за толстыми стёклами (где побито — уже вставлено), в свету и в тепле. И вот уж там хахакают, зубы не покрывают. И чем позже вечер, когда солдату уже спать, — тем больше их туда, за стёкла, набивается. И сидят за белыми столами, и пьют и лакомятся часами, и всяку всячину едят, чуть де не лягушек, тьфу!

Вот, говорят, равенство: нижнему чину теперь никуда войти не запрещено. А попробуй войди туда к им, в ихнюю обжираловку — на всё нужны денежки. А денег — у смирных волынских унтеров нет.

— Другие хоть спирта где-то разок набрались, напились, а мы с тобой, Миша, всё проворонили.

Толкаются волынцы по тротуару — никто на их знаменитые безкозырки уже и не посмотрит, не вспомянет.

И куда как поздно, а магазины с озарными окнами — торгуют. И чего там на подоконниках за стёклами не выставлено под свет, стой и рассматривай безплатно. Цветы, цветы через каждый квартал, да каких в России и не растёт сроду, — откуда берут? да середь зимы?

И — фрукты, фрукты тоже. Какие ещё видывал, знаешь: вот это — виноград, вот это — абрикос, а других диковинных и название не ведано, однако ящики ими полные.

Или — финтифлюшки для барских баб, поблестушки, постеклушки на синем бархате выложены, или чего исподнее развешано, глаз не оторвать.

Или, поскольку грамота твоя твёрдая есть, иди и читай вывески: Жорж Борман… Бликен и Робинзон… Брокер… Сиу… Ралле…

Всё — не наши…

А то — кинематографов вывески и театров вывески, с лампочками вкруговую, и на тумбах же то повторено, читай откуда хочешь: «Наша содержанка»… «Цветок зла»… «Казнь женщины»…

Или: «Спальня…» — а дальше буквы не русские.

Или: театр Суворина — «Мотылёк под колесом».

А нам — только сталкиваться плечами, только сапоги тяжёлые переставлять по чужому лёгкому проспекту.

А в деревне, пишут, — ни керосина, ни мыла, ни гвоздей, ни соли.

А калек войны — и никому не жаль, кроме сродственников.

А и нас с тобой покалечат — так и тоже.

А в окопах — там сидят, сидят во тьме и сырости.

И теперь — всё немцу отдадим?

— И как это мы, Тимофей, решились? Как это нас понесло в то утро?

Самим дивно.

Давно бы в петле жизнь кончили.

1977–1986
Кавендиш, Вермонт

КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ

Начатая в 1971 году работа автора над «Октябрём Шестнадцатого», со всё нарастающим в нём общественным напряжением между кругами либеральными, социалистическими, придворными и правительственными, — неотклонимо определила основное направление и содержание следующего, Третьего Узла эпопеи — «Марта Семнадцатого». Хотя по календарю он занял собою менее одного месяца (23 февраля — 18 марта 1917), но Узел этот вместил огромный сдвиг и смысл: ход, характер и дух Февральской Революции.

Уже будучи выслан из СССР, в декабре 1975 года Солженицын опубликовал «Обращение к русским эмигрантам, старшим революции» с призывом записать что помнят о событиях, участниками или свидетелями которых им довелось быть: «Несравненны для всякого исследователя трудности сбора материалов о том времени. Но десятью-двадцатью годами позже разыскивать истину будет ещё безнадёжнее. Живых современников той бурной поры остаётся всё меньше. <…> Свидетельство каждого из вас — безценно». В ближайшие месяцы и годы он получил в ответ несколько сотен нигде не опубликованных мемуарных записей.

С весны 1976, работая в Гуверовской башне (Институт Войны, Революции и Мира, Стэнфорд, Калифорния), автор был захлёстнут множеством документальных материалов 1917 года, об обилии и содержательном спектре которых до тех пор не подозревал. Привременные расшифровки негласных телеграфных переговоров властных лиц, их объяснения по поводу принятых решений и реальных обстоятельств; открытые воззвания и призывы; подробности революционных митингов; стремительная волна ежедневной прессы (в первые дни — с догадками и фактическими ошибками, затем — не всегда — с исправлениями); где точные записи, где приблизительное изложение революционных заседаний; отчётливо сохранённые протоколы Временного правительства; учрежденческая документация в отдельных губернских городах; подробности событий в отдельных фронтовых и запасных полках (тут к Солженицыну притёк и свой отдельный поток армейских воспоминаний); и большой массив не дошедших до печати, но сохранившихся в Гуверовском архиве мемуарных рукописей. Всё вместе передавало накалённое, вулканическое извержение Революции и требовало искать формы, куда бы перелить эту лаву.

Этот нервный, перебивчивый, огненный поток автор представил в отрывках по нескольку дней, а в каждом дне — по ходу часовых событий, составивших четыре книги «Марта Семнадцатого», 655 коротких (в сравнении с «Августом Четырнадцатого» и «Октябрём Шестнадцатого») глав:

Книга 1 (23—27 февраля) — стихийное бушевание первых дней;

Книга 2 (по 2 марта) доводит до отречения Николая II;

Книга 3 (по 10 марта) — шаткая неделя, ещё неясная в перспективах (а в швейцарской дали, в Цюрихе — метания Ленина);

Книга 4 (по 18 марта) — многотысячные людские потоки всё ещё в движении и тревоге; как Революция начинает разливаться по пространствам России (а Ленин уже сговорил с германским послом свой проезд через воюющую Германию в Россию).

В 1981–86 годах Солженицын публиковал отдельные главы «Марта Семнадцатого» в парижском «Вестнике РХД»: в № 133 — «Хлебная петля» (гл. 3′), в № 135 — «Дума кончается (гл. 26′), в № 143—148 — главы о Протопопове (31), Гучкове (66), квартире Керенских (136), Ленартовиче (144 и 152), князе Львове (211).

Последняя редакция Третьего Узла выполнена в процессе набора в Вермонте в 1984—1988 годах.

Целиком «Март Семнадцатого» впервые представлен в 20-томном Собрании сочинений А. И. Солженицына, тома 15—18 (Вермонт — Париж: YMCA-press, 1986—1988).

На родине «Март Семнадцатого» печатался в нескольких журналах: «Нева» (1990, № 1—12), «Волга» (1991, № 4—6, 8—10, 12), «Звезда» (1991, № 4—8). В книжном издании «Март Семнадцатого» появился в 1994–95 годах в составе репринтного воспроизведения «Красного Колеса» (Историческая эпопея в 10 т. — М.: Воениздат, 1993—1997; тома 5—8).

В настоящем 30-томном Собрании сочинений печатается последняя прижизненная редакция «Красного Колеса», предпринятая автором в 2003—2005 годах. «Март Семнадцатого» претерпел существенные по объёму сокращения, главным образом коснувшиеся фрагментных и газетных глав.

Н. Солженицына

ТОРЖЕСТВО СОБЛАЗНЕНИЯ

Заметки о «Марте Семнадцатого»

«Мартом Семнадцатого» Солженицын завершает Действие Первое «повествованья в отмеренных сроках». Почему? Ведь формально «революция» (а Действие Первое названо именно так) только началась, многим политическим игрокам кажется, что стихию можно остановить или направить в должное русло, будущие хозяева страны не вышли на первые роли, Ленин только готовится совершить бросок из Швейцарии, весы истории вроде бы колеблются, обычные люди пытаются жить и чувствовать по-старому. И все же оказавшийся последним Узлом «Апрель Семнадцатого» отнесен к Действию Второму, к «народоправству». Да и обрыв повествования на апрельских событиях 1917 года стал для автора «Красного Колеса» оправданным художественно (а не только вынужденным внешними обстоятельствами) потому, что главное уже произошло и описано. Как *пришла* революция в Россию во второй раз — после репетиции 1905 года — с началом мировой войны (об этом «Август Четырнадцатого», не увертюра или пролог, но полновесный зачин Действия Первого), так и *победила* она (жестко определив дальнейший страшный ход событий) на рубеже февраля и марта. Как явление революции, ее прикровенное, но мощное вторжение в российское бытие, осталось для большинства современников (и персонажей «Красного Колеса») незамеченным, так и ее торжество, отменяющее не один только порядок правления, но весь жизненный уклад, почти никем не было осознано. Не только тогда, но и сейчас, почти век спустя.

Мы привыкли считать точкой перелома Октябрьский переворот. Такая трактовка новейшей русской истории объединяет убежденных идеологических противников. Ей привержены те, кто поднимал и поднимает на щит коммунистическую доктрину и «невиданный эксперимент» Ленина. Из нее же исходят те, кто видит в Феврале символ загубленной русской свободы, а в промежутке между свержением монархии и большевистской узурпацией власти — едва ли не лучший период отечественной истории, попутно сокрушаясь об «упущенных возможностях» и сетуя на якобы извечную предрасположенность России к тирании и рабству. Историческая концепция «Красного Колеса» в равной мере противостоит обоим изводам этой мифологии, ложность которой Солженицын вполне осознал в ходе работы над «Красным Колесом». В том повествовании о русской революции, ее причинах и следствиях, которое юный Солженицын задумал в 1936 году, Октябрь предполагался пунктом кульминационным. Сходно обстояло дело и в 60-х, когда писатель смог вновь обратиться к своему заветному замыслу. В это время

у автора «Архипелага…», разумеется, не было и малейших иллюзий относительно большевиков и совершенного ими захвата власти, но переоценка всего исторического процесса второй половины XIX — начала XX века тогда еще не произошла. Гражданская война и становление-укрепление бесчеловечного тоталитарного государства (о которых Солженицын намеревался рассказывать весьма подробно) должны были предстать продолжением *октябрьской* революции, а участие России в Первой мировой и крушение самодержавия — ее предысторией. Двухтомная редакция «Августа Четырнадцатого» (разросшегося за счет принципиально значимых ретроспективных глав, посвященных Столыпину и Николаю II) и «Октябрь Шестнадцатого» существенно изменили перспективу — глубинные причины национальной катастрофы отодвинулись в прошлое (причем не только ближнее; не случайно в главе о «кадетских истоках» Солженицын упоминает «немецкие переодевания Петра» и «соборы Никона» — О-16: 7′)[1], а предыстория революции обернулась ее незримой историей.

Затишье «Октября…» чревато гибельным срывом, который предчувствуют и надеются (каждый по-своему) предотвратить столь разные персонажи, как готовящий дворцовый переворот Гучков (О-16: 40—42) и грезящий о сплочении монархистов вокруг Государя (по сути, о другом спасительном заговоре) генерал Нечволодов (О-16: 68). Утверждение Нечволодова о том, что революция уже пришла, произнесено не слишком рано, а слишком поздно.

В отличие от персонажей Второго Узла, доверяющий автору читатель понимает, что все главные силы будущих событий уже к ним «готовы». В народе (на фронте, в деревнях, в городах), истомленном тягучей войной и сопутствующими ей несправедливостями, растет чувство обиды на «господ» (а заодно в деревне — на город, в городе — на верховную власть). Общество негодует на бездарное (а оно и впрямь таково) правительство и дурной ход войны, изощряется в вымыслах об «измене» (которые, падая на народную почву, дают непредвиденно ядовитые всходы) и мечтает о часе, когда его кумиры обретут власть, устранят тупых бюрократов с циничными проходимцами (а коли придется, то и незадачливого царя) и поведут свободную Россию в светлое будущее. Облеченные властью сановники не умеют ни расслышать тех здравых соображений, что иногда исходят от оппозиции, ни приструнить зарвавшихся. Изо всех сил стремятся они одновременно не удручить императора и не рассориться с общественностью. Худо-бедно исполняют свои прямые обязанности и почти не думают о том, что же — на третьем году жестокой войны — происходит с тем самым народом, который почи-

---

[1] Номера цитируемых или упоминаемых глав «Марта Семнадцатого» даются в скобках. При отсылках к другим Узлам перед номерами глав используются сокращения: А-14 — «Август Четырнадцатого», О-16 — «Октябрь Шестнадцатого», А-17 — «Апрель Семнадцатого». Все выделения в цитатах (разрядка, курсив, прописные буквы и др.) принадлежат А. И. Солженицыну.

тается главной опорой престола (словно не было грозной бури 1905—1907 годов). Государь полагается на преданных слуг (а если кто-то из них поступает недолжным образом, сетует на человеческую слабость и собственную доверчивость), презирает чуждых народу (и он прав!) интеллигентных смутьянов и верит, что простые русские люди бесконечно любят своего монарха, а ничего непоправимо страшного с его страной случиться не может. При таком раскладе грандиозный пожар может полыхнуть и от копеечной свечи. Вернее — от свечи, которая кажется копеечной.

И вовсе не жалкой (тогда!) кучке ленинцев выпадет ее зажечь. На второй день петроградских хлебных волнений Шляпников по-настоящему изумлен:

«Полфевраля большевики звали рабочих на Невский — те не шли. И вдруг вот — сами попёрли, незваные. Нет, стихия народа — как море, не предскажешь, не управишь» (22).

Теоретик Гиммер, который вскоре с азартом примется изобретать политические комбинации («строить» революцию по марксистским схемам), пока думает, что «эти волнения могут плохо кончиться» (4), предполагает провокацию правительства, которая обернется террором. Сходно мыслят и другие «товарищи» («мол, нарочно, запускают движение, дают разрастись, чтобы потом потопить в крови»), но тертый практик-подпольщик нутром чует бессилие властей и не зря вспоминает удачу 31 октября, когда вдруг был снят локаут, когда отступил «перед рабочей силой тот царишка Николай II». Смекнул тогда Шляпников: «и мы, конечно, гнём, — но падает оно уже с а м о» (О-16: 63). Падать-то «оно» падало, но почему-то удержалось. Ничего существенного из той осенней бучи не вышло, а потому вечером 24 февраля, хотя все вроде бы идет как надо («дух буржуазного Невского был сломлен», какой-то оратор посреди столицы бойко кроет «насильника на троне» и сулит погибель «царским прихвостням», казаки не разгоняют толпу, а толпа их весело приветствует), Шляпников не ощущает «полной, настоящей» радости, а двумя днями позже (накануне поворотного 27 февраля) обреченно себе признается:

«Чего дальше можно было ждать от движения? И как его направлять? Вот постреляло правительство — а ответить нам нечем.

Плохо мы организованы. В который раз пролетариат не готов ни к какому бою. Зря эти дни метались, толкались…» (49).

Все как раньше, как в октябре…

Действительно, зачинная часть «Марта…» (до 27 февраля) кажется не только развитием, но и варьированным повторением Второго Узла. Шляпниковский сюжет встроен в систему сходных «дежавю». Начало уличных хлебных волнений заставляет вспомнить разговоры стариков-рабочих о нынешней бабьей доле, дороговизне, домашнем нестроении, распустившихся без присмотра мальчишках (О-16: 32). Бестолковость и демагогичность думских прений по продовольственному вопросу (который и стал детонатором революции), близорукость политиков, не за-

мечающих, как сжимается «хлебная петля» (3′), предсказаны обзорной главой о Прогрессивном блоке (О-16: 62′), тесно связанной с крестьянскими эпизодами «Октября…» (собрание в экономии Томчака — О-16: 61; разговоры в Каменке — О-16: 45, 46). Уже там появляется формула «петля на горле России». Предчувствия Струве, которыми он заражает утром 26 марта Шингарёва, их диалог по пути с Петроградской стороны, ощущение незыблемости миропорядка, которое приходит к героям, увидевшим величественную панораму города с Троицкого моста (44), отсылают к сцене в квартире Шингарёва, когда на сведенных там случаем интеллигентных персонажей обрушивается весть о «начале событий», в тот раз оказавшаяся ложной (О-16: 25, 26).

Неожиданный приезд Воротынцева в Петроград, его объяснения с Ольдой, возвратный порыв к узнавшей о новом витке супружеской измены Алине, душевная сумятица героя, скрытая напряженность в отношениях с сестрой, временное выпадение из «большой истории» (петроградских волнений Воротынцев, как и в октябрьские дни, по сути, не заметил) даны в «романной» тональности «Октября…». Героям кажется, что все течет по-прежнему, что если ничего не сдвинулось раньше, то и дальше пойдет по накатанной колее. Читатель же на переходе от Второго Узла к Третьему чувствует иное: странно не то, что сейчас непременно рванет, странно, что четырьмя месяцами раньше почему-то обошлось…

И причина такого эмоционального настроя не только в том, что мы в общих чертах знаем, *чем дело кончится*. Узнаваемая «неизменность» жизни и равенство персонажей своим прежним амплуа парадоксально свидетельствуют об усилении революции — остановить бег Красного Колеса могло бы только явление какой-то действительно новой силы, но ее-то мы и не видим в первых «почти мирных» главах «Марта…». Зато сразу чувствуем, как стали отяжелевать отдельные эпизоды, как монтажный (часто предполагающий ассоциативные соответствия) принцип потеснил линейный рассказ (случаи, когда глава продолжает предшествующую, крайне редки), как сменился повествовательный ритм.

Три особенности строения «Марта…» бросаются в глаза даже при самом поверхностном знакомстве с этим Узлом. Во-первых, резко возрастает объем: в «Августе…» — 60,5 листов, в «Октябре…» — 69, в «Марте…» — 186. Этого не объяснишь расширением «отмеренных сроков». Если Первый Узел охватывает всего 12 дней (при этом изрядная часть текста занята экскурсами в прошлое), то Второй — 22, что совсем немногим меньше, чем 24 дня «Марта…». Рассказ стал гораздо более подробным: в воссоздаваемых автором экстремальных ситуациях все персонажи, поступки, случаи, детали, жесты обретают большее значение, а потому должны быть прописаны с предельной конкретностью. Во-вторых, установка на подробность отзывается дробностью, отдельностью эпизодов, каждый из которых, обладая самодостаточностью, вступает в сложные отношения со всеми прочими. Смысловое единство происходящего возникает в результате столкновения множества «частностей». Если бы Солженицын сохранил в Третьем Узле композицион-

ные принципы «Августа…» (82 главы) и «Октября…» (75 глав при большем, чем в «Августе…», объеме; Второй Узел знаково неспешен, что обусловлено как его «романностью», внешним доминированием семейно-любовных сюжетных линий, так и пограничным положением — война деформировала, но еще не разрушила вовсе привычное бытие), то (исходя из соотношения объемов) в Третьем Узле должно было быть около 250 глав. Их там в два с лишком раза больше — 656, не говоря о том, что иные (газетные и коллажные) распадаются на десятки микроэпизодов. В-третьих, дробности противостоит ужесточение хронометража. В отличие от двух первых Узлов, действие строго распределено по суткам (о чем неустанно напоминают колонтитулы), а при рассказе о наиболее насыщенной событиями, собственно переломной пятидневке (с 27 февраля по 3 марта, тогда революция и побеждает окончательно) вводится дополнительное членение: утро, день, вечер, ночь.

В начале повествования каждый следующий день «объемнее» и «пестрее» предшествующего. Растет как число приходящихся на сутки глав (23 февраля — восемь, 24-го — четырнадцать, 25-го — двадцать, 26-го — двадцать пять), так и глав коллажных, составленных из зарисовок революционизирующегося Петрограда (23 февраля — две; 24-го — три). Но и в главах о Вероне и Фанечке, Ленартовиче, Ковынёве, Ободовском, Шляпникове (11, 15, 16, 17, 22) на первый план выходят впечатления персонажей от вздыбливающегося города. 25 февраля — четыре, при мощной революционной оркестровке глав о волынцах на Знаменской площади, встрече социалистов, Ковынёве, Вере Воротынцевой, заседании городской думы (27, 33, 34, 35, 38). 26 февраля — три, но революция дышит и во всех прочих, исключая посвященную разговору Алины с Сусанной (50). Наметившиеся было продолжения «частных» сюжетов (Воротынцев между двух женщин, Ленартович и Ликоня) меркнут и почти исчезают в кипящем разливе уличных сцен и рождаемых ими сомнительных слухов, предчувствий, опасений и надежд. Истерика Алины (50) кажется, прежде всего, неуместной, хотя обманутая жена Воротынцева знать не знает (да и не может знать!) ни о каких общественных потрясениях. И такое же недоумение вызывают три воротынцевских главы (71, 95, 126) в контексте 27 февраля: да как он может возиться с переживаниями (и превращать губительный любовный треугольник в еще более замысловатую фигуру), когда в Петрограде творится *такое*? Дивиться должно не Воротынцеву. Он в Москве, куда вести из Петрограда придут лишь к вечеру. Угадай полковник, что сейчас вспыхнет солдатский бунт, наверняка плюнул бы на обеих дам, остался в столице и выполнял офицерский долг — так же мужественно и грамотно, как Кутепов. (И с тем же, коли не худшим, результатом.) Дивиться должно нам, невольно принявшим логику революции, согласно которой все человеческие чувства отменяются — то ли временно, то ли навсегда.

27 февраля — самый «длинный» день Третьего Узла. Можно сказать, что в структуре «Марта…» он занимает ту же позицию, что сам

«Март…» в структуре «Красного Колеса». И то, что из ста трех глав о 27 февраля только три воротынцевских посвящены нормальной (путаной, трудной, грешной, но предполагающей выбор, может и несчастливой, но свободной) человеческой жизни, четко указывает читателю: хотя главные политические «свершения» впереди, бунт не шагнул за пределы столицы (многим персонажам кажется, что подавить его не так уж трудно), жестокость не стала господствующей нормой, именно этот день делит историю страны на *до* и *после*.

На этот же вывод работают обрамляющие 27 февраля главы. Вслед за пробуждением волынцев (68), уже решившихся нарушить приказ (сговор унтеров отнесен к 26 февраля — 67), но еще не совершивших первого преступления — убийства штабс-капитана Лашкевича, после которого бунт снежным комом покатится по Петрограду (70), помещен пророческий сон Козьмы Гвоздева. Столетний святой (лишь сперва показавшийся «простым деревенским») дед неудержимо рыдает. Сновидец, несправедливо посаженный в тюрьму рабочий активист, пытается утешить старика («За меня не плачь, меня скоро выпустят»), но, взглянув в его мудрые очи, понимает:

«…нет, не скоро. <…> Долже человеческой жизни. <…>

И тогда ещё ледяней запало Козьме: да может он — и не по мне? По мне одному никак столько слёз быть не может.

А — по ком же?..

Такого и сердце не вмещает» (69)[2].

Завершается же 27 февраля (а с ним и первая книга «Марта…») уходом великого князя Михаила Александровича из Зимнего:

«Он — разумно перекрывался? Или — бежал? Или — ушёл из-под крова семи поколений Романовых — последним из них?

Правнук жившего здесь императора (Николая I, воплощающего могущество, но и надрыв державы. — *А. Н.*), внук убитого здесь императора (Государь-Освободитель Александр II был смертельно ранен на Ека-

---

[2] Символика сна пояснений не требует. Важно, однако, что сон этот введен в повествование не после катастрофы, а на ее пороге. Не менее важно, что сон не мотивирован характером персонажа или только что испытанными им потрясениями. Практичный, погруженный в жизненные заботы рабочий Козьма совсем не похож на чуткого к таинственным сигналам из «другой жизни» и постоянно размышляющего о «всеобщей тайной связи вещей» (532) Варсонофьева, чей страшный сон о мальчике-Христе с бомбой, которая через секунду взорвет весь мир, открывает последний день Третьего Узла — 18 марта (640). Пророчество угличского старика («Сначала будет плохо одним, потом плохо другим, потом плохо всем. И только седьмое поколение будет жить хорошо») офицер-московец Всеволод Некрасов вспоминает, пережив два кошмарных дня и чудом избежав смерти от самосуда бунтовщиков (236). Ничего подобного Гвоздеву пока не выпало. Мистическое откровение дано Козьме как одному из многих чистых душой, разумных, совестливых обыкновенных русских людей, по которым безжалостно прокатится Красное Колесо. (Немаловажно, что читатель «повествованья в отмеренных сроках» должен помнить Козьму Гвоздева по «Архипелагу…».)

терининском канале, но расстался с жизнью в своем царском доме. — *А. Н.*) — он бежал как за всех за них, унося с собою и их? <…>

Беря военный шаг, пошёл последним коридором» (170).

Концовки всех четырех книг «Марта…» (как и все солженицынские «рубежные» главы) акцентированно символичны. (О сложной «рифмовке» финалов речь пойдет ниже.) Бегство Михаила (не столько сам исторический факт, сколько его трактовка) предсказывает и отречение Николая, и отказ Михаила занять престол, и захват дворца, обращенного в резиденцию Временного правительства большевиками как символическую кульминацию октябрьского переворота, и бессудные убийства обоих уклонившихся от царской миссии братьев, и конец империи. «Последним коридором» движется не только великий князь по родовому дому, но и все русское царство.

После 27 февраля остановить Красное Колесо невозможно: безуспешность продуманных и четких действий кутеповского отряда (79, 88, 108, 116), тщетность сопротивления бунту верных долгу офицеров, «Фермопилы четырёх прапорщиков» (91), истории Нелидова (86, 134) и братьев Некрасовых (99, 141) суть предвестья поражений, которые станут уделом людей чести, нежданно оказавшихся одинокими и теряющих друг друга в разгуле стихии (день за днем, месяц за месяцем, год за годом).

После поворотного дня время становится менее плотным. 28 февраля и 1 марта — по шестьдесят семь глав. 2 марта — сорок девять. Именно в этот день — самый «короткий» из «длинных», разделенных по времени суток, собственно революционных, судьбоносных, — Государь подписывает отречение (349), а главу об оставшемся наедине с собой уже бывшем императоре — и всю вторую книгу — вершит беспросветное речение: *«ЦАРЬ И НАРОД — ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ»* (353). 3 марта — пятьдесят четыре главы. Далее повествование возвращается к докатастрофному ритму. Количество приходящихся на день глав сразу же уменьшается более чем вдвое, а затем (с небольшими колебаниями) последовательно убывает: от двадцати четырех глав на день (4 марта) до десяти (17 марта). В последний день (18 марта) автор вновь выводит на сцену многих основных участников событий, дабы показать, в каком состоянии разные социальные группы и несхожие персонажи переходят из эры революции в период народоправства, — потому число глав опять возрастает, но несильно (их здесь шестнадцать).

Такое композиционное решение обусловлено не только необходимостью представить дни, когда происходило собственно крушение старого порядка, особенно подробно. Переход к менее динамичному и детализированному повествованию (таким оно кажется лишь на фоне пяти немыслимо взвихренных дней!) показывает, что все персонажи (настигнутые революцией раньше или позже, встретившие ее с восторгом или негодованием, принимающие непосредственное участие в происходящем или пытающиеся от истории дистанцироваться) теперь вынуждены жить по неведомым раньше правилам, что бушевавшая пять дней буря не затихла (как хотят уверить себя некоторые — и разные —

герои), но стала нормой. Пусть для кого-то отвратительной, пугающей, ненавистной, подлежащей исправлению или устранению, «временной», но все равно — нормой. Это и означает, что революция действительно победила, что имперский — петербургский — период русской истории ушел в небытие, утянув с собой надолго (будем вместе с автором «Красного Колеса» надеяться, что не навсегда) всю Россию с ее многовековой, великой и отнюдь не однолинейной историей.

«Март…» — книга о расплате не только за противостояние власти и общества в пореформенной России, но и за весь «петербургский период». Сказано об этом уже в самом начале Узла. После отчета о думских прениях по продовольственному вопросу, после не расслышанного думцами предупреждения министра земледелия Риттиха (*«Может быть, последний раз рука судьбы подняла те весы, на которых взвешивается будущее России»*), после разудалых восклицаний Чхеидзе («Как можно продовольственный вопрос в смысле чёрного хлеба поставить на рельсы?.. Единственный исход — борьба, которая нас привела бы к упразднению этого правительства! Единственное, что остаётся в наших силах, — дать улице здоровое русло!» — левый оратор оказывается пророком, хотя сам едва ли верит собственным словам) раздается голос автора:

«Так заканчивался двухсотлетний отечественный процесс, по которому всю Россию начал выражать город, насильственно построенный петровскою палкой и итальянскими архитекторами на северных болотах, НА БОЛОТЕ, ГДЕ ХЛЕБА НЕ МОЛОТЯТ, А БЕЛЕЕ НАШЕГО ЕДЯТ, а сам этот город выражался уже и не мыслителями с полок сумрачной Публичной библиотеки, уже и не быстрословыми депутатами Государственной Думы, но — уличными забияками, бьющими магазинные стёкла оттого, что к этому болоту не успели подвезти взаваль хлеба» (3′).

Как крушат булочные («Бей по белому! бей по сладостям! Мы не жрём — и вы не жрите! Не доводите, дьяволы!!..»), мы уже видели. И как силком тащат на улицу степенных рабочих «идейные» и «фулюганы», как весело вливается в потешный бунт «чистая невская публика», как соблюдают «правила игры» драгуны и казаки («Никто ни на кого не сердится. Смеются»), как теряется перед толпой городская власть — тоже видели (2). И знаем, что Государь, просидевший два месяца «в замкнутой тихости Царского села» (первые слова Узла), отбыл в Ставку, «к немудрёной, непринуждённой жизни <…> без министерских докладов». Отбыл — не покарав по закону убийц Распутина, не распустив Думу, не приняв во внимание вестей о готовящемся заговоре, не прислушавшись к очередным просьбам о введении ответственного министерства, не уволив вызывающего общее раздражение Протопопова — то есть не совершив ни одного значимого действия.

«После петербургских государственных забот и без противных официальных бумаг очень славно было лежать в милом поездном подрагивании» (1).

Император стремится прочь от своей столицы, вовсе не думая о том, сколько ржаного хлеба туда ежедневно поступает и как на петро-

градских улицах должен поддерживаться порядок — на то есть чиновники соответствующих министерств. Не веря в заговор «образованных» («во время войны никакой русский не пойдёт на переворот, ни даже Государственная Дума, в глубине-то все любят Россию»), Николай еще меньше ждет удара от простого люда. Меж тем его изрядная часть (особенно — в больших городах, прежде всего — в столице) уже совсем не похожа на тот «отдалённый, немой, незримый православный народ» (1), о котором с любовью думает император. Если мерзнущие в хвостах у хлебных лавок бабы запросто разъясняют, куда подевалась мука: *«Да царица немцам гонит, им жрать нечего»* (2), то значит, мистической связи царя и народа, в которую всей душой верит последний самодержец, подходит конец. Да, это петроградский разговор, но в том и трагедия России, что за два имперских столетия страна привыкла смиренно оглядываться на этот величественный и завораживающий город, принимать его нормы, следовать его примеру. Кто бы ни выражал волю Петербурга. Хоть бы и шальная толпа.

Имперская столица — главная сценическая площадка Третьего Узла: из шестисот пятидесяти шести глав «Марта…» четыреста двадцать (почти две трети) — «петроградские» (и едва ли не во всех остальных ждут, обсуждают, переживают петроградские новости). Начавшись в столице (воплощении империи), революция почти без сопротивления разливается по стране. Пушкинская формула «Красуйся, град Петров, и стой / Неколебимо, как Россия» обнаруживает свою обратимость: Россия неколебима, покуда высится в своем торжественном величии Петербург. Меж тем устойчивость города вызывала сомнения с самого его основания. Герой Достоевского задумывался: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли и вместе с ним и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?».

Когда Шингарёв и Струве останавливаются на Троицком мосту, завороженные открывшейся оттуда торжественной картиной, их посещают совсем иные мысли:

«Всё, всё видимое было беззвучно, глубоко погружено в какой-то неназначенный, неизвестный праздник, когда свыше и очищено небо, и все земные движения запрещены, замерли в затянувшемся утре долгого льготного дня» (44).

Персонажам неведомо, что это последний день прежней России, что «неназначенный праздник» — прощальный. Дворцы, мосты, набережные, колонны, скульптуры не прячутся в тумане, но при слепящем свете зимнего солнца (лейтмотив главы) выглядят прекраснее, чем когда-либо. Волшебный город не исчезнет ни завтра (когда солдаты повалят из казарм, а оскорбленные перерывом в занятиях думцы превратят Таврический дворец в штаб революции), ни через четыре дня (когда Государь перестанет быть Государем), ни позднее (когда изменится весь миропорядок). Но удручившая Шингарёва и успокоившая Струве «архи-

тектурная несомненность настоящего» окажется дурным наваждением. Здания сохранятся — страна исчезнет. Петербург еще раз подтвердит свою — угаданную Пушкиным, Гоголем и Достоевским, ставшую мифом — миражную суть, которой уже заражена вся страна. Еще хранящая «форму», но потерявшая дух.

«Петербургское» прощальное видение через три дня повторится в первопрестольной, прямо перед тем, как революция наконец догонит Воротынцева.

«Рассвет был туманный. Набережная была видна повсюду, а через реку, ещё разделённую островом, туман уплотнялся так, что Кремль не был виден, только знакомому глазу мог угадаться» (241).

Нет ничего противоестественного в том, что на грани зимы и весны утренняя Москва покрыта туманом, но, вспомнив о солнечном блеске в знаково туманном Петербурге, понимаешь, что эта погодная деталь символична. А панорама, открывшаяся с Троицкого моста, и весь клубок рожденных ею ассоциаций, не могут не всплыть в памяти, когда Воротынцев, встревоженный разговором с уличной торговкой (трамваи не ходят, потому что в Питере, по слухам, «большой бунт», а «московские» его переняли), вступает на Большой Каменный мост.

«Теперь, когда морозный туманец не ослаб, но вполне рассвело, и сам он ближе, — стала выступать кирпичная кремлёвская стена, и завиделись купола соборов, свеча Ивана Великого.

Что же с ним, что в этот приезд он даже не заметил самой Москвы, ни одного любимого места, — всё отбил внутренний мрак. (Начавшейся революции Воротынцев не разглядел из-за этого же мрака и попытки его развеять, на что ушел день в доме Калисы. — *А. Н.*)

Зато теперь, пересекая к Пречистенским воротам, он внимчиво, освобождённо смотрел на громаду Храма Христа.

Стоит! Стоят! Всё — на местах, Москва — на месте, мир на месте, нельзя так ослабляться» (241).

Кремль, символ московской (и общей русской) незыблемости, едва не будет разрушен октябрьским варварским обстрелом большевиков. Громаду Храма Христа Спасителя новые хозяева страны взорвут в 1933 году. Впрочем, это когда еще будет, но мир с места уже стронулся. Через час с малым зря успокоившийся Воротынцев увидит из окна «толпу человек в двести», весело движущуюся «с красным вроде флагом на палке», услышит от привратницы, что «никаких газет нет второй день, а в городе — бушуют», прочтет (на надорванном одним из демонстрантов листе) приказ командующего войсками Округа о введении осадного положения и запрете сходбищ, собраний и уличных демонстраций (241). Через несколько часов, наглядевшись на запруженный народом, кипящий митингами, расцвеченный красными тряпками город, он узнает из странной газетенки, что в Петрограде войска переходят на сторону революции (той самой, которую до сих пор считает то ли мнимой, то ли бессильной — «один хороший полк может овладеть этой расшатанной Москвой»), а поезд с царем, зачем-то покинувшим Ставку, неизвестно

кем задержан. Вскоре ужаснется рассказам выскользнувших из Петрограда офицеров о том, в какой ад превратилась столица уже 27 февраля (потрясение для героя, но не для читателя). И наконец, позвонив в штаб Округа, получит убийственные новости:

«Кремль, Арсенал, все последние части — перешли на сторону революции» (272).

В Петрограде солдатский мятеж за один день — при поддержке городской толпы, пылкой интеллигенции и претендующих на верховенство политиков — сводит на нет всю старую власть. Арестованных сановников, в том числе председателя Государственного совета, доставляют в Думу (113); министры направляют Государю телеграмму с просьбой о коллективной отставке (114); покинутый правительством Мариинский дворец захвачен без намека на сопротивление (152); офицеры Преображенского полка переходят на сторону Думы (155); хабаловскому отряду нет места ни в Адмиралтействе, ни в Зимнем (154, 163, 164). День этот описан исчерпывающе подробно. Мы видим (слышим, чувствуем), как хлынувший из волынских казарм бунт прирастает новыми и новыми частями. Как пьянят солдат пролитая кровь и безудержная воля. Как походя убивают офицеров и верных присяге нижних чинов. Как захватываются тюрьмы, заводы, административные здания. Как вспыхивают пожары. Как громят и грабят магазины. Как воздух дрожит от неистовой пальбы («Винтовки так часто, много везде стреляют — будто сами собой» — 111) и рева беспрестанно несущихся во все стороны автомобилей. Как разливается по городу красный цвет — прущий со знамен, лент, бантов. Как отнимают у офицеров шашки и револьверы — не только потому, что нужно оружие, но и чтобы унизить «господ». Как ликуют студенты и курсистки. Как настороженно (а кто с удовольствием, а кто и со злорадством) поглядывают на бесчинства мирные обыватели. Мы, как сформулировал еще поутру (когда все только начиналось) умудренный государственный муж, бывший министр Кривошеин, видим революцию. Но не видим контрреволюции (85).

Первомартовское падение старой власти в Москве представлено куда более бегло — только глазами недоумевающего Воротынцева (241, 261, 272) да несколькими строками, итожащими этот день в обзорной, в основном петроградской, главе:

«К вечеру Кремль сдался, и солдаты валили в Никольские ворота.

Ночью из Бутырской тюрьмы освободилось две тысячи уголовников — и пошли гулять по городу» (277).

Крови на московском «празднике свободы» почти не пролилось, погромный разгул был слабее питерского (хотя Охранное отделение разнесли) — митинги, похожие на гуляния, красные тряпки на опекушинском Пушкине (в Петрограде флаг пристроили Александру III — 249), зеваки «вокруг цепной обвески памятника стояли… глядели… И через цепи, на ту сторону, лускали семячки на снег» (261).

Парность символических панорам, открывшихся с Троицкого и Большого Каменного мостов, пророчит тождественность судеб двух сто-

лиц. Прежний, казавшийся вечным, мир рушится сам собой. И там — где по питерскому почину и питерской модели разгораются военные мятежи: так происходит в Луге (254, 274) — к ночи на 2 марта гарнизон, замаранный офицерской кровью, полностью во власти «военного комитета», а его представители рискованным «игровым» маневром обезоруживают двигавшийся на подавление Петрограда лейб-Бородинский полк (304), и на Балтийском флоте — первые расправы с офицерами в Кронштадте и телеграммы адмирала Непенина в Ставку о бунте «почти на всех судах» разделяют двое суток (243, 401); следующим утром, 4 марта, прежде любимый матросами и по убеждению принявший сторону революции Непенин будет смещен, арестован, зверски убит (408, 415, 418). И там — где новый порядок устанавливается без потрясений и зверств.

В Киеве, «самой верноподданной из трёх столиц» (379), где с ходу «упразднены… Жандармское управление и Охранное, а офицерам гарнизона… разрешено создавать городскую милицию» (371), Воротынцева встречают знакомые по Москве «красные банты в петлицах, красные ленточки, приколотые к пальто или шапке». И напрасно герой, глядя на подтянутых солдат, козыряющих офицерам («все при оружии»), надеется, что «столичное безобразие в *той* форме сюда не докатит». Добравшись до центра, он увидит не только идущие своим чередом трамваи, бурные митинги, огромные красные флаги, радость на лицах гуляющих («И неужели же все текущие сейчас по улицам — так довольны? <…> Сколько может быть тут сейчас врагов переворота — но быстро установилось, что недовольства выражать нельзя»), но и кое-что пострашнее: под чтение телеграмм с балкона городской думы толпа валит памятник Столыпину (379).

В Ростове, где, кроме веселого уличного бурления, ничего не происходит, где у горожан нет даже точных известий о событиях в Петрограде, градоначальник Мейер сам приглашает четырех ключевых общественных деятелей, чтобы исполнить все их указания и отдать власть еще даже не сформированному Гражданскому комитету. Старый инженер-еврей Архангородский, человек либеральных взглядов, никак не монархист (он, в общем, понимает радость своих радикально настроенных детей и хочет вместе с ними надеяться на лучшее), печально замечает:

«Не так меня удивили петербургские события, как генерал-майор Мейер. Всё-таки, если б это я был градоначальником, на таком высоком доверенном посту, — я бы стоял до последнего. А он так торопится. Некрасиво» (343).

Читатель уже знает, что «торопливо» и «некрасиво» ведет себя далеко не один Мейер. И должен понимать, что подлаживание к «духу времени» (хоть сдающих города высоких чинов администрации, хоть простых питерских, московских, киевских, ростовских и прочих обывателей, что боятся выразить неприязнь к наступившей неурядице) как нельзя лучше помогает революции раскатываться, чего и страшится

мудрый Архангородский. Она и раскатывается, повергая в растерянность прибывшего с фронта в отпуск Ярика Харитонова:

«…в 200-тысячном городе не выставился ни один недовольный… То существовали какие-то "правые" и казались сильными — и вдруг они исчезли все в один день, как сдунуло! — и их газета, заняли их типографию, а "Русский клуб" поспешил признать новое правительство. <…> И вот уже, приветствуя революцию, шагал строем гарнизон, части — во главе с офицерами, оркестры играли марсельезу. <…> Начали сдирать гербы и двуглавых орлов. <…>

Но даже и в Новочеркасске, уж на что царском городе, противники переворота даже не высунулись, а ликовали такие же, как в Ростове, студенты, интеллигенты» (439)[3].

В Каменке, где о перевороте еще не знает «ни волостное правление, ни урядник», крепкий хозяин, радетель мужицких интересов, бывший революционер (и будущий вождь тамбовских крестьян-повстанцев) Плужников за полчаса «в себе переработал» свалившуюся новость и двинул срывать в школе царские портреты. «Мы теперь и без Владимира Мефодьевича! — резким насмешливым голосом, как он умел, отозвался Судроглаз» (459), поспешающий за Плужниковым щуплый и злой учитель Скобенников. Он быстро объявит себя «волостным комиссаром» («таких и не бывает» — 609) и организует арест («как за непризнание нового режима» — 564) этого самого Владимира Мефодьевича, попечителя, перед которым прежде «просто лакейничал» (609) почуявший свой час пакостник. Мужики и бабы, ошеломленные манифестом о царском отречении («Без царя нам не прожить… <…> Царя — господа предали. <…> А кто это новое начальство поставил? Ох, не нажить бы с ним беды»), тут же принимаются толковать о возможном облегчении крестьянской жизни («А ведь теперь война должна осотановиться… <…> Теперь нам грамоту вышлют насчёт всей помещицкой земли. Разделить по душам, и баста»). Укор старой Домахи («Не в том одном, буде ли лучше-хуже, а: не было бы перед Богом неправды») остается не рас-

---

[3] Странности новочеркасского переворота («составлявшее дух города важное казачество и казачье чиновничество — враз куда-то заглубилось… <…> Атаманом Дона! — стал заведующий портняжными и сапожными мастерскими военно-промышленного комитета») даны ретроспективно, при рассказе о начавшемся двумя неделями позже противоборстве казаков с «солдатским конвентом» — Военным отделом (600). Хроника победного хода революции по провинции представлена двумя обзорными главами, составленными из беглых зарисовок происшествий, случившихся в разных городах и весях — страшных, нелепых, постыдных, а иногда и свидетельствующих о мужестве и верности долгу (446, 458). «Вся губернская и уездная Россия узнала о перевороте сперва по железнодорожному телеграфу за подписью неведомого Бубликова. Потом — обычным телеграфом, за подписью Родзянки. Телеграммам этим везде поверили сразу, имя Родзянки внушало уверенность.

Прежде этих телеграмм ни в одном городе никаких событий не произошло» (446; начальный фрагмент).

слышанным — за благодетеля села, выстроившего школу и больницу, не вступается никто: «Не шу-утят… Да ведь и каждого могут…» (564). Смирения перед лезущей наверх «всякой шабаршей» хватит ненадолго. Три «каменско-тамбовских» главы пророчат будущий «чёрный передел» (не зря томят дурные предчувствия интеллигентного помещика Вышеславцева, отдающего мужикам на льготных условиях пахотную землю, покосы, лишних лошадей и с поклоном просящего «не обижать родных» — 609) и крестьянскую борьбу за землю и волю (кончившуюся кровавым усмирением и установлением большевистского «крепостного права»). Но страшное будущее вырастет из того, что происходит в первые недели марта, — деревенская глубинка, пусть не так весело, как города, но так же быстро подчиняется революции[4].

Офицеры, на которых революция обрушивается в тылу (Кутепов, Воротынцев, Харитонов), устремляются на фронт, полагая, что зараза не охватит действующую армию, но беспорядки буквально гонятся за ними по пятам. Здесь особенно выразительна череда глав о Ярике Харитонове, где каждый новый эпизод «революционнее» (и оскорбительней для героя), чем предыдущий: неприятные впечатления от Москвы, подтверждающие тревогу, что овладела поручиком в Ростове (545); «сдваивание» билетов в поезде на Смоленск («Просто никогда не случалось, никто такого безобразия не помнил» — 574); разгул на вокзале в Смоленске и солдаты, самовольно заполняющие купе (580); нападение в поезде, едва не стоившее офицеру жизни (589); солдатский митинг в лесу, развеивающий всякую надежду на устойчивость армейского уклада (611). Даже в тех боевых частях, где пока обходится без крови и привычный порядок вроде бы держится, жизнь радикально меняется: циркулирует (и делает свое дело) «приказ № 1», проходят митинги, где звучат подстрекательские речи, визиты представителей новой власти не умиротворяют, а будоражат солдат, ползут (как и в тылу) самые невероятные слухи, формируются «комитеты», нижние чины дерзят офицерам и предъявляют дикие требования (627), начинается братание с немцами (593) и дезертирство (638), война, которой никто не отменял и отменить не в силах, сама собой отходит на задний план.

Чувство это овладевает и *лучшими* солдатами и младшими офицерами, в том числе — самыми дорогими для Солженицына героями. Не

---

[4] Каменка в «Марте…» (с некоторыми оговорками) представительствует за всю деревенскую Россию. Впрочем, «в глуши губерний, не то что дальних, а даже во Псковской, почти весь март ничего не знали. В таких местах держались и урядники, становые, а священники продолжали возглашать в службах царя» (624). Эта обзорная глава заканчивается внешне анекдотическим, а по существу — символическим фрагментом: «В мелких деревнях Феодосийского уезда после переворота говорили крестьяне:

— Ото, мабуть, нас опять отдадут панам в неволю.

И этот слух, что восстановится крепостное право, широко раздался по Югу».

кто-нибудь, а Арсений Благодарёв уверенно представляет себе скорое возвращение домой:

«Воротиться бы — да зажить на своей земле. Да еще добрать бы землицы — от Вышеславцевых, али от Давыдова. Простору бы»[5].

Да как же иначе, если царя, который направлял войну, больше нет, а в царицыной комнате «нашли секретный прямой кабель в Берлин. И по нему она Вильгельму все наши тайны выговаривала». Коли так, то «не иначе замирения будет. Некуда деваться» (471). Предоставленный самому себе, освобожденный от долга перед той единственной властью, которая существовала всегда (и потому принималась как данность), но вдруг сменилась невесть чем, солдат-крестьянин перестает быть солдатом, становится просто крестьянином, человеком земли, причем земли — своей:

«Эх, вся земля — чья-то, везде своё родное, — да приведи Бог к нашему вернуться. И — куда мы запёрлись? И чего третий год сидим, из пушек рыгаем? <…>

Так вот, зажмурясь в тишине, и не знаешь: где ты? кто ты? Одно и то же солнце всем светит — и немцам тоже» (554)[6].

---

[5] Опасения Вышеславцева, которыми он делится со своим зятем Давыдовым, прозвучат позднее, но уже здесь становится ясно, что они вполне обоснованны. Как и предчувствие гибели старинных усадеб, которое владеет Вышеславцевым и отливается его монологом, выдержанным в тональности, заставляющей вспомнить позднюю — ностальгическую — прозу Бунина: «А дальний колокольный звон над полями? А летом на рессорной коляске из именья в именье? — остывающий сухой полевой воздух, стрекочут кузнечики, ровный звук бегущих лошадей, спокойное пофыркиванье, мягкий постук по просёлку. Среди ржи. Вальки упряжки задевают за дорожную траву. Или от речки — запах мяты: там, на костре, у шалаша, гонят её… — Да если мы потеряем даже этот дряхлеющий быт, эту зелёную заглушь — куда привезём мы детей летом? И в знойный день — никогда не увидим, как находит туча без дождя — и перепела опадают в рожь» (609).

[6] Раздумья Благодарёва напоминают о литературно-философской традиции понимания войны как абсолютного зла, искажающего естественный миропорядок. Хотя Солженицын весьма далек от таких — «руссоистско-толстовских» — взглядов (спор с Толстым ведется в двух первых Узлах: разговор Варсонофьева с Саней и Костей, разговор Сани с отцом Северьяном — А-14: 42, О-16: 5, 6), он глубоко чувствует и их частичную правду, и их связь с патриархальным сознанием, на которое ориентировался Толстой, а прежде (предсказывая Толстого) Лермонтов, строки которого прямо варьируются во внутреннем монологе Благодарёва. «А там вдали грядой нестройной, / Но вечно гордой и спокойной, / Тянулись горы — и Казбек / Сверкал главой остроконечной. / И с грустью тайной и сердечной / Я думал: "Жалкий человек. / Чего он хочет!.. Небо ясно, / Под небом места много всем, / Но беспрестанно и напрасно / Один враждует он – зачем?"» («Я к вам пишу случайно, — право…») Напомним, что «Красное Колесо» начинается с вида Кавказского хребта (символ первозданного и вечного Божьего мира), от которого удаляется уже решивший идти на войну Саня (А-14: 1; семантика этого мотива подробно рассматривалась в сопроводительной статье к Первому Узлу). Скрытая цитата из Лермонтова оживляет в памяти предшествующие ей

Подпоручик Лаженицын, разумеется, знает о революции больше и судит о ней глубже, чем служащий под его началом Арсений. Он ведь понимает (хоть и не вполне) черные чувства подполковника Бойе, который не может «своим горлом» прочесть манифесты об отречениях (434), замечает растерянность солдат, узнавших, что никакого царя больше нет (435), изумляется нелепостям «приказа № 1» (486), тяжело переживает газетное известие о том, что «жертвой революции пал заслуженный профессор по кафедре баллистики», тот самый, не похожий на военного, генерал-профессор, что так вдумчиво и тепло беседовал с Саней об артиллерийском деле несколько месяцев назад (О-16: 56); «Все эти дни воспринимал Саня события через какую-то пелену непонятливости. А тут вдруг зинуло: увидел он светлого умного старичка с раздробленной кровоточащей головой — где-нибудь на улице? Или на лестнице? И Саня — отшатнулся. Вот т а к приходит свобода?» (494), смущается от разноголосицы приказов (506)… Но, забредя в лес весенним днем (здесь царит тот же ласковый солнечный свет, что и в более поздних «благодарёвских» главах), осознает то, что все последние дни смутно клубилось в душе.

«Если у войны была (вообще бывает?) душа — то она отлетела.

(и приведенные здесь) «горные» строки. Таким образом отпадение от войны в «Марте…» сопрягается с ее злосчастным началом.

Связь эта поддержана другой перекличкой двух Узлов. Благодарёв осознает родство «чужой» и «своей» земли. «И правда, смотрим на эту землю как на бабу пьяную, поруганную, ничью, как только в ней ни копаемся, как только её ни полосуем. А она ведь — чья-то же родная, да вот Улезьки и Гормотуна. Им-то каково смотреть? С нашей бы вот так, под Каменкой!? — вот так бы лес валили, да так бы окопами изрывали, да так бы ездили наискосок — да разве это стерпно перенесть?» (554). Только малый намек на это чувство посетил Благодарёва в первые дни войны при виде разгромленного немецкого имения, но все же и тогда он подумал: «Мало сладкого, конечно, если б так вот у них в Каменке воевали» (А-14: 25). В статье об «Августе…» указывалось на значение этого эпизода, пророчащего разорение русской земли в ходе гражданской войны. Возрастание естественных, «мирных» и «*мiрных*», чувств Благодарёва парадоксально ведет его к еще более страшной — гражданской — войне (в точном соответствии с известным ленинским лозунгом).

Дополнительный свет на «весеннее мление» бросает сцена братания с немцами. Наблюдая за веселым общением наших солдат с немцами («Боже мой! Что же осталось от войны? В несколько минут смыло всю неискоренимую войну, всю условность условной ничейной, запретной, непроходимой полосы. И — хорошо!»), Саня Лаженицын вдруг задумывается:

«…одинаков ли [будет] результат такой встречи? Наши после этого — воевать не будут, а немцы? Отлично будут и дальше стоять <…> И почему *их* начальство, хоть революции у них нет, легко на это всё смотрит, отпускает?

Да уж — не приказывает ли им так?» (593).

Дело не в том, что все немцы коварны, — дело в том, что при любых личных чувствах немцы остаются солдатами, они не нарушают присягу, а выполняют приказ (не важно, прямо ли он отдан или «угадан», как не важно, что кто-то из немцев хитрит, а кто-то движим искренними добрыми чувствами).

Ну и пусть. Ну и лучше. <…>

Бог посылает расстаться с войной».

Саня вовсе не пленен революцией, напротив:

«Всё писали о грандиозности событий — но не видел он в том никакой грандиозности, а обезумелую суету. <…>

Он хотел вернуться в ту жизнь, какую знал раньше, когда совсем нет войны, и никакого ей оправдания.

Хотелось — этого мира! Размышлений. Уединения» (537).

В главном настроения Благодарёва и Лаженицына тождественны — за несколько дней они перестали ощущать войну своим делом. И это не прихоть, случайно обуявшая двух любимцев автора, это общее чувство всех, условно говоря, «благодарёвых» и «лаженицыных», прежде старательно и честно исполнявших свой долг. Они и теперь — в отличие от трусов, сметливых любителей ловить рыбку в мутной воде, циников, ненавистников «царского режима» — не намерены самовольно бросать службу. Но и нести ее бремя с прежней самоотдачей уже не могут. Между тем именно на них до недавних пор держалась армия: для большой войны кадровых офицеров и унтеров (тех, кто сознательно избрал судьбу воина и не мыслит себя вне армии) не хватало даже в ее начале, а тем более — после тяжелых потерь двух с лишним лет.

Да, не все они полегли на поле брани: есть Преображенский полк, где и молодой, всего несколько месяцев провоевавший, подпоручик после «постыдной присяги» Временному правительству приводит себя в норму, упрямо наговаривая слова полкового марша (573), есть поручик Харитонов, артиллерийский капитан Клементьев, фельдфебель Никита Максимович, есть, конечно, и другие. Только осталось их мало, и приходится им худо. Фельдфебеля солдаты пока еще слушаются и после его команды наводят на батарее порядок, но это не мешает им тут же выдвинуть бестолковые и оскорбительные требования (626, 627). Никита Максимович расправляется с двумя дезертирами, но сюжет этот свидетельствует: скорый и безжалостный самосуд остался единственным средством борьбы с разложением армии, способов законных больше нет (638). Что подтверждает описанная в той же главе стычка Клементьева с мерзавцем-фельдшером, когда капитан оказывается бессильным. Сплотки клементьевских и харитоновских глав (каждая из них могла бы стать самодостаточной повестью) — это истории о том, как революция, навалившись на «стойких оловянных солдатиков», неуклонно наращивает свое давление, дабы их расплющить. Не физически, так нравственно. То, что развиваются две «повести» параллельно (Ярик приезжает в Москву 10 марта, на следующий день читатель знакомится с Клементьевым — 545, 548; с Яриком мы расстаемся 15 марта, с Клементьевым — 17-го — 611, 638), а герои глубоко разнятся и социальным происхождением, и душевным складом, усиливает трагический эффект.

Командир Преображенского полка не мыслит службы без императорских вензелей на мундире, а потому намеревается уйти в отставку, передав полк Кутепову:

«Я… ещё раз, вот может быть, увижу царственный Петербург… (сохранивший лишь внешнюю царственность, превратившийся в рассадник революции. — *А. Н.*). Да если буду жив — поеду в Италию… Там, знаете: на самом морском берегу — цветут и благоухают померанцевые деревья…» (573).

Заслуженный и мужественный генерал теперь грезит о «мирной» жизни (как Благодарёв или Лаженицын), а чуть ироничная реминисценция «Песни Миньоны» показывает, что цену своему порыву «Dahin, dahin…» он знает и во встречу с волшебным краем не слишком верит. (Мерцает тут и намек на горькую участь будущих русских изгнанников.)

Оставляют или готовы оставить армию и другие славные генералы, отнюдь не грезящие о мире. (Да ведь и командир преображенцев раньше в отставку не собирался, а командовал полком, несмотря на плохо сросшуюся после ранения ногу.) Граф Келлер ломает саблю со словами: «Никому, кроме Государя императора, служить не могу!» (427). Подает «самоубийственный» раппорт дивизионный начальник Савицкий, хоть и в надежде быть услышанным Ставкой (и даже помочь ей своим честным суждением о всеобщем распаде), но вполне допуская, что ответом станет увольнение (601). Отказывается возглавить Западный фронт генерал Лечицкий («Не время сейчас возвышаться»), а на недоумения Воротынцева твердо отвечает: «Кто требует исполнения долга неуклонно — тот готовься из армии уходить». Потому что «войны — скоро не будет», рожденная ею революция уже обеспечила поражение: «Ошибкой было бы думать, что с революцией можно повести игру и её перехитрить». Лечицкий не совершает отчаянно красивого жеста, как Келлер, не мечтает о тихом отступлении в сторону, как Дрентельн, не стремится переиграть революцию, как Савицкий, — он остается на посту, зная, что будет скоро уволен. И додумывает то, что не укладывается в далеко не худших головах — того же Савицкого, Колчака, Корнилова, Крымова, Кутепова. Их сюжетные линии подтверждают правоту не столь блестящего, но умудренно-зоркого Лечицкого.

Начальные дни революционного раската в Севастополе и на Черноморском флоте проходят без убийств и погромов. Колчак распознает «первые звонки» (требование убрать с линейного корабля «Императрица Екатерина II» офицеров с немецкими фамилиями, самоубийство мичмана Фока, обвиненного матросами в намерении взорвать судно, — 438) и вступает в борьбу, которая не может вестись без компромиссов. Проводя встречу с представителями кораблей и гарнизона, а потом совместное собрание офицеров и матросов, выступая перед толпой («смешанная, чёрно-матросская, серо-солдатская и штатская <…> и среди них — были вооруженные. Зловеще, вне караула или патруля…») на стихийном (навязанном адмиралу) митинге, он вроде бы выигрывает. Но чувствует, что не вполне. Располагает матросов — и слышит: «Вот, ваше высокопревосходительство, в кой век проняли вы нас своим вниманием! <…> А заведёмте, чтоб мы всегда вот так собирались!» — на что может лишь улыбнуться: «На военной службе — не положено», хотя организованная адмиралом встреча уже была неуставной (438). Вселяет в толпу мысль о единстве, благоговейно внимает

вместе с ней оркестру, играющему «Коль славен» (другого музыкального символа единения не нашлось — царский гимн упразднен вместе с царем), но после того, как пришлось, «сжав челюсти», выслушать похоронный марш в память мятежника лейтенанта Шмидта (492). Для энергичной работы Колчака с флотом, полыхавшим двенадцать лет назад революционным огнем (не зря помянут лейтенант Шмидт!) и готовым воспламениться сейчас (и читатели помнят, как влился в революцию флот Балтийский, и черноморцы про тамошнюю резню и гибель Непенина знают), Солженицын находит яркое «морское» сравнение:

«Живая, сильная, скользкая рыба билась в руках адмирала. Удержит ли?» (492).

Не удержит. Не удержится.

Первая строка Пятого (первого из ненаписанных) Узла, охватывающего срок с 9 июня по 12 июля (и всего конспекта «На обрыве повествованья»): «Адмирал Колчак изгнан матросами из Севастополя».

Не удержится Корнилов, которому в марте приходится закрывать глаза на превращение петроградского гарнизона в распущенную банду, получать бессмысленные приказы, входить в сношения с вконец обнаглевшим Советом и давать потом уклончивое интервью (540), принимать под «пакостную ихнюю марсельезу» парады, которых он не назначал, в том числе возжелавших представиться новому командующему зачинателей бунта — волынцев и павловцев (571, 599). И утешаться тем, что солдаты — как дети и не может иссякнуть в них русский дух.

Не удержится Крымов, 4 марта в далеких от столицы Унгенах обдающий Воротынцева могучим спокойствием Ильи Муромца:

«А что ж царю было делать, если не отрекаться? За гриву не удержался — на хвосте не удержишься. <…> Чем их правительство хуже другого? Вот Гучков сейчас за дело возьмётся, поразгонит разную бездарь из армии. <…> Два дня побегают — уложится» (427).

Совсем скоро он будет предлагать Гучкову «одной Уссурийской дивизией в два дня» (опять «два дня»!) очистить Петроград «от всей этой депутатской сволочи», а получив отказ военного министра («Да у тебя представление о демократии есть?»), отвергнет предложенный им пост начальника штаба Верховного и даст язвительный совет:

«Тебе — демократического генерала? Так возьми Деникина. У него мозги — в аккурат такие, как у вас» (585).

Другой совет Крымов даст Корнилову: коли нет здоровых частей, а казаки красуются перед толпой и метят уйти на Дон, так собрать юнкеров и кадетов да разогнать «этот Совет собачьих депутатов» (599). И тоже безрезультатно. Когда Корнилов, став Верховным, попытается осуществить мартовские замыслы Крымова в ослабленной форме (предполагается очистить Петроград от враждебных Временному правительству большевиков, Корнилов убежден, что действует в согласии с возглавившим Временное правительство Керенским), корпус Крымова двинется к столице. Попытка спасти Россию (да и не слишком любезную Крымову «демократию»), получившая клеветническую кличку «корниловского мятежа», бу-

дет сорвана предательством и ложью Керенского. (Крымов после разговора с Керенским покончит с собой.) Здесь не место анализировать причины этой катастрофы (ее детальная хроника представлена в конспекте Шестого Узла), но одну все-таки назвать нужно. Крымов жестоко ошибался, когда заверял Гучкова, что в его Третий Конный «оно» (революционное разложение) не придет (585). В августе выяснилось: пришло.

Так что зря успокаивает себя Кутепов:

«Если думать о Петрограде, о Ставке, — всё казалось потерянным.

Но если думать о гвардии, о Преображенском полке, — это потеряно быть не могло. Это было — цельное, отдельное, мощное, сильное» (573).

Не может никакой сколь угодно цельный и мощный полк существовать отдельно. Ни на войне, ни в том кровавом безумии, которое страшную, но все-таки честную войну сменяет. Так или иначе, не желающие смириться с революцией генералы и офицеры переходят от брезгливой лояльности к «приемлемому» Временному правительству и скрытой борьбы с ее возвышающимся красным спутником-конкурентом к прямому противостоянию. Все перечисленные персонажи (кроме рано погибшего Крымова, павшего «предварительной» жертвой просыпающейся гражданской войны) станут вождями Белого движения (ясно, что, если бы «повествованье» Солженицына не закончилось «Апрелем Семнадцатого», «белым» оказался бы и Воротынцев)[7], но не смогут вновь сделать Россию — Россией. В какой-то мере потому, что не сумеют воевать на своей земле, как на чужой; в какой-то — потому, что слишком долго пытались перехитрить революцию, ввести ее в рамки, найти в ней свое — честное — место[8].

Здесь-то и пора вернуться к разговору Воротынцева с Лечицким. Слушая генерала, полковник думает:

«Погибала армия? Может быть. Погублена война? Может быть.

— Но, ваше высокопревосходительство… Что же будет с Россией? Россия же! — не может погибнуть??»

---

[7] Некоторые соображения о судьбе этого героя изложены в сопроводительной статье к «Августу Четырнадцатого». В трагедии «Пленники» (которую можно счесть Пятым Эпилогом «Красного Колеса») Воротынцев говорит чекисту, соблазняющему его «легкой смертью» (яд вместо повешенья): «…вы украли Кутепова — и что с ним сделали? Может и повесили. (В 1930 году агенты ОГПУ во Франции захватили Кутепова, возглавлявшего в ту пору «Русский общевоинский союз», дабы доставить его в СССР; считается, что похищенный умер в пути. — *А. Н.*). А Кутепов был мой друг. Так вешайте и меня». В «Красном Колесе» пути этих персонажей не скрещиваются, но их едва ли случайное сходство (на грани двойничества) кажется предвестьем будущей встречи (всего вероятнее — после большевистского переворота) и дружбы.

[8] Выиграют гражданскую войну для большевиков (себе на позор, а часто и на погибель) генералы и офицеры, любящие военное дело больше, чем Отечест-

И получает в ответ:

«Может быть, и не сумеем мы… Передать потомкам Россию, унаследованную от отцов» (630).

На исходе первого революционного месяца Воротынцев слышит от старого генерала ровно то, что во второй день катастрофы услышала его возлюбленная на беснующейся петроградской улице от незнакомой «высокой сухой дамы с беличьей муфтой»: «Умирает Россия…».

«Андозерская поддержала её твёрдо за локоть:

— *Dum spiro, spero.* Пока дышу — надеюсь.

Но — сражена была её словом. …крайне выражено. И — неверно! Но и — очень верно» (209).

Ни Андозерская с ее идеологическим складом мысли, ни человек действия Воротынцев не могут до конца поверить услышанному. Впитав душащий опыт уже не дней, а недель нового порядка, ни на миг не поддавшись его соблазнам, Андозерская (это ее последнее появление на страницах «Марта…») все же думает точь-в-точь, как Воротынцев:

«И Россия: погибает, да. Но: и не может же вовсе погибнуть такая огромная страна с недряхлым народом!» (619).

Даже Варсонофьев, много лет пытающийся постигнуть таинственную связь событий, представить сумбур текущей истории при свете вечности, не в силах прочесть доставленную ему во сне *астральную* телеграмму и увидеть то, что сулит (в новом, тут же последовавшем сне) «предупреждающее сочувственное сжатие». Жажде «увидеть» сопутствует страх. Проснувшись в первый раз, Варсонофьев понимает, что «путает нечистая сила: не хочет, чтобы люди узнали важное глубинное известие». После второго сна («между обоими… была несомненная связь») вновь чувствует: «Какие-то знаки посылались, но — неразгадываемые» (532)[9]. Видения намекают на нечто большее, чем каждодневная явь.

«Пока он сидел невылазно в своём дряхлом домике, глубоко размышлял, видел тайные сны, слушал через форточку обезумелый колокольный звон — он и сам был богаче и предполагал богаче мир вне се-

---

во, и потому готовые служить любой власти (чем та железней, тем, пожалуй, лучше), люди складки стратега Свечина, который в марте по-человечески сочувствует Государю (403), строит планы (489), подбирает кадры (зовет в Ставку Воротынцева — 644), брезгливо глядит на министров Временного правительства, но принимает и такую власть, если нет другой (643). Прототип этого персонажа был расстрелян в 1938 году.

[9] Дистанцируясь от замешанного на злорадстве восторга юной родственницы, пожилая еврейка говорит: «…всё это прошло не при слишком хороших знаках». И на смущенный вопрос: «Каких знаках?» отрешенно, «не опасаясь, что кто-то улыбнётся», отвечает: «Небесных». Ханна хранит верность религиозной традиции и памяти ушедших (она приезжает к Сусанне по окончании субботы, для нее еврейский митинг, прежде всего, встреча с «нашими умершими»), а потому знает, что трагедия всяких людей (будь то царская семья с больными детьми или

бя. Но если всё это великое свершение только-то и сводилось к сносу Охотного ряда, послаблению оперному хору, политической очистке профессорских рядов и ежедневному заседанию нескольких собраний в разных залах, из которых правильней всех смотрит Совет рабочих депутатов, — то стоило ли Варсонофьеву выходить? <…>

Ход революции оказался и пошлей — но и таинственней, чем он думал» (532).

Тот ряд «событий», что иронически припоминает одинокий мыслитель, должно сильно расширить: все «грандиозные» политические сюжеты февральско-мартовской революции, в сущности, ничтожны. Даже если мы — в порядке эксперимента — отбросим сегодняшнее знание о ходе русской истории в XX веке, то есть закроем глаза на грозные перспективы, которые открывает сразу сложившееся двоевластие, и примем оптимистические воззрения либеральных интеллигентов на уличную стихию и квазидемократию Советов, факт останется фактом: смена правительства и прочих властных структур не отменяет ни одного серьезного практического вопроса, стоявшего перед страной в 1917 году, и лишь затрудняет пути их решения. Война и продовольственный кризис никуда не делись, а волшебные слова («свобода», «революция», «новая эра») не отменили необходимости поддерживать элементарный порядок. Луч-

---

городовые, которых топили в прорубях) «есть трагедия» (560). Человечность, сопряженная с религиозным чувством, и позволяет ей разглядеть зловещие «небесные знаки». Мало кому это дается.

Когда Гучков примечает на косынке императрицы красный крест (символ милосердия), он, чья «жизнь была часто переплетена именно с красным крестом», чувствует, как крест этот излучает «странный сигнал», и многолетняя ненависть к «заносчивой женщине» отступает. Гучков говорит императрице совсем не то, что собирался:

«Какая нужна вам помощь? Может быть — детям лекарств?»

И эти человеческие слова отзываются в душе государыни:

«…этот ужасный человек в эти ужасные дни приехал не позлорадствовать, но предложить детям лекарств?

Детям — лекарств? В этом не могло быть ни насмешки, ни лицемерия».

На полминуты императрица и Гучков перестают быть фигурантами политического процесса, становятся просто людьми.

«Но кого же ненавидеть — этого ли мешковатого, совсем не военного министра, негрозно предложившего лекарств? Эту ли примученную? приниженную сорокапятилетнюю женщину с пятью больными детьми? <…>

Неугаданным видением пронеслось между ними, что всё прошлое могло быть и ошибкой — и по дворцу не бродили бы сейчас с красными лоскутами дикари».

Но человечность торжествует недолго: Гучков обещает позаботиться о госпитале царицы, но ее просьба освободить «невинно-арестованных» вызывает раздражение («Ого! Чуть покажи мягкость — и она уже требовала?») и остается без ответа. Оставляя дворец, недовольный «дурацким» визитом Гучков думает, что «надо готовить обстановку для возможного ареста» (452). Красный крест не просто исчезает, но превращается в Красное Колесо — следующая короткая сим-

шие из призванных революцией «новых людей» вынуждены заниматься ровно тем, над чем колотились их «неумелые» предшественники[10].

Так, кинутый из-за политической комбинаторики на продовольствие и земледелие Шингарёв (323, 448) оказывается продолжателем дела того самого Риттиха, которому он сурово оппонировал (мешал работать) накануне революции (3′), только идти ему придется по этому пути гораздо дальше: от развёрстки — *к государственной монополии* на хлеб. И идти, руководствуясь теми «наилучшими советами», которые он обнаруживает в кипе министерских бумаг, в самом воздухе кабинета прозорливого Риттиха (535). А народному социалисту Пешехонову, ставшему комиссаром Петербургской стороны, приходится хоть как-то да обеспечивать нормальное существование обывателей, что раньше делалось само собой. И это для него, человека совестливого, не менее важно, чем решать рожденную революцией дикую «жилищную проблему» озверевшей орды пулеметчиков (270, 315, 378, 507). И так повсюду. Революция не ликвидирует, но болезненно обостряет старые проблемы, а тем, кто взял бразды правления, кроме прочего, просто не хватает опыта. Умный и наблюдательный Станкевич, революционер, которого военная служба приучила к ответственной оценке событий, безнадежно роняет в разговоре с рвущимся к министерскому портфелю Керенским:

волическая глава (453) являет эту чудовищную метаморфозу читателю, но не вернувшемуся к политике, а потому «расчеловечившемуся» Гучкову. Знак был, но не был понят. Как не был понят знак полубольным генералом Алексеевым (одним из главных виновников отречения Государя):

«…покруживалась красная сургучная печать, почти круглая, так что могла вращаться и катиться. Вращалась. И — отдавлина резала как лемех, а выбрызг захватывал как лопасть» (567).

Для него это только симптом переутомления и недуга, для нас — Красное Колесо. Грандиозный разлив красного (кровавого и огненного) цвета (знамена, лозунги, перевязи, ленточки, бутоньерки и проч.) вызывает разные чувства — эйфорию, циничную или трусливую готовность заявить о признании новых порядков (красный бант цепляет рядом с орденами великий князь Кирилл), омерзение (развеселая швейка — не глумясь, а из лучших побуждений — хочет приколоть красный бант капитану Нелидову; таящийся от бунтовщиков офицер не позволяет унизить таким «соседством» свой гвардейский значок — дивящий дурочку-певунью Андреевский крест с «ненашими буквочками» — «красный бант был ему как жаба» — 204), но почти никто не видит за навязчивым мельканием бутоньерок шальное и страшное кружение Красного Колеса (299). Видим мы, держа в памяти вдохновившее ленинские замыслы колесо паровоза (А-14: 22), горящую мельницу в Уздау (А-14: 25), эффектно украшенный бенгальскими огнями торт в фешенебельном ресторане (О-16: 38).

[10] Недальновидные самолюбцы только упиваются своим — недолго ему длиться — часом, с удовольствием ворошат старые обиды и заранее радуются тем скорым триумфам, что никогда не осуществятся. Едва ли не самый выразительный пример — назначенный Верховным главнокомандующим великий князь Николай Николаевич (391, 417, 457, 491).

«Всё идёт — инерцией старого порядка, а не новым. Всё, что мы видим, что ещё держится, — это от старого. Но надолго ли этой инерции хватит?» (314).

Пошлость, которую ощущает в ходе революции Варсонофьев, и есть мнимая «новизна» (смена лиц, вывесок, эмблем, лозунгов и т. п.) при отсутствии широкого ответственного взгляда на историю и по-настоящему созидательной политической воли. Вопреки демагогическим разглагольствованиям о «творчестве демократических масс» и «освобождении личности», проявить такую волю (да и найти конкретное точное политическое решение) в разрушительном хаосе революции не может никто. Революция устраняет не «частности», а целое, в котором все со всем связано. «Частности» как раз удерживаются (даже пестуются, ибо любая власть нуждается в неких организующих формах, а новых взять негде), но при распаде всеобщей связи становятся мнимостями: сохраняются кажущиеся лишь подновленными формы, но государство перестает быть государством, армия — армией, производство — производством, торговля — торговлей, общество (внешне как никогда высоко взорлившее) — обществом. Инерционность существования (прежде всего — его самых дурных составляющих) парадоксальным образом работает не на сохранение того, что еще вчера было данностью, а на его окончательное разрушение[11].

Пошлость в революции замечают все, кому прежний душевный и/или интеллектуальный опыт помогает не подпасть под лживое обаяние революции. Так, Андозерская задыхается от пошлости (и не отделимых от нее лжи, глумления над поверженными, льстивого заискивания перед толпой и новой властью, добровольного попрания самого духа «свободы слова»), читая возобновившиеся газеты («Впрочем, они не стеснялись ложью и до революции»). К газетам дело, однако, не сводится, их лживая пошлость не только искажает действительность (к примеру, умалчивая об убийствах и погромах) и формирует выгодный образ «бескровной» революции, но и точно отражает господствующее умонастроение общества (это видно из постоянной переклички «газетных» и собственно повествовательных глав

---

[11] Когда большевики примутся строить свое невиданное государство, они (чем дальше, тем больше) будут использовать вывернутые, искореженные, лишенные подлинного содержания «формы» прежнего государственного (общественного, культурного) уклада, имитируя (зловеще пародируя) как империю, так и демократию (сталинская конституция, как известно, была самой демократической в мире). Поскольку до конца «формы» выхолощены не были, эта — накопленная веками российской истории — инерция (в жутком сочетании с мощной системой тотального принуждения) до поры обеспечивала те самые наглядные и бесспорные успехи (в промышленном производстве, науке, образовании, медицине, культуре), которые почитатели Ленина-Сталина по сей день ставят их партии в заслугу. Инерция эта иссякала от десятилетия к десятилетию, поневоле уступая место накапливаемой инерции советчины. Ее же «последействие» отчетливо и тягостно сказывается на протяжении всего новейшего периода нашей истории.

«Марта…»). Ложь по-своему правдива. Андозерская задается вопросами о том, куда подевались верные слуги трона, что сталось с аристократией, епископами и самой Церковью, великими князьями, не только (и не столько) потому, что печать умалчивает об их противостоянии революции, но в первую очередь потому, что такого сопротивления не было.

«Какой представительный гигант казался на фотографиях генерал Эверт, вот слуга царя! — и что же он?» (504).

Читатель про Эверта знает гораздо больше, чем Андозерская. Знает, как трусливо и мелко, вопреки своей картинной (карикатурной) громадности, вел себя Главнокомандующий Западным фронтом в решающие дни. Как ждал указаний сверху («Не может генерал-солдат вести свою политику» — 246) и останавливал беспрепятственно двигавшиеся на Петроград полки (297). Как, присоединившись к большинству (по сути, к генеральскому заговору), дал телеграмму Государю о необходимости отречения (320). Как, узнав о Манифесте, отправил «примирительную» телеграмму Родзянке (надо же избавляться от репутации «реакционера»). Как перепугался, когда Манифест приказали задержать (359). Как не решался даже с пустоватым «отеческим наставлением» обратиться к своим войскам (392). Как, опровергая ложь о намерении открыть немцам Западный фронт, изящно перевел стрелку на оклеветанного императора («И если бы даже был отдан такой приказ, и даже *с самого* верха, — ни генерал Эверт и ни один из военачальников никогда бы…»), а вслед за тем попросил о переводе на другую должность, но, получив указание военного министра сдать дела, стал ждать приказа нового Верховного, в глубине души надеясь, что великий князь поймет, защитит и сохранит на посту «верного солдата» (499).

Эверт не рвется навстречу «общественным чаяниям», как будущий слуга большевиков Брусилов (этого восславленного советской пропагандой «правильного генерала» Солженицын презирает настолько, что даже не выпускает на сцену; Брусилов аттестуется только убийственно брезгливыми репликами других военных) или циничный карьерист Рузский, сыгравший в мытарствах императора ключевую роль (285, 291, 337, 351). Он действительно монархист (потому и переживает, направив царю злосчастную телеграмму, не только из опасений, что события могут пойти вспять, но и от проснувшегося стыда). Он уверен, что бунт должно усмирить. Едва ли он законченный трус. (Солженицын на то не указывает, хотя, вообще-то, дурных генералов не щадит. Трусость — доминирующая черта личности несостоявшегося «диктатора» и усмирителя Петрограда, благообразного дедушки генерала Иванова.) Неукоснительное выполнение приказов и отказ от своевольных действий — безусловные воинские нормы, но лишь при обыкновенном положении вещей. Эверт — обыкновенный (наверно, не худший) генерал. Первоначальное (догоголевское) значение слова «пошлый» — «обыкновенный». В «минуты роковые», когда требуются воля, мудрость и готовность принять ответственность на себя, обыкновенный человек оборачивается изменником, его типовые добродетели — губительными слабостями, «пошлость» в первоначальном смысле — губительной пошло-

стью утраты человеческого достоинства, омертвения души, исчезновения лица.

И это история далеко не про одного Эверта. Исключая душевнобольного Протопопова, такими «мертвыми душами» в первые дни революции предстают все, на кого Государь оставил Петроград: премьер Голицын, военный министр Беляев, командующий войсками Округа Хабалов. Это «омертвение» (опошление) стремительно охватывает изрядную часть сановников и аристократов, генералов и офицеров. Речь не о тех, кто ждал революции или упреждающего ее дворцового переворота. И не о тех, кто пытался остановить бунт. Речь о тех, кто, одолевая омерзение, защищался от толпы или собственных солдат красными бантами, предусмотрительно отстегивал шашку или отдавал ее по первому требованию.

Их пошлость бросается в глаза — ее (и только ее) видит вникающая в газеты Андозерская. Даже для Государя истовая монархистка не делает исключения:

«Как же мог он — как с м е л отказаться от помазания? (Вспомнилась кислая усмешка Георгия — в чём-то он был и прав?..) Государь-то — первый и признал это теперешнее правительство» (504).

Андозерская потрясена скорой капитуляцией потенциальных защитников трона. Мысль героини, естественно, обращается к Воротынцеву: «Нашла она, дама, рыцаря и героя, — почему ж он не бился за её цвета». Это эстетизированное и экзальтированное видение катастрофы (пошлость против оказавшегося несостоятельным рыцарства) возникает и раньше:

«…всё же французская монархия сопротивлялась три года, а наша — всего три дня. <…> Когда умирал старый строй во Франции — находились люди, открыто шедшие за него на эшафот. Там были свои легенды, свои рыцари…» Тоскуя о «пропавшем» героизме, Ольда (профессиональный историк, хоть и специализирующийся на Средних веках, но, безусловно, в принципе знающий, как в реальности шла революция, позднее названная Великой) невольно забывает, что Париж 14 июля заходился восторгом, что поначалу и там никто не дерзал защищать старый режим, что первые — уже зверские — расправы с аристократами общество старалось не замечать, что Людовик XVI, прежде чем попытался вернуть трон, прицепил к шляпе трехцветную кокарду, признал революцию и потом долго отступал перед ее напором, что восходили на эшафот (или бежали за границу) не столько малочисленные убежденные защитники королевской власти, сколько «первенцы свободы»[12]. Всё это — с некоторыми вариаци-

---

[12] Мифологизируя французскую революцию, Андозерская невольно смыкается с чуждой ей интеллигенцией, захваченной игрой в аналогии. Разумеется, когда Ольда видит в великом князе Николае Николаевиче повторение «другого дяди», «Филиппа Эгалите, голосовавшего за казнь племянника, но не спасённого тем от гильотины» (504), она мыслит острее и точнее московского говоруна, восклицающего за еще по-прежнему превосходным ужином: «Наши головы кружатся, как кружилась голова у Камиля Демулена, когда он приколол к своей шляпе каштановый

ями, привнесенными не столько «национальной спецификой», сколько резко возросшим к началу XX века мировым опытом расчеловечивания, — повторится в России. Победа революции не останавливает, а разгоняет бег Красного Колеса, обрекая страну на превращение в поле битвы всех против всех. Сочувствуя Андозерской, можно и должно понять овладевшие ею надрывные чувства, но нельзя признать ее трактовку революции как исключительно торжества пошлости (осложненную, впрочем, признанием прежней вины не одной лишь интеллигенции, но и давно утратившей дух и волю власти). Хотя о «рыцарях» молчит лживая пресса, они отнюдь не исчезли: мы видели, как действовал Кутепов во взъярившемся Петрограде и как метался по Москве в жажде немедленного действия Воротынцев. Да, таких людей мало («рыцарская» стать всегда удел немногих), но личную честь, верность долгу, готовность умереть за правое дело они сохранили в марте и пронесут сквозь будущие потрясения. Больше того, лучшие из «людей революции», те, что ошибочно мыслили ее средством достижения общего блага, а не трамплином для прыжка во власть или иной самореализации, рано или поздно станут противниками былой «возлюбленной». Даже если, продолжая себя обманывать, будут искренне полагать, что сражаются с узурпаторами-большевиками за возвращение «украденной» или «искаженной» революции. Но в том и дьявольская сила революции, что она обеспечивает разъединение достойных, вынуждает «рыцарей» к сотрудничеству с честолюбивыми «игроками», навязывает тактические ходы и компромиссы, делает — при всеобщем распаде — бесперспективным всякий единичный героический акт. Все, что развернется в месяцы большевистского движения к власти и годы гражданской войны, Солженицын позволяет нам увидеть уже в мартовские дни. В том и ужас, что пошлость, на которой замыкается Андозерская, соединена с не замечаемой ею тайной, присутствие которой ощущает (и мучительно пытается истолковать хотя бы себе) сновидец Варсонофьев.

листок и крикнул: "В Бастилию!" Господа, мы слишком видим похожесть наших двух революций…» (470). Головы оратора и разделяющих его пылкие чувства гостей Сусанны действительно кружатся. Ведь все они люди просвещенные, и если даже не читали Тьера или Карлейля, то из других книг знают, что случилось с закружившейся в Июле Восемьдесят Девятого головой адвоката (как многие гости Сусанны) Камиля Демулена в Апреле Девяносто Четвертого. Знают, но радуются сходству двух революций, будучи уверенными, что, нарушив эффектную параллель, шеи наших демуленов не перережет нож гильотины. Все революции действительно похожи — прежде всего тем, что, раскатываясь, множат свои жертвы. А также тем, что, гордясь сходством с «прообразами», одновременно обещают стать исключением, свершиться без крови или малой — как бы незаметной, а потому извинительной — кровью.

Меж тем само равнение на «великие образцы» предполагает повторение «деталей». Утром 28 февраля монархист Шульгин спешит «взять» нашу Бастилию — Петропавловскую крепость. Он хочет опередить озверелую толпу, которая по логике революции должна туда хлынуть («он живо узнавал, что всё это уже видел, читал об этом, но не участвовал сердцем: ведь это и было во Франции 128 лет назад». В нестройной «рабочей марсельезе» Шульгин слышал «*ту*, первую, истин-

Тайна приоткрывается в его последнем мартовском сне — о мальчике «с дивно светящимся лицом» («Варсонофьев понимает, что мальчик этот — Христос»), держащем в руках бомбу, которая сейчас и неминуемо взорвет весь мир (640). Человечество подошло к порогу — ему суждено погибнуть, а то, что происходит в России, — предвестье всемирной катастрофы. В переводе с языка мистического на язык политической истории, социологии, исторической антропологии это значит: вошедшая в мир вместе с прежде невиданной войной и напитавшаяся ее убийственной силой русская революция страшно отозва-

---

ную марсельезу и её ужасные слова»). И мчится к крепости в автомобиле под красным флагом, дабы выпустить политических заключенных «на глазах толпы и показать ей пустые камеры». Но политических в крепости нет, все камеры пусты, а комендант и офицеры боятся не штурма (которым пока и не пахнет), а собственных солдат. Шульгин вроде бы и спас крепость (пережил «великий миг»), но, по сути, его акция ничего не изменила (гарнизон в дальнейшем будет разлагаться вместе со всем солдатским Петроградом), но — вопреки прямым намерениям ненавидящего охлос монархиста — внесла еще один символический штрих в картину торжествующей революции. И когда за день резко полевевший кадет Некрасов предлагает из Петропавловки запалить Адмиралтейство, спаситель русской Бастилии вскидывается, «как укушенный»: «Как? Мы, Дума, слава Богу, ведь не делаем революции?» И слышит встречный вопрос с подобающим разъяснением: «А — что же мы делаем? Мы и захватили власть» (177). Это «мы» включает любителя исторических аналогий, провоцирующих бессмысленные попытки перехитрить революцию.

Когда члены Исполнительного Комитета узнают о намерении Временного Правительства отправить царскую семью в Англию, их испуг и мстительность подпитываются памятью о французском прецеденте (522). Реальные обстоятельства оснований для тревоги не дают. Правительство не слишком озабочено эвакуацией монарха, план действий не выработан, император только что прибыл в Царское Село, литерные поезда к Торнео не движутся. Вскоре выяснится: министры легко в этом вопросе уступят — благостный премьер Львов объяснит Милюкову, что «перед Советом мы должны быть безукоризненно лояльны», и будет правильно понят: «Да собственно Павлу Николаевичу что ж? Ему с Николаем Вторым детей не крестить. Конечно, неприятны напряжения с послами. Но их не сравнить с ожесточением Совета». Милюков согласится и с проникновенным шепотом «бескрайне-доброго князя»: «Я боюсь, что Совет прав — и по сути». Не пристало кадетскому лидеру «обличье защитника кровавого тирана» (525). Руководствуйся члены Исполкома «политической целесообразностью» (сколь угодно гнусной), угадали бы они позицию своих «партнеров» и не стали бы снаряжать в Царское Село эмиссара со взрывоопасными указаниями (выполнить которые все равно не удалось). Но бал правит сомнительная (если задуматься) историческая аналогия:

«Тень вареннского бегства, королевской ночной кареты, — великие тени колыхались призрачно над неровным кружком исполкомовцев, в неполном кворуме вместо трёх дюжин.

Они чувствовали себя — Конвентом, и ещё больше и ответственней того прежнего Конвента!» (522).

Та же патетическая тональность (просвеченная жесткой авторской иронией) окрашивает внутренний монолог эсера (и сочинителя) Масловского, которому поручено исполнить туманную волю Исполкома (то ли переправить царя в Петро-

лась на судьбе всей планеты, сделала мир и человека, который при всех предшествующих изменениях оставался равным себе, качественно *другими*. Сон о близящемся конце света позволяет Варсонофьеву нащупать смысл прежде посетившего его сна о запечатлении церкви.

«И понятно ему, что церковь эта — в России, но вся Россия — под властью каких-то страшных врагов» (640).

Понятно и больше: церковь и есть сама Россия, захваченная врагами. Услышав двумя неделями раньше неурядный и неурочный «охальный революционный звон», Варсонофьев чувствовал:

павловскую крепость, то ли проверить надежность охраны — пламенный литератор угадывает и третий, становящийся для него главным и желанным вариант):

«Так! Настал. Настал великий час. Тот миг, для которого он и жил всегда <…>

Так! Революция подошла к своему роковому неизбежному повороту — бегству короля! Взлетающий миг! (Нотабене: однако и не споткнуться, тут — прямая конфронтация с правительством.) <…>

Зачем полунамёки, полупризнания и полуклятвы? Всё революционное нутро Масловского встрепенулось навстречу прямому ответу: ц а р е у б и й с т в о!» (524).

Исполкомовцы *не* планируют ликвидацию императора, Масловскому не отряжают каких-либо частей (да и нет их в наличии), чтобы захватить дворец. Оговорка в скобках показывает, что комиссар-литератор хоть и плавает в романтических мечтаниях, но по сторонам оглядывается. Экспедиция в Царское Село сведется к унижению Государя, что с практической точки зрения не нужно даже Исполкому — ситуативно «предъявление» царя (531) лишь тешит разозленного срывом своей «героической миссии» тщеславного Масловского. При этом, однако, вся история «предотвращенного бегства» балансирует на грани зримого фарса и потенциальной трагедии. Ликвидация царя сорвалась, но могла и *не* сорваться, «предъявление» же (человек превращается в автомат, полностью подвластный чужой воле) предсказывает страшный конец царской семьи. Тот самый, о котором грезит Масловский. Тот самый, что предписан французской моделью. (Новация в том, что наши последыши якобинцев не станут тратить время на имитацию суда.)

Наряду с мифологией французской революции, революционно настроенная публика охотно использует мифологию декабристскую: декабристами видят себя морские офицеры из окружения Непенина (131), подталкивающие адмирала к признанию революции (что не спасает его от пароксизма бессмысленной «классовой ненависти»); открывается общество памяти декабристов, объявляется всенародная подписка на памятник, профессоров призывают «шире ознакомлять народные массы с идеями декабристов» (619); сочинением о декабристах занят писатель-символист, автор запрещенной «цареубийственной» пьесы о Павле I, неназванный, но легко угадываемый Мережковский (633), вместе с женой и другом (Гиппиус и Философовым) привечающий «наследников» первых русских революционеров — от Керенского («изо всех политиков единственный на верной точке» — 633) до начинающего литератора (и несостоявшегося цареубийцы) Масловского (524).

Любование *своей* революцией неизбежно ведет к поэтизации революции всякой. И наоборот, апелляции (не важно, сколь осмысленные) к былым переворотам поднимают престиж сегодняшних событий. Так, гости Пухнаревич-Коногреевой с удовольствием исчисляют сперва «мартовские» революции, а потом революции XX века, и никто не задается простым вопросом: что же светлого принесли в мир убийства Цезаря, Павла Первого, Александра Второго, не говоря уж о Парижской Коммуне и новейших потрясениях (582).

«Это были удары — как если бы татары залезли на русские колокольни и ну бы дёргать» (362).

Сроки исполнились — сохранить живую Россию нельзя, ее можно лишь спрятать, «как запечатывались храмы старообрядцев» (640), веривших в пору никонианского торжества и безжалостных гонений, что конец света пришел, что завладел сатана святой Русью. Варсонофьеву важно, что обряд видит его дочь, с которой, после долгих лет разделенности, «они снова были душами слитно, всё иное вмиг отшелушилось как случайное»: дочь теперь сможет сберечь память об исчезнувшей России и отце, который тоже исчезнет. А если так, то, быть может, когда-то *запечатленная* Россия выйдет на свет.

Но это, если и случится, то в неразличимом будущем. А сейчас — упущено, как смекают в тот же самый день собравшиеся в Москве купцы, не только готовясь противостоять надвигающейся хлебной монополии (с хлебных неурядиц революция началась, эти же неурядицы, крепко усилившись, властвуют на исходе революционного месяца), но и невольно характеризуя суть всего, что произошло (648). Упущено. И напрасно Государь после отречения, наконец оставшись один, успокоив душу истовой молитвой, укорив себя за многое, решившись выразить в дневнике свои боль и обиду, («…и он снова раскрыл тетрадь и добавил ещё одной строчкой: "Кругом измена и трусость". И опять кончил. Но не кончил. Главное-то самое: "…и обман!"»), воззвав к матери («почувствовал себя маленьким, слабым мальчиком, неокрепшим»), напрасно он, уступивший революции император, обычный слабый человек, которому — как всем — «завтра начинать снова жить», надеется на лучшее:

«А может — Чудо какое-нибудь ещё произойдёт? Бог пошлёт вызволяющее всех Чудо?» (353).

Упущено. Государю «ответит» не ведающий о его скрытых мыслях Варсонофьев — в Четвертом Узле, давая заветные наставления не родной дочери (с ней выпало соединиться только во сне), а отыскавшим «звездочёта» Сане и Ксенье:

«Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится ему навстречу. Или скупо верит. Боюсь, что мы нырнём — глубоко и надолго» (А-17: 180)».

Последнее суждение продолжает мысли, рожденные мартовским сном о *запечатлении* России — о ее уходе.

«Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование.

И не видели, что ликование — только одежды великого Горя, и так ему и приличествует входить.

Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил.

Да, земных» (640).

Вывод Варсонофьева вовсе не противоречит тому, что к революции Россия шла земными путями (долгое, от десятилетия к десятилетию на-

растающее противостояние власти и общества при отдельном бытии народа). Вывод этот не предлагает счесть несущественным то сложное взаимодействие разноплановых и разномасштабных событий, что с крайней дотошливостью воссоздано на страницах «Марта…». Напротив, вывод этот позволяет понять, почему «поправимые мелочи» привели к апокалипсическому итогу. Вполне могли власти нормализовать хлебную торговлю в Петрограде, не прерывать в опасный момент занятия Государственной Думы, разумнее обращаться с расквартированными в столице солдатами, решительнее и жестче действовать в первый день бунта. Мог Родзянко не слать «набатных телеграмм», могли думские лидеры не составлять Временный Комитет, а уж коли составили, не входить в контакты с Советом. Могли Главнокомандующие не останавливать двигавшиеся к столице войска и не слать телеграммы о пользе отречения. Мог Государь не покидать Ставки, не поддаваться напору Рузского, не отказываться от трона. Могли Алексеев, Николай Николаевич, Родзянко, Гучков, Милюков, князь Львов, думские златоусты, генералы, высшие офицеры, администраторы, железнодорожники, связисты, адвокаты, интеллектуалы, даже Керенский и лидеры левых партий действовать иначе — осмотрительней, последовательней, думая хотя бы о своем будущем?[13] Могли. Но не стали.

Никто из политических (или втянутых в политику) деятелей, сыгравших в февральско-мартовских событиях важную роль, не желает своей стране зла. Но из столкновения поступков отчетливо разных людей (индивидуальность каждого прописана сверхтщательно: сколько-нибудь похожих друг на друга персонажей в «Красном Колесе» вообще нет)[14] — движимых разными чувствами и помыслами, ставящих перед собой разные задачи, то и дело вступающих в конфликты — следует такой потря-

---

[13] Ни одному из главных «движителей» революции она ничего хорошего не дала. В лучшем случае — изгнание. И это касается не только «цензовиков» и генералов, но и левых социалистов, включая демона-теоретика Гиммера. Урожай достанется двум статистам: несколько раз иронично упомянутому туповатому петроградскому подручному Шляпникова и вернувшемуся в середине марта из сибирской ссылки молчуну с трубкой («И за что его, такого несамостоятельного, сделал Ленин членом ЦК?» — 569) — это будущий многолетний глава правительства и «милюковского» министерства и будущий хозяин страны, Молотов и Сталин.

[14] Тем значимей кажется отмеченное выше исключение — сходство Воротынцева и Кутепова. Вероятно, это объясняется тем, что Солженицын счел должным сделать протагонистом (а Воротынцев, при всех оговорках о принципиальной установке автора на полифонию, все же главный герой повествованья) персонажа вымышленного, в которого вложил некоторые черты исторического Кутепова. С другой же стороны, он не мог (не хотел) приписать героические действия Кутепова в Петрограде Воротынцеву — и ради исторической (и этической!) точности (нельзя не воздать долг мужеству реального человека), и потому, что эпизод с Калисой (весьма значимый для сюжетной линии Воротынцева) мог произойти только в Москве и только в роковые дни.

сающий результат, какого не добилась бы и сплоченная группа сверхпрофессиональных заговорщиков, если б такая существовала и ставила себе целью уничтожение России.

В подсказанных таинственными снами размышлениях Варсонофьева проступает символическое определение революции: это — горе в одеждах радости; это — ликование, мотивированное слепотой; это — невозможное в нормальной жизни, где интересы и идеалы разных людей и общественных групп всегда различны (что совсем не обязательно подразумевает озлобленную вражду), *всеобщее* (конечно, лишь стремящееся таким предстать) *единение*. Революция, если свести воедино символы, мерцающие в раздумьях Варсонофьева, — это *ложный праздник*.

Революция начинается с отмены привычных общественных барьеров. «Чистая публика», весело играючи, поддерживает вываливших на Невский рабочих:

«И придумали такую забаву, сияют лица курсисток, студентов: толпа ничего не нарушает, слитно плывёт по тротуару, лица довольные и озорные, а голоса заунывные, будто хоронят, как подземный стон:

— *Хле-е-еба… Хле-е-еба…*» (2).

В эту игру вовлекаются казаки и солдаты. Попытки пресечь игру (отменить праздник) вызывают все большее сопротивление. На третий день волнений полиция «стала чувствовать власть улицы», стражи порядка, еще пытающиеся исполнять свои обязанности, обретают статус врагов, с которыми не должно церемониться, — начинаются нападения на полицейских. Когда казак предательски убивает ротмистра Крылова, толпа приветствует преступление — пристава добивают, казака качают (29). Гибель Крылова не вызывает у толпы ужаса, воспринимается как должное. Улица экспроприирует у власти право на насилие. Бунт волынцев (как и предшествующий ему, но захлебнувшийся бунт павловцев) происходит потому, что солдаты не хотят стрелять в демонстрантов — они присоединяются к «празднику», который уже никак не может обойтись без кровопролития. «Свобода» требует жертв (убийство Лашкевича, за которым последуют расправы с другими офицерами — 70,72). Для того чтобы преступление перестало быть преступлением, необходимо сделать преступниками (борцами за свободу) как можно больше народу. Поэтому Орлов «по-рабочему», «кулаком по шее» поднимает не намеревавшихся бунтовать солдат, поэтому волынцы устремляются к другим полкам: «Если преображенцев сейчас не подымем — это нам конец!!» (74). Страх от содеянного маскируется благородными восклицаниями. Нарастание насилия оказывается одновременным расширением праздника — в поворотный понедельник рабочие, солдаты и чистая публика сливаются воедино, ликование охватывает «весь Петроград». Те, кто сохраняет верность долгу, исключаются из «народного целого»: если кто-то не желает радоваться вместе со «всеми», то с этим «отщепенцем», «врагом», «палачом» можно делать все что угодно. Чем более «всеобщим» становится революционное движение, тем больше оно нуждается во врагах: параллельно стихийным расправам с офицерами и полицейскими идут аресты «ре-

акционных» сановников. «Низами» движения (солдаты и городская толпа) и его «верхами» (думцы, либеральные интеллигенты, социалисты) владеет одно и то же чувство — эйфория, отягченная страхом возмездия за переход Рубикона. Страх требует «продолжения революции» (пусть и называемого ее «обузданием», «введением в рамки»), которому неизбежно сопутствуют новые жертвы, новые пароксизмы жестокости, новые разрушения тех общежитейских норм, на которые никто сперва и не собирался посягать. Стремление вытеснить из сознания ужас происходящего (свести его к случайным эксцессам, неприятным, но исторически объяснимым и не отменяющим «величия» и «благотворности» революции) усиливает лихорадочное — «праздничное» — веселье, в котором отдельный человек вместе со способностью суждения утрачивает собственную личность, становится частицей опьяненного «целого».

Архаический праздник предполагает, с одной стороны, всеобщее единение (исключение делается для специально назначенных игровых врагов, «козлов отпущения»), с другой же — ритуальные нарушения привычных границ, мену социальных позиций (например, святочное ряжение господ в мужицкое платье, а простолюдинов — в господское), особый характер бытового и речевого поведения. Эти черты в той или иной мере присущи и праздникам нового времени — как церковным (достаточно часто генетически связанным с прежними языческими праздниками и сохраняющим в трансформированном виде их ритуальные особенности), так и государственным. Однако любому празднику в годовом цикле отведено определенное и жестко ограниченное время. Революция (которую образованное общество ожидало десятилетиями, которую уставший от войны и от обусловленных войной незнакомых прежде несправедливостей народ воспринимает как избавление от бед) двояко разрушает календарные установления: она происходит внезапно и не предполагает завершения[15]. Напротив, ее возможный конец воспринимается инициаторами и деятельными участниками со-

---

[15] Характерно, что узаконенные, предписанные календарем (и соответственно работающие на государственную стабильность) швейцарские карнавальные празднества вызывают резкую неприязнь Ленина:

«Три недели назад ликовал этот город на своём дурацком карнавале <…> сколько засидевшихся бездельников к тому готовились, шили костюмы, репетировали, сколько сытых сил не пожалели, освобождённых от войны! — половину бы тех сил да двинуть на всеобщую забастовку!

А через месяц, уже после Пасхи, будет праздник прощания с зимой <…> да можно б и похвастаться этим всем трудом (на празднике ремесленники и крестьяне шествуют с выразительными символами своей успешной работы. — *А. Н.*), если б это не выродилось в буржуазность и не заявляло б так настойчиво о своём консерватизме, если б это не было цепляние за прошлое, которое надо начисто разрушать. <…> И опять сотни трубачей и десятки оркестров, и духовые верхом, всадники в шлемах и кольчугах, алебардисты и пехота наполеоновского времени, их последней войны, — до чего ж резвы они играть в войну, когда не надо шагать на убойную (ср. самочинные парады, которыми изо дня в день тешатся в Петрограде

бытий не как закономерное возвращение в будни, но как страшное наказание.

Парадоксальным образом, чем больше революционный праздник подчиняет себе реальность (становясь все страшнее, кровавей и необратимей), тем сильнее он обнаруживает свою *игровую* (от чего вовсе не менее зловещую) природу. Не одному павловскому прапорщику Андрусову все, что творится вокруг, кажется «каким-то головоломным спектаклем» (121). В повествовании постоянно возникают карнавальные, маскарадные, театральные, цирковые метафоры, не столько измысленные автором, сколько предложенные ему самой историей.

Так, рассказывая о самом начале петроградских волнений, Солженицын знаково упоминает о событии иного сорта, что притягивало 24 февраля рафинированную публику:

«…в Александринке среди бела дня, в будни, когда весь трудящийся народ на работе, — там собирался весь театральный, и это бы ладно, но и весь притеатральный мир, какой-то сбор ночных призраков днём, — присутствовать на генеральной репетиции какого-то, будто бы небывало особенного, четыре года готовимого спектакля режиссёра Мейерхольда по лермонтовскому "Маскараду", — так можно было понять, что Мейерхольд сделал там больше и важнее Лермонтова» (15).

Внутренний монолог потомственного революционера Саши Ленартовича, презирающего светско-декадентские забавы и раздраженного очередным «ускользанием» возлюбленной, что отправилась на модное «безыдейное» действо, писатель приправляет жесткой иронией. Пред-

---

революционные части, желающие избежать отправки на фронт. — *А. Н.*), а предатели социал-патриоты не зовут их обернуться и начать гражданскую!» (338).

В дальнейших рассуждениях Ленина швейцарские праздники увязываются с общим ненавистным ему размеренно-буржуазным укладом этой страны. Ленин, в чьем внутреннем монологе закономерно возникает сюжет «образцовой» революции (на роскошных аристократов, которых весело изображают в ходе праздника цюрихские ремесленники, «не хватило <…> гильотины Великой Французской»), мечтает о совсем другом карнавале, том самом, что уже вовсю развернулся в российской столице.

В разговоре с Андозерской историк Кареев винит в случившемся «якобы извечную русскую праздность, изобилие религиозных праздников прежде, которые всегда и мешали нам накоплять культурные и материальные ценности. И вот эти навыки рабских времён России теперь, мол, механически переносятся в Россию новую». «Западнические» суждения Кареева удручают его собеседницу и, разумеется, не разделяются автором, но определенный резон должно усмотреть и в них. В той же главе (несколько выше) сама Ольда размышляет об оскудении монархического чувства:

«А кто мог серьёзно праздновать — 4 дня рождения (Государя, наследника и двух императриц), 4 тезоименитства, день вступления на престол да день чудесного спасения — 10 дней в году» (619).

Привычка к праздникам в сочетании с «девальвацией» (смысловым оскудением) официальных торжеств по-своему послужила февральско-мартовскому срыву в безумие.

ставление, которое кажется герою оскорбительной несуразицей (ночь обращена в день, режиссер доминирует над автором, собирается в Александринке ненавистное — «призрачное» — общество), происходит одновременно с не менее абсурдным спектаклем уличным, в котором вместе с покинувшим работу «трудящимся народом» азартно «играют» как сверстники-сочувственники Ленартовича, так и иные из «призрачных» (богатых, светских, изысканных) поклонников нового искусства. Хотя Солженицын умалчивает о будущей карьере постановщика «Маскарада», имя Мейерхольда говорит само за себя. «Автор спектакля» (это гордое самоопределение Мейерхольда здесь уже уместно, хотя в оборот оно будет введено позднее), продемонстрировавшего все внешнее великолепие императорского театра (косвенно — самой империи), совсем скоро станет одним из главных «художников революции». Когда ближе к финалу (17 марта — предпоследний день Узла) тройственный союз литераторов-символистов возмущается роскошной «бредовой фантазией» вообще и «безвкусным спуском траурного флёра с розовым венком» в особенности, собеседники не могут уразуметь, что «очередное па» былого «обласканца директора императорских театров», ныне клеймящего «Мир искусства», вовсе не случайно. Доводя в «Маскараде» до предела изыски имперской культуры и тем самым хороня (быть может, бессознательно) «петербургский период», Мейерхольд уже готов, отдавшись новой силе, «творить новую жизнь» (634). Его «Маскарад» (а не новые революционные пьесы, что обдумываются символистами) парадоксально, но крепко связан с тем грандиозным площадным действом, начало которого совпало с генеральной репетицией в главном театре умирающей империи. Новый — кровавый — маскарад-карнавал-спектакль приходит как мнимое преодоление (но и продолжение) маскарада старого.

Приняв роль штаба революции, Таврический дворец в одночасье утрачивает былое великолепие. Дело не в том, что солдатские толпы просто не умеют вести себя пристойно (хотя это и так). Барские покои нужно изгадить именно потому, что они барские. Нужно не только опустошить буфет (тут есть какая-никакая мотивировка — есть хочется и в революцию хочется), но и надымить цигарками, затоптать паркет, порушить мебель, разодрать занавеси и, наконец, надругаться над портретом Государя (символическая репетиция еще не поставленного в повестку дня цареубийства). И не важно, что здешние «господа» изначально мыслились частью восставших как союзники-защитники. Как не важно и то, что сами оставшиеся в Таврическом думцы (и прибывшие сюда дружественные им интеллигенты), по сути, соучаствуют в глумлении над цитаделью российского парламентаризма. Как не важно, что еще вчера для абсолютного большинства бунтовщиков царь был неколебимой святыней, а о низвержении монархии они не думают и сейчас. Важно само по себе нарушение извечных границ, утверждение своей (на самом деле — массовой) воли, которое и творит праздник.

Убивают, избивают, разоружают офицеров и полицейских, врываются с обысками в прежде недоступные господские квартиры, арестовывают

кого ни попадя, точно так же, как режут шашкой окорок, палят в воздух, плюют на пол шелуху семечек, неуставно расстегивают шинели, цепляют красные банты, — знаковая составляющая этих акций неизменно выше практической. Конечно, рассупонившись ходить вольготнее, но гораздо важнее показать всем и каждому, что ты теперь свободен. Большинство петроградских бунтовщиков в шинелях тем поначалу и ограничиваются. Преображенский унтер Круглов, свирепо выгоняющий солдат на бунт, предложивший себя в начальники караула Таврического, а позднее измывающийся над арестованными сановниками, — персонаж особой, авантюрной и садистской, складки (77, 103, 227, 396). Потому так принципиальны для лидеров Совета пункты Приказа № 1 об отмене титулования офицеров и отдания чести. Немногие из вдруг вознесшихся демагогов точно просчитывают перспективу разложения армии и сознательно решают эту задачу: необходимо польстить солдатам (вы теперь «граждане») и навязать им (не только взбунтовавшимся, но и тем, кто о революции еще не слыхал) «новую» поведенческую норму (бесовскую «без-образность»).

Опьяненная безнаказанностью (и первой кровью) низовая масса революции инстинктивно стремится всяким новым разнузданным жестом закрепить воцарившийся хаос как порядок. Утопия провозглашаемого равенства в реальности приводит к «карнавальной» мене верха и низа. Прогрессивная молодежь, весело разъезжавшая в начале «праздника» с солдатней на реквизированных автомобилях, добровольно (либо подчиняясь общему настроению) обращается в прислугу «меньшей братьи». В аристократическом особняке устроена столовая для солдат:

«…молодые Сабуровы и гимназистки, курсистки и студенты дружеских семей подносили, услуживали, накладывали, бежали на кухню за сменой — и были веселы, громки, в большом оживлении от своей деятельности» (381).

В Москве курсистки «чистили овощи, варили щи и макароны в невероятных количествах», дабы кормить солдат и толпу, что довольно быстро надоедает Ксенье — на второй день она чистить картошку не пойдет (316).

С энтузиазмом заведует солдатской чайной на Петербургской стороне и прежде революционно настроенная Варя, но и ей не удается закрыть глаза на происки примазавшихся к революции мошенников и хамство «некоторых типов», что «регулярно ели у них по три-четыре раза в день, и оставались ночевать тут вот уже на четвёртую ночь, без винтовок» (395).

С другой стороны, прислуга громогласно заявляет о своих правах, не щадя ни монархистки Андозерской (504), ни московских либеральных евреек, уверенных, что «революция прислуги — это и есть из первых актов черносотенства» (560).

В торжествующем хаосе невозможно отличить революционеров, врывающихся для обысков в квартиры (и заодно там кое-какие вещички прихватывающих), от налетчиков, смекнувших, что пришло время поживиться. Распахнув двери тюрем (тут низовая жажда воли и спра-

ведливости взаимодействует с идеологическими концептами либеральных верхов), революция дарует свободу уголовникам, которые отнюдь не намерены оставлять свой промысел. Зато циркулируют трогательные слухи о благородстве мошенников:

«…на Хитровом рынке полицейские обещали ворам водку, чтобы помогли скрыться; а хитрованцы, хотя водку и взяли, но привели полицейских в городскую думу: "Поверьте, господа, что и мы, хитрованцы, не нарушим порядка в такие святые дни". И будто бы на Хитровом рынке, действительно, поразительный порядок…» (316).

Гуляют и слухи зловещие — о носящемся по всему Петрограду загадочном черном автомобиле, из которого ведется стрельба, о приспешниках старого режима, палящих в народ из окон, о грандиозном заговоре черносотенцев, о погромах, о том, что царь намеревался открыть фронт немцам. «Врагом» можно назначить кого угодно, именно потому, что настоящих противников у революции нет, а мифология требует их выявления. В равной мере бессмысленны аресты бывших министров, сановников, генералов и захваченного дома юного офицера:

«— За что вас арестовали? <…>

— Наверно за то, что фамилия немецкая. И что стрелял с чердака.

— А какая именно фамилия?

— Кривошеин.

— Позвольте, какая ж это немецкая? — улыбался тот.

— Такая ж, как стрельба с чердака» (192).

Не больше толку в штурме покинутого Мариинского дворца (152) или атаке на Инженерный замок (195), которые проводит Ленартович, — оба боевых маневра продиктованы мифологией революции и подчеркнуто театральны. Но только в таком хаосе, где знаки начисто съедают значения, и возможны «шутовские» проделки с большими практическими последствиями. Так ротмистр Воронович, не располагая какими-либо реальными силами, наглым розыгрышем (который может в любую минуту сорваться, но не срывается) обезоруживает лейб-Бородинский полк (304). Так никому не известный Бубликов становится организатором охоты за царским поездом (231, 239), которая в конечном итоге приведет к отречению.

Можно ли счесть Вороновича и Бубликова главными виновниками победы революции? Нет, нельзя. Напротив, революция привела этих рисковых авантюристов (людей безусловно ярких и изобретательных, которые в других ситуациях могли бы принести немало пользы отечеству) к их «счастливым находкам». Все принципиально значимые события роковых дней — от сговора волынских унтеров до формирования двух самозваных властных центров (Временного Комитета Государственной Думы и Совета), составления генеральского комплота, отречений императора и его брата — следствия того хаоса, который занимает место давно утратившей всякую силу государственной власти. Громокипящая риторика Родзянки, политическое конструирование Милюкова, давняя идея Гучкова упредить революцию дворцовым (поездным) переворотом, честолюбивые затеи иг-

рающего разом за «цензовиков» и социалистов Керенского, теоретические построения Гиммера могут обрести (и обретают!) плоть только после того, как петроградский опыт последних дней февраля наглядно показал: власти больше нет — праздник свободы уже наступил.

Нельзя сказать, что на рубеже февраля и марта ведущие политические игроки не чувствуют страха. Они как раз очень боятся и контрреволюции, и торжества охлократии, то есть хаоса, и пытаются противостоять обеим опасностям. Они не могут понять другого — что первой опасности нет вовсе, а борьба с этим фантомом (не допустить гражданской войны!), на которую кладутся незаурядные усилия, споспешествует размыванию и без того жалких остатков государственного целого. Родзянко в своих переговорах со Ставкой то резко преувеличивает масштабы петроградского бунта, то рисует картину всеобщего успокоения, то пугает, то успокаивает, то вновь пугает генерала Алексеева, потому что сам не способен увидеть события в их страшной конкретности, потому что, искренне полагая себя сдерживателем революции, он уже стал ее слугой. И дело тут не сводится к личным чертам (честолюбию, самовлюбленности, пылкости, склонности к патетическим речам) председателя последней Государственной Думы. Разразившись и не встретив сопротивления (действия Кутепова не только безуспешны, но и просто неизвестны обитателям Таврического дворца), революция подчиняет себе буквально *всех* политиков. Ибо даже те из них, что революции обоснованно страшились, давно прониклись убеждением, что при этой странной власти катастрофа рано или поздно должна разразиться. Алексеев доверяет информации Родзянки (которую позднее сочтет вульгарным обманом), ибо внутренне к революции готов. Примерно то же происходит с Главнокомандующими. Переиграть (обуздать) революцию пытаются — всяк по-своему — и Родзянко, и Гучков, и Милюков, и Алексеев, но их попытки обречены на провал. Признание революции (в любой форме) только ее усиливает. Пока политики ведут переговоры, строят планы, согласовывают интересы, вырабатывают компромиссы, буквально из пустоты (безвластие уже наступило) выныривают Воронович или Бубликов и лихо перенаправляют ход истории, о чем вожди общества, метящие в лидеры государства, узнаю́т, когда свершившегося уже не поправишь.

Революция живет враждой и постоянно ее множит. Это верно не только для улиц и ставших беззащитными частных квартир, но и для стана «победителей» — Таврического дворца. «Цензовики» обоснованно боятся левых интеллигентов, представляющих «народные массы», а те отвечают им взаимностью. Левых лидеров, сформировавших советский Исполком, пугает стоящее за ними плохо управляемое многоголовое чудище самого Совета. Меж тем почуявшие силушку рабочий Петроград и запасные полки не вполне подчиняются и вроде бы представляющему их Совету. Хотя этой клокочущей массой удобно стращать «буржуазные круги», но страх она вселяет и в тех, кто ею пытается манипулировать. Думский Комитет вместе со своим громокипящим председателем быстро утрачивает какое-либо значение: бюро Прогрессивного блока не пускает

Родзянку во власть. Но и Милюков вынужден уступить премьерство бесцветному (не только с точки зрения лидера кадетов) князю Львову, терпеть в правительстве сомнительных персонажей, жертвовать товарищами по партии. Многих коллег Милюков почти нескрываемо презирает (примерно так же относится к своим, навязанным ситуацией, союзникам социалист-интернационалист Гиммер). Алчущий власти и популярности Керенский мечется между думцами и Советом, вымогая здесь и там право взять министерский портфель. Войдя же в правительство, вскоре начинает примериваться к посту Гучкова. Отречение Михаила (нежданный конец монархии) вызывает в новорожденном Временном правительстве первый (далеко не последний) кризис: Гучков и Милюков едва удерживаются от выхода в отставку. Никакого единства нет ни в Совете, ни в его Исполкоме: всякий сколько-нибудь приметный умник и любая партия тянут одеяло на себя — что уж говорить о всегда держащихся наособицу и противостоящих всем и вся большевиках. Но и в тесной кучке «ленинцев» нет ни единства, ни согласия (Шляпников постоянно недоволен своим окружением), а возвращение из ссылки склоняющихся к «соглашательству» большевиков-сибирцев только добавляет сумбуру. То здесь, то там появляются самозванцы, предъявляющие мандаты Думского Комитета, Временного Правительства, Совета, Исполкома — когда подлинные (но неизвестно почему выданные), а когда и фальшивые. Обе ветви петроградской власти плохо понимают, как выстраивать отношения с армией. Армейское командование не может уяснить, кому должно подчиняться. За назначением Николая Николаевича на пост Верховного стремительно следует его отставка. Гучков начинает чистку генералитета, но его собственные позиции никак не назовешь сильными. Родзянко интригует против генерала Алексеева. Политическая путаница растет и усложняется не по дням, а по часам — никто вполне не доверяет никому, включая ближайших сотрудников. (Исключение — вечные трудяги вроде Шингарёва, Ободовского или Гвоздева, но они-то как раз серьезно повлиять на ситуацию не могут, ибо заняты неотложными практическими делами.)

Даже беглый конспект того собственно политического сюжета, что развернут Солженицыным с исчерпывающей полнотой (детально воссоздано множество ситуаций, как кризисных, так и рутинных; обрисованы постоянно меняющиеся позиции десятков «творцов истории» с непременным погружением во внутренний мир того или иного персонажа), подводит стороннего наблюдателя к выводу: да на второй-третий день проклясть эту самую революцию должны были если не все ее творцы, то изрядная их часть. Вывод глубоко ложный. Тревога, опасения за будущее, взаимное раздражение, физическая усталость (ведь не только для эффекта падает в обмороки — при всех его артистических склонностях — Керенский; ведь смаривают дикие ночевки в Таврическом и «железного» Милюкова), частные поражения не отменяют эйфорического настроя.

В этом плане «верхи» и «низы» (где тоже недовольства хватает) различаются не по существу, а по форме. «Низам» (но и студенчеству, и многим городским обывателям) нужны уличные гуляния и митинги (солда-

там, кроме того, — самостийные парады), «верхам» — съезды, торжественные заседания, банкеты. Нужны не только для поддержания тонуса (одоления внутренней тревоги), но и потому, что многие сердца действительно полнятся счастьем и надеждой, а чувства эти хочется продемонстрировать миру и разделить со всеми. Не одна лишь тактика заставляет политических противников вместе выходить к толпе и в революционных речах обходить разногласия (что удается далеко не всегда, подчас «левые», настраиваясь на волну масс, нарушают правила игры), — пусть истинного единства нет, пусть проснувшийся народ порой являет звериную дикость, пусть не все у нас сразу получается (в этих и иных неприятных казусах виноват, в первую очередь, проклятый царский режим), но ведь дальше-то все будет хорошо! А значит, и сейчас должно закрывать глаза на «эксцессы» (полегоньку ошибки исправляя), не преувеличивать «левой опасности», игнорировать клевету и оскорбления, искать вожделенного согласия, сносить бытовые неудобства, работать на благо нераздельных — отныне и навсегда — отечества и революции. Так, не только в патетических речах, но и в общественном сознании, происходит грандиозная подмена: антонимы становятся синонимами, революция, вся суть которой в разрушении России (как и любой страны, охваченной этим недугом), революция, которая Россию с ее вековыми религиозными и культурными традициями уничтожит (насколько это возможно), революция, из-под корежащего воздействия которой мы не можем выбраться почти столетие, эта самая революция для начала с Россией *отождествляется*.

«Никогда Вера не видела — вне пасхальной заутрени — столько счастливых людей вместе зараз. Бывает, лучатся глаза у одного-двух — но чтобы сразу у всех?

И это многие подметили, кто и церкви не знавал: пасхальное настроение. А кто так и шутил, входя: Христос Воскресе! Говорят, на улицах — христосуются незнакомые люди» (271).

Дело происходит не на митинге или съезде — в Публичной библиотеке. Читатели пришли сюда по устойчивой привычке, но заниматься с книгами они не могут — вдруг нахлынувшее счастье не позволяет.

«Как будто был долгий не пост, не воздержание, но чёрный кошмар, но совсем безпросветная какая-то жизнь, — и вдруг залило всех нечто светлее солнца. Все люди — братья, и хочется обнять и любить весь мир. <…> Дожили они, счастливцы, до такого времени, что на жизнь почти нельзя глядеть не зажмурясь[16]. Отныне всё будет строиться на любви и правде! <…>

---

[16] Мотив «слепоты», то реальной, то метафорической, сопрягаясь с близкими ему мотивами «глухоты», «путаницы», «маскарада», «обмана», проходит сквозь весь Третий Узел. Сущность многолетней деятельности оппозиционных партий идеально точно описывает реплика Струве: «Все мы любим Россию — да зряче ли?» (44). Обычные люди (не только радикальные интеллигенты и угодливые газетчики) не хотят видеть революционных зверств. Ложная информация становится одним из важнейших средств давления на императора и генералитет: они дей-

И Вера думала: может быть, действительно, начала братства — вот этого, уже ощущаемого между совсем чужими людьми, — теперь законно вступят в жизнь, разольются, — и люди начнут безкорыстно делать друг для друга? И таким неожиданным путём победит христианство?» (271).

«Пасхальная» трактовка происходящего навязана самой революцией, кощунственно пародирующей — в дни Великого поста — праздник праздников. Пасха о Великом посту случиться *не может*. И только зловещая подмена может «превратить» дни покаяния, воздержания, внутреннего сосредоточения в наконец-то избытый «чёрный кошмар». Характерно, что «одна с собою Вера не так уж и испытывала чёрный кошмар прежнего, но когда вот так собирались — то этот кошмар всё явственней клубился над ними» (271). Без лживо очерненного образа прошлого, как и без придуманных врагов, революции быть не может. «Пасхальные» эпизоды (в полном согласии с исторической реальностью) возникают на страницах «Марта…» несколько раз и всегда обнаруживают свою «квазипасхальную» — фальшивую и кощунственную — суть.

Благовест, раздавшийся в Москве утром 3 марта (первый день по отречении, хотя о том, что Россия осталась без царя, еще мало кто знает), повергает в ужас мистически чуткого Варсонофьева:

«Но этот был — не только неурочный, не объяснимый церковным календарём, — утром в пятницу на третьей неделе Поста, — он был как охальник среди порядочных людей, как пьяный среди трезвых. Много, и безтолково, и шибко, и хлипко было ударов — да безо всякой стройности, без лепости, без умелости. <…>

Как в насмешку надо всеми его раскаяниями, обдумываниями, взвешиваниями — хохотал охальный революционный звон» (362).

Ксенья Томчак не была «блюстительница постов» (и тем более не обладала духовной интуицией Варсонофьева), но странный звон и ей показался неуместным и даже обидным, хотя признаться в этом она

ствуют вслепую, не видя, что же происходит в столице. «Шутка» ротмистра Вороновича может быть провернута только в темноте: «Вот-вот забрезжит, и увидят бородинцы (уже разоруженные. — *А. Н.*) единственную пушку без замка, два пулемёта без лент и никакой силы при вокзале» (304). Удивительно, но один раз губительная слепота (сопряженная с карнавальным блеском) оказывается спасительной. Ожидая в комнате с двумя зеркалами неминуемой расправы, Кутепов «увидел в каждое из зеркал, как по каждой из анфилад бежал, приближался рабочий с револьвером в руке. Они настолько были похожи, сходностью роста, типа, и чернотою одежды, и красной розеткой на левой стороне груди, что сперва ему померещилось, что один есть отражение другого, потом сообразил, так быть не может.

Ещё потом сообразил, что если он их видит из угла, то и они каждый уже видят его в углу. <…>

А случилось иначе: они не видели. Верней, они были, наверное, заворожены своим собственным страшным видом, вряд ли они имели привычку к большим зеркалам. И еще было яркое солнце в окна. <…>

Удалились — Кутепов перекрестился. Это было то, что называется простое Божье чудо. Бог просто отвёл им глаза» (180).

постеснялась. Московская толпа не знает, как на это диво реагировать:

«Некоторые шли смеялись, а другие крестились по привычке. Правда, слышали, что этот звон — подменный какой-то: не только не все церкви, но и полезли на колокольни ненастоящие, видимо, звонари: сбивались и перебивались нестройно» (416).

Злоключения Ярика Харитонова заканчиваются (в рамках Третьего Узла) на лесном солдатском митинге, где нижние чины один за другим ручкаются с офицером, сперва не подозревающим, что таким образом его намерены унизить.

«Уже не вид, не выражения их различал Ярослав — а только их ладони жёсткие, бугорчатые, плоские, да крепкие схваты, иные как клещи.

И — жали, и — жали. Больше — молча, а кто приговаривал "господин поручик", а кто бормотал "ваше благородие".

И — шли, и — шли, как в церкви к кресту прикладываются, все по порядку <…>.

…Не приложиться стояли к нему в рядок, а — приложить, как становится взвод в очередь к насилуемой девке» (611).

Солженицын не говорит здесь о пасхальном христосовании (оно упомянуто в главе о Публичной библиотеке), но контекст (как главы, так и всей «квазипасхальной» линии «Марта…») подсказывает, что не только подход за благословением к священнику, но поцелуи Светлого Воскресения (действительно отменяющие сословные, имущественные, культурные и прочие различия, действительно преображающие незнакомых людей в братьев) зловеще пародируют «насилующие» Ярика «наши добрые мужики», которым «так долго было отказываемо во всём» (611). Квазипасхальная семантика этого эпизода становится очевидной, если вспомнить о первом неприятном потрясении Харитонова от своих солдат, вдруг оказавшихся мародерами: «Нет, хмельность лиц была не пьяная, а благодушная — доброжелательность пасхального разговления» (А-14: 29), к которому солдаты спешат приобщить своего подпоручика, предлагая ему испить немецкой «какавы» (на смысловую связь харитоновских эпизодов Первого и Третьего Узлов указывалось в статье об «Августе Четырнадцатого»).

Наконец, в той же Публичной библиотеке происходит разговор Веры с кадетом-интеллектуалом Кокошкиным, занятым, среди прочего, церковными делами. (Заметим, что глава эта следует прямо за рассказом о лесном митинге.) Выясняется, что новое государство намерено навести в Церкви порядок, а точнее — поставить ее на место:

«Хватит! Церковь — слишком долго не могла существовать без полиции. Теперь упразднена полиция — будет упразднена и полицейская церковь» (612).

Однако и отделить Церковь от государства, дать ей полную свободу Кокошкин и его единомышленники не собираются:

«Пока мы не достигли полной религиозной свободы — наш долг очистить церковь от негодных элементов. А если уж и нынешний переворот не обновит церкви — ну тогда, знаете, она безнадёжна» (612).

В начале главы (до разговора с Верой) Кокошкин бросает реплику:

«Хотя мой род записан в Шестой Книге, но я ещё поискал бы человека, кого бы революция сделала счастливее, чем меня»[17].

Слова эти отчетливо корреспондируют с «квазипасхальным» настроением посетителей Публичной библиотеки (271), что заставляет расслышать в рассуждениях Кокошкина нечто большее, чем типовое небрежение интеллигента «прогнившей» синодальной структурой или столь же типовое равнодушие к религии. Новое царство любви и правды будет возводиться без Церкви, остающейся, впрочем, под жестким контролем светского государства. Да и сейчас с Церковью разбираются не только обер-прокурор Владимир Львов и рафинированный Кокошкин, но и «простые» носители революционного духа.

«В одной церкви на Лиговке священник произнёс скорбное слово об отречении царя. Зашедшие в церковь солдаты прервали проповедь и повели его вон. "Что ж, убивайте за правду", — сказал священник» (612).

Этого священника и этих солдат Кокошкин не замечает (а Вера не решается ему о них рассказать), он посмеивается над воззванием Синода и, вероятно, над изменениями, внесенными в ектенью, которые повергают в ужас Верину няню:

«Она — верить такому не могла. Там, в городе пусть чертобучатся как хотят — но как же это т у т подменили? что ж, нас и в храме хотят облиховать? да куда ж душе деться, не из храма ж вон? Что это, и церковь отпала? Теперь и церковь будет ненастоящая?..» (430).

Именно такой — ненастоящей — хотят видеть церковь солдаты, прервавшие неугодную им проповедь, с одной стороны, и просвещенный свободолюбец Кокошкин — с другой. Закономерно, что вести о том, как действует в церковной сфере новая власть, сильно тревожат долгие годы мечтавшего о реформе отца Северьяна. Он угадывает подступающие опасности:

«От нас требуют признать "новый строй" совершенным? Но Евангелие — не разрешает нам так. Но ни в какие временные общественные формы — глубины Церкви не вмещаются.

В этих быстрых решительных жестах — издали не угадываешь молитвы.

Если мы ещё усилим наши церковные болезни? — да в этом общем урагане по стране ещё увеличим наши заблуждения? — то к чему придём?» (578).

Няня может рыкнуть на солдат, заявившихся в храм с красными лоскутами, и сорвать подколотый к иконе Преображения красный бант, но вернуть привычные слова в ектенью («Да царь же — живой, как могут за него не молиться?..») не в ее силах (430). Весь эпизод Всенощной с выно-

---

[17] Депутаты Учредительного собрания от кадетской партии Фёдор Фёдорович Кокошкин и Андрей Иванович Шингарёв будут беззаконно арестованы большевиками. Зверски убиты в больнице, где содержались после ареста, ворвавшимися туда пьяными матросами.

сом Креста Господня строится на напряженном противоборстве Церкви и обезумевшего мира, а последний ее фрагмент о действительно «братственной, взаимоуступчивой толчее», которая выливается «в струйку к аналою», и венчающие эту главу (430) слова молитвы — «Твоим Крестом разрушится смерти держава» — вселяют надежду. Но не отменяют тревоги за будущее Церкви (нам хорошо ведомое). И — в совокупности с теми эпизодами, о которых шла речь выше, — позволяют ответить на вопрос, какая пасха может случиться во время Великого поста.

Истинный праздник знаменует Воскресение Христово. Праздник подменный, Пасху имитирующий и невольно пародирующий, по сути ее отрицающий, свидетельствует о появлении если не самого антихриста, то его предшественников-приспешников, торящих путь своему господину. Антихрист жесток лишь с теми, кто живет верой и любовью к Спасителю и обличает самозванца, — ко всем остальным он поперву безмерно снисходителен и добр. Дело антихриста — соблазнение: дабы прельстить малых сих, он сулит каждому исполнение его заветных желаний, нимало не заботясь об их противонаправленности, да и не собираясь когда-либо исполнять обещанное. Представший ревизором Хлестаков не мечет громы и молнии на головы погрязших в грехах чиновников и прочих обитателей заштатного города (чего все они, прекрасно зная о своих скверностях, со страхом ждут), но обещает удовлетворить любые их просьбы. Так и революция открывает перед всеми, кто согласился ее признать (ей так или иначе поклониться), грандиозные перспективы (разумеется, лживые). И соблазняет очень многих, тонко играя на разных (не только и далеко не всегда — дурных) душевных свойствах своих жертв. В новом прекрасном мире (а чтобы он виделся только таким, надо прежде как можно сильнее опорочить мир «старый») все будет по-новому, — почему же ты должен упустить свой шанс?

Понятно, что сулит революция честолюбивым политикам. Дабы именоваться Николаем III, великий князь готов присягнуть «конституционному образу правления» со «свободой и сознательностью» (391), но, получив должность Верховного, отвергает предложение Колчака, надеявшегося, что популярный в армии Николай Николаевич провозгласит себя диктатором и заставит считаться с собой петроградских мятежников (417). А получив от князя Львова предписание уйти в отставку, немедленно его выполнит и присягнет Временному правительству: «Неудобно отказаться. Отказаться — невозможно» (547). И не тронется просьбой депутации могилевских фабричных и железнодорожников («с красными наколками — никого»), вопреки правительству и якобы народному мнению, остаться на посту Верховного:

«Ваше Императорское Высочество! Да нас тут — сила, вся дорога в наших руках. Да вы только прикажите — мы чичас рельсы до самой Орши снимем — и посмотрим, как этот *народ* к нам сунется».

И разобрали бы, но «начинать войну внутри России? — нельзя было этого взять на себя… Да ведь уже — и сдал он командование Алексееву. И — пылко ответил Львову. И — присягнул Временному правительству.

И — вся Ставка присягнула.

И — разве можно теперь всё это повернуть» (572).

Можно принять от революции корону, но нельзя ей противостоять. Во-первых, страшно. А во-вторых, может еще призовет она великого князя, которого так любит армия и *настоящий* народ?

Во главе государства видят себя и Родзянко, и Гучков, и Милюков, и более всех выражающий самую суть революции, соблазненный соблазнитель, сверхподвижный и сверхпластичный «артист» Керенский. Пусть не сейчас, пусть после Учредительного собрания, пусть пройдя сквозь череду компромиссов, пусть отдавшись до времени черной работе на менее высоком (но ведь тоже нешуточном) посту. Не может же революция обойти лучшего, а каждый из претендентов мнит себя таковым.

Персонажи меньшего ранга метят всего лишь в министры, как организатор охоты за царем Бубликов, которого после всех его подвигов неблагодарно обошли должностью (280), или генералы, как лихо комбинирующий полковник Половцов, верный ироничному девизу: «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе» (251). Да кто же не хочет сделать карьеру — ненавидящий (и глубже многих понимающий) революцию Воротынцев тоже призадумался, получив от Гучкова вызов:

«Воротынцеву, в его разряде командира полка, повышением было бы — получить дивизию и генеральский чин. А — *большим* повышением? Сразу корпус?.. Или... революция чудит... Или даже Армию потом вскоре? <…>

Головокружительный соблазн. <…>

Какой выбор? Да, конечно, я согласен! Кто может быть не согласен?

А Лечицкий сказал: не время сейчас возвышаться (об этом разговоре — 630 — речь шла выше. — *А. Н.*).

Но и именно — время! Но и важней всего — управлять событиями *сейчас*! <…>

Но революция — это событие слишком огромного масштаба, чтоб его безошибочно разглядеть изблизи. И из революций тоже выходили могучие государства, на века» (644).

Воротынцев соблазн преодолевает, но колебания его, в которых главную роль играет не честолюбие (вообще-то нормальное для профессионала качество), а желание принести пользу отечеству, весьма показательны.

Так и соблазняются достойные люди. Шингарёв предельно искренен, когда говорит Струве в канун рокового дня:

«Я лично — ни к какой власти не рвусь, я хочу только, чтобы было хорошо России. Но если наши глаза видят лучше, а их глаза отказали…» (44).

Ободовский, не оставляющий из-за начавшихся потрясений своих чертежей и радующийся, что Дмитриеву удалось сговорить хоть двух рабочих продолжать бронзовые отливки, размышляет:

«Ужасно, что это во время войны! Но чего не простишь революции за её ослепительность! Революция — как эпидемия, она не выбирает момента, не спрашивает нас» (110).

Оба будут служить революции не за страх, а за совесть — и отгонять дурные мысли, закрывая глаза на творящийся кошмар, благо «ослепительность» революции тому весьма способствует.

Кривошеин, наверно, лучший из былых царских министров, некогда ближайший сотрудник Столыпина, отнюдь не поклонник мятежей, и тот при начале петроградского возмущения клянется себе, «что сейчас, если предложат — уже не будет страшиться, а — возмёт» должность премьер-министра. Возьмёт, чтобы «соединить наконец "мы" и "они"». Он решился, когда «дым и отсветы огня страшно отдавали по Сергиевской» (117), — решился, дабы противостоять революции, но и используя «момент». Зря решился — опытный государственный работник теперь уже не нужен. Подписывая отречение, император подумает, что хорошо бы поставить во главе кабинета Кривошеина, но Гучков с Шульгиным «посоветуют» уже приступившего к премьерству князя Львова (349).

Безусловно честный, лично преданный царю, не рвущийся в «творцы истории» и равнодушный к власти генерал Алексеев составляет заговор Главнокомандующих (не чувствуя себя заговорщиком!), результатом которого станет отречение, ибо убежден, что эта жертва позволит вернуть в страну порядок и размеренно продолжать войну. Ему и славы спасителя отечества не надо — лишь бы все шло своим чередом.

Когда Гучков заявляет Думскому Комитету, что он едет во Псков, дабы спасти династию, юридически окончить революцию, то есть вытребовать у Государя отречение («приблизился к вершинному моменту своей жизни»), сопровождать его вызывается Шульгин:

«Какое неповторимое историческое событие — присутствовать при отречении всероссийского императора, даже брать самому это отречение. Можно бы удивиться, что вызвался такой отъявленный монархист? Но — некому удивляться, устали удивляться, устали запредельно» (303).

Читатель, хоть и не уставший, понимает, что удивляться и впрямь не стоит: участвовать в столь важном акте (непродуманном, как раз юридически не подготовленном — манифест, противоречащий российским законам, Шульгин будет набрасывать в поезде, — но, безусловно, символическом) — перед таким искушением устоять куда как трудно.

Как и перед другими, что завладевают не отдельными людьми, но большими социальными (и национальными) общностями. Кто только не верит в скорое и безоговорочное исполнение желаний. Есть мечта едва ли не всеобщая — победно закончить войну. Но солдаты-фронтовики толкуют о замирении и братаются с немцами, петроградские запасники хотят избежать отправки на позиции. Одни офицеры и генералы надеются, что Гучков не сегодня, так завтра разгонит всю начальственную бездарь, а другие радуются, что теперь-то и можно будет вести войну, ничего не меняя (чудесная революция, оказывается, может способствовать и сохранению status quo!). Крестьяне ждут, когда же им раздадут помещичьи, монастырские и прочие чужие земли. Рабочие — сокращения трудового дня и повышения расценок. Предприниматели — промышленного подъема и свободной торговли. Часть духовенства и религиозно настроенная интеллигенция — реформы, освобождающей Церковь от контроля мирской

власти. (Но другая, не меньшая часть общественности, да и некоторые священники ждут иной реформы — ограничивающей права Церкви, освобождающей ее от «реакционеров», ставящей на службу свободному государству.) Евреи хотят равноправия. Журналисты — полной свободы печати (хотя запретных и полузапретных для прессы сюжетов в дни революции стало куда больше, чем при проклятом старом режиме). Писатели, художники, артисты — невиданного взлета всех искусств (кто же раньше-то мешал?). Горничные — гулять целыми днями с красными бантами и устраивать в барских квартирах посиделки с солдатами. Грабители и воры — заниматься без помех всегдашним любимым делом. Их мечта — в связи с ликвидацией полицейских служб — фактически уже исполнилась. В отличие от чаяний остальных граждан, сделать которые реальностью (а не объявить на бумаге уже сбывшимися) едва ли возможно и при отлаженном порядке. Но революцию для того и звали (приближали, вскармливали), чтобы она творила чудеса. И она их непременно сотворит. А мы ей (и себе) поможем.

Соблазны революции оказываются столь действенными потому, что общество давным-давно привыкло мыслить ее избавлением от всех реальных и мнимых зол, а ненужная война, принесшая народу великое множество несчастий, заразила и его жаждой (и идеализацией) перемен. Не польститься на посулы революции способны немногие. Это старики, твердо держащиеся религиозно-нравственных устоев (Доманя Благодарёва, няня Воротынцевых, генерал Лечицкий, пожилой рабочий, что прячет в день бунта капитана Нелидова (134), Архангородский, тетка Сусанны; в этот ряд естественно вписывается Захар Томчак, хотя в Третьем Узле он и не появляется). Это незаурядные мыслители-идеологи (Варсонофьев, Андозерская)[18]. Это некоторые кадровые военные

---

[18] Здесь, однако, не обойтись без оговорок. Варсонофьев обрел мудрость после того, как прошел сквозь революционные искушения, «начинал с ними со всеми — с Петрункевичем, Шаховским, Вернадским. <…> Да всего десять лет назад Варсонофьев был в их крикливой, мелочной толпе, с Родичевым, Винавером, Милюковым. Вполне искренно был горячим депутатом Второй Думы — и ещё не усумнялся в жаре борьбы» (О-16: 73).

Что же до Андозерской, то, чувствуя к революции лишь презрительную ненависть, она почему-то верит, «что именно этот гибельный ход, передвижка, перестановка всего сущего, — именно этот ход и принесёт ей Георгия. Сами события в нарастающем хаосе — соединят их. Прочно, и без борьбы» (619). И кажется, ошибается. Свести-то революция может кого угодно, да вот счастье не при всякой горячо желанной встрече обретается. Не только для того, чтобы умиротворить Алину, Воротынцев сорвался из Петрограда в Москву (35); не было у него полной радости при втором соединении с Ольдой. Прочитав по возвращении домой «разрывное» письмо Алины, Воротынцев рефлектирует:

«Если бы сейчас Ольда была в Москве — ринулся бы к ней?

Ох, нет.

Что-то с Ольдой — не так…»

Было бы «так» — не послал бы записку к Калисе (95), не пошел бы к ней — уже зная зачем — ужинать (126).

(Кутепов, Ярик Харитонов, юный подпоручик, скандирующий марш Преображенского полка). Офицеры, сохранившие верность долгу 27 февраля, были застигнуты бунтом врасплох и, кроме прочего, защищали себя. Как они будут действовать, когда прямая угроза жизни сменится соблазном, мы не знаем, — вероятно, устоят не все. Наконец, это молодые люди особого душевного склада.

Попав на пир солдатни в особняке Сабуровых, оскорбленный наглостью «*младших братьев*» и лакейской услужливостью барышень и студентов, гимназист Коля Станюкович обращается к раньше не известной ему девушке (знакомой читателю Ликоне), которая, как он видит, играет «навязанную роль», явно выпадая из согласованного ансамбля:

«— Позор какой. Как мы унижаемся. Ох, отольётся это нам.

Она подарила его чёрным взором, сделала лёгкое-лёгкое полубоковое изгибистое движение — головой ли, плечами — и уже этим одним выразила больше, чем он мог собраться выразить. Но еще и ответила:

— Да. Никогда нельзя терять себя» (381).

Мальчик чувствует так же, но лишь нащупывает то, что с полным правом произносит загадочная красавица. Ликоня не потеряла себя ни в студенческом клублении (А-14: 59, 75), ни в фешенебельных ресторанах (О-16: 38), ни в карнавале революции. За ее модным «декадентским» обличьем таится глубокая душевная отрешенность от той суеты, в которой она словно бы и участвует, но всегда (а не только в особняке Сабуровых) отстраненно. Ликоня годами жила как во сне, от которого ее пробуждает неохватное чувство — втайне давно ожидаемое, но ударившее молнией и безраздельно подчинившее душу. Череда лирических (на грани стихотворений в прозе) глав (37, 63, 335, 363, 475, 563, 591, 620) изобилует ускользающими намеками и недоговорками. О том, что избранником Ликони стал волжский купец и пароходчик Гордей Польщиков, мы узнаем в самом конце Узла и, что существенно, не в *ее*, а в единственной *его* главе (648). Лишь дважды нарушается пунктирный мерцающий ритм этой затемненной «несказанной» истории — в особняке Сабуровых и при неудачном сватовстве Саши Ленартовича (618): в обоих случаях Ликоня решительно отвергает революцию. Ликоня и прежде не любила Сашу, ибо угадывала (не важно, сколь сознательно) в нем человека революции (потому нет обмана в словах «Я к тебе — не переменилась»), а ей был нужен другой. В Четвертом Узле, услышав, что большевик Ленартович комендантствует в особняке Ксешинской, Ликоня резко его оборвет: «Ну знаешь, и разговаривать не хочется… Зачем же в людей стреляете?..» (А-17: 133). Казалось бы, ей, захваченной любовью, не должно быть дела до политики, но негодование Ликони естественно и закономерно. Любовь и насилие несовместимы. Ленартович, рванувшись на штурм Мариинского дворца, вспоминает о недоступной возлюбленной «с новым чувством: не в том унизительном уговаривании, как проходили их последние встречи, но с властным чувством права: он выбрал её — и будет она его! по его воле, а не по своей!» (144). Он заблуждается: *так* точно не будет. И напрасно после непроизнесен-

ного, но тем более страшного и оскорбительного отказа (Саша понял, что Ликоня любит другого) он, вдохновившись «Краснокрылым Смыслом, который носился над улицами, над городами», то ли уговаривает, то ли угрожает:

«…Ох, ещё я тебе понадоблюсь. В тихий уголок тебя не уведут — потому что тихих уголков не будет скоро. Я — так предчувствую, что я тебе понадоблюсь. Что ты ещё…» (618).

Непроизнесенное слово угадать легко — «пожалеешь». Не пожалеет. Даже если предсказание Ленартовича сбудется (вероятность того весьма велика). Революция может швырнуть беззащитную Ликоню к ногам победителя, может принудить ее просить о помощи, может сделать былую гордячку комиссаровой наложницей (да хоть бы и «законной» женой)… Но изменить ее чувства, заставить *полюбить* насильника — подлый, жестокий и не знающий на себя управы «Краснокрылый Смысл» не сумеет[19]. Потому что любовь остается любовью и в кошмаре революции.

Даже если это любовь греховная. Ликоня становится любовницей женатого человека. Похоже, хотя точных авторских указаний на то нет, что, в отличие от читателя, героиня не знает о семейном статусе Польщикова. Но и расскажи волжанин «Зореньке» о своей жене («близко к ровеснице»), которую «ощущал чуть не как мать» (648), едва ли бы это Ликоню остановило. Роман разворачивается в дни Великого поста. Начинается он после той самой генеральной репетиции «Маскарада», что неслышно пророчит катастрофу. Ликоня сама подходит к незнакомому

---

[19] Выстраивая треугольник Ленартович — Ликоня — Польщиков, Солженицын переосмысливает сюжет о юноше, идущем в революцию, дабы отмстить за поруганную представителем «старого мира» красоту (так в «Докторе Живаго» поступает Антипов, ставший Стрельниковым). Автор «Красного Колеса» радикально меняет акценты: Ликоня не соблазнена Польщиковым, но всей душой его любит; Ленартович сполна отдается революции независимо от чувства к Ликоне, и до ее «грехопадения»; Польщиков обрисован с симпатией, хотя, скорее всего, ему не удастся защитить Ликоню от ворвавшегося в мир зла. Стать «новым Мининым», то есть спасителем России, ему точно не удастся. Поэтому звучащий в финале польщиковской главы вопрос: «Да не упущено ли уже, православные?..» (648) — оказывается «двупланным». Сквозь его конкретный экономический смысл (который очень скоро станет политическим) просвечивает смысл «романный»: достоин ли гордый и удачливый волжанин такой всепоглощающей страсти? Не упустит ли он за крупными, привычными и новыми, принесенными революцией, хозяйскими делами свою любовь? На что своим отъездом он обрекает Ликоню? В Четвёртом Узле Польщиков и его «Зоренька» отодвинуты на периферию повествования, но не исчезают, а письмо Ликони возлюбленному полнится неподдельной болью:

«Что же с нами будет? В этих бурях я боюсь и совсем потерять к вам последнюю ниточку.

Ой, не кончится это все добром. Это – худо кончится…» (А-17:162).

В письме Ликони ее беда сливается с бедой общей — «не кончится добром» как ее истаивающая связь с Польщиковым, так и все, что творится кругом.

мужчине, то есть нарушает элементарные приличия (30, 648). (Тут нельзя не вспомнить о ее «сомнительном» появлении у Кюба — О-16: 38.) На именинах она говорит Ленартовичу: «Я — плохая! так и знай: я могу изменять» (618). И все это не отменяет той чистоты и высоты, что царят в каждом фрагменте ее любовной истории. Если бы чувство Ликони было только плотским (сексуальным), если б ставила она «дерзкий эксперимент», если б играла в «новую женщину» (все эти мотивы развернуты в главе об идеологе и практике «эмансипации плоти» и «свободной любви» Александре Коллонтай — 631), не могла бы она сказать того, что сказала незнакомому гимназисту: «Никогда нельзя терять себя». Она и остается собой. Именно потому, что хочет не столько брать, сколько отдавать:

«Что бы Вам ни было нужно от меня — я счастлива буду Вам дать. Может быть, когда-нибудь я понадоблюсь Вам для большего, чем была в эти дни» (620).

Эти строки Ликониного письма внешне близки, а по смыслу прямо противоположны обращенным к ней словам Саши. Ленартович предполагает получить за будущую услугу вознаграждение, Ликоня надеется исполнить волю любимого. Ленартович хочет завладеть ускользающей красавицей и подчинить ее себе, Ликоня — соединиться с тем, кому безраздельно принадлежит (и, как сказано в том же письме, принадлежала всегда). Он хочет быть господином, она — женой (не смея этого вымолвить).

Так одна грешная любовь (Ликоня — Польщиков) рифмуется с другой (Калиса — Воротынцев). Вечер, ночь, полный день, еще одна ночь и прощальное утро в доме Калисы возвращают Воротынцеву душевный покой. По расставании с ней прежде непрестанно мучившийся из-за двух женщин герой начисто забывает не только об Алине (покуда та в Четвертом Узле не нагрянет в Могилёв), но и об Ольде. И если мытарства с женой протянутся сквозь весь «Апрель Семнадцатого», то об Ольде, оказавшейся лишь поводом для семейной катастрофы, Воротынцев почти не думает. Провожая Алину из Могилева, он обреченно признается себе:

«Алина никогда его не любила.

Но страшней: и он её не любил.

А Ольду разве любил?

И какую женщину он в жизни любил? Никакую? Ещё никогда» (А-17: 173).

Так что едва ли новая встреча с Ольдой должна Воротынцева сильно обрадовать. В ряду его вопросов к себе опущен напрашивающийся: «*А какая женщина любила меня?*» Воротынцев прячет от себя этот вопрос, потому что подсознательно чувствует: его любила и любит Калиса. Не потому, что он офицер и дворянин хорошей фамилии, который может сделать карьеру (таким видела его когда-то Алина), не потому, что он благородный рыцарь, который будет восхищенно внимать Прекрасной Даме и биться за ее цвета (таким увидела его в октябре Ольда), а просто — любит. Потому и помнит много лет, как он, зайдя на

пирог с вязигой, попытался сокрушить ее супружескую верность («Ах, грех какой, Георгий Михалыч: ведь оба раза — на посту, на третьей неделе…» — 126). Потому и уступает Воротынцеву — понимая, что берет на душу тяжкий грех. (Калиса не Ольда: для нее, воспитанной в строгих правилах и пожившей за стариком-купцом, к которому она смогла прикипеть душой, святость брака и Великий пост отнюдь не легко отбрасываемые «условности».) Потому и провожает Воротынцева (только потом выяснится, что на революцию), как *не* провожала его на войну (тут все известно было) оставшаяся нежиться в постели Алина, когда «по всей России бабы бежали за телегами, за поездами и голосили».

«Калиса кормила и охаживала его со всей привязанностью, и угадывала, что бы ему ещё.

Как жена. Нет, не как жена. Нет, именно как жена! — он только теперь узнавал» (241).

Ольда, не числя за собой греха, надеется, что проклятый революционный ураган примчит ей Георгия. После проводов Воротынцева Калиса на страницах «Красного Колеса» больше не появляется, а Георгий о вдовой купчихе не вспоминает. Мы не знаем, суждено ли им увидеться вновь, но чувствуем, что даром московская встреча для героев не прошла.

Нельзя не заметить, что грешат не худшие (поддающиеся соблазнам), а *лучшие*, отвергающие революцию, герои «Марта…». Третья пара в этом ряду — Ярик Харитонов (удержавшийся от «кровосмесительного» порыва к Ксенье и неожиданно двинувшийся по «лёгкому» пути) и Вильма. Мы не можем понять, действительно ли она проститутка (скорее всего — так) или, как мнится Ярику, вышла на бульвар в первый раз и от безысходности произнесла решившее дело: «Пятнадцать» (цена «сеанса»). Мы вместе с Яриком ощущаем ее удивительную красоту и хотим верить, что на прощальные слова потерявшего невинность мальчика: «А я тебя — запомню, Вильма!» — она искренне отвечает: «И я тебя» (561). То, что Харитонов не сумел на следующий день найти дом пленившей его беженки с Двины (574), кажется символичным — у волшебного свидания (не случайно же в нищей комнатке пунцовая шаль загорелась жар-птицей!), пусть стимулированного грубым позывом плоти, пусть оплаченного пятнадцатью рублями, не должно быть пошлого продолжения. «Повторный сеанс» невозможен. Возможна другая встреча в другом месте и при других обстоятельствах — случись она, стало бы ясно, кто же на самом деле Вильма и только ли «профессиональная вежливость» побудила ее отозваться на прощальное признание незнакомого офицера. Но даже если автор не предполагал нового скрещения судеб Ярика и Вильмы, если волшебство (с толикой «достоевщины») их свидания только воспаленная греза мальчика из хорошей семьи, который жить не может без «возвышающего обмана», если ночь он провел с заурядной бульварной девицей, у которой таких офицериков было без счета, — даже и тогда мы не имеем права назвать приключение Ярика глупым и гряз-

ным. Ходить к проституткам грешно в любую пору, а не только о Великом посту, а обвинить поручика — не получается. Текст противится. Слишком страшное будущее ждет этого мальчика — стойкого, но хрупкого, из тех, кого никогда не согнут, но запросто и раньше многих сломают. (Как чуть и не произошло в поезде.) Если его первая ночь с женщиной окажется и последней (а ведь очень на то похоже), то не оплакивать невинность ему (и нам) должно, а благодарить судьбу за странный подарок. Этой ночью он любил. Как любят только чистые душой люди. И потому московское происшествие (вопреки нормам типового пролитературенного интеллигентского сознания) не толкнет его в объятия революции. «Возвышающий обман» не позволяет Ярику счесть Вильму проституткой, а потому мысль об отмщении «страшному миру» ни на миг его не прельщает. Он согрешил, но не потерял себя.

Как не теряют себя пока еще не нашедшие друг друга, но неведомым образом угадывающие будущую встречу особенно любимые молодые герои Солженицына. Революция не может подчинить себе Ксенью и Саню. Да, солнечным днем в лесу Саня внутренне расстается с войной и мечтает об иной жизни, «но если душа отлетела от войны — то и не в революцию она вселилась» (537). Охватившая Саню жажда любви возрастает на офицерской вечеринке:

«Полюбить — по-настоящему. Полюбить пока не поздно. Ведь ещё велика война впереди, и немало сложится голов.

Если уж и судьба в эту войну умереть — то хоть оставить позади себя любимую женщину. С сыном бы» (577).

И точно так же в Москве, куда Саня отправится в апреле, мечтает о любви и сыне его будущая избранница, вглядываясь в резвящихся детишек (416) и завидуя каждой беременной женщине (545). Ксенья не слишком вдумывается в смысл происходящего (хотя замечает и странность «пьяного» благовеста, и покорных пленных городовых), но ее чистая радость только внешне совпадает с общей эйфорией. «Наглотавшись этой революционной весны, так приятно в неурочное время принять душ да прикорнуть на кушетке с томиком Стриндберга» (316), отрадно получить неожиданный подарок — море свободного времени (что ж поделать, если занятия толком не возобновились — не Ксенья тому виной) и гулять по весеннему городу, весело сознавать, что хорошо не одной тебе, а всем вокруг.

«Никакой весной не веселились так сразу все люди.

Ксенья с уверенностью угадала свою лучшую и заречённую весну!» (545).

Героиня радуется весне, которая совпала с революцией, весне, которую революция стремится поставить себе на службу. Но проигрывает. Как бы ни хотелось Сане дотянуться в «зовущую, невыразимую, загадочную красоту», открывшуюся ему под молодым месяцем (577), пренебрегать долгом он не станет. Как бы ни жаждала любви Ксенья, она будет ждать своего суженого. И угадает сердцем, что это не трогательный Ярик

Харитонов (549). Счастье апрельской встречи (А-17: 91) не заставит героев ни полюбить революцию, ни отодвинуть ее в сторону. Понимая, что любовь не избавит их от серьезных испытаний, они будут искать надежной опоры — потому и вспомнит Саня о «звездочёте» Варсонофьеве, потому и отыщет его счастливая чета, дабы спросить о самом главном.

Детальный анализ этого чрезвычайно важного для всего «Красного Колеса» эпизода будет предложен в статье об «Апреле Семнадцатого», сейчас же обратим внимание лишь на один его пункт. Звучит извечный вопрос русской интеллигенции: «Что делать?» — и Варсонофьев, уходя от наставительности, предлагает Сане ответить на него самому:

«Я думаю… я думаю… Простой человек ничего не может большего, чем… выполнять свой долг. На своём месте.

— Это б — хорошо было. Через это бы мы спаслись. Но сегодня не любят таких слов, как долг, обязанность, жертва» (А-17: 180).

В том и проблема, что немногие (избежавшие соблазна, не потерявшие себя) готовы оставаться на своих местах и выполнять свой долг. Свои места опостылели, не выполнять долг хочется, а взимать долги, уплату которых обещала революция. С выплатами же получается скверно — во всех смыслах, включая прямой: не случайно революция сопровождается инфляцией.

«На всех митингах: "Товарищи, требуйте!" По всей России клич — "подай!"» (А-17: 180).

То, о чем Варсонофьев говорит в начале мая, вовсю клокочет уже к исходу марта.

Требуют крестьяне земли, «многолетне обещанной кадетами», и ничего с этим поделать не может печальник горя народного Шингарёв, ставший министром земледелия.

«Начни сейчас передел — и остановится последнее снабжение городов. Но не только не время им заняться и сил нет, а вот изумление: самой этой необъятной земли для раздачи в России не обнаружилось! Оказывается, даже всю казённую и помещичью землю разделив, — в иных губерниях нельзя добавить крестьянину и одной десятины. <…> после революции, когда пришло практически делить, и оказалось: три четверти земли и так уже у крестьян. А о н о уже само не ждёт: о н о грозное, уже первыми дымами подожжённых помещичьих усадеб завиднелось то в одной губернии, то в другой» (637).

«А — рабочие? Оглянулись, что из свободы можно и больше выколотить (чем утвержденный уже восьмичасовой день с сохранением прежней заработной платы. — *А. Н.*), мало взяли, — и ну выколачивать! Почему у буржуазии барыши, а нам не вырвать? Распахнулась воля — так можно рвать! <…>

… А чернорабочие (подстрекаемые большевиками) требуют и себе такую же оплату, как получают высшие разряды. <…>

А вот мы какие рыла вылезли. Попрекали образованных, что они своекорыстны — а мы? Попрекали фабрикантов, что они жадны, никак не насытятся, — а мы? Да мы жадней и дичей».

Да, «требование повышать оплату — не выдуманное, сама жизнь гонит, всё повышается. Но и должен же человек всегда знать себе границы, но и опамятоваться: не один же ты! Давайте всё ж попридержимся, да сделаем обдуманно». Не услышит Козьму Гвоздева «самый родной его люд, кто умел всё в мире сделать своими руками, и кем Козьма гордился всю жизнь, что и он из них». Как не услышат те же питерские рабочие укоров фронтовых делегаций «за 8-часовой день и что снарядов не дают» (649). И не почувствуют, сколько тоски и боли накопилось в тех самых запасных батальонах, которые три недели назад запалили костер революции.

Об этом — заключительная глава Третьего Узла, сбивчивый, путаный и яростный монолог (то внутренний, то обращенный к закадычному другу) Тимофея Кирпичникова, того самого унтера, что подбил волынцев воспротивиться начальству, вовсе не предполагая ни убийства офицера, ни рывка из казармы на улицу, ни, тем более, страшного дальнейшего раската незримого ему Красного Колеса.

Три первых части «Марта…» завершают главы «царские»: будущий незадавшийся император, великий князь Михаил, покидает Зимний дворец, наследственный царский дом, куда уже никогда не вернуться Романовым (170); всеми обманутый Государь после отречения остается один (353); развенчанного императора «предъявляют» (как вещь) эмиссару Совета Масловскому, сгустку злобы в «змейчатой папахе» и с еще более «змейными», жгущими ненавистью глазами (531). В трех композиционно маркированных точках звучит, обретая все больший трагизм, тема одиночества и обреченности. Та же безнадежная тема растерянного и обманутого, не видящего пути и глубоко несчастного человека организует финал. Только теперь речь идет не о побежденном и низвергнутом властителе, а о победившем (себе на беду) мужике в солдатской шинели. Сбывается пророчество, заключавшее главу о молитве Государя и напрасном уповании на чудо: *«ЦАРЬ И НАРОД — ВСЁ В ЗЕМЛЮ ПОЙДЁТ»* (353). В Содержании глава эта называется «Государь остался один». Сходную конструкцию и как раз применительно к волынскому унтеру Солженицын использует и прежде — «Взятие Крестов. — Кирпичников остался один». Он остался один еще в первый день возмущения, когда несомый революционным водоворотом полк слился с городской толпой и в ней рассеялся. Утренний «неоспоренный вожак» теперь то ли вел эту ватагу, то ли «сама она шла — не разобрать». Шла, чтобы рассыпаться от выстрелов обороняющихся московцев (прежние победы того дня «были достигнуты без боя»).

«Разбежались, попрятались. Пустой проспект.

Нашёл и себя Кирпичников на снегу у забора. И — никого не видно близко» (100).

По прошествии трех революционных недель Кирпичникова настигает куда более глубокое и безысходное одиночество. Он негодует на воцарившуюся в запасном батальоне распущенность, прекращение заня-

тий, исчезновение и робость офицеров, на горланов из солдатского комитета, на угадываемый (и верно) общевойсковой упадок.

«Как же она (армия. — *А. Н.*) нанесёт («последний сокрушительный удар», о котором произносят речи навещавшие волынцев иностранцы-союзники. — *А. Н.*), ежели всю армию развинчивают <…> Война там как не должись — а мы к ней боком? — а паёк прежний.

Так та́к нас Вильгельм и завоюет» (655).

Ему жалко бродящих по городу раненых и калечных, лежачих больных, которых санитары ради митинга в цирке бросают без помощи, тех, кто уже погиб на фронте, и себя, тоже там кровь оставившего («А теперь всё отдай, и русские города отдай?»). Всё кругом не так (и не поспоришь), а дерущая душу обида все больше подчиняет себе вроде бы мерцавшие проблески раскаяния.

«Город Питер из внезапного дружного восстания опять обращался в свой прежний самостный чужой обычай. В этом городе люди ведь копились не для какой прямой работы, а для весёлой жизни» (655). Кончился *наш* праздник, а те, кто всегда жировал и веселился, гуляют как ни в чем не бывало. Сверкание огней, мелькание экипажей с дамочками в «полястых» шляпках, недоступная, но зримая барская жизнь за толстыми стеклами («И чем позже вечер, когда солдату уже спать, — тем больше их туда, за стёкла набивается. И сидят за белыми столами, и пьют и лакомятся часами, и всяку всячину едят, чуть де не лягушек, тьфу!»), витрины, дразнящие цветами, «каких в России и не растёт сроду», диковинными фруктами, блестящими «финтифлюшками для барских баб», зазывные афиши кинематографов и театров с чудными названиями — весь этот блистательный и лживый, сытый, веселый и словно бы глумящийся над солдатами Петербург (вся роскошь на виду, свобода дозволяет зайти в любой ресторан, да вот только нет денежек «у смирных волынских унтеров») провоцирует нарастание ярости. Не случайно в картине этой чужой великолепной жизни мерцают реминисценции не только «Невского проспекта» (который «лжет во всякое время <…> но более всего тогда <…> когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов <…> и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде»), но и «Повести о капитане Копейкине» («Проходит мимо эдакого какого-нибудь ресторана — повар там <…> француз эдакой с открытой физиогномией, белье на нем голландское, фартук белизною равный снегам, работает там фензерв какой-нибудь, котлетки с трюфелями, — словом рассупе-деликатес такой, что просто себя, то есть, съел бы от аппетита. Проходит мимо Милютинских лавок, там из окна выглядывает, в некотором роде, семга эдакая, вишенки — до пяти рублей штучка, арбуз-громадище, дилижанс эдакой, высунулся из окна, и, так сказать, ищет дурака, который заплатил бы сто рублей…»). Обиженный Петербургом безногий и безрукий капитан Копейкин, как известно, решил сам найти «средств помочь себе» и стал разбойничьим атаманом. Обманувшая Кирпичникова революция толкает его на тот же путь. Он не знает, с ко-

го спросить и кому отомстить, но скоро примется и спрашивать, и мстить. Бунтовать Кирпичников уже навострился, а личную угрюмую обиду усиливает тоска от общей неправды, которую опять кто-то навязал мужику — в награду за свершившуюся (но не ту!) революцию.

«А в деревне, пишут, — ни керосина, ни мыла, ни гвоздей, ни соли.

А калек войны — и никому не жаль, кроме сродственников.

А и нас с тобой покалечат — так и тоже.

А в окопах — там сидят, сидят во тьме и сырости.

И теперь — всё немцу отдадим?»

Виноватый в измене и неправде сыщется. Не мы же такое разорение учинили. Ясно, не мы. Потому и глушит Кипичников недоуменный вопрос Маркова (и свою совесть):

« — И как это мы, Тимофей, решились? Как это нас понесло в то утро?

Самим дивно.

Давно бы в петле жизнь кончили» (655).

Нет, как бы худо ни было, а от «завоеваний революции» Кирпичников не отступится. И стоящие за ним сотни тысяч соблазненных и обиженных — тоже. Коли уж начали, надо взять свое. Иначе — петля. Как в то утро, когда первое убийство бросило волынцев в город.

Они (и вся Россия) действительно в петле. «Хлебной петлей» революция начинается — о петле виселичной, о расплате за учиненный и продолжающийся бунт, которой надо избежать любой ценой (а для того разгонять и разгонять революцию), в финале «Марта…» вспоминает не один Кирпичников.

«В общем так <…> через шесть месяцев или будем министрами — или будем висеть» (654) — это развеселый Радек подбадривает Ленина после выработки самого надежного (да еще и оскорбляющего гнилых швейцарских социалистов) плана по перемещению большевистской группы из Швейцарии в Россию — через ведущую с Россией войну Германию. (Не сильно ошибся: министрами, по-большевистски — наркомами, ленинцы станут через семь месяцев. Только Радеку портфеля не достанется. А убьют — «незаконно репрессируют» — остроумца товарищи по партии еще не скоро, только в 1939 году.)

Вовремя Ленин едет в Россию. Не зря три недели он в Цюрихе просчитывал комбинации и перебирал варианты. Не зря брезговал первыми сомнительными вестями из Петрограда:

«Возвращаться, когда неизвестно, что там делается. Может быть, уже у всех стен расстреливают революционеров. <…> Уж наверно сегодня там и проиграно всё, и топят в крови» (338).

Не зря, уже налаживая связи с компанией Парвуса, раздражаясь амнистией всем левым партиям: «Это плохо. Теперь легальный Чхеидзе со своими меньшевиками развернётся — и займёт все позиции, все позиции раньше нас», громогласно заявляя, что «если понадобится, то мы не испугаемся повесить на столбах восемьсот буржуев и помещиков», он сдерживал свой кипучий азарт, хоть и «начинала нажигать эта

мысль: ехать? Поехать» (449). Не зря, уже уверившись, что реставрации не будет, изобретая для случившейся без него революции теоретические обоснования, захлебываясь нетерпением, ждал, чтобы кто-то другой выдвинул давно взлелеянный план проезда через Германию: «Что за удача! Какая удача! Предложил — Юлик, не мы! Так и назовём — п л а н М а р т о в а ! А мы — только присоединяемся» (474). Не зря дерзко отказался взять привезенные Скларцем документы («Таким документам сам канцлер должен был сказать “да”, чтоб их изготовили») и затребовал (хоть бежало время) «изолированный, экстерриториальный вагон» на группу в человек сорок (604). Не только чистотой своей репутации был он озабочен. Обвинения Ленина в сотрудничестве с германским генштабом все равно прозвучали, да толку от них уже не было — слишком широко к тому времени уже раскатилась революция. И как раз на это лидер химерной партии большевиков мог рассчитывать. Пока революция не развернулась вовсю, риск оказаться повешенным слишком велик. А вот когда все скрепы распадутся, когда как на дрожжах станут расти требования освобожденных трудящихся масс, когда буржуазные партии и всяческие соглашатели-квазисоциалисты продемонстрируют свое бессилие (и перегрызутся между собой), вот тогда-то и надо направлять революцию по единственно верному руслу, забирать в железные руки «пропавшую» власть. Тут-то и случится настоящий праздник! (Ленин прибудет в Петроград 3 апреля — на второй день православной Пасхи.) Риск, конечно, остается, но и упускать момент тоже нельзя. Что у Ленина на уме, то у крутящегося, как юноша, Радека на языке:

«Руки чешутся, язык чешется! — скорей на русский простор, на агитационную работу!» (654).

Слово «простор» в этой реплике обретает зловещее звучание. (Радек постоянно именуется «плутом», «шутом», «весельчаком»; в главе говорится о придуманной им «первоапрельской шутке», которой ленинцы под занавес своего пребывания в Швейцарии пакостят социалисту Гриму. Как тут не вспомнить, что главу о ловкой проделке ротмистра Вороновича Солженицын замкнул пословицей «*ВСЯКОМУ ВОРУ — МНОГО ПРОСТОРУ*» — 304.) Россия для большевиков не страна, у которой есть история и культура, а пустое пространство, на котором можно ставить любые эксперименты, дабы в итоге получить нечто невиданное, ослепительно прекрасное и полностью подвластное тем, кто в экспериментировании преуспеет. В такое «чистое поле», на месте которого большевики устроят свой гигантский каторжный лагерь, и обращает Россию революция[20].

---

[20] Здесь невозможно обсуждать сложный, весьма болезненный и породивший великое множество противоречащих друг другу концепций вопрос о том, какую роль в русской истории (в том числе новейшей) сыграл географический фактор — пространственная огромность и неисчислимые природные богатства нашей страны.

Обещая счастье всем, революция не приносит его никому. Суля общее братство (пародируя соборность), она работает на разобщенность, выпячивая как групповые (классовые, национальные, профессиональные, партийные), так и личные (карьерные) интересы. Провозглашая новизну во всем, не может не использовать «старое» (в искаженном и ухудшенном виде). Славя человечность, льет и льет кровь «врагов» и «случайных» жертв. Маня безграничной свободой, готовит невиданное рабство. В ряду этих обманок должна быть отмечена и еще одна. Праздничная, ослепительная, театрализованная, патетичная революция, по сути своей, однообразна. Читая обзорные и газетные главы «Марта…», видишь, как сквозь внешнюю пестроту проступает один и тот же утомительный рисунок событий (и не по воле писателя, он-то целенаправленно отбирает наиболее колоритные и характерные «случаи»). Переворот всюду происходит по одному и тому же сценарию, красный цвет одинаково вытесняет остальные полосы радуги по всем городам и весям.

«И ничего такого ярославский доктор не рассказал, чего б они уже не прочли в газетах — о всяких вообще городах: как сперва несколько дней ничего не знали, а потом узнали, и сперва поверить не могли, а потом ликовали, создали общественный комитет и ходили с красными знамёнами — такие люди, которые никогда раньше под красным не ходили. И как губернатор и полицмейстер пытались скрыться, но их схватили. И как, и как…» (582).

Унылая повторяемость революционных перемен может привести только к унификации того самого мира, что прежде был сложным, неоднородным, многоцветным и многозвучным. История о том, как приехавший из Ярославля доктор бесцветно и вдохновенно рассказывал петроградским литераторам о том, как совершенно особенно (ровно так, как везде) проходила *его* революция в Ярославле, корреспондирует с зачином главы о Воротынцеве в Киеве (379). Именно там, в древнейшей из трех русских столиц, своем особо любимом городе, Воротынцев осознает, что же происходит со страной и с ним самим. «Зажатый беспомощной чуркой, ощутил он, что эту революцию, ошеломившую его в Москве, вот он в Киеве уже ненавидит». Осознает потому, что именно там (хотя формального порядка в Киеве пока больше, чем в Москве) он видит революцию воочию — видит однообразное веселье монолитной толпы («Сколько может быть тут сейчас врагов переворота — но быстро установилось, что недовольства выражать нельзя»), прущей куда-то под красными флагами и низвергающей памятник тому, кто посмел сказать первой революции: «Не запугаете!» («Завяжем столыпинский галстук!»). Начинается же глава эта с рассуждения (голоса автора и героя сливаются) о своеобычности каждого из больших русских городов. «Да кроме деревенской, что ж Россия и есть, как не два сорока́ таких городов? В разнообразии их ликов — соединённый лик России».

Это-то разнообразие и отменяет революция, открывая широкую дорогу к «простору» Ленину и ленинцам. Так происходит то самое нашест-

вие варваров, которое предрекает Струве (не только и не столько Шингарёву). В последний «обычный» (хотя волнения уже идут), прощально-праздничный день, глядя с Троицкого моста на панораму прекрасного города, который уже завтра превратится в ад:

«В нашей свободе, — медленно говорил Струве, щурясь, — мы должны услышать и плач Ярославны, всю Киевскую Русь. И московские думы. И новгородскую волю. И ополченцев Пожарского. И Азовское сидение. И свободных архангельских крестьян. Народ — живёт сразу: и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. И перед своим великим прошлым — мы обязаны. А иначе... Иначе это не свобода будет, а нашествие гуннов на русскую культуру» (44).

Мощное разноголосье русской истории не расслышали — и гунны пришли. Чем обернулось в конечном счете их нашествие? Навсегда ли покончило оно с Россией? Что станется со всем миром, допустившим такую катастрофу? Какой из двух снов Варсонофьева — о мальчике-Христе со всеистребляющей бомбой в руках или о *запечатлении* церкви (России, которая когда-то должна выйти из невидимости, обрести прежние красоту и величие) — сбудется? Солженицын не дает ответа. Он знает, что миновавшие девяносто лет — срок исторически ничтожный и что пути Промысла неисповедимы. Он не позволяет читателю бездумно уповать на светлое будущее, не скрывает от него тех страшных опасностей, что взошли и по сей день всходят из лона русской революции, но и не отнимает надежды.

В заключительных главах «Марта...», когда иным персонажам кажется, что революция утихомирилась и вошла в рамки, мрак отчетливо сгущается. Генерал Иванов, трусливо и подобострастно оправдывающийся перед новой властью, так же отвратителен, как в дни его предательского промедления (642). Немцы, как и прежде, ведут войну профессионально, и никакого облегчения от «побед» союзников на Западном фронте не будет (643). Колебания Воротынцева (Ставка или повышение) вновь обращают нас к трагедии распадающейся армии (644). Бессмысленна поездка министров в Ставку (643, 646, 652). Захлестывают Таврический очередные депутации, и Родзянко бездумно и привычно чередует высокопарные приветственные речи с копеечными интригами (645). Отвергает предложение смелого казачьего старшины покончить со второй властью сахарно-улыбчивый премьер Львов (647). Нет разворота купечеству, над которым виснет неизбежная хлебная монополия (648). Душит производство рабочая жадность (649). Монотонно бубнит на сборище большевиков про «четыре условия победы русской революции» мало кому еще ведомый и кажущийся «комичным член ЦК — Сталин» (650). Произносят звонкие спичи и упоенно обнимаются на банкете у Винавера кадетские лидеры (651). В раскаленном от раздоров Совете Церетели витийствует о «буржуазной революции», тут же грозит при надобности свергнуть правительство и наконец выдыхает:

«Мы больше не будем раскалываться на меньшевиков и большевиков, мы будем — единая социал-демократия!..»(653).

И едет на русский простор Ленин, и сумрачно ходит по Петрограду растерянный и мрачный Кирпичников. Революция свое дело сделала. Все уже решено.

Если бы этот приговор был окончательным, Солженицын замкнул бы «Красное Колесо» «Мартом Семнадцатого». Но он написал Четвёртый Узел, заканчивающийся — вопреки точно воссозданному безжалостному движению истории, близящему окончательное торжество Ленина и ленинцев, — существенно иной нотой.

Андрей Немзер

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕСЯТОЕ МАРТА, пятница

Глава 532 9
Варсонофьев дома и в городе.

Глава 533 13
Встреча Брешко-Брешковской.

Глава 534″ (по свободным газетам, 10 марта) 17

Глава 535 22
Шингарёву мешает общественность. — Продолжатель Риттиха. — Воззвания. Усилить реквизиции. — Мысль о хлебной монополии.

Глава 536 28
Посол Бьюкенен в России. — Проблема приглашения царя в Англию. — Обсуждение с Милюковым.

Глава 537 32
Саня солнечным днём в лесу.

Глава 538″ (по социалистическим газетам, 8—10 марта) 35

Глава 539 38
На ИК. Вопрос о печати. — Вызвать Корнилова! — Торжество 8-часового дня. — Приехал генерал Корнилов.

Документы — 21 45
Германский посол в Берне — в м.и.д. Статс-секретарь м.и.д. — в Ставку.

Глава 540 45
Корнилов после встречи с ИК. — Интервью «Биржевым ведомостям».

Глава 541 48
Приезд в. кн. Николая Николаевича в Ставку. — Принимает дела.

Глава 542 55
Заседание Временного правительства. — Готовить 8-часовой день

на оборонных заводах. — И отмена национальных ограничений. — Шингарёв получает санкцию на хлебную монополию. — Текущее.

Глава 543 61
Рижская поездка Гучкова.

Глава 544 65
СРСД в Михайловском театре. — Как не дали царю убежать. — И о контроле за правительством.

Глава 545 69
Ярик в Москве у Ксеньи. — Танец. — Прогулка.

ОДИННАДЦАТОЕ МАРТА, суббота

Глава 546″ (Февральская мифология) 75

Глава 547 80
В. кн. Николай Николаевич узнаёт о своей отставке.

Документы — 22 83
Воззвание Временного правительства о платежах.

Документы — 23 84
Воззвание Гучкова о контрразведке.

Глава 548 84
Костя Гулай и капитан Клементьев.

Глава 549 89
Ксенья с Яриком днём по Москве.

Глава 550 93
Журналист читает Сусанне проект статьи.

Глава 551 96
Быт и деятельность Керенского устраиваются. — Взять Уделы от великих князей. — Проблема амнистии и разбора дел. — В Сенате. — В Петропавловской крепости. — Речи, приветствия. — Ход Немезиды.

Глава 552 104
Упадок Думы. — Горечь Родзянки. — Визит Синода.

Глава 553 109
Алексеев получил от Гучкова: Временное правительство не располагает властью. — Телеграфные успокоения князю Львову: великий князь сложил звание Верховного. — О положении в Армии.

Документы — 24 113
Ллойд Джордж — князю Львову.

Глава 554 113
Солдатское мление. Весенняя сушка. — Арсений.

Документы — 25 117
Министр Бальфур — послу Бьюкенену.

Глава 555 (Вторая неделя петроградской революции, фрагменты).....117

Глава 556 125
Вера и Дмитриев. — Молчанка.

Глава 557 130
Травля «Правды», и большевики из Сибири ударили в бок. — Шляпников торопит своих из-за границы.

Глава 558 133
Отвергнуть трюк Временного правительства с армейской присягой! — Гиммер в трудностях готовит Манифест к народам мира.

Глава 559 136
Станкевич-Гамлет. — Голосует за Манифест. — На заседании Исполкома. — Солдатская Исполнительная комиссия.

Глава 560 140
У Сусанны. Собираются ехать на еврейский митинг.

Глава 561 145
Ярик — и Вильма.

Глава 562 151
Революционная биография Нахамкиса. — Труд о Чернышевском. — Вторая эмиграция. — Дела в Союзе Городов. — Уверенное выдвижение в ИК. — Контактная комиссия. Монолог к министрам.

Глава 563 160
Ликоня.

ДВЕНАДЦАТОЕ МАРТА, воскресенье

Глава 564 162
Объявление царского Манифеста в церкви в Каменке. — Арест попечителя.

Глава 565″ (по свободным газетам, 11—12 марта) 167

Глава 566 174
Гучков. Совещание в штабе Северного фронта.

Глава 567 179
Алексеев над гучковским письмом. — Как предупредить своих генералов? И как союзников? — Красная печать.

Глава 568 181
Саша Ленартович перебирает пути. — На народном митинге. — Возвращаться в с.-д.

Глава 569 187
«Сибирцы» во всём не согласны со Шляпниковым.

Глава 570 191
Солдатская секция СРСД. — А боеприпасы выпущать? — Отменить присягу! — И опять права солдата. А рабочих пригнуть.

Глава 571 195
Дела генерала Корнилова. — Самовольный парад волынцев.

Глава 572 200
Фабричные и железнодорожники пришли к великому князю.

Глава 573 204
Преображенский полк на фронте принимает присягу. — Настроения офицеров.

Глава 574 209
Ярослав в поезде. — Рассказы Наташи Аничковой.

Глава 575 212
Члены Исполкома на театральном представлении.

Глава 576 218
Вечеринка офицеров дивизиона. — Новости Виноходова.

Глава 577 224
Саня в разгар вечеринки. — Под молодым месяцем.

Глава 578 229
Отец Северьян. — Рязанский храм. — Церковная реформа. — И как она закружилась.

ТРИНАДЦАТОЕ МАРТА, понедельник

Глава 579 239
Имение Лотарёво. — Князь Борис Вяземский в Петрограде.

Глава 580 242
Ярослав на смоленском вокзале. — Солдаты в купе.

Глава 581 246
Казачьи дела в Петрограде. — Сведенья с Дона, с фронтов. — Ковынёв готовит общеказачий съезд. — Статья Гнедича.

Глава 582 252
У Пухнаревич-Коногреевой. — Чего опасаться, а чего нет.

Глава 583 256
Пешехонов сдаёт комиссариат. — А что в деревне?

Глава 584 260
Гучков воротился с фронта. — Теснят дела и безсилие. — Крымов приехал!

Документы — 26 264
Генерал Алексеев — генералу Жанену.

Документы — 27 264
Генерал Рузский — генералу Алексееву.

Глава 585 264
Крымов у Гучкова. — Несогласие.

Глава 586″ (Пресса о Керенском) 271

Глава 587 274
Прошлая жизнь капитана Клементьева. — Горе после отречения. — С фейерверкерами. — Землянка. Песня.

Глава 588 280
Царская семья в заточении. — Ясность духа у Николая. — Что же с Англией? — Над письмом генерала Гурко.

Документы — 28 290
Германская переписка о транспорте революционеров.

Глава 589 290
Нападение на Ярослава в поезде.

Глава 590 296
Обер-прокурор Львов обуздывает Церковь. — Работа с общественностью и с московским активом.

Глава 591 301
Ликоня. — «Ты». — Первая тень разлуки.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ МАРТА, вторник

Глава 592 303
Члены Государственной Думы выступают в дивизии Савицкого.

Глава 593 308
Братание у Торчицких высоток.

Глава 594 314
Родзянко на холостом ходу. — И снова пришли полки!

Глава 595 321
Члены Государственной Думы обедают у генерала Савицкого.

Глава 596″ (по социалистическим газетам, 11—14 марта) 327

Глава 597 331
Утверждённость Керенского в правительстве. — Сложность в Контактной комиссии. — Рвётся в неизведанное.

Глава 598 336
Ободовский в разрыве должностей и дел. — Странная просьба Керенского.

Глава 599 339
Генерал Крымов у генерала Корнилова. — Перевернуть? — Парад павловцев.

Глава 600 344
Таня Белобрагина в Новочеркасске. — Захватывают власть чужаки? — Казачий Донской союз.

Глава 601 349
Рапорт генерала Савицкого.

Глава 602 352
Великий день Гиммера. — На Исполкоме. — Проклятый автомобиль. — Манифест «К народам мира» в Морском корпусе.

Глава 603 361
Большевики-сибирцы испортили «Правду». — Шляпников слушает Манифест.

Глава 604 364
Ленин сжигается в письмах и указаниях. — Как ехать?? — Скларц привёз паспорта. — Нет, не то, замарают. — Вагон!..

ПЯТНАДЦАТОЕ МАРТА, СРЕДА

Глава 605 373
Приезд Лурье и Урицкого. — Планы циммервальдистов. — Цензовики исказили значение Манифеста! — И не платят 10 миллионов. — Перспективы циммервальдизма.

Документы — 29 380
Генерал Палицын — генералу Алексееву.

Глава 606 381
Союзники теребят. — Сводка армейских настроений. — Алексеев вынужден уступать ходу комитетов. — Оправдательные объяснения для правительства. — Читает в «Известиях» обвинения Ставки в контрреволюции.

Глава 607 387
Гучков стиснут, армия перестаёт выглядеть армией. — Приём чер-

номорской делегации. — Ободовский у Гучкова. — Годится ли Алексеев? — Но копают и под Гучкова.

Глава 608″ (по свободным газетам, 13—15 марта) 391

Глава 609 398
Революционные дни в Тамбове. — Юрий Васильевич Давыдов, губернский комиссар. — Шурин из Волохонщины. — Дворянская тоска.

Глава 610 403
Родзянко перед полком отдаёт землю. — Крестьянская депутация к нему.

Глава 611 410
Ярослав на лесном солдатском митинге.

Глава 612 419
Кокошкин в Публичной библиотеке. — Разговор с Верой о реформе Церкви.

Глава 613 423
Комбинаторика полковника Половцова.

Глава 614 427
Чернега пошёл в гору.

Глава 615 431
Милюков негодует над Манифестом Совета. — Правительство присягает в Сенате. — Милюков готовит декларацию о Польше. — На заседании правительства. — Черноморская делегация. — Обиды обер-прокурора.

Глава 616 439
Переворот в «Правде». — Спор с приезжими. — А Сашенька-то не едет!

Глава 617 446
Младотурки на ночном приёме у Керенского.

ШЕСТНАДЦАТОЕ МАРТА, четверг

Глава 618 451
Саша у Ликони поутру. — Предложение.

Глава 619 458
Одиночество Ольды среди ликования.

Глава 620 461
Ликоня пишет письмо вдогон.

Глава 621 462
Вторая встреча Бабушки.

Глава 622″ (по западной прессе) 465

Глава 623 471
Инженерная делегация в Исполнительном Комитете.

Глава 624 (Провинция и деревня, фрагменты) 476

Глава 625 479
Московские адвокаты совещаются. — Как вести агитацию в народе.

Глава 626 484
Выборы комитета в батарее капитана Клементьева.

Глава 627 489
Список требований батарейцев.

Глава 628 492
Гучков решает ехать в Ставку раньше других министров. — Безсилие в собственном министерстве.

Глава 629 495
Князь Львов — миротворец. — Проблемы, проблемы. — Вермишель заседаний. — Оклады министрам. — Но не 10 же миллионов Исполнительному Комитету!

Глава 630 501
Генерал Лечицкий. — Воротынцев у него. — Не начав боя, признать положение безвыходным? — Телеграмма Свечину.

СЕМНАДЦАТОЕ МАРТА, пятница

Глава 631 507
В мире появилась Новая Женщина. — Новые требования к любви. — Как это выразить по-марксистски. — Возврат Александры Коллонтай в Петроград. — Свои в ИК. — Посещение арестанток.

Глава 632″ (по социалистической печати, с 15 марта).....516

Глава 633 522
В квартире символистов. — Шаги Искусства. — Керенский на пролёте.

Глава 634 530
Станкевич в ИК. — Фронтовая патриотическая волна. — Проект военных комиссаров. — Визит Терещенко в ИК.

Глава 635 (Армейские фрагменты) 534

Глава 636 539
Алексеев встречает Гучкова в Ставке. — Наступать-таки в начале мая! — Планы гучковских должностных перемещений.

Глава 637 545
Проблемы хлебной монополии перед Шингарёвым. — Усилить засевы, огороды. — Землю делить? — а нечего!

Глава 638 550
В батарее Клементьева. — Фельдшер. Экономические деньги. — Фельдфебель один против двух дезертиров.

Глава 639 554
Государь в заключении. — Речь Бетмана-Гольвега. — Где судьба жить? — Лучезарный день.

Документы — 30 559
Личный секретарь Георга V — Бальфуру.

ВОСЕМНАДЦАТОЕ МАРТА, суббота

Глава 640 560
Сны Варсонофьева.

Глава 641″ (по свободным газетам, 16—18 марта) 563

Глава 642 572
Арестованный Николай Иудович строит свою защиту.

Глава 643 577
Свечин следит за германской операцией на западе. — Оправдание новой службы. — Встреча министров на вокзале.

Глава 644 583
Воротынцева зовут на повышение. — Или в Ставку? — Выбор.

Глава 645 587
Поток войск в Таврический дворец. — Множество задач Родзянки. — Спасти армию от генерала Алексеева!

Глава 646 591
Совещание генерала Алексеева с министрами в Ставке.

Документы — 31 596
Генерал Нивель — генералу Жанену.

Глава 647 596
Князь Львов в отсутствие главных министров. — Беседа с корреспондентами. — Войсковой старшина Ведерников. Не помочь ли правительству освободиться от другой власти?

Глава 648 602
Пароходство на Волге. — Гордей Польщиков. — Дух русского купечества. — С Ликоней в Питере. — Разговоры в «Славянском базаре». — Снова Бубликов. — Протест против хлебной монополии.

Глава 649 610
Гвоздев: повсюду — рабочая жадность. — Ищет выхода.

Глава 650 614
Ленартович у большевиков в особняке Кшесинской.

Глава 651 620
Домашний банкет у Винавера.

Глава 652 625
Министры в Ставке, порознь.

Глава 653 630
Рабочая секция Совета. — План реорганизации Совета. — Рабочие в прениях. — Приезд Церетели из ссылки.

Глава 654 641
От германского посла — согласие на проезд! — Ходы Ленина: имея согласие, теперь-то и *начать переговоры.* — Обработать Платтена. — Фонтан находок Радека. Заодно обмарать Гримма. — Первоапрельская шутка.

Документы — 32 649
Из германской дипломатической переписки.

Глава 655 650
В Волынском батальоне — не те порядки. — Кирпичников с Марковым гуляют по Питеру.

Краткие пояснения 657
Н. Солженицына

Торжество соблазнения. 659
Заметки о «Марте Семнадцатого»
А. Немзер

Литературно-художественное издание

Александр Исаевич Солженицын

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРИДЦАТИ ТОМАХ
ТОМ 14
КРАСНОЕ КОЛЕСО
Повествованье в отмеренных сроках

Узел III. Март Семнадцатого
КНИГА 4

Редактор
Наталья Рагозина

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Ирина Машковская

Верстка
Валерий Калныньш

Солженицын А. И.
Собрание сочинений в 30 томах. Т. 14. Красное Колесо: Повествованье в отмеренных сроках. — Узел III: Март Семнадцатого. Книга 4. — М.: Время, 2008. — 736 с.

ISBN 978-5-9691-0335-1

От имени Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в Европу послан интернационалистский Манифест «К народам мира». Революция разливается по стране, автор показывает нам фронт, деревню, железные дороги, Церковь, донских казаков, волжское купечество и возвращается каждый раз в Петроград, где читатель наблюдает, как самозваный Исполком фактически контролирует и направляет Временное правительство. В редакции «Правды» — разногласия верного ленинского последователя Шляпникова и прибывшего из сибирской ссылки Каменева (свергать Временное правительство или поддерживать?). Ленин из Цюриха сговаривается через германского посла о своём безпрепятственном проезде с группой единомышленников через воюющую Германию — в Россию.